Александр Бек

2

Александр Бек



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1975

Александр Бек

Собрание сочинений
в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1975

Александр Бек

Собрание сочинений

Том второй

Волоколамское шоссе

Военные рассказы и очерки

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р2
Б42

Комментарии
Т. БЕК

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Б $\frac{70302\text{-}274}{028(01)\text{-}75}$ подписное.



А. Бек

Волоколамское шоссе

«Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычайное, как-то: извержение огнедышащей горы, погубившей цветущие селения, восстание угнетенного народа против всесильного владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа,— все это видевший должен поведать бумаге. А если он не обучен искусству нанизывать концом тростинки слова повести, то ему следует рассказать свои воспоминания опытному писцу, чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в назидание внукам и правнукам».

В. Ян. «Чингисхан»

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ

Человек, у которого нет фамилии

1

В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец.

Вот ее история.

2

— Нет,— резко сказал Бауржан Момыш-Улы,— я ничего вам не расскажу. Я не терплю тех, кто пишет о войне с чужих рассказов.

— Почему?

Он ответил вопросом:

— Знаете ли вы, что такое любовь?

— Знаю.

— До войны я тоже считал, что знаю. Я любил женщину, я испытал страсть, но это ничто в сравнении с любовью, которая возникает в бою. На войне, в бою, рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть, о которой люди, этого не пережившие, не имеют представления. А понимаете ли вы, что такое внутренняя борьба, что такое совесть?

— Понимаю,— менее уверенно ответил я.

— Нет, вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, борются два чувства: страх и совесть. Самые свирепые звери не способны так жестоко бороться, как эти два чувства. Вам известна совесть труженика, совесть мужа, но вы не знаете совести солдата. Вы бросали когда-нибудь гранату во вражеский блиндаж?

— Нет.

— Тогда как же вы будете писать о совести? Боец наступает вместе с ротой, в него бьют из пулеметов, рядом падают товарищи, а он ползет и ползет. Проходит час — шестьдесят минут. В минуте шестьдесят секунд, и каждую секунду его могут сто раз убить. А он ползет. Это совесть солдата! А радость? Знаете ли вы, что такое радость?

— Должно быть, и этого не знаю,— сказал я.

— Верно! Вам известна радость любви и, быть может, радость творчества. Жена, вероятно, делилась с вами радостями материнства. Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Как же вы будете писать об этом? Станете выдумывать?

На столе лежал номер журнала, где был напечатан очерк о панфиловцах, о бойцах того самого полка, которым командовал Бауржан Момыш-Улы.

Он резко придвинул журнал к лампе — все его движения были резкими, даже когда он бросал спичку, закурив,— перелистал, склонился над раскрытой страницей и отбросил.

— Не могу читать! — произнес он.— На войне я прочел книгу, написанную не чернилами, а кровью. После такой книги мне невыносимы сочинения. А что можете написать вы?

Я попытался спорить, но Бауржан Момыш-Улы был непреклонен.

— Нет! — отрезал он.— Мне ненавистна ложь, а вы не напишете правды.

3

Познакомиться нам довелось так.

Я долго искал человека, который мог бы рассказать о битве под Москвой,— человека, чье повествование охватило бы замысел и смысл операций и вместе с тем повело бы туда, где проверяется и решается все,— в бой.

Не буду описывать этих поисков. Скажу лишь необходимое.

Изучив материалы, я знал, что, наступая на Москву в октябре и в ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи

вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем Ленинградского шоссе.

В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыла 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерал-майора Панфилова. Предприняв второе, ноябрьское, наступление на Москву, противник вбивал клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В семидневном сражении под Крюковом, в тридцати километрах от Москвы, панфиловцы вместе с другими частями Красной Армии сдержали напор немцев и отбросили врага.

Я отправился к панфиловцам и, еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил: я встречу его.

И действительно встретил.

Это был Бауржан Момыш-Улы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, а теперь, два года спустя, гвардии полковник.

4

Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил.

— Бауржан Момыш-Улы,— раздельно повторил он.

В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения. Должно быть, он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно.

По привычке корреспондента я вынул записную книжку.

— Простите, как пишется ваша фамилия?

Он ответил:

— У меня нет фамилии.

Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский Момыш-Улы означает сын Момыша.

— Это мое отчество,— продолжал он.— Бауржан — имя. А фамилии нет.

В его лице не было мечтательной мягкости, свойственной, как принято думать, Востоку. Существует множество

лиц, которые кажутся вылепленными — иногда любовно, тщательно, иногда — как говорится — тяп да ляп. Лицо Бауржана Момыш-Улы напоминало о резьбе, а не о лепке. Оно казалось вырезанным из бронзы или из мореного дуба каким-то очень острым инструментом, не оставившим ни одной мягко закругленной линии.

У меня оно вызвало одно детское воспоминание. На твердых синих переплетах собрания сочинений Майна Рида или Фенимора Купера было вытиснено в профиль худощавое лицо индейца. Профиль Бауржана был похож, чудилось мне, на тот рельефный оттиск.

По-монгольски смуглое, слегка широкоскулое, часто непроницаемо спокойное, особенно в минуты гнева, оно было украшено на редкость большими черными глазами. Свои блестящие черные волосы, упрямо непокорные гребенке, Бауржан в шутку называл лошадиными.

Слушая, я приглядывался к нему. Этот казах свободно владел богатством русской речи. Даже в минуты волнения он не коверкал слов и оборотов. Лишь некоторая неторопливость речи казалась иногда нарочитой. Впоследствии я подметил: слова текли быстрей, когда он разговаривал по-казахски.

Взяв папиросу и с резким щелканьем захлопнув портсигар, он упрямо закончил:

— Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски: Бауржан Момыш-Улы. Пусть будет известно: это казах, это пастух, гонявший баранов по степи; это человек, у которого нет фамилии.

5

В первый же вечер знакомства мне посчастливилось услышать, как Бауржан Момыш-Улы беседовал с прибывшими в полк командирами — новичками войны.

Он говорил о душе солдата. Неторопливо развивая мысль, он рассказал кстати про один из боев у Волоколамского шоссе.

У меня екнуло сердце. Быстро вынув блокнот, я жадно записывал. Еще не веря удаче, я угадывал: вот они, страницы долгожданного повествования. Улучив после беседы минуту, я попросил Бауржана Момыш-Улы расска-

зать с начала до конца историю боев у Волоколамского шоссе.

— Нет,— ответил Бауржан Момыш-Улы,— я ничего вам не расскажу.

Читателю известен наш дальнейший разговор.

6

Я не сомневался, что Бауржан Момыш-Улы в этом случае был несправедлив. Я хотел того же, что и он: правды. Однако его оценки людей — особенно тех, кто не испытал доли солдата,— нередко бывали излишне колючими. Думается, это отчасти объяснялось молодостью Бауржана. В те дни, когда мы встретились, ему исполнилось тридцать лет.

Получив крутой отказ, я перестал настаивать, но немало дней провел бок о бок с Бауржаном.

Он любил и умел рассказывать. Ловя случай, я терпеливо записывал. Он привык ко мне.

От друзей Бауржана я узнал историю его жизни. В школе ему дали два прозвища: Большеглазый и Шан-Тимес. Второе в буквальном переводе означает недоступный пыли. Так звался легендарный конь, который скакал столь быстро, что даже пыль, поднятая его копытами, не касалась его.

Наступила минута, когда я сказал Бауржану:

— А все-таки я напишу про вас. И где-нибудь обязательно упомяну, что в школе вы были Шан-Тимес.

Он улыбнулся. Улыбка преображала его. Суровое лицо вдруг становилось ребячливым.

— А вы артиллерийская лошадь,— ласково сказал он.— Не обижайтесь, это комплимент. Артиллерийская лошадь везет медленно, ее трудно повернуть, но, поворачиваясь, она тянет за собой и орудие. Вы повернули меня... Я расскажу все, что вы хотели. Но условимся...

Слегка откинувшись, он выхватил из ножен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо освещенном маленькой лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие.

— Условимся,— продолжал он.— Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: «Плохо, наврано! Кладите на стол левую руку». Раз! Левая рука долой! Прочту вторую главу: «Пло-

хо, наврано! Кладите на стол правую руку». Раз! Правая рука долой! Согласны?

— Согласен,— ответил я.

Мы оба шутили, но не улыбались.

Не по-монгольски широкие черные глаза испытующе вглядывались в меня.

— Хорошо,— сказал он.— Кладите бумагу, берите карандаш. Пишите: «Глава первая. Страх».

Страх

1

— Пишите,— сказал Бауржан Момыш-Улы. — «Глава первая. Страх».

Подумав, он проговорил:

— «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой...» Как по-вашему: подходящее начало?

— Не знаю,— нерешительно сказал я.

— Так пишут ефрейторы литературы,— жестко сказал он.— В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются две-три мины, где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх.

Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему,— низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание?

Может быть, по-вашему, героизм — дар природы? Или дар каптенармуса, который вместе с шинелями раздает бесстрашие, отмечая в списке: «получено», «получено»?

Я немало уже пробыл на войне, стал командиром полка и имею основание, думается мне, утверждать: это не так!

На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое.

Наш первый бой, проведенный в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года, был и сражением со страхом. А семь недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Они наконец-то узнали, быть может, впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх.

2

До середины октября, до момента, когда начались сражения на подмосковных рубежах, мы в боях не участвовали. Выехав из Казахстана, мы полтора месяца прожили в болотах Ленинградской области, в тридцати — сорока километрах от фронта, на так называемой второй линии обороны, числясь резервом Главного Командования.

Утром шестого октября я получил приказ: поднять батальон по тревоге и выступить к ближайшему железнодорожному разъезду. Там нас уже ждали теплушки и платформы. Погрузившись, мы в ночь тронулись.

Куда? Даже мне, командиру батальона, до поры до времени этого знать не полагалось. Казалось, мы едем не к фронту, а от фронта. Поезд несся к узловой станции Бологое, минуя с ходу промежуточные пункты.

В пути объявили, что в Бологом для нас готов обед. Но кто-то торопил, кто-то подхлестывал наши эшелоны. Обед раздать не успели. Смена паровозов была произведена в две-три минуты. Гудок — и снова в путь!

Все с любопытством ждали, куда повернем от Бологого. Скоро выяснилось: к Москве.

Туда, не снижая скорости на полустанках, мчались с интервалами в полтора-два часа наши эшелоны, Триста шестнадцатая стрелковая дивизия.

Зачем, для каких целей нас перебрасывают?

Неизвестно.

Почему мчимся с такой скоростью? Куда, по какой дороге поедем от Москвы? Где остановимся?

Неизвестно, неизвестно.

Необычно быстрое движение вызвало у всех тревожную приподнятость. Думалось: наконец-то настоящее, наконец-то в дело, в бой!

Седьмого октября мы выгрузились в лесу близ Волоколамска, в ста двадцати километрах западнее Москвы.

Меня вызвали к командиру полка на станцию.

Запомнились выстроившиеся близ полотна приземистые клепаные башни, выкрашенные маскировочным узором — зелеными и серыми разводами. Это были вместилища бензина.

Мог ли я знать, что скоро увижу на фоне угрюмого октябрьского неба, как без грохота, который дошел позднее, без пламени и дыма, которые заволокли горизонт потом, они, эти железные башни, враз медленно поднимутся и, словно повисев мгновение, рухнут?

Подходя к станционному зданию — впоследствии от него осталась лишь раскрытая кирпичная коробка с хвостами копоти над пустыми окнами,— я издали заметил длинный состав платформ, груженных пушками.

Меня кто-то окликнул. У состава я увидел полковника Малинина, командира артиллерийского полка нашей дивизии.

— Полюбуйтесь-ка, отступник,— сказал он.— Хороши?

Он называл меня отступником с того дня, как узнал, что я, артиллерист, командир батареи, по собственному настоянию перешел в пехоту.

Орудия были смазаны по-заводски — толстым слоем потемневшего сверху густого пушечного сала. Дополнительно к нашей дивизионной артиллерии они только что прибыли сюда.

— Ого,— сказал я,— есть и тяжелые!

— Этих бегемотов будем устанавливать, как крепостные...

— Разве мы здесь надолго?

— Зимовать, должно быть, будем.

Я ощутил разочарование. Опять, значит, мы в тылу, опять в резерве.

Я не знал, что далеко впереди, за Вязьмой, немцы рассекли фронт, заслонявший Москву, что Гитлер четыре дня назад объявил по радио миру: «Красная Армия уничтожена, дорога на Москву открыта».

А Москва в это время напряженно создавала новый фронт в ста двадцати — ста пятидесяти километрах от го-

родской черты, на рубежах, которые вошли в историю под названием «дальних подступов к столице». С московских вокзалов без речей и оркестров отправлялись коммунистические батальоны в штатском, получавшие оружие и обмундирование в пути. За день-два до нашего прибытия было переброшено на грузовиках через Волоколамск к Московскому морю пехотное училище имени Верховного Совета; за ним туда отправилось с учебными орудиями Московское краснознаменное артиллерийское училище. Москва посылала навстречу врагу свежие силы и вооружение, в том числе и эти пушки.

В штабе полка подтвердили: дивизии приказано принять и оборудовать оборонительные сооружения в районе Волоколамска. Мне указали полосу моего батальона.

4

Вечером мы выступили в ночной марш к реке Рузе, за тридцать километров от Волоколамска.

Житель южного Казахстана, я привык к поздней зиме, а здесь, в Подмосковье, в начале октября утром уже подмораживало. На рассвете по схваченной морозом дороге, по затвердевшей, вывороченной колесами грязи мы подошли к селу Новлянскому — самому крупному населенному пункту нашего батальонного участка.

Глаз сразу отметил силуэт невысокой колокольни, черневшей в мутном небе.

Оставив батальон близ села, в лесу, я с командирами рот отправился на рекогносцировку.

Моему батальону было отмерено семь километров по берегу извилистой Рузы. В бою, по нашим уставам, такой участок велик даже для полка. Это, однако, не тревожило. Я был уверен, что, если противник действительно подойдет когда-нибудь сюда, его встретит на наших семи километрах не батальон, а пять или десять батальонов. С таким расчетом, думалось мне, надо готовить укрепления.

Не ожидайте от меня живописания природы. Я не знаю, красив или нет был расстилавшийся перед нами вид.

По темному зеркалу, как говорится в топографии, неширокой медлительной Рузы распластались большие, будто вырезанные листья, на которых летом цвели, наверное, белые лилии. Может быть, это красиво, но я для себя за-

сек: дрянная речонка, она мелка и удобна противнику для переправы.

Однако береговые скаты с нашей стороны были сделаны недоступными для танков: поблескивая свежесрезанной глиной, хранящей следы лопат, к воде ниспадал отвесный уступ, называемый на военном языке эскарпом.

За рекой виднелась даль — открытые поля и отдельные массивы, или, как говорят, клины леса. В одном месте, несколько наискосок от села Новлянского, лес на противоположном берегу почти вплотную примыкал к воде. В нем, быть может, было все, чего пожелал бы художник, пишущий русский осенний лес, но мне этот выступ казался отвратительным: тут вероятнее всего мог, укрываясь от нашего огня, сосредоточиться для атаки противник.

К черту эти сосны и ели! Вырубить их! Отодвинуть лес от реки!

Хотя никто из нас, как сказано, не ожидал здесь вскорости боев, но нам была поставлена задача: оборудовать оборонительный рубеж, и следовало выполнить ее с полной добросовестностью, как положено офицерам и солдатам Красной Армии.

5

Первые вестники отступления появились на следующий день: брели жители, где-то оставившие все; среди них встречались бойцы, выбиравшиеся мелкими группами из окружения.

Впервые я встретил их — скитальцев в солдатских шинелях — у батальонной кухни.

Они грелись у костра. Их с любопытством рассматривал командир хозяйственного взвода пожилой лейтенант Пономарев, до войны директор не особенно крупного строительства. Сюда же собрались повара и бойцы, наряженные в тот день на кухню.

Пономарев скомандовал «смирно!» и подбежал с рапортом.

Я искоса смотрел на сидевших у костра: там кое-кто поднялся, кое-кто лишь пошевелился.

— Что за люди? — спросил я.

От огня шагнул рябоватый маленький красноармеец.

— Из окружения, товарищ старший лейтенант!

В то утро я первый раз услышал это слово.

— Какое окружение? Где?

— Под Вязьмой, товарищ старший лейтенант... Теперь он сюда прет.

— Кто?

— Известно кто... немец...

— Вы его видели?

— Разве его увидишь? Сыпет, как горохом, минами... Или прет по шоссе на танках и стреляет во все стороны.

— Танки видели?

— В кино, товарищ старший лейтенант, на танки можно глядеть вольно... А тут не до погляденья! Все в глазах мешается, света не увидишь, когда он тарахтит и бросает во все стороны.

— Винтовка где?

— Со мною, в целости... Извиняюсь, товарищ старший лейтенант, не чищена...

— Куда же вы?

— В Москву, на формирование... Мы ходко шли, многих обогнали. Я, товарищ старший лейтенант, взял их под начало, чтобы вывести... В Москве, говорят, бой будем принимать. Сейчас пойдем... Тут нельзя нам прохлаждаться, скоро он тут будет... Пообедать не дозволите с вашего котла, товарищ старший лейтенант?

Простодушие, с каким маленький рябоватый солдат признавался в бегстве, было особенно страшным. Его слушали жадно.

Я вновь оглядел его «часть». Все давно не брились, давно не умывались, от этого на лица лег одинаковый серый налет. На сапогах и обмотках засыхала у огня невытертая грязь. Все были без знаков различия на шинелях.

— Все рядовые? — спросил я.

Почувствовалась неловкость. Потом один поднялся. Это был парень лет двадцати двух, с растерянными, грустными глазами.

— Я лейтенант, командир взвода,— сказал он.

Не знаю, быть может, я не изменился в лице, но внутренне шарахнулся, словно от удара: как, командир взвода, лейтенант, офицер Красной Армии, бежит вместе с красноармейцами с фронта под началом бывалого солдата?

В эту минуту повар поставил перед «окруженцами» кастрюлю с дымящимся супом.

— Кушайте,— сказал он.— Теперь не пропадете, к своим попали... Заправляйтесь!

Я крикнул:

— Встать! Лейтенант Пономарев! Арестовать дезертиров! Отобрать оружие!

— Винтовку не отдам,— сказал рябоватый солдат.

— Молчать! Лейтенант Пономарев, исполняйте приказ.

Еще не договорив, я заметил, что Пономарев смотрит куда-то мимо меня, удивленно поднимая брови.

Я оглянулся. К батальонной кухне устало брели человек десять, в шинелях, с винтовками и без винтовок. Некоторые подняли воротники, сунули руки в карманы. Этого у меня не водилось. Было ясно даже издали: эти — не моего батальона.

Они подошли.

— Что за люди? — спросил я.

И услышал:

— Из окружения, товарищ старший лейтенант.

6

В этот день, как обычно, я обходил от края до края наш батальонный участок.

Было холодно, ветрено. Редкий колючий снег застревал ледяной крупой в траве, скоплялся белыми маленькими косяками у затвердевших комьев вспаханной земли. Шел обеденный час. Бойцы ели в укрытых местах — в недорытых окопах или за кучами выброшенной глины.

Проходя по линии, отмеченной торчащими лопатами, я услышал:

— Нет, ребята, он оттуда не ударит, где вы ожидаете... Он этого не любит — лезть, где ожидают...

Звякали ложки. В яме за невысокой насыпью обедали.

— А что он любит?

Я узнал по выговору: это спросил казах.

— Обойдет, и все... И узнаешь, что он любит.

И снова казах:

— А тогда что?

Чей это окоп? Кто тут из казахов? Память подсказала: Барамбаев. Да, здесь его пулеметный расчет. Или Галлиулин... Они оба у одного пулемета. Черт возьми, и тут кормят этих пришельцев!

— Тогда не давайся,— произнес новый голос.— А то погибель...

— Лес укроет! В лес он не ходок.

Опять тихо звякали ложки. С моими бойцами обедали те, что вышли из окружения. Раздался еще один незнакомый голос:

— И мешок мой там, и котелок мой там... Мы сидели кушали, вроде как здесь, и вдруг...

«...и вдруг побежали, подлецы!» — хотел крикнуть я, но меня остановила одна мысль.

Невдалеке я увидел поблескивающий вороненой сталью ствол пулемета, скрытого за аккуратно уложенным дерном. Там дежурил пулеметчик. В магазин была заправлена боевая лента.

— В порядке? — спросил я.

— Только нажать, товарищ комбат.

Я присел и, наведя ствол на зеркало реки, нажал. Пулемет, дрожа, заработал. Вынимая землю для укрытий, мы здесь еще не проводили стрельб; это была первая пальба, разнесшаяся над нашим рубежом.

Кто-то выскочил из ямы.

— Тревога! — крикнул я.— В ружье!

И тотчас, как искаженное эхо, отдалось:

— Немцы!

Голос был странно приглушен, человек не выкрикнул, а скорее выдохнул это, словно немцы были уже рядом.

В следующий момент кто-то побежал. За ним другие. Я не успел заметить, как это случилось. Все произошло мгновенно.

Лес был недалеко, в полутораста — двухстах шагах. Бежали туда...

Я поднялся на кучу глины и встал там, молча глядя вслед бежавшим.

Рядом раздался яростный крик:

— Стой!

И затем — ругань.

Это выкрикнул появившийся откуда-то пулеметчик Блоха. Увидев меня, он кинулся ко мне, к пулемету. Меня пронзила острая, как игла, любовь. Ни одну женщину я не любил так, как бегущего ко мне пулеметчика Блоху.

Смотрю, остановился Галлиулин — огромный казах, упаковщик по профессии, легко взваливавший на широчен-

ные плечи станковый пулемет. Он опустил голову и прижал руку к груди, безмолвно прося извинения. А ноги уже несли его ко мне, вслед за Блохой.

Затем обернулся очкастый Мурин, до войны аспирант консерватории, писавший статьи по истории музыки. Но его кто-то подтолкнул, указывая на недалекий лес. И он опять, как заяц, помчался. И опять обернулся. Потом остановился. Вспотевшее лицо на слабой шее поворачивалось то ко мне, то к лесу. Потом он быстро протер пальцами очки и понесся назад, ко мне.

Все они были одним отделением, одним пулеметным расчетом. Теперь не хватало лишь командира отделения, сержанта Барамбаева.

Я нередко радовался, глядя, как ловко он, казах Барамбаев, разбирает и собирает пулемет, как легко он угадывает, точно механик, где и почему не совсем ладно. «Вот и мы, казахи, становимся, как и русские, народом механиков»,— иногда думал я, встречая Барамбаева.

А теперь он прошмыгнул, наверное, где-нибудь мимо, не смея на меня взглянуть.

Я молча встречал возвращавшихся. Я знал, мои бойцы были честными людьми. Сейчас их терзал стыд. Как оградить их на другой раз от этого мучительного чувства, как спасти их от позора? Разве я уверен, что они в другой раз не побегут и опять потом не будут понимать, как это с ними могло произойти? Что с ними делать?

Уговаривать? Побеседовать? Накричать? Отправить под арест?

Отвечайте же — что?

Судите меня!

1

Я сидел у себя в блиндаже, уставясь в пол, подперев опущенную голову руками, вот так (Бауржан Момыш-Улы показал, как он сидел), и думал, думал.

— Разрешите войти, товарищ комбат...

Я кивнул, не поднимая головы.

Вошел политрук пулеметной роты Джалмухамед Бозжанов.

— Аксакал,— тихо сказал Бозжанов по-казахски.

Аксакал в буквальном переводе — седая борода; так называют у нас старшего в роде, отца. Так иногда звал меня Бозжанов.

Я взглянул на Бозжанова. Доброе круглое лицо его было сейчас расстроенным.

— Аксакал... В роте чрезвычайное происшествие: сержант Барамбаев прострелил себе руку.

— Барамбаев?

— Да...

Показалось, кто-то стиснул мне сердце. Сразу все заболело: грудь, шея, живот. Барамбаев был, как и я, казах — казах с умелыми руками, командир пулеметного расчета, тот самый, которого я не дождался.

— Что ты с ним сделал? Убил?

— Нет... Перевязал и...

— И что?

— Арестовал и привел к вам.

— Где он? Давай его сюда!

Так... В моем батальоне появился, значит, первый предатель, первый самострел. И кто же? Эх, Барамбаев!..

Медленно переступая, он вошел. В первый момент я не узнал его. Посеревшее и словно обмякшее лицо казалось застывшим, как маска. Такие лица встречаются у душевнобольных. Забинтованную левую руку он держал на весу; сквозь марлю проступила свежая кровь. Правая рука дернулась, но, встретив мой взгляд, Барамбаев не решился отдать честь. Рука боязливо опустилась.

— Говори! — приказал я.

— Это, товарищ комбат, я сам не знаю как... Это нечаянно... Я сам не знаю как.

Он упорно бормотал эту фразу.

— Говори.

Он не услышал от меня ругательств, хотя, должно быть, ждал их. Бывают минуты, когда уже незачем ругаться. Барамбаев сказал, что, побежав в лес, он споткнулся, упал, и винтовка выстрелила.

— Вранье! — сказал я.— Вы трус! Изменник! Родина таких уничтожает!

Я посмотрел на часы: было около трех.

— Лейтенант Рахимов!

Рахимов был начальником штаба батальона. Он встал.

— Лейтенант Рахимов! Вызовите сюда красноармейца Блоху. Пусть явится немедленно.

— Есть, товарищ комбат.

— Через час с четвертью, в шестнадцать ноль-ноль, постройте батальон на поляне у этой опушки... Все. Идите! — приказал я Рахимову.

— Что вы хотите со мной сделать? Что вы хотите со мной сделать? — торопливо, словно боясь, что не успеет сказать, заговорил Барамбаев.

— Расстреляю перед строем!

Барамбаев упал на колени. Его руки, здоровая и забинтованная, измаранная позорной кровью, потянулись ко мне.

— Товарищ комбат, я скажу правду!.. Товарищ комбат, это я сам... это я нарочно.

— Встань! — сказал я.— Сумей хоть умереть не червяком.

— Простите!

— Встань!

Он поднялся.

— Эх, Барамбаев, Барамбаев! — мягко произнес Бозжанов.— Скажи, ну что ты думал?

Мне на мгновение показалось, что я сам это сказал: будто вырвалось то, чему я приказал: «Молчи!»

— Я не думал...— бормотал Барамбаев.— Ни одной минуты я не думал!.. Я сам не знаю как.

Он опять цеплялся, как за соломинку, за эту фразу.

— Не лги, Барамбаев! — сказал Бозжанов.— Говори комбату правду.

— Это правда, это правда... Потом гляжу на кровь, опомнился: зачем это я? Черт попутал... Не стреляйте меня! Простите, товарищ комбат!

Может быть, в этот момент он действительно говорил правду. Может быть, именно это с ним и было: затмение рассудка, мгновенная катастрофа подточенной страхом души.

Но ведь так и бегут с поля боя, так и становятся преступниками перед Отечеством, нередко не понимая потом, как это могло случиться.

Я сказал Бозжанову:

— Вместо него Блоха будет командиром отделения. И это отделение, люди, с которыми он жил и от которых бежал, расстреляют его перед строем.

Бозжанов наклонился ко мне и шепотом сказал:

— Аксакал, а имеем ли мы право?

— Да! — ответил я.— Потом буду держать ответ перед кем угодно, но через час исполню то, что сказал. А вы подготовьте донесение.

Запыхавшись, в блиндаж вошел красноармеец Блоха. Пошмыгивая носом, двигая светлыми, чуть намеченными бровями, он не совсем складно доложил, что явился.

— Знаешь, зачем я тебя вызвал? — спросил я.

— Нет, товарищ комбат.

— Посмотри на этого... Узнаешь?

Я указал на Барамбаева.

— Эх, ты!..— сказал Блоха. В голосе слышались и презрение и жалость.— И морда какой-то поганой стала!

— Расстреляете его вы, — сказал я,— ваше отделение...

Блоха побледнел. Вздохнув всей грудью, он выговорил:

— Исполним, товарищ комбат.

— Вас назначаю командиром отделения. Подготовьте людей вместе с политруком Бозжановым.

Подойдя к Барамбаеву, я сорвал с него знаки различия и красноармейскую звезду.

Он стоял с посеревшим, застывшим лицом, уронив руки.

2

В назначенное время, ровно в четыре, я вышел к батальону, выстроенному в виде буквы «П». В середине открытой, не заслоненной людьми линии стоял в шинели без пояса, лицом к строю, Барамбаев.

— Батальон, смирно! — скомандовал Рахимов.

В тиши пронесся и оборвался особенный звук, всегда улавливаемый ухом командира: как одна, двинулись и замерли винтовки.

В омраченной душе сверкнула на мгновение радость. Нет, это не толпа в шинелях, это солдаты, сила, батальон.

— По вашему приказанию батальон построен! — четко отрапортовал Рахимов.

В этот час, на этом русском поле, где стоял перед строем человек с позорно забинтованной рукой, без пояса и без звезды, каждое слово — даже привычная формула рапорта — волновало души.

— Командир отделения Блоха! Ко мне с отделением! — приказал я.

В молчании шли они через поле — впереди невысокий Блоха и саженный Галлиулин, за ними Мурин и дежуривший вчера у пулемета Добряков,— шли очень серьезные, в затылок, в ногу, не отворачивая лиц от бьющего сбоку ветра, невольно стараясь быть подтянутыми под взглядами сотен людей.

Но они волновались.

Блоха скомандовал: «Отделение, стой!» Винтовки единым движением с плеч опустились к ноге; он посмотрел на меня, забыв доложить.

Я сам шагнул к нему, взяв под козырек. Он ответил тем же и не совсем складно выговорил, как требуется по уставу, что явился с отделением.

Вы спросите: к чему это, особенно в такой час? Да, именно в этот час я каждой мелочью стремился подчеркнуть, что мы армия, воинская часть.

Став в одну шеренгу, отделение по команде повернулось к строю.

Я сказал:

— Товарищи бойцы и командиры! Люди, что стоят перед вами, побежали, когда я крикнул: «Тревога!» — и подал команду: «В ружье!» Через минуту, опомнившись, они вернулись. Но один не вернулся — тот, кто был их командиром. Он прострелил себе руку, чтобы ускользнуть с фронта. Этот трус, изменивший Родине, будет сейчас по моему приказанию расстрелян. Вот он!

Повернувшись к Барамбаеву, я указал на него пальцем. Он смотрел на меня, на одного меня, выискивая надежду.

Я продолжал:

— Он любит жизнь, ему хочется наслаждаться воздухом, землею, небом. И он решил так: умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты — за чужой счет.

Меня слушали не шелохнувшись.

Сотни людей, стоявшие передо мной, знали: не все останутся жить, иных выхватит из рядов смерть, но все в эти минуты переступали какую-то черту, и я выражал словами то, что всколыхнулось в душах.

— Да, в бою будут убитые. Но тех, кто погибнет как воин, не забудут на родине. Сыны и дочери с гордостью будут говорить: «Наш отец был героем Отечественной вой-

ны!» Это скажут и внуки и правнуки. Но разве мы все погибнем? Нет. Воин идет в бой не умирать, а уничтожать врага. И того, кто, побывав в боях, исполнив воинский долг, вернется домой, того тоже будут называть героем Отечественной войны. Как гордо, как сладко это звучит: герой! Мы, честные бойцы, изведаем сладость славы, а ты (я опять повернулся к Барамбаеву)... ты будешь валяться здесь, как падаль, без чести и без совести. Твои дети отрекутся от тебя.

— Простите...— тихо выговорил Барамбаев по-казахски.

— Что, вспомнил детей? Они стали детьми предателя. Они будут стыдиться тебя, будут скрывать, кто был их отец. Твоя жена станет вдовой труса, изменника, расстрелянного перед строем. Она с ужасом будет вспоминать тот несчастный день, когда решилась стать твоей женой. Мы напишем о тебе на родину. Пусть там все узнают, что мы сами уничтожили тебя.

— Простите... Пошлите меня в бой...

Барамбаев произнес это не очень внятно, но почувствовалось: его услышали все.

— Нет! — сказал я.— Все мы пойдем в бой! Весь батальон пойдет в бой! Видишь этих бойцов, которых я вызвал из строя? Узнаешь их? Это отделение, которым ты командовал. Они побежали вместе с тобой, но вернулись. И у них не отнята честь пойти в бой. Ты жил с ними, ел из одного котелка, спал рядом, под одной шинелью, как честный солдат. Они пойдут в бой. И Блоха, и Галлиулин, и Добряков, и Мурин — все пойдут в бой, пойдут под пули и снаряды. Но сначала они расстреляют тебя — труса, который удрал от боя!

И я произнес команду:

— Отделение, кру-гом!

Разом побледнев, бойцы повернулись. Я ощутил, что и у меня похолодело лицо.

— Красноармеец Блоха! Снять с изменника шинель!

Блоха сумрачно подошел к Барамбаеву. Я увидел: его, Барамбаева, незабинтованная правая рука поднялась и сама стала отстегивать крючки. Это поразило меня. Нет, у него, который, казалось бы, сильнее всех жаждал жить, не было воли к жизни — он безвольно принимал смерть.

Шинель снята. Блоха отбросил ее и вернулся к отделению.

— Изменник, кругом!

Последний раз взглянув с мольбой на меня, Барамбаев повернулся затылком.

Я скомандовал:

— По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги... отделение...

Винтовки вскинулись и замерли. Но одна дрожала. Мурин стоял с белыми губами, его прохватывала дрожь.

И мне вдруг стало нестерпимо жалко Барамбаева.

3

От дрожащей в руках Мурина винтовки словно неслось ко мне: «Пощади его, прости!»

И люди, еще не побывавшие в бою, еще не жестокие к трусу, напряженно ждавшие, что сейчас я произнесу: «Огонь!», тоже будто просили: «Не надо этого, прости!»

И ветер вдруг на минуту стих, самый воздух замер, словно для того, чтобы я услышал эту немую мольбу.

Я видел широченную спину Галлиулина, головой выдававшегося над шеренгой. Готовый исполнить команду, он, казах, стоял, целясь в казаха, который тут, далеко от родины, был всего несколько часов назад самым ему близким. От его, Галлиулина, спины доходило ко мне то же: «Не заставляй! Прости!»

Я вспомнил все хорошее, что знал о Барамбаеве: вспомнил, как бережно и ловко, словно оружейный мастер, он собирал и разбирал пулемет, как я втайне гордился: «Вот и мы, казахи, становимся народом механиков».

...Я не зверь, я человек. И я крикнул:

— Отставить!

Наведенные винтовки, казалось, не опустились, а упали, как чугунные. И тяжесть упала с сердец.

— Барамбаев! — крикнул я.

Он обернулся, глядя спрашивающими, еще не верящими, но уже загоревшимися жизнью глазами.

— Надевай шинель!

— Я?

— Надевай... Иди в строй, в отделение!

Он растерянно улыбнулся, схватил обеими руками шинель и, надевая на ходу, не попадая в рукава, побежал к отделению.

Мурин, добрый очкастый Мурин, у которого дрожала винтовка, незаметно звал его кистью опущенной руки: «Становись рядом!», а потом по-товарищески подтолкнул в бок. Барамбаев снова был бойцом, товарищем.

Я подошел и хлопнул его по плечу:

— Теперь будешь сражаться?

Он закивал и засмеялся. И все вокруг улыбались. Всем было легко...

Вам тоже, наверное, легко? И те, кто будет читать эту повесть, тоже, наверное, вздохнут с облегчением, когда дойдут до команды: «Отставить!»

А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это мелькнуло, как мечта.

Было иное.

...Заметив, что у Мурина дрожит винтовка, я крикнул:

— Мурин, дрожишь?

Он вздрогнул, выпрямился и плотнее прижал приклад; рука стала твердой. Я повторил команду:

— По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги... отделение... огонь!

И трус был расстрелян.

Судите меня!

Когда-то моего отца, кочевника, укусил в пустыне ядовитый паук. Отец был один среди песков, рядом не было никого, кроме верблюда. Яд этого паука смертелен. Отец вытащил нож и вырезал кусок мяса из собственного тела — там, где укусил паук.

Так теперь поступил и я — ножом вырезал кусок из собственного тела.

Я человек. Все человеческое кричало во мне: «Не надо, пожалей, прости!» Но я не простил.

Я командир, отец. Я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был кровью запечатлеть в душах: изменнику нет и не будет пощады!

Я хотел, чтобы каждый боец знал: если струсишь, изменишь — не будешь прощен, как бы ни хотелось простить.

Напишите все это — пусть прочтут все, кто надел или готовится надеть солдатскую шинель. Пусть знают: ты был, быть может, хорош, тебя раньше, быть может, любили и хвалили, но каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, за измену будешь наказан смертью.

Не умирать, а жить!

1

Наутро я опять объезжал участок.

Как и вчера, бойцы рыли окопы.

Но они были мрачны. Ухо нигде не улавливало смеха, взгляд не встречал улыбок.

Тяжело быть командиром невеселой армии.

Подъезжаю к окопу. Вижу: боец накрыл свой окоп жердями, присыпал сверху землей.

— Что ты натворил?

— Окоп, товарищ комбат.

— А что сверху?

— Дерева, товарищ комбат.

— Вылезай оттуда! Сейчас я тебе покажу, какие это дерева.

Красноармеец выскакивает. Достаю пистолет и всаживаю несколько пуль в лобовой накат.

— Лезь обратно! Посмотри, пробило?

Через полминуты он с готовностью кричит:

— Пробило, товарищ комбат!

— Что же ты построил? Что это, шалаш бахчевода в Средней Азии? От солнца там будешь укрываться?.. Чего молчишь?

Красноармеец неохотно произносит:

— Она везде найдет...

— Кто «она»?

Он не отвечает. Я понимаю: он боится смерти.

Спрашиваю:

— Ты что, жить не хочешь?

— Хочу, товарищ комбат.

— Тогда разбирай, выбрасывай к черту эти палки! Клади бревна толщиной в телеграфный столб, клади в пять рядов, чтобы и снаряд не взял, если попадет.

Красноармеец тоскливо поглядывает то на окоп, то в лес: там, в лесу, в отдалении от опушки надо валить и оттуда таскать тяжелые бревна.

— Авось не попадет,— говорит он.

Оно жило и здесь, хотя никого не радовало, это слово «авось». Оно не было словом бойца, собранного для боя.

— Расшвыривай! — кричу я.— И снова заставлю раскидать, если не положишь пять рядов.

Вздохнув, он берется за лопату и отгребает насыпанную сверху землю.

Я молча смотрю. Нет, ему еще не верится, что из этого окопа он, неуязвимый для врага, будет бить немцев. Ему не верится, что они станут падать под его пулями. На душе иное.

2

Некоторые взводы по расписанию проводили в тот день боевые стрельбы.

На противоположном берегу, откуда мог появиться противник, были установлены близкие и дальние мишени, изображающие фашистов по пояс и в рост.

Я хотел, чтобы каждый боец приобрел навык стрельбы из своего окопа, из своего подземного дома; хотел, чтобы вся лежавшая впереди местность была пристреляна.

По мишеням били из пулеметов и винтовок. Я забирался в окопы и работал с каждым.

— Не попал! Подумай, почему? Взял не тот прицел или не так приложился? Ну-ка, проверь прицел... Стрельнем-ка еще раз...

Наконец боец всаживал в намалеванную фашистскую морду две пули из трех. Это не плохой результат, в таких случаях солдату трудно скрыть гордость, но...

— Что невеселый? Вот так и будешь снимать их, когда сунутся.

— Разве пулей их возьмешь? Да они, товарищ комбат, отсюда и не полезут.

— А откуда?

— Кто их знает...

Это были слова, которые я уже слышал. Это был страх перед неведомым.

3

И я опять думал.

Объезжая семикилометровую линию, возвращаясь в блиндаж, обедая, работая в штабе, улегшись на ночь, я думал и думал.

Что произошло с батальоном? Не убил ли я вчера, расстреляв перед строем изменника, бежавшего ради спасе-

ния своей жизни, не убил ли я этим залпом великую силу любви к жизни, не подавил ли великий инстинкт самосохранения?

Вспомнилось,— в одной статье я читал: «В бою в человеке борются две силы: сознание долга и инстинкт самосохранения. Вмешивается третья сила — дисциплина, и сознание долга берет верх».

Так ли это? Наш генерал, Иван Васильевич Панфилов, говорил об этом по-другому. Когда-то, еще в Алма-Ате, в ночном разговоре (пока не расспрашивайте, не отвлекайтесь,— я потом передам весь разговор) Панфилов сказал: «Солдат идет в бой не умирать, а жить!»

Мне полюбились эти слова, я иногда повторял их. Теперь, готовясь к первому бою, думая о батальоне, которому выпало на долю драться под Москвой, я вспомнил Панфилова, вспомнил эти слова.

Неужели воля к жизни, инстинкт сохранения жизни — могучий первородный двигатель, свойственный всему живому,— проявляется только в бегстве?

Разве он же, этот самый инстинкт, не разворачивается вовсю, не действует с бешеной яростью и мощью, когда живое существо борется, дерется, царапается, кусается в смертельной схватке, защищается и нападает?

Нет, в этой небывалой войне за будущее нашей Родины, за будущее каждого из нас, любовь к жизни, воля жить, неистребимый инстинкт самосохранения должен стать для нас не врагом, а другом.

Но как пробудить и напрячь его?

4

В определенный час по расписанию в ротах проводились беседы или чтения газет вслух.

Я решил пойти в этот час в подразделения — послушать, что говорят бойцам политруки.

В первой роте занятия проводил политрук Дордия. Не расставаясь с винтовками, бойцы кучкой сидели под открытым небом близ окопов.

Падал редкий снежок. На темной хвое появились первые, еще просвечивающие белые мазки.

Вокруг все было тихо, но каждый посматривал вдаль с особым чувством — каждый ждал: вот-вот там все загро-

хочет; со свистом и воем, о каком знали пока лишь по рассказам, полетят мины и снаряды; по полю, оставляя черные полосы на раннем снегу, двинутся стреляющие нас ходу танки, из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая, люди в зеленых шинелях — те, что идут нас убить.

Дордия держал речь, заглядывая изредка в бумажку. Это были правильные слова, это были святые истины. Я услышал, что германский фашизм вероломно напал на нашу Родину, что враг угрожает Москве, что Родина требует от нас, если нужно, умереть, но не пропустить врага, что мы, бойцы Красной Армии, обязаны сражаться, не жалея самого драгоценного — жизни.

Я посмотрел на бойцов. Они сидели, прижавшись друг к другу, опустив головы или глядя в пространство, угрюмые, усталые.

Эх, политрук Дордия, что-то плохо тебя слушают. Чувствовалось: он и сам, мечтательный Дордия, до войны учитель, мучается этим. Он не гость в батальоне. Ему, как и тем, перед которыми он говорил, предстоял первый в его жизни бой.

Быть может, завтра, послезавтра ему придется с колотящимся сердцем под огнем перебегать из окопа в окоп, когда рядом с грохотом будет вздыматься земля. И там, а не под тихим небом беседовать с бойцами.

Впоследствии я видел его в такие часы — у него была и своя улыбка, и свои, не записанные на бумажку слова.

Но в тот день, переживая, как и все, что-то для него бесконечно важное, он не мог или не умел донести это чувство до сердца бойцов. Он повторял: «Родина требует», «Родина приказывает»... Когда он произносил: «стоять насмерть», «умрем, но не отступим», по тону чувствовалось, что он выражает свои думы, созревшую в нем решимость, но...

Зачем говоришь готовыми фразами, политрук Дордия? Ведь не только сталь, но и слова, даже самые святые, срабатываются, «пробуксовывают», как шестерня со стершимися зубьями, если ты не дал им свежей нарезки.

И зачем ты все время твердишь: «умереть, умереть»? Это ли теперь надо сказать? Ты, наверное, дума-

ешь: в этом жестокая правда войны — правда, которую надо увидеть, не отворачивая взора, надо принять и внушить.

Нет, Дордия, не в этом, не в этом жестокая правда войны.

5

Я подождал, пока Дордия кончит. Потом поднял одного красноармейца:

— Ты знаешь, что такое Родина?

— Знаю, товарищ комбат.

— Ну, отвечай...

— Это наш Советский Союз, наша территория.

— Садись.

Спросил другого:

— А ты как ответишь?

— Родина — это... это, где я родился... Ну, как бы выразиться... местность...

— Садись. А ты?

— Родина? Это наше Советское правительство... Это... Ну, взять, скажем, Москву... Мы ее вот сейчас отстаиваем. Я там не был... Я ее не видал, но это Родина...

— Значит, Родины ты не видел?

Он молчит.

— Так что же такое Родина?

Стали просить:

— Разъясните!

— Хорошо, разъясню... Ты жить хочешь?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— А ты?

— Хочу.

— Кто жить не хочет, поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Но головы уже не были понурены — бойцы заинтересовались. В эти дни они много раз слышали: «смерть», а я говорил о жизни.

— Все хотят жить? Хорошо.

Спрашиваю красноармейца:

— Женат?

— Да.

— Жену любишь?

Сконфузился.

— Говори: любишь?

— Если бы не любил, то не женился.

— Верно. Дети есть?

— Есть. Сын и дочь.

— Дом есть?

— Есть.

— Хороший?

— Для меня не плохой...

— Хочешь вернуться домой, обнять жену, обнять детей?

— Сейчас не до дому... надо воевать.

— Ну, а после войны? Хочешь?

— Кто не захочет...

— Нет, ты не хочешь!

— Как не хочу?

— От тебя зависит — вернуться или не вернуться. Это в твоих руках. Хочешь остаться в живых? Значит, ты должен убить того, кто стремится убить тебя. А что ты сделал для того, чтобы сохранить жизнь в бою и вернуться после войны домой? Из винтовки отлично стреляешь?

— Нет.

— Ну вот... Значит, не убьешь немца. Он тебя убьет. Не вернешься домой живым. Перебегаешь хорошо?

— Да так себе.

— Ползаешь хорошо?

— Нет.

— Ну вот... Подстрелит тебя немец. Чего же ты говоришь, что хочешь жить? Гранату хорошо бросаешь? Маскируешься хорошо? Окапываешься хорошо?

— Окапываюсь хорошо.

— Врешь! С ленцой окапываешься. Сколько раз я заставлял тебя накат раскидывать?

— Один раз.

— И после этого ты заявляешь, что хочешь жить? Нет, ты не хочешь жить! Верно, товарищи? Не хочет он жить?

Я уже вижу улыбки,— у иных уже чуть отлегло от сердца. Но красноармеец говорит:

— Хочу, товарищ комбат.

— Хотеть мало... желание надо подкреплять делами. А ты словами говоришь, что хочешь жить, а делами в могилу лезешь. А я оттуда тебя крючком вытаскиваю.

Пронесся смех, первый смех от души, услышанный мною за последние два дня. Я продолжал:

— Когда я расшвыриваю жидкий накат в твоем окопе, я делаю это для тебя. Ведь там не мне сидеть. Когда я ругаю тебя за грязную винтовку, я делаю это для тебя. Ведь не мне из нее стрелять. Все, что от тебя требуют, все, что тебе приказывают, делается для тебя. Теперь понял, что такое Родина?

— Нет, товарищ комбат.

— Родина — это ты! Убей того, кто хочет убить тебя! Кому это надо? Тебе, твоей жене, твоему отцу и матери, твоим детям!

Бойцы слушали. Рядом присел политрук Дордия, он смотрел на меня, запрокинув голову, изредка помаргивая, когда на ресницы садились пушинки снега. Иногда на его лице появлялась невольная улыбка.

Говоря, я обращался и к нему. Я желал, чтобы и он, политрук Дордия, готовивший себя, как и все, к первому бою, уверился: жестокая правда войны не в слове «умри», а в слове «убей».

Я не употреблял термина «инстинкт», но взывал к нему, к могучему инстинкту сохранения жизни. Я стремился возбудить и напрячь его для победы в бою.

— Враг идет убить и тебя и меня,— продолжал я.— Я учу тебя, я требую: убей его, сумей убить, потому что и я хочу жить. И каждый из нас велит тебе, каждый приказывает: убей — мы хотим жить! И ты требуешь от товарища — обязан требовать, если действительно хочешь жить,— убей! Родина — это ты, Родина — это мы, наши семьи, наши матери, наши жены и дети. Родина — это наш народ. Может быть, тебя все-таки настигнет пуля, но сначала убей! Истреби, сколько сможешь! Этим сохранишь в живых его, и его, и его (я указывал пальцем на бойцов) — товарищей по окопу и винтовке! Я, ваш командир, хочу исполнить веление наших жен и матерей, веление нашего народа, хочу вести в бой не умирать, а жить! Понятно? Всё! Командир роты! Развести людей по огневым точкам.

6

Раздались команды: «Первый взвод, становись!», «Второй взвод, становись!..»

Бойцы вскакивали, бегом находили места, расправляли, как требовалось, плечи. Быстро подравнивалась колеблющаяся линия штыков. Ясно чувствовалось: это воинский строй, это дисциплинированная, управляемая сила. Интервалы меж взводами казались гнездами, где плотно сидят невидимые скрепы.

Может быть, моя речь была несколько наивна, но в ту минуту мне казалось: я достиг своего. Не поступаясь ни долгом, ни честью, люди освобождались от навязчивого, придавливающего слова «умереть».

Генерал Иван Васильевич Панфилов

1

Он приехал к нам на следующий день, тринадцатого.

Мы не ждали его, но вышло так, что, как нарочно, в штабе сидели вызванные мною командиры рот.

Надо ли описывать наше штабное помещение? Посмотрите вокруг: там, в подмосковном лесу, нашим обиталищем был такой же блиндаж — врытая в землю бревенчатая сырая коробка, к стенкам которой нельзя прислониться: прилипнешь к смоле. День и ночь горела лампа. Наружу в разных направлениях выбегали провода, словно зажатые здесь в кулаке.

Командиры помечали на картах схему минных полей, которые предстояло заложить ночью. Для колесного движения оставался открытым лишь большак с мостом у села Новлянского; другие подходы к рубежу минировались.

На столе у лампы лежал большой лист шероховатой ватманской бумаги, на нем цветными карандашами была нанесена схема нашей обороны. Схему вычертил начальник штаба Рахимов. Он отлично рисовал и чертил.

Я сберег этот лист. Хотите взглянуть?.. Красиво? Не только красиво, но и точно.

Эта вьющаяся голубоватая лента — река Руза. Ломаная полоса по берегу — эскарп. Темно-зеленым очерчены леса. Черные точки на той стороне — минные поля. Некрутые красные дуги с обращенной на запад щетиной — наша оборона. Разными значками — видите, они тоже все красные — помечены окопы стрелков, пулеметные гнезда, противотанковые и полевые орудия, приданные батальону.

Линия, отмеренная нам, была, как известно, очень длинной: семь километров — батальону. Мы растянулись, как потом говорил Панфилов, «в ниточку». Даже в тот день, тринадцатого октября, я все еще не допускал мысли, что в районе Волоколамского шоссе лишь эта ниточка окажется на пути у немцев, когда они, стремясь к Москве, выйдут на «дальние подступы», к нашему рубежу.

Но...

Командиры рот сидели у лампы, помечая у себя на топографических картах минные поля.

Шел шутливый разговор — о тринадцатом числе.

— Для меня оно счастливое,— говорил лейтенант Заев, командир пулеметной роты,— я родился тринадцатого и женился тринадцатого. Что начну тринадцатого — все удается, что пожелаю — все исполнится.

У него была особая манера говорить. Он бурчал себе под нос, и не всегда было ясно, шутит он или серьезен.

— Что ж, например, вы сегодня пожелали? — спросил кто-то.

Все с интересом взглянули на худое, крупной кости, расширяющееся книзу лицо Заева. За ним знали способность «отчубучивать».

— Фляжку коньяку! — буркнул он и захохотал.

Вошел начальник штаба Рахимов. Он всегда двигался быстро и бесшумно, словно не в сапогах, а в чувяках.

— Товарищ комбат, ваше приказание выполнено,— сказал он обычным, спокойным тоном.

Я послал его с конным взводом в дальнюю разведку выяснить, далеко ли от нас идут бои. В штабе полка об этом не знали ничего определенного.

И вот Рахимов вернулся неожиданно быстро.

— Выяснили?

— Да, товарищ комбат.

— Докладывайте.

— Разрешите письменно? — спросил он, протягивая сложенный листок.

На бумаге были три слова: «Перед нами немцы».

Меня охватил холодок. Неужели вот он, наш час?

Умен, очень умен Рахимов! Узнав от часового, что я в блиндаже не один, он, перед тем, как войти, доверил эти три слова бумаге, чтобы не произносить их вслух, чтобы ни видом, ни тоном не внести сюда страха.

Я поймал себя на том, что и мне хочется скрыть это сообщение от других, словно этим я мог сделать недействительной действительность — отстранить, оттолкнуть ее.

Я взглянул на цветную схему, увидел минные поля, реку, очерченную противотанковым отвесом, окопы, крытые четырьмя-пятью рядами бревен, пулеметы и орудия; представил еще одно: человека в шинели, бойца.

Я спросил по-казахски:

— Ты видел сам?

Рахимову я безусловно доверял и все-таки спросил.

— Да.

— Где?

— За двадцать — двадцать пять километров отсюда: в селе Середа и в других деревнях.

— А этот промежуток? Что там?

— Ничья земля.

— Ну,— сказал я по-русски,— ваше желание, Заев, кажется, исполнится: в наш адрес прибыло много фляжек с коньяком...

Все вопросительно смотрели.

— ...и с ромом,— продолжал я.— Перед нами немцы. Рахимов, сообщите обстановку.

Рахимова выслушали молча, и лишь Заев буркнул:

— Вот и хорошо!

— Чего же хорошего? — спросил кто-то.

— А стоять лучше? Перестоялись.

Не спросив разрешения, в блиндаж вбежал мой коновод Синченко.

— Товарищ комбат! Генерал сюда идет...— громко зашептал он.

Я быстро надел шапку, поправил гимнастерку и кинулся навстречу.

Но дверь уже открылась. К нам входил командир дивизии генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.

Я вытянулся и отрапортовал:

— Товарищ генерал-майор! Батальон занимается укреплением оборонительного рубежа. Командиры рот копируют схему минных заграждений. Командир батальона старший лейтенант Бауржан Момыш-Улы.

Панфилов спросил:

— Чрезвычайные происшествия были?

«Знает!» — мелькнуло у меня. Я ответил:

— Да, товарищ генерал. Трус, ранивший себя в руку, был расстрелян перед строем.

— Почему не предали суду?

Волнуясь, я стал объяснять.

Я говорил, что при других обстоятельствах я отдал бы его под суд. Но в данном случае надо было реагировать немедленно, и я принял на себя ответственность.

Панфилов не перебивал.

Впервые видел я его в полушубке. Мягкий, белой юфти полушубок, чуть отдававший приятным запахом дегтя, не перешитый по фигуре, был ему широк, но уже обмялся и, не топорщась, выказывал впалую его грудь, наискось перехваченную портупеей, и сутуловатую спину. Слушая, генерал смотрел вниз, склонив морщинистую шею. Мне казалось, он не одобряет меня.

— Сами расстреляли? — спросил он.

— Нет, товарищ генерал: расстреляло отделение, командиром которого он был, но приказал я.

Панфилов поднял голову.

Густые, круто изломанные брови над маленькими, чуть раскосыми глазами были сдвинуты.

— Правильно поступили,— сказал он.

Потом, подумав, повторил:

— Правильно поступили, товарищ Момыш-Улы. Напишите рапорт.

Только теперь он, казалось, заметил, что вокруг все стоят.

— Садитесь, товарищи, садитесь! — проговорил он и, расстегнув поясной ремень, стал снимать полушубок.

В суконной гимнастерке с незаметными, защитного цвета, звездами сутуловатость обозначилась резче.

— Однако у вас, товарищ Момыш-Улы, холодновато! Почему не топите? И горячего чайку, наверное, нет?

Подойдя к железной печке, он потрогал остывшую трубу, заглянул за печку, словно чего-то искал, увидел топор и, присев на корточки, стал ловко, придерживая полено рукой, несильными меткими ударами откалывать мелкие полешки.

К нему подбежал Рахимов:

— Товарищ генерал, разрешите, я...

— Зачем? Я это люблю. В другой раз вам, конечно, самому придется позаботиться о своем командире.

Такова была манера Панфилова — он нередко делал замечания не напрямик, а этаким боковым ходом.

Но, смягчая даже и эту чуть заметную резкость, он ласково добавил:

— Садитесь, товарищ Рахимов, садитесь! Сюда, на чурбачок.

Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь, кроме Панфилова, укладывал полешки таким способом — шалашиком. Некоторые, покрупнее, он сперва взвешивал в руке. Один раз положил было плашку, но, поколебавшись, вытащил.

Не знаю, вам, может быть, кажется, что даже растапливая печь генералу не пристало колебаться, но когда Панфилов, подсунув бересты, чиркнул спичкой, в печке сразу затрещало.

С минуту он посидел у огня. Красноватые отсветы играли на пятидесятилетнем, с морщинками, но не усталом лице.

— Ну вот,— сказал он, поднимаясь,— этак веселее... У вас готово, товарищ Момыш-Улы?

— Готово, товарищ генерал.

Я протянул короткий рапорт. Панфилов прочел у лампы, положил бумагу на стол, обмакнул перо и, вздохнув, написал: «Утверждаю».

3

На столе, как вы знаете, лежала отлично вычерченная схема нашей обороны.

Отодвинув рапорт, Панфилов долго смотрел на схему.

— Закупорились, кажется, не плохо,— сказал он.— Но...

Чисто русским жестом он почесал затылок.

— Я потом с вами, товарищ Момыш-Улы, пройдусь. Посмотрю на местности... Обстановку знаете, товарищи?

Ответили неуверенно.

Панфилов достал из полевой сумки карту, уже чуть потрепанную, чуть потертую в сгибах, развернул и расстелил поверх схемы.

— Давайте-ка, товарищи, поближе,— сказал он.— Противник прорвался здесь и здесь.

Он указал несколько пунктов вблизи Вязьмы и, оглядев лица — всем ли видно, всем ли понятно,— продолжал:

— Наши войска дерутся в районе Гжатска и Сычовки. Вот главные узлы сопротивления.

Не нажимая, он очертил тупым концом карандаша несколько неправильной формы кругловатых фигур в различных местах карты. Потом опять оглядел всех нас.

— Вы, может быть, думали,— сказал он, положив карандаш,— что вояки, которые в эти дни проходили мимо нас, это и есть наша армия?

Он улыбнулся, от маленьких глаз побежали гусиные лапки. Никто не решился кивнуть, только Заев мотнул головой.

— Признавайтесь, думали?

Никто не ответил. Панфилов затронул то, что тяжестью лежало на сердце у каждого.

— Нет, товарищи, армия дерется. Вы думаете, немцы дали бы нам сидеть здесь столько времени, если бы с ними не сражались наши боевые части? Сейчас противник вышел к нашей линии, но небольшими силами... Его сковывают войска, которые сражаются у него в тылу. У дивизии очень растянутая линия, но...

Панфилов помолчал.

— Нашей дивизии придано несколько артиллерийских противотанковых полков. Цифру я вам не назову. Это артиллерия Главного Командования.

Вновь взяв карандаш, Панфилов опять стал смотреть на карту. Его стриженая голова, черные волосы которой, казалось, были поровну — баш на баш — перемешаны с белыми, склонилась, пробегающие по топографическим значкам глаза сощурились, словно стараясь разглядеть что-то неясное.

— В чем же теперь задача? — негромко произнес он, как бы спрашивая самого себя.— Задача в том, чтобы

встретить немцев этой артиллерией там, где они нанесут главный удар. Можете, товарищи командиры, передать это бойцам. Впрочем... Через сколько времени, товарищ Момыш-Улы, сможете собрать батальон?

— По тревоге, товарищ генерал?

— Нет, зачем по тревоге... Час достаточно?

— Да, товарищ генерал.

Приезжая к нам, Панфилов обычно после проверки боеготовности беседовал с батальоном. Он достал часы и подумал, поглаживая большим пальцем стекло.

— Не надо, товарищ Момыш-Улы. Не смогу — этот маленький старшина не позволяет,— он указал на часы.— Ну вот, товарищи командиры, начнем воевать... Полезет немчура — уложим. Еще полезет — еще уложим. Перемалывать будем...

Панфилов поднялся, и все тотчас встали.

— Перемалывать...

Панфилов повторил это слово и словно прислушался, как оно звучит.

— Вы меня поняли?

Почти всегда Панфилов заканчивал этим вопросом, всматриваясь в лица тех, с кем говорил.

— А теперь... теперь не худо бы стакан чайку с дороги... Намек, товарищ комбат, кажется, был?

Я закричал:

— Синченко! Самовар! Бегом!

— Ого! Вы и самоваром обзавелись? Добре...

Все улыбались. Панфилов заражал ненаигранной, неподчеркнутой уверенностью.

Отпустив командиров, он сложил и спрятал карту.

4

Вбежал Синченко с кипящим самоваром.

— Легче, легче,— сказал Панфилов.— Зачем с самоваром бегать?

— На то война, товарищ генерал,— бойко ответил Синченко.

— Для беготни?

Синченко ловко водрузил на стол самовар.

— Бегаю с расчетом, товарищ генерал.

Это Панфилову понравилось.

— Добре, добре,— сказал он.— Но теперь, товарищ, воевать нам придется не с расчетом.

— А с чем, товарищ генерал?

— С тройным расчетом.— Панфилов засмеялся.— Зеленого чая нет?

Долго прожив в Средней Азии, Панфилов привык там к этому чаю.

— Не имеется, товарищ генерал.

— Жаль... Ну-ка, что завариваете?

Синченко подал начатый пакет. Панфилов посмотрел обертку, понюхал:

— Неплохой... Немного выдохся. В коробочку бы, товарищ... Ну-ка, давайте чайник, я займусь.

Дважды выполоскав кипятком небольшой белый чайник, он кинул туда щепотку, заглянул, прищурился и немного добавил. Потом без воды поставил на конфорку.

— Пусть согреется, пооживет,— пояснил он.

Перед нами были немцы, позади — Москва, а Панфилов у переднего края с толком и вкусом заваривал чай.

— Схему, товарищ Момыш-Улы, не убирайте,— сказал он.— Давайте-ка вместе взглянем... Вы, товарищ Момыш-Улы, что-то невеселый.

Панфилов спросил мягко, а я чуть не упал, словно изо всей силы он ударил меня этим вопросом. Ведь лишь вчера я сам это же сказал бойцу. Неужели и я таков же?

— Что вас, товарищ Момыш-Улы, смущает? Не вставайте — сидите, пожалуйста, сидите.

— Видите ли, товарищ генерал...— С досадой я уловил в своем тоне неуверенность, ту самую, которую вытравлял у других.— Скажите, товарищ генерал, батальону так и придется держать семь километров?

— Нет.— Панфилов помолчал и, прищурившись, улыбнулся.— Нет. Сегодня я снимаю одну роту вашего полка. Потом, может быть, возьму другую. Так что вам, товарищ Момыш-Улы, придется еще прихватить километр-полтора.

— Еще километр?

— А как же быть, товарищ Момыш-Улы? Посоветуйте.

Панфилов сказал это без малейшей иронии и вместе с табуреткой придвинулся ко мне, как всегда, очень живо, словно я, старший лейтенант, мог действительно что-то посоветовать генералу.

— Как же быть? — повторил он.— Ведь у нас ниточка, порвать ее не трудно.— Ну, порвет где-нибудь... А дальше?

Он с любопытством посмотрел на меня, ожидая ответа. Я молчал.

— Вот из-за этого-то «дальше» я и снимаю роты. Неосторожно?

Он спросил меня, словно это сказал я, но я слушал, не раскрывая рта.

— Сейчас, товарищ Момыш-Улы, нельзя быть осторожным. Сейчас надо быть...— он лукаво прищурился,— трижды осторожным. Тогда, думаю, мы сможем на этой полосе до Волоколамска его с месяц поманежить.

— До Волоколамска? Отступать, товарищ генерал?

— Думаю, сидеть на месте не придется, а действовать так, чтобы, где бы он ни прорвался, везде перед ним были наши войска. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал, но...

— Говорите, говорите. Что вас еще смущает? Бойцы побаиваются немца, да?

— Да, товарищ генерал.

Стараясь быть кратким, я стал докладывать. Впрочем, здесь не вполне подходит это слово. Панфилов умел слушать столь живо, что казалось — говоришь что-то очень для него существенное, что-то очень умное. Я сам не заметил, как стал не докладывать, а рассказывать, рассказывать так, как видел и чувствовал.

Когда я умолк, Панфилов некоторое время думал.

— Да, товарищ Момыш-Улы,— произнес он наконец,— сейчас нам ничто другое не страшно. Только это страшно.

Он встал, подошел к самовару, налил в чайник кипятку, вновь поставил на конфорку и вернулся.

Не садясь, он склонился над разрисованным листом и опять, как при первом взгляде, сказал:

— Закупорились крепко.

Это, однако, не звучало одобрением.

— Что-то очень сперто. Не мало ли вы тут оставили проходов? — Взяв карандаш, он указал на минные поля.— Не заперли ли вы, товарищ Момыш-Улы, самих себя?

— Но ведь это впереди, товарищ генерал,— удивленно сказал я.

— То-то и оно, что впереди. Не шевельнешься, тесно.

Подумалось: «Тесно? У меня на семи километрах тесно? Что он говорит?»

Не нажимая, Панфилов тонкими штрихами пометил несколько проходов в минных заграждениях. Я все еще не понимал — зачем? А Панфилов легкими касаниями простого черного карандаша — иных он не любил — перечеркнул красивый оттиск нашей оборонительной линии и наметил стрелку, устремленную вперед, в расположение немцев.

Я не мог сообразить, чего он хочет. Чтобы мы пошли в наступление, чтобы атаковали скапливающуюся немецкую армию? И это после того, как он сообщил, что снимает роту, что батальону предстоит растянуться еще на километр-полтора? После того как говорил, что теперь надо быть трижды расчетливым и трижды осторожным? После того как произнес: «до Волоколамска»? И что это — приказ? Но разве так приказывают?

— На вашем месте,— сказал он, легонько штрихуя стрелку,— я вот о чем подумал бы...

От острия стрелки, направленной в расположение немцев, он провел завиток, обозначающий возвращение на рубеж, и взглянул на меня.

— ...подумал бы... А то в вашей картинке даже и мысли об этом я не вижу.

Вынув часы, Панфилов повернулся к самовару:

— Этот господин тоже требует внимания. Давайте-ка по стакану чаю — и пойдем.

— Ночевать у нас будете, товарищ генерал? — спросил Синченко.

— Нет, товарищ. Теперь ночевать некогда, теперь и ночью приходится дневать.

Он улыбнулся, снял чайник, поднял крышку, понюхал и сказал:

— Вот это напиток.

Подавая мне стакан, он хитро прищурился:

— А ведь сегодня у нас небольшой юбилей — нашей дивизии сегодня стукнуло ровно три месяца от роду. Следовало бы ознаменовать поосновательнее, но... это успеется... И ровно три месяца, как мы с вами, товарищ Момыш-Улы, первый раз встретились. Помните, как вы лихо промаршировали?

И он опять улыбнулся.

Три месяца назад

1

Да, я помнил. Это было ровно три месяца назад, тринадцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года.

В военном комиссариате Казахстана, где я служил инструктором, полагался перерыв на обед от двенадцати до часу. Пообедав, я шел из столовой. Вижу, среди двора стоит невысокий сутуловатый человек в генеральской форме. Рядом два майора.

В Алма-Ате мы редко встречали генералов. Я присмотрелся.

Генерал стоял спиной ко мне, заложив руки назад и слегка расставив ноги. Лицо, видное вполоборота, показалось мне очень смуглым — почти таким же черным, как мое. Опустив голову, он слушал одного из майоров. Из-под высокого генеральского воротника выглядывала исчерна-загорелая, в крупных морщинах шея.

Как артиллерист, я носил шпоры и — должен сознаться в этой слабости — не простые, а серебряные на концах, с так называемым малиновым звоном.

Минуя генерала, дал строевой шаг. Впечатал ногу — дзинь. Другую — дзинь.

Генерал повернулся. В усах, подстриженных двумя квадратиками, не проглядывала седина. Заметно выдавались скулы. Сощуренные узкие глаза были прорезаны по-монгольски, чуть вкось. Подумалось: татарин.

Войдя в комнату, я спросил товарищей:

— Что за генерал? Зачем он к нам пришел?

Мне объяснили: это генерал Панфилов, военный комиссар Киргизии.

Знаете ли вы, что такое военный комиссар республики? Это глава военкомата — советского учреждения, ведающего учетом военнообязанных, допризывной подготовкой. Между нашими двумя военкоматами — казахским и киргизским — существовал договор социалистического соревнования. Раз или два в год договор перезаключался. Все думали, что для этого, вероятно, и приехал генерал.

Я сел за стол, придвинул папку, раскрыл. Помню, в тот день я составлял план комсомольского кросса. Это бы-

ло, конечно, нужным и важным, но во мне жило тягостное неудовлетворение.

Почти месяц назад началась война, в газетах появлялись названия новых направлений, новых городов, захваченных врагом, а я, старший лейтенант Красной Армии, сидел в Алма-Ате, за три тысячи километров от фронта, и составлял план кросса.

Не то. Не то, Бауржан.

2

Отворилась дверь, и вошел генерал. С ним оба майора. Мы встали.

— Садитесь, садитесь,— сказал генерал.— Здравствуйте... Кто здесь старший лейтенант Момыш-Улы?

Что такое? Почему он спрашивает меня? Я взволнованно встал. Генерал улыбнулся.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь.

Он говорил хрипловато и негромко. Подойдя ко мне, он придвинул стул, сел, снял генеральскую, с красным околышем, фуражку и положил на стол. В черных волосах, стриженных под машинку, обильно пробивалась седина.

В фигуре, в лице, в манере говорить и держаться не было, казалось, ничего повелевающего. И лишь брови, круто изломанные почти под прямым углом, странно противоречили этому. Бровей, как и усов, седина не коснулась.

— Будем знакомы,— сказал он.— Меня зовут Иван Васильевич Панфилов. Знаете ли вы, что у вас в Алма-Ате будет формироваться новая дивизия?

— Нет, не знаю.

— Так вот, командиром дивизии назначен я. По приказу Среднеазиатского военного округа вы направлены в дивизию в качестве командира батальона.

Он достал и вручил мне предписание.

— Сколько времени вам нужно, чтобы сдать дела?

— Не много. Могу через два часа явиться.

Он подумал.

— Этого не надо. Вы женаты?

— Да.

— Тогда сегодня прощайтесь с семьей и приходите ко мне в двенадцать часов завтра.

Назавтра без пяти минут двенадцать я всходил по широким ступеням на крыльцо Дома Красной Армии. Мне указали комнату, где поселился генерал.

Чуть сутулясь, вобрав голову в плечи, он сидел за большим письменным столом, просматривая какие-то бумаги. В дальнейшем мне довелось много встречаться с Панфиловым, но лишь в этот раз я видел его с бумагами. Единственной бумагой, которая потом, под Москвой, всюду сопровождала его, была топографическая карта.

Карта лежала перед ним и теперь. Я ее сразу узнал: это был план города и окрестностей Алма-Аты. На ней лежали с отстегнутым ремешком карманные часы.

Взглянув на часы, генерал быстро поднялся и, отодвинув тяжелое кресло, выбрался из-за стола. Походка была легкой, в ней не чувствовался возраст.

Мы разговаривали стоя. Панфилов то прохаживался, то останавливался, заложив руки за спину и слегка расставив ноги.

— Так вот, товарищ Момыш-Улы,— начал он,— дивизии пока нет. Ни штаба нет, ни полков, ни батальона. И вам, значит, командовать некем. Но все это будет, все это мы сформируем. А пока вам придется мне помочь. Я хочу с вами посоветоваться...

Генерал шагнул к столу, перелистал бумаги, нашел нужную, взял толстый красный карандаш, повертел и, обернувшись ко мне, сказал:

— Вот, товарищ Момыш-Улы, самый глупый карандаш на свете.

— Почему, товарищ генерал?

— Потому что им пишут резолюции,— шутливо ответил он и продолжал: — Этим карандашом, не зная дела, очень легко все, что угодно, решить в две минуты. Провел черту на карте — и готово: вопрос решен. Наложил резолюцию — и готово: вопрос решен. Возьмите-ка его, чтобы он мне не попадался. Но и сами, товарищ командир батальона, пореже пользуйтесь им.

Передав с улыбкой карандаш, он затем озабоченно спросил:

— Как вы думаете, где бы нам побыстрее полудить котлы?

В моем взгляде выразилось, вероятно, изумление, и генерал разъяснил:

— Ведь наша дивизия будет вроде ополченской: она формируется сверх плана. На новенькое рассчитывать нечего. И требовать не станем.

Пришлось отвечать и на многие другие, большей частью такие же странные вопросы, причем я не мог отделаться от впечатления, что Панфилов интересуется тем, чем, казалось бы, не пристало интересоваться генералу.

Напоследок, протянув бумагу, он дал мне поручение.

— Тут указаны адреса помещений,— сказал он,— которые выделены нам для формировочных пунктов. Надо взглянуть, проверить, все ли они подходящи. Посмотрите дворы, будет ли где шагать, имеются ли кухни, плиты, кипятильники?

Я опять удивился: прилично ли генералу заниматься этим?

Отдавая мне список и вглядываясь в мое лицо, Панфилов спросил:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Он взял часы.

— Сколько времени вам для этого понадобится?

— К вечеру сделаю, товарищ генерал.

Круто изломанные брови недовольно поднялись.

— Что значит — к вечеру?

— К шести часам, товарищ генерал.

Он подумал.

— К шести... Нет. Доложите мне об исполнении в восемь часов.

4

Проходили дни, я исполнял мелкие поручения генерала. Меж тем рождалась дивизия, прибывали командиры.

Однажды, выйдя от Панфилова, я увидел: навстречу идет полковник артиллерии. У него были длинные ноги и длинное лицо с двумя резкими морщинами у рта.

Я посторонился. Полковник взглянул на мои петлицы и остановился.

— Артиллерист? — отрывисто спросил он.

— Да, товарищ полковник.

— В мое распоряжение?

— Не могу знать. Назначен командиром батальона.

— В пехоту? Как так? Идемте к генералу.

По ходу разговора у генерала я понял, что стремительный полковник был только что прибывшим командиром артиллерийского полка нашей дивизии.

— Прикажите ему, товарищ генерал, отправиться в мое распоряжение. И пусть принимает сегодня же дивизион.

Панфилов обратился ко мне:

— А вы, товарищ Момыш-Улы, что об этом думаете? Справитесь с дивизионом?

— Нет, товарищ генерал, не справлюсь.

Панфилов уселся поудобнее. В сощуренных, монгольского разреза глазах мелькнуло любопытство. Такова была одна из его черточек: не погашенное возрастом, удивительное в его годы любопытство. Он, казалось, с интересом ожидал: «А ну, что скажете вы, полковник?»

— Как не справитесь? — сердито спросил полковник.— Батареей командовали?

— Да.

— Ну и хорошо... Или, может быть, вместо вас послать в дивизион майора? Может быть, окончившего академию? Таких ни одного нам не дадут. Прошу, товарищ генерал, считать вопрос решенным.

Но я почтительно и твердо сказал:

— Я, товарищ генерал, обязан быть честным. С дивизионом не справлюсь, мое образование недостаточно.

Знаете ли вы, кто виноват в моем упорстве? Профессор Дьяконов, даже и не подозревающий, вероятно, о моем существовании. Ему, автору капитального трехтомного труда «Теория артиллерийского огня», поклоняются артиллеристы. Не зная высшей математики, окончив после средней школы лишь девятимесячные артиллерийские курсы, я не совладал с этим сочинением. Какой же из меня командир дивизиона, как я буду управлять сосредоточенным огнем батарей, если не могу вычислить выстрел «по Дьяконову», не умею дать точного «дьяконовского» залпа?

Впоследствии, наблюдая артиллерию и артиллеристов на войне, я понял, что прав был не я, а полковник. Война — лучшая академия, и, повоевав, я командовал бы не хуже других и не посрамил бы артиллерии.

— Чего же вы хотите? — спросил полковник.

— Батарею,— сказал я.

— Что вы! У меня младшие лейтенанты сидят на батареях. Хотите в штаб, помощником начштаба?

У меня вырвалось:

— Боже избави!

Генерал, с интересом следивший за нашим разговором, рассмеялся:

— Напрасно, товарищ Момыш-Улы, напрасно... Штаб не обязательно бумага. И не обязательно красный карандаш...

— Какой красный карандаш? — спросил полковник.

— Это, мне кажется, и к вам относится, полковник,— шутливо сказал Панфилов.— Потом вам расскажу.

Затем, став серьезным, добавил:

— Я подумаю. Идите, товарищ Момыш-Улы.

5

Продолжение последовало в эту же ночь.

Я был дежурным по штабу. Панфилов работал далеко за полночь. Как обычно, он вызывал и вызывал командиров.

Рождалась дивизия. В пустующие летом школы, ставшие пунктами формирования, приходили в эти дни из города и окрестных колхозов призванные в армию — сплошь немолодые, тридцати — тридцати пяти лет, не побывавшие, в большинстве, на военной службе.

В этот час они — будущие панфиловцы — спали.

Наконец и у нас, в большом каменном доме, стало тихо.

Скрипнула дверь, в коридоре послышались шаги. Я встал и оправил гимнастерку, узнав походку генерала. Он заглянул в открытую дверь.

— Вы здесь, товарищ Момыш-Улы? Дежурите?

Панфилов шел с полотенцем, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке. Лицо его было утомленным.

В комнате было накурено. Панфилов распахнул окно и присел на подоконник.

— Думал о вас, товарищ Момыш-Улы, думал,— сказал он.— Посоветуйте-ка, что с вами делать.

— Я, товарищ генерал, отправлюсь туда, куда мне прикажут. Но если вы спрашиваете мое мнение...

— Садитесь-ка, садитесь... Да-да, если спрашиваю ваше мнение...

— ...То я попросил бы, товарищ генерал, не дивизион, а батарею или батальон.

— Батальон? Батальоном, товарищ Момыш-Улы, тоже нелегко командовать... Общевойсковой тактикой вы интересовались? Читали что-нибудь об этом?

Я перечислил кое-что прочитанное.

— А отступательный бой? Интересовались этим?

— Нет, товарищ генерал.

— Да, батальоном вам нелегко будет командовать,— повторил Панфилов.

Он посмотрел на меня так, что я покраснел. Заговорило самолюбие.

— Возможно,— выпалил я.— Но умереть сумею с честью, товарищ генерал.

— Вместе с батальоном?

— Вместе с батальоном.

Неожиданно Панфилов рассмеялся:

— Благодарю за такого командира... Нет, товарищ Момыш-Улы, сумейте-ка принять с батальоном десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон. Вот за это солдат скажет вам спасибо.

Он соскочил с подоконника и сел рядом со мной на клеенчатый диван.

— Я сам солдат, товарищ Момыш-Улы. Солдату умирать не хочется. Он идет в бой не умирать, а жить. И командиры ему нужны такие. А вы этак легко говорите: «Умру с батальоном». В батальоне, товарищ Момыш-Улы, сотни человек. Как же я вам их доверю?

Я молчал. Молчал и Панфилов, вглядываясь в меня. Наконец он сказал:

— Ну, что скажете, товарищ Момыш-Улы? Возьметесь вести их в бой — не умирать, а жить?

— Возьмусь, товарищ генерал.

— Ого, вот ответ солдата! А знаете ли вы, что для этого надо?

— Разрешите, товарищ генерал, просить, чтобы вы это сказали.

— Хитер, хитер... Во-первых, товарищ Момыш-Улы, вот это...— он похлопал себя по лбу.— Скажу вам по секрету,— он шутливо оглянулся и, привстав, шепнул: — На войне тоже бывают дураки.

Потом, перестав улыбаться, продолжал:

— И нужна еще одна очень жестокая вещь... очень жестокая: дисциплина.

У меня вылетело:

— Но ведь вы...— И я прикусил язык.

— Говорите, говорите. Вы хотели сказать что-то обо мне?

Но я не решался.

— Говорите. Что же, придется приказать?

— Я хотел сказать, товарищ генерал... ведь вы же такой мягкий...

— Ничего подобного. Это вам кажется.

Мои слова его, видимо, задели. Он встал, взял полотенце, прошелся.

— Мягкий... имейте в виду, товарищ Момыш-Улы, управляют не криком. Мягкий... Вовсе не мягкий... Ну что ж, принимать дивизион не хочется? А?

Я ничего не ответил, лишь посмотрел на генерала.

Он сказал:

— В академию бы вам надо... Ну, бог с вами! Обидится на меня полковник, но... выдержу как-нибудь отступательный бой... Будете командовать батальоном.

— Есть командовать батальоном, товарищ генерал.

Так случилось, что я, артиллерист, стал командиром батальона.

6

Еще несколько дней я пробыл в штабе. Присматриваясь, я старался распознать: как может управлять дивизией этот добрый, мягкий человек, лишенный, казалось бы, того, что именуется «напористостью»?

Однако он не всегда был мягок.

Однажды я видел, как, привыкнув, очевидно, к его постоянному: «Садитесь, пожалуйста, садитесь», штабной командир, войдя к Панфилову, сел без приглашения.

— Встаньте! — резко сказал Панфилов.— Выйдите отсюда. Немного подумайте за дверью, потом войдете снова.

Отдавая какие-либо приказания, Панфилов никогда не забывал проверить, выдержан ли срок исполнения. У него был излюбленный жест — поглаживать большим пальцем

выпуклое стекло карманных часов. Иной раз казалось, он ласкает любимое маленькое существо. В случае опоздания он требовал объяснений. Однажды мне довелось быть свидетелем, как он отчитывал командира, не исполнившего его задания в срок:

— Вы недобросовестный, недисциплинированный работник. Я знаю вас всего несколько дней, но, к сожалению, вы уже показали себя как лентяй.

Его странные брови сошлись, их излом, казалось, стал круче. Он не кричал, а говорил чуть громче и чуть отчетливее, чем обычно. Тем тяжелее ложились слова.

В мою память врезался незначительный случай.

По поручению генерала я с красноармейцем принимал и перевозил в склад первый миномет, прибывший в адрес дивизии. Панфилов захотел посмотреть миномет.

Я крикнул из окна помогавшему мне красноармейцу:

— Тащи со склада миномет сюда. Скорее! Чтобы через пять минут был здесь!

Повернувшись, я увидел, что Панфилов, прищурившись, смотрит на меня. Это был тот же иронический взгляд, под которым я однажды покраснел.

— Через пять минут, товарищ Момыш-Улы, он не успеет,— сказал генерал.

Панфилов ничего к этому не добавил. Но меня поразило это простенькое замечание.

Сколько раз я, не думая, покрикивал этак: «Через пять минут». А Панфилов думал.

Лошадь Лысанка и лошадиная история

1

Настал наконец день, когда я, попрощавшись с генералом, отправился принимать батальон. Но перед этим случилась история, которую надо рассказать.

Для поездок по городу я пользовался одной из лошадей штаба дивизии.

Это была Лысанка — красивая, рослая лошадь, в белых чулках, с белым пятном на лбу, очень восприимчивая к поводу.

За полторы недели, что я пробыл в штабе, мне удалось кое-чему выучить Лысанку.

В батальон, уже выведенный за город, в станицу Талгар, за двадцать пять километров от Алма-Аты, я должен был ехать с попутной машиной.

Встав рано, часов в пять — когда в штабе еще стояла тишина,— собравшись, я вышел во двор.

Машина запаздывала. Мне захотелось навестить напоследок Лысанку. Пройдя на конюшню, я похлопал, погладил ее. Мягкими губами она тянулась к ладони, привыкши получать от меня кусочек хлеба или сахару за послушание. Я не дал — не за что... Она стала на месте выделывать испанский шаг передними ногами, как я ее учил. Я улыбнулся, быстро оседлал и вывел.

Проделав верхом несколько кругов по двору рысью, я перешел на манежный галопчик, потом, о чем-то думая, на испанский шаг.

Было, как я сказал, очень рано. Двор казался пустынным.

Вдруг я услышал:

— Сумеете ли вы, товарищ Момыш-Улы, и в военном искусстве быть таким же мастером?

На крыльце стоял генерал. Сконфуженный, я соскочил.

— Продолжайте, продолжайте,— сказал Панфилов.— Я с удовольствием наблюдаю.

Он подошел.

— Вот, оказывается, что за вами водится... А там,— он показал вдаль,— сумеете так управлять?

Я ответил:

— Знаете, товарищ генерал... Один раз мне уже точь-в-точь это было сказано. То есть не то чтобы сказано, но...

— Ну-ну...

— Было сделано так, что я целый год переживал...

— Любопытно, любопытно... Расскажите...

Но я уже раскаивался. Черт меня дернул за язык. Зачем я буду отнимать у генерала время историями из своей жизни, которые интересны только мне? Стараясь быть кратким, я сказал, что когда-то, младшим лейтенантом, грубил начальникам, орал на подчиненных, не умел дисциплинировать взвод. На меня налагали взыскания, сажали под арест, а потом вызвал командир полка и прочел странную лекцию об управлении лошадью. Он сказал так: «Знаете ли

вы, что такое управление? Пример машиниста на паровозе или водителя автомашины вам, степному человеку, будет малопонятен...» И он стал говорить о лошади. Его лекция подействовала.

— Нет, вы подробнее... Что он вам сказал? — выспрашивал Панфилов.

— Это всем известно, товарищ генерал. Это я знал и без него...

— А все-таки?

— Он говорил о хорошем всаднике. О том, что хороший всадник может дать свечку, пройтись испанским шагом и даже станцевать... Потом о средствах управления. Это, во-первых, поводья — трензельные и мундштучные, движение мизинчиком — это уже управление...

— Так, так... Любопытно...

— Сказал, что хороший всадник никогда не двигает всей рукой или даже кистью... Лошадь дергают только свинопасы. Ну и так далее, в таком же роде...

— Нет, нет... Продолжайте. Что еще он говорил?

Панфилов, казалось, был до чрезвычайности заинтересован. Он улыбался, морщины около глаз играли.

— Говорил о других средствах управления... Перенос точки опоры на спине лошади, незаметный для глаза,— тоже управление... А нога всадника? Существует двадцать способов управления одной только шпорой: укол прямой, укол касательный и прочие... Однако хороший всадник редко применяет шпоры. Ему достаточно коснуться лошади икрой, и лошадь уже понимает. Но как этого добиться?

— Так, так... Как добиться?

Интерес Панфилова заразил меня. Я уже говорил увлеченно:

— Да. Как достигнуть, чтобы лошадь моментально выполняла малейшее требование всадника? Самое главное — настойчивость. Не исполнено — накажи, никогда не спускай! Хорошо сделано — поощри! Проделывай это не сто, а тысячу раз. Все это он спокойно изложил и сказал: «Ступайте».

— А вы?

— Сначала я не понял, зачем он меня звал. Повернулся, пошел. А на пороге меня как топором хватило: «Что, человек для него лошадь? Я для него лошадь?!» Хотел вернуться и закричать: «Я вам не лошадь!»

Панфилов расхохотался. Я еще не видел его таким веселым. Достав платок и вытирая заискрившиеся влагой глаза, он сказал:

— Неглупая, очень неглупая история. Значит, дергают только свинопасы?

Смеясь, он погладил Лысанку и спросил:

— Нравится вам, товарищ Момыш-Улы, эта лошадка?

— Очень, товарищ генерал.

— Берите с собой. Это вам подарок... Пусть она будет с вами в батальоне...

— Благодарю, товарищ генерал.

Не дожидаясь машины, я верхом на Лысанке отправился в свой батальон.

2

Мы с вами уже договорились — природу не описывать. Другие это сделают лучше.

Когда-нибудь после войны вы приедете летом ко мне в гости: увидите, как хорош Казахстан, опишете окрестности Алма-Аты, станицу Талгар и бурную горную речку Талгарку.

В станице я разыскал здание сельскохозяйственного института, где расположился батальон. Познакомился с начальником штаба, худощавым подвижным казахом Рахимовым, вчерашним агрономом, еще одетым в штатское. На его пиджаке поблескивал значок альпиниста, но мой альпинист не умел ни встать по уставу, ни доложить.

Вместе с ним я обошел помещение. Всюду полным-полно, но в военной форме только я один. Люди бродили по коридорам; в одной комнате пели; из коридора перекликались через окна с женщинами. Никто не скомандовал «смирно!», никто не приветствовал командира.

Я увидел окурки на полу, тяжело вздохнул и приказал построить батальон.

Строились неумело, долго. Я стоял в стороне, смотрел и думал. Представьте себе этот строй: многие вышли в майках, некоторые — в тапочках, кто посолиднее — в пиджаках. Одни в кепках, другие с непокрытой головой.

Альпинист кое-как подровнял ряды, скомандовал «смирно!» и уставился на меня, вместо того чтобы доложить. Я опять вздохнул и подошел к строю.

Поздоровался. Ответили, кто как сумел.

Представившись, я сообщил, что назначен командиром батальона, затем сказал:

— Вы еще носите гражданскую одежду, но Родина уже поставила вас в строй. Некоторые из вас одеты в хорошие костюмы, другие попроще... Вчера вы были людьми разных профессий, разного достатка — вчера среди вас были и рядовые колхозники, и директора. С сегодняшнего дня вы бойцы и младшие командиры Рабоче-Крестьянской Красной Армии. А я ваш командир. Я приказываю, вы подчиняетесь. Я диктую свою волю, вы исполняете ее.

Я нарочно говорил очень резко.

— Каждый из вас будет выполнять все, что прикажу я. Вчера вы могли спорить с начальником; вчера вы имели право обсуждать: правильно ли он сказал, законно ли он поступил? С сегодняшнего дня Родина отбирает у вас это право. С сегодняшнего дня у вас один закон — приказ командира.

Вижу, некоторые смотрят косо,— одним махом всю демократию ликвидировал. Я продолжал:

— Кто придерживается иного мнения, тот может положить его в конверт и, пока мы близко от дома, отослать домой. Воинский порядок суров, но этим держится армия. Хотите отразить врага, который ринулся поработить нашу страну? Знайте, так надо для победы!

Затем кратко сказал о честности, совести и чести. Честность перед Родиной, перед своим правительством, перед командиром — высшее достоинство воина. Честен тот, у кого есть совесть.

— Пусть у тебя есть знания и способности,— говорил я,— пусть у тебя есть ловкость и сноровка, но если ты не имеешь совести, не жди от меня пощады!

И наконец честь. Это я объяснил по-своему. Есть две казахские поговорки. Одна говорит: «Заяц умирает от шороха камыша, герой умирает из-за чести». В другой всего три слова: «Честь сильнее смерти».

Я произнес эти поговорки по-казахски и перевел на русский. В батальоне была лишь одна треть казахов, остальные — русские и украинцы.

Когда я закончил, из строя раздался смелый голос:

— Товарищ комбат, разрешите сказать...

На полшага из шеренги выдвинулся дюжий парень с завидным румянцем, в легкой черной рубашке.

— Не разрешаю,— сказал я.— Здесь не митинг. Командиры рот, развести подразделения!

Такова была моя первая речь, первое знакомство с батальоном.

3

Я шел коридором в приготовленную для меня комнату.

— Товарищ комбат! Разрешите сказать...

Передо мной стоял он же — тот, кто первый назвал меня комбатом. Волосы, еще не снятые машинкой, на затылке были подстрижены наголо, а из-под кепки курчавился чуб.

— Как фамилия? — спросил я.

— Боец Курбатов.

Он держался по-военному, вытянувшись в стойке «смирно».

— В армии служил?

— Нет, товарищ комбат. Служил в железнодорожной военизированной охране.

— Вот, товарищ Курбатов: прежде чем обратиться к комбату, надо иметь на это разрешение командира роты. Ступайте к нему.

— Он, товарищ комбат, не принимает во внимание... Я насчет охраны... Задняя дверь, товарищ комбат, не охраняется. Калитка тоже. А вдруг, товарищ комбат...

«Молодец!» — подумалось мне. Мне нравились его порыв, его настойчивость, открытый взгляд, развернутые плечи, но я произнес иное:

— Кру-гом!

Курбатов вспыхнул. Взгляд стал пристальным, недобрым. Я понимал его, но тоже смотрел пристально. Мгновение поколебавшись, Курбатов по-солдатски повернулся и зашагал по коридору. Даже покрасневшая шея казалась оскорбленной.

Я сказал Рахимову, который был возле:

— Товарищ начальник штаба, бойца Курбатова назначьте командиром отделения.

Сзади меня кто-то тронул. Обернувшись, я заметил неуверенно отдернутую руку.

— А я к своему командиру обращался. Он сказал: к вам, товарищ комбат...

Я увидел человека в очках. Это была первая встреча с Муриным. В пиджаке, с галстуком, немного съехавшим набок, он говорил улыбаясь и не зная, куда девать руки. Тонкие кисти и бледное удлиненное лицо почти не загорели, несмотря на то что стоял июль.

— Я нестроевик, товарищ комбат, а попросился в батальон,— объявил он с гордостью.— Я доказал, что в очках у меня полная коррекция. Вон на потолке — посмотрите, товарищ комбат,— муха! Я ее ясно вижу.

— Хорошо, товарищ, убедился. Дальше.

— Но и в батальоне, товарищ комбат, меня зачислили в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел. Я прошусь, товарищ комбат, в строй. Хочется, товарищ комбат, пулеметчиком!

Узнав фамилию, я сказал:

— Это можно, товарищ Мурин. Переведу. Идите.

Но он, казалось, не был уверен, что дело на этом кончено. Ему не терпелось привести дополнительные доводы.

— Я слышал вашу речь, товарищ комбат. Это совершенно правильно. Каждый ваш приказ, товарищ комбат, будет для меня законом.

— Идите,— повторил я.

Он взглянул с удивлением и как ни в чем не бывало продолжал:

— Я, товарищ комбат, музыкант. Аспирант консерватории. Но теперь, товарищ комбат, все должны стрелять!

Для убедительности он повертел пальцами.

Я крикнул:

— Как вы стоите? Руки!

Мурин оторопело вытянулся.

— Я два раза сказал вам — идите! А вы? Вам кажется, что вы проситесь на самое трудное — стрелять. Нет, товарищ Мурин, самое трудное, самое тяжелое в армии — подчиняться!

Мурин открыл было рот, желая что-то возразить, но я продолжал:

— Вам множество раз покажется, что командир несправедлив, вы захотите поспорить, а вам крикнут: «Молчать!» Я вам это обещаю. Идите!

Мурин отошел.

4

В этот день я знакомился с командирами рот и взводов, составлял строевое расписание, занимался караулами, связью, хозяйством и лишь поздно вечером остался один.

Достав из полевой сумки уставы пехоты, которыми меня снабдили в штабе, я принялся читать, потом отодвинул их и стал думать.

Идет Великая Отечественная война. Гитлеровцы с каждым днем все глубже врезаются в нашу территорию. Сейчас, месяц спустя после вторжения, они уже добрались до Смоленска, перешагнули Днепр и, судя по карте, стремятся быстро захватить Ленинград, Москву и Донбасс. Их ставка, тактика и вера — молниеносность. Они рассчитывают покончить с нами прежде, чем мы развернем резервы.

Когда же Генеральный штаб Красной Армии вызовет на фронт нашу дивизию? Сколько дней, сколько недель нам будет дано для обучения?

События развиваются столь быстро, обстановка на фронте столь напряженна, что Верховное Главнокомандование может оказаться вынужденным послать нас в бой через три-четыре недели.

Как в такой неимоверно сокращенный срок превратить семь сотен людей, неспокойно спящих сейчас под этой крышей, с домашними котомками под нестрижеными головами,— здоровых, честных, преданных Родине, но не военных, не вышколенных армейской дисциплиной,— как превратить их в боевую силу, способную устоять перед врагом и стать страшной для него?

Вам, быть может, покажется странным, но в эту ночь, когда я думал о великой войне, о фронте, куда скоро отправлюсь с батальоном, думал о жизни и смерти, о самом большом, самом главном, на чем не часто сосредоточивается мысль, мне вспомнилась «лошадиная история». Генерал Панфилов хохотал, выслушав ее, я смеялся вместе с ним, а между тем...

Вспомнилось, как меня — вольного казаха, степного коня, не выносящего узды,— делали солдатом. Тяжело, невыносимо тяжело дались мне первые месяцы в армии. Мне казалось унизительным: подходить к командиру бегом, стоять перед ним смирно, выслушивать повелительное

и краткое: «Без разговоров! Кру-гом!» Внутри все бунтовало: «Почему без разговоров? Что я ему — раб? Что я — не такой же человек, как он?»

И не только внутри. Я бледнел и краснел, дерзил, не покорялся.

Знаете, как в конце концов со мной поступили? Отправили на командные курсы, самого сделали средним командиром — офицером Красной Армии.

Постепенно я уразумел абсолютную необходимость беспрекословного подчинения воле командира.

На этом зиждется армия. Без этого люди, даже пламенно любящие Родину, не будут побеждать в бою.

Но как этого добиться поскорей? Ведь в нашем распоряжении лишь считанные дни, немногие недели... Как в такой срок создать дисциплинированную, обученную, страшную для врага силу, имя которой батальон?

Табачный марш

1

Не буду во всех подробностях рассказывать, как шла подготовка бойцов.

Опишу лишь один марш, который в батальонных сказаниях, пока не записанных никем, назван «табачным маршем».

Минуло семь-восемь дней, как я принял батальон. Мы были уже обмундированы и вооружены; уже работали с винтовкой, окапывались, перебегали, ползали, маршировали.

Однажды вечером мы получили приказ: выступить с рассветом в пятидесятикилометровый марш, достичь одной отметки в долине реки, заночевать там и к исходу следующего дня, вновь проделав те же пятьдесят километров, вернуться в Талгар. Столь же тяжелые маршруты были даны и другим батальонам — генерал Панфилов втягивал дивизию в переходы.

Люди с вечера готовились к маршу, ночью отдыхали, а на зорьке, когда еще не выкатилось солнце, батальон был выстроен.

Вам, не побывавшему солдатом, наверное, показалось бы, что перед вами грозная воинская часть: ряды хорошо выровнены; на винтовках поблескивают новенькие штыки; бойцы, как один, в полном походном снаряжении; как один — в скатках, с противогазами и саперными лопатками в зеленоватых невыцветших чехлах, со стальными касками, приторoченными к вещевым мешкам; на поясных ремнях, слегка оттягивая их, висят гранаты и подсумки с боевыми патронами — по сто двадцать на бойца.

Слегка оттягивая... А у многих и не слегка — глаз сразу отметил это. Я видел нетуго свернутые, разбухшие скатки; вещевые мешки с неподтянутыми лямками; гранатные сумки, свисающие на живот. Лишь немногие выделялись настоящей солдатской подгонкой. Среди таких был Курбатов.

Вызвав Курбатова из строя, я сказал:

— Товарищи! Вот младший командир, который подготовил снаряжение для марша, как положено солдату; на марше ему будет легче, чем другим. Посмотрите, как у него все прилажено, как подтянут у него ремень! Я двадцать раз объяснял вам это, показывал, но вы все-таки не понимаете. Наверное, мой язык недостаточно остер. Больше говорить я не буду, а предоставлю слово вашей скатке, вашей лопате, вещевому мешку. Пусть они поговорят с вами. Думаете, у них нет языка? Есть! И поострей, чем у меня! Боец Гаркуша, ко мне!

Подбежал всегда улыбающийся курносый Гаркуша. Гранатная сумка сползала у него наперед и болталась на ходу.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Курбатовым. Боец Голубцов, ко мне!

У Голубцова скатка была так толста, что налезала на щеку. Вещевой мешок лежал не на спине, а на мягком месте.

— К маршу готов?

— Готов, товарищ комбат.

— Становись рядом с Гаркушей.

Набрав таким образом человек десять, на которых все особенно обвисло, я поставил их в голове колонны,

— Батальон, смирно! Напра-во! За мной, шагом марш!

Мы двинулись.

Я пошел рядом с теми, кого вызвал, косяя на них глазом. Минут десять — пятнадцать они шагали легко. Гранатная сумка все время чуть-чуть постукивала Гаркушу между ног. Наконец к сумке потянулась рука, чтобы сдвинуть.

Голубцову захотелось оттолкнуть скатку — грубый шинельный ворс стал натирать шею.

Третьего саперная лопатка ударяла по заду.

Они на ходу поправляли — это не помогало.

Еще через десять минут Гаркуша перегнулся назад и выпятил живот, чтобы сумка не болталась. Поймав мой взгляд, он через силу улыбнулся. Голубцов, вертя шеей, старался лицом отпихнуть скатку. Ему стал досаждать и вещевой мешок. Сунув руку под лямку, Голубцов хотел незаметно подтянуть мешок вверх. А Гаркуша уже не выпячивал живота. Он шел скособочившись и замедляя шаг.

Я приказал:

— Гаркуша! Шире шаг! От Курбатова не отставать!

Проклятая сумка опять стала ударять.

Так мы прошли шесть километров. Я опять показал бойцам Курбатова, потом крикнул:

— Гаркуша, ко мне!

Он подбежал, согнувшись. В строю засмеялись.

— Ну, Гаркуша, докладывай. К маршу готов?

Он мрачно молчал.

— С гранатной сумкой говорил?

— Говорил.

— Ну, расскажи бойцам, что она тебе сказала.

Он молчал.

— Расскажи, не стесняйся!

— Чего им рассказывать? Наш брат словам не верит, дай, скажет, пощупать.

— Ну, пощупал?

— Я-то ее не щупал, а вот она...

Бойцы хохотали. Отведя душу, смеялся и он.

Я подозвал Голубцова — вспотевшего, с натертой докрасна шеей.

— Посмотрите-ка, товарищи, теперь на этого. С тобой скатка побеседовала? Вещевой мешок беседовал? Расскажи, чему они тебя учили?

Заставил и Голубцова говорить перед бойцами. Так, од-

ного за другим, продемонстрировал всех, кого особенно помучили вещи. Потом сказал:

— Кому тяжело идти, когда толста скатка, когда гранатная сумка не на месте, вещевой мешок не на месте? Бойцу или командиру батальона? Бойцу! Я двадцать раз это объяснял, но вы, наверное, думали: «Ладно, сделаем для него, чтобы не приставал!» И делали кое-как. А оказалось не «для него», а для себя. Некоторым вещи уже втолковали это. Сейчас, на привале, пусть каждый заново подгонит снаряжение. Если увижу, что и теперь кто-нибудь меня не понял, того вызову из строя — пусть при мне побеседует с вещами, пусть убедится, что у них язык поострей, чем у меня.

После этого привала мне уже не пришлось никого вытаскивать из строя. Никто не захотел беседовать с вещами.

2

Батальон опять двинулся.

Пятьдесят километров по июльскому солнцу — нелегкая дистанция, особенно для людей, не втянутых в походы.

Смотрю, роты растягиваются, кое-кто начинает отставать. Сделал замечание командирам. Через некоторое время проверяю строй вновь. Замечания не помогли, колонна растягивается все длиннее. Поговорил с командирами резче. Опять не подействовало. Командиры сами устали, некоторые ковыляли.

Я выехал вперед и крикнул:

— Передать по колонне: командира пулеметной роты в голову колонны!

Через четверть часа прибежал, запыхавшись, длинноногий Заев.

— Товарищ комбат, явился по вашему приказу!

— Почему ваша рота растянулась? Когда будете соблюдать дистанцию? Пока не наведете порядка, до тех пор буду вызывать в голову колонны. Всё. Идите!

А ведь бежать в обгон батальонной колонны не легко: это почти километр.

Потом таким же манером вызвал командира второй роты Севрюкова. Это был пожилой человек, до войны главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате. Нагнав меня, он не сразу отдышался.

Выслушав, Севрюков сказал:

— Людям, товарищ комбат, очень тяжело. Нельзя ли сложить часть груза на повозки?

Я ответил:

— Выбейте эту дурь из головы!

— Но тогда как же, товарищ комбат, быть с отстающими? Как заставить, если человек не может?

— Чего не может? Выполнить приказ?

Севрюков промолчал.

По одному разу все командиры рот побывали у меня.

Но для Севрюкова оказалась недостаточной первая прогонка. В хвосте его роты тащились отстающие.

Я посмотрел на него — сорокалетнего, усталого, шагающего впереди роты. С седоватых, аккуратно подстриженных висков по запыленному лицу скатывались струйки пота. Неужели надо заставлять его еще раз бежать? Ведь ему так трудно это. Но как быть?

Он жалеет людей, я пожалею его, а потом... Что будет с нами потом — в боях?

Я послал лошадь рысью и, выехав вперед, крикнул:

— Командира второй роты в голову колонны!

На этот раз помогло.

Вновь пропуская строй, я увидел: Севрюков шел уже не впереди, а позади роты. Он выглядел злее, энергичнее, и даже голос изменился: ко мне донесся резкий командирский окрик.

Вся колонна подтянулась, обозначались четкие просветы между взводами, никто не отставал.

Так мы и пришли на место, покрыв пятьдесят километров без единого отставшего.

Но люди устали. После команды «разойтись!» все пластом повалились на траву. Все думали: скоро раздадут обед, поедим — и спать.

Но не тут-то было.

3

На марше с нами следовало, как положено, несколько походных кухонь. Однако когда мы пришли к месту ночевки, я приказал дров для кухонь не готовить, продукты в котлы не закладывать, а раздать продукты сырыми на руки бойцам по установленной красноармейской норме:

мяса — столько-то граммов, крупы — столько-то, жира — столько-то и так далее.

У командиров, у бойцов — глаза на лоб. Ведь все сырое, что с этим делать? Многие во всю жизнь никогда не стряпали, не знали, как сварить суп. Поднялся шум:

— У нас есть кухня! Нам обязаны варить обед в кухнях.

Я гаркнул:

— Замолчать! Исполнять, что сказано! Пусть каждый боец сам себе готовит ужин!

И вот в широкой казахстанской степи, на берегу реки Или, запылало множество костров. Некоторые мои бойцы были так утомлены, так раскисли, что не стали варить, а повалились спать голодными. У некоторых подгорела каша, ушел суп — они больше испортили, чем съели. Для них это был первый урок кулинарии.

Утром я опять велел не разжигать кухонь, а раздать паек на руки бойцам.

Затем, после завтрака, батальон был построен, и я обратился с речью к бойцам. Она была примерно такова:

— Первое: вы, товарищи, недовольны, что марш такой длинный, такой тяжелый. Это сделано нарочно. Нам предстоит воевать, предстоит пройти не пятьдесят и не сто, а много сотен километров. На войне, чтобы обмануть врага, чтобы нанести ему неожиданный удар, придется совершать марши подлиннее и потяжелее, чем этот. Это цветики, а ягодки будут впереди. Так закалял своих солдат, прозванных чудо-богатырями, прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов. Он оставил нам завет: «Тяжело в ученье — легко в бою!» Хотите драться по-суворовски? Кто не хочет — два шага вперед.

Из строя никто не вышел. Я продолжал:

— Второе: вы недовольны, что при наличии кухонь вам выдали сырое мясо и заставили усталых варить в котелках суп. Это тоже сделано нарочно. Вы думаете, что в бою кухня будет всегда у вас под боком? Ошибаетесь! В бою кухни будут отрываться, отставать. Выпадут дни, когда вы будете голодать. Все слышите? Будете голодать, будете сидеть без курева — это я вам обещаю. Такова война, такова жизнь солдата. Иной раз сыт по горло, а иной раз в желудке пусто. Терпи, но не теряй воинскую честь! Голову держи вот так! Каждый должен уметь готовить. Какой из тебя солдат, какой из тебя воин, если ты не

умеешь сварить себе похлебку? Я знаю, некоторые из вас никогда сами не готовили. Знаю, многие вечерком приходили в ресторан и кричали: «Эй, официант, сюда! Кружку пива и бифштекс по-гамбургски!» И вдруг вместо бифштекса — поход на пятьдесят километров, да еще тащи на себе два пуда солдатской поклажи, да еще вари похлебку в котелке! Когда варили, вы ненавидели меня. Верно?

Раздались голоса:

— Верно, товарищ комбат! Верно!

Между мною и бойцами пробежала искорка, заструился ток. Я понимал их, они понимали комбата.

4

Мы отправились в обратный путь.

К нашему лагерю, в Талгар, вело прекрасное гравийное шоссе. По такому шоссе легко идти.

Легко? Значит, к черту шоссе, дальше от шоссе! Разве на войне мы будем ходить по гравию?

Я приказал вести людей не по шоссе, а взять на сто — двести метров в сторону. По пути камни — иди по камням; по пути овраг — пересекай; по пути песок — шагай!

Стоял безветренный день. Нещадно жарило солнце. Воздух казался струящимся. Это бывает: с накаленной, как печка, земли бегут вверх прозрачные струйки.

Я знал: людям трудно, но знал и другое: так нужно для войны, так нужно для победы.

На склоне, обжигаемом солнцем, встретилось большое табачное поле. Бойцы пошли по тропинке через поле. Табак — казахстанская махорка — высился в рост человека. Ни одно дуновение не колебало широких пахучих, распаренных солнцем листьев.

Бойцы шли. И вдруг, когда половина поля была пройдена, когда батальон втянулся в табачные заросли, люди начали падать.

Что такое? Валится один, другой, десятый... Я испугался. Нас словно настигла страшная, мгновенно действующая эпидемия. Люди падают без стона и лежат, как мертвые.

Быстро разгрузили повозки, сняли пулеметы, минометы, боеприпасы и кое-как вывезли упавших на бугор, к

арыку. Там, далеко от табачных испарений, люди очнулись.

Но батальона уже не было, роты перемешались. Бойцы сидели и лежали, стонали, смачивая головы водой: некоторых рвало.

Я видел нашего фельдшера, голубоглазого старика Киреева, человека добрейшего сердца. Он хлопотал, раздавая порошки. Ему помогал политрук Бозжанов. Раздобыв ведерко, Бозжанов таскал воду из арыка и ходил с фельдшером, поднося воду лежавшим.

В этой группе никто не встал, когда подошел я — комбат.

— Встать! — скомандовал я.

Лишь некоторые исполнили команду. Охая, поднялся Курбатов.

— Курбатов, ты?

— Ох, я, товарищ комбат...

Неужели это он, которым я гордился, которого показывал бойцам? Э, как его скрутило!

— Чего раскис? Как стоишь перед командиром?

Курбатов сделал усилие, выпрямился, развернул грудь и встал, как положено стоять бойцу.

Я подошел к другому.

— Почему не встаешь? Встать! Где винтовка?

— Ох, товарищ комбат... Не знаю, товарищ комбат.

— Как стоишь? Сейчас же явись ко мне с винтовкой!

— Как же я найду? Я и ходить-то...

— Исполнять приказ!

— Сейчас, товарищ комбат... Очки где-то потерял...

А, Мурин! На длинном носу появились запасные очки. Мурин, ковыляя, побрел отыскивать винтовку.

Я приказал командирам выстроить роты на шоссе для продолжения марша.

Через четверть часа выстроились. Я выехал к батальону. Как плохо стоят! Головы понурены, глаза замутнены, многие по-стариковски оперлись на винтовки.

— Батальон, смирно! На пле-ечо! Шагом марш!

Роты двинулись. Но люди еле шли — не в ногу, не равняясь; некоторые прихрамывали, у иных винтовки, как пьяные, елозили на скатках. Не шли, а тащились. Нет, так мы не дойдем!

Обогнав колонну, я крикнул:

— Стой! — Затем объявил бойцам: — Отсюда до того

дерева вы должны пройти строевым шагом! Пока не промаршируем, до тех пор не сойдем с этого места. Первая рота, равняйсь!

Знаете ли вы, что такое строевой шаг? Парад на Красной площади. Все враз поднимают ноги и с силой ставят их всей ступней — печатают шаг.

До дерева было метров двести.

Пошла первая рота.

— Плохо! Отставить! Назад!

Рота вернулась и пошла снова.

— Опять плохо! Отставить! Назад!

Я злился, но разозлились и они.

Пошли третий раз. Ну и дали шаг! Так отстукивали, так ударяли ступней, что невольно подумалось: не разобьют ли шоссе?

Еще минуту назад я ненавидел раскисших людей, они злились на меня — вдруг в душу хлынула любовь...

— Молодцы! Молодцы!

У меня радостно вырвалось это.

— Служим Советскому Союзу! — под левую ногу прокричала рота.

И подошвы тяжелых солдатских ботинок еще крепче ударяли все враз.

Мужественные, сильные, они шагали, как на Красной площади.

Так я пропустил все роты. Вторую и третью тоже пришлось возвращать, пока не промаршировали строевым шагом двести метров.

Последней проходила пулеметная рота. Бойцы с места взяли ногу. В первой шеренге шагал длинный Мурин. Он изо всей силы ударял ступней; правая рука, словно под музыку, отбивала такт; очки сияли; на лице написано истинное удовольствие.

5

Близ Талгара к нам на малорослом уральском маштачке подъехал генерал Панфилов. Он встречал возвращающиеся батальоны.

Все подтянулись, увидев генерала; роты по команде опять дали строевой шаг. У усталых, но марширующих в ногу бойцов опять были гордо вскинуты головы: вот каковы мы!

Панфилов улыбнулся. От маленьких глаз по загорелой, словно прожаренной, коже побежали мелкие морщинки. Привстав на стременах, он крикнул:

— Хорошо идете! Спасибо, товарищи, за службу!

— Служим Советскому Союзу!

Батальон гаркнул так, что маштачок шарахнулся. Панфилов невольно подхватил повод, покачал головой и засмеялся.

Теперь и я прокричал эти слова вместе с бойцами. Я отвечал не только генералу. Я мог бы любому бойцу, любому командиру, собственной совести, всякому, кто вслух или безмолвно спросил бы меня: «Зачем ты так суров?» — с гордостью ответить точно так же: «Служу Советскому Союзу!»

Мы вернулись в срок.

Я оглядел роты, выстроившиеся вокруг меня четырехугольником. Красноармейцы стояли осунувшиеся, почерневшие, сбросившие лишний жирок, в пропотевших пилотках, в тяжелых запыленных ботинках, с винтовками, взятыми к ноге. Они измучились: у них гудели ноги. Сейчас им хотелось лишь одного — прилечь, но они терпеливо ждали команды; они не наваливались по-стариковски на винтовки и, встречая взгляд командира, расправляли плечи.

Это были уже не те, что впервые выстроились здесь — в кепках, пиджаках и майках; не те, что в новеньком, неумело пригнанном походном снаряжении выходили на рассвете в первый большой переход,— теперь это были солдаты, с честью выдержавшие первое воинское испытание.

«Плохо, товарищ Момыш-Улы!»

1

Хотелось бы рассказать еще многое о том, как мы готовили себя к боям, как приезжал в батальон генерал Панфилов, как он беседовал с бойцами, как повторял и им и мне: «Победа куется до боя».

Но... минуем все это.

К нам подошло наконец то, ради чего мы взяли винтовки, ради чего учились ремеслу солдата, ради чего в армии стоят перед командиром «смирно» и, никогда не прекословя, повинуются ему. К нам подошло то, что зовется боем.

Прибыв под Москву, мы заняли рубеж близ Волоколамска. К этой линии тринадцатого октября вышел противник — моторизованная, вышколенная разбойничья армия, прорвавшая далеко на западе наш фронт, совершающая бросок к Москве — последний, как казалось немцам, бросок «молниеносной» войны.

В этот же день, тринадцатого, когда разведка впервые донесла, что перед нами немцы, в батальон, как вы знаете, приехал генерал Панфилов.

Выпив два стакана крепкого чая, Панфилов взглянул на часы и сказал:

— Спасибо, товарищ Момыш-Улы. Хватит. Пойдемте на рубеж.

Мы вышли. Неподалеку, на опушке, генерала ждала машина. Задние колеса были туго обмотаны цепями; в стальные звенья набился потемневший спрессованный снег.

Вокруг все было в снегу. В эти дни установилась санная погода. Чуть подмораживало. С неба, заволоченного облаками, исчезло светящееся белесое пятно, за которым среди дня угадывалось солнце; на горизонте проступили скупые желтоватые тона. Но в снежной белизне вечер казался светлым.

Через пять минут мы были в расположении второй роты.

Легко спрыгивая в траншеи, Панфилов залезал под накаты, разглядывая сквозь прорези даль, проверяя сектор обстрела; пробовал, беря винтовку и прикладываясь, удобно ли стрелять; задавал бойцам обыденные вопросы: «Как кормят?», «Хватает ли махорки?» Отвечая, на него смотрели ждущими глазами.

По окопам пронеслась весть, принесенная разведчиками: перед нами немцы. Панфилов разговаривал, шутил, но взгляды оставались ожидающими — бойцы, казалось, ждали: вот-вот генерал произнесет какое-то особенное слово, которое надо знать в бою, от которого вражья сила станет не страшна.

Побывав в нескольких окопах, Панфилов молча шел по берегу темной, незамерзшей Рузы. Он смотрел вниз, как всегда, когда задумывался.

К генералу подбежал, поправляя на ходу шапку, из-под которой выглядывали аккуратно подбритые седоватые виски, командир роты Севрюков. За ним, держа дистанцию в три-четыре шага, не отставая и не нагоняя, бежали несколько красноармейцев.

Выслушав рапорт, Панфилов спросил:

— А это что у вас за свита?

— Мои связные, товарищ генерал.

— Так везде и бегают за вами?

— А как же, товарищ генерал, вдруг что-нибудь...

— Хорошо, очень хорошо. И окопы у вас, товарищ Севрюков, построены толково.

Немолодое лицо бывшего главного бухгалтера покраснело от удовольствия.

— Я подумал так, товарищ генерал,— рассудительно заговорил он,— вдруг вы пожелаете собрать роту, побеседовать. А связные тут как тут. Это, товарищ генерал, скороходы. Прикажите, товарищ генерал, и через двадцать минут рота будет здесь.

Панфилов достал часы, взглянул, подумал.

— Через двадцать минут? Здесь?

— Да, товарищ генерал.

— Хорошо, очень хорошо... А скажите, товарищ Севрюков, через сколько минут вы могли бы сосредоточить роту там?

Быстро повернувшись, Панфилов указал на другой берег Рузы.

— Там? — переспросил Севрюков.

— Да.

Севрюков посмотрел на указательный палец генерала, затем на точку, куда вела от пальца воображаемая прямая линия. Было еще достаточно светло, чтобы ясно разглядеть: палец показывал лес на противоположном берегу.

Но Севрюков все-таки спросил:

— На ту сторону?

— Да, да, на ту, товарищ Севрюков.

Севрюков посмотрел на черную воду, повернул голову туда, где в полутора километрах находился скрытый за выступом берега мост, достал платок, неловко высморкался и опять уставился на воду.

Панфилов молча ждал.

— Я не знаю... Через брод, товарищ генерал? Там в середине выше пояса. Намочу людей, товарищ генерал.

— Нет, зачем мочить? Не лето... Давайте как-нибудь немочеными будем воевать. Ну, товарищ Севрюков, через сколько же минут?

— Не знаю... Тут будут не минуты, товарищ генерал.

Панфилов обернулся ко мне.

— Плохо, товарищ Момыш-Улы! — отчетливо проговорил он.

Впервые генерал Панфилов сказал мне «плохо». Этого не случалось раньше, этого не бывало и потом, во время боев под Москвой.

— Плохо! — повторил он.— Почему не подготовлены переходные мостики? Почему нет плотов, лодок? Вы зарылись в землю, зарылись грамотно, толково. Теперь вы только ждете, когда вас стукнет немец. Это уже бестолково. А что, если будет выгоден встречный удар? Что, если вам самим представится возможность стукнуть? Вы к этому готовы? Противник сейчас обнаглел, самоуверен, этим надо пользоваться. У вас, товарищ Момыш-Улы, это не продумано.

Он говорил сурово, без обычной мягкости, ничем на этот раз не сглаживая резкости. Став «смирно», покраснев, я выслушал выговор.

2

Генерал опять обратился к Севрюкову:

— Значит, товарищ Севрюков, не сумеете быстро там сосредоточиться? Плохо! Поразмыслите об этом. А фланговое перестроение сколько времени у вас займет?

— Фланговое перестроение? Какую занять линию, товарищ генерал?

Панфилов указал на опушку, где был скрыт командный пункт батальона, откуда, перерезав белое поле колеей, уже неразличимой в сумерках, нас доставила сюда машина.

— Вот вам линия, товарищ Севрюков: от леса и до берега. Задача — прикрыть батальон с фланга.

Севрюков подумал:

— Пятнадцать — двадцать минут, товарищ генерал.

Панфилов оживился:

— Не сочиняете ли? Ну-ка, ну-ка... Командуйте, товарищ Севрюков. Засекаю время.

Севрюков козырнул, повернулся и не торопясь пошел к связным. С полминуты он молча оглядывал местность. Я кричал ему взглядом: «Чего мнешься? Не будь мямлей! Скорее, скорее!» И вдруг услышал хрипловатый шепот:

— Молодец, думает!

Панфилов с улыбкой шепнул мне это. Лицо перестало быть строгим. Он с любопытством следил за Севрюковым.

А Севрюков уже указывал связным ориентиры. Мы услышали:

— Пулеметный взвод прикрывает, потом отходит последним... Муратов, бегом!

Панфилов, не удержавшись, кивнул. Сорокалетний лейтенант, бывший главный бухгалтер табачной фабрики в Алма-Ате, ему явно нравился.

А Муратов, маленький крепыш татарин, уже мчался по берегу, выбрасывая сапогами комья снега. К лесу побежал высокий Белвицкий, до войны студент педагогического техникума. Он стал маяком на линии, которую наметил генерал. У меня мелькнуло: «Ошибка! Под обстрелом так не постоишь!» Но Севрюков уже яростно махал ему рукой, показывая, чтобы пригнулся. Белвицкий не понимал. Севрюков сам присел, и тот догадался.

А в сгущающихся сумерках показалась наконец первая бегущая к лесу цепочка. Я распознал могучую фигуру Галлиулина, согнувшегося на бегу под телом пулемета, но даже и теперь возвышающегося над другими.

Пулеметный взвод залег.

Минуя его, к опушке неслись стрелки с едва различимыми отсюда черточками взятых наперевес винтовок. Вот они уже падают в снег — на белом поле появляется темный пунктир новой оборонительной линии.

Мне казалось: часы, которые держал, изредка поглядывая на них, Панфилов, будто отстукивают во мне. Каждый удар выбивал: «Хорошо, хорошо, хорошо!» Поймете ли вы меня? Ведь это же был мой батальон, мое творение, куда я вложил все, чем обладал; батальон, о котором, по уставу, мне положено говорить: «я». И вдруг опять поду-

малось: «А сумеем ли мы так сманеврировать под обстрелом, когда над полем будут проноситься пули, когда с грохотом будут рваться снаряды и мины? Что, если тогда кто-нибудь панически крикнет: «Окружают!» — и кинется в лес? Что, если от него заразятся и бросятся за ним другие? Нет, нет! Такого на месте уничтожат командиры, такого пристрелят сами бойцы!» А часы — или сердце — отстукивали: «А уверен ли ты? А уверен ли ты?» Стиснув зубы, я отвечал: «Уверен, уверен, уверен!»

Бойцы уже пробегали подле нас и ложились неподалеку, сразу пуская в ход саперные лопатки и насыпая перед собой холмики снега. К Севрюкову вернулись его скороходы.

Над полем, уже подернутым фиолетовыми тонами, опять появился силуэт Галлиулина с телом пулемета на богатырской спине. Пулеметный взвод, прикрывший перестраивающуюся роту, отходил, занимая место в ряду. Теперь бежал кто-то один, отставший. Севрюков следил за ним взглядом. Дождавшись, когда и этот плюхнулся в снег, Севрюков подошел к Панфилову:

— Товарищ генерал! Согласно вашему приказанию, рота произвела фланговое перестроение. Занята указанная вами линия обороны.

Панфилов, сощурившись, вглядывался в часы.

— Чудесно! — воскликнул он.— Восемнадцать с половиной минут. Отлично, товарищ Севрюков! Отлично, товарищ Момыш-Улы! Теперь не уйду, пока не скажу бойцам «спасибо». Ежели с таким народом мы немцев бить не будем, тогда куда же мы годны? Каких бойцов нам еще надо? Давайте-ка роту сюда, товарищ Севрюков.

Опять понеслись гонцы, и вскоре взводными колоннами, бегом, рота собралась возле генерала. Севрюков выровнял строй, скомандовал «смирно!» и доложил генералу. В сгустившейся темноте лица стали невидимы, но контуры строя были резко обозначены.

Панфилов не любил произносить речи, он обычно предпочитал беседовать с сидящими вокруг бойцами, но на этот раз обратился к роте со словом — правда, очень кратким, занявшим всего две-три минуты.

Не удерживая радости, он похвалил бойцов.

— Как старый солдат скажу вам, товарищи,— негромко говорил он,— с такими бойцами генералу ничто не страшно.

Даже не видя лица, по голосу можно было угадать, что он улыбается. Помолчав, он спросил, словно обращаясь к самому себе:

— Что такое боец? Боец всем подчиняется, перед каждым командиром стоит «смирно», исполняет приказания. Это нижний чин, как говорилось раньше. Но что такое приказ без бойца? Это мысль, игра ума, мечта. Самый лучший, самый умный приказ так и останется мечтой, фантазией, если плохо подготовлен боец. Боеготовность армии, товарищи, это прежде всего боеготовность солдата. Боец на войне — решающая сила.

Я чувствовал, с каким вниманием слушают Панфилова.

— Когда роты действуют так, как только что действовали вы, так исполняют приказ, то... то не видать немцу Москвы. Спасибо, товарищи, за отличную боевую подготовку! Спасибо за службу!

Над полем громыхнуло:

— Служим Советскому Союзу!

И стало опять очень тихо.

— Спасибо, товарищ Севрюков,— сказал генерал, пожимая руку командиру роты.— С такими орлами и я орел!

В тишине это услышали все. И опять по голосу можно было угадать, что Панфилов улыбается. А бойцы? Улыбались ли? Ведь бывает же иногда так, что улыбка чувствуется сквозь темноту и сквозь безмолвие, но в том-то и была моя беда, мое мучение, что в этот вечер, после выговора, терзавшего меня, я не ощущал чудесного чувства слитности с бойцами, о котором я вам рассказывал, которое не раз, как награда, как счастье, приходило ко мне. Я не видел лиц. Может быть, люди улыбались, а может быть, все еще томились, все еще были невеселыми, все еще ожидали от генерала какого-то особенного слова — слова, которое помогает в бою, не сознавая, что слово это уже сказано.

Я не слышал дыхания роты, не видел ее лица. Это тоже, вместе с выговором, было наказанием за какую-то большую ошибку. В чем она?

Я перебирал в уме резкие слова генерала. «Даже и мысли об этом я не вижу»,— сказал он, указывая стрелкой удар по врагу. Мысли! Да, что-то мною не додумано, что-то мною не доделано. И не только в расположении минных

полей, в переправочных средствах, но и в душах бойцов. Но что именно? Эх, победа, одна победа в бою — вот что надобно нам!

Я проводил генерала до машины.

— Потщательнее ведите разведку,— говорил он, ступив на подножку.— Посылайте и посылайте людей вперед. Не надо им все время, скрючившись, сидеть на земле, пусть повидают немцев перед боем.

Он подал на прощание руку и, задержав мою в своей, продолжал:

— Знаете, товарищ Момыш-Улы, чего еще не хватает батальону? Один раз поколотить немцев!

Я вздрогнул. Это было как раз то, чего и я страстно желал.

— Тогда, товарищ Момыш-Улы, это будет не батальон — нет, это будет булат! Вы знаете, что такое булат? Узорчатая сталь, сталь с таким узором, который ничто в мире не сотрет! Вы поняли меня?

— Да, аксакал.

Я сам не знаю, как вырвалось у меня это слово. Я назвал Панфилова так, как Бозжанов называл меня, как мы, казахи, обращаемся к старшему в роде, к отцу.

Я ощутил его рукопожатие.

— Не ждите, а ищите случая. И как подвернется — бейте! Рассчитайте и бейте! Обдумайте это, товарищ Момыш-Улы.

И он снова спросил, подавшись ко мне, желая яснее видеть меня в полумраке:

— Вы поняли меня?

— Да, товарищ генерал.

Панфилов двумя руками, по-казахски, пожал мою руку. Это была ласка.

За ним захлопнулась дверца. С горевшими вполсвета фарами машина двинулась по снежному полю. А я стоял и стоял, глядя вслед генералу.

3

Ночью мы составили график.

Со свойственной ему деловитостью Рахимов вычертил табличку.

На рассвете три отделения — по одному от каждой стрелковой роты — разными дорогами отправились в раз-

ведку. Затем через каждые два часа, по графику, отделение за отделением уходило за реку, вперед, туда, откуда надвигались немцы. Бойцам ставилась задача: поглядеть. Пока больше ничего. Поглядеть, увидеть живого немца и вернуться.

Я хотел, чтобы бойцы уверились, что на нас идут не чешуйчатые, хвостатые чудовища, не лешие, не драконы с огнем изо рта, а люди. Люди с развращенной, разбойничьей душой, но с такими же телами, как у нас, с человеческой кожей, которую легко пробивают штык и пуля,— существа, которых можно убить.

Осторожно, держась опушек, бойцы подползали к деревням, тихо окликая колхозников, разузнавали, где немцы, сколько их. И, порасспросив, подкрадывались, чтобы поглядеть немцев. Первый раз это было жутковато, но бойцы шли. Шли вперед! Из-за кустов, из-за плетня, из ямы, со жнивья, с огородов они высматривали: каковы они собой, враги, идущие нас убить.

И отделение за отделением возвращалось. Красноармейцы наперебой рассказывали, как немцы ходили по селу, умывались, ели, стреляли кур, смеялись, о чем-то лопотали по-своему.

Рахимов спрашивал командиров отделений, выясняя численность и вооружение противника, его передвижения, и все тщательно записывал. А я, слушая те же донесения, всматривался в лица, ловил пульс батальона. Многие возвращались оживленными, но у некоторых во взгляде все еще стояла грусть — этих не покинул страх.

Одно отделение, во главе с Курбатовым, пришло особенно веселым.

Лихо козырнув и щелкнув каблуками, глядя на меня смеющимися черными глазами, Курбатов сказал:

— Разрешите доложить, товарищ комбат. Ваш приказ не выполнен.

— Как так?

— Вы приказали не стрелять, а у меня сорвалась рука. Я два раза выстрелил... И боец Гаркуша тоже.

— И что?

— Двоих уложил, товарищ комбат... Взяло за живое — они кабанчика у женщины отнимали... Она вцепилась в одного, лежит на земле, кричит. Он ее сапогом в лицо. Не выдержало сердце, приложился — хлоп, хлоп. И боец Гаркуша тоже. Так они у нас и ткнулись...

Гаркуша — тот, что когда-то на первом марше помучился с гранатной сумкой,— вставил словечко:

— А у меня, товарищ комбат, была еще причина.

— Какая?

Гаркуша посмотрел на товарищей, подмигнул:

— Наш брат глазам не верит, дай пощупать.

— Ну, как? Пощупал? Берет их пуля?

— Это, товарищ комбат, мало! Мне охота пощупать по-другому.

И Гаркуша отмочил такое, чего не пишут на бумаге.

Кругом расхохотались. Я с удовольствием прислушивался.

Ко мне подошли пулеметчики: степенный Блоха, Галлиулин, Мурин.

— Товарищ комбат, разрешите обратиться,— сказал Блоха.

Я разрешил. Блоха локтем подтолкнул Галлиулина. Мурин пихнул его сзади. Высоченный казах с черным блестящим лицом робко сказал:

— Товарищ комбат...

— Что тебе?

— Товарищ комбат, вы на нас сердитесь?

— Не сержусь.

— А почему, товарищ комбат, все ходят глядеть немца, а пулеметчики не ходят? Все видали, а мы нет. Боец Гаркуша стрелял немца, а мы нет.

— Куда же я пошлю вас с пулеметом? Пулеметы здесь нужны.

— А мы немножко, товарищ комбат, совсем немножко... И сразу прибежим...

Мурин не вытерпел:

— Товарищ комбат, мы за ночь обернемся. Мы и ночью поглядим. Подожжем что-нибудь, они и выскочат. И разрешите, товарищ комбат, стрельнуть хоть по одной обойме.

Да, в батальон сегодня пришло что-то новое.

Мурин был интересным человеком. Я несколько раз замечал, что он первый раскисал, когда раскисал батальон, и первый оживлялся, когда у всех крепчал дух. На нем, казалось, всегда оттискивался боевой чекан батальона, чекан, который то расплывался, то резко вырисовывался. Я знал: этот чекан еще не был узором булата, узором, который ничто в мире не сотрет.

О булате, как вы знаете, мне сказал Панфилов. Чем глубже я вдумывался в указания, которые он нам оставил, чем пристальнее всматривался в бойцов, вслушивался в донесения разведки, в слова и в интонации, тем яснее мне вырисовывалась одна идея.

И я сказал пулеметчикам:

— Хорошо, Галлиулин. Не останешься в обиде: завтра вам будет работа.

Попробуйте сразитесь с нами!

1

Идея была такова.

Километрах в двадцати впереди нас лежало большое село Середа, то самое, в котором тринадцатого октября начальник штаба Рахимов с конным взводом обнаружил немцев. От этого села лучами расходилось несколько столбовых дорог — на Волоколамск, Калинин и Можайск.

Сопоставляя донесения и рассказы бойцов и командиров, возвращающихся из разведки, опрашивая уходящих от немца жителей, мы установили, что в Середе противник устроил своего рода перевалочный пункт. Там расположились склады продовольствия, боеприпасов и горючего, там по пути следования ночевали немецкие части, направляющиеся затем на север — к Калинину и на юг — по дороге, ведущей в Можайск, охватывая с двух сторон нашу оборону.

Возникла мысль: не ударить ли по этому пункту самим, не ожидая удара немцев? Не совершить ли ночной налет на Середу?

Но Панфилов говорил: «Рассчитайте! Рассчитайте и бейте!»

Я отправил на рекогносцировку Рахимова во главе командирской разведки. Тридцатидвухлетний казах Рахимов был спортсменом и путешественником по призванию. Кажется, я уже говорил, что в Казахстане он приобрел некоторую известность как альпинист. Он ходил быстро и вместе с тем неторопливо. Кроме хладнокровия и редкой тщательности в исполнении приказаний, он обладал

еще одним незаменимым на войне свойством: даром ориентировки. Даже в темноте он, казалось, видел, как кошка.

С нетерпением я ожидал возвращения Рахимова. Отправившись под вечер четырнадцатого октября, он отсутствовал всю ночь и все утро. Наконец к полудню он прибыл. Да, все подтвердилось: в Середе действительно перевалочный пункт. Охрана несерьезна. По-видимому, немцы совершенно уверены, что на них не осмелятся напасть.

Я принял решение: напасть этой же ночью.

К вечеру был сформирован отряд в сто человек — по одному, по два бойца от каждого отделения. Отбирались лучшие, самые смелые, самые выносливые, самые честные. Участие в налете считалось наградой бойцу.

Была поставлена задача: в глухой час ночи ворваться с трех сторон в Середу, переколотить и перестрелять немцев, поджечь склады, захватить пленных и заминировать, если хватит времени, дороги, ведущие в Середу и из Середы. Удерживать село не требовалось, к утру следовало вернуться в расположение батальона.

Командир полка дал санкцию, но не разрешил мне отправиться с отрядом. Командиром отряда я назначил Рахимова, политруком — Бозжанова.

Вечером, когда стемнело, сто бойцов выстроились на опушке близ штабного блиндажа. Над волнистой линией шапок выделялась голова Галлиулина, рядом угадывался коренастый Блоха. Я исполнил обещание: пулеметчики тоже шли в ночной рейд с пулеметами в двуколках.

Я опять не видел лиц, но в темноте пробегали токи. Меня била нервная дрожь, и я знал: такая же лихорадка прохватывает сейчас и их. Это была дрожь не страха, а азарта, это был подъем перед боем. В голове всплыла древняя казахская пословица. С нее, с этой пословицы, я начал свое слово:

— Враг страшен до тех пор, пока не изведаешь вкуса его крови... Идите, товарищи, испробуйте, из чего сделан немец. Потечет ли из него кровь от вашей пули? Завопит ли он, когда в него всадишь штык? Будет ли он, издыхая, грызть зубами землю? Пусть погрызет, накормите его нашей землей! Генерал Панфилов назвал вас орлами. Идите, орлы!

Рахимов повел бойцов. Я смотрел, как колонна скрывалась в полумгле. Ко мне подошел Заев.

— Почему вы меня не пустили, товарищ старший лейтенант? — буркнул он.

— Самого не пустили, Заев.

В этот вечер мы оба завидовали бойцам.

Началась ночь с пятнадцатого на шестнадцатое — ночь нашего первого боя.

2

Я не мог заснуть этой ночью. Не мог и усидеть в блиндаже. Выходил на опушку, шагал по тропинке и без тропки, посматривал на запад, куда ушли бойцы, и прислушивался, словно оттуда, за двадцать километров, мог дойти звук выстрела или крик.

Днем с юга к нам доносилась глухая канонада. Мы еще не знали, что в этот день немцы рванулись танковыми колоннами к Москве, в обход левого фланга дивизии, что там, у совхоза Булычево (запишите это название: когда-нибудь оно золотыми буквами на мраморе засверкает в будущем клубе-дворце нашей дивизии), панфиловцы уже вступили в бой.

Ночью и там все стихло.

У темнеющей в снегу натоптанной дорожки, ведущей к штабному блиндажу, стоял часовой. Он поглядывал туда же, куда смотрел и я. Весь батальон знал: сто орлов ушли в бой. Весь батальон ждал: каков же он будет, первый бой с немцами?

Я то и дело вынимал часы. Светящиеся стрелки показывали: три, половина четвертого, четыре... Глаз по-прежнему встречал повсюду лишь тьму; настороженное ухо ловило лишь безмолвие.

Вдруг в небе что-то мелькнуло. Нет, почудилось... И снова возникла чуть заметная мутная полоска. Что это? Светает? Но разве оттуда восходит солнце? Померещилось... В небе опять все темно. И опять мигнул отсвет. И погас. И снова явился... Теперь он мерцал, то разливаясь, то будто сжимаясь, но не уходил. В нем проступил розоватый тон... Я смотрел, смотрел как зачарованный. Словно раздуваемое чьим-то могучим дыханием, по ночному небу растекалось живое пульсирующее зарево.

Часовой выдохнул:

— Жгут их наши! Бьют их наши!

Я хотел что-то ответить и не смог. Горло было перехвачено радостью; вместе с заревом она пульсировала во мне, и казалось, кровь разносила ее во все уголки тела. В те минуты я впервые познал жгучую радость удара по врагу.

3

Отряд вернулся утром.

Впереди мчалась тройка, запряженная в широкие ковровые сани. Этих коней я не видал в полку, их отбили в Середе у немцев. К саням толстыми веревками были привязаны два мотоцикла с колясками, с укрепленными впереди пулеметами. Это тоже были трофеи. На мотоциклетных седлах, на багажниках, в прицепных колясках сидели мои красноармейцы.

За первой тройкой неслись другие запряжки. Бойцы ушли пешком, теперь они ехали на санях.

Из окопов, близких и дальних, сбегались бойцы. Радостно встречая своих, они с удивлением и любопытством оглядывали жалкую фигуру пленного немца, которого вместе с прочими трофеями захватил отряд. В зеленоватом мундирчике, в зеленоватой пилотке, он сидел, озираясь исподлобья, медленно поворачивая жилистую, с большим кадыком шею.

Бозжанов жестом велел пленному подняться.

— Можно с ним поговорить,— сказал Бозжанов.— Он по-русски немного понимает. Как фамилия?

Пленный что-то пробормотал.

— Громче! — прикрикнул Бозжанов.

У немца руки дернулись вниз, по швам, и, стоя навытяжку перед казахом, он отчетливо назвал фамилию. Все разглядывали живого, говорящего немца.

— Женат?

— Ни... кавалер...

Бозжанов от души расхохотался. Добродушное полное лицо, расплывшись, стало еще шире, маленькие глазки исчезли. Все хохотали вместе с политруком: «Кавалер! Вот так кавалер!» А немец озирался. Кто-то крикнул:

— Тише!.. Слушайте, что скажет политрук.

Бозжанов поднял руку. Все умолкли.

— Политрук скажет: смейтесь! — произнес он.

И, вероятно неожиданно для самого себя, бросил фразу, которую потом часто повторяли в батальоне:

— Смех — это самое серьезное на фронте.

Стараясь говорить медленно и очень внятно, Бозжанов стал расспрашивать о планах немецкого командования. Пленный не сразу понял. Уловив наконец смысл вопроса, он сказал, коверкая русские названия:

— Завтракать — Вольоколямск, ужинать — Москау.

Он произнес это серьезно, держа руки по швам, очевидно даже здесь, в плену, не сомневаясь, что так оно и выйдет: «Завтракать — Вольоколямск, ужинать — Москау».

И снова грянул хохот.

В минуты этого безудержного смеха я чувствовал, как души бойцов освобождались от страха.

Подергивая шеей, пленный косил по сторонам. Он не понимал, что стряслось с этими русскими. Мы и сами, наверное, не понимали, почему так заливаемся.

Так был выигран первый бой. Так на нашем рубеже был побит генерал Страх.

4

Рахимов и Бозжанов доложили мне подробности налета.

Конечно, можете не сомневаться: в бою не все вышло так, как замышлялось.

Одна группа, случайно столкнувшись с патрульными, начала раньше, чем село было полностью окружено. Бойцы врывались в дома, кололи и стреляли немцев, но у тех оставались некоторые не перерезанные нами выходы, многим удалось бежать. Они сумели опомниться и развернуть оборону раньше, чем мы предполагали.

Отряд перебил сотни две гитлеровцев, заминировал дороги, поджег много автомашин и несколько складов, в том числе хранилище бензина, однако кое-что на краю села немцам удалось отстоять.

Но главное было достигнуто: бойцы видели бегущих перед ними немцев, бойцы слышали, как они вопили, издыхая, бойцы испробовали их шкуру пулей и штыком.

С Рахимовым и Бозжановым я шел по рубежу. Бойцы, участники налета, уже разбежались по отделениям и взво-

дам. По моему приказанию занятия и работы были на два часа прекращены. Всюду виднелись группы, собравшиеся вокруг героев, поколотивших немцев.

То там, то здесь слышался смех. Этот день, шестнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года, в нашем батальоне был днем смеха. Впоследствии я не раз вспоминал слова Бозжанова: «Смех — это самое серьезное на фронте». Когда на поле боя, на передний край, приходит смех, страх улепетывает оттуда.

Меня встречали командой: «Встать! Смирно!» По одному этому выкрику можно часто ощутить душу солдата. Как весело он звучал в тот день!

Подойдя к одной группе, где центром был Гаркуша, я заметил: один боец что-то прячет за спиной. Гаркуша поймал мой взгляд.

— Дай сюда! — повелительно сказал он.

Боец подал немецкую фляжку.

— С ромом, товарищ комбат! — объявил Гаркуша.— Хоть немецкий, а ничего, берет... Сейчас провожу занятия и угощаю: пусть на факте убеждаются. Отведайте, товарищ комбат.

Он протянул фляжку. Я отхлебнул.

— Гаркуша хорошо дрался,— скупо сказал Рахимов.

— Ежели бы мне, товарищ комбат,— хвастливо продолжал Гаркуша, жестикулируя фляжкой,— с каждого, кого я уничтожил, снимать такую, я бы два десятка их принес. Куда там, не донес бы! Там не до того.

Гаркуша все рассказывал и рассказывал.

Мы пошли дальше по линии окопов. Повстречался Мурин, который в составе пулеметного расчета тоже участвовал в налете. Он куда-то торопился, но издали принял бравый вид и за добрый десяток метров дал строевой шаг. Здесь был передний край; здесь ничто, кроме полосы, которая на фронте зовется «ничьей», не отделяло нас от немцев, а Мурин впечатывал ногу, проходя мимо комбата. Глядя на меня, Мурин вдруг улыбнулся. И в ответ я улыбнулся ему. И все. Мы не остановились, не сказали ни единого слова, но душу опять, как ночью, залила радость. Я любил его и чувствовал — он любит меня. Это опять были чудесные минуты счастья — особого счастья командира, когда ощущаешь себя слитым воедино с батальоном. Я знал мозгом и сердцем: в батальоне сегодня родилось бесстрашие.

Вокруг все, казалось, было прежним. За черной незамерзшей рекой белела даль. Сквозь ранний снег кое-где проглядывали незаметенные краешки вспаханной земли. Темнели клины леса. Я по-прежнему знал: вот-вот все загрохочет, по снегу, оставляя черные следы, поползут танки, из лесу выбегут, припадая к земле и вновь вскакивая, люди в зеленоватых шинелях, с автоматами, идущие нас убить, но внутри звучало: «Попробуйте сразитесь с нами!» И во взглядах, в улыбках, в словах, в не покидавшем нас смехе звенело, казалось, все то же: «Попробуйте сразитесь с нами!»

Так звучал в тот день наш батальон, наш булат. Хочется выразиться красочно, например, так: да, он, наш батальон, становился булатом — прокаленным, заточенным, узорчатым клинком, который режет железо, с которого ничто в мире не сотрет чекана. Но скажем скромнее: в тот день мы закончили среднее солдатское образование. Последний класс этой школы — удар, или, употребляя военно-профессиональный термин, укол штыком, укол не в чучело, а в живое тело врага. Этот укол, освобождающий от страха, нам дался сравнительно легко — в лихом ночном набеге.

Тяжелые бои, страшные испытания мужества — все это было впереди. Великая двухмесячная битва под Москвой лишь начиналась.

В эти два месяца мы, первый батальон Талгарского полка, приняли тридцать пять боев; одно время были резервным батальоном генерала Панфилова; вступали в драку, как и положено резерву, в отчаянно трудные моменты; воевали под Волоколамском, под Истрой, под Крюковом; перебороли и погнали немцев.

Об этих боях расскажу потом, а сейчас... Сейчас,— сказал Бауржан Момыш-Улы,— ставьте большую точку. Пишите: конец первой повести.

ПОВЕСТЬ ВТОРАЯ

Накануне боя

Нелегко человеку стать солдатом, нелегко командиру дисциплинировать войска, а воевать еще труднее.

— Наша вторая повесть,— продолжал Бауржан Момыш-Улы,— еще более ответственна. Раньше мы говорили о подготовке солдата. Теперь речь пойдет о бое.

1

Шестнадцатого октября тысяча девятьсот сорок первого года я, командир батальона, лежал на походной койке в своем блиндаже, в ста тридцати километрах от Москвы.

Издалека, то напряженно учащаясь, то затихая, доходила орудийная пальба. Звук докатывался слева — за двадцать — двадцать пять километров. Там, на левом фланге дивизии, как мы узнали потом, немцы пытались в этот день прорваться танками.

А у нас, в расположении батальона, все было спокойно. Противник не придвигался к рубежу батальона, к центральному отрезку так называемого Волоколамского укрепленного района.

Я лежал и думал.

Мне надоедал мой коновод Синченко, единственный среди батальона, кому дозволялось ворчать на меня. То у него была истоплена для меня баня, то готов обед. Я прогонял его:

— Потом... Убирайся, не мешай.

— Чего заладили: не мешай и не мешай. А сами полный день ничего не делаете.

— Я думаю. Понял? Ду-ма-ю.

— Разве можно так много думать?

— Можно. Если тебя убьют по моей глупости, что я скажу твоей жене? А ты у меня не один.

Быть может, и вам представляется, что командир батальона — особенно в такой момент, накануне боя,— обязан что-то делать: разговаривать по телефону, вызывать подчиненных, ходить по рубежу, отдавать распоряжения. Однако наш генерал Иван Васильевич Панфилов не один раз внушал нам, что главная обязанность, главное дело командира — думать, думать и думать.

2

В ночь на шестнадцатое, как вам известно, сто моих бойцов, отправившись за двадцать километров, совершили вылазку в расположение врага. Они возвратились с победой.

Эта первая победа преобразила душу солдата, преобразила батальон.

А дальше?

Конечно, наша дерзость ничего не могла изменить в оперативной обстановке. Мы, семьсот человек, первый батальон Талгарского полка, по-прежнему держали восемь километров фронта на подступах к Москве, куда стягивались немецкие дивизии.

Вернулись думы, которые мучили меня в течение последних двух-трех дней.

Принимая рубеж, я, как вы знаете, не допускал мысли, что здесь, на этой позиции, на этой восьмикилометровой полосе, врагу будет противостоять лишь один батальон; я предполагал, что позади нас будет создана вторая и, возможно, третья линия обороны, где развернутся другие части Красной Армии; предполагал, что, приняв удар и несколько задержав врага, мы отойдем затем к главным силам.

Но два-три дня назад мы узнали, что перед нашим рубежом появилась гитлеровская армия, прорвавшаяся около Вязьмы, что другой линии войск позади нас нет, что Волоколамск и Волоколамское шоссе — прямая дорога на Москву — заслонены лишь нашей дивизией, растянувшей-

ся на этом многокилометровом фронте, и несколькими противотанковыми артиллерийскими полками.

Так сложились обстоятельства войны. Такова была задача, возложенная на Красную Армию в тот момент: остановить врага перед Москвой малочисленными силами, сдержать его, пока к нам не прибудут подкрепления.

3

Разрешите не употреблять выражений вроде: Родина повелела, Родина потребовала. Я хочу быть скупым на слова, когда речь идет о любви к Родине.

Можете не сомневаться: я, наверное, не менее остро, чем вы, чувствую, что такое социалистическая Родина, что такое страна, которую мы защищаем, в которой мы живем.

Вся моя любовь, вся страсть, все силы души были в те дни устремлены к одному — как выполнить задачу, что выпала на долю батальона, как отстоять рубеж.

Лежа на койке, я видел, как противник, преодолев в несколько часов двенадцать — пятнадцать километров незащищенной полосы, которая в тот момент все еще отделяла нас от немцев, выйдет к берегу Рузы, к нашим укрытиям. Встретив сопротивление и обнаружив линию обороны, он под покровом ночи скрытно сосредоточит где-нибудь в лесу — в пункте, который сам выберет,— ударную группу, подтянет артиллерию и затем, вполне изготовившись, построив войска по излюбленному способу — клином, рванется вперед на узком фронте — на пространстве в полкилометра или в километр. А каждый километр нашего батальонного района прикрывался лишь одним стрелковым взводом и одним отделением пулеметчиков.

И у меня не было резерва. Расчет расстояний показывал, что стремительным и внезапным броском немцы смогут прорвать нашу линию раньше, чем подоспеют силы с других участков туда, на какой-то неведомый километр.

Нельзя ли, думая за противника, угадать пункт, который ему, немцу, покажется наиболее выгодным, наиболее подходящим для атаки? Но ведь и он, противник, не дурак. Я стараюсь думать за него, а он, подлец, будет думать за меня.

Он, конечно, легко разгадает мои соображения и найдет способ объегорить. Он стукнет в одном месте, я поспе-

шу стянуть туда роты, направлю туда пулеметы и пушки, а другая группа тем временем пройдет сквозь оголенный фронт.

Может быть, уже сейчас, на расстоянии в двадцать километров, он с усмешкой читает мои мысли.

Возник воображаемый облик командира немецкой группировки, скапливающейся против нас. Предстала высокомерная, гладко выбритая физиономия немца в полковничьих — а возможно, и в генеральских — погонах.

Против наших восьми километров, против моего батальона он располагал или будет завтра-послезавтра располагать приблизительно дивизией, подтягивающейся из глубины. Напряженно всматриваясь в воображении в него, немецкого военачальника, у которого я уже теперь, лежа на койке, обязан выиграть бой — безмолвный бой ума с умом,— пытаясь проникнуть в его мысли, в его планы, я повторял себе: не рассчитывай, Бауржан, что перед тобой дурак.

Но глаза, которые я видел в фантазии,— острые, жесткие, немолодые,— глаза, что могли зажигаться военным азартом, что могли с интересом подолгу вглядываться в карту, сейчас не были оживлены игрой ума, не поблескивали мыслью. Он, немецкий полковник или генерал, презирал меня, презирал противостоящий ему батальон — несколько сот красноармейцев, загородивших на подступах к Москве восемь километров фронта. Он скучал. Война на востоке была в его представлении выиграна, дорога в Москву открыта. Он пренебрегал нами, он не удостаивал нас усилиями мозга.

Может быть, я ошибаюсь? Может быть, уроки войны — героическое сопротивление пограничных частей Красной Армии, оборонительное сражение под Смоленском, оборона Одессы, Ленинграда — заставили его призадуматься? Может быть, и наш ночной налет, наш вызов, показал ему, что под Москвой предстоит жестокая борьба?

Вряд ли... Для него, завоевателя, кто вместе с гитлеровской армией в четыре месяца прошел тысячу километров от границы до Московской области, кто командовал дивизией в операции под Вязьмой, где был раздроблен наш центральный фронт,— для него, уверенного, что через несколько дней он из автомобиля будет осматривать площади и улицы Москвы,— для него ночное нападение сотни красноармейцев казалось партизанской вылазкой, каких

будет немало и в дальнейшем, с какими справятся сыск и полевая жандармерия.

Чутье подсказывало: ты угадал, ты добрался до его черепной коробки. В мозг хлынула ненависть. Презираешь? Скучаешь? Погоди, мы заставим тебя думать!

А пока... Пока от него, «профессионала-победителя», уже не изволящего утруждать себя мыслью, надо ждать действий по шаблону. Таковой известен. Преодолев в несколько часов двенадцать — пятнадцать километров незащищенной полосы и сбив наше боевое охранение... Пришлось усмехнуться. Проникнув в черепную коробку врага, я не очень продвинулся: я пришел, описав круг, к тому, с чего начал.

4

Я сказал: шаблон известен. Так ли это?

Я знал войну по литературе, по учебникам, уставам, по разговорам с людьми, побывавшими в боях, я участвовал в учениях, учил солдат, выступил с ними на фронт, и все-таки война оставалась для меня тайной, как для всякого, кто сам не испытал боя.

В Польше, во Франции гитлеровцы продемонстрировали свою манеру войны: прорвав в нескольких пунктах линию войск, немцы на танках, грузовиках, мотоциклетах стремительно двигались вперед, подавляя затем сопротивление разрозненных окруженных групп. Так они пытались действовать и у нас.

Раздумывая, и я употреблял шаблонные слова: сбив, прорвавшись, подавляя... Но что это такое? Почему подавляя? Как это происходит?

Не заглядывая в карту, которую знал наизусть, я видел извилистые берега неширокой медлительной Рузы, наш рубеж — цепочку пулеметных гнезд и стрелковых ячеек. Позади, в лесу, были спрятаны восемь пушек, приданные батальону; впереди, по берегу, выступал отвесный противотанковый срез, называемый на военном языке эскарпом.

Взор пробегал дальше, за реку, в сторону противника. Я в подробностях видел промежуточную полосу, еще не занятую гитлеровцами, но уже покинутую нами; видел дороги, ведущие из пунктов немецкого сосредоточения к нашим укрытиям; видел овраги и леса, будто нарочно пред-

назначенные для засад. У меня ныло сердце, когда я представлял, как немецкие колонны, не натыкаясь на сопротивление, будут продвигаться мимо этих оврагов и этих лесов, сегодня еще доступных нам, где могли бы затаиться роты.

В уме уже возникала идея удара с тыла, удара из засады, в хвост неразвернувшимся колоннам, которые окажутся зажатыми между двух огней.

Возникал план встречного боя — самому внезапно атаковать противника, когда он будет на подходе. Но какими силами? Вывести батальон из укреплений?

При недавнем посещении батальона генерал Панфилов настойчиво направлял внимание на возможность, при случае, встречного удара.

Но ведь у меня всего лишь семьсот человек на восемь километров фронта. Ведь не могу же я вывести весь батальон, оставив неприкрытым рубеж. Какими словами передать вам эту тоску командира: мало сил, мало сил...

Думая за противника, я видел много способов решить его задачу — прорвать линию моего батальона, а сам не мог создать плана, не мог найти хода, предотвращающего прорыв рубежа.

Я терзал себя, поносил себя. Болело все тело, как избитое.

5

Вечером я получил приказание: к пяти часам утра прибыть в район соседа слева, на командный пункт смежного с нами батальона.

Один час с Панфиловым

1

К соседу слева я отправился верхом.

Подчеркните: слева. Хочется, чтобы у вас имелась грубая, но ясная ориентировка. Еще раз вообразите линию батальона, протянувшуюся вдоль реки Рузы. Станьте лицом к противнику. Необходимо, чтобы в дальнейшем вы ясно представляли: то-то происходит перед вами, перед

фронтом батальона; то-то — по правую руку; то-то — по левую, где такие же батальоны, как и наш, занимали столь же протяженные участки.

После ранней зимы, удивительной в октябре, когда на полторы-две недели установился санный путь, погода переменилась. Мороз отпустил, началась осенняя слякоть. Ночи стали безлунными, черными.

Опасаясь впотьмах ввалиться вместе с лошадью в какую-нибудь ямину, я не поехал прямиком, по берегу, а направился проселочной дорогой, вкруговую.

Коню было нелегко идти даже шагом. Взматывая головой, Лысанка с хлюпаньем выдирала копыта из липкого месива. Я грузно сидел в седле, предаваясь думам.

На пути стали попадаться пешие фигуры, идущие в том же направлении. Я встрепенулся. Что такое? Новые силы? Подкрепление? Мой карманный фонарик время от времени прорезал черноту пучком света.

Что такое: отстали от колонны, что ли? Идут по двое, по трое, в залубеневших плащ-палатках, по которым скатываются струи монотонно секущего дождя. Торчат стволы винтовок, взятых на ремень. Кто-то спрашивает:

— Сколько до Сипунова, товарищ командир?

Я говорю:

— Что за люди? Откуда?

Узнаю: здесь прошел ночным маршем запасный батальон из Волоколамска; эти, что разговаривают со мной, отстали на марше.

Опять спрашивают, сколько километров до Сипунова. Я отвечаю, обгоняя. Дорога некоторое время пустынна. Кругом тихо: ночью улегся дальний орудийный гром.

Но вот впереди опять кто-то передвигает вязнущие ноги. Опять идут двое-трое. Подмога радует, но... Но, черт побери, как они плохо идут! Не чувствуется жесткой выучки, которую нам задал Панфилов: у нас так не растягивались, не отставали.

Лысанка пугливо прянула. Фонарик осветил засевшую по ступицы повозку, павшую лошадь, понуро мокнущего ездового.

Минуту спустя в стороне огоньки цигарок. Несколько бойцов легли на обочине, курят: устало-ноющее тело равнодушно к сырости.

И отовсюду ко мне только один вопрос: далеко ли Сипуново?

Я ехал туда же. Близ села Сипуново, в лесу, был расположен командный пункт смежного с нами батальона.

2

Добравшись, я по мокрым ступенькам спустился в подземелье командного пункта.

— А, товарищ Момыш-Улы, пожалуйте-ка...

Это был знакомый хрипловатый голос.

Я увидел генерала Ивана Васильевича Панфилова.

Он сидел у железной печки, переобуваясь. Один сапог был снят, небольшая смуглая нога протянута к накаленной жести. Неподалеку сидел адъютант Панфилова — молоденький румяный лейтенант. В другом углу — незнакомый мне капитан.

Вытянувшись, я доложил о прибытии. Панфилов достал часы, взглянул.

— Раздевайтесь. Садитесь к огоньку.

Привстав, он разостлал портянку, сыроватую с одного конца, поставил ступню на сухой край холста и быстро, умело, по-солдатски, навернул без складочки. Затем обулся.

Потемневшая на дожде шинель со скромными, защитного цвета звездами сушилась у огня. Видимо, принимая прибывшую часть, Панфилов ходил на рубеж, много времени провел под дождем и, быть может, не спал всю ночь. Однако в морщинистом пятидесятилетнем лице, очень смуглом, с черными подстриженными усиками, не проглядывала угрюмость утомления.

— Вам, товарищ Момыш-Улы, слышно было, как мы сегодня-то? — прищурившись, с улыбкой спросил он.

Трудно передать, как приятен был мне в тот момент его спокойный, приветливый голос, его лукавый прищур. Я вдруг почувствовал себя не одиноким, не оставленным с глазу на глаз с врагом, который знает что-то такое, какую-то тайну войны, неведомую мне — человеку, никогда не испытавшему боя. Подумалось: ее, эту тайну, знает и наш генерал — солдат прошлой мировой войны, а затем, после революции, командир батальона, полка, дивизии.

Панфилов продолжал:

— Отбили... Фу-у-у...— Он шутливо отдышался.— Боялся. Только никому, товарищ Момыш-Улы, не говорите. Танки ведь прорвались... Вот и он,— Панфилов показал на адъютанта,— был со мною там, кое-что видел. А ну, скажи: как встретили?

Вскочив, адъютант радостно сказал:

— Грудью встретили, товарищ генерал.

Странные, крутого излома, черные панфиловские брови недовольно вскинулись.

— Грудью? — переспросил он.— Нет, сударь, грудь легко проткнуть всякой острой вещью, а не только пулей. Эка сказанул: грудью. Вот доверь такому чудаку в военной форме роту, он и поведет ее грудью на танки. Не грудью, а огнем! Пушками встретили! Не видел, что ли?

Адъютант поспешил согласиться. Но Панфилов еще раз едко повторил:

— Грудью... Пойди посмотри, кормят ли коней... И вели через полчаса седлать.

Адъютант, козырнув, сконфуженно вышел.

— Молод! — мягко сказал Панфилов.

Посмотрев на меня, затем на незнакомого мне капитана, Панфилов побарабанил по столу пальцами.

— Нельзя воевать грудью пехоты,— проговорил он.— Особенно, товарищи, нам сейчас. У нас тут, под Москвой, не много войск... Надо беречь солдата.

Я напряженно слушал генерала, стремясь найти в его словах ответ на измучившие меня вопросы, но пока не находил.

Подумав, он добавил:

— Беречь не словами, а действием, огнем.

3

Затем Панфилов сказал:

— Теперь у вас, товарищ Момыш-Улы, новый сосед. Знакомьтесь-ка: капитан Шилов.

Капитан стоял у стола — высокий, статный, молодой для своего звания, на вид лет двадцати семи. На голове была не ушанка, как у всех нас, бойцов и командиров панфиловской дивизии, а защитного цвета фуражка с пехот-

ным малиновым кантом. Он не произнес ни одного слова, но даже и эта манера молчать, пока не обратится старший, наряду с формой, выправкой, выдавала кадровика. Мы поздоровались.

— Ехали по дороге, товарищ Момыш-Улы? — спросил Панфилов.

— Да, товарищ генерал.

— Отставших много?

— Много,— сказал я.

У Панфилова досадливо вырвалось:

— Эх!..

Он повернулся к капитану. Покраснев, Шилов стал «смирно». Но вместо выговора Панфилов сказал:

— Знаю, знаю, капитан, о чем вы думаете. Кто-то их воспитывал, кто-то их учил, а теперь изволь-ка расплачивайся, капитан Шилов. Так?

Панфилов улыбнулся. Улыбнулся и Шилов. Напряженность покинула его.

— Нет, товарищ генерал-майор, не так.

— Не так?

Живым движением генерал подался к капитану. В маленьких глазках блестело любопытство. Шилов твердо ответил:

— Не о себе думаю, товарищ генерал-майор. Люди не расплатились бы. Разрешите выйти, принять меры, товарищ генерал-майор.

— Что, взгреете отставших?

— Нет, товарищ генерал-майор. Взгреть придется командиров. И прикажу выяснить, кому надлежит двойная порция.

Панфилов засмеялся:

— Добре, добре, капитан.

— Разрешите выйти?

— Подождите.

Панфилов помолчал, подумал. Затем повторил:

— Так вот, товарищ Момыш-Улы, теперь у вас новый сосед. Батальон слабенький. Слабо подготовленный. Так, капитан?

— Да, товарищ генерал-майор.

Обращаясь ко мне, Панфилов объяснил, что дивизии был передан запасный батальон, расположенный в Волоколамске. Капитан Шилов лишь несколько дней назад принял батальон.

— Прежнего командира пришлось отставить,— говорил Панфилов.— Распустил людей, жалел. Чудак! Ведь жалеть — значит не жалеть!.. Вы меня поняли, капитан?

— Да. Я это знаю, товарищ генерал-майор.

Несколько секунд Панфилов молча смотрел на серьезное молодое лицо капитана Шилова, потом повернулся ко мне:

— Вас, товарищ Момыш-Улы, я вызвал вот для чего...

Во мне все напряглось. Но генерал просто сказал, что мне и капитану Шилову надлежит вместе осмотреть стык и промежуток.

— Если противник войдет в стык, бейте его вместе. Подготовьтесь к этому. По всем вопросам связи и взаимодействия договоритесь на местности. Друг друга в беде не оставляйте.

Еще раз внимательно поглядев на капитана, Панфилов разрешил ему выйти.

Для меня ничего не прояснилось. Меня по-прежнему терзали вопросительные знаки. «Бейте его вместе!» Как? Какими силами? Снять людей из окопов? Оголить, открыть фронт? А что, если противник одновременно ударит в другом пункте? «Бейте его вместе!» Но ведь и противник будет бить нас; будет бить превосходящими силами, в разных точках, с разных сторон.

Ловя каждое слово Панфилова, я отдавал себе отчет: тайна боя, тайна победы в бою для меня по-прежнему темна.

4

За капитаном затворилась дверь.

— Кажется, золотая голова,— раздумчиво сказал Панфилов.— Значит, товарищ Момыш-Улы, отставших много? Очень много?

— Много, товарищ генерал.

— Да, хлебнешь горя и с золотою головой, если солдат не подготовлен.

Лицо Панфилова стало на миг очень утомленным, сумрачным. Но тотчас, взглянув на меня, он улыбнулся. Живо заблестели маленькие глазки с мелкими морщинками вокруг.

— Ну, товарищ Момыш-Улы... рассказывайте-ка...

Я кратко доложил об успехе ночного налета. Но Панфилов выспрашивал, добивался подробностей. И опять, как и в нескольких случаях прежде, получился не доклад, а разговор.

Подмигнув, Панфилов сказал:

— Знаете что, товарищ Момыш-Улы? Перескажите все это Шилову. Подзадорьте его... Я хочу, чтобы завтра и он стукнул по-вашему.

Генерал не поздравлял меня, не жал руку, не говорил: «Отлично! Молодец!», а хвалил по-другому — деловой похвалой, деловой лаской.

— Вот, товарищ Момыш-Улы,— продолжал он,— вы и научились бить немца.

Я грустно ответил:

— Нет, товарищ генерал, не научился.

Его брови поднялись.

— Как так?

— Сегодня, товарищ генерал, я весь день ломал голову. Когда думаю за противника — легко побеждаю. Когда думаю за себя — не вижу, как его бить, как отбросить.

Нахмурившись, Панфилов некоторое время молча смотрел на меня. Потом приказал:

— Доложите подробно! Доставайте-ка карту!

5

Я разостлал на столе свою карту. Красным карандашом была нанесена наша линия, нигде еще не тронутая, нигде не изломанная боем. По обе стороны нашего батальонного района тянулась черта обороны соседних батальонов. Эта черта — редкая цепочка стрелковых ячеек и пулеметных гнезд — заграждала Москву от врага.

Я откровенно доложил, что, обдумав положение, не вижу возможности предотвратить моими силами прорыв в районе батальона. Нелегко выговорить такие слова — всякий командир поймет меня,— но я выговорил. Панфилов молча кивнул, предлагая продолжать. Я высказал измучившие меня мысли; сказал о том, что у меня нет ни одного взвода в резерве, что в случае внезапного удара мне нечем подпереть нашу преграду, нечем парировать.

— Я уверен, товарищ генерал, что мой батальон не отойдет, а сумеет, если понадобится, умереть на рубеже, но...

— Не торопись умирать, учись воевать,— прервал Панфилов.— Но продолжайте, товарищ Момыш-Улы, продолжайте.

— Потом, товарищ генерал, меня смущает вот что... Сейчас линию батальона отделяет от противника промежуточная полоса шириной до пятнадцати километров.

Я показал эту полосу на карте. Панфилов опять кивнул.

— Что же, товарищ генерал, так ему и отдать эти пятнадцать километров?

— То есть как это — отдать?

Я объяснил:

— Ведь, сбив наше боевое охранение, он, товарищ генерал, быстро подойдет...

— Почему сбив?

До сих пор Панфилов слушал серьезно и внимательно. Но тут, первый раз в течение моего доклада, его лицо выразило недовольство. Он резко повторил:

— Почему сбив?

Я не ответил. Мне казалось это ясным: не может же боевое охранение, то есть одно-два отделения, десять — двадцать человек, задержать крупные силы врага.

— Вы удивляете меня, товарищ Момыш-Улы,— сказал генерал.— Ведь били же вы немца!

— Но, товарищ генерал, тогда мы сами нападали... И притом ночью, врасплох...

— Вы удивляете меня,— повторил он.— Я думал, товарищ Момыш-Улы, вы поняли, что солдат не должен сидеть и ждать смерти. Надо нести ее врагу, нападать. Ведь если ты не играешь, тобой играют.

— Где же нападать, товарищ генерал? Опять на Середу? Противник там насторожился.

— А это что?

Быстро достав карандаш, Панфилов указал на карте промежуточную полосу.

— Вы, товарищ Момыш-Улы, в одном правы: когда подойдет вплотную, мы его нашей ниткой не удержим. Но ведь надо подойти. Вы говорите: сбив... Нет, товарищ Момыш-Улы, в этой полосе только и воевать... Берите там

инициативу огня, нападайте. В каких пунктах у вас боевое охранение?

Я показал. Из немецкого расположения к рубежу батальона вели две дороги: проселочная и столбовая, так называемая профилированная. Каждую преграждало охранение за три-четыре километра перед линией батальона. Панфилов неодобрительно хмыкнул.

— Какие силы в охранении?

Я ответил.

— Этого, товарищ Момыш-Улы, мало. Тут должны действовать усиленные взводы. Ручных пулеметов им побольше... Станковых не надо. Группы должны быть легкими, подвижными. И посмелее, поглубже выдвигайте их в сторону противника. Пусть встречают огнем, пусть нападают огнем, когда немцы начнут тут продвигаться.

— Но, товарищ генерал, противник же их обойдет... Обтечет с двух сторон.

Панфилов улыбнулся:

— Вы думаете: «Где олень пройдет, там солдат пройдет; где солдат пройдет, там армия пройдет?» Это, товарищ Момыш-Улы, не про немцев писано. Они знаете как теперь воюют? Где грузовик пройдет, там армия пройдет. А ну-ка, где вы по этим оврагам-буеракам протащите автотранспорт, если заперты дороги? Ну-ка, товарищ Момыш-Улы, где?

— В таком случае выбьет...

— А, выбьет? Взвод с тремя-четырьмя пулеметами нелегко выбить. Надо развернуться, ввязаться в бой. Это, товарищ Момыш-Улы, полдня... Пусть обходит, это не опасно. А окружать не давайте. В нужный момент надо отскочить, выскользнуть. Примерно так...

Легкими касаниями карандаша Панфилов преградил одну из дорог близ занятого немцами села, затем карандаш побежал в сторону и, очертив петлю, вернулся на дорогу в другом пункте, несколько ближе к рубежу батальона. Взглянув на меня — слежу ли я, понимаю ли? — Панфилов повторил подобный виток, затем провел такой же еще раз, все придвигаясь к рубежу.

— Видите,— сказал он,— какая спираль, пружина. Сколько раз вы заставите противника атаковать впустую? Сколько дней вы у него отнимете? Ну-с, что вы на это скажете, милостивый государь господин противник?

Я соображал. Ведь и у меня были мысли о чем-то подобном, но до разговора с Панфиловым я не мог освободиться от гипноза укреплений, не имел, казалось мне, права выводить людей из окопов.

6

Вошел адъютант Панфилова.

— Лошади оседланы, товарищ генерал.

Панфилов посмотрел на часы.

— Хорошо... Позвоните в штаб, что минут через десять выезжаем.

Он потрогал ворот и плечи шинели, сушившейся около печки, опустился на корточки, подкинул в огонь дровец и с минуту посидел так, на корточках, у раскрытой печной дверцы. В этих простых движениях опять, как и в прошлую встречу, сквозила уверенность. Чувствовалось, что он приготовился воевать основательно, расчетливо, долго.

Затем Панфилов вернулся к карте, посмотрел на нее, повертел карандаш.

— Конечно, товарищ Момыш-Улы,— сказал он,— в бою все может обернуться не так, как мы с вами сейчас обговорили. Воюет не карандаш, не карта, разрисованная карандашом. Воюет человек.

Как это было ему свойственно, он говорил, будто размышляя вслух.

— Подберите для усиленных взводов,— продолжал он,— отважных и смышленых командиров. Чтобы здесь кое-что было.

Он постучал себя по лбу.

— Из тех, товарищ генерал, которые уже побывали в ночном налете?

Панфилов прищурился.

— Я, товарищ комбат, вместо вас командовать батальоном не намерен. У меня дивизия. Это уж вам самому придется сделать: выбрать промежуточные позиции боевого охранения, выбрать командиров.

Однако, подумав, он все-таки ответил:

— Нет, зачем посылать тех, которые побывали в деле? Пусть и другие обстреляются. Всем воевать надобно. Но уясните, товарищ Момыш-Улы, главное: не пропускайте,

всячески не пропускайте по дорогам. Не давайте подойти к рубежу. Сегодня противник от вас за пятнадцать километров. Это, товарищ Момыш-Улы, очень близко, когда нет сопротивления, и очень далеко, когда каждый лесок, каждый бугорок сопротивляются.

Вновь поглядев на карту, помолчав, он продолжал:

— Еще одно, товарищ Момыш-Улы: проверьте подвижность батальона. И постоянно поглядывайте, наготове ли повозки, упряжь, лошади... На войне всякое бывает. Будьте готовы быстро по приказу свернуться, быстро передвинуться.

Мне показалось, что он выражается как-то иносказательно, неясно. Для чего он мне все это говорит? Я опять решил высказать напрямик свои недоумения.

— Товарищ генерал, разрешите спросить?

— Да, да, спрашивайте. Для этого мы и разговариваем.

— Мне не ясно, товарищ генерал. Ведь противник все же выйдет к рубежу батальона. Вы сказали: не удержим. Я прошу разрешения спросить вас: какова перспектива? К чему должен быть готов я, командир батальона? К отходу?

Панфилов побарабанил по столу пальцами. Это был жест затруднения.

— А вы сами как об этом думаете, товарищ Момыш-Улы?

— Не знаю, товарищ генерал.

— Видите ли, товарищ Момыш-Улы,— не сразу сказал он,— командир всегда обязан продумать худший вариант. Наша задача — держать дороги. Если немец прорвется, перед ним опять на дорогах должны быть наши войска. Вот поэтому-то я и взял отсюда батальон. Хотел ваш взять, но у вас важная дорога.

Он показал на карте дорогу Середа — Волоколамск, которую перегораживала красная черта батальона.

— Не линия важна, товарищ Момыш-Улы,— важна дорога. Если понадобится, смело выводите людей из окопов, смело сосредоточивайте, но держите дорогу. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

Он подошел к шинели и, одеваясь, спросил:

— Знаете ли вы загадку: «Что на свете самое долгое и самое короткое, самое быстрое и самое медленное, чем

больше всего пренебрегают и о чем больше всего сожалеют?»

Я сообразил не сразу. Довольный, что затруднил меня, Панфилов с улыбкой вынул часы, продемонстрировал:

— Вот что! Время! Сейчас наша задача, товарищ Момыш-Улы, в том, чтобы воевать за время, чтобы отнимать у противника время. Проводите меня.

Мы выбрались из блиндажа.

7

Серел рассвет. Дождь перестал, деревья неясно проступали сквозь туман. Подвели лошадей. Панфилов огляделся:

— А где же Шилов? Пойдемте-ка пока, чтобы он нагнал.

Дорогой Панфилов спросил меня, какие работы идут на рубеже. Я доложил, что батальон роет ходы сообщения. Панфилов приостановился.

— Чем вы копаете?

— Как чем? Лопатами, товарищ генерал.

— Лопатами? Умом надо копать.— Он произнес это с обычной мягкостью, с юмором.— Наворотили вы, должно быть, там земли. Сейчас вам надо, товарищ Момыш-Улы, копать ложную позицию. Хитрить надо, обманывать.

Я удивился. После разговора с генералом у меня осталось впечатление, что он не придает особенного значения оборонительной линии. Теперь выходило, что это не так. Я ответил:

— Есть копать ложную позицию, товарищ генерал!

Нас бегом нагнал капитан Шилов.

У дороги, в том месте, куда нас вывела тропка, стоял часовой — парень лет двадцати с серьезными серыми глазами. Не очень чисто, но старательно он приветствовал генерала по-ефрейторски, на караул.

— Как живешь, солдат?

Парень смутился. В то время в нашей армии обращение «солдат» было не принято. Говорили: «боец», «красноармеец». Его, быть может, первый раз назвали солдатом. Заметив смущение, Панфилов сказал:

— Солдат — великое слово. Мы все солдаты. Ну, расскажи, как живешь?

— Хорошо, товарищ генерал.

Хмыкнув, Панфилов посмотрел вниз. Скрывая шнуровку, жидкая грязь облепила тяжелые ботинки часового. Следы дорожной грязи, счищенной сучком или щепкой, остались на мокрых обмотках и повыше. Рука, державшая винтовку, посинела на рассветной стуже.

— Хорошо? — протянул Панфилов.— А скажи, как марш проделали?

— Хорошо, товарищ генерал.

Панфилов обернулся к Шилову:

— Товарищ Шилов, как марш проделали?

— Плохо, товарищ генерал.

— Эге... Оказывается, ты, солдат, соврал.— Панфилов улыбнулся.— Ну, говори, говори, рассказывай, как живется?

Часовой упрямо повторил:

— Хорошо, товарищ генерал.

— Нет,— сказал Панфилов.— Разве во время войны хорошо живут? Шагать ночью под дождем по такому киселю — чего в этом хорошего? После марша спал? Нет. Ел? Нет. Стой тут, промокший, на ветру или рой землю; а завтра-послезавтра в бой, где польется кровь. Чего в этом хорошего?

Часовой неловко улыбался.

Панфилов продолжал:

— Нет, брат, на войне хорошо не живут... Но наши отцы, наши деды умели все это переносить, умели побеждать тяготы боевой жизни, громили врага. Ты, брат, еще не встретился с врагом в бою... Но бороться с холодом, с усталостью, с лишениями — тоже бой, где нужна отвага. И не вешаешь головы, не хнычешь... Вот это хорошо, солдат! Как фамилия?

— Ползунов, товарищ генерал... Я это самое и хотел, товарищ генерал...

— Знаменитая фамилия... Знаменитый был механик... Хотел... Почему же не сказал?

— Виноват, товарищ генерал. Просто не подумал.

— Солдату всегда надобно думать. Солдат умом должен воевать. Ну, Ползунов... буду тебя помнить. Хочу о тебе услышать. Ты меня понял?

— Понял, товарищ генерал.

Задумавшись, глядя под ноги, Панфилов медленно шел по дороге. Остановившись, он поглядел на Шилова и на меня.

— Тяжела жизнь солдата,— сказал он.— Слов нет, тяжела. Это всегда надо говорить солдату прямо, а если он врет, тут же его поправить.

Он помолчал, подумал.

— Не жалейте, товарищ Шилов, людей до боя, а в бою... берегите, берегите солдата в бою.

Это звучало не приказом. Это было больше, чем приказ: завет. Меня проняло до дрожи. Но тотчас другим тоном — начальнически, строго — Панфилов повторил:

— Берегите... Других войск, других солдат у нас тут, под Москвою, сейчас нет. Потеряем этих — и нечем держать немца.

Попрощавшись, он взял повод, взобрался на седло и тронул рысью по обочине.

Бой на дороге

1

По указанию Панфилова я выехал с капитаном Шиловым в район стыка; мы осмотрели местность, договорились о согласованных действиях, о товарищеской помощи в бою.

Расставшись с капитаном, я возвращался к себе в штаб по берегу. После ночи, проведенной без сна, в тягостных раздумьях, после разговора с Панфиловым, когда нервная система была опять напряжена, я испытывал, как ни странно, не усталость, а удивительную легкость. В седле я сидел уже не грузно, как то было ночью; думы не придавливали. Казалось, легче бежала и Лысанка.

Вокруг было тихо. Не слышалось ни близкого, ни дальнего уханья пушек. В этот день, семнадцатого октября, затишье водворилось и там, слева от нас, где вчера рванулись немецкие танки, где вчера гремел бой.

До сих пор памятна эта тишина; памятно темное, как графит, небо; вязкое поле с мелкими лужами, отсвечивающими свинцовым блеском; памятна земля, которую, прорезая траншеи, выбрасывали лопатами бойцы,— желтоватая глинистая земля Подмосковья.

Из-за этой глины я только что получил замечание от Панфилова: она выдавала расположение огневых точек,

ее следовало тотчас убрать, расшвырять по полю, но в те минуты, в волнующей нервной тишине, я смотрел на нее — на эту землю, на полоски суглинка,— смотрел, навсегда запоминая.

За рекой виднелась черная мокрая дорога, исчезающая в недалеком лесу. Взбегая по береговому подъему, она — эта дорога, отмеченная телеграфными столбами,— пересекала линию батальона и мимо темных от дождя домиков села, мимо кирпичной приземистой церкви вела туда, куда стремился враг,— к Волоколамскому шоссе, к Москве.

В душу запало все, что повстречалось по пути в то утро.

До сих пор помнится встревоженный, вопрошающий женский взгляд, который я на мгновение уловил, когда Лысанка легкой рысью шла через село, протянувшееся вдоль реки. Осталось в памяти лицо — немолодое, на котором прорезались морщинки, почерневшее от солнца, от ветра, от труда, с чуть выцветшими светло-синими глазами,— лицо русской крестьянки, русской женщины. Она будто спрашивала: «Куда ты? Какую весть несешь? Что с нами будет?» Она будто просила: «Скажи словечко, успокой».

А лошадь уже промчалась, и я уже видел какого-то красноармейца с котелком, наклонившегося к карапузу-мальчугану. Красноармеец выпрямился, я узнал лукаво-добродушную физиономию пулеметчика Блохи: его пулеметный расчет был расположен вблизи. Став сразу серьезным, сдвинув едва намеченные светлые брови, Блоха торопливо отдал мне честь. Вслед за ним с таким же серьезным видом отдал честь и малыш.

Подобные сценки привычны; бывало, скользнешь взглядом и забудешь, но тем утром и этот мальчик, «мужичок с ноготок», доверчивый к воину, к солдату, волновал, щемил душу.

А глаз уже заметил иное. В проулке, у палисадника, взявшись руками за штакетник, стояла девушка. С кем-то разговаривая, она смеялась. От крыльца, улыбаясь, к ней подходил политрук пулеметной роты Джалмухамед Бозжанов. У обоих играли глаза, играла молодость. Увидев меня, Бозжанов сконфузился и, став «смирно», четко козырнул. Ко мне повернулась и девушка. Ее взгляд мгновенно стал другим — таким же тревожным, вопрошающим, как и у женщины, что осталась позади.

И опять этот взгляд тронул сердце.

2

Миновав село, я подъехал к взводу лейтенанта Брудного. Красноармейцы, как и в других взводах, прорезали в земле ходы сообщения. Кто-то рубил грунт мотыгой, голый до пояса, несмотря на промозглую, стылую погоду. Блестели, как лакированные, выпуклые потные плечи. Это был Курбатов, помощник командира взвода.

— Взялся сам, товарищ комбат,— сказал он.— Тут каменисто, надо пособить. Да и поразогреться.

Мускулистый, сильный, он свободно подставлял октябрьскому ветру обнаженную грудь. Я часто любовался и гордился этим моим воином, который был красив особой солдатской красотой. Но тут я сказал:

— Чего столько земли наворотили? За три километра видно. Давайте-ка быстро раскидайте, разровняйте это все. Где лейтенант?

Лейтенант Брудный — быстроногий, маленький, в хорошо подогнанной, туго стянутой шинели — уже бежал ко мне. Он без запинки отрапортовал. Я сказал ему:

— Пусть люди заканчивают работу. Пусть всё замаскируют. Распорядитесь этим, товарищ лейтенант. А потом бегом ко мне, в штаб батальона.

Он быстро ответил:

— Есть, товарищ комбат.

Лейтенант Брудный был одним из двух командиров, избранных мною для выполнения задачи, намеченной на карте карандашом генерала.

На командном пункте в блиндаже меня встретил мой маленький штаб: начальник штаба лейтенант Рахимов и мой младший адъютант лейтенант Донских.

Рахимов доложил: ничего нового; противник по-прежнему не продвигается, по-прежнему не высылает даже разведывательных групп. С Рахимовым я занялся некоторыми срочными делами. Схема ложной позиции была у него вычерчена уже несколько дней назад. Я приказал немедленно копать ложную позицию, а работы на переднем крае прекратить, за исключением маскировки.

— Слушаю, товарищ комбат,— сказал Рахимов.— Разрешите исполнять?

— Да.

Он посмотрел на Донских.

— Вам, товарищ комбат, лейтенант Донских сейчас нужен?

— Нужен.

Рахимов откозырнул и вышел.

Вскоре, запыхавшись, с разгоряченными щеками, явился Брудный. Его смышленые быстрые глаза обежали блиндаж и остановились на мне с любопытством, с ожиданием. Донских что-то писал за столом.

— Донских! Идите-ка сюда! Захватите карту!

Его, моего адъютанта, комсомольца Донских я решил назначить командиром другого усиленного взвода.

3

Я знаю: человек, побывавший в бою, кажется вам, как когда-то и мне, чуть необычным, чуть таинственным. Но они — Брудный и Донских — еще не участвовали ни в одном бою.

Оба были комсомольцами, оба окончили десятилетку и, проведя затем некоторое время в военной школе, стали лейтенантами.

При формировании дивизии Донских был назначен командиром роты, но потом смещен за мягкосердечие. Застенчивый, легко краснеющий, он не умел строго спросить с провинившегося. Требовательность, взыскательность, обязательные для командира, были ему не по натуре. Однако после того как у Донских отобрали роту, он надолго погрустнел. Я понимал — ему мнилось: «Эх, не доверили тебе, комсомольцу Донских, вести роту в бой!» Его гордость, его самолюбие были задеты.

Двое суток назад, пятнадцатого октября, когда в ротах отбирали бойцов для ночного набега, Донских подошел ко мне и, потупясь, сказал: «Разрешите и мне, товарищ комбат, с отрядом». Но туда, в дерзкую ночную атаку, был уже снаряжен мой старший адъютант, он же начальник штаба, Рахимов. Я коротко ответил: «Нет». Донских не сразу отошел. Может быть, следовало сказать: «Подожди, Донских, понадобишься, повоюешь». Но я промолчал. Промолчал и Донских.

Я имел время присмотреться к моему адъютанту. Мне нравилась его гордость, его молчаливость, серьезность, с какой он исполнял поручения.

Теперь он опять стоял передо мной, протягивая карту. Всегда хочется видеть лицо, видеть взгляд того, кому ставишь задачу. Мы жили в одном блиндаже, и все-таки я не мог удержаться, чтобы не вглядеться еще раз в лицо своего адъютанта, очень чистое, с тонкой, будто девичьей, неогрубевшей кожей.

Мне нравился и Брудный. У меня он был, пожалуй, лучшим командиром взвода. Очень смышленый, ловкий, он успевал раньше других раздобыть поблизости разный подручный материал; в его взводе лопаты, топоры и пилы были всегда хорошо наточены; в работах его взвод обгонял соседей, и Брудному всегда хотелось — кто не грешен? — чтобы я это заметил. В подобных случаях этот маленький хитрец был очень простодушен; его черненькие глазки, казалось, так и просили: похвали меня.

Однажды мне довелось убедиться, что Брудный не трус. Стрелковые ячейки были закончены у него раньше, чем в других взводах. При осмотре мне показалось: лобовые накаты слабы. Я спросил Брудного: «Это, по-твоему, готово?» — «Да, товарищ комбат».— «Ты посадишь туда людей?» — «Да, товарищ комбат». Я взял у одного бойца винтовку. «Брудный, лезь туда!» Он понял, он побледнел. Я сказал: «Ты хотел туда, под пули, посадить людей. Лезь сам. Я буду стрелять». Еще мгновение поколебавшись, он повернулся на каблуке и спрыгнул во входную траншею. Я крикнул: «Стой! Отойди в сторону!» Он отошел. Я выстрелил. Пуля не прошла, не взяла накат. Брудный имел право гордиться. Его торжествующий взгляд, казалось, опять говорил: «Ну что? Похвали же!» С той поры, с того четкого воинского поворота, мне полюбился этот черненький бойкий лейтенант.

— Садись, Брудный! Садись, Донских,— сказал я.

4

Донских положил карту. Мысленно я уже наметил пункты засад, но еще раз проверил себя по карте. Потом разъяснил задачу: притаиться у дорог, вцепиться и держаться там, не давая ходу немецким автоколоннам, немецкой артиллерии по дорогам; мелкие разведочные группы пропускать без выстрела, а колонну встретить залпами,

встретить пулеметами. Ошарашив врага неожиданным огневым налетом, засада сможет легко уйти.

— Однако, товарищи, не в этом ваша цель,— говорил я.— Наоборот, надо подождать, пока противник не оправится, пока не вступит в бой. Держитесь! Держите дорогу. Заставьте его развернуть против вас боевые порядки. Это первое. Понятно?

— Понятно,— неуверенно ответил Брудный.

Его физиономия, обычно очень подвижная, теперь утратила живость, стала сосредоточенной. Донских молчал.

— Понятно, Донских?— спросил я.

— Понятно, товарищ комбат. Стоять насмерть...

— Нет, Донских, не стоять, а действовать. Маневрировать. Нападать.

— Нападать? — переспросил Брудный.

— Да. Напасть из засады. Перебить огнем, сколько возможно, гитлеровцев. Затем выждать. Пусть противник развернется, вступит в бой, отрядит силы, чтобы окружить вас. Тогда надо выскользнуть и опять в другом месте выйти на дорогу, упредив врага, вновь встав на его пути.

Я начертил на карте виток панфиловской спирали.

— Этим мы вынудим противника развернуться преждевременно, атаковать впустую, оставим в дураках. Потом, когда он опять двинется, надо второй раз нападать.

— Нападать? — снова проговорил Брудный.

Его физиономия стала опять смышленой, глаза блестели. Донских молча улыбался. Он тоже понял.

Оно, это слово «нападать», которое дал мне Панфилов, было каким-то волшебным. Оно сразу прояснило задачу, дошло до души, преобразило людей, придало смелости. Мне подумалось: это не только тактика, это что-то поглубже.

Мы поговорили о деталях. Брудный был возбужден. Получив толчок, его голова заработала. Он уже видел, как спрятать, как замаскировать людей.

Я сказал:

— Да, бойцы должны зарыться, замаскироваться. Говорю это особенно для тебя, Донских. В этом, Донских, никакой жалостливости.

Донских молча смотрел на меня. Я повторил слова Панфилова:

— Жалеть — значит не жалеть. Понятно?

Донских твердо ответил:

— Да, товарищ комбат.

Его синие глаза были уже не такими, как полчаса назад, потемнели, стали строже.

О Родине, о Москве ничего не было сказано в нашем разговоре, но это стояло за словами, это жило в каждом из нас.

5

Лейтенанты ушли готовить взводы в путь. А я опять задумался. Вам удивительно? Решение найдено, приказ отдан, приказ уяснен, усвоен исполнителями,— что же осталось?

Остался бой.

Когда вы будете писать о войне, не упускайте, пожалуйста, из виду одной мелочи: на войне существует противник. И, как ни странно, он не всегда делает то, что хочется вам.

Я чувствовал: бой ума с умом сегодня выигран нами, выигран Панфиловым. А дальше? Неужели немцы, как бараны, подставят себя под пули один раз, другой раз, третий раз? Что предпримет противник после того, как немецкий военачальник, надменный господин «великогерманец», окажет нам честь призадуматься?

На войне существует не один замысел, а два; не один приказ, а два. В бою чей-то замысел, чей-то приказ остается неисполненным. Почему?

Ответьте-ка мне: почему?

6

К сумеркам взводы были готовы к выступлению.

Группа лейтенанта Донских выстроилась у моста через Рузу. Я верхом подъехал к бойцам. Их было немного — пятьдесят четыре человека, все с тяжестями на плечах. У четверых были ручные пулеметы; другие забрали в вещевые мешки запаянные цинковые коробки с патронами для пулеметов и винтовок; телефонисты взвалили на спины мотки провода; с бойцами уходили два санитара.

На правом фланге с винтовкой, как и все, стоял помощник командира взвода сержант Волков, по мирной

профессии слесарь, вечно сумрачный, злой в службе. Позапрошлой ночью он, в числе сотни, ходил в Середу; убивал, как мне рассказывали, молча, был малоразговорчив и вернувшись.

Я намеренно их соединил — юношу Донских с сорокалетним Волковым, про которого знал: он убьет и своего, если свой побежит перед немцем.

В ранних сумерках я всех узнавал в лицо. Многие впервые будут бить из винтовок по немцам, у многих затрепещет, замрет завтра сердце под первым обстрелом.

Чем вас напутствовать, бойцы? Все уже сказано, что я мог вам сказать; все отдано, что мог вам отдать. А ну, на прощание...

— Смирно! Пол-оборота нале-во! Заряжай! По одинокой елке, в макушку, пальба залпом... Взвод...

Мягким и грозным звуком щелкнули пятьдесят смазанных затворов. К плечам вскинулись винтовки. На береговом взгорке черным вырезанным силуэтом вырисовывалась в вечернем небе высокая сильная ель. Бойцы ждали исполнительной команды.

Я крикнул:

— Огонь!

Прокатилось: р-р-р-р... На мгновение возникла линия красноватых вспышек, озарившая штыки и концы стволов. Донесся треск перебитых веток, ломающихся и падающих в снег. Опять щелкнули затворы, опять замерли прижатые к плечам винтовки. Чернота хвои уже не была сплошной: обозначились смутные просветы там, где отлетели лапы.

— Огонь!

Опять вспыхнули красноватые жала, опять прогремел залп, опять падали тяжелые свислые ветки.

— Огонь!

После третьего залпа макушка нагнулась, как подрубленная, потом, задрожав, выпрямилась, опять стала клониться, образуя тупой, медленно падающий угол. Повисев несколько секунд, она рухнула на нижние ветки и, обламывая их, пала наземь. Вместо острой вершины темнел в небе усеченный зазубренный конус.

Дав команду «к ноге!», я сказал:

— Хорошо стреляете!

Бойцы ответили, как и стреляли, враз:

— Служим Советскому Союзу!

— Вот так и бейте по немцу! Под команду залпом! Чтобы смерть хлестала, а не моросила дождичком! Верьте, товарищи, своей винтовке! Лейтенант Донских, можете вести.

Из другого пункта я проводил взвод Брудного.

7

Я ожидал, что на следующий день, восемнадцатого октября, взвод Донских или взвод Брудного примет бой. Но ни восемнадцатого, ни девятнадцатого немцы не продвигались на нашем участке.

Обе засады затаились на опушках, соорудив подземные укрытия для продолжительного боя.

На верхушках сосен сидели наблюдатели, глядевшие в сторону немцев. Но обе дороги были пустынны. В установленные часы несколько раз в день Донских и Брудный сообщали по телефону: «Противник не показывается».

Весь центральный отрезок Волоколамского укрепленного района,— не только мы, но и фронт соседних батальонов,— не испытывал в эти дни никакого давления противника; немцы не высылали здесь даже разведочных групп.

Но сбоку, из-за левого края полосы батальона, из-за лесов, куда убегала Руза, доходил непрестанный пушечный гром. Там сражалась наша противотанковая артиллерия. Туда, на левый фланг дивизии, Панфилов взял все зенитные пулеметы, в том числе приданные было моему батальону. Туда он перебросил одну роту из батальона, расположенного правее нас, приказав затянуть оставшимися силами оголенный участок. Ночью по заревам, днем на слух мы следили за перемещением линии боя. Уханье не приближалось. Напротив, оно временами будто удалялось, но удалялось в глубь нашего фронта, все круче заходя нам за спину.

В общих чертах я знал обстановку. Ось немецкого удара осталась той же, что была шестнадцатого. Подтянув силы, немцы продвинулись. Двумя-тремя дивизиями, в том числе и танковой, они вырвались на мощеную дорогу Можайск — Волоколамск, на так называемую «рокаду» (запишите в скобках: рокадой именуется дорога, идущая параллельно линии фронта), на рокаду, пролегающую за

нашими плечами. Вырвались и повернули на Волоколамск.

Наш батальон заслонял войска, дерущиеся на рокаде, от удара во фланг и в тыл. Но немцы не приближались к нам. По-прежнему меж нами и противником лежала пустынная промежуточная полоса шириной двенадцать — пятнадцать километров.

8

Двадцатого октября Донских позвонил в неурочный час.

— Товарищ комбат, идет грузовая машина. Немецкая пехота.

— Одна машина?

— Да.

— Пропусти.

Через несколько минут Донских снова вызвал меня.

— Товарищ комбат, показалась колонна машин. Тоже с пехотой.

— Сколько?

— Хвоста не видим. Пока десять. Виноват, сейчас передали; еще две.

— Ну, Донских...— сказал я.

— Не растеряйся? — закончил фразу Донских, и я в трубку услышал, как он перевел дыхание.— Так, товарищ комбат?

— Так.

— Есть, товарищ комбат. Не пропустим, товарищ комбат...

Донских ушел. А я по-прежнему прижимал к уху трубку. На другом конце провода, который был скрыт под землей, находился связной, который доносил мне о том, что происходило. Слух обострился. Я воспринимал не только слова, но и оттенки тона, каким они сказаны. В штабном блиндаже, за восемь километров от взвода, я будто видел то, что видел из окопа связной.

Длинные открытые грузовики медленно двигались по дороге, в эти дни опять схваченной морозцем, затвердевшей, чуть присыпанной ранним октябрьским снегом. На скамейках, устроенных по бортам и посреди кузова, сидели немецкие солдаты с винтовками и автоматами. Теперь

это кажется почти невероятным, но тогда, под Москвой, в октябре тысяча девятьсот сорок первого года, немцы совершали наступательный марш иногда вот так: без разведки, без патрулей, без бокового охранения, с удобствами, в грузовиках, уверенные, что при встрече сумеют погнать «руса».

А «рус» лежал на опушке, не отрывая взгляда от людей в зеленоватых шинелях, в зеленоватых пилотках, катившиих по нашей земле, как господа,— лежал, затаившись, сжимая взведенную винтовку, ожидая команды «огонь!».

Показалось: в мембране что-то щелкнуло. У меня вырвалось:

— Ну, что там?

Щелкнуло еще раз.

— Что там? — повторил я.

— Стреляем, товарищ комбат. И я бью, товарищ комбат.

— Залпами?

— Да, по команде, товарищ комбат.

— А немцы?

Протянулось нестерпимо долгое молчание.

— Бегут! — выкрикнул телефонист.— Ей-богу, бегут...

Меня охватил восторг. Немцы бегут! Так вот, значит, как это совершается, вот как бегут на войне! Есть, значит, у нас сила, которая разит тело и дух, которая заставила немцев мгновенно позабыть дисциплину и гордость, позабыть, что они «высшая» раса, завоеватели мира, непобедимая армия. Эх, конницу бы сейчас! Вылететь бы на конях вдогонку, и рубить, и рубить, пока не опомнились, пока бегут.

Я упивался не только победой, но и тайной победы, которая открывалась уму. Есть у нас сила! Имя ее... Нет, в тот момент я еще не умел назвать ее по имени.

9

Через некоторое время Донских сообщил по телефону: в первые минуты засада перебила около сотни гитлеровцев — втрое или вчетверо больше уцелело; отскочив, немцы восстановили порядок; развернулись, залегли, вступили в огневой бой.

— Хорошо. Что и требовалось доказать,— сказал я.— Поиграй с ними. Пусть потопчутся. Людей спрячь. Но гляди по сторонам.

По телефонным донесениям я следил за боем. Сначала немцы открыли ответную пальбу из автоматов, винтовок, пулеметов, затем против взвода стали действовать минометы. В этом было тогда одно из преимуществ гитлеровской армии — масса минометов. Мотопехота возила с собой минометы на грузовиках, сложенные как дрова.

Бойцы ушли в укрытия. Немецкая разведка, приблизившаяся к лесу после двухчасового обстрела, была встречена огнем. Взвод жил, взвод держал дорогу.

Я по телефону сообщил командирам рот о ходе боя и приказал немедленно довести эту информацию до бойцов, чтобы они знали, как их товарищи бьют немцев.

Командир второй роты Севрюков, неторопливый сорокалетний лейтенант, ответил:

— Бойцы уже знают, товарищ комбат.

— Откуда?

— Действует, товарищ комбат, беспроволочный солдатский телефон.

Чувствовалось: Севрюков говорит с улыбкой.

— Что за телефон?

— Прибыли, товарищ комбат, раненые. И рассказывают наперебой. Я удивляюсь, товарищ комбат...

Севрюков подумал, прежде чем высказать мысль. Я слушал его тоже с улыбкой, с интересом.

— Я удивляюсь, товарищ комбат... Люди ранены — ведь это страдание, боль,— а все веселые. Мы, говорят, им дали. И знаете? — от этого будто и боль меньше... Вот, товарищ комбат: оказывается, и раненые могут поднять дух.

— Сколько прибыло раненых?

— Четверо... они хотя и перевязаны, а все-таки надо бы им скорее на медпункт. А не отправишь: рассказывают, рассказывают, как воевали.

Радость, которая звучала в его голосе, трепетала, билась и во мне. Я положил трубку.

Встал мой начальник штаба, худощавый, быстро соображающий, немногословный Рахимов.

— Разрешите, товарищ комбат, сходить к раненым — уточнить обстановку.

— Да. Идите.

Вскоре меня вновь вызвал к телефону Донских. Он сообщил, что с флангов немецкой цепи отделились две группы человек по сорок, явно намереваясь обойти взвод, окружить. Донских говорил встревоженно. Я понимал: ему страшновато, ему хочется спросить: не пора ли отскочить? — но он — мой застенчивый, гордый Донских — все-таки не спрашивал.

— Ничего, Донских,—говорю я.— Отряди бойцов, чтобы следили. Подвернется случай, пусть полоснут огнем. Не бойся. Они сами тебя боятся.

Следующее донесение Донских было таково:

— Товарищ комбат, стреляют с трех сторон. Кричат: «Рус, сдавайся!»

— А ты?

— И мы стреляем.

— Хорошо. Подержи их, Донских.

На этот раз он выговорил:

— Товарищ комбат! Могут окружить...

— Ничего, Донских. Дело к вечеру. В темноте выйдешь. Держись, дорогой.

У меня нечаянно слетело это слово. Я говорил с ним, с голубоглазым Донских, не по уставу, а по сердцу.

Вы, может быть, думаете: чего Донских волновался? Он, может быть, кажется вам немужественным, слабонервным. Но поймите же: он находился не за письменным столом, не за мирным станком, не на учебном поле. Его окружала смерть. Он слышал ее свист, он видел ее — немцы стреляли трассирующими пулями; она летела с разных сторон красными и голубыми светляками; она проносилась и проносилась рядом, чуть не задевая, и сердце трепетало вопреки разуму, вопреки воле. Он был не механизмом, не бесчувственным пнем, не слитком из железа. Он переживал первый бой — небывалый критический момент в жизни человека.

За восемь километров я ощущал его трепещущее сердце. Душевная сила, которую я, скорее по инстинкту, чем осознанно, стремился в нем поддержать, от него, офицера ближнего боя, передавалась бойцам.

И вдруг — именно вдруг, как-то совсем неожиданно — Донских взволнованно сообщил: немцы отошли. Сперва не поверилось. Но окошечко штабного блиндажа было уже

темным; день кончился. Вскоре Донских подтвердил: да, постреляли, покричали и отошли, забирая под прикрытием сумерек трупы.

Это был маленький бой, но меня бил озноб счастья: хотелось смеяться, хотелось вскочить на коня и помчаться туда, к Донских, к бойцам, к нашим героям.

Ночью взвод лейтенанта Донских переменил позицию.

«Ты отдал Москву!»

1

На следующее утро опять глухо зарокотали пушки у нас за плечами, в глубине.

А перед фронтом батальона было тихо. В установленные часы Донских и Брудный докладывали: дороги пустынны. Там, далеко впереди, наблюдатели, как и вчера, с высоких деревьев высматривали немцев.

Я ждал неурочного звонка. Он раздался. Дежурный телефонист сказал:

— Товарищ комбат, оттуда...

Телефонист жил одной жизнью с нами; пояснения не были нужны; я понял откуда.

— Слушаю...

— Товарищ комбат, вот так штука: конные немцы... Едут по дороге.

Я узнал быстрый говорок Брудного. Пришел, видимо, его черед. Взвод Брудного, как вы знаете, затаился на другой дороге.

— Сколько?

— Человек двадцать.

— Пропусти.

Следом за кавалеристами появилась группа на мотоциклетах. Сегодня враг действовал осторожнее: выслал головные дозоры. Но бойцы были искусно спрятаны в леске.

Придорожный лесок, где немцев подстерегал взвод Брудного, был небольшой. Однако невдалеке, приблизительно в полукилометре, находилась другая роща, куда, выбрав момент, легко было перебежать, чтобы затем, ускользнув от врага, опять выйти на дорогу.

Через час немцы на конях и на мотоциклах проехали назад — дорога до реки для них была свободна.

Вскоре Брудный доложил, что показалась колонна грузовиков с пехотой. Сочтя путь разведанным, немцы двигались, как и вчера, в автомобилях, без бокового охранения.

— Изготовился? — спросил я.

— Да, товарищ комбат. Мы готовы.

— Подпусти и нападай! Действуй спокойно.

В трубке прозвучал твердый и серьезный голос:

— Есть, товарищ комбат.

О происходящем мне опять сообщал связной. И на этой дороге повторилось вчерашнее. Залп из засады. Другой. Третий. И опять, соскакивая с машин, немцы побежали, мгновенно забыв все, чему их учили: забыв о команде, о дисциплине, превратившись в охваченную паникой толпу.

Я допытывался у телефониста, который из далекого леса доносил, как идет бой:

— Бегут ли? Или залегли? Отвечай точно!

— Бегут, товарищ комбат... Ох и прытко! Мы, товарищ комбат, сейчас опять их резанули.

Еще вчера я задумался над этим. Как немцам следовало бы вести себя, попав под внезапный залповый огонь? Немедленно лечь, вжаться в землю, открыть бешеный ответный огонь. Казалось бы, даже без всякой команды это должен был бы диктовать каждому инстинкт самосохранения. Но какая-то сила парализовала сообразительность, отнимала рассудок, творила странные шутки с врагом, делая его легкой добычей смерти.

В те дни, в наших первых боях, я схватывал умом, постигал эту силу. Не спешите. Придет срок — мы назовем ее по имени, мы потолкуем о ней.

2

В самом начале боя прервалась связь со взводом Брудного.

Телефонисты, посланные проверить линию, вернулись, наткнувшись на немцев. Я с пристрастием расспросил телефонистов, не понимая, что произошло. Противник обстрелял их из села, расположенного на дороге. Теле-

фонисты не знали, сколько там немцев, прошли ли туда машины.

Странно. Тревожно. Где же наш взвод? Что с нашим взводом? Неужели окружен? Неужели Брудный — такой находчивый, смышленый — упустил момент, когда следовало выскользнуть?

Что делать? Я не брошу своих на погибель. Но как помочь? Чем? Потянуло, сильно потянуло самому взять взвод и прокрасться на выручку своим. Нет, не имею права,— у меня батальон, у меня восемь километров фронта, я обязан быть здесь.

Скрепя сердце я старался хладнокровно рассуждать. Предположим, взвод окружен. Но разве мои пятьдесят бойцов, пятьдесят сынов, сдадутся? Поднимут руки? Нет, буду драться за жизнь. Я верил в это, верил бойцам, командиру. У них винтовки, у них четыре ручных пулемета, вдоволь патронов,— а ну, попробуй-ка, враг, подступись!

Я отправил на выручку полувзвод пешей разведки. Полувзвод! Такими силами мы тогда воевали. Командиру я приказал: «Подойди незаметно, не лезь напропалую, действуй с умом, с выдержкой, дождись темноты, в темноте свяжись с Брудным, помоги ему».

Брудному я велел передать: пробившись, пусть опять выходит со взводом на дорогу, как ему приказано; пусть завтра из другой засады снова встретит немцев огнем.

3

Отпустив командира, я вышел из блиндажа под мглистое, низко нависшее небо. До сумерек оставалось часа два. Не хотелось видеть людей, разговаривать. Не думалось ни о чем, кроме как об отрезанном взводе, о пятидесяти бойцах, что борются в придорожном лесу.

Я медленно шагал к реке. В поле красноармейцы поднимали стылую землю, подтаскивали лес, возводя ложную позицию. Не захотелось подходить и туда. Издали показалось: копают с роздыхом, копаются... Скорее! Наши люди, пятьдесят бойцов, держатся, дерутся за рекой, отвоевывая для нас эти часы, эти минуты, приковывая врага. Я чувствовал: подойду, и напряжение прорвется, накричу на виноватого и неповинного.

Ухо пыталось уловить: не донесутся ли из-за реки хлопки немецких минометов? Нет, там тихо. А вдруг там все уже кончено? И я никогда не увижу моего Брудного, моего Курбатова, других.

Впоследствии, загрубев на войне, сердце не часто томилось и болело так.

Вернувшись в блиндаж, я ждал разведчиков, ждал вести.

— Товарищ комбат, вас,— произнес телефонист.

Звонил командир второй роты лейтенант Севрюков. Он доложил:

— Товарищ комбат! Взвод лейтенанта Брудного вырвался из окружения.

4

Я быстро спросил:

— Откуда вы знаете?

— Как откуда? Они, товарищ комбат, здесь.

— Где?

— Так я же докладываю,— Севрюков говорил со свойственной ему неторопливостью, которая подчас бывала для меня пыткой,— я докладываю, товарищ комбат, здесь. Вышли в расположение роты.

— Кто?

Я все еще не понимал или, вернее, уже понял, но...

Но, может быть, сейчас, сию минуту все разъяснится по-другому. Севрюков ответил:

— Лейтенант Брудный... и бойцы. Те, которые вернулись. Шестеро убиты, товарищ комбат.

— А немцы? А дорога?

Вопрос сорвался с языка, хотя к чему было спрашивать? Ведь ясно же... Дошел ответ Севрюкова: дорога захвачена врагом. Я молчал, Севрюков спросил:

— Товарищ комбат, вы у телефона?

— Да.

— Позвать, товарищ комбат, к телефону Брудного?

— Не надо.

— Пусть идет к вам?

— Не надо.

— А что же?

— Ждите меня.

Положив трубку, я не сразу встал.

Так вот оно — самое страшное.

Страшна была не потеря дороги. К этому я был подготовлен. По нашему же тактическому замыслу, это должно было случиться завтра-послезавтра.

Но сегодня мой лейтенант, мой взвод, мои бойцы отошли, бросили дорогу без приказа. Бежали!

Через несколько минут я подъехал верхом к командному пункту второй роты. Недалеко отсюда трое суток назад, в памятных сумерках, я провожал бойцов. И теперь были сумерки. Но тогда, трое суток назад, меня встретил строй. Теперь вернувшиеся красноармейцы устало сидели и лежали на земле, покрытой ранним снегом.

У блиндажа — у покатой горбинки, теряющейся в неровностях берега,— стояла группа командиров. Кто-то, маленького роста, отделился от группы и побежал ко мне. На бегу он подал команду:

— Встать! Смирно!

Это был Брудный. Добежав, он четким движением отдал честь и вытянулся передо мной.

— Товарищ командир батальона...— взволнованно начал он.

Я перебил:

— Лейтенант Севрюков! Ко мне!

Севрюков тяжеловато подбежал.

— Кто здесь у вас старший начальник?

— Я, товарищ комбат.

— Почему же не вы командуете? Почему взвод не выстроен? Что за кабак? Всем выстроиться! Командирам тоже!

Подошел Бозжанов. Он тихо спросил по-казахски:

— Аксакал, что произошло?

Я ответил по-русски:

— К вам, товарищ политрук, не относится приказ? В строй!

Несколько секунд Бозжанов стоял, подняв ко мне полноватое лицо. Он явно хотел что-то сказать, но не решился. Он понимал, что я сейчас не приму, не потерплю успокоительного слова.

Строгая линия строя зачернела на снегу. Было тихо. Лишь издали, из глубины, с востока, доходила глухая канонада. Я подъехал к строю. На этот раз рапортовал Севрюков. Рядом, напряженно вытянувшись, стоял Брудный. Я повернулся к нему:

— Докладывайте.

Он заговорил торопливо:

— Товарищ комбат, сегодня усиленный взвод под моей командой уничтожил около ста фашистов, но нас окружили. Я принял решение: атаковать, пробиться...

— Хорошо. А почему вновь не вышел на дорогу?

— Товарищ комбат, за нами гнались...

— Гнались?

Я со злобой, с ненавистью выкрикнул это.

— Гнались? И у тебя повернулся язык оправдываться этим? Враг объявил, что будет гнать нас до Урала. Так и будет, что ли, по-твоему? Мы отдадим Москву, отдадим нашу страну, прибежим к семьям, к старикам, к женщинам и скажем: «За нами гнались...» Так, что ли? Отвечай.

Брудный молчал.

— Жаль,— продолжал я,— что тебя не слышат женщины. Они надавали бы тебе пощечин, они оплевали бы тебя. Ты не командир Красной Армии, ты трус.

Из глубины опять дошел глухой пушечный рокот.

— Слышишь? Немцы и там — позади нас. Там враг пробивается к Москве. Там дерутся наши братья. Мы, наш батальон, прикрываем их здесь от удара сбоку. Они верят нам, верят: мы устоим, не пропустим. А я поверил тебе. Ты держал дорогу, ты запер ее. И струсил. Бежал. Думаешь, ты оставил дорогу? Нет! Ты отдал Москву!

— Я... я... я думал...

— У меня с тобой разговор кончен. Иди.

— Куда?

— Туда, где твое место по приказу.

Я показал за реку. Голова Брудного дернулась, словно он хотел посмотреть назад, куда указывала моя рука. Но он сдержал это движение, он продолжал стоять передо мною «смирно».

— Но там, товарищ комбат...— хрипловато выговорил он.

— Да, там немцы! Иди к ним! Служи им, если хочешь! Или убивай их! Я не приказывал тебе явиться сюда. Мне не нужен беглец! Иди!

— Со взводом? — неуверенно спросил Брудный.

— Нет. У взвода будет другой командир! Иди один!

Командир батальона по-разному может применить власть к офицеру, не выполнившему боевого приказа: послать его снова в бой, отрешить от должности, предать суду и даже, если требуется обстановкой, расстрелять на месте. А я... Я тоже вершил суд на месте. Это был расстрел перед строем, хотя и не физический,— расстрел командира, который, забыв воинскую честь, бежал вместе с бойцами от врага. За бесчестье я карал бесчестьем.

А Брудный все еще стоял перед безмолвной шеренгой, словно не понимая, что разговор действительно кончен, что я выгнал его из батальона. Для него это была страшная минута. Он был комсомольцем; он, конечно, не раз думал о войне, о смерти; знал, что в бою, быть может, придется отдать жизнь за Родину; мечтал быть храбрым, мечтал о большом счастье победы и, наряду с этим, о наградах, о славе, о маленьком, но ему невыразимо дорогом собственном счастье.

Но пришла настоящая война, разразился настоящий бой, и он, комсомолец Брудный, лейтенант, командир взвода, бежал со своим взводом. И суд уже свершен — без прений, без голосований, не на заседании комсомольского бюро, а на поле войны — свершен единовластным военачальником, командиром батальона. И мечты перечеркнуты. Он, Брудный, спас жизнь, но жизни для него уже не было; ему брошено перед строем позорное слово «трус»; ему объявлен приговор: изгнать!

Он стоял, будто все это — что, быть может, пострашнее смерти — еще не дошло до него, будто ожидая какого-то моего последнего слова. Но я молча в упор смотрел на него. Я был в ту минуту как каменный. В душе не шевельнулась жалость. Меня поймут те, кто воевал; в такие минуты ненависть выжигает как огнем иные чувства, что ей противоречат.

Брудный понял: сказано все. У него достало силы поднести руку к козырьку:

— Есть, товарищ комбат!

Выговорив, он повернулся по-военному, через левое плечо, на каблуке. И пошел, все убыстряя шаг, будто торопясь уйти к мосту через Рузу, во мглу, где на ночь притих враг.

6

Кто-то отделился от черной стены взвода и побежал за Брудным. Все услышали:

— Товарищ лейтенант, я с вами...

Я узнал этот плечистый высокий силуэт с полуавтоматом на ремне, этот голос.

— Курбатов, назад!

Он остановился.

— Товарищ комбат, и мы виноваты.

— Кто позволил выбегать из строя?

— Товарищ комбат, туда нельзя одному. Там...

— Кто позволил выбегать из строя? На место! Если надо, обратись ко мне, как положено обращаться к командиру в Красной Армии.

Вернувшись в строй, Курбатов произнес:

— Товарищ комбат, разрешите обратиться.

— Не разрешаю! Здесь не митинг! Я знаю: бежали и вы вместе с командиром. Но за вас отвечает командир. Если он приказывает бежать, вы обязаны бежать! Все меня слышат? Если командир приказывает бежать, вы обязаны бежать. Отвечает он. Но когда командир приказывает «стой!», то и он сам, и каждый из вас, каждый честный солдат обязан убить того, кто побежит. Ваш командир не сумел взять вас в руки, остановить вас, перестрелять на месте тех, кто не подчинился бы ему. Он расплатился за это.

Из мглы, где скрылся Брудный, вдруг, как темный призрак, опять показался он. Вместе с вновь вспыхнувшей ненавистью я почувствовал теперь и презрение. Что он, пришел упрашивать? Струсил и тут?

— Чего тебе?

— Товарищ комбат, примите документы.

— Что у тебя?

Чуть запнувшись, Брудный ответил:

— Комсомольский билет. Командирское удостоверение, письма.

Я вызвал Бозжанова.

— Товарищ политрук, примите документы.

Брудный вытащил из-за борта шинели тонкую пачку бумаг и протянул Бозжанову.

— Аксакал,— чуть слышно шепнул мне Бозжанов.

Ничего больше он не произнес, но умолял и одним этим словом. Брудный стоял, не поднимая головы. Мне показалось: это хитрость труса. Он, наверное, на это и рассчитывал, возвращаясь: комбат вызовет политрука, политрук заступится. Подумалось: «Так ты хитришь здесь, а не с врагом? Я хотел дать тебе возможность спасти честь, но, если ты снова струсил, тогда черт с тобой, погибай без чести».

— Брудный,— сказал я,— можешь оставить документы при себе. Туда можешь не ходить. Вот тебе другая дорога.

Я указал тропинку, ведущую в тыл.

— Иди в штаб полка... Доложи, что я выгнал тебя из батальона, что предал суду... Оправдывайся там.

С едва слышным свистящим звуком, похожим па всхлипывание, Брудный глотнул воздух.

— Товарищ комбат, я... я докажу вам... Я убью...— Теперь его голос дрожал, теперь прорвалось то, что он сдерживал.— Я убью там часового... Я принесу его оружие, его документы... Я докажу вам...

Я слушал, и уходила, исчезала ненависть. Хотелось шепнуть, чтобы уловил только он: «Молодец, молодец, так и надо!» Душа дрогнула, душу пронзила любовь. Но об этом никто не узнал.

— Ступай куда хочешь! Мне ты не нужен.

— Возьмите, товарищ политрук,— произнес Брудный.

Бозжанов засветил электрический фонарик: луч скользнул по смуглому осунувшемуся лицу Брудного — глаза казались ввалившимися, скулы заострились, на них горели пятна румянца. Потом свет упал на пачку бумаг. Бозжанов взял их. Фонарик погас.

Повернувшись, Брудный быстро пошел. Я крикнул:

— Курбатов, дай лейтенанту полуавтомат!

Это единственное, что я мог для него сделать. Я отвечал за стойкость батальона, за рубеж — рубеж в душах и по берегу Рузы,— что заслонял Москву.

Еще один бой на дороге

1

Вернувшись в штабной блиндаж, я вызвал к себе Курбатова.

Он вошел хмурый. Враги гнали среди других и его, этого человека с гордой посадкой головы, красивого, сильного и, казалось бы, смелого. Почему? Почему так случилось? Это я обязан был знать.

— Рассказывай,— приказал я,— что с вами там произошло. Почему бежали?

Курбатов отвечал скупо. Во время перестрелки с залегшими немцами раздалась трескотня автоматов сзади, совсем близко. Из-за деревьев, в спину бойцам, полетели трассирующие пули. Брудный крикнул: «За мной!», и взвод с винтовками наперевес кинулся из лесу в соседнюю рощу, как это было заранее намечено. Но вдруг и оттуда, навстречу бойцам, затрещали выстрелы. Кто-то упал, кто-то закричал. Люди шарахнулись в сторону и с этой минуты уже не могли остановиться. Их все время настигали трассирующие пули; немцы, стреляя, шли следом; на военном языке это зовется «на плечах».

Я спросил:

— Сколько же их было, этих автоматчиков, которые вас гнали?

Курбатов мрачно ответил:

— Не знаю, товарищ комбат.

— Может быть, дюжина? Или поменьше?

Курбатов молча смотрел вниз.

— Ступай,— сказал я.

2

Курбатов ушел.

Что же переживал он, мой солдат? Я видел: ему было стыдно.

Стыд... Задумывались ли вы над тем, что это такое? Если на войне будет убит стыд солдата, если замолкнет этот внутренний осуждающий голос, то уже никакая выучка, никакая дисциплина не скрепят армию.

Настигаемый пулями, Курбатов бежал вместе с другими. Страх кричал ему в уши:

«Ты погиб; твоя молодая жизнь пропала; тебя сейчас убьют или изуродуют, искалечат навсегда. Спасайся, прячься, беги!»

Но звучал и другой властный голос:

«Нет, остановись! Бегство— низость и позор! Тебя будут презирать, как труса! Остановись, сражайся, будь достойным сыном Родины!»

Как нужна была в момент этой отчаянной внутренней борьбы, когда чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону, когда душа солдата раздиралась надвое,— как нужна была в этот момент команда! Спокойный, громкий, повелительный приказ командира — это был бы приказ Родины сыну. Команда вырвала бы воина из когтей малодушия; команда мобилизовала бы не только то, что привито воинским обучением, дисциплиной, но все благородные порывы — совесть, честь, патриотизм. Брудный растерялся, упустил момент, когда мог, когда обязан был дать команду. Из-за этого взвод разбит в бою. Из-за этого честный солдат теперь стыдится посмотреть мне в глаза.

3

Командир взвода ответил за свою вину.

А я? Ведь за все, что совершилось и совершится в батальоне, за каждую неудачу в бою, за каждый случай бегства, за каждого командира и бойца отвечаю я. Мой взвод не исполнил боевого приказа,— значит, боевого приказа не исполнил я.

Сообщив по телефону о случившемся в штаб полка, дав требуемые разъяснения, я положил трубку и... и стал держать ответ перед беспощадным судьей — перед собственной совестью, собственным разумом.

Я обязан был доискаться: в чем моя вина? Не в том ли, что во главе взвода мною был поставлен негодный командир? Не в том ли, что я заблаговременно не понял, что он трус? Нет, это не так. Сумел же он даже после бегства, после казни перед строем вновь пробудить любовь в моем сердце, сумел показать, что в нем жива честь.

Что же там, под пулями, стряслось с ним? Почему там он забыл о долге и власти командира? Может быть, поддался трусости других? Нет, я не верил, что мои солдаты трусы. Тогда, может быть, я плохо их подготовил? Нет, и этой вины я за собой не знал.

Истина проступала, приоткрывалась уму лишь постепенно, в неотчетливых и грубых очертаниях.

Ведь еще несколько дней назад, когда я ставил лейтенантам задачу, мне подумалось: неужели немцы, как бараны, один раз, другой раз, третий раз так и будут подставлять головы под наши залпы? Но тогда я не сделал никакого вывода из этой промелькнувшей мысли; я счел противника глупее, чем он оказался.

Очевидно, уже после первого боя на дороге мы заставили немецкого военачальника поразмышлять, заставили раньше, чем я предполагал. На случай встречи с засадой у него, очевидно, уже был какой-то план, которого я заблаговременно не разгадал. Он внезапностью ответил на внезапность. Он обратил в бегство и погнал мой взвод, моих солдат таким же самым средством — неожиданным огнем почти в упор, от которого бежали, охваченные паникой, и его солдаты.

Сегодня он победил, погнал меня — в мыслях я употребил именно это слово: «меня»,— но не потому, что его офицеры и солдаты были храбрее или лучше подготовлены. И не числом он одолел меня — против числа, по нашему тактическому замыслу, можно было бы долго воевать малыми силами,— а, в свою очередь, замыслом, тактическим ходом, умом.

Да, я мало думал вчера! Я был побит до боя. Вот моя вина.

4

Я вглядывался в карту, воспроизводил воображением картину боя, картину бегства, стремился разгадать, как он, мой враг, немецкий военачальник, это подготовил, как осуществил.

Мои бойцы бежали. Враг заставил их бежать, враг гнался за ними. Мысленно я видел это, всматривался в это. Я видел, как они спешили, задыхаясь, подхлестываемые светящимися кнутиками трассирующих пуль, подхлестываемые смертью; видел, как за ними гнались немцы,

стреляя на бегу, тоже запыхавшиеся, вспотевшие, увлеченные преследованием. Сколько было там, на пути бегства, перелесков, кустарников, овражков! Скрыться бы где-нибудь, моментально залечь, повернуть все стволы в сторону врагов, подпустить их, торжествующих, захваченных азартом погони, и хладнокровно расстрелять в упор.

Брудный не сохранил хладнокровия, Брудный утратил управление собственной душой и душами солдат — в этом его преступление.

Но я, комбат, обязан был еще вчера, до боя, подумать за него, предвидеть.

Противник овладел дорогой. Но пока одной. Другая еще не принадлежит ему. Там, переменив место засады, немцев поджидает взвод Донских. Завтра противник попытается каким-нибудь приемом обратить в бегство, погнать и этот взвод.

5

Соединившись с Донских по телефону, я приказал ему, взяв охрану, явиться ко мне.

Часа через полтора он пришел.

Он выглядел как будто прежним. Кожа на лице и на руках была, как и раньше, девичьи-нежной. Войдя, он зарделся легким румянцем. Но уже по его первому жесту, по первому слову я понял: Донских иной. Встретив мой взгляд, он улыбнулся: улыбка была знакомой, чуть сконфуженной, однако и новой — в ней проступила какая-то внутренняя сила, он будто сознавал свое право улыбаться. И движения стали увереннее, быстрее. Он свободнее, чем прежде, взял под козырек, свободнее доложил, что явился.

— Садись,— сказал я.— Доставай карту.

На карте, которую развернул Донских, место засады не было обозначено никакой пометкой. В таких делах тайну нельзя доверять карте. Но пункт первого боя — уже не секретный — Донских, словно для памяти, обвел красным кружком. Я взглянул туда. Мы оба знали: там было пройдено великое испытание духа; там была пережита великая радость победы,— оба знали и оба не вымолвили об этом ни слова.

— Видишь ли, Донских,— сказал я,— прошлый раз мы с тобой толковали вот о чем: пусть противник охватывает

засаду. Это можно допустить. Но не попадаться в окружение.

Донских кивнул. Взгляд был понимающим. Я продолжал:

— Однако противник может окружить незаметно. Например, так... С этой стороны он тебя охватит.— Тупым концом карандаша я показал это на карте.— Тебе останется выход сюда. Ты выскользнешь, станешь уходить, а противник, незаметно заранее подобравшись, уже залег на пути, уже ждет, уже видит тебя. И встретит огнем в лицо. Что тогда?

— Что? — переспросил Донских.— В штыки!

— Ой, Донских... Штыком доставать далеко: перестреляет. Не заметаешься ли? Не побежишь ли?

Он чуть вскинул голову:

— Я, товарищ комбат, не побегу.

— Не о тебе одном речь. Люди не побегут ли?

Донских молчал, глядя на карту, думая, ища честного ответа.

— Конечно, Донских, надо бороться и в самом отчаянном положении. Но зачем нам попадать в такое положение? Пусть немцы попадутся. Штыком ты, Донских, убьешь одного, умом убьешь тысячу. Это, Донских, казахская пословица.

— А как, товарищ комбат?

Юношеские голубые глаза доверчиво смотрели на меня.

— Бежать! — сказал я.— Бежать, как хотят того немцы, в беспорядке, в панике! Минут десять, пятнадцать для вида повоюй и разыграй панику. Пусть гонятся! Игру будем вести мы. Не они погонят нас, а мы заставим их — понимаешь, заставим хитростью — погнаться. Придерживайся дороги. Скатись в этот овраг.— Я опять касался карты тупым концом карандаша.— Или выбери другое подходящее местечко. Там надо мигом спрятаться, залечь. Первая группа пусть пропустит немцев. А вторая встретит их пулеметами и залпами в лицо. Они шарахнутся, кинутся назад. Тогда надо хлестнуть отсюда, опять в лицо, в упор. Взять между двух огней, перебить всех, кто гнался! Понятно?

Переживая в воображении этот бой, я взглянул на Донских с торжествующей злорадной улыбкой. Донских не улыбнулся в ответ.

Я не сразу понял, что с ним.

Быть может, Донских на минуту испытал ужас перед бойней, перед кровавой баней, которую ему предстояло учинить.

Но ответил он твердо:

— Я понял, товарищ комбат.

Мы поговорили о разных подробностях. Затем я сказал:

— Растолкуй маневр бойцам.

Он переспросил:

— Маневр?

Это слово почему-то показалось ему странным. Наверное, не то — не истребление врагов — связывалось у него до сих пор со словом «маневр». Но тотчас он ответил как положено:

— Есть, товарищ комбат.

— Ну, Донских, все.

Он поднялся.

Этому юноше с нежным лицом, с нежной душой предстояло завтра заманить врага в западню и убивать в упор мечущихся, обезумевших людей. Я видел: он сумеет это сделать.

6

Казалось бы, я достиг того, чтобы опыт сегодняшней нашей неудачи стал предвестником завтрашней удачи.

На душе стало легче. Отпустив Донских, я лег, прикрылся шинелью, повернулся к стене, чтобы уснуть. Некоторое время работала мысль. Потом начала меркнуть.

Перед закрытыми глазами возникла топографическая карта, возникло внимательное лицо Донских. Тупым концом карандаша я касаюсь карты, я показываю ему: «Они побегут, кинутся сюда, здесь мы снова их встретим огнем!»

И неожиданно — это мгновение запомнилось мне страшно ярко — я увидел: карты касается чужой, не мой карандаш. Мой был простым черным, а у этого лакированные красные грани, у этого остро зачиненное синее жало. И рука не моя. Рука белая, с рыжими светлыми волосками на немолодой, но розоватой коже.

Взгляд скользнул от руки к лицу. Да, это был он, мой противник, немецкий командир с жестокими, острыми глазами. Обращаясь к кому-то, кто стоял рядом с ним, он про-

изнес (я не понимал их языка, но одновременно и понимал: во сне, а также в видениях, предшествующих сну, бывают эти странности), произнес слово в слово мою фразу: «Они побегут, кинутся сюда, здесь мы их снова встретим огнем». И на карте, под острием карандаша, я видел не овраг, не завтрашнюю западню для гитлеровцев, а линию моего батальона. Я напряг зрение, чтобы разглядеть, чтобы зафиксировать точку, куда указывал карандаш; я всем телом порывисто подался туда... И открыл глаза...

В блиндаже горела знакомая керосиновая лампа. В углу у телефона сидел телефонист.

Я опять повернулся к стене, опять стал засыпать. Вспомнилось лицо Брудного, на миг освещенное фонариком: страдальческое, но не утратившее гордости, запавшие глаза, лихорадочные пятна на заострившихся скулах. Вспомнился задрожавший в последнюю минуту голос: «Я докажу... Я докажу вам». Потом что-то еще; потом все смешалось в неосвежающем, тягостном сне.

7

Утром, едва я поднялся, мой коновод Синченко с некоторой таинственностью доложил:

— Товарищ комбат, там,—он показал на дверь,— лейтенант Брудный. Ожидает, когда вы встанете.

— Зачем он здесь?

А сердце забилось. Вернулся? Исполнил то, о чем говорил напоследок?

Синченко торопливо говорил:

— Он ходил, товарищ комбат, до немцев. Принес автоматы. Сейчас сидит, ни с кем не разговаривает. Хочет лично к вам.

— Пусть войдет,— сказал я.

Синченко исчез. Через минуту дверь снова открылась. Ни слова не промолвив, со сжатыми губами, Брудный приблизился к столу, где сидел я, и положил два немецких автомата, две немецкие солдатские книжки, письма, тетрадку, германские бумажные деньги и монеты. Его запавшие черные глаза глядели на меня не прячась, но диковато, исподлобья.

Я хотел сказать «садись» — и вдруг почувствовал, что не могу произнести ни слова, что к горлу подкатился ко-

мок. Я взял папиросу, встал, подошел за спичками к шинели, хотя спички были и в кармане брюк. Закурил, постоял у окошка, вырезанного под бревенчатым накатом, посмотрел на стволы и корневища сосен, на снежок, кое-где между деревьями припорошивший землю. Потом повернулся и спокойно сказал:

— Садись, Брудный... Завтракал?

Брудный не ответил; в эту минуту не мог и он говорить. В дверь заглянул Синченко, подбежал ко мне, зашептал на ухо:

— Водки, товарищ комбат, к завтраку давать?

Он, мой коновод, мой славный Синченко, знал, как и все в батальоне, вчерашнюю историю. И теперь все понимал.

— Да,— сказал я,— налей чарку лейтенанту!

Мы завтракали вместе. Брудный рассказал про свои ночные странствия, про то, как убил двух немцев. В глазах, влажно блестевших после водки, нет-нет пробегали знакомые лукавые искорки.

— Но как же ты, Брудный, вчера-то? — спросил я.— Как ушел без приказа?

Он насупился, ему не хотелось говорить об этом.

— Вы же знаете...

— Не знаю.

Он произнес еще неохотнее:

— Вы же сказали...

— Струсил?

Он мотнул головой. Теперь, когда вчерашнее слово было повторено, ему стало легче говорить об этом.

— Сам не могу понять, товарищ комбат... Это было, как бы сказать... как кирпичом по голове... И как будто уже я — не я... Перестал соображать...

Он нервно передернул плечами.

— Как кирпичом? — переспросил я.

И передо мной вдруг вспыхнули слова, которых давно искала мысль. Удар по психике! В ту минуту я наконец-таки назвал по имени для самого себя тайну боя, тайну победы в бою.

Удар по психике! По мозгу! По душе!

Как ни странно, но эта минута, когда, казалось бы, ничего не произошло, осталась в памяти наряду с самыми сильными переживачиями войны.

Удар по психике! Но ведь не существует же никаких икс-лучей для воздействия на психику. Ведь война ведется орудиями физического истребления, ведь они, эти орудия, поражают тело, а не душу, не психику. Нет, и душу! И после того, как поражена психика, как сломлен дух, можно гнать, настигать, убивать, пленять толпы врагов.

Противник стремится проделать это с нами. Один раз, господин «великогерманец», у тебя это вышло со мною, с моим взводом. Теперь — хватит!

Брудному я сказал:

— Вот что... Взвода я тебе пока все-таки не дам. Но немцев теперь, думаю, ты не боишься. Буду посылать тебя к ним. Назначаю командиром разведки.

Он радостно вскочил:

— Есть, товарищ комбат!

Я отпустил его.

Удар по психике! Ведь это известно с древнейших времен. И с древнейших времен это достигается внезапностью. И не в том ли искусство боя, искусство тактики, чтобы внезапностью ошеломить врага и предохранить от подобной внезапности свои войска?

Эти идеи не новы, их можно найти в книжках; но на войне они открывались мне заново после многих, нередко мучительных раздумий, после успеха и неудачи в бою. Они смутно маячили передо мной и в предшествующие дни. Но теперь наконец-таки тайна боя ясна!

Так мне казалось.

Однако в тот же день, несколько часов спустя, противник доказал мне, что я вовсе не все понял; доказал, что существуют и другие законы боя. А на войне, как известно, доказательства не те, что в логике или в математике. На войне доказывают кровью.

8

Вот что рассказали бойцы взвода Донских, которые вернулись из боя.

В этот день, двадцать второго октября, противник перед фронтом батальона, подтягивая артиллерию и грузы по захваченной дороге, возобновил также продвижение по другой, где позавчера засада Донских не пропустила немцев.

На этот раз немцы шли еще осторожнее, в пешем строю, рассредоточившись, стреляя из автоматов по придорожным опушкам и кустарникам. Машины порожняком медленно двигались возле солдат.

Взвод Донских и тут встретил немцев залпами. Но враг теперь к этому был подготовлен. Немцы сразу легли. Затем, перебегая, стали охватывать взвод.

Здесь начинался наш замысел. Пришло время изобразить панику — удирать врассыпную, в беспорядке.

Немцы увидели бегущих: «А, рус бежит! Вперед!» Бойцы бежали, как и было задумано, не отдаляясь от дороги. Немецкие шоферы запустили моторы, солдаты взбирались на двинувшиеся грузовики и, стоя в кузовах, стреляя на ходу, гнали наших с удобствами, в машинах.

Взвод скатился в овраг. Бойцы быстро залегли за кустиками, за бугорками по обеим сторонам дороги. Показались машины. Разгоряченные преследованием, немцы стреляли наугад, полосуя воздух светящимися пулями. «Где рус? Куда побежал? Вперед!»

И вдруг сбоку залп. И кинжальный огонь ручных пулеметов. Знаете ли вы, как бьют кинжалом? На близком расстоянии, внезапно, насмерть. Повалились убитые, раздались крики. Шоферы были пронзены пулями или выскакивали из кабинок, не успев затормозить. Машины сталкивались. А сбоку залп и залп, огонь и огонь.

Ошеломленные, охваченные страхом, немцы кидались с машин; немцы бежали, как стадо. А в спину — огонь, в спину — смерть!

И вдруг с той стороны, куда они, заслоненные машинами, уходили от пуль,— снова удар смертью в лицо, снова залп, снова кинжальный огонь ручных пулеметов.

Вот тут произошло то, чего я не предвидел. Второй удар, вторая внезапность будто вернули врагам разум. Они сделали единственное, что могло их спасти от уничтожения: ревущей, взбешенной волной рванулись вперед, навстречу выстрелам, на наших.

У немцев не было штыков. Они приучены ходить в атаку не со штыком наперевес, а прижав к животу автоматы и стреляя на ходу. Отчаяние ли придало им силу, овладел ли ими в критический момент их командир, но немцы, будто мгновенно вспомнив все, чему их учили, неслись на нашу реденькую цепь, выставив перед собою не штыки, а длинные светящиеся линии трассирующих пуль.

И внезапно все переменилось. В действие вступил один простой закон войны — закон числа, закон численного и огневого превосходства. Свыше двухсот разъяренных людей, рвущихся убить, мчались на наших. А у нас тут была горстка, половина взвода, двадцать пять бойцов.

В самом замысле боя, как понял я после, таилась ошибка. Нельзя, воюя малыми силами против больших, брать врага в объятья, бороться в обхват. Это был горький урок.

Что мог сделать Донских? В подобные страшные моменты мужество или вовсе покидает человека, или проявляется с небывалой силой.

Донских приказал отбегать по лощине в недалекий лес. А сам, прикрывая вместе с несколькими бойцами отход, остался у ручного пулемета.

Немцы, стреляя, приближались, но и Донских расстреливал их из пулемета, подкашивая одного за другим, закрывал лощину, закрывал кратчайший путь преследования. Он был ранен несколькими пулями, но продолжал стрелять, не чувствуя в горячке боя, что истекает кровью.

Позади Донских застрочил другой наш пулемет. Теперь сумрачный Волков, помощник командира взвода, прикрывал отход лейтенанта. Донских смог немного пробежать к своим, но, вновь настигнутый пулями, свалился. А Волков бил и бил короткими частыми очередями, не подпуская немцев к лейтенанту. Бойцы ползком вытащили своего командира, вынесли к лесу. Там лейтенанту Донских перевязали семь пулевых ран — к счастью, не смертельных. Сержант Волков — неразговорчивый, злой в службе и в бою, «правильный человек», как его называли солдаты,— был убит у пулемета.

9

Так была захвачена немцами промежуточная полоса.

Конечно, не мне, командиру батальона, излагать общую оперативную обстановку под Москвой или хотя бы лишь на Волоколамском направлении.

Однако, нарушая в данном случае это наше правило, скажу очень кратко. Просматривая впоследствии документы о боевом пути панфиловцев, отобранные для музея, я прочел некоторые оперативные сводки штаба армии Рокос-

совского, оборонявшей район Волоколамска. Сводка за двадцать второе октября гласила: «Сегодня к вечеру противник закончил сосредоточение главной группировки на левом фланге нашей армии и вспомогательной группировки против центра армии».

Против центра армии... В те дни на этом участке был наш батальон и два соседних с приданной нам артиллерией.

Двадцать третье октября

1

Двадцать третьего октября утром, лишь стало светло, над нами появился немецкий самолет-корректировщик. У него скошенные назад крылья, как у комара: красноармейцы дали ему прозвище «горбач».

Потом мы привыкли к «горбачам», научились сбивать, научили почтению — держись дальше, комар! — но в то утро видели «горбача» впервые.

Он безнаказанно кружил под облаками, по-осеннему низкими, порой задевая серую кромку, порой с затихшим мотором планируя по нисходящей спирали, чтобы высмотреть нас с меньшей высоты.

В батальоне не было противовоздушных средств. Я уже говорил, что зенитные пулеметы, приданные батальону, были переброшены по приказу Панфилова на левый фланг дивизии, где противник, нанося удар танками, одновременно вводил в бой авиацию. Мы в то время не знали, что самолеты можно сбивать и винтовочным залповым огнем,— эта не очень хитрая тайна, как и много других, нам открылась потом.

Все следили за «горбачом». Помню момент: самолет взмыл, скрылся на миг за хмарью, вынырнул — и вдруг все кругом загрохотало.

На поле вздыбились, сверкнув пламенем, земляные столбы. Еще не распались первые, еще глаз видел медленно падавшие рваные куски, вывороченные из мерзлой земли, а рядом вставали новые взбросы.

По звуку полета, по характеру взрывов я определил: противник ведет сосредоточенный огонь из орудий разных

калибров; одновременно бьют минометы. Вынул часы. Было две минуты десятого.

Придя в штабной блиндаж, скрытый в лесу, выслушав донесения из рот, я доложил командиру полка по телефону: в девять ноль-ноль противник начал интенсивную артиллерийскую обработку переднего края по всему фронту батальона. В ответ мне сообщили, что такому же обстрелу подвергнут и батальон справа.

2

Было ясно: это артиллерийская подготовка атаки. В такие минуты у всех натянуты нервы. Ухо ловит непрестанные удары, которые гулко доносит земля; тело чувствует, как в блиндаже вздрагивают бревна; сверху, сквозь тяжелый накат, при близких взрывах сыплются, стуча по полу, по столу, мерзлые комочки. Но самый напряженный момент — тишина. Все молчат, все ждут новых ударов. Их нет... значит... Но опять — трах, трах... И снова бухает, рвется, снова вздрагивают бревна, снова ждешь самого грозного — тишины.

Немцы — фокусники. В этот день, играя на наших нервах, они несколько раз прерывали на две-три минуты пальбу и опять и опять гвоздили. Становилось невмоготу. Скорей бы атака!

Но прошло полчаса, час и еще час, а бомбардировка продолжалась. Я, недавний артиллерист, не предполагал, что сосредоточенный комбинированный огонь, направленный против линии полевых укрытий, против нашей позиции, где не было ни одной бетонированной точки, может длиться столько часов. Немцы выбрасывали вагоны снарядов — все, что, приостановившись, они подтянули сюда из глубины,— фундаментально кроша землю, рассчитывая наверняка разметать рубеж, измолотить, измочалить нас, чтобы затем рывком пехоты легко довершить дело.

Время от времени я разговаривал по телефону с командирами рот. Они передавали: скопления немецкой пехоты обнаружить нигде не удавалось.

Часто рвалась связь. Осколки то и дело перерубали проволоку. Дежурные телефонисты под обстрелом быстро сращивали провод.

Среди дня, когда где-то — в который раз! — пересекло

провод, вслед за выскользнувшим из блиндажа дежурным связи выбрался и я взглянуть, что творится на свете.

Снаряды залетали и в лес. Что-то грохнуло в верхушках; ломаясь, затрещало дерево, посыпались сучья. Захотелось назад, под землю. Но, мысленно прикрикнув на себя, я вышел на опушку. Над нами по-прежнему кружил «горбач». В заснеженном поле, изрытом воронками, затянутом пылью, кое-где густо-темной, по-прежнему в разных точках взлетала земля — то низко, в стороны, с красноватой вспышкой, когда с характерным нарастающим воем падала мина; то черным столбом, порой до высоты леса,— при разрыве тяжелого снаряда.

Через несколько минут нервы несколько обвыкли, улеглась непроизвольная дрожь, ухо спокойнее воспринимало удары.

И вдруг — перерыв, тишина. Нервы опять натянулись. Потом глухой хлопок в небе и резкий пронзительный свист, подирающий по коже. Опять хлопок, опять режущий свист. Так рвется шрапнель. Я припал к дереву, вновь ощущая противную дрожь.

Оказывается, сделав минутный перерыв, немцы переменили комбинацию снарядов — комбинацию взрывов, звуков и зрительных эффектов. Теперь они посылали шрапнель и бризантные снаряды, рвущиеся в воздухе над самой землей со страшным треском, с пламенем. Бойцу, скрытому в стрелковой ячейке, такие снаряды почти не опасны — не опасны для тела, но немцы стремились подавить дух, бомбардировали психику. В те минуты, прильнув к дереву, я разгадывал это, я учился у противника.

Затем в поле опять стали рваться снаряды фугасного действия, вздымая черные смерчи земли и густую, будто угольную, пыль взрывчатки.

Тяжелый удар вскинул длинные бревна, до того скрытые под горбиком земли. В этот момент, конечно, торжествовал жужжащий над нами немецкий пилот-корректировщик.

Но злорадно улыбался и я. Удавалась наша военная хитрость. Противник разбивал ложную позицию.

Грибообразные, укрытые насыпью, занесенные порошей, по которой мы специально натаптывали тропинки, лжеблиндажи протянулись достаточно заметной линией вдоль реки.

А настоящие, где затаились бойцы, были, как вы знаете, выкопаны ближе к реке, в береговых скатах, и накрыты тремя-четырьмя рядами матерых бревен, вровень с берегом.

Ведя не только прицельный огонь, но и по площади, немцы молотили и берег, однако для поражения следовало попасть не в тяжелые верхние накрытия, а в лоб, в сравнительно слабый лобовой накат. Наша оборона была, как известно, настолько поневоле разрежена, что батальон нес лишь случайные, единичные потери.

3

Около четырех часов дня противник резко усилил огонь на участке второй роты, в районе села Новлянское, где пролегла дорога Середа — Волоколамск.

Сразу уловив это на слух и по сотрясениям, я позвонил командиру второй роты Севрюкову.

— Его нет...

Я узнал голос одного из связных — маленького татарина Муратова.

— Где он?

— Пополз на наблюдательный пункт...

— А ты почему не с ним?

— Он один, чтобы посекретнее. Он знает, товарищ комбат, тактику.

Муратов говорил бойко. В такие минуты особенно чутко воспринимаешь оттенки тона у солдат; читаешь это, как боевое донесение.

Меня вызвали к другому телефону. Говорил Севрюков.

— Товарищ комбат?

— Да. Где вы? Откуда говорите?

— Лежу на артиллерийском наблюдательном... Гляжу в артиллерийский бинокль... Очень интересно, товарищ комбат...

Его и сейчас, под огнем, не оставила всегдашняя неторопливость. Я подгонял его вопросами:

— Что интересного? Что видите?

— Немцы скопились на опушке... Кишат, товарищ комбат, шевелятся. Офицер вышел, тоже в бинокль смотрит.

— Сколько их?

— Пожалуй, чтобы не соврать, батальон будет... Я думаю, товарищ комбат, надо бы их...

— Чего думать? К телефону Кубаренко! Быстро!

— Я, товарищ комбат, это самое и думал...

Меня часто раздражала медлительная манера Севрюкова. И все-таки я не пожелал бы никого взамен этого командира роты, рассудительного Севрюкова, который в тот день не один раз прополз по страшному полю, побывал в окопах и у наблюдателей.

Трубку взял лейтенант Кубаренко — артиллерист-корректировщик. Восемь пушек, приданных батальону, спрятанных в лесу, в земляных укрытиях, весь день молчали, не обнаруживая себя до решающей минуты. Она приближалась. Опушка, где немцы скопились для атаки, была, как и вся полоса перед фронтом батальона, заранее пристреляна. Мой план боя был таков: пустить в ход затаившуюся артиллерию лишь в тот момент, когда ударная группа противника изготовится к атаке; стукнуть как кирпичом по голове, ошеломить, рассеять, сорвать атаку.

Хотелось скомандовать: «По скоплению противника всеми орудиями огонь!» Но сначала следовало выпустить несколько поверочных снарядов, чтобы, наблюдая падения, подправить наводку, «довернуть», как говорят артиллеристы, соответственно направлению и силе ветра, атмосферному давлению, осадке под орудиями и множеству других переменных.

Для этого требовался кусочек времени — всего несколько минут.

Но помните ли вы загадку Панфилова о том, что такое время?

Знаете ли вы, что может случиться на войне в несколько минут?

4

Отдав приказание, я не опустил трубку, включенную в артиллерийскую сеть. Слышу, на огневые позиции идет команда:

— По местам! Зарядить и доложить!

Затем Кубаренко — живое око скрытых в лесу пушек — указывает координаты. Чей-то голос повторяет.

Теперь медленно поворачиваются орудийные стволы. А время идет, время идет...

Наконец слышится:

— Готово!

И следом команда Кубаренко:

— Два снаряда, беглый огонь!

И опять молчание, нет уставных слов об исполнении, опять уходят секунды... Видимо, все-таки что-то не готово. Быстрее, быстрее же, черт побери! И вдруг это слово раздается в трубку. Кубаренко кричит:

— Быстрее!

Я вмешиваюсь:

— Кубаренко, что там?

— Немцы приготовляются, товарищ комбат, надевают ранцы, надевают каски...

И он кричит:

— Огневая!

— Я!

— Быстрее!

— Принимай! Выстрел! Выстрел! Очередь!

Среди непрестанных ударов, которые тупо бьют в уши, не различишь наших выстрелов, но снаряды выпущены, снаряды летят — пока только пристрелочные, пока только два. Кубаренко сейчас увидит разрывы. Далеко ли от цели? А может быть, сразу — в точку? Ведь бывает же, бывает же так!

Нет! Кубаренко корректирует:

— Прицел больше один. Правее ноль...

И вдруг сильный треск в мембране. И фраза перерублена.

— Кубаренко!

Ответа нет.

— Кубаренко!

Безмолвие... Правее ноль. Ноль девять? Ноль три? Или, может быть, ноль-ноль три?

У нас много снарядов, у нас восемь пушек, но в этот момент, когда они нужней всего, проклятая случайность боя сделала их незрячими.

Дежурный артиллерийской связи уже выбежал на линию, но время уходит.

Это не был, однако, обрыв связи. Несчастье оказалось тяжелее.

Меня позвали к другому телефону. С командного пункта второй роты опять говорил Муратов, маленький татарин, который весело отвечал несколько минут назад. Теперь голос его был растерянным.

— Товарищ комбат, командир роты ранен.

— Куда? Тяжело?

— Не знаю... еще не принесли... Там и другие — не знаю, убиты или ранены.

— Где там?

— На наблюдательном... Отсюда все пошли — выносить командира и других... а меня оставили... велели вам звонить.

— Что же там... произошло... на наблюдательном?

Я с усилием выговорил это, уже зная, что обрушилась страшная беда.

— Разбит...

Я молчал. Пообождав, Муратов жалобно спросил:

— Куда мне, товарищ комбат, теперь? С кем мы теперь?

Я ощутил сиротливость бойца, оставшегося без командира.

Вот-вот грохот сменится жуткой тишиной, вот-вот немецкая пехота, сосредоточенная для атаки, пойдет через реку, а наблюдательный пункт разбит, пушки ослепли, и в роте нет командира.

Я сказал:

— Собери, Муратов, связных. Пусть передадут по взводам: лейтенант Севрюков ранен; на ротном командном пункте вместо него комбат. Сейчас буду у вас.

Положив трубку, я приказал начальнику штаба Рахимову:

— Немедленно свяжитесь с Заевым. Пусть явится принять от меня вторую роту.

Затем крикнул:

— Синченко! Коня!

5

Мы вскачь понеслись через поле — я на Лысанке, следом мой коновод Синченко. У Лысанки по-кошачьи поднялись тонкие просвечивающие уши; я ее гнал напрямик, натянув повод, не давая шарахаться от взрывов.

В мыслях билось: «Еще! Еще! Только бы не тишина! Только бы успеть!»

Навстречу из Новлянского вылетела военная тачанка. Повозочный нахлестывал лошадей. По бедру одной темной полосой стекала кровь.

— Стой!

Повозочный не сразу сдержал.

— Стой!

На заднем сиденье я увидел Кубаренко. В очень бледное лицо крапинками впилась земля. Наискосок лба шла свежая вспухшая царапина с каемкой присохшей крови. На измазанной глиной шинели болтался артиллерийский бинокль.

— Кубаренко, куда?

— На... на...— словно заика, он не мог выговорить сразу.— На огневую, товарищ комбат...

— Зачем?

— Наблюдательный пункт...

— Знаю! Я тебя спрашиваю — зачем? Бежишь? Назад!

— Товарищ комбат, я...

— Назад!

Кубаренко посмотрел на меня слегка распяленными и словно неживыми глазами, в которых застыл ужас пережитого.

И вдруг под повелительным взглядом командира у Кубаренко будто кто-то изнутри подменил зрачок. Вскочив, он заорал яростней, чем я:

— Назад!

И выругался в белый свет.

Мы помчались к селу. За мною, не разбирая дороги, подбрасывая по выбоинам тачанку, тяжело скакала пара артиллерийских коней.

Церковь, увенчанная колокольней, служила перевязочным пунктом. Снаружи, за стеной, укрывающей от обстрела, расположилась батальонная кухня. Командир хозяйственного взвода лейтенант Пономарев вытянулся, заметив меня.

— Пономарев, связь действует?

— Действует, товарищ комбат.

— Где телефон?

— Телефон тут, товарищ комбат, в сторожке.

На глаз от проема колокольни до сторожки было приблизительно сто пятьдесят метров.

— Провод есть?

Уловив утвердительный кивок, я приказал:

— Сейчас же телефон на колокольню! Бегом! Секунда дорога, Пономарев!

По каменным ступеням паперти я взбежал в церковь. Шибануло запахом крови. На соломе, застланной плащ-палатками, лежали раненые.

— Товарищ комбат...

Меня негромко звал Севрюков. Быстро подойдя, я взял в руки его странно тяжелые, пожелтевшие кисти.

— Прости, Севрюков... Не могу сейчас...

Но он не отпускал моих рук. Пожилое лицо с сединой у аккуратно подстриженных висков, с явственно обозначившейся короткой щетиной осунулось, обескровело.

— Кто, товарищ комбат, вместо меня?

— Я, Севрюков... Прости, не могу больше...

Я стиснул и выпустил тяжелые руки. Севрюков проводил меня слабой улыбкой.

Наверх побежал телефонист с аппаратом. За ним вилась тонкая змейка провода.

По пути меня задержал наш врач Беленков:

— Товарищ комбат, как положение?

— Занимайтесь своим делом. Перевязывайте, быстрей эвакуируйте.

Он встревоженно переспросил:

— Быстрей?

Я разозлился.

— Если я еще когда-нибудь увижу, что у вас так перекосится физиономия при одном слове «быстрей», поступлю как с трусом, понятно? Идите!..

По витой лестнице я поднялся на колокольню. Кубаренко был уже там. Присев, он из-за каменных перил наблюдал в бинокль. Телефонист прикреплял провод к аппарату.

— Сколько правее? — спросил я.

Кубаренко взглянул удивленно, потом понял.

— Ноль пять,— сказал он.

Я повернулся к телефонисту:

— Скоро ты?

— В момент, товарищ комбат.

Кубаренко протянул мне бинокль. Поправив по глазам, поймав резко придвинувшуюся, сразу посветлевшую зубчатую линию леса, я повел стекла ниже — и вдруг ясно,

словно в полусотне шагов, увидел немцев. Они стояли — стояли вольно, но уже выстроенные. Можно было различить боевые порядки: группы, вероятно взводы, разделенные небольшими промежутками, были расположены так: впереди одно отделение, позади, крыльями,— два. У офицеров, тоже надевших каски, уже отстегнуты кобуры парабеллумов, которые — я впервые тогда это увидел — они носят слева на животе. Так вот они, те, что подошли к Москве,— «профессионалы-победители»! Сейчас они вброд пойдут через реку.

6

— Готово! — сказал телефонист.— Связь, товарищ комбат, есть.

— Вызывай огневую...

И вот наконец-то, наконец-то произнесена команда, восстановлена разорванная фраза.

— Прицел больше один! Правее ноль пять! Два снаряда, беглый огонь!

Я отдал бинокль Кубаренко.

Уже не различая немцев, я невооруженным глазом вглядывался в опушку, напряженно ожидая разрывов. В деревьях блеснуло, потом рядом встали два дымка. Я не смел верить, но показалось — цель поражена.

— В точку! — сказал Кубаренко, опуская бинокль; лицо его в крапинах земли, кое-где размазанных, со вспухшей царапиной поперек лба, было сияющим.— Теперь мы...

Не дослушав, схватив трубку, я скомандовал:

— Из всех орудий по восьми снарядов, осколочными, беглый огонь!

Кубаренко с готовностью, с гордостью протянул мне бинокль.

Я смотрел. Пристрелочные снаряды, видимо, кого-то ранили. В одном месте, спиной к нам, несколько немцев над кем-то склонились, но ряды стояли.

Ну, молитесь вашему богу! В гуле и грохоте, которые ухо перестало замечать, мы услышали: заговорили наши пушки. Подавшись вперед через перила, я видел в бинокль: на краю леса, где сосредоточились немцы, сверкало пламя, вздымалась земля, валились деревья, взлетали автоматы и каски.

Меня с силой отдернул Кубаренко.

— Ложись! — прокричал он.

Нас обнаружили. С оглушающим отвратительным гулом близ колокольни пронесся «горбач». Он бил из пулемета. Несколько пуль стукнуло по четырехугольному столбу, оставляя слепые дыры. Самолет пронесся так близко, что я различил обращенное к нам злобное лицо. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза. Я знал, надо падать, но не мог заставить себя, не захотел лечь перед немцем. Выхватив пистолет, впиваясь взглядом во врага, я спускал и спускал курок, пока не кончилась обойма.

Самолет ушел по прямой. По колокольне стали бить из орудий. Один снаряд угодил ниже нас в надежную каменную кладку. Воздух заволокло мелкой кирпичной пылью, заскрипевшей на зубах. Но казалось: снаряды врага не настоящие, они рвутся, будто на киноэкране,— рядом, но в ином мире,— не то что наши: наши разят, кромсают тела. Опять пролетел «горбач». Опять цокали пули. Я укрылся за каменный стояк. Телефонист застонал.

— Куда тебя? Дойдешь вниз?

— Дойду, товарищ комбат.

Взяв трубку, я вызвал Пономарева.

— Телефонист ранен. Пошли на колокольню другого.

Еще не договорив, я услышал свой странно громкий голос.

Все стихло. Пришла страшная, бьющая по барабанным перепонкам тишина. Лишь очень, очень издалека, с тыла, доходило уханье орудий. Там дрались наши; туда новым клином приготовились ринуться немцы через наш заслон.

Я приказал Кубаренко:

— Управляй огнем! Секи, секи, если полезут.

— Есть, товарищ комбат!

Теперь вниз через две ступеньки, теперь скорее в роту.

7

Опять на Лысанку, опять вскачь — через село, к реке. Ох, как тихо!..

Вдоль берега, припорошенного снегом, кое-где почерневшим от разрывов, пригнувшись, стремглав бежал кто-то

с винтовкой. Я подскакал. На меня, остановившись и моментально присев, смотрел черными глазенками Муратов.

— Слезайте, товарищ комбат, слезайте,— торопливо заговорил он.

— Куда ты?

— Во взвод... Передать, что командование ротой принял политрук Бозжанов.— И добавил, будто извиняясь: — Вас, товарищ комбат, долго не было, а он...

— Хорошо. Беги.

Мы разминулись.

У ротного командного пункта, у блиндажа, глубоко всаженного в землю, в пятидесяти шагах за линией окопов, которые отсюда, сзади, смутно угадывались по редким полоскам входных траншей, я спрыгнул, осадив Лысанку. У нее уже не подрагивала кожа, не топорщились уши. Спасибо тебе! Сегодня мы вместе прошли первую обстрелку. Захотелось приласкать... Но некогда, некогда, друг! А она просила, она понимала. Бросив повод подоспевшему Синченко, я ласково коснулся уздечки. Краем губы Лысанка мягко поймала и на миг задержала мои пальцы. Я увидел выпуклый влажный глаз, повернулся и быстро пошел к мерзлым ступенькам, ведущим в блиндаж, на ходу крикнув:

— Синченко, в овраг!

В полутьме подземелья я не сразу разглядел Бозжанова. На полу, привалившись к стенкам, сидели бойцы. Все вскочили, заслоняя скупой свет из прорези лобового наката. Еще не различая лиц, я подумал: что такое, зачем здесь так много людей?

Бозжанов доложил, что принял командование, заменив раненого Севрюкова. Он, Бозжанов, политрук пулеметной роты, которая, по характеру нашей обороны, была рассредоточена отдельными огневыми точками по фронту, весь день — где бегом, где ползком — пробирался от гнезда к гнезду, навещая пулеметчиков. Он кинулся к селу Новлянское, на участок второй роты, как только противник, полчаса назад, перенес огонь сюда.

Мой первый вопрос был:

— Что наблюдается перед фронтом роты? Как противник?

— Никакого движения, товарищ комбат.

Глаза привыкли к полутьме. В углу, подпирая верхние бревна склоненной головой, стоял Галлиулин.

— Что за народ? — спросил я.— Зачем сюда набились?

Бозжанов объяснил, что, ожидая рывка немцев, он решил перебросить сюда, на командный пункт роты, один пулемет — сделать его подвижным, чтобы парировать неожиданности.

— Правильно! — сказал я.

Бозжанов был несколько грузноватым, полнолицым (такова порода одного племени казахов, которых, в отличие от племени воинов, худеньких, узких в кости, зовут «судьями»), но в то же время очень подвижным, или, как говорят, «моторным». Сейчас он стоял подтянутый, подобранный, докладывая кратко, по форме. Внутреннее напряжение сквозило во взгляде, в сжатых губах, в скупых, четких жестах. Будучи участником финской войны, он, политработник, не раз побывал в боях, был награжден медалью «За отвагу» и нередко высказывал желание стать строевым командиром. Это осуществилось теперь, в грозный час боя.

У черного тела пулемета, установленного с заправленной лентой в амбразуре, вытянулся невысокий Блоха. Он не сел, несмотря на позволение, не прислонился к срубу, был серьезен.

Непоседа Мурин припал рядом с наблюдателем к бревнам лобового наката, всматриваясь сквозь прорезь в даль.

Я подошел туда же. Неровности берега и противотанковый отвес кое-где закрывали реку, но та сторона была ясно видна. Без артиллерийского бинокля я не мог различить посеченных, расщепленных деревьев в том месте, куда только что падали наши снаряды. Можно было заметить лишь несколько упавших на снег елок. Они служили теперь ориентиром. Оттуда вот-вот, оправившись, должны показаться немцы. Пусть покажутся! Кубаренко лежит на колокольне, пушки наведены на эту полосу, туда смотрят пулеметы, туда нацелены винтовки.

Тихо, тихо... Пустынно...

Прогремел резкий одиночный выстрел немецкой пушки. Я невольно напряг зрение, готовясь увидеть выбегающие зеленоватые фигурки. Но в то же мгновение будто сотни молотов забахали по листовому железу. Немцы опять молотили по нашему переднему краю: по церкви, где они обнаружили корректировщика, по орудиям, которые открыли себя...

— Ну, сейчас, значит, не полезет,— произнес Блоха.

Это поняли все. Первая атака отбита, не начавшись,— сорвана ударом артиллерии. Немцы не решились ринуться вперед с исходной позиции, накрытой нашими снарядами. Но день еще не окончился. Я взглянул на часы. Было пять минут четвертого — пошел седьмой час бомбардировки.

Позвонив в штаб батальона, я приказал: орудиям и корректировщику оставаться на местах, направить к церкви еще одного корректировщика-артиллериста с запасными средствами связи, чтобы в случае прямого попадания восстановить наблюдательный пункт на колокольне; красноармейцам и начсоставу хозяйственного взвода вместе с санитарами быстро перенести раненых из церкви по оврагу в лес.

— По вашему приказанию пришел Заев,— сообщил Рахимов.— Направить его к вам?

— Нет. Пусть ждет, скоро буду в штабе.

8

Перед тем как вернуться в штаб, я решил побывать у бойцов, в стрелковых ячейках. Вышел из блиндажа, присел в траншее, огляделся. Небо прояснилось. За рекой, в голубом просвете, показался край солнца. Пучки лучей падали несколько наискось, запыленный снег не искрился. Через полтора-два часа свечереет.

По звукам пальбы, по плотности немецкого огня я понял: атака будет. Будет сегодня. Где-то тут, неподалеку. Он не окончится так, одной пальбой, последний час боевого дня.

Словно вымещая злобу, немцы всеми калибрами хлестали по переднему краю. Часть снарядов, сверля с шелестом воздух, пролетала туда, где на закрытых позициях, в блиндажах, стояли наши орудия. Другие падали вблизи. Средь поля черные взбросы появлялись реже, чем днем. Они придвинулись к береговому гребню, где в скатах были прорезаны незаметные колодцы. Судя по перемещению огня, противник распознал нашу скрытую оборонительную линию. Ее, видимо, выдало движение связных и командиров.

Сжавшись на ступеньке узкого ходка, я посматривал на взметы. Стало холодно: я был без шинели, в стеганой ватной телогрейке, стянутой поясным ремнем.

Может быть, не стоит идти туда, в окопы? Едва задав этот вопрос, я понял, что боюсь. Казалось, тысяча когтей вцепилась в телогрейку, казалось, тысяча пудов держит меня в траншее. Я рванулся из когтей, оторвался от тысячи пудов — и бегом, бегом на берег.

Летя верхом через поле и потом, на колокольне, в те накаленные минуты я не замечал снарядов, а тут... Попробуйте пробегите когда-нибудь сорок — пятьдесят шагов под сосредоточенным огнем, когда с одного бока вас шибанет горячим воздухом, вы на ходу отшатнетесь и вдруг снова шарахнетесь, когда с другой стороны взметнется белое пламя. Попробуйте, потом вам, может быть, удастся это описать. Мне же разрешите сказать кратко: через десять шагов у меня была мокрая спина.

Но в окоп я вошел как командир.

— Здравствуй, боец!

— Здравствуйте, товарищ комбат!

О, как там было уютно после вольного света — в темноватом погребе, накрытом тяжелыми бревнами. Это был окоп для одного бойца, так называемая одиночная стрелковая ячейка.

Я до сих пор помню лицо этого бойца, помню фамилию. Запишите: Сударушкин, русский солдат, крестьянин, колхозник из-под Алма-Аты. Он был бледноват и серьезен; шапка с красноармейской звездой немного съехала набок. Почти восемь часов он слушал удары, от которых содрогается и отваливается со стенок земля. Весь день, глядя сквозь амбразуру на реку и на тот берег, он сидит и стоит здесь один, наедине с собой.

Я взглянул в амбразуру — обзор был широк; открытая полоса на том берегу, застланная чистым снегом, была отчетливо видна. Что сказать бойцу? Тут все ясно: покажутся, надо целиться и убивать. Если мы не убьем их, они убьют нас. В амбразуре, выходя наружу штыком, лежала готовая к стрельбе винтовка. При сотрясении на нее падали мерзлые крупинки, некоторые прилипли к смазке.

Я строго спросил:

— Сударушкин, почему грязная винтовка?

— Виноват... Сейчас, товарищ комбат, протру... Сейчас будет в аккурате.

Он с готовностью полез в карман за нехитрым солдатским припасом... Ему было приятно, что и в эту минуту я подтягиваю его, как подтягивал всегда; у него прибавилось силы, душа стала спокойнее под твердой рукой командира. Снимая ветошью пыль с затвора, он посматривал на меня, будто прося: «Еще подкрути, найди еще непорядок, побудь!»

Эх, Сударушкин, знать бы тебе, как хотелось побыть, как хотелось не выскакивать туда, где черт знает что валится с неба! Опять вцепились когти, опять были привязаны пуды к ногам. Я сам искал непорядка, чтобы не уходить еще минуту. Но все у тебя, Сударушкин, было в аккурате, даже патроны лежали не на земляном полу, а в развязанном вещевом мешке. Я посмотрел вокруг, посмотрел вверх. До чего были приятны неободранные, с грубо обрубленными сучьями, еловые стволы над головой. Сударушкин взглянул туда же, и мы оба улыбнулись: оба вспомнили, как я расшвыривал хлипкие накаты, как заставлял волочить тяжелые бревна, прикрикивая на ворчавших.

Сударушкин спросил:

— Как, товарищ комбат, полезут они нынче?

Я сам бы, Сударушкин, у кого-нибудь это же спросил. Но твердо ответил:

— Да. Сегодня испробуем на них винтовки.

С бойцом нечего играть в прятки. С ним не надо вздыхать: «Может быть, как-нибудь пронесет...» Он на войне; он должен знать, что пришел туда, где убивают, пришел, чтобы убить врага.

— Поправь шапку,— сказал я.— Смотри зорче... Сегодня поналожим их у этой речки.

И, опять внутренне рванувшись, выдравшись из вцепившихся когтей, вышел из окопа.

Но заметьте: теперь это далось легче.

И заметьте еще одно: командиру батальона совершенно не к чему под артиллерийским обстрелом бегать по окопам. Для него это ненужная, никчемная игра со смертью. Но в первом бою, думалось мне, комбат может себе это позволить. Бойцы потом будут говорить: «Наш командир не трус; он под снарядами, когда и по малой нужде страшно высунуться, приходил к нам».

Достаточно, думалось, одного раза: это запомнят все, и солдат будет тебе верить. Это великое дело на войне. Можешь ли ты, командир, перед своей совестью сказать: я верю в своих бойцов? Да, можешь, если тебе самому верит боец!

9

Должен рассказать один эпизод, который слегка поразил меня, когда я пробегал по ячейкам. Несусь и вдруг вижу: кто-то выскочил из-под земли и, согнувшись, помчался во весь дух навстречу. Что такое? Что за дурак (к себе, конечно, я сие не относил), что за дурак бегает под таким огнем по переднему краю? Ба, Толстунов... О нем, кажется, я еще не упоминал.

Как-то, незадолго до боев, он явился ко мне и отрекомендовался: «Полковой инструктор пропаганды, поработаю в вашем батальоне». Признаться, тогда я посмотрел на него косо.

Толстунов пришел в батальон на неопределенный срок. Если говорить все по правде, то я обязан признаться: это я воспринял как некоторое ущемление моей власти. По уставу Толстунов не имел никаких прав в батальоне, он не являлся моим комиссаром (в то время в батальонах комиссаров не было), но... Знакомясь, он сказал: «Меня направил в ваш батальон комиссар полка». Я промолчал.

«Ладно,— подумалось,— иди занимайся, чем положено. Посмотрим на тебя в бою».

И вдруг эта встреча.

— Комбат! — Толстунов всегда называл меня так.— Комбат! Ты зачем здесь? Ложись!

— Сам ложись!

Мы бросились наземь.

— Комбат, ты зачем здесь?

— А ты зачем?

— По должности...

Его карие глаза улыбались. Черт возьми, неужели он распознал мои мысли о нем?

— По должности?

— Да. Бойцу веселей, когда к нему забежишь. Он думает: тут, значит, не страшно...

Близко трахнул снаряд. Комбат и инструктор пропаганды распластались, стараясь куда-нибудь втиснуть головы. Обдало воздушной волной. Толстунов поднял побледневшее лицо. Он серьезно произнес:

— Вот так не страшно... Не надобно тебе, комбат, тут бегать. С этим делом пока без тебя справимся... Ну, всего... Будем знакомы...

Поднимаясь, он помахал мне рукой. В следующую секунду мы что есть маху неслись друг от друга. «Будем знакомы...» Вот, значит, он каков... Да, собственно говоря, только тут состоялось наше первое знакомство. Я даже не заметил, как мы перешли на «ты».

Я заглянул еще в два-три окопа, где только что побывал Толстунов. Да, бойцы были там спокойнее, веселей.

Так парировали мы, командиры и политработники, «психическую» бомбардировку немцев. Так шел этот бой, в котором ни один из бойцов не произвел еще ни одного выстрела.

Но не довольно ли, в самом деле, мне бегать?

От реки, от переднего края, я повернул к лесу. У самой опушки над головой лопнул бризантный снаряд. Я с ходу шлепнулся. У снарядов этого типа, рвущихся в воздухе, осколки летят вперед. Задрожала матерая сосна, посыпался снег, на коре появились свежие белые отметины. Сердце неприятно колотилось.

В лесу верный Синченко, все время следовавший за мной вдоль опушки с лошадьми, сразу подвел Лысанку.

Пора, давно пора в штаб!

Двадцать третье октября. На исходе дня

1

В штабе меня ожидал командир пулеметной роты Заев. От виска по щеке, по подбородку стекала кровь. Он досадливо смахивал ее, размазывая по угловатому лицу. Но выпуклая алая струйка опять появлялась на корке засыхающей крови.

— Что с тобой, Заев?

— Шут его знает... зацепила...

— Иди на медпункт. Рахимов, раненых перенесли иэ церкви?

— Переносят, товарищ комбат. Пункт развернулся в лесу, в доме лесника.

— Хорошо. Иди туда, Заев...

— Не пойду.

Он сказал это упрямо, мрачно... Я прикрикнул:

— Что я тебя такого, людей пугать пошлю? Прими воинский вид. Умойся, перевяжись. Потом будем разговаривать. Синченко, два котелка воды лейтенанту Заеву.

Угрюмо улыбнувшись, Заев вышел. Но ему так и не пришлось перевязываться.

Меня вызвал к телефону командир полка майор Юрасов.

— Момыш-Улы, ты? Противник атакует шестую роту, в районе Красная Гора. Сейчас ворвался на линию блиндажей. Помоги. Что у тебя есть под рукой, около штаба?

Майор Юрасов, участник двух войн, был уравновешенным, крепких нервов человеком. Ему и сейчас не изменило дыхание, когда он произнес: «Помоги!»

Деревня Красная Гора находилась в двух с половиной километрах справа от села Новлянское. Что у меня было под рукой? Охрана штаба, несколько сменившихся телефонистов и хозяйственный взвод. Я доложил об этом.

— Брось их бегом на подмогу шестой роте. Имей в виду: с севера идет туда взвод под командой лейтенанта Исламкулова. Предупреди, чтобы не перестреляли друг друга. Об исполнении доложи.

Приказав Рахимову поднять по боевой тревоге хозяйственный взвод и всех около штаба, я вышел из блиндажа. В лесу уже чувствовался вечер. Неподалеку умывался Заев. Нескладное, с тяжелой челюстью, с нависшими надбровными дугами лицо было уже чистым, но скатывавшаяся вода чуть розовела.

— Заев!

Он подбежал. По мокрому лицу опять ползла струйка крови. Он досадливо ее смахнул. Я предполагал назначить Заева командиром второй роты, но... в Красную Гору поведет подмогу он.

Из блиндажа выскочил телефонист:

— Товарищ комбат, вас к телефону.

— Кто?

— Командир полка. Просит немедленно.

На этот раз майор Юрасов говорил поспешно, волнуясь:

— Момыш-Улы, ты? Отставить! Поздно! Противник вошел в прорыв, расширяя брешь. Одна группа двигается сюда, к штабу полка. Я отхожу. Другая, неясной численности, повернула к тебе, во фланг. Загни фланг! Держись! Потом...

И голос пресекся, связь прервалась. В мертвой мембране — ни гудения, ни потрескивания электроразрядов. Тихо...

Я отложил ненужную трубку, и меня еще раз ударила по нервам тишина. Тихо было не только в мембране. Тихо стало кругом. Противник прекратил артиллерийский обстрел нашего района. Что же это? Минута атаки? Бросок пехоты на прорыв обороны второй роты? Нет, фронт уже прорван.

2

Фронт уже прорван. Немцы уже на этом берегу, уже двигаются вглубь. Они идут и сюда, к нам, но не оттуда, где путь прегражден окопами, где их готовы встретить пулями прильнувшие к амбразурам бойцы, где все пристреляно нашими пушками и пулеметами.

Они идут сбоку и с тыла по незащищенному полю, где перед ними нет фронта.

Я на мгновение мысленно увидел бойцов, застигнутых в темных колодцах, врезанных в откосы берега,— сзади там нет бойниц. Быстро взглянул на часы.

Было без четверти четыре.

Чуткий, зачастую понимающий без слов, Рахимов положил передо мной карту. Встретив его спрашивающий взгляд, я молча кивнул.

— В районе Красной Горы? — произнес он.

— Да.

Я смотрел на карту, слыша, как тикают часы, как уходят секунды, чувствуя, что уже нельзя смотреть, что уже надо действовать. Но, перемогаясь, я заставлял себя стоять, склонившись над картой. О, если бы вы смогли описать эту минуту — одну минуту, которая дана была мне, командиру, чтобы принять решение!

Отдать Новлянское? Отдать село, что лежит на столбовой дороге, которая так нужна противнику, по которой он напрямик, на грузовиках, устремится во фланг полку, дерущемуся на рокаде? Нелегко самому себе ответить: да, отдать! Но иначе я не сохраню батальона. А сохранив... Посмотрим тогда, чья будет дорога.

На карту — пока только на карту — легла новая черта, идущая поперек поля, наперерез приближающимся немцам. Сообщив Рахимову мое решение, приказав передвигать пушки на край леса, к новой черте обороны, и отдав несколько других распоряжений, я выбежал из штабного подземелья.

— Синченко!

— Я.

— Коня! Давай и рахимовского! Для Заева! Заев, за мной!

Опять по тому же полю, теперь стихшему, мы поскакали во вторую роту. Полнеба очистилось. В глаза ударяло красноватое низкое солнце.

3

Пригнувшись, я карьером посылал Лысанку. Вдруг красные светляки стали мелькать над головой. На секунду привстав на стременах, взглянув в сторону, я увидел немцев. Они шли по полю, которое верхами пересекали мы, приблизительно в километре от нас, шли цепью, в рост, разомкнувшись, как можно было издали определить, на два-три шага друг от друга. Я знал, что у них зеленоватые шинели, такого же цвета каски, но теперь, на снегу, фигуры казались черными. Фокусники, они, треща на ходу автоматами, выпускали тысячи устрашающих светящихся пуль.

А добрая лошадь несла и несла.

У ротного командного пункта Галлиулин уже взваливал на спину пулемет. Один из связных бежал наискосок к реке, на фланг батальона. Рахимов уже позвонил сюда, уже сообщил задачу.

Бозжанов стоял снаружи, провожая пулеметчиков. Рядом с ним — связные: маленький Муратов и высокий Белвицкий, до войны студент педагогического техникума. Муратов, словно продрогши, пристукивал ногами.

Подскакав, я приказал:

— Бозжанов! Пойдешь с пулеметчиками! Повтори задачу!

— Умереть,— глухо сказал он,— но...

— Жить! Огневая точка должна жить! Держаться, пока не загнем фланг!

— Есть, товарищ комбат. Огневая точка должна жить...

— Проберись по оврагу. Действуй хладнокровно. Выжди, подпусти...

Я посмотрел на пулеметчиков, на Мурина, Добрякова, Блоху, тяжело нагруженных лентами.

— Бегом! Заставьте, товарищи, лечь эту шпану! Заев, за мной! Синченко, за мной!

Ко мне подошел Муратов.

— А мы, товарищ комбат? — сиротливо спросил он.

— С политруком! Наблюдатели, телефонисты, все с политруком!

Сквозь просвет между рекою и селом мы поскакали за Новлянское, на фланг батальона. Связной еще не добрался туда, но из крайних окопов бойцы уже вышли, некоторые присели в ходках, высунув над землей лишь головы, другие сошлись кучками. Отсюда, за взгорьем, шагающие немцы не были видны, но все смотрели туда, где трещали автоматы, откуда взлетали красные шальные пунктиры.

Багряный шар уходящего солнца бросал косые лучи.

Командир взвода, молодой лейтенант Бурнашев, выбежав на несколько шагов навстречу выстрелам, стоял потрясенный, растерянный. В бою это угадывается сразу. Побелевшими пальцами он сжал пистолет, но рука повисла. Ошеломленный неожиданностью, он не знал, как поступить, что скомандовать. Он потерялся всего, быть может, на минуту, но в эту минуту — в жуткий критический миг — и бойцы потеряли командира. Я не видел отделений, не видел младших командиров — они были, конечно, где-то здесь, но ничем не выделялись и тоже, наверное, жались к темным бесформенным кучкам людей.

Воинский порядок, воинский костяк, который я всегда различал с одного взгляда, был смят внезапностью, распался. Я ощутил: вот так и гибнут, так и гибнут батальоны.

Еще никто не побежал, но... один красноармеец, не отрывая взора от взлетающих светящихся линий, медленно переступал, медленно отодвигался в сторону вдоль бере-

га. Пока медленно... пока один... Но если он кинется бежать, то не побегут ли за одним все?

И вдруг кто-то повелительным жестом показал туда — на этого отодвигающегося красноармейца. Странно... Кто тут распоряжается? Кто с такой решительностью простер руку? Я издали узнал фигуру Толстунова. Сразу вздохнулось легче. Тут я не помнил о давешних своих размышлениях, тут попросту мелькнуло: «Хорошо, что он здесь».

В тот же момент донесся окрик:

— Куда? Я тебе покажу бежать! Пристрелю, трус! Ни шагу без команды!

Это крикнул парторг роты, красноармеец Букеев,— маленький остроносый казах. Его винтовка была энергично поднята наперевес.

И только тогда я различил в разных точках еще несколько фигур, не сливавшихся со всеми: от Толстунова, находившегося в центре, им будто передалась поза молчаливой сосредоточенной решимости. Это не был привычный взгляду комбата остов моего взвода, но я видел: они, эти люди, сейчас сдерживают, скрепляют взвод.

И не сразу, не тогда, а в другой обстановке, когда в уме проходили впечатления дня, я понял, что тут выступила сила, имя которой — партия.

Подскакав, я крикнул:

— Бурнашев! Кто у тебя командует? Чего раскис? Где командиры отделений?

Бурнашев покраснел. Ему было стыдно, что он так растерялся. Он торопливо выкрикнул:

— Командиры отделений, ко мне!

Соскочив с коня, я кратко и громко объявил свое решение: загнуть фланг, отдав противнику село. Затем приказал:

— Командир первого отделения! Выводи бойцов! Каждому знать свое место по порядку номеров! Первое отделение поведу я! Второе — Толстунов! Третье — Бурнашев! Заев, принимай командование ротой. Выводи следующий взвод. Примкнешь к нам. Взрывай мост.

— Есть, товарищ комбат.

— Толстунов — к своему отделению!

— Комбат, я думаю...

— Нечего думать... Держи дистанцию пятьдесят метров от меня. Не отставать! Не сбиваться в кучу. Первое отделение, слушать мою команду! За мной! Бегом!

Прижав согнутые локти, я припустился что есть мочи по некрутому подъему, мимо темных домов села, где горел в стеклах отраженный закат, по избитому полю, к лесу. Сзади слышался топот, за мной поспевало отделение.

4

На полпути я опять увидел немцев. Ого, как приблизились, выросли шагающие по снегу черные фигуры! За пять-шесть минут, что протекли с тех пор, как мы заметили их с седел, расстояние сократилось до полукилометра. Быстро идут: сто метров — минута. А нам еще бежать, бежать... Край леса далеко, будто край света. До первых деревьев тоже почти полкилометра.

Я рывком усилил бег.

В немецкой цепи заметили нас. Красные траектории, скрещиваясь, прорезали воздух впереди и сзади, проносились над головой или с легким шипением потухали у ног.

Немцы стреляли без прицела, с ходу, но множеством пуль. Сзади кто-то упал. Донесся тонкий, хватающий за душу крик:

— Товарищи!

Я оглянулся, выкрикнул:

— За мной! Подберут!

Немцы по инстинкту преследования — ага, рус бежит! — тоже прибавили шагу. Но и лес, вот он,— в сотне шагов. И вдруг я с отчаянием почувствовал: выдыхаюсь. Сказался судорожный рывок средь пути. Пыхтение и топот все ближе. Бойцы нагоняют меня. Было приказано не сбиваться толпой. Но они все-таки сгрудились. Да, такая гоньба на виду у врага, под огнем автоматов, с засевшим в ушах пронзительным криком раненого,— это не учебное фланговое перестроение.

Я вобрал сколько мог воздуха.

— Отделение, стой!

Понимаете ли вы? В одном этом миге, в этой команде, в одном слове «стой!» спрессовалась вся наша предыдущая история — история батальона панфиловцев. Сюда вошло сознание долга, и «руки по швам», и всегдашнее безжалостное: «Исполнять! Не рассуждать!», превращенное в привычку, то есть во вторую натуру солдата, и расстрел труса перед строем, и ночной набег на Середу, где однажды уже был побит немец, побит страх.

А вдруг бы бойцы не остановились, вдруг бы с разгона кинулись в лес? Значит... значит, не жить бы тогда на этом свете командиру батальона Бауржану Момыш-Улы. Таков закон нашей армии — за бесславное бегство бойцов отвечает бесславный командир.

Толпой, тяжело дыша, бойцы стояли — стояли! — подле меня.

— Командир отделения!

— Я!

— Ложись здесь! Стреляй! Правофланговый!

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй! Кто рядом?

— Я!

— Сюда! Ложись! Стреляй! Разомкнуться! Интервал — пять метров! Куда ложишься? Отбегай дальше. Здесь! Стреляй!

5

Я допустил ошибку. Следовало залечь, не стреляя, изготовиться, прицелиться, чуть унять бешеный стук крови и потом, по команде, хлестать залпами.

Бойцы стреляли вразнобой, с лихорадочной быстротой и лихорадочной неточностью. Выпуская потоки светящихся пуль, немцы шли на нашу цепочку, и никто из них не падал.

Не по-вечернему яркое солнце бросало лучи сбоку, несколько встречь им. Они уже не казались черными, безличными. Солнце вернуло цвета. Под зеленоватыми касками белели безбородые лица; у некоторых поблескивали очки. Но почему, почему они не падают?

Лишь тут я сообразил, что немцы, собственно говоря, еще далековато — в трехстах — четырехстах метрах. А мы сгоряча палили, оставив прицельную рамку на первой черте, на стометровке.

— Прицел два с половиной! — крикнул я, перекрывая трескотню.

Через поле по нашему следу подбегало отделение Толстунова. Из-за домов Новлянского показалось третье.

Из села выносились груженые повозки. Ездовые нахлестывали коней.

Немцы надвигались. В их цепи упал один, другой... Но и у нас кто-то застонал... Дальний край вражеской

шеренги скрылся за домами. Противник уже в Новлянском. Мы отдали село.

А другие шагают, шагают... Сейчас им скомандуют: бегом! Я измерил глазом расстояние. Сомнут! Эх, если бы вы испытали это сосущее тошнотворное предчувствие: сомнут! Пулемет! Где вы, Бозжанов, Мурин, Блоха? Где пулемет, пулемет?

Рядом кто-то вскрикнул, запричитал:

— Ой, ой, смертушка! Ой, ой!..

Страдальческий крик дергал нервы, уносил мужество.

Каждому чудилось: сейчас то же будет и со мной, сейчас и в меня попадет пуля, из тела забрызжет кровь, я закричу смертным криком. Я сказал: каждому... Да, и мне... Да, от этих жутких всхлипываний содрогался и я: от живота к горлу подползал холод, лишающий сил, отнимающий волю.

Я посмотрел туда, откуда неслись вскрики. Вон он, раненый, полулежит на снегу, без шапки; по лицу размазана свежая кровь; она стекает с подбородка на шинель. Какие у него страшные белые глаза: глазные орбиты расширились, белок стал необычно большим.

А неподалеку кто-то лежит, уткнувшись лицом в снег, сжав голову руками, будто для того, чтобы ничего не видеть, не слышать. Что это — убитый? Нет, мелкая дрожь трясет его руки... Рядом чернеет на снегу полуавтомат. Кто это? Это красноармеец Джильбаев, мой сородич, казах! Он невредим, он струсил, мерзавец! Но ведь и мне только что хотелось вот так же уткнуться лицом, втиснуться в землю,— а там будь что будет.

Я подскочил к нему:

— Джильбаев!

Он вздрогнул, оторвал от снега землисто-бледное лицо.

— Подлец! Стреляй!

Он схватил полуавтомат, прижал к плечу, торопливо дал очередь. Я сказал:

— Целься спокойно. Убивай.

Он взглянул на меня. Глаза были все еще испуганные, но уже разумные. Он тихо ответил:

— Буду стрелять, аксакал.

А немцы идут... Идут уверенно, быстро, в рост, треща на ходу автоматами, которые будто снабжены длинными огненными остриями, достающими до нас,— так выглядят непрерывно вылетающие трассирующие пули. Я понимал:

немцы стремятся оглушить и ослепить нас, чтобы никто не поднял головы, чтобы никто не смог хладнокровно целиться. Где же Бозжанов? Где пулемет? Почему молчит пулемет?

А раненый все вскрикивает. Я подбежал к нему. Увидел вблизи залитое кровью лицо, красные мокрые руки.

— Ложись! Молчи!

— Ой...

— Молчи! Грызи тряпку, грызи шинель, если тебе больно, но молчи.

И он — честный солдат — замолчал.

Но вот наконец-то... наконец-то трель пулемета... Длинная очередь: так-так-так-так... Ого, как близко подпустил их Бозжанов! Он сумел выдержать, ничем себя не выдав, до крайнего момента. Зато теперь пулемет разил кинжальным огнем — внезапно, на близком расстоянии, насмерть.

Первые очереди подрезали центр немецкой цепи. О, как там заметались! Я впервые услышал, как заголосили враги. Мы потом не раз убеждались, что такова одна из особенностей гитлеровской армии: в бою при заминке или неудаче подстреленные немцы орут в голос, призывая помощь,— так почти никогда не кричат наши солдаты.

Но вместе с тем перед нами была муштрованная, управляемая сила. Прозвучала иноземная команда, и немецкая цепь, не тронутая с нашего края пулеметом, разом легла.

Ну, теперь можно вздохнуть.

Через минуту ко мне подполз Толстунов.

— Как думаешь, комбат? Ура?

Я отрицательно повел головой. В рассказах для легкого чтения это очень легко, очень просто: «ура» — и немец побежал. На войне это не так.

Но «ура» в тот вечер все-таки раздалось. Не один мой батальон существовал на свете, и не я один управлял боем. «Ура» возникло там, откуда не ждали его ни мы, ни немцы.

6

Из лесного клина, несколько сзади залегших немцев, появилась бегущая разомкнутая шеренга.

В лучах догорающего солнца мы увидели красноармейцев — наши шапки, наши шинели, наши штыки наперевес.

Их было не очень много: сорок — пятьдесят. Я догадался: это взвод лейтенанта Исламкулова, посланный из другого пункта в район прорыва.

Теперь не нам, а немцам предстояло изведать, что такое удар во фланг и в тыл. Но маневр загиба фланга, можете не сомневаться, был известен и им. Край цепи поднялся; отстреливаясь, немцы стали отбегать, создавая дугу.

— Комбат! — возбужденно выговорил Толстунов.

Я кивнул ему: да! Затем крикнул:

— Передать по цепи: подготовиться к атаке!

И не узнал собственного голоса: он был приглушенным, хриплым. От бойца к бойцу шли эти слова: «Подготовиться к атаке!», и у каждого, конечно, замерло и нервно забилось сердце.

Со стороны леса бежала шеренга бойцов, что пришли к нам навстречу, оттуда слабо доходило «ура-а-а-а!», а немцы торопливо перестраивались. Напротив нас линия немцев поредела, но они успели подтянуть сюда два легких пулемета, которые раньше, вероятно, следовали чуть в глубине за наступающим строем. Один пулемет уже начал бить: участилось неприятное посвистывание над головами.

А в нашей цепи стрельба стихла; бойцы лежали, стиснув винтовки, ожидая мига, о котором всякому думалось со дня призыва в армию, который всякому представляется самым страшным на войне,— ожидая команды в атаку.

Меня поразило это непроизвольное прекращение огня: не так надобно, не так! Но уже нет времени исправить. Надо действовать скорее, скорее, пока враг в замешательстве.

Я прокричал:

— Бурнашев!

Лейтенант Бурнашев — командир взвода, тот, кто недавно, на берегу, густо покраснел, стыдясь минутной растерянности,— лежал в цепи в полусотне метров от меня. Он быстро поднял и опустил руку в знак того, что слышит.

— Бурнашев, веди!

Прошла секунда. Вы не раз, вероятно, читали и слышали о массовом героизме в Красной Армии. Это истина, это святые слова. Но знайте, массового героизма не бывает, если нет вожака, если нет того, кто идет первым. Нелегко поднять людей в атаку, и никто не поднимется,

если нет первого, если не встанет один, не пойдет впереди, увлекая всех.

Бурнашев поднялся. На фоне закатного неба возник его напряженно согнутый, устремленный вперед силуэт. Перед ним, на уровне плеч, чернела заостренная полоска штыка — он схватил у кого-то винтовку. Раскрытый рот шевелился. Оторвав себя от земли, исполняя приказ — не только мой, но вместе с тем приказ Родины сыну,— Бурнашев прокричал во все поле:

— За Родину! Вперед!

До этого не однажды мне приходилось встречать в газетах описания атаки. Почти всегда в корреспонденциях бойцы поднимались в атаку с таким возгласом. Но в газетных строчках все это выглядело порой как-то слишком легко, и мне думалось: когда подойдет наш черед, когда доведется кинуться в штыки, все будет, наверное, не так, как в газете. И из горла вырвется иное, что-нибудь яростное, лютое вроде «бе-ей!» или просто «а-а-а-а!..». Но в этот великий и страшный момент Бурнашев, разрывая тысячи ниток, которые под огнем пришивают человека к земле, двинулся, крича именно так:

— За Родину! Вперед!

И вдруг голос прервался; будто споткнувшись о натянутую под ногами проволоку, Бурнашев с разбегу, с размаху упал. Показалось: он сейчас вскочит, побежит дальше, и все, вынося перед собой штыки, побегут на врага вместе с ним.

Но он лежал, раскинув руки, лежал не поднимаясь. Все смотрели на него, на распластанного в снегу лейтенанта, подкошенного с первых шагов, все чего-то ждали.

Вновь прошла напряженная секунда. Цепь не поднялась.

И опять кто-то вскочил, опять в пулеметной трескотне взмыли над полем те же слова, тот же призыв.

Голос был неестественно высокий, не свой, но по нерусскому акценту, по худенькой малорослой фигуре все узнали красноармейца Букеева.

Однако и он, едва ринувшись, рухнул. Пули попали, вероятно, в грудь или в голову, но, казалось, ему, как и лейтенанту Бурнашеву, подсекло ноги, срезало острой косой.

У меня напружилось тело; пальцы сгребли и стиснули снег. Опять истекла секунда. Цепь не поднялась.

Против нас уже действовали оба пулемета; в легких сумерках ясно виднелось длинное пульсирующее пламя, вылетающее из стволов; оно смутно озаряло пулеметчиков, которые, стоя на коленях, наполовину заслоненные щитком, прикрывали перестроение немцев, не давали нам броситься в штыки, держали нас настильным огнем.

Наши товарищи, сорок — пятьдесят красноармейцев, сумевшие выбрать момент для удара в спину врага, приближались к немцам, которые с той стороны уже создали фронт, уже и там открыли пальбу, а мы лежали, по-прежнему пришитые к земле, лежали, обрекая на погибель горстку братьев-смельчаков.

Каждый из нас, как и я, напружился, каждый стремился рвануться, вскочить, и никто не вскакивал.

Да что же это? Неужели мы так и пролежим, так и окажемся трусами, предателями братьев? Неужели не найдется никого, кто в третий раз прянул бы вперед, увлекая роту?

И я вдруг ощутил, что взгляды всех устремлены на меня, ощутил, что ко мне, к старшему командиру, к комбату, словно к центральной точке боя, хотя я лежал на краю, притянуто обостренное внимание; все, чудилось, ждали, что скажет, как поступит комбат. И, отчетливо сознавая, что совершаю безумие, я рванулся вперед, чтобы подать заразительный пример.

Но меня тотчас с силой схватил за плечи, вдавил в снег Толстунов. Он выпалил русское ругательство.

— Не дури, не смей, комбат! Я...

Его приятно-грубоватое лицо в один миг переменилось: лицевые мышцы напряглись, окаменели. Он оттолкнулся, чтобы резким движением встать, но теперь я схватил его за руку.

Нет, я не хочу терять еще и Толстунова. Я уже опомнился, я снова стал комбатом. Прежнее ощущение стало еще резче: все до единого, казалось, уголком глаза смотрят на меня. Бойцы, конечно, заметили: комбат хотел встать и не встал, старший политрук хотел встать и не встал. Чутье, всегда свойственное командиру в бою, сказало: мой недовершенный рывок смутил душу солдата. Если рванулся и не поднялся комбат, значит, нельзя подняться.

Командиру надобно знать, что в бою каждое его слово, движение, выражение лица улавливается всеми, дей-

ствует на всех; надобно знать, что управление боем есть не только управление огнем или передвижениями солдат, но и управление психикой.

Я уже опомнился. Конечно, не дело комбата водить роту врукопашную. Я вспомнил все, чему мы обучались, вспомнил завет Панфилова: «Нельзя воевать грудью пехоты... Береги солдата. Береги действием, огнем...»

Я рассказываю вам долго, подробно, но там, в поле, это были всего лишь секунды. В эти секунды я, как и все мы, учился воевать, учился и у врага.

Я крикнул:

— Частый огонь по пулеметчикам! Ручные пулеметы, длинными очередями по пулеметчикам! Прижмите их к земле!

Бойцы поняли. Теперь наши пули засвистали над головами стреляющих немцев. Один наш ручной пулемет стоял неподалеку. Он тоже примолк после того, как я скомандовал Бурнашеву: «Веди!» Теперь боец у пулемета торопливо вставлял новый магазин. Туда быстро пополз Толстунов. Бойцы лихорадочно стреляли. Вот заработал и этот пулемет.

Ага, немецкие пулеметчики легли, притаились, скрылись за щитками. Ага, кого-то мы там подстрелили. Один пулемет запнулся, перестало выскакивать длинное острое пламя. Или, может быть, там меняют ленту. Нет, под пулями это не просто... Ну... Я ловил момент, чтобы скомандовать, но не успел. Над цепью разнесся яростный крик Толстунова:

— Коммунары!

Не только к коммунистам — ко всем был обращен этот зов. Мы увидели: Толстунов поднялся вместе с пулеметом и побежал, уперев приклад в грудь, стреляя и крича на бегу. В третий раз над полем прозвучал яростный, страстный призыв:

— За Родину! Ура-а-а!

Голос Толстунова пропал в реве других глоток. Бойцы вскакивали. С лютым криком, с искаженными яростью лицами они рванулись на врага, они обгоняли Толстунова.

Я успел заметить вскинутый в замахе огромный, характерного выреза, приклад ручного пулемета,— выпустив патроны, Толстунов взялся за горячий ствол и поднял над собой тяжелый приклад, как дубину.

Немцы не приняли нашего вызова на рукопашку, не приняли штыкового удара, их боевой порядок смешался, они бежали от нас.

Преследуя врага, убивая тех, кого удавалось настичь, мы — наша вторая рота и взвод лейтенанта Исламкулова, начавший нападением с тыла эту славную контратаку,— мы с разных сторон ворвались в Новлянское.

Мы здесь!

1

Вслед за бойцами я пошел в село. Там стрельба, беготня. Красноармейцы очищали село от запоздавших уйти немцев.

Со всех ног, не замечая меня, пробежал с полуавтоматом худенький Абиль Джильбаев. Шинельные полы были заткнуты за пояс, шапка развязана, уши ее болтались, как у кутенка, когда он, вспугнутый, носится по полю.

Запыхавшись, Джильбаев подскочил к товарищу, тоже казаху, и ткнул куда-то пальцем:

— Там немец... Стреляет, черт... Идем...

Они поговорили и побежали вместе. Абиль мчался напрямик, разгоряченный, энергичный, держа полуавтомат наизготовку. А товарищ стал отделяться — видимо, чтобы зайти сбоку.

И вдруг — на полном ходу — стоп! Абиль повернулся к товарищу, закричал:

— Эй, Монарбек, как это по-немецки! Хульт, что ли?

Я рассмеялся. Несколько дней назад был отдан приказ батальону: всем выучить десяток немецких слов: стой, сдавайся, следуй за мной и т. д. Но руки не дошли проверить.

Товарищ тоже приостановился. Они перекликались по-казахски:

— Как ты сказал?

— Хульт, что ли?

— Правильно.

И друзья понеслись. Я вдогонку поправил:

— Не так, Джильбаев! Хальт!

Абиль оглянулся, увидел комбата и припустился бежать, размахивая ушами шапки. А я опять засмеялся. Я шел и смеялся, сам удивляясь этому безудержному смеху. Такова была разрядка нервного напряжения боя.

— Бауржан! Что смеешься?

Кто это? Меня давно никто не называл по имени. Ко мне, улыбаясь, шел лейтенант Мухаметкул Исламкулов. Я кинулся к нему. Он взял под козырек:

— Товарищ старший лейтенант! По обстановке нахожусь со взводом в вашем распоряжении. Потери взвода: один убитый, четверо раненых. Командир взвода лейтенант Исламкулов.

Я взял обеими руками его руку и молча пожал ее. Мы давно знали друг друга по Алма-Ате. Там Мухаметкул Исламкулов был журналистом, сотрудником газеты «Социалистик Казахстан». Сейчас я с любовью, с нежностью, какой не знавал до войны, смотрел на его красивое, цвета светлой бронзы, лицо: любовался им — высоким, стройным, улыбающимся.

Тут, в час решающего испытания, он оказался истинным воином: смелым и хитрым. Это не просто — красться за противником, выжидая момент, и молча кинуться сзади, когда момент настал.

Я сказал ему:

— Приведи в порядок свой взвод. Потом приходи ко мне в штаб. Там поговорим.

Бой затихал. Уцелевшие немцы отскочили за реку, переходя вброд — по пояс, по грудь — студеную воду. Другие, что были далеко от реки, метнулись к Красной Горе. В том направлении бойцы нагоняли убегавших; в сумерках возникали вспышки выстрелов: там сопротивлялись настигнутые одиночки.

2

И вдруг из-за реки, с того места, куда ушла более или менее компактная группа немцев, взмыли сигнальные ракеты. Они не озарили берегов, лишь темная вода неясно отразила бегущие цветные огни.

Два зеленых, оранжевый, белый, потом снова два зеленых. Сумрак, перерыв и опять шесть ракет в той же комбинации.

Несомненно, немцы что-то сообщали. Но что именно? Было ли это донесением о случившемся? Или вызовом подкреплений, знаком новой атаки?

В разных точках возникли ответные сигналы.

Я обвел взглядом горизонт, прорезанный огненными змейками. Ого! Черт возьми, куда проник противник! Мы были в пасти зверя.

Себя обозначили Цветки, Житаха и другие деревни за рекой, против наших окопов, часть которых, на протяжении двух километров, была при перестроении покинута бойцами,— там зиял открытый фронт. А на этом берегу, вверх по течению Рузы, ракеты посылала Красная Гора. Несколько наискосок, вглубь, фейерверки взвивались над Новошуриным, где днем стоял штаб полка; затем, все круче охватывая нас, под Емельяновом, над Лазаревом... Потом — темный промежуток, спокойное вечернее небо: его не полосовали огни. Но промежуток странно узок. Повернувшись спиной к Красной Горе, я смотрел недоумевая. Ракеты, казалось, взлетали и над селом Сипуново. Что такое? Ведь там батальон капитана Шилова, там его тылы.

Рассыпаясь искрами, тускнея, огни исчезли. Сразу потемнело.

Нет, это не Сипуново. По расчету времени, по характеру прорыва, устремленного вглубь, противник не мог туда проникнуть. Немцы и тут, наверное, фокусничают. Нас пугает какой-нибудь ракетчик, заранее подброшенный в тыл. Но надобно, надобно бы мне сейчас быть в штабе — связаться оттуда с капитаном Шиловым: выяснить, что за странные ракеты у него в тылу; снарядить поиск. Действуй, действуй, командуй без меня, Рахимов! Выясняй, скорее выясняй, что за фокусы там, близ Сипунова?

Нам и без того туговато. Почти все дороги, скрещивающиеся в Новлянском, перехвачены противником. Если он бросит сюда с разных сторон пехоту на грузовиках или бегом, тут внезапно все перевернется. Нам ударят в спину, и ничто не спасет моих бойцов, рассеявшихся по полю в увлечении атаки.

Разыскав Заева, я приказал ему вывести роту из села и окопаться поперек поля на линии, с которой мы поднялись в атаку. Затем направился в штаб.

На опушке, близ которой, чуть в глубине, был расположен штаб батальона, стояли, скрытые деревьями, мои восемь пушек.

Они, как было приказано, передвинулись сюда. Темные стволы глядели на дорогу, что вела из Новошурина. Я вызвал командира.

— Оседлал дорогу?

— Да, товарищ комбат.

— Пропусти немцев в Новлянское, если покажутся.

— Пропустить?

— Да. Село видишь?

Перед нами в семистах метрах пролегла широкая улица села, обозначенная черными силуэтами домов. Оттуда, перекликаясь, отыскивая на ходу свои отделения, взводы, уходили бойцы.

— Вижу.

— Наведи вдоль улицы. Пусть войдет противник. Тогда стукнем прямой наводкой — картечью.

— Есть, товарищ комбат.

Опять над горизонтом взнеслись ракеты. Первые — над Новошурином, ответные — кругом. И опять цветные шнурки прорезали небо далеко за лесом, в той стороне, где Сипуново.

Что такое? Надо скорее в штаб!

3

Я вошел в штабной блиндаж. Все встали. Среди других я заметил Исламкулова.

Но кто-то, далеко от лампы, в углу, продолжал сидеть, уставившись в пол, будто ничего кругом не замечая. На нем была не ушанка, как у всех нас, а защитная фуражка с пехотным малиновым кантом.

— Капитан Шилов? Вы?

Опершись о край стола, он поднялся. Поднес руку к козырьку.

Помню первое впечатление: как он страдает, как сдерживает страдание. Что с ним? Ранен? Почему он здесь?

— Что с вами, капитан?

Он не ответил. Я повторил:

— Что с вами? Что с батальоном?

— Батальон...— Уголок рта несколько раз дернулся. Шилов что-то глотнул. Потом выговорил: — Батальон разбит.

Он посмотрел на меня, ожидая вопросов. Я увидел его глаза... Тяжело опираясь на стол, он не отвел взгляда.

О чем же спрашивать? «Батальон разбит...» А ты? А ты, командир батальона,— бежал? Нет, сейчас не до этого, не до этих вопросов.

«Батальон разбит...» Шилов в моем блиндаже, в моем штабе... Значит?.. Значит, фронт прорван и слева...

Шилов сел, опять уставившись в пол.

— Разрешите доложить? — произнес Рахимов.

Я сказал:

— Докладывайте.

4

Рахимов развернул карту. Докладывая, он указывал топографические пункты. Я машинально следил за его карандашом, аккуратно зачиненным, как всегда. Ровным голосом он назвал час и минуту несчастья.

А я плохо соображал, плохо слышал. Будто из отдаления доходило: «Без артиллерийской подготовки, внезапно, противник атаковал батальон капитана Шилова. После этого, прорвавшись у села Сипуново...»

Я знал, что было после этого. Встало только что пережитое. Бойцы вышли из окопов... Некоторые стояли в ходках у своих ячеек, другие сошлись по двое, по трое... Все смотрели назад, где трещали автоматы, откуда взлетели красные шальные пунктиры. Души смятены. Куда деться? Немцы спереди и сзади... Еще момент и... И батальона нет...

Рахимов продолжал. Немецкие колонны, прорвавшиеся под вечер по обе стороны нашего батальонного района, по-видимому, еще не сомкнулись в глубине. Наша конная разведка, высланная в тыл, была несколько раз обстреляна. Но в некоторых деревнях конников никто не окликнул: немцы прошли стороной. Через эти пункты, проселками, можно выскользнуть. Рахимов показал это на карте.

Прежняя черта обороны, черта сомкнутых звеньев, заграждавших Москву, была стерта. Резинка счистила ка-

рандаш, сняла глянец, на карте остались чуть заметные следы.

Фронт батальона, нанесенный на карту заново, был согнут, как подкова. Оба конца обрублены, оба упирались в пустоту. Нет, не в пустоту. Соседи имелись. Соседом справа были немцы; соседом слева были немцы; сзади, над неприкрытым тылом, куда Рахимов придвинул два пулемета и выслал посты,— сзади тоже немцы.

Рахимов предполагал, что с темнотой немцы закончили боевой день. Нам была знакома их манера: ночью спать, воевать днем. До рассвета они вряд ли предпримут новые передвижения. Узенькая горловина, выводящая нас к своим, видимо, до рассвета останется неперехваченной.

Рахимов докладывал спокойно, деловито, немногими словами. Это я очень ценил в нем: точность выражения. Он был точным даже в том, чего не знал,— об этом он так и говорил: не знаю. Он не знал сил противника, прорвавшегося в двух местах; не знал, где штаб полка, не захвачен ли, не погиб ли; не знал, куда отходят наши части, но установил, что туда, к своим, есть щелочка.

Предварительные распоряжения он отдал без меня. Боеприпасы, продовольствие, инженерное имущество, медпункт — все было на колесах, лошади запряжены.

В критический час он действовал быстро и разумно: он докладывал без единого суетливого жеста, без нервной нотки в голосе.

А я молчал.

5

Требовалось произнести «да», и батальон, изготовленный к движению, тронулся бы, выскальзывая из пасти. Но я молчал.

Поймите меня. Два часа назад со мной говорил по телефону командир полка майор Юрасов. Я помнил разговор дословно, помнил все торопливые, отрывистые фразы: «Момыш-Улы, ты? Отставить! Поздно! Противник прорвался. Одна колонна идет к штабу полка. Я отхожу. Другая, неясной численности, двигается к тебе во фланг. Загни фланг! Держись! Потом...» И будто кусачки отхватили голос, связь оборвалась.

«Потом...» Что потом? Отходи?

Стыдно признаться, но было мгновение, когда я под-

дался низкому самообману. Я будто уговаривал сам себя, внушая себе: «Ведь ты слышал, слышал и следующее слово: не целиком, но первый слог, первые буквы: «Потом отх...»

Враки! Не ври, не вертись перед своей совестью! Слышал или нет? Приказал тебе старший начальник отходить или нет у тебя этого приказа?

Рахимов ждал. Требовалось произнести «да», и батальон, изготовленный к движению, тронулся бы, выскальзывая из пасти. Но я молчал. У меня не было приказа.

Мог ли майор Юрасов сказать: «Отходи»? Да. Ведь он сообщил: «Я отхожу». Но мог и не сказать. Два часа назад обстановка была иной. Слева от нас фронт не был разворочен, там не зиял пролом.

А теперь? Где он теперь, командир полка? «Я отхожу». Куда? Связь прервалась раньше, чем он успел сказать, куда, в какую сторону, по какой дороге или вовсе без дороги отступил почти беззащитный штаб. У командира полка не осталось резерва; там, при штабе, один пулемет; там вместе со штабными командирами всего тридцать — сорок человек. Живы ли они? Может быть, где-нибудь отстреливаются, окруженные? Или гуськом, насторожившись, где-нибудь пробираются сквозь лес? Или отскочили направо, к батальонам, что остались по ту сторону Красной Горы?

Знает ли он, командир полка, что наш батальон в петле? Он, наверное, двадцать раз скомандовал бы, если бы мог: «Пользуйся темнотою, отходи и к утру встань перед противником, как из-под земли, на новом рубеже!»

Но связи нет, мы отсечены.

Рахимов ждет. За стенами блиндажа, залегши подковой, ждет батальон.

А я молчу. У меня нет приказа.

6

Телефонист сказал:

— Товарищ комбат, вас...

— Кто?

— Лейтенант Заев.

Я взял трубку. Ни с кем не хотелось говорить: душу и тело охватила странная апатия.

Заев сообщил, что в Новлянское, очищенное нами, вновь вступил противник. По донесению наблюдателей, вошло четырнадцать грузовиков с пехотой.

— Откуда? По какой дороге?

— Из Новошурина.

Очевидно, в Новошурине у противника был пункт сосредоточения. Противник оборачивал оттуда мотопехоту против нас.

Кто-то вошел. В другое время я тотчас оглянулся бы... А теперь не хотелось двинуть головой, кого-то увидеть, что-то выслушать, что-то ответить. Держа трубку, я буркнул:

— К Рахимову...

Заев передавал подробности:

— Разошлись по селу, товарищ комбат. В домах вздули свет. Окон не маскируют. Погнали несколько грузовиков к реке. Кажется, с понтонами.

Неужели уже сегодня взамен взорванного нами моста у немцев будет новый? Выходит, она не застопорила на ночь, она совершает обороты, немецкая военная машина.

— Нас не видят? — спросил я.

— Нет... Но с нашей стороны прикрылись охранением. Наверно, и пулеметы где-нибудь установили. До утра, товарищ комбат, думаю, не сунутся.

Как всегда, Заев говорил будто запыхавшись. Он замолчал, но в трубке слышалось его дыхание. Заев тоже чего-то ждал от меня, хотел моего слова.

Но что я мог, что должен был ему сказать?

7

Я сказал:

— Хорошо.

И положил трубку.

В углу сидел Шилов, не шевелясь, не меняя положения. Близ лампы стоял сосредоточенный, серьезный Исламкулов.

— Где Рахимов? — спросил я.

— Вышел к разведчикам. Привезли донесение...

— Что еще там?

— Не знаю... По виду — ничего экстраординарного.

Я посмотрел на Исламкулова долгим невеселым взглядом. Тянуло спросить: «Понимаешь ли ты меня, друг?»

Черные глаза — настороженные, соображающие — ответили: «Понимаю».

Исламкулов проговорил:

— Думаю, выберемся, Бауржан...— И улыбнулся.

Нет, он не понимал.

Я грубо ответил:

— Потрудитесь оставить ваше мнение при себе. Я не созывал, товарищ лейтенант, и не намерен созывать военного совета.

Он вытянулся:

— Виноват, товарищ старший лейтенант...

Но виноват был не он, а я. Я поддался слабости, взглядом выдал растерянность, взглядом попросил: «Помоги». Тебе обидно, Исламкулов, но я накричал на себя.

— Садись,— примирительно проговорил я.

8

Есть древняя казахская пословица: «Честь сильнее смерти». Три месяца назад в станице Талгар, близ Алма-Аты, в жаркий июльский день я держал первую речь перед батальоном, перед несколькими сотнями людей, еще одетых в штатское, перед теми, что с винтовками лежат сейчас на снегу, на мерзлой земле Подмосковья. Я привел им тогда эту пословицу, эту заповедь воина.

Но там же, в Алма-Ате, однажды ночью со мной говорил Панфилов. В большом каменном доме, в штабе дивизии, все спали, кроме дежурных. Но не спал и Панфилов. В этот поздний час, утомленный, без генеральского кителя, в белой нижней рубашке, с полотенцем на руке, он заглянул в дежурку. Дежурил я. «Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь...» Присел и он. Начался памятный мне разговор. После нескольких вопросов Панфилов задумчиво сказал: «Да, батальоном, товарищ Момыш-Улы, вам нелегко будет командовать». Это задело. Я выпалил: «Но умереть сумею с честью, товарищ генерал».— «Вместе с батальоном?» — «Вместе с батальоном». Он рассмеялся. «Благодарю за такого командира... Эка вы легко говорите: «Умру с батальоном!» В батальоне, товарищ Момыш-Улы, семьсот человек. Сумейте-ка принять десять боев, тридцать боев и сохранить батальон. Вот за это солдат скажет вам спасибо!»

И последние слова, которые я от него слышал несколько дней назад, которые звучали как завет, слова, сказанные при расставании, были о том же: «Берегите солдата. Других войск, других солдат у нас тут, под Москвою, нет. Потеряем эти — и нечем держать немца».

Чего же мучиться? Рахимов все подготовил; тяжести — на колесах; надо молвить: «Быть по сему!» — и батальон двинется, батальон будет сохранен.

У меня нет приказа, нет радиосвязи. Но в такой момент, когда разворочен, исковеркан фронт, когда немцы двумя колоннами, растекающимися в глубине, идут к Волоколамску, перехватывая дороги, перерезая провода, ломая управление, могу ли я, имею ли я право ожидать, что войдет офицер связи и вручит приказ?

А если он не нашел пути, если всюду встречал немцев? Если убит? Если заблудился, пробираясь без дорог?

Мне неотвязно чудилось: сквозь ночь доходит, стучится в мозг призыв Панфилова. Я не мог отделаться от ощущения, что слышу — или, лучше сказать, улавливаю, воспринимаю,— как издалека он зовет меня, как повторяет мне: «Выходи! Выводи батальон! Вы нужны, чтобы прикрыть, скорей прикрыть Москву! Скорее выводи!»

Мне виделось, как радостно он встречает нас, жмет мою руку, спрашивает: «Батальон цел?» — «Да, товарищ генерал!» — «Пушки, пулеметы?» — «С нами, товарищ генерал...»

Нет, к черту видения! Я стремился подавить, отринуть этот голос, этот зов. К черту! Это мистика, самовнушение. Командир не имеет права поддаваться таинственным нашептываниям. Ему дан разум.

«Умом надо воевать»,— говорил Панфилов.

9

Вспоминалось каждое слово, сказанное Панфиловым в нашу последнюю встречу:

«Противника мы нашей ниткой не удержим».

«...Будьте готовы быстро свернуться, быстро передвинуться».

«...Действовать так, чтобы везде, где бы он ни прорвался, перед ним на дорогах оказались наши войска».

Вспомнилась панфиловская спираль-пружина.

Ведь при встрече у капитана Шилова Панфилов вводил меня в свои мысли. Он хотел, чтобы я, комбат, уяснил его, командира дивизии, оперативный план; хотел, чтобы в меняющейся боевой обстановке, среди сотрясений и толчков битвы, я действовал с умом, понимал, угадывал — здесь уместно это слово,— чего ждет от меня тот, кто управляет боем.

Это не мистический зов, не чертовщина, не самовнушение.

Чего же я медлю? Довольно переживать. Надо стряхнуть проклятую расслабленность. Моего слова ждут. Надо решать. Надо командовать.

10

Вернулся Рахимов.

— Что там?

— Небольшая неприятность. Долгоруковка занята противником.

— Долгоруковка?

— Да... На пути, который был свободен. Вошла, как сообщили, незначительная группа — человек сорок, взвод.

Рахимов указал Долгоруковку на карте. В узком коленчатом проулке, слабо помеченном красным пунктиром, один изгиб он обвел темно-синим. Горловина была затянута.

Так... Противник не теряет времени. Передвижения продолжаются. Она еще не затихла на ночь, она совершает обороты, немецкая военная машина.

— Я переговорил с разведчиками,— продолжал Рахимов.— Разрешите доложить мои соображения...

— Давайте.

Рахимов сказал, что, по его мнению, характер местности позволяет поступить двояко. Можно, не дойдя полутора километров до Долгоруковки, свернуть в поле и прогалиной, меж двух островов леса, где нет ни оврагов, ни пней, где вместе с пехотой легко пройдут пушки и обозы, обогнуть деревню. Потом, проделав этот крюк, опять выйти на дорогу. Можно, конечно, и уничтожить группировку в Долгоруковке, но это вряд ли удастся без шума. Противник всполошится...

— Кто там разведывал местность? — спросил я.— Давайте-ка его бегом сюда.

Отворив дверь, Рахимов кого-то кликнул. В блиндаж поспешно вошел лейтенант Брудный.

11

Лейтенант Брудный! Тот самый, кому несколько дней назад я крикнул: «Трус! Ты отдал Москву!», тот, кто, изгнанный из батальона, пошел обратно, в сторону врага, и наутро принес оружие и документы двух немцев, которых он ночью приколол, принес и положил передо мною, как свою потерянную честь. Я назначил его, как вы, быть может, помните, командиром разведки.

— Товарищ комбат, по вашему вызову явился.

Быстроглазый, бойкий, раскрасневшийся, он ожидал вопросов.

А я смотрел на него, потрясенный. Ему, ему я недавно крикнул: «Трус! Ты отдал Москву!» Так вот как оно, вот как оно бывает, что отходят без приказа. Тут и видения, и гипнотизирующий зов, и думы о солдатах, и логические выкладки — все ведет к одному, все велит: отходи!

Вот оно что! Значит, и рассуждения тянут меня туда же, значит, и они служат тут страху.

Приказа об отходе нет, так к черту рассуждения! Нет, я не прав! Не повторял ли нам Панфилов, что всегда, при всех обстоятельствах, командир обязан думать, размышлять?

Я вновь попытался представить положение дивизии после прорыва немцев; представить действия Панфилова, его план обороны. «Не линия важна, важна дорога»,— недавно внушал он мне. Дорога, пролегающая через Новлянское, поручена нам, моему батальону. Панфилов знает нас, знает меня. Быть может, как раз в эту минуту он соображает: батальон Момыш-Улы не уступит дорогу, не уйдет без приказа. Быть может, это входит сейчас в его расчеты, когда он, маневрируя малыми силами, расставляет заслоны, передвигает части, чтобы сомкнуть фронт в глубине.

Ну, а если не так? Если у Панфилова не хватает войск, чтобы закрыть прорыв? Если ему до крайности нужен, немедленно нужен наш батальон? Если приказ об отходе послан, а офицер связи не смог к нам добрать-

ся? Не знаю. Не хочу об этом думать. Приказа нет — и точка.

Я ничем не выдал колебаний, которые минуту назад раздирали меня. О колебаниях комбата ведает он один. В батальоне он единовластный повелитель. Он решает и диктует повеление. Я решил.

12

— Ну, Брудный,— сказал я,— в путь-дороженьку готов? Проходы выведал?

Он задорно ответил:

— Это, товарищ комбат, мне как щенка подковать... Проведу и выведу... Мимо Долгоруковки вполне пройдем.

Порывисто встал капитан Шилов. Он уже некоторое время сидел, подняв голову, прислушиваясь.

— Товарищ старший лейтенант... со мной тут несколько моих бойцов, они просят вас использовать их в группе, которая пойдет впереди, когда батальон будет пробиваться.

Он опять говорил скупо и, проговорив, плотно сомкнул губы, будто сдерживая готовую прорваться речь. Ни единым словом Шилов не пытался оправдать себя.

Мой ответ был короток:

— Я пробиваться не буду. У меня нет приказа.

Все молчали, как положено молчать, когда командир объявляет решение.

Одной фразой я перечеркнул распоряжения Рахимова, сделанные без меня, но его сухощавое бесстрастное лицо не выразило ничего, кроме внимания. Чуть нагнув голову, он стоял, готовый, как всегда, выслушать, сообразить, исполнить.

Я продолжал:

— Буду бороться в окружении...

Устав Красной Армии, как я уже вам говорил, предписывает командиру говорить о своей части «я». «Я» командира — его солдаты. Они, они будут бороться в окружении.

— Вам, лейтенант Брудный, нынешней ночью придется попутешествовать промеж немцев. Отправитесь вдвоем с Курбатовым.

На карте я указал десять — двенадцать населенных пунктов, где предположительно мог обосноваться штаб полка.

— Если в этой деревне немцы,— говорил я Брудному,— добирайтесь в следующую. Если и там противник, идите дальше. Задача: нигде не угодить под пулю. Разыщите штаб полка, доложите обстановку, вернитесь сюда с приказом.

— Есть, товарищ комбат.

Он отправился.

Капитан Шилов произнес:

— Орудия мои там.

Он выговорил это с натугой.

— Где? Взорваны?

— Нет... Брошены в лесу...

Он пометил карандашом на карте.

— Сколько?

— Шесть пушек... Четыреста снарядов.

— Слушайте, капитан,— сказал я,— а не попробовать ли нам вытянуть их оттуда? Берите моих лошадей, берите бойцов. Пойдете?

Шилов сумрачно улыбнулся одной стороной рта.

— Нет, теперь я не ходок...

Повернувшись, он откинул шинельную полу. Я увидел распоротую штанину, разрезанное голенище. Распухшая нога была перевязана. Сквозь марлю просочилась кровь. Кровью напиталось сукно брюк.

— На медпункте были? — спросил я.— Кость цела?

— А черт ее знает... Бойцы перевязали. Орудия бросили,— у Шилова впервые наконец вырвалась яростная ругань,— а меня вынесли...

Не сгибая в колене простреленную ногу, он тяжело сел на табурет.

— Синченко! — крикнул я.— Носилки. Живо!

Шилов долго молчал, потом произнес:

— Вот сижу, думаю о батальоне и не могу решить: закономерно ли разбит батальон? Да, бойцы обучены были плохо...

Он вновь выругался и, посмотрев на меня, с неожиданной силой продолжал:

— Думаете, все разбежались, как бараны? Нет, две роты мужественно дрались... И ведь не покинули своего командира, ведь...

И он опять сомкнул губы, не договорив.

К блиндажу доставили носилки. Шилова вынесли.

13

Исламкулову я приказал выводить свой взвод в обход деревни Долгоруковки.

Это подразделение не принадлежало батальону, и я не считал возможным задерживать у себя сорок — пятьдесят бойцов, зная, что сейчас Панфилов напрягает усилия, дабы малыми силами закрыть дороги перед прорвавшимся врагом, что у Панфилова в этот момент на счету каждое отделение, каждый взвод.

Покраснев, Исламкулов попытался возражать. В нем заговорило благородное стремление разделить нашу участь. Но я не позволил прекословить.

Рахимов спросил:

— Втянемся в лес? Оборона по опушке?

— Да.

Ни о чем больше не расспрашивая, Рахимов взял бумагу и, быстро набросав очертания леса, стал размечать ротные участки круговой обороны.

Вместе с Исламкуловым я вышел наружу.

Было темно и тихо. Нигде не гремели пушки; не слышалось ни близкого, ни дальнего боя. Над черными сучьями стояли звезды.

— Иди,— сказал я,— там ты нужнее.

Он нерешительно произнес:

— Бауржан...

Я молча позволил в минуту прощания назвать себя так. Он повторил смелей:

— Бауржан, если это действительно так, если там нужнее один взвод, то батальон... Рассуди сам...

— Не могу, Исламкулов, не имею права и не буду рассуждать. Иди!

Мы не поцеловались. Это не принято у нашего народа.

14

Рахимов в несколько минут изготовил грубую схему: наш отдельный лес, по местному выражению — остров; ближние населенные пункты, ближние опушки, дороги. Очертания острова делились на ротные участки. В центре был отмечен дом лесника, где расположился медпункт.

Дом, как мы знали, был достаточно обширен, и, с моего согласия, Рахимов нарисовал там флажок — мы перемещали туда, в центральную точку, командный пункт батальона.

Схема была сработана сразу начисто, сразу под копирку, в четырех экземплярах, для вручения командирам рот. Подавая на подпись, Рахимов произнес:

— Ночью незаметно окопаемся. Пожалуй, и утром не заметят.

Меня передернуло.

Эх, Рахимов! Чего-то не хватало ему, чтобы быть не только начальником штаба, но и командиром.

— Телефонист,— сказал я,— вызовите батарею...

— Есть, товарищ комбат... Говорите, товарищ комбат. У телефона командир батареи.

Я взял трубку.

— Наблюдаете за противником? Немцы в селе?

— Да, товарищ комбат. Пропустил их, как вы приказали.

— Что делают?

— У реки при кострах мост ладят. Другие в домах или у машин на улице.

— Орудия наведены?

— Наведены.

— Дай прямой наводкой, залпами, сорок снарядов, чтоб завопили.

— Есть, товарищ комбат, сорок снарядов, залпами.

Через минуту земляная толща гулко донесла в наше подземелье орудийный залп.

Я не желал, чтобы нас не замечали.

Пушечным грохотом, внезапно возникшим над затихшими полями, далеко раскатившимися во тьме, я возвещал: мы здесь!

Атакуйте нас! Поверните против нас, направьте против нас артиллерию и пехоту; ударьте с воздуха — мы здесь!

Лишенные связи, в клещах, мы не ушли, как ни манила уйти последняя свободная дорога — узкая продушина, которой завтра не станет.

Так не прятаться же мы остались, не прятаться, а приковать к себе врага, оттянуть на себя удары, предназначенные тем, кто на новом рубеже заслонил Москву.

Наши пушки били по видимой цели, напрямик, с расстояния семисот метров. Каждый залп возвещал: мы не ушли, мы здесь.

В какой-то точке, нам неведомой, нас слышит штаб полка. Где-то приподнял голову Иван Васильевич Панфилов, вскинул брови, радостно вымолвил: «Ого!»

Я опять вызвал к телефону командира батареи:

— Как гансы? Завопили? Еще залп! По домам, фугасными.

И вышел из блиндажа.

Близко рявкнули пушки. В небе возник белый взблеск. Так их, так их!

В лесу снова темень, снова тишь... И вдруг, словно нескорое эхо, докатились глухие удары других пушек. Я вытянул шею, жадно прислушиваясь. Пушки опять подали голос. Они рокотали за десяток километров, справа, и как будто (это трудно было определить с точностью), как будто на линии батальона, на рубеже Рузы. Сзади, из глубины, дошел очень далекий, но длительный мощный звук. Казалось, в той стороне кто-то тронул басовые струны, невидимо протянутые в небе. Это «катюша»! Сотней снарядов, выпущенных одновременно, создающих в полете такой гул, где-то далеко-далеко накрыты на ночлеге немцы.

Гул прокатился... В лесу опять тихо, темно...

В доме лесника

1

Большие рубленые сени разделяли надвое дом лесника. В одну половину перенесли всех раненых; в другой, куда уже подвели связь, собрались вызванные мною командиры и политруки.

Я сказал:

— Слушайте мой приказ. Первое. Батальон окружен. Мое решение: бороться в окружении до получения приказа об отходе. Участки круговой обороны указаны командирам рот. Ночью работать, чтобы к свету каждый боец

отрыл окоп полного профиля. Второе. В плен не сдаваться, пленных не брать. Всем командирам предоставляю право расстреливать трусов на месте. Третье. Беречь боеприпасы. Дальнюю ружейную и пулеметную стрельбу запрещаю. Стрелять только наверняка. У раненых и убитых винтовки и патроны забирать. Стрелять до предпоследнего патрона. Последний для себя. Четвертое. Артиллерии вести огонь исключительно прямой наводкой, в упор по живой цели. Стрелять до предпоследнего снаряда. Последним — взорвать орудие. Пятое. Приказываю все это объявить бойцам.

2

Вопросов не было. Политруку пулеметной роты Бозжанову я велел остаться. Другие ушли.

— Бозжанов, где твои орлы?

— Здесь, товарищ комбат, около штаба.

— Сколько их?

— Восемь.

Это были несколько связных и пулеметный расчет Блохи — горстка, что в недавнем бою, подпустив шагающую вражескую цепь, ударила кинжальным огнем.

— Отправишься с этой командой к немцам,— сказал я.

Затем, положив карту, показал карандашную пометку, которую оставил капитан Шилов.

Там среди леса были брошены пушки и снаряды. Надо попытаться, объяснил я, вытянуть это из-под носа у противника.

— Возьми лошадей, упряжь, ездовых. Действуй хитро, тихо...

— Аксакал,— с улыбкой сказал Бозжанов.

— Что?

— Аксакал, я хотел вас просить. Пускай эти люди так и будут моим подразделением.

Я уже говорил, что пулеметы были приданы стрелковым ротам и в батальоне уже, по существу, не стало отдельной пулеметной роты, политруком которой числился Бозжанов.

— Что же это будет за подразделение?

Бозжанов быстро ответил:

— Резерв командира батальона... Ваш, аксакал.

— Ну, командир резерва,— сказал я,— пойдем к твоему войску.

3

В лес проникал неясный свет луны.

— Стой! Кто идет?

— Мурин, ты? — спросил в ответ Бозжанов.

— Я, товарищ политрук.

Все войско Бозжанова поместилось под одной елкой. Тесно, прикорнув друг к другу, поджав ноги, накрывшись с головою плащ-палатками, пригревшись на хвое, бойцы спали.

Мурин дежурил. Рядом с пирамидкой винтовок чернел пулемет.

— Надо поднять, Мурин, людей,— сказал Бозжанов.

Огромного Галлиулина сон сморил крепче, чем других. Он приподнялся, сел и опять ткнулся в мягкий хвойный подстил. Его растолкали.

— Взять винтовки! Выстроиться! — негромко скомандовал Бозжанов.

Оглядев коротенький строй, он шагнул ко мне, отрапортовал.

— Объявите мой приказ,— сказал я.

— Вот, товарищи,— начал Бозжанов, подойдя к строю.— Батальон окружен.

Затем, по-прежнему негромко, он изложил пункт за пунктом: занять круговую оборону, в плен не сдаваться, беречь боеприпасы, стрелять лишь наверняка, стрелять до предпоследнего патрона, последний для себя.

— Последний для себя,— медленно, будто взвешивая, повторил он.— Хочешь жить — дерись насмерть.

У Бозжанова иногда рождались такие афоризмы. Глядишь, мимоходом сказал слово, а в нем — философия, мудрость... Это я замечал на войне не за ним одним. Настоящий солдат, у которого на войне, в бою, мобилизуются все клеточки мозга, может сказать мудрую мысль. Но именно настоящий.

Бозжанов продолжал:

— У нас пушки, пулеметы, у нас боевое братство... Попробуй подступись...

Я сказал:

— Объявите, товарищ политрук, задачу группы.

Бозжанов неторопливо объяснил, что придется идти в расположение немцев за оставленными в лесу пушками.

— Можно разойтись,— сказал я, когда он закончил.— Приготовьтесь. Проверьте оружие. Соберите вещи. Но сначала подойдите-ка сюда, друзья.

Они подскочили мигом. Только длинный Мурин остался часовым у пулемета. Ему тоже не терпелось слышать, он вытянул шею, в свете луны поблескивали его очки. «Друзья»! Первый раз я так назвал своих солдат. Мне никогда не нравилось, когда, обращаясь к бойцам, говорили: «хлопцы», «ребятки». Особенно — «ребятки». В игрушки мы играем, что ли? Но «друзья» — это иное.

— Сегодня вы, товарищи, дрались хорошо, грамотно.

Они стояли не в строю. Общего ответа не полагалось. Никто не заговорил.

— Теперь изловчитесь-ка: тихонько вытащите эти пушки и снаряды. Тогда будем богачами.

Муратов сказал:

— Товарищ комбат, колбасы нам с собою надо.

Он, видимо, хотел рассмешить, но никто не засмеялся. Маленький татарин заспешил:

— Я это, товарищ комбат, не в шутку. Там у них, может быть, танки.

— Придумываешь, Муратов,— с неодобрением сказал Бозжанов.

— Что вы на меня? Я, товарищ комбат, серьезно. Они в танках спят, а к танкам, я слыхал, на ночь собак привязывают.

— Не болтай пустое,— сурово сказал Блоха.

Это не было пустым. О собаках действительно следовало подумать, но минута требовала иных слов, иного разговора. Слов не нашлось. Все молчали.

— Товарищ комбат, разрешите,— сказал Мурин.

Я насторожился, но Мурин просто спросил:

— Кому сдать пулемет?

Вспомнилось, как три месяца назад он впервые подошел ко мне: в пиджаке, в галстуке, немного съехавшем набок, в очках, длинный, неловкий, не знающий, как стоять перед командиром, куда деть незагорелые тонкие руки. Он явился с обидой: «Меня зачислили, товарищ комбат, в нестроевые. Дали лошадь и повозку. А я абсолютно не имею

понятия, что такое лошадь. И не для этого я шел». Вспомнилось, как, поддавшись панике, он постыдно удирал вместе с другими, когда внезапно вблизи застрочил пулемет и кто-то крикнул: «Немцы!» У него дрожала винтовка, когда, стоя в шеренге, он целился в изменника, в труса, которого я приказал расстрелять перед строем.

Быть может, острее, чем кто-либо другой, Мурин испытал страхи войны, внутреннюю борьбу, мучительное духовное перерождение с возвращающимися приступами смертной тоски и потом жгучую радость воина, убившего того, кто вселял страх, кто шел убить.

Теперь, выслушав приказ, узнав, что надо идти в становье врага, он просто спросил:

— Кому сдать пулемет?

Что он? Все в нем притупилось? Не переживает?

— Вряд ли, товарищ Мурин, вы там будете полезны. С лошадьми вы не управитесь. Оставайтесь-ка у пулемета.

Я ожидал солдатского ответа: «Есть!», но его не было. Мурин заговорил не сразу.

— Товарищ комбат, разрешите просить вас... В такой момент...— Он приостановился, передохнул, продолжал глуше: — В такой момент хочется, товарищ комбат, быть с товарищами. Прошу вас: куда они, туда и я...

Он, значит, переживал, он думал. Не служба, не дисциплина, а что-то более человечное, более высокое сейчас двигало им. Это трудно объяснить, но мне приоткрылась душа солдата, душа батальона. Пронзила уверенность: да, будем жестоко драться, будем убивать и убивать до предпоследнего патрона.

Я сказал:

— Хорошо, Мурин. Бери, Галлиулин, пулемет. Берите ленты. Отнесите в штаб. Блоха, постройте людей. В путь, товарищи!

4

Потянулись ночные часы, ночные думы.

Бойцы вкапывались в землю по всему краю леса, взмотыживая мерзлый слой, обрубая корневища. Просекались тропы для маневра орудиями. Работали пилы, падали деревья.

Мы не таились. Пусть знает противник: мы здесь! Ему не владеть большаком, что идет через Новлянское: дорога

под нашим огнем. Тут, близ нашего острова, не пройдут машины, не пройдет артиллерия.

Ну и что из этого? Колонны текут другими дорогами, через другие пункты, через Сипуново, через Красную Гору. Но ведь оттуда, из-за Красной Горы, нам откликнулись пушки. Где-то удержались наши, где-то вцепились, как и мы, в клочок земли, перекрыли пути в разных точках.

Но фронт все-таки раздроблен, преграда прорвана, мимо нас немцы движутся к Волоколамску, к Москве. Удастся ли остановить врага под Волоколамском?

Опять нестерпимо потянуло туда — к Панфилову, к своим.

Где сейчас Брудный? Вернется ли до света? Привезет ли приказ? Успеем ли уйти, пока темно?

Нет, Баурджан, не жди... Штаб полка, может статься, погиб. Где-нибудь, может статься, окружен и штаб дивизии. А завтра-послезавтра линия боев окажется в тридцати, в сорока километрах позади нас. И приказ не дойдет, приказа не будет.

Что тогда? Я командир, я обязан предусмотреть худшее. Приказа не будет. Что тогда?

Противник сузит кольцо, предложит сдаться, мы ответим пулями. Я верил моим бойцам. И знал: они верят мне, своему командиру. Мое слово, мое приказание переданы им.

Они роют и роют сейчас: кланяются матушке земле, заступнице солдата. В земляных дудках нас не достанешь снарядами и бомбами. Нужна вся артиллерия, сосредоточенная немцами в районе прорыва, чтобы перебить нас орудийным огнем. Бомбежку выдержим. Вытерпим и голод. Есть лошади, конины хватит надолго. Попробуйте сунътесь, раздавите-ка нас!

У меня шестьсот пятьдесят бойцов. Каждый убьет несколько немцев, прежде чем падет в бою. Нужна дивизия, чтобы истребить наш батальон. Полдивизии — долой! Пусть-ка немцы уплатят эту цену за батальон панфиловцев.

Уйдя в мысли, я сидел на командном пункте, в крепко срубленном доме лесника, на штабной половине. Здесь уже стояли телефоны; отсюда шли провода в роты и к орудиям.

Отсюда я смогу управлять сопротивлением, смогу перебросить силы навстречу врагу, если, пробив брешь, он

вклинится в лес. Мы тогда будем драться в лесу, убивая из-за деревьев, из-за пней, отходя шаг за шагом.

Последняя черта, последний обвод будет здесь, у дома лесника.

Не спят после смены часовые и телефонисты: они роют оборону вокруг штаба, роют ямы, траншеи, запасные пулеметные гнезда, валят лес на завалы. Мы заложим бревнами окна, прорежем в срубе бойницы, будем драться и здесь, в этом доме. Сюда принесены два ящика гранат, в сенях стоит пулемет.

Я верил своим бойцам, своим командирам: никого не возьмут живым.

Подползла зловещая мысль: а раненые?

5

А раненые? Как поступлю с ними?

Через сени прошел на другую половину, к ним.

Фитиль керосиновой лампы был привернут. Наш фельдшер, голубоглазый старик Киреев, топил печь. Дверца была раскрыта. Отсветы огня мелькали на бревенчатой стене, на серых одеялах, на подвижных лицах.

Кто-то бредил. Кто-то тихо сказал:

— Товарищ комбат!

Ступая на носки, я подошел. Меня звал Севрюков. Он лежал навзничь на краю наскоро сбитых нар; вдавившаяся в подушку голова не поднялась. Он дышал с легким свистящим звуком; осколки врезались в грудь и в пах; раны были тяжелы, но не смертельны. Промелькнуло странное чувство: показалось, я помню его раненым давнодавно, в действительности же это случилось всего несколько часов назад.

Я присел в ногах. Опершись локтями, Севрюков попытался приподняться, сморщился и глухо застонал. Подбежал Киреев. Осторожно укладывая Севрюкова, он ворчливо и ласково выговаривал ему.

— Идите, Киреев,— коротко произнес Севрюков.

И молчал, пока фельдшер не удалился к печке, потом шепотом сказал:

— Наклонитесь немного. Я хочу вас спросить: что там? — он показал взглядом за стену. — Что такое, товарищ комбат?

— Как — что такое?

— Почему вы не отправляете нас в тыл?

Что ответить? Обмануть? Нет. Пусть Севрюков знает. Я сказал:

— Батальон окружен.

Севрюков закрыл глаза. Серое на белой подушке лицо с проступившей щетиной, с аккуратно зачесанными седоватыми у висков волосами казалось безжизненным. О чем он думал? Темные веки поднялись.

— Товарищ комбат... прошу дать мне оружие...

— Да, это надо, Севрюков. Распоряжусь.

Я хотел встать, но Севрюков взял мою руку:

— Вы... вы не оставите? Не оставите нас?

Рукой и глазами он цеплялся за меня.

— Нет, Севрюков, не оставлю.

Пальцы легко разжались. Он слабо улыбнулся мне, он верил комбату.

С тяжелой душой я неслышно пошел к двери. Но раздалось еще раз:

— Товарищ комбат...

Не хотелось, но пришлось подойти.

— Сударушкин, ты?

Голова под белым незагрязнившимся бинтом казалась странно толстой. Перевязка охватывала лоб, но лицо было открыто. На одеяле неподвижно, будто не своя, лежала забинтованная, тоже странно огромная рука.

— Когда это он тебя?

— А вы, товарищ комбат, разве не помните? Вы же шумнули мне: «Молчи».

Так это был он... Вспомнилось залитое кровью лицо, красные мокрые руки, однообразные жуткие вскрикивания. Я приказал: «Молчи!» — и он кротко замолчал.

Сударушкин спросил:

— Отогнали его?

Зачем до времени бередить его душу?! Я сказал:

— Да.

— Слава те... А меня, товарищ комбат, на поправку домой пустят?

— Конечно,— сказал я.

Он улыбнулся.

— А потом, товарищ комбат, я опять заступлю к вам, опять буду у вас бойцом...

— Конечно.

И я быстро пошел, чтобы не выслушивать вопросов, не отвечать, не лгать.

Обернувшись, я увидел капитана Шилова. Полусидя, прикрытый одеялом лишь до пояса, он оперся спиною о бревенчатую стену и смотрел на меня. Ночник бросал слабый свет; глубокие тени резко очерчивали осунувшееся лицо. Вероятно, он не мог и не пытался уснуть. Доставленный сюда, он один тут, среди раненых, знал то, что пока было неизвестно остальным. Знал и молчал. Он промолчал и сейчас, ни о чем не спросив, не разжал даже губ.

Как быть с этими беспомощными, беззащитными людьми? Отвечайте мне: как быть?

Могу ли я поступить так?..

...Когда вплотную подойдет конец, когда останется одна пулеметная лента, я войду с пулеметом сюда. Низко поклонюсь и скажу:

«Все бойцы дрались до предпоследнего патрона, все мертвы. Простите меня, товарищи. Эвакуировать вас я не имел возможности, сдавать вас немцам на муки я не имею права. Будем умирать как советские солдаты».

...Я последним приму смерть. Сначала приведу пулемет в негодность, потом убью себя.

Могу ли я так поступить? А как иначе? Сдать раненых врагу? На пытки? Как иначе — отвечайте же мне!

...И не останется на свете никого, кто мог бы рассказать, как погиб батальон панфиловцев, первый батальон Талгарского полка.

И когда-нибудь после войны будет найдено, может быть, в немецких военных архивах донесение, где прочтут, сколько врагов перебил окруженный советский батальон. Тогда, может быть, узнают, как дрались и умирали мы в безыменном подмосковном лесу... А может быть, и не узнают.

Тянулись ночные часы, ночные думы.

6

Брудный не возвращался. Бозжанов не возвращался.

Я верхом выезжал на опушку, к линии работ. Бойцы рыли и рыли, уходя в грунт по пояс, по плечи и глубже. Некоторые совсем скрылись; из черных проемов лишь взлетали лопаты, выбрасывая землю.

Месяц то ясно светил, то затуманивался. Мороз отпустил, небо заволакивалось.

Я посматривал в темную даль, откуда мог появиться Брудный. Хотелось вновь дать орудийный залп по Новлянскому, по Новошурину. Мы не спим, так не дадим и вам спать! Но следовало беречь снаряды: они нужны, чтобы держать дорогу, нужны, чтобы встретить, когда придет час, картечью атакующие цепи.

Ночь казалась долгой-долгой. С опушки я направлял Лысанку назад в штаб. Добрая лошадь медленно переступала меж деревьев. Я не подгонял ее. К чему?

В штабе томился, думал.

Приблизительно в час ночи загудел телефон.

— Товарищ комбат, вас,— сказал телефонист.

Звонил Муратов. Бозжанов отрядил его, своего скорохода, сообщить мне, что его отряд подходит, вывозя снаряды и пушки.

Лысанка была под седлом. Я поспешил навстречу. Четыреста снарядов, ого! Теперь можно трахнуть по Новлянскому, по Новошурину. Сейчас заголосите, выскочите из тепла, «господа победители»! Мы не спим и вам не дадим спать!

Восемьдесят семь

1

Верхом, сопровождаемый Синченко, я встретил колонну близ леса.

Остановился, пропуская упряжки. Тяжелые артиллерийские колеса до черной земли продавливали снег.

Бозжанов оживленно докладывал: немцы беспечны, спят, постов нет, никто не помешал его маленькому войску.

Лысанка узнала Джалмухамеда, тянулась к нему мордой; он часто ласкал и угощал мою лошадь; в зубах и теперь захрустел сахар.

Маленькому войску... Кой черт маленькому? Что это? Откуда он пособрал людей?

Рядом с лошадьми, рядом с пушками, зарядными ящиками шли и шли фигуры с винтовками, в шинелях.

Я спросил:

— Кого ты привел? Что за народ?

Бозжанов радостно ответил:

— Почти сто человек, товарищ комбат. Из батальона Шилова. Выходили по двое, по трое из лесу. Нас чуть не целовали.

Я скомандовал:

— Колонна, стой!

Битюги стали, замер скрип колес.

— Посторонним отойти! За орудиями не следовать! Командир отделения Блоха!

— Я!

— Проверьте исполнение! Синченко!

— Я!

— Передайте мое приказание командиру ближней роты и затем в штаб, Рахимову: ни одного постороннего человека не допускать в расположение батальона...

— Есть, товарищ комбат.

— Отправляйтесь.

Он поскакал.

От длинной цепи упряжек отделялись темные фигуры. Некоторые стояли, отойдя поодаль, другие шли ко мне. Блоха доложил, что в колонне остались только свои.

— Колонна, марш!

Орудия двинулись. Я молча смотрел. Последним с винтовкой в руке шагал Мурин.

Почуяв повод, Лысанка тронулась вслед.

— А мы? Мы куда, товарищ командир.

— Куда хотите... Бегляки мне не нужны.

2

Они гурьбой шли за Лысанкай, они жались ко мне.

— Товарищ командир, примите нас...

— Товарищ командир, он зашел с тылу, со всех сторон. Вот и получилось, товарищ командир!

— Мы из окружения, товарищ командир!

— В плен, что ли, нас посылаете? Не имеете права...

Я не отвечал. На душе вновь было мрачно. «Из окружения». Опять это слово, которое, будто сговорившись, повторяли скитальцы в солдатских шинелях, что брели через нашу линию из-под Вязьмы. Оно навязло в ушах, оно стало ненавистным.

Хотелось крикнуть: «А где ваши командиры? Почему они не взяли вас в узду?» Но я вспомнил раненого капитана Шилова, вспомнил, с какой страстью он сказал: «Ведь дрались же две роты, ведь не бросили же раненого командира».

И все-таки батальон разбит, рассеян по лесу. «Закономерно ли это?» Так недавно у меня в блиндаже вслух спросил себя Шилов. Спросил — и не дал ответа.

Этих солдат жалели до боя. Они бежали от врага — в их душах гнездился страх. Они побегут и здесь. Нет, я не впущу их в наш ощетинившийся остров. Шатнулись в бою? Так шатайтесь и теперь как неприкаянные.

Кто-то взял рукой стремя.

— Аксакал, вы неправы,— сказал по-казахски Бозжанов.

Вот как! Нашелся заступник. И он, значит, идет за мной вместе с бегляками, которых пособрал?

— Вы неправы,— повторил он.— Это советские люди, красноармейцы. Так нельзя, аксакал.

Я не прервал, но и не ответил. Бозжанов продолжал:

— Нельзя, аксакал, их прогонять... Назначьте меня их командиром. Я их привел, я с ними буду в бою. Дайте нам задачу, дайте нам боевой участок.

— Нет,— сказал я.

3

Не понимая казахской речи, все прислушивались, все теснились к Лысанке. По интонациям они, наверное, угадывали: толстый политрук заступился, толстый политрук отстаивает. А этот — сухолицый, едущий на коне, что все время молчит, что бросил какое-то слово,— этот не хочет. Некоторые в зыбком свете месяца старались заглянуть в мое лицо.

Лысанка все тянула, все поворачивала к нашему лесу, словно тоже просила: туда.

Словам Бозжанова я отворил сердце, обдумал. И сказал: «Нет!» И резко направил Лысанку в сторону от леса.

Люди тянулись за мной, лепились ко мне.

Я не мог, поймите меня, не мог взять их в батальон. Поработать бы с ними, обжать, прочеканить эту вереницу, и верю, были бы воины на славу. Но надобно время —

то, чего у меня нет. Остались немногие часы до жестокого боя.

Что я могу для них сделать? Пусть уходят, помогу им добраться туда, где их обожмут, прокуют... А тут... Тут они не нужны.

Отворачивая от леса, не оглядываясь, я шагом ехал по полю. Меня несколько раз окликнули наши посты.

Вернулся Синченко.

— Приказание исполнено, товарищ комбат...

— Рахимову звонил?

— Да.

Я подождал, не скажет ли Синченко чего-либо еще, нет ли новостей от Рахимова. Но Синченко молчал.

Я буркнул:

— Хорошо...

Мы приближались к дороге, что шла на Долгоруковку, что выводила к своим. Там, вдоль узкого проулка, патрулировала наша конная разведка. Ей была поставлена задача: непрестанно следить, свободна ли дорога, не закрылась ли, не заплыла ли щель.

Краешком сердца я все еще надеялся, что, может быть, прибудет приказ, что до света, пока есть скважина, мы, может быть, выскочим из петли.

Разыскав пост конной разведки, я спросил:

— Что нового?

— Ничего... Недвижимо, товарищ комбат.

— Кто знает дорогу?

— Я.

— В обход Долгоруковки?

— Да.

— Отправишься проводником. Проведешь вот этих.

Обернувшись к людям, которые, прислушиваясь, стояли кругом, я показал на дорогу:

— Там Волоколамск, там наши части. Вас выведут. Идите.

И тронул Лысанку назад, к лесу.

4

Вдруг за мной побежали.

— Товарищ командир... Товарищ командир...

— Чего вам?

— Товарищ командир... Примите нас, товарищ командир!

Я ответил:

— Прекратить базар! Слышали мой приказ? Ни один посторонний человек не будет допущен в расположение батальона.

— Какие же мы посторонние? Мы же свои! Товарищ командир, вы же меня лично знаете. Я Ползунов. При вас со мной разговаривал генерал. Помните?

Ползунов... Во мгле я не видел, но вспомнил юношеское лицо, пухлые, слегка оттопыренные губы, серьезные серые глаза, вспомнил упрямый ответ: «Хорошо, товарищ генерал». Вот тебе и хорошо.

— Что же ты, Ползунов? Генерал сказал: «Хочу о тебе, Ползунов, услышать»... А ты?

Он не ответил. Я повторил:

— А ты? Бежал?

Ползунов мрачно произнес:

— Там погибли бы зазря... Неохота, товарищ командир, помирать зазря...

Кто-то рядом с ним смело заговорил:

— А куда же нам, когда он наскочил сзади? Сидеть по норам, дожидать, чтобы кокнул? Ну и кинулись. Открыто скажу: и я бежал... А какая была мысль? Сейчас ты меня, а потом изловчусь — я тебя... Сочтемся. Не пойду, товарищ командир, куда показываете. Пускай один останусь — один буду партизанить! Открыто скажу: что хотите со мной делайте, а не пойду.

Я спросил:

— Фамилия?

— Боец Пашко.

Ползунов поспешил подтвердить:

— Это, товарищ командир, истинно он, Пашко. Вы, может, опасаетесь, что тут есть шпионы? Нет, товарищ командир, я всех тут признаю... И по документам можно свериться. Книжки, ребята, у всех есть?

Я сказал:

— Винтовки у всех есть?

— У всех... У всех...

— Каждому отвечать только за себя. Гранаты есть?

— Есть! У меня есть!

Теперь голосов было поменьше.

— Порастеряли с перепугу? Ползунов, будешь за старшего. Построй людей. Приведи в воинский вид. С гранатами — на правый фланг.

Не ожидая другой команды, люди стали торопливо строиться.

Ползунов сказал:

— Товарищ командир! Тут есть постарше меня званием.

— В званиях потом будем разбираться. Сейчас у всех вас одно звание: дезертир.

Опять раздался голос Пашко:

— Не принимаю на себя!

— Молчать!

Пашко казался отважнее других, но я видел: первая доблесть солдата — беспрекословное повиновение слову начальника — ему была чужда. Да, имей хоть золотую голову, хлебнешь горя, если солдат не подготовлен, как говорил Панфилов... Да, не надо бы их брать... С нерадостным сердцем я скомандовал:

— Равняйсь! Ползунов, подровняй ряды! Смирно! Разговоры прекратить! Шевеление прекратить! По порядку номеров рассчитайсь!

Ползунов доложил, что в строю вместе с ним восемьдесят семь бойцов.

Я сказал:

— Не бойцов! Восемьдесят семь беглецов, восемьдесят семь мокрых куриц! Долгих разговоров у меня с вами не будет. Вы пустили слезу: примите нас. Москва слезам не верит. Не верю и я. Мой приказ остается неизменным: ни один трус, бежавший с рубежа, не войдет в расположение батальона. В наши ряды встанут лишь бойцы. Вы отправитесь туда, откуда бежали. Вы пойдете дальше — в тыл врагу. Пойдете сейчас. И вернетесь по трупам врагов. Тогда вход будет открыт. Командиром отряда назначаю политрука Бозжанова. Напра-во! За мной, арш!

5

Подобрав повод, я послал Лысанку ровным, небыстрым шагом. Вслед, строем по два, следовали восемьдесят семь человек. Рядом со мной шел Бозжанов.

Он попросил указаний. Я буркнул:

— Погоди...

На душе было по-прежнему мрачно. Куда я веду их? Иду наобум, без разведки, без плана, сам не знаю куда.

Люди не разбиты на отделения, на взводы, не знают места в бою, не сумеют принять боевых порядков. Хотя и выстроены по два, они остались толпой.

Надо бы выделить головной дозор. Надо бы вызвать один или два своих взвода, чтобы ворваться к немцам с двух, с трех сторон.

Надо бы... Эх, что еще надо бы...

Моментами мучительно сверлило сознание долга. Я понимал: я нужен батальону, нужен до конца. Мое место не здесь! Зачем понесло меня во тьму, черт знает с кем, черт знает куда? Я не имею права покидать батальон, не должен влезать в необдуманную, нелепую затею, которая не кончится добром.

И не было сил, не было воли повернуть дело по-иному.

Приходила мысль: а вдруг без меня вернется Брудный, вдруг прибудет приказ? И я усмехался: не тешь себя, приказа не будет, не выйдешь.

Потянулась полоса запыленного дочерна снега. Лысанка обходила воронки. Вот и линия окопов — покинутых, безмолвных, пустых.

Тут все знакомо — каждый ходок, каждая тропка — и все неузнаваемо, все дико. Сбоку, в Новлянском, виднелись два-три освещенных окна. Немцы не боялись нас, пренебрегали маскировкой... Взмыла ненависть: ну, погодите!..

Я оглянулся на растянувшийся строй. Восемьдесят семь бегляков. Что они смогут? Эх, не так, не так все это надо бы...

Вспомнилось, как неделю назад я отправлял в ночной набег сотню орлов. Нас знобило тогда; прохватывала дрожь подъема, азарта, предчувствия боевой удачи. То была операция — идея, расчет, удар наповал.

А сейчас? Зачем я еду? Кой черт несет меня напропалую?

6

Миновав линию пустых окопов, мы спустились к реке. Тут были знакомы все броды, все бревнышки, перекинутые на курьих ножках с берега на берег.

У такого мосточка я остановил людей. Журча, белым порожком река бежала поверх пары бревен.

На той стороне, в сотне шагов от воды, чернел лес.

Я вполголоса объяснил задачу: подобраться к Новлянскому той стороной, лесом, у села перейти вновь реку вброд, ворваться в село, перебить немцев, поджечь машины, поджечь понтонный мост.

Потом спросил:

— Понятно?

Ответили негромко и немногие:

— Понятно...

До меня не дошли токи возбуждения, подъема перед дракой. Этим людям, только что бежавшим от немца, набравшимся страху, не верилось, что сейчас они будут страшны. А я? Верил ли я?

— Здесь переходить по одному! — приказал я.— Затем двигаться гуськом, рассредоточенно. Ползунов, вперед!

Он побежал с винтовкой наперевес, пригнувшись. У мостика приостановился, ступил на скользкие бревна... Потом темный фон реки скрыл темную фигуру. На белом откосе того берега скоро появился силуэт.

Ползунов поднялся по скату, у гребня прилег, потом привстал, выпрямился и зашагал к лесу.

Я сказал:

— Правофланговый, вперед! В лесу идти гуськом, по порядку номеров. Интервал — пять — восемь шагов.

Повинуясь руке, Лысанка вошла в реку. Тут было мелко, по брюхо.

Почему я приказал двигаться в лесу поодиночке? Зачем с таким интервалом? Открою мою тайную мысль. Думалось: трусы попрячутся. Во тьме леса это легко: подался в сторону, прильнул к дереву и пропал. И черт с тобой, пропадай! Скитайся без Родины и чести! Останется, думалось, половина или меньше. Этим поверю, поверну назад, возьму в батальон.

Обогнав Ползунова, я ехал меж деревьями впереди всех, не отдаляясь от опушки, и не оглядывался.

Теплело, с веток падала капель. Облака застили луну; она едва просвечивала расплывчатым мутным пятном.

Вот и край леса. Рядом дорога, что ведет в Новлянское.

Вблизи понтонный мост, затем взгорок, на взгорке село. Ясно светятся несколько окон.

По одному подходили люди. Замыкающим шел Бозжанов. Я приказал выстроиться.

— Ползунов! Пересчитай, сколько налицо?

Пройдя от края до края, он шепотом доложил:

— Восемьдесят семь, товарищ командир!

7

Восемьдесят семь? Все здесь! Все пришли драться!

Пробежал трепет радости. Я ощутил: они уже дороги мне, сердце приняло их. А может быть, то был иной трепет, может быть, уже и от них исходил нервный ток.

Послышался приближающийся гул автомобильного мотора. Я повернул голову на звук, и вдруг сквозь деревья нас обдало белым прожекторным светом. Фары машины, поднявшейся на некрутой изволок, горели в полный свет. Изгиб дороги направил столбы света сюда.

Никто не шевельнулся в строю. Все стояли бледные, почти белые от света, сжимая заблестевшие винтовки, напряженно глядя перед собою. Медленно передвигались черные, будто резные, тени деревьев.

Свет скользнул дальше. Тьма задернула лица. Покачиваясь вверх и вниз, белые полосы уходили, укорачивались, легли на дорогу.

Я спрыгнул с седла. После ослепительных лучей я никого не различал, лишь смутно виднелись белые чулки Лысанки.

— Лечь! Наблюдать! — приказал я.

Глаза опять обвыкли... Фары отразились в воде. Донесся перестук мостовин. Навстречу машине возникло красное пятнышко электрофонаря. Машина вышла на тот берег и застопорила. К фарам, в полосу света, ступил часовой. Некоторые жесты были понятны. Оборачиваясь, он раза два ткнул рукой к лесу, где засел наш батальон. Потом показал направление к Красной Горе. Очевидно, там пролегал объезд.

Взговорил мотор, свет двинулся, машина взяла подъем, фары на миг выхватили из темноты засеребрившуюся улицу с длинными грузовиками у домов. Потом пучки света поползли в сторону и, покачиваясь вверх и вниз, двинулись вдоль берега, в объезд.

Кто-то подошел ко мне.

— Товарищ командир, я берусь.

Голос был знаком.

— Пашко?

— Да... Я берусь.

— Что?

— Пришью его...

— Часового? Как?

Отвернув шинель, Пашко показал: блеснуло светлое лезвие финки.

— Будь спок...— сказал он.— А потом свистну.

— Нельзя...— Я подал ему электрический фонарик.— Возьми. Зажжешь три раза.

Он сунул фонарь под шапку.

— Могу и трофейным просигналить... Красным. Можно?

— Можно... Зажжешь три раза: путь свободен. Справишься один?

Скорее слухом, чем зрением, я уловил: он усмехнулся.

— Справлюсь...

— Ступай!..

Пашко быстро скрылся во мгле.

Ну, будь что будет. Назад мне теперь не повернуть. Что же, так и ворвемся — ордой? Я подозвал Бозжанова.

— Раздели людей на десятки... Группу возьми себе, ударь в спину охранению, которое расположено напротив батальона. Одному десятку задача: поджечь мост... Остальные пусть орудуют в селе; всех с гранатами туда...

— Есть, товарищ комбат.

Он стал распоряжаться.

Проехали еще две машины. Опять в полосе света появился часовой. Опять фары засеребрили улицу. В каком-то доме отворилась дверь, вышел кто-то высокий, в белье, босиком и, сонно потягиваясь, стал мочиться с крыльца. Сволочи, вот как они спят на фронте: раздевшись до белья, в домах, в кроватях.

Опять все пропало во мгле. Белые пучки, колыхаясь, завернули в сторону и пошли кружным путем.

Мы лежали, напряженно вглядываясь в мутную черноту ночи, вглядываясь туда, где исчез Пашко. Удастся ли ему? Будет ли сигнал? А потом? Как произойдет оно, это «потом»?

Странное ощущение пронзило на миг: показалось, будто все это, точь-в-точь как сейчас, когда-то уже было (а когда — неведомо, в какой-то другой жизни, что ли?) — мы вот так же лежали во тьме, притаившись, подобравшись сзади к сонному становищу врага, готовые вдруг прянуть туда. Странно, неужели это современная война? Не такой представлялась она.

Но где же сигнал? Томительно долги минуты. Ага, кажется, вот...

В темноте у моста в чьей-то невидимой руке возник красный пятачок... Повисел и исчез... Раз... Засветился опять... Два... Вот и три.

Я сказал:

— Встать! Приготовиться! Гранаты к бою! Ну, товарищи... Закон солдата: пан или пропал! Врываться молча. Бозжанов, веди!

— Через мост?

— Да.

Он шепотом скомандовал:

— За мной!

И побежал. За ним кинулись все.

Через минуту дошел перестук мостовин.

8

Все удалось... Удалось до нелепости легко.

Я медленно въехал по мосту в село, багрово озаренное пожаром.

Кое-где еще лопались гранаты, щелкали выстрелы, раздавались крики. Да, это был не бой, а побоище.

Выставив охранение в сторону леса, куда втянулся наш батальон, немцы улеглись на ночь. Услышав выстрелы, взрывы гранат, они стали выскакивать, заметались, попрятались всюду: под кроватями, в запечьях, в погребах, сараях, трясущиеся от холода, страха.

Не буду описывать этих сцен.

Пылал мост, облитый бензином. Вырисовывалась темная громада церкви. Который раз за одни сутки я возвращался сюда, к этой паперти? Стекла вылетели, оконные проемы были черны, в немногих уцелевших переплетах отсвечивало пламя.

Я отрядил Синченко искать Бозжанова, приказав собирать бойцов, вести в батальон.

9

Опять меж деревьев Лысанка шагала к дому лесника.

Радость отлетела. На душе опять было невесело. В седле я сидел грузно, всем весом, без чудесного чувства крылатости, без счастья победы.

Победа куется до боя — этому учил Панфилов. Это, как и многое другое, я воспринял от него.

Но что я тут сделал до боя? Встретил бегляков и повел наудалую. И все. И победил. Вам известны мои убеждения, мои офицерские верования. «Легкие победы не льстят сердца русского»,— говорил Суворов.

Ползли тягостные думы. Ну, перебили полторы-две сотни немцев. А дальше? Ведь мы по-прежнему в кольце, по-прежнему одиноки среди прорвы врагов.

Всю дорогу, пока я ехал к дому лесника, шевелилась мысль: не вернулся ли Брудный, нет ли приказа? Конечно, это непрестанное ожидание приказа об отходе выглядит немужественным, недостойным. Но такова правда. Я от всех ее скрывал, но от совести не скроешь.

10

В большой рубленой комнате штаба горела лампа. С усталым лицом встал Рахимов. Приподнял голову Толстунов, прикорнувший под шинелью на полу. Они смотрели на меня с ожиданием...

Спрашивать ли? Я все-таки спросил, хотя знал ответ заранее. Да, Брудного не было, приказа не было.

Принесли ужинать. Есть не хотелось... Толстунов поднялся. Скоро пришел Бозжанов. У него был для меня подарок: немецкий шестикратный бинокль. Как порадовался бы этому я в другое время... А теперь ко всему был безразличен. Шел четвертый час. Следовало бы поспать до света, но чувствовал: не засну.

Я кликнул Синченко.

— Синченко, водка есть? Рахимов, выпьешь?

Он отказался. Я налил Толстунову, налил себе. Выпью, тогда, может быть, усну...

Утро

1

Я улегся, сунув под голову стеганую телогрейку, которая попахивала пожарищем. Закурил, взглянул на часы, увидел на скамье свою ушанку. Она была далековато, была не на месте. Надо бы взять ее, привязать к ремешку кобуры, чтобы, в случае чего, вскочив по тревоге, не искать... Но не хотелось думать ни о тревогах, ни о чем, что впереди. Однако я все-таки встал. Эти несколько шагов за шапкой, напоминавшей о действительности, я сделал, насилуя себя, перемогаясь. Тянуло забыться, уйти мыслями из этого дома, из леса.

Опять лег, закрыл глаза... Потекли милые сердцу картины прошлого. Сейчас не восстановишь. Мало ли что промелькнуло.

Одно знаю твердо: думалось не только о себе, думалось и о батальоне. Впрочем, это тоже — о себе.

В те минуты упадка, в полузабытьи, мои бессвязные видения не были, конечно, подчинены параграфу устава, что предписывает командиру говорить о своей части «я». Для меня это был не параграф, а честь, совесть, творчество, страсть. Как еще сказать? В мой батальон было воистину вложено все мое «я». Это мое творение, это единственное, что я создал на земле.

Вспоминалось разное. Наверное, и мелкое, и трогательное, и смешное.

Например? Хорошо, вот вам пример.

2

В солнечный августовский день батальон вышел в стрельбище.

Мы стояли лагерем у быстрой горной речки Талгарки. Невдалеке, у станицы Талгар, зеленели сады, где растут огромные, лучшие в мире, алма-атинские яблоки. Кругом ровная, выжженная солнцем степь. Но к югу над степью взбегают предгорья Тянь-Шаня. Где-то в высоте, чуть отделяясь едва уловимым штрихом от блеска небес, блестят вечные снега вершин. Это южный Казахстан — его красоты мне никогда не описать.

Степь — идеальное стрельбище. Она рядом, она не только под рукой, но буквально под ногой; она гладкая, как гладильная доска.

Это легко, это приятно — пройти два-три километра по такой глади, пострелять, вернуться. Но я готовил людей к войне. Легко? Приятно? Значит, долой идеальное стрельбище. Я повел батальон в горы.

Взобрались на первую террасу. Она вся в колючках, в зарослях сухого ползучего кустарника — курая. Нет, тут не постреляешь.

К следующей площадке вел обрывистый каменистый подъем. Батальон, вперед! За мной! Полезли на гору. Круто. Из-под солдатских башмаков с шуршанием покатились вниз камни.

Вскарабкались. Черт возьми, и тут негде стрелять. Стеной почти в рост человека высилась сочная трава. Куда же идти? Выше, по склону, темная зелень дубового леса.

Таковы контрасты гор. Но таков же, скажу кстати, и весь Казахстан. Не рассказывал ли вам кто-нибудь легенду о сотворении Казахстана? В дни творения бог создал небо и землю, моря и океаны, все страны, все материки, а про Казахстан забыл. Вспомнил в последнюю минуту, а материала уже нет. От разных мест быстренько отхватил по кусочку — краешек Америки, кромку Италии, отрезок африканской пустыни, полоску Кавказа, сложил и прилепил туда, где положено быть Казахстану. Там, на моей родине, вы найдете все — и вечно голые, будто проклятые небом, пространства безводного солончака, и самые благословенные края.

Но где же стрелять? Я выстроил батальон в четыре шеренги и повел эту стену на стену травы. Прошли взад и вперед несколько раз. Тяжелые военные ботинки мяли, ломали, вытаптывали траву. Напоследок помаршировали, выдергивая руками уцелевшие стебли. Я встал в сторону, любуясь, переживая незабываемую минуту счастья. Какая это сила — батальон! С этим батальоном — дисциплинированным, готовым к бою, закаленным — я врежусь в полчища врагов и пройду вот так же, втаптывая в землю, в могилу. Я знал: война не такова, но представлялось все же так.

В траве был проторен обширный длинный четырехугольник. На краю установили мишени. Батальон все еще стоял в строю. Все видели нарисованные углем на фанерных листах головы в касках со знаком свастики над ко-

зырьком. Захотелось еще раз ощутить силу батальона. Я приказал первой шеренге лечь, второй вести огонь с колена; затем скомандовал:

— По фашистам пальба залпом... Батальон...

Сделал выдержку. Несколько сот винтовок были нацелены в четыре мишени. Залповый огонь батальона не был в то время предписан боевым уставом, но я попробовал.

— Огонь!

Черт побери! С одного залпа мы остались без мишеней. Их будто срезало. Семьсот выстрелов разом — это страшная штука. Столбики, к которым приколочены щиты, были перерублены пулями, фанера расщеплена, разодрана. Я и чертыхался и смеялся: карабкались, подошвами пробивали стрельбище, и опять нельзя стрелять...

Так мы крошили немцев до боев. А тут... Но про «тут» не хотелось думать.

И вновь пробегали милые сердцу картины прошлого. Нет, не все о батальоне. Было и о другом.

3

И вдруг прозвучал голос Брудного:

— Товарищ комбат...

Я принудил себя не ждать и все-таки ждал его с приказом. В полусне усмехнулся.

И вскочил. Рахимов уже был на ногах. Его шинель валялась на полу. Он, мой аккуратный, бесстрастный начштаба, не поднял ее. Он улыбался. Он смотрел на Брудного и на Курбатова.

Они вошли вдвоем. У обоих блестела на шинелях гладкая корка непросохшей грязи: где-нибудь, должно быть, ползли.

— Товарищ комбат, разрешите...

Это была явь. Это был живехонький Брудный: его быстрый говор, быстрый взгляд, пылающие румянцем щеки.

— Приказ есть?

— Да, товарищ комбат, отходить...

Он подал записку. Когда чего-нибудь страстно хочешь, не сразу веришь, что исполнилось. Помню, пробежала мысль: не сон ли все это? Нет, видения кончились. Я посмотрел на часы. Половина четвертого. Неужели я лежал всего несколько минут?

Командир полка в торопливо набросанных строках сообщал, что в лесу за деревней Долгоруковкой нас встретит один из штабных командиров, который укажет дальнейший маршрут к Волоколамску — туда стягивается полк.

К Волоколамску! Отход на тридцать километров! Но переживать некогда. Половина четвертого, а светает в семь.

4

Во мраке ротными колоннами батальон шагает по расползающейся талой земле. Идут бойцы, идут орудия, двуколки с пулеметами, подводы с боеприпасами, санитарные повозки, затем опять бойцы.

Я по привычке пропускаю строй мимо себя, потом посылаю Лысанку, обгоняю ряды — и опять пропускаю.

Иногда мутным пятном в черном небе пробивается луна. Тогда мутнеет и мрак.

Я снова обгоняю батальон.

Колонну ведет Заев. Его рота головная. Разбрызгивая воду, помахивая длинными руками, слегка подавшись, как всегда, корпусом вперед, он отбивает и отбивает шаг, задавая темп. В строю по четыре, не отставая, движутся бойцы. Рота проходит.

За нею — повозки санитарного взвода, помещенного среди боевых подразделений. Мы везем сорок раненых. Узнаю грузноватого, с животиком, нашего фельдшера, старика Киреева. Он на ходу хлопочет: идет рядом с повозкой, к кому-то склонившись, что-то поправляет, кажется чью-то голову; его поглощает мгла.

Вот и приблудная команда, воинство Бозжанова.

Обогнув Долгоруковку, мы приближались к дороге, той самой, что не раз упоминалась в нашей повести,— к мощеной дороге, которая вела на Волоколамск и там почти под прямым углом вливалась в Волоколамское шоссе.

Несколько дней назад, шестнадцатого октября, сгруппировав ударный кулак, немцы устремились к этой дороге, рассчитывая одним броском проломить нашу оборону и затем с ходу на танках, грузовиках и мотоциклетах ворваться по Волоколамскому шоссе в Москву. Отброшенные у совхоза Булычево, задержанные в последующие дни на других рубежах, они, зная малые силы противостоящих им на этом участке войск, не хотели верить неудаче. Им ка-

залось: еще усилие, еще бросок — и преграда будет прорвана, откроется дорога на Москву — асфальт Волоколамского шоссе. Наши части, дерущиеся на дороге, отходили. Но назавтра те же полки, те же батальоны вновь вставали на пути врага, вновь вынуждали его вести долгий, затяжной бой. Немцы всякий раз думали: это последнее сопротивление, последний бой,— и они упрямо ломились, не желая отказываться от избранного направления. Волоколамское шоссе по-прежнему оставалось осью их главного удара.

5

За Долгоруковкой нас встретил помощник начальника штаба полка лейтенант Курганский. Экспансивный, энергичный, он радостно жал мне руку. Тут же рассказал: во втором и третьем батальонах серьезные потери. Люди дрались группами, горстками, отскакивая и вновь закрепляясь у дорог, убивая немцев, перемалывая живую силу врага. Под прикрытием заслонов, под прикрытием артиллерии, дерущейся с танками, части быстро стягиваются к Волоколамску — ключевому пункту, запирающему Волоколамское шоссе. Там новый рубеж дивизии.

С Курганским для батальона прибыло несколько повозок продовольствия. Нам прислали тонну белого хлеба, ночью выпеченного в Волоколамске.

Повозки поджидали нас в лесу. Я решил укрыть тут батальон: дать людям поесть, передохнуть, покормить лошадей.

Сильным артиллерийским битюгам предстояло идти в обратный путь. В покинутом острове были припрятаны шесть орудий и четыреста снарядов — те, что мы добыли ночью. Я решил еще раз вытащить их из-под носа у немцев.

На востоке забрезжило, но вокруг все скрывал туман. Батальон втягивался в лес. Я подъехал к Бозжанову.

— Бозжанов! Останови своих! Прими десять шагов в сторону.

Скомандовав другим подразделениям «прямо!», я оглядел мой, не предусмотренный штатами, резерв. На краю, встав у пулеметной двуколки, строй замыкали мои пулеметчики. Дальше в рядах стояли те, кого я ночью гнал от батальона, те, что прошли затем очищение в бою.

Я приказал Бозжанову взять артиллерийских лошадей и попытаться, пользуясь туманом, вывезти сюда снаряды и орудия.

— Бери всю свою команду. Прикрой орудия со всех четырех сторон. Если наткнешься на мелкую группу — постарайся уничтожить. А всерьез в бой не ввязывайся: взорви пушки и уходи сюда. Действуй быстро. Помни, мы здесь тебя ждем.

Вытянувшись, четко взяв под козырек, поблескивая маленькими узкими глазами, Бозжанов ответил:

— Есть, товарищ комбат.

Он казался стройнее, чем обычно; лицо было энергичным; ему нравилось быть командиром, нравилось самостоятельно решать отчаянные задачи.

6

Бойцы развели костры, вскипятили чай, сушились. Многие, нарубив хвои, спали на ней — на зеленой перине солдата. В походных кухнях варился богатый мясной суп. Батальон отдыхал, выставив круговое охранение.

Светало. Таяло. Туман рассеивался. Занялось пасмурное утро.

Часов в восемь, когда, по моему расчету, Бозжанову уже было время возвратиться, в небе возник быстро приближающийся гул самолетов. Мы увидели их. Низко, под кромкой облаков, чуть в стороне от нас шли немецкие бомбардировщики. Почти тотчас с земли заговорили невидимые нам пулеметы и пушки. Загрохотали тяжелые разрывы авиабомб. Самолеты шли волнами, эшелон за эшелоном, сбрасывая свой груз в какой-то точке — километрах в четырех-пяти от нас, где пролегало шоссе на Волоколамск.

Внезапно пальба резко участилась. В небе самолетов уже не было, но там, куда только что ложились бомбы, там гремели теперь пушки — не десять, не двадцать, а, пожалуй, сотня или полтораста орудий. Мои конники, высланные туда, донесли: идет танковая атака немцев, идет бой артиллерии против танков.

Вскоре занялась пальба и в другой стороне, по другой бок от нас,— тоже в четырех-пяти километрах. Артилле-

рийский огонь был там во много раз слабее, но доносилась винтовочная и пулеметная стрельба.

А Бозжанова не было... Черт меня дернул дать тут батальону отдых. Черт меня дернул отослать лошадей и бойцов за орудиями... Взорвать бы орудия на месте — и шабаш!

Куда я теперь тронусь без артиллерийских упряжек? Да и не в упряжках дело... Могу ли я уйти, бросив своих, не дождавшись отряда?

Стрельба с двух сторон, а Бозжанова нет и нет... Проклятье! Неужели опять вчерашнее? Надо скорее уходить, как нам приказано, а вот не двинешься же...

Я сказал Рахимову:

— Передайте мой приказ командирам рот: поднять людей, занять круговую оборону.

У скрещения дорог

1

На шоссе, куда глаз не достигал, после некоторого затишья опять бешено бабахали пушки. В сплошном громе ухо редко-редко различало отдельные выстрелы.

А по другую руку бой и не замирал. Но и там все было скрыто перелесками.

И еще откуда-то сзади, за шоссе, тоже как будто стало погромыхивать.

А Бозжанова, черт побери, нет! Я клял его, клял себя, снарядил навстречу конников. Но злись не злись — не двинешься. Сам себя засадил, законопатил...

Бойцы рыли на опушке круговую оборону. Пока это делалось про всякий случай... Появись Бозжанов, и мы тотчас снимемся, пойдем. Солдат поворчит: «Зря рыли». Дай бог, чтобы это было зря.

Вместе с Рахимовым я обошел роты. После короткого отдыха, после белого хлеба и горячей мясной крошенки люди повеселели. Меня встречали шутками. Близкий орудийный гром и стрельба с разных сторон не производили особенного впечатления. Нам это уже было не впервой: хождение по страхам отодвинулось во вчера, в историю батальона. Полегчало и мне. Подумалось: не пропадем.

2

В штабную палатку я вызвал командиров рот. Объяснив, что отряд Бозжанова, отправившись за пушками, задержался свыше предусмотренного срока, я объявил свое решение: батальон не уйдет, пока не вернутся наши. Если понадобится, будем их выручать.

По взглядам я видел: все поняли, приняли сердцем этот приказ.

Поговорив с командирами, я их отпустил. Вместе мы вышли из палатки.

Между деревьями показался конник. Он издали радостно кричал:

— Идут!

Все задержались. Конник привез долгожданную весть: наши подходят, отряд Бозжанова приближается к лесу, вытягивая орудия.

Теперь наконец я мог отдать приказание продолжить марш на Волоколамск.

— Все по местам! — сказал я.— Приготовиться к движению. Филимонов, останься.

Филимонов, тридцатипятилетний сухощавый, энергичный лейтенант, был командиром третьей роты.

Он получил от меня задачу: поднять свою роту и тотчас выступить головной походной заставой. Таково в боевой обстановке построение батальона на марше: головная застава опережает основную колонну на три-четыре километра.

Вместе с Филимоновым мы рассмотрели карту. Прямым и самым удобным путем было шоссе. Наступившая оттепель наверняка превратила в месиво все окрестные дороги, за исключением этой единственной твердой полосы. Но туда, на мостовую, из нескольких пунктов двумя или тремя группами рвались немцы. Я наметил маршрут потяжелей, но понадежней. Следовало пересечь шоссе и затем, повернув на север, выйти проселочными дорогами к Волоколамску.

Филимонову следовало немедленно двигаться этим путем, опережая на должную дистанцию ядро батальона.

Филимонов бегом отправился в роту.

Синченко подвел Лысанку. Вскочив в седло, я поехал к отряду Бозжанова.

Крупные артиллерийские кони с усилием тащили ору-

дия без дороги, по низу некрутой лощины. Туман уже слизнул тонкий покров снега. Колеса резали дерн. Упираясь ногами в мокрую скользкую траву, бойцы помогали коням.

На меня поглядывали хмуро. Кто-то мрачно ругнулся. Кто-то сказал:

— Эх, товарищ комбат... Прет по всем дорогам...

Другой проворчал в землю:

— А ему что? Хлестнул кобылу, и будь спок...

Я узнал Пашко.

— Пашко! Что ты сказал?

— Ничего...

Следовало бы призвать его к порядку, дать почувствовать, что такое рука командира, но я промолчал. Я не понимал, что с людьми. Ведь они благополучно вернулись из опасного, трудного дела, они с честью выполнили боевую задачу. Почему же вместо гордости, вместо радости эта подавленность?

Подошел Бозжанов. Он — обычно оживленный, улыбающийся — теперь тоже был насупленно-серьезным.

Бозжанов стал докладывать по форме, но я перебил:

— Что там у тебя стряслось? Почему все раскисли?

Понизив голос, Бозжанов неохотно произнес:

— Узнали...

— Что узнали?

— Тут везде наши отошли. А мы опять...

— Что опять? Что за чепуха?

Посмотрев долгим взглядом прямо мне в глаза, Бозжанов грустно сказал:

— Аксакал, зачем вы со мной так? Ведь вы же знаете, я...

Но я вновь прервал:

— Твое «я» — вот! — Я указал на угрюмых бойцов, тащивших пушки.— Думай о них: ты отвечаешь за людей. Ну, что «мы опять»?

— Опять одни...

— Ты откуда это взял?

— При нас снимали все посты... Все уходили... Уже давно, аксакал.

Вот, значит, что! Вспомнились слова Севрюкова: «беспроволочный солдатский телефон». Как радовал этот «телефон» тогда, в час боевой удачи. А теперь, при отходе, не то...

Медленно продвигались орудия и зарядные ящики. В раздумье я смотрел на людей. Опять увидел Пашко. По-прежнему уставившись в землю, он вместе с другими толкал пушку; мускулистым корпусом он навалился на станину, упираясь каблуками в податливую талую почву. Грязь залепила сапоги, но все же были заметны высокие щегольские голенища желтого хрома. Я невольно спросил Бозжанова:

— Что у него за сапоги?

Бозжанов ответил:

— Снял в Новлянском с немца. Убил офицера и снял...

Да, интересный парень этот Пашко. Смелый, отчаянный, но... Но нет еще в нем, не чувствуется в нем, как я подметил и ночью, первой доблести воина — повиновения, дисциплинированности, что внедряется жестокой армейской выучкой, становится второй натурой солдата.

Напрасно я только что не приструнил его. Это подтянуло бы всех... Надо бы, надо бы, чтобы все они услышали сейчас слово командира.

Но уже не до этого. Я обязан немедленно проверить сообщение Бозжанова, выяснить обстановку, ориентироваться, принять решение.

Так я совершил ошибку, ни при каких обстоятельствах не позволительную для командира: я пропустил мимо ушей дерзость солдата, изменил правилу: «Никогда не спускай», не укрепил повелительным словом душу солдата.

И, как страшное последствие, через несколько минут пролилась кровь, которая могла бы не пролиться.

3

Выстрелы пушек, что недавно сливались в сплошной гром, раздавались теперь реже, но доходили отчетливее. Не то они придвинулись, не то тут, вне леса, деревья не скрадывали звука. По другой бок пулеметная и винтовочная стукотня отдалилась, ушла в сторону.

А перед нами по-прежнему все было пустынно: кусок дороги, поблескивающий лужами и грязью, мокрые скаты лога, резко очерченный в сером небе неровный гребень, заслоняющий даль, позади лес.

Неприятное состояние: ничего толком не знаешь, ничего не видишь, очутившись без задачи среди очагов боя. Ба-

тальон охранялся конными дозорами, но после сообщения Бозжанова я решил взглянуть с какого-нибудь ближайшего холма по сторонам, посмотреть, что творится кругом.

Я сказал Бозжанову:

— Втаскивай орудия в лес. Я доскачу до высотки, осмотрюсь...

Синченко двинулся было за мной, но я оставил его у опушки.

Через минуту Лысанка галопом вынесла меня на косогор. Оттуда открылось село, раскинувшееся вдоль шоссе. Я заметил движение по улице, движение по шоссе и мгновенные белые вспышки орудийных выстрелов. Навел бинокль.

Наша артиллерия отходила. Тракторы, зацепив орудия, выползали из села, двигаясь по полю, отворачивая от шоссе в сторону. Беспокойно оглядываясь, шли рядом с пушками артиллеристы. Я распознал долговязую фигуру полковника Арсеньева — он был начальником артиллерии дивизии. Увидел в бинокль: он остановился, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил — проделал все это неторопливо, с подчеркнутым спокойствием; потом задержал проползающее мимо орудие, куда-то показал. Трактор отвалил, артиллеристы стали по местам. Поведя бинокль в направлении, куда показал Арсеньев, я впервые увидел немецкие танки... Белые кресты на иссиня-черной броне, пламя из тонких стволов... Стреляя с ходу, танки входили в село.

Хотелось, не отрываясь, следить за этой битвой, за разворачивающейся передо мною лентой современной войны, но я опустил бинокль, обвел взглядом вокруг. По дороге, вливавшейся в шоссе, мчались мои конники. Пронеслась догадка: они где-то, наверное, соприкоснулись с подступающими сюда немцами: наши части, отходящие к северу, уже, должно быть, оставили этот проселок.

Каким же способом, каким маршрутом мы теперь выберемся? Надо бы сейчас же перебросить батальон по ту сторону проселочной дороги, пока свободно ее устье, чтобы нас не отрезали, не заперли в угольнике дорог. Я продолжал взволнованно оглядывать местность. И вдруг увидел роту Филимонова, уже выступившую по моему приказанию.

Походной колонной по лощине, не видя, что творится в селе, не видя танков, рота двигалась к селу, прямо в

лапы немцам. Что он, Филимонов,— с ума спятил? Идет, черт побери, как слепой! Я бешено ударил шпорами Лысанку; она взвилась от боли.

Карьером мимо опушки, мимо батальона я поскакал вдогонку роте.

4

Нагнал.

— Рота, стой! Филимонов, куда ты лезешь? Куда тебя несет?

Он оторопело сказал:

— Слушаю, товарищ комбат.

— Куда ты идешь?

— Я думал, товарищ комбат, этой лощиной выйти к лесу. А потом к селу. А потом по дорогам, по маршруту.

— Почему не выслал дозора? В селе немцы!

Его красноватое лицо стало растерянным. Он, Ефим Ефимович Филимонов, впоследствии стал одним из героев батальона, но тут свою роту без противотанкового вооружения чуть не вывел на танки: вел бойцов по овражку, ничего не видя вокруг.

Я успел его остановить, рота не потеряла ни одного бойца, но было потеряно время.

К нам по лощине кто-то мчался верхом во весь опор, карьером. Я узнал серую кобылу Синченко. Он подскакал.

— Товарищ комбат, побежали...

— Кто?

Не отвечая, быстро дыша, волнуясь, он продолжал:

— Они видели вас... Закричали: «Комбат бежал!» И кинулись...

— Кто?

— Эти... Вчерашние... которых вы приняли...

— А батальон?

— Не знаю... На дороге уже немцы. Как закричали: «Комбат бежал!», как кинулись кто куда, то я враз за вами...

Я проговорил:

— Филимонов! Роту обратно! Бегом! Синченко, за мной!

И второй раз в этот день резанул шпорами Лысанку.

Я помчался к лесу. Издали он казался пустым. Неужели действительно пуст? Неужели паника? Неужели он, мой булат, мой батальон, рассыпался в один миг? Тогда незачем жить! Но не верю, не верю.

На скаку я заметил несколько человек у опушки. Они будто поджидали меня. Подлетел туда. Увидел сумрачного Заева, увидел линию недорытых ячеек, бугорки свежевынутой земли. Бойцов не было.

— Заев! Что с батальоном? Где бойцы?

Откозырнув, он ответил:

— Была команда, товарищ комбат, подготовиться к движению.

— Ну... Где рота?

— Выстроена в глубине... В роте, товарищ комбат, порядок не нарушен.

— А что тут стряслось? Где?

Заев показал туда, где несколько минут назад я встречал орудия. Хмуро буркнул:

— Там...

Эх, из него слова не вытянешь. Лысанка опять помчала меня вскачь.

С какой-то точки на секунду приоткрылся поселок. Идут машины, машины, идут на гусеничном ходу пушки. Немцы!

Теперь под гору, в лог. Два орудия еще не втащены в лес. У орудий сбились толпой те, кого вчера, после ночного побоища в Новлянском, я взял в батальон. Они не выволакивали орудия, не работали, они беспорядочно жались к завязшим колесам, к стоявшим лошадям. Я увидел побледневшего Бозжанова; губы были напряженно стиснуты, в руке он сжимал пистолет.

— Бозжанов! — прокричал я.— Бежали эти? Эти орали, что комбат бежал?

Он молча кивнул. Губы остались сжатыми, знакомое полноватое лицо было неузнаваемо жестким, щеки втянулись, все очертания стали резче.

Я крикнул:

— Вот ваш комбат! Все видите? Бозжанов, кто орал? Все?

— Вон кто...

Движением головы Бозжанов показал в сторону. В отдалении, на склоне, лежали ничком два трупа. Кровь натекла вниз в глубокие следы копыт. Скорее по догадке, чем по каким-либо внешним признакам, я узнал одного — того, кто мог бы стать прославленным героем. Мог бы... И погиб как изменник, как трус. Да, это был Пашко. На неестественно подогнутых ногах, будто застывших в движении, — высокие, желтой кожи, сапоги, заляпанные грязью.

Бозжанов уже нашел в себе силу обратиться ко мне по форме:

— Разрешите доложить... Вследствие возникшей паники я, товарищ комбат, вынужден был применить оружие.

— А эти? Эти тоже бежали? Почему не перестрелял всех, кто побежал?

Бозжанов молчал.

— Я приказываю: если еще раз побегут, бей по трусам без предупреждения.

— Слушаюсь, товарищ комбат.

Нет, я не кровожаден. Бессмысленная жестокость отвратительна. Но момент был такой, когда требовалось, чтобы люди запомнили урок, чтобы навсегда затвердили закон войны, закон армии.

Я посмотрел на толпу:

— Ну, все видите комбата? Все слышите? Бозжанов, приведи людей в надлежащий вид! Втащи пушки! Потом явишься в штаб, ко мне,— получишь участок обороны.

Я шевельнул повод. Отдышавшаяся добрая лошадка, послушная и шпорам и мизинчику, пошла к штабной палатке в лес.

6

Мы оказались в угольнике немецких колонн. Батальон вновь отрезан.

Если будущий критик нашей повести сочтет нужным кого-либо в этом обвинить, я могу облегчить ему задачу: виноват я! Без риска нет войны! Я рискнул, я послал людей в тыл за оставленными снарядами и пушками. Пушки вывезены, но батальон застрял, батальон отрезан. Теперь дотемна не выйдешь.

Не натворил ли я ошибок? Возможно. Не следовало ли действовать более умно, более предусмотрительно? Возможно.

Пусть, если я этого заслуживаю, умные люди проберут меня без снисхождения за ошибку, но я не стану выдавать себя за непогрешимого, золотого или, вернее, сахарного командира.

Мы оказались в угольнике немецких колонн. По мощеной дороге прошли танки. За ними в два ряда на Волоколамск, на Москву покатили грузовики, мотоциклеты, тягачи — пехота, боепитание, артиллерия, немецкая группировка главного удара. А по проселку туда же, на шоссе, вливались транспорты вспомогательной группы, прорвавшейся вчера около нас.

У скрещения дорог нарастала пробка. Немецкая дорожная служба уже регулировала движение, придерживая то одну, то другую колонну.

Я смотрел в бинокль. Лица немецких солдат, сидевших на грузовиках, были, как и вчера, под Новлянским, почти сплошь молодыми. Особенного веселья, смеха, возбуждения не заметно; сидят в пилотках, в легких шинелишках; многие зябко сунули руки в рукава — донимала октябрьская стылая сырость. Для них, завоевателей, это были будни; для них стало привычным: вперед, вперед!

Ко мне подошел командир артиллерийской батареи.

— Орудия наведены? — спросил я.

— Да, товарищ комбат.

— Зарядить и доложить!

В мысок леса, что выдался к скрещению дорог, мы выдвинули восемь пушек. Часть артиллеристов была отправлена к шести шиловским, установленным в другом пункте. От мыска до скрещения было около километра; цель на виду; немецкие машины ясно видны в прицельной панораме; это называется: прямой наводкой.

— Готово! — доложил командир батареи.

— Давай! Бей залпами! Залпами!

Раздалась команда:

— Батарея...

Пауза.

— Огонь!

Полыхнуло. Бахнуло. Дрогнула земля. Я видел в бинокль: полетели щепки, куски жести.

— Огонь!

Соскакивая с машин, немцы кинулись в канавы, кинулись за обочину: куда-то запряталась немецкая регулировочная служба.

— Огонь!

Нет, господа «победители», тут вы не пройдете! Вы отрезали нас? Нет. Мы огнем перерезали дорогу, мы рассекли ваши колонны. Вы спешили на Москву, на Москву? Приостановитесь-ка. Сначала извольте-ка справиться с нами, раздавите-ка батальон Красной Армии.

Винтовочка, винтовочка, не выручишь ли ты нас?

1

На шоссе все остановилось. Задние машины в тесноте поворачивали кругом и, объезжая встречные, задерживаясь в пробках, возвращались в село.

Я оставил в мыске две пушки, приказав разбивать машины, а потом, когда противник начнет отвечать, переменить позицию.

Другие пушки мы покатили через лес, топорами и пилами быстро расчищая путь, к тому краю, откуда поближе до села.

Корректировщики с биноклями, с телефонными трубками взобрались на сосны. С этих наблюдательных пунктов донесли: село забито машинами; их пропускают в сторону по проселочной дороге, но там грузовики буксуют в грязи.

Я сказал командиру батареи:

— Поддай им огоньку! Брось в это скопище шестьдесят снарядов. Потом жди приказаний. Повторим, если зашевелятся.

И направился в штаб. Роты заняли в лесу круговую оборону. Бойцы врылись в землю. Лесной клин, где мы закрепились, был обширнее, чем наш вчерашний остров, но, не довольствуясь этим, я специально разредил оборону, чтобы уменьшить потери от немецкого огня, который — я не сомневался — непременно воспоследует. Один пулеметный взвод и три стрелковых были отодвинуты в глубину и размещены в разных точках — как резервные.

Бойцам резерва было приказано отрыть себе щели. В земляные укрытия, в коленчатые узкие траншеи ушел с поверхности и медпункт со всеми ранеными. Хозяйственный взвод копал стойла для лошадей.

Командный пункт батальона тоже уже был не в палатке, а в земле, под многослойным настилом бревен. Там опять горела лампа, стоял знакомый стол, в углу устроились телефонисты; мне навстречу поднялся, как всегда, Рахимов.

С командного пункта я позвонил туда, где расположились на огневых позициях шиловские пушки. Они держали под прицелом проселок. И этот путь был закупорен подбитыми на скрещении машинами.

Я приказал выпустить полсотни снарядов по ближайшей деревне на проселке, где тоже скопились машины. Я чувствовал: противник пригвожден: ни тпру, ни ну. Теперь он покажет зубастую пасть. Что же, посмотрим, как он нас проглотит... Не встанет ли ему поперек глотки такой ежик?

Не знаю, знакомо ли вам ощущение полной собранности, когда мобилизована, кажется, каждая клеточка, когда в голове — необыкновенная ясность, в теле — чудесная легкость? С разных сторон гремели мои пушки. Нападали мы. Игру вели мы. Вчерашней подавленности, вчерашних страхов будто не бывало.

2

Один из тактических принципов молниеносной войны, примененный немцами еще в Польше, в Голландии, в Бельгии и во Франции, был, как известно, таков: прорвав в разных пунктах линию фронта, мчаться вперед, вперед, оставляя позади разрозненные, рассеченные, деморализованные части противника. Под Москвой это гитлеровцам не удалось.

Буду, однако, рассказывать лишь о своем батальоне.

Оказавшись среди марша, на привале, отрезанными (повторим в скобках — по моей вине) у шоссе, у единственной в этом районе твердой дороги, по которой немцы могли мчаться, мы, в свою очередь, перерезали ее огнем. На военном языке это называется «контролировать дорогу огнем».

Тем самым мы заставили немцев вместо «вперед, вперед!» заняться ликвидацией очага сопротивления. Заставили... На военном языке это называется: навязать свою волю противнику.

Немцы стали кромсать лес снарядами и минами. Мы отвечали, маневрируя артиллерией. Стянешь куда-нибудь все четырнадцать орудий, ахнешь несколькими залпами по тылам, потом быстро рассредоточишь артиллерию по две, по четыре пушки, обстреляешь беглым огнем другие пункты. Шесть деревень открывались глазу с верхушек сосен. Все шесть заняты врагом. От нас попеременно доставалось врагу во всех этих пунктах, благо по части снарядов и пушек мы были богачами.

Налетели девять бомбардировщиков. Завывая, стали пикировать. Лес сотрясался от тяжелых разрывов. И что же? Матушка земля оборонила. Пострадали главным образом лошади, для которых мы не успели приготовить стойла-котлованы. Четырнадцать погибших лошадей, две разбитые пушки и шесть человек раненых — таков был итог авианалета.

К полудню вдали, километров за пятнадцать к северу, то есть в направлении на Волоколамск, опять как и утром, часто-часто застучали пушки. Временами далекие выстрелы сливались в сплошной рокот: там вели огонь, судя по звуку, не десять и не двадцать, а, как утром, сто или полтораста пушек. Как мы узнали впоследствии, прорвавшиеся танки были встречены там другим артиллерийским полком. А здесь мы не пропускали по дороге подкреплений, не пропускали артиллерию, мотопехоту и боепитание.

Три раза цепи пехоты шли в атаку на нас. Всякий раз мы подпускали их близко, а затем залпами винтовок и кинжальным огнем пулеметов срезали немецкие цепи, прижимали уцелевших к земле, заставляли отползать. Одна атака пришлась там, где как раз оказалось несколько наших пушек, маневрирующих колесами по лесу. Подвернулся случай — случай, которого втайне ждет всякий истинный артиллерист,— встретить пехоту противника картечью. Знаете ли вы, что такое выстрел на картечь? Выброшенный из ствола снаряд тотчас, в воздухе, в полете, рвется, выбрасывая сотни пуль, сотни горячих режущих брызг, которые со страшной силой бьют в лицо наступающей пехоте.

В этот день мы трижды подтвердили врагу элементарную военную истину: пустая затея — лезть грудью на кинжальный огонь, пустая затея — атаковать позицию, если не подавлены огневые точки, если не подавлен дух.

А подавить нас — о, сколько артиллерийской долбежки, сколько времени потребовало бы это у немцев. Время, время — вот что мы отнимали у врага. И отнимали людей, живую ударную силу.

Незаметно свечерело. Пора подумывать об уходе. Но, представьте, уходить не хотелось. Наши боеприпасы истощились, а то я охотно повоевал бы на этом месте еще сутки; подержал бы еще сутки противника за хвост, поиграл бы с ним...

Страха уже не было. Отошли, остались на вчерашнем острове мои тягостные настроения.

Так был изжит страх окружения. Так был пройден первый курс высшего воинского образования.

3

Стемнело. Разведка донесла: во всех окрестных деревнях немецкие войска, каждая деревня прикрыта сильным охранением. Все дороги у батальона отняты.

Но шоссейная, пока мы здесь, не принадлежит и немцам. Я обдумывал способы ухода из кольца. Можно уйти лесами. Вот, взгляните-ка, карта. Видите — длинной полосой лес тянется на север, подступая почти вплоть к Волоколамску. Пехота легко пройдет лесом. А колеса? Пушки, обозы? Бросать?

Размышляя, я вместе с тем продолжал войну. Немцы попытались, пользуясь темнотой, возобновить движение по шоссе. Мы не дали. Они направляли машины в объезд. Мы мешали, мы били по развилкам дорог. Я по-прежнему ощущал, что прищемил врагу хвост. Отпускать не хотелось.

В девять или в десять часов вечера прибыл посланец от Панфилова — лейтенант Анисьин. Он подал записку генерала: немедленно выбираться из кольца, выводить батальон к Волоколамску.

Анисьин пробрался к нам лесом. Разрыв между батальоном и нашими войсками достигал двадцати пяти километров. Как пройти эту полосу?

Я принял решение: проскользнуть в темноте в лесной массив и там двигаться по компасу, напрямик к Волоколамску, прорезая в лесу путь для артиллерии и обозов. Дал прощальный концерт, прощальные орудийные залпы по всем немецким тылам, куда доставали наши пушки. Ну, на этом до свидания, господа! Еще встретимся.

Батальон стал свертываться.

4

Во мраке мы идем и идем лесом. Лес заповедный, вековой. Работают пилы, топоры, мы валим, оттаскиваем деревья, вырубаем просеку, вырубаем память о себе.

В батальоне семьдесят пил, полтораста топоров — все в деле. Мы идем и идем. В темноте смутно белеют свежие срезы пней. Просекой тянутся двуколки, санитарные повозки, пушки. Мы везем двенадцать орудий. Два подбиты в бою и напоследок нами взорваны. Потеряно около двадцати лошадей, но и тяжестей меньше: свыше тысячи снарядов выпущено по врагу, сохранен лишь неприкосновенный запас. Не много осталось и ящиков с патронами. Израсходованные — это наши залпы, это огонь пулеметов, это отбитые нами три атаки. Нет на повозках и хлеба, нет консервов, круп, овощей, лишь кое-что прибережено для раненых. Да, пора, пора было уходить. Завтра пришлось бы туго.

Идем, режем, рубим. Двигаемся медленно: в иных местах, в буреломе, в чащобе, меньше километра в час. Но пробиваем, пробиваем просеку по компасу. Оставляем на десятилетия памятку-зарубку о себе.

Идем без привалов, без роздыха, лишь каждый час сменяются рабочие команды.

В лесу, в движении нас застает рассвет. Высоченные стволы валятся с присвистом, с уханьем, подламывая, подминая молоденькие деревца и сухостой. Вдруг остановка. Затихают пилы. Обрывается стук топоров. Какая-то припоздавшая верхушка описала свистящую дугу, и рубка — стоп!

Головной дозор донес: батальон подошел к прогалине, что пролегает поперек. Там проселочная дорога, ведущая к шоссе. На дороге противник.

Я стою на опушке, смотрю.

Ползут грузовики, вязнут в грязи, буксуют. Те, что под пехоту, со скамейками, двигаются порожняком, но в кузовах, у кабин, как дрова, как поленницы, уложены трубы минометов. Пехота идет пешком, проталкивает, вытаскивает машины. Некоторые тяжело гружены боеприпасами, к другим зачалены легкие пушки. Где-то в машинах, за бортами, лежат пулеметы, гранаты.

Я стою пять минут, десять минут, смотрю, думаю. Машины ползут и ползут, выбрасывая из-под колес косые фонтаны грязи. Их продвигает, с ними продвигается пехота. Конники, которых я послал по опушке, вернулись, донесли: хвоста не видно. Сюда устремился поток, которому вчера в другом пункте мы преградили путь.

Ширина прогалины равнялась приблизительно километру. Надо пройти этот километр; пройти и исчезнуть в противоположной стене леса.

Как быть? Развернуть орудия? С двуколок снять пулеметы? Вступить в бой? Но снарядов почти нет, патронов немного.

Ждать ночи?

Нельзя! Противник, вероятно, уже установил или скоро установит, что мы покинули наше вчерашнее гнездо. По нашему следу, по коридору, который мы просекли, нас в любой момент могут здесь обнаружить, а нам почти нечем огрызаться, мы не сможем долго отвечать огнем на огонь.

Пожалуй, можно все же попытаться уйти в глубину леса, припрятаться дотемна там. Немцы не любят проникать в леса, предпочитают не ввязываться в лесные бои.

Но у меня приказ: вести батальон к Волоколамску. Нас туда требует Панфилов. Мы нужны там, чтобы встретить огнем эти полчища; нужны как можно скорее, чтобы подпереть нашу преграду, гнущуюся под напором врага.

Надо прорываться! Прорываться немедленно, пока немцы беспечны, пока не разузнали, что мы здесь.

Как? Внезапной штыковой атакой! Застигнутые врасплох, немцы, несомненно, в первый момент не окажут серьезного сопротивления. Они растеряются, когда вдруг в тиши загремит устрашающее русское «ура». Пробив широкие ворота, мы заляжем с обеих сторон и будем держать проход открытым до тех пор, пока не пройдут наши повозки, артиллерия, раненые. Мы их прикроем огнем — патронов для этого хватит. Потом снимутся и отойдут роты. Их отход тоже надо прикрыть. Чем? Парой пулеметов. Самое трудное, нечеловечески трудное выпадет на долю этим людям — пулеметчикам, которые останутся последними, лицом к лицу с оправившимся, наседающим врагом. Этих людей уже никто не прикроет, им не уйти. Для такого дела, для такого подвига нужны самые стойкие, самые преданные: те, что будут стрелять до последнего дыхания, те, что исполнят до конца святой долг солдата, исполнят приказ не отходить! Тяжело... Тяжело вымолвить даже самому себе: «Последним останется пулеметный расчет Блохи». Останется навсегда в этой лесной прогалине. И Бозжанов. Да, с пулеметчиками будет Бозжанов. Теперь я уверен, что у пулеметов никто не дрогнет, что мы отойдем в порядке, что сможем подобрать и унести с собою всех, кто будет ранен или убит в бою. Всех, кроме последней героической горстки.

6

Батальон втихомолку подтягивается к опушке. Я приказал:

— Передать по колонне: командиры рот — ко мне. Политрук Бозжанов — ко мне!

Как скажу я Бозжанову? Как выговорю: «Джалмухамед, я жертвую тобой»?

Ожидая командиров, я по-прежнему вглядывался в медленно двигающийся нескончаемый поток машин. Там не заметно пока никаких признаков тревоги. Там пока никто не подозревает, что в двухстах — трехстах шагах находится, скрытый лесом, батальон Красной Армии.

А что, если действовать иначе? А что, если?.. Нет, это страшный риск. Это не содержится ни в одном уставе, ни в одном наставлении.

Я оглянулся на бойцов — притихших меж деревьями, не отрывающих взгляда от немцев. У каждого из моих солдат — винтовка; у каждого в подсумках боекомплект патронов — по сто двадцать на бойца. А что, если все-таки?.. Эх, винтовочка, винтовочка, не выручишь ли ты нас?! Черт возьми, если решиться на рискованный шаг, который завладел мыслью, то при неудаче мы погибнем, может быть, все. Но зато, если выйдет, все будем целы; никого не придется бросать, как жертву, в пасть смерти. Что ж, риск — благородное дело. Нет, без расчета риск не благороден. Но ведь тут у меня есть и расчет.

Я опять посмотрел на бойцов. Можно спросить любого: «Как думаешь: оставить ли на погибель нескольких товарищей, чтобы спасти остальных, или рискнуть: либо все пропадем, либо все до единого выйдем?» И любой скажет: «Рискни!»

Ну, друзья, хорошо! Никого не оставим!

На сердце сразу полегчало. И во всем теле я ощутил удивительную легкость. Заиграла кровь, заиграла дерзость.

Один за другим подошли командиры. Я нежно взглянул на Бозжанова. Он поймал этот взгляд, удивленно всмотрелся, не совсем уверенно улыбнулся в ответ.

7

Я разъяснил командирам идею прорыва. Она была такова. Батальон строится в одну шеренгу, ромбом. Внутри ромба размещаются повозки и пушки. По моей команде батальон двинется умеренным шагом, сохраняя строй ромба. Винтовки держать наперевес, наизготовку. По моей команде стрелять залпами с ходу. Стрелять не в воздух и не в землю, а наводя ствол на врага.

В лесу нелегко было построиться. Впереди, в остром углу, я поставил Рахимова, в боковых углах — Заева и Толстунова, сзади, замыкающим,— Бозжанова.

Отряд Бозжанова, мой не предусмотренный штатами резерв, прикрывал тыл. Я сказал им, нашим приемышам, шиловцам-бозжановцам:

— Ставлю вас, товарищи, на самое ответственное место. Верю вам! Пройдем молодцами — все грехи забудутся.

Им были дополнительно розданы гранаты — в том числе и крупные, противотанковые, для того чтобы напоследок, когда строй прорвется, учинить несколько сильных взрывов в колонне немецких машин.

От заднего угла мимо повозок, мимо пушек я прошел вперед. Встал рядом с Рахимовым. Оглянулся. Негромко скомандовал:

— Батальон... арш!

И зашагал. И повел ощетинившийся ромб.

Немцы не сразу поняли, кто мы, что мы, что за странный безмолвный строй выдвигается из леса. Многие продолжали толкать машины; другие, повернувшись к нам, удивленно смотрели. Это действительно было им непонятно. Красноармейцы не бегут в штыки, не кричат «ура», это не атака. Идут сдаваться? Не похоже... С ума сошли?

Метров восемьдесят — сто они дали нам пройти, не поднимая тревоги. Потом прозвучал повелительный крик на немецком языке. Я уловил: некоторые кинулись в машины, к оружию, к пулеметам. Именно уловил: теперь время будто рассеклось на мельчайшие отрезки.

— Батальон...

Миг тишины. Винтовки не вскинулись. Было приказано, как вам известно, стрелять с ходу, с руки, прижимая приклад к подсумку.

— Огонь!

Тишину разорвал залп.

— Огонь!

С обрывистым гремящим звуком, наводящим жуть, мы опять выпустили веером несколько сот пуль.

— Огонь!

Мы шли и стреляли. Это страшная штука — залповый огонь батальона, единый выстрел семисот винтовок, повторяющийся через жутко правильные промежутки. Мы прижали врагов к земле, не дали возможности поднять голову, пошевелиться.

Мы шли и стреляли, разя все на пути. Ни один боец не нарушил строй, ни один не дрогнул. Я вел батальон в просвет между машинами. На дороге, в грязи,— убитые немцы. По-прежнему подавая команду, не сворачивая, я наступил на одного. Под сапогом труп податливо ушел в грязь.

По трупам, сквозь немецкую колонну, прошли люди, лошади, колеса.

Раздалось несколько взрывов: это действовали наши гранаты. А мы шагали, продолжая пальбу залпами.

Батальон миновал дорогу. В один из промежутков тишины я крикнул:

— Батальон! Слушать команду лейтенанта Рахимова!

Теперь Рахимов выкрикивал «огонь!». Бойцы стреляли, оборачиваясь. Мы по-прежнему не давали врагам поднять голову, пошевелиться.

Внутри ромба, мимо повозок, мимо пушек, я прошел назад и занял место в остром замыкающем углу рядом с Бозжановым. До стены леса оставалось двести — двести пятьдесят шагов.

Мы все еще ни одному немцу не позволяли применить оружие.

Вдруг в отдалении сзади появилось несколько танков. С нарастающим жутким скрежетом они шли на нас, открыв с ходу пальбу из пулеметов. Напрягая голос, я скомандовал:

— Батальон! Бегом! Лошади галопом! В лес!

Все понеслись. И только горстка — задний угольник, шиловцы-бозжановцы — продолжала шагать, посматривая на Бозжанова и на меня. Несмотря на напряженность минуты, я рассмеялся. Черт возьми, ну и отучены же они бегать. Прикрикнул на них:

— Вам что, особая команда? За мной! Бегом!

Припустились и мы. А сзади лязг и гул, сзади клекот пулеметов.

Люди, повозки, орудия скрывались в лесу. Не добежав до леса двадцати — тридцати шагов, я упал. Намеренно. Следовало оглядеться: нет ли раненых, не оставлен ли кто-нибудь в поле без защиты, без помощи; если брошен хоть один, надо как-то задержать врага, вынести. Но брошенных не было. Два бойца бегом, низко пригибаясь, несли кого-то на руках.

Я посмотрел по сторонам. Рядом со мной упал Бозжанов и еще человек пять. Среди них Ползунов. Он укрылся за пнем; был бледноват, шея настороженно вытянута; понимающие ясные глаза быстро оглядывали местность; в руке наготове противотанковая тяжелая граната. Лицо с юношески пухлыми губами, которое запало в память в то утро, когда с Ползуновым разговаривал Панфилов, сейчас выглядело совсем иным: в нем поражала сосредоточенность, решимость. Я крикнул:

— Ползунов! Ежели встречусь с генералом — он услышит о тебе.

Ползунов не улыбнулся. Я скомандовал:

— А ну, ходу! За мной!

Вскочив, мы опять помчались к лесу. Из какого-то танка на нас направили струю трассирующих пуль. Одна неприятно прошипела около ноги.

Но в лесу уже развернулись наши пушки. Бах! Бах! Вот и пришло время коснуться неприкосновенного запаса. Я на бегу обернулся. Один танк с разбитой гусеницей вертелся на месте огромным громыхающим волчком. Другие застопорили. Не очень-то попрешь на пушки, неуязвимые за вековыми соснами для гусениц. Мы влетели в лес. Танки, урча, продолжая пальбу, дали задний ход.

8

Несколько раз в этой повести фигурирует залповый огонь.

Я намеренно это подчеркиваю. Я хочу, чтобы некоторые мысли нашей невыдуманной повести были выделены как бы курсивом, жирным шрифтом.

Конечно, такой способ груб. Было бы приятнее предоставить это критике, которая раскрыла бы намеки, сопоставила бы одно с другим, растолковала бы, что к чему.

Но у нас тут речь идет не о любви, которую пережил каждый, которая понятна каждому, а о технике боя, о вопросах военного искусства, военной специальности. Поэтому растолкуем все сами.

Опыт войны научил нас, командиров, что в современном бою, и в обороне и в наступлении, решающее средство воздействия на противника, на психику противника — огонь. При этом вернее всего действует внезапный огонь: ошеломляющий, мгновенно парализующий высшие мозговые центры.

Я называю себя учеником Панфилова, я стремлюсь быть достойным этой чести. А Панфилов, как вы знаете, настойчиво внушал: «Берегите солдата! Берегите не словами, а действием, огнем!»

Да, пехоту надо беречь огнем и маневром, расчищая и прокладывая ей путь огнем, огнем и огнем!

Я имею в виду не только артиллерию. «На артиллерию надейся, а сам не плошай! Артиллерия вместо тебя стрелять из винтовки не будет, артиллерия вместо тебя управлять твоей ротой, твоим батальоном не будет». Это тоже слова Панфилова, сказанные однажды на разборе учений.

Да, у пехоты достаточно средств, чтобы обеспечить свой маневр мощью собственного огня. У пехоты есть оружие жуткой силы, которое при умелом применении, особенно в маневренной войне, почти наверняка парализует психику врага,— винтовочный залп. Повторяю: особенная сила залпового огня в его внезапности. А основа такой внезапности, помимо выбора момента открытия огня, опять и опять — дисциплина.

Вот эти-то мысли хочется выделить курсивом: двигать пехоту огнем — и не только артиллерийским, но также и ее собственным, пехотным,— огнем, а не криком, не горлом.

В Волоколамске у Панфилова

1

Опять идем лесом — режем, рубим, просекаем путь. Волоколамск недалеко. Явственно слышна канонада.

Вот и край леса. С опушки вдалеке видны колокольни. Несколько в стороне и поближе к нам краснеют кирпичные постройки станции Волоколамск. Она в нескольких километрах от города. В том направлении, у станции, гремит бой.

Внезапно там поднимаются в воздух приземистые железные башни — огромные вместилища бензина — и, словно повисев мгновение, тяжело оседают, распадаясь на глазах. Взметывается пламя и дым. Затем доходит грохочущая волна взрыва. Станция еще наша. Но войска уже взрывают пути, склады и хранилища, чтобы не оставить врагу ни капли горючего, ни зерна продовольствия.

Я веду батальон к городу. Нас окликают посты. Это бойцы нашего полка. От них узнаю: штаб полка в городе, на северо-восточной окраине.

К городу шагаем по булыжной мостовой, затем пойдет асфальт, пойдет до самой Москвы — то Волоколамское шоссе, куда рвутся немцы.

За сотню шагов до первых домиков я остановил батальон на короткий привал, на перекурку.

А через десять минут взводными колоннами, со всеми орудиями, пулеметными двуколками, повозками, размещенными меж боевых подразделений, мы двинулись к городу. Я шагал впереди, передав Лысанку коноводу.

2

Помню тогдашнее впечатление от Волоколамска. Некоторые дома, главным образом в центре, были разбиты авиабомбами: авиация противника, очевидно, не раз налетала на город. Тяжелая бомба разрушила деревянный мучной склад. Один угол был вырван; в проломе торчали зазубренные концы разорванных бревен; крыша провалилась, ворота и рамы вылетели. Раскиданная взрывом мука сырой пленкой затянула скаты придорожной канавы, не тронутая здесь ногами и колесами. На мостовой под подошвами похрустывало стекло.

Муку с разбитого склада раздавали населению. Был заметен какой-то порядок, какие-то очереди, но муку уже не вешали: ее быстро отпускали, насыпая ведрами в подставленные мешки, в наволочки.

А мы шли строем по четыре, держа равнение, держа шаг, хмуро поглядывая по сторонам.

Казалось, на улице все куда-то спешили, все суетились, метались, казалось, никто из жителей не сохранил спокойной походки.

Вот по пути опять — разрушенный бомбой небольшой деревянный дом, опять — осевшие одним боком бревна со свежими желтыми надломами, опять — хрустящие стекла под ногами. У развалин на краю тротуара лежит мертвая старая женщина. Ветер пошевеливает сбившиеся седые волосы. Но клок прилеплен к черепу кровью, еще не запекшейся, еще красной. Небольшой лужицей кровь стынет на земле у головы. Чьи-то руки, очевидно, оттащили убитую в сторону, и теперь никого нет около трупа.

На каменном здании с пустыми черными провалами вместо привычных глазу стекол взрывной волной сбита вывеска; она повисла на одном крюке, и ее уже никто не поправляет; никто не забивает окон.

По улице проходит патруль; на перекрестке с винтовкой за плечами, с красной нарукавной повязкой стоит боец-регулировщик: став «смирно», он отдает нам честь. В городе блюдется военный порядок, но прежнего, привычного, устоявшегося гражданского порядка уже нет.

Жители торопливо проходят, пробегают туда и сюда, торопливо перекидываются фразами, некоторые зачем-то перетаскивают вещи; и все спешат, спешат.

Помню, мне почудилось: так, должно быть, ведут себя пассажиры разбитого бурей парохода, выброшенного на неведомые скалы. Душами владеет страх: вот-вот крепления переломятся, корабль уйдет в пучину.

Еще не взятый противником, не отданный нами, город был будто уже взят — взят страхом.

У ворот какого-то дома стоит подросток лет семнадцати. Я на миг встретил его взгляд. Он смотрит пристально, но исподлобья. Юношеское лицо очень серьезно, голова чуть наклонена вперед. В этой позе, во взгляде я прочел упрямство и упрек. Через сотню метров я, громко подсчитывая шаг, оглянулся на ряды батальона и опять заметил того же парня в тех же воротах. Он стоял и стоял, словно в стороне от суматохи.

Впоследствии, когда мы узнали о борьбе волоколамских партизан против захватчиков, о восьми повешенных в Волоколамске, я почему-то вспомнил этого юношу. Подумалось: этот был среди тех, кто боролся. В городе он был не один. Но тогда, в тот невеселый октябрьский день, нам бросилась в глаза только уличная суетня, переполох.

А мы шли и шли, хмуро поглядывая по сторонам.

На нас тоже смотрели. По улицам обреченного, казалось бы, города, куда добирался дым пожарища со станции, проходила воинская часть в строю, со строгими интервалами, с командирами во главе подразделений, с пушками, пулеметами, обозами. Батальонная колонна на марше — это, как вы знаете, почти километр.

Нет, мы не печатали шаг, не вышагивали, как на торжестве. Бойцы шли усталые, суровые — ведь впереди не

празднество, не радость, а еще более тяжелые бои,— но под взглядами жителей расправляли грудь, держали равнение, держали шаг.

И смотрели на нас не с восхищением, не любовались нами. Отступающими войсками не любуются, отступающая армия не вызывает преклонения. Женщины смотрели с жалостью, некоторые смахивали слезы. Многим, вероятно, казалось, что войска оставляют город. Тоскующие, испуганные глаза будто спрашивали: «Неужели же все кончено? Неужели погибло все, чему мы отдавали наш труд, нашу мечту?»

Тяжел, тяжел был этот марш по городу. Но в ответ на взгляды жителей, на суетню, на суматоху мы гордо поднимали головы, демонстративно развертывали плечи, тверже, злее ставили ногу.

Каждым ударом ноги, будто единой у сотен, мы отвечали:

— Нет, это не катастрофа, это война.

Солдатской поступью мы отвечали на тоску, на жалость:

— Нет, мы не жалкие кучки, выбирающиеся из окружения, разбитые врагом. Мы организованные советские войска, познавшие свою силу в бою; мы били гитлеровцев, мы наводили на них жуть, мы шагали по их трупам; смотрите на нас, мы идем перед вами в строю, подняв головы, как гордая воинская часть — часть великой, грозной Красной Армии!

3

Батальон приближался к северо-восточной окраине, где расположился штаб полка.

На каком-то перекрестке — кажется, там, где стоял регулировщик,— мостовая сменилась асфальтовым покрытием: в этой точке начиналось Волоколамское шоссе, прямиком по широкому гладкому асфальту ведущее к Москве.

В одном доме — мне запомнились его чистенькие голубые ставни — внезапно, будто от сильного толчка, настежь раскрылось окно. Оттуда порывисто высунулся комиссар полка Петр Логвиненко и радостно замахал нам рукой. А с крыльца уже бежал нам навстречу седоватый майор — начальник штаба полка Сорокин. Он стиснул мне

руку; его немолодые, много повидавшие глаза вдруг заблестели. Логвиненко, уже очутившийся на улице, сгреб меня в объятия, оттащил в сторону, стал целовать.

А для меня это был момент недоумения. Почему нас так встречают? В пути я, наоборот, думал, что получу выговор за опоздание. И только тут я понял, как беспокоились, как волновались они, наши товарищи, за судьбу батальона, отрезанного немцами, давно не подававшего вести о себе. Втайне у них не раз пробегала, должно быть, черная мысль о нашей гибели, втайне нас уже поминали, быть может, скорбным прощальным словом.

Командир полка майор Юрасов — сдержанный, замкнутый — молча стоял на крыльце, пропуская ряды. Я подошел к нему с рапортом. Выслушав, он кратко сказал:

— Хорошо. Потом приходите для подробного доклада. А пока располагайте батальон по квартирам. Можно отдыхать. Полк — в резерве командира дивизии.

В его ровном голосе при последних словах прорвалась гордость. Юрасов не сумел ее скрыть. Он — в прошлую мировую войну молодой офицер, а потом кадровый командир Красной Армии — гордился ею, армией, к которой имел честь принадлежать.

Понимаете ли вы, каков был тогда, после всего пережитого, смысл этой простой фразы: «Полк — в резерве командира дивизии»?

Она означала, что после прорыва немцев, после двух-трех критических дней и ночей дивизия вновь стоит перед врагом, построенная для оборонительного боя, с сильной резервной группой, расположенной чуть в глубине. Она, эта простая фраза, означала, что перед прорвавшимися гитлеровцами снова сомкнутый фронт, что Москва по-прежнему заслонена.

Батальон шел и шел. Грозно прогромыхивая, двигались пушки.

Откуда-то появился адъютант Панфилова, молоденький краснощекий лейтенант. Он козырнул мне:

— Товарищ Момыш-Улы! К генералу!

— А где он?

— Пойдемте. В том домике. Генерал, знаете, посмотрел в окно: что такое, откуда такие войска?

И адъютант засмеялся.

Вызвав Рахимова, приказав размещать людей на отдых, я пошел за адъютантом.

4

Через проходную комнату, где расположились с аппаратами телефонисты, где дежурили штабные командиры, я вошел к Панфилову. Живым движением он поднялся из-за стола, на котором находились телефон и развернутая во весь стол топографическая карта.

Я вытянулся, хотел доложить, но Панфилов не дал. Быстро шагнув мне навстречу, он взял мою руку и крепко пожал — пожал не по-русски, а как это принято у моего народа, у казахов, обеими руками.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы, садитесь... Чаю хотите? Подкрепиться не откажетесь?

И, не дожидаясь ответа, раскрыв дверь, он кому-то сказал:

— Давайте обед, закуску, самовар... И все, что полагается.

Потом повернулся ко мне. Его улыбка, его маленькие глаза, прорезанные чуть вкось, чуть по-монгольски, были ласковы.

— Садитесь. Рассказывайте. Много людей потеряли?

Я сообщил потери.

— Раненых вывезли?

— Да, товарищ генерал.

— Распорядились ли накормить людей? Отдохнуть, обсушиться?

— Да, товарищ генерал.

Подойдя к телефону, Панфилов вызвал начальника штаба дивизии и приказал немедленно донести в штаб армии, Рокоссовскому, что в Волоколамск прибыл полноценный батальон, пробившись из тылов противника.

Выслушав по телефону, в свою очередь, какое-то сообщение, Панфилов склонился к карте и стал о чем-то расспрашивать. Я уловил:

— А с севера? Спокойно? Когда вы имели последнее донесение оттуда? А позже? Не верю я, знаете ли, этому спокойствию. Запросите еще раз, выясните... И пошлите, пожалуйста, ко мне капитана Дорфмана со всеми донесениями.

Положив трубку, Панфилов некоторое время продолжал рассматривать карту. Лицо было серьезным, даже

угрюмым. Несколько раз он хмыкнул. Машинально достав портсигар, он взял папиросу, пустым концом задумчиво постукал по столу, затем, спохватившись, взглянул на меня.

— Простите...

И быстро протянул раскрытый портсигар.

— Ну, товарищ Момыш-Улы, рассказывайте. Обо всем рассказывайте.

5

Я решил доложить возможно короче, чтобы не отвлекать, не задерживать генерала. Мне казалось, что сейчас, в нервной атмосфере боя, ему, естественно, не до меня, не до моего доклада.

— Двадцать третьего октября, вечером...— начал я.

— Эка, куда вы хватили,— прервал Панфилов.— Погодите с двадцать третьим октября... Расскажите сперва про бои на дорогах. Помните нашу спираль-пружину? Нуте, как она действовала у вас?

Для меня после всего пережитого эти маленькие бои, эти незначительные по масштабу действия малых групп — взвода Донских и взвода Брудного — отодвинулись далеко-далеко. Странно, зачем Панфилов спрашивает об этом? Какое значение имеют теперь наши давние первые стычки?

Панфилов улыбнулся, будто угадав, о чем я подумал.

— Мои войска,— сказал он,— это моя академия... Это относится и к вам, товарищ Момыш-Улы. Ваш батальон — ваша академия. Нуте, чему вы научились?

От этих слов вдруг потеплело на сердце. Как я ни крепился, но картины города, которым владел страх, подействовали на меня, конечно, подавляюще. А Панфилов в этом городе, в комнате, куда явственно докатывался орудийный гром, с улыбкой спросил: «Нуте, чему вы научились?» И сразу, с одного этого простого вопроса, мне передалась его немеркнущая спокойная уверенность.

Подавшись корпусом ко мне, Панфилов с живым неподдельным интересом ожидал ответа.

Чему же, в самом деле, я научился? А ну, была не была, выложу самое главное. Я сказал:

— Товарищ генерал, я понял, что молниеносная война, которую хотят провести против нас немцы, есть война пси-

хическая. И я научился, товарищ генерал, бить их подобным же оружием.

— Как вы сказали: психическая война?

— Да, товарищ генерал. Как бывает психическая атака, так тут вся война психическая...

— Психическая?..— вновь с вопросительной интонацией протянул Панфилов.

По свойственной ему манере он помолчал, подумал. Я с волнением ждал, что он скажет дальше, но в этот момент открылась дверь. Кто-то произнес:

— Разрешите войти?

— Да, да, входите.

С большой черной папкой быстро вошел начальник оперативного отдела штаба дивизии капитан Дорфман.

— По вашему приказанию...

— Да, да... Садитесь.

Я поднялся, как повелевало приличие.

— Куда вы, товарищ Момыш-Улы? — сказал Панфилов, затем пошутил: — Хотите захлопнуть книгу на самом интересном месте? Так не полагается...

Мог ли он знать, что эти минуты, эти слова действительно войдут когда-нибудь в книгу?

— Насыщайтесь-ка пока...

Панфилов приветливо указал на столик, где уже некоторое время меня ожидал обед.

6

Я не считал удобным вслушиваться в негромкий разговор, но отдельные фразы долетали.

Панфилов, как я невольно уяснил, не доверял успокоительным донесениям с какого-то участка, доселе сравнительно тихого, удаленного от направления главного удара немцев, и требовал доскональной, пристрастной, придирчивой проверки.

Затем я уловил:

— Вы меня поняли?

Таким вопросом наш генерал обычно заканчивал разговор. Множество раз мне довелось слышать, как Панфилов произносил эти три слова: они не были у него привычным повторением привязавшейся фразы; он не приговаривал, а действительно спрашивал, всегда вглядываясь в того, к кому обращался.

Капитан уже пошел было к выходу, но Панфилов вновь обратился к нему. Я услышал вопрос, которому в ту минуту не придал значения: его смысл раскрылся мне несколько позже.

Панфилов спросил:

— Представитель дальневосточников выехал сюда?

— Да, товарищ генерал. Скоро будет здесь.

— Хорошо. Направьте его, пожалуйста, сразу же ко мне.

Кивком он отпустил капитана, затем подошел ко мне, промолвив:

— Ешьте-ешьте, товарищ Момыш-Улы.

Встав, я поблагодарил.

— Садитесь, пожалуйста. Садитесь.

Старомодный пузатый самовар, тоже поданный к столу, тянул тонкую затихающую ноту. Панфилов налил мне и себе крепкого горячего чая, сел, втянул ноздрями пар, поднимающийся из стакана, чуть прищелкнул языком и улыбнулся.

— Ну-с, товарищ Момыш-Улы,— сказал он,— давайте-ка все по чину, по порядку. Как удалось то, что мы с вами наметили карандашиком на карте? Как действовали взводы на дорогах?

Я стал докладывать. Отпивая маленькими глотками чай, Панфилов внимательно слушал. Изредка он коротко вставлял замечания, пока, впрочем, не касаясь главного. Так, например, относительно Донских он спросил:

— Письмо домой, его родным, вы написали?

— Нет, товарищ генерал.

— Напрасно. Нехорошо, товарищ Момыш-Улы, не по-солдатски. И не по-человечески. Напишите, пожалуйста. И в комитет комсомола напишите.

Лейтенанта Брудного Панфилов приказал восстановить в прежней должности.

— Он заслужил это,— пояснил генерал.— И вообще, товарищ Момыш-Улы, без крайней нужды не следует перемещать людей. Солдат привыкает к своему командиру, как к своей винтовке. Но продолжайте, продолжайте...

Я рассказал про двадцать третье октября, про то, как батальон оказался в окружении.

Отодвинув стакан, Панфилов слушал, слегка склонившись ко мне, вглядываясь в меня, будто различая в моих словах что-то большее, чем сам я вкладывал в них.

Мой доклад прояснял для Панфилова некоторые детали битвы, которая длилась и сейчас, перейдя в следующий тур. Ему, быть может, лишь теперь стало полностью понятно, почему в какой-то момент, двое суток назад, он, управляя напряженным боем, почувствовал, как вдруг ослабел нажим врага, вдруг вздохнулось легче. Тогда, в этот час, далеко от Волоколамска, далеко от своих, вступили в дело наши пушки, наш батальон, отрезанный у скрещения дорог. Колонны врага были рассечены; главная дорога преграждена; удар смягчен — немцам на некоторое время нечем было наращивать наступление, нечем подпирать.

Это казалось счастливой случайностью борьбы. Но сегодняшнюю случайность Панфилов завтра применял как обдуманный, осознанный тактический прием. В этом мне довелось убедиться несколько дней спустя, когда, в новой обстановке, Панфилов ставил мне боевую задачу. Да, его войска были его академией.

7

Вновь переживая волнение боя, я описал, как залповым огнем мы проложили себе путь сквозь немецкую колонну, как прошли по трупам. Победой на лесной прогалине я втайне гордился: там, в этом коротком бою, я впервые почувствовал, что овладеваю не только грамотой, но и искусством боя.

— Вы так рассказываете,— с улыбкой произнес он,— как будто залповый огонь — ваше изобретение. Мы, товарищ Момыш-Улы, так стреляли еще в царской армии. Стреляли по команде: «Рота, залпом, пли!..»

Немного подумав, он продолжал:

— Но это не в обиду вам, товарищ Момыш-Улы. Хорошо, очень хорошо, что вы этим увлекаетесь. И в будущем так действуйте. Учите людей этому.

Он замолчал, ласково глядя на меня, ожидая моих слов. Я сказал:

— У меня все, товарищ генерал.

Панфилов встал, прошелся.

— Психическая война...— выговорил он, будто раздумывая вслух.— Нет, это слово, товарищ Момыш-Улы, не объемлет, не охватывает нынешней войны. Наша война —

шире. Но если вы имеете в виду такие вещи, как танкобоязнь, автоматчикобоязнь, окружениебоязнь и тому подобное (Панфилов употребил именно эти странноватые словосочетания, которые тогда я впервые услышал), то вы, безусловно, правы.

Подойдя к столу, где лежала карта, он подозвал меня:

— Пожалуйте-ка сюда, товарищ Момыш-Улы.

Затем кратко ознакомил меня с обстановкой. Противник сдавливал Волоколамск с севера и с юга, проник на восток от Волоколамска в пространство между двумя шоссе, навис там над тылами дивизии, но еще не смог ни в одном пункте ступить на Волоколамское шоссе.

— И тут у меня жидко, и тут страшновато,— говорил Панфилов, показывая на карте.— А сижу здесь и штаб держу, товарищ Момыш-Улы, здесь. Надо бы немного отодвинуть штаб, но тогда, глядишь, и штабы полков чуть отодвинутся. А там и командир батальона стронется, подыщет для себя резиденцию поудобнее. И все будет законно, все по правилам, а... А в окопах поползет шепоток: «Штабы уходят». И глядишь, солдат потерял спокойствие, стойкость.

И Панфилов опять улыбнулся своей обаятельной, умной улыбкой.

— Психическая война...— Панфилов хмыкнул, продолжая улыбаться: ему, видимо, все же пришлось по душе это выражение.— Да, можно было бы в этой полосе (Панфилов показал оставленную нами полосу впереди Волоколамска), можно было бы немца тут с месяц поманежить, но кое-кто поддался на его штучки, кое-где он взял нас на пустую. А все-таки уже почти две недели, если считать с пятнадцатого, мы его тут водим. Вот и выходит, товарищ Момыш-Улы, что и побеждая можно оказаться побежденным.

— Как, товарищ генерал?

— А цена? — живо ответил Панфилов.— Цена, которую платят за победу.

Назвав приблизительную цифру потерь противника за все дни боев под Волоколамском (около пятнадцати тысяч убитыми и ранеными), Панфилов сказал, что хотя эта цифра сама по себе и не велика, но все же в высшей степени чувствительна для немецкой группировки, которая прорывается на Волоколамском шоссе.

— Но еще важнее теперь для нас время,— продолжал Панфилов.

Он прислушался к глуховатому грохоту пушек, повернул лицо в ту сторону. Потом, вновь взглянув на меня, вдруг подмигнул.

— Грома у них еще много,— произнес он,— но где же молниеносность? Где, товарищ Момыш-Улы? Ее отняла у Гитлера, ее сломала наша армия, и мы с вами в том числе. Мы, товарищ Момыш-Улы, выиграли и выигрываем время.

Помолчав, он повторил:

— И побеждая можно оказаться побежденным... Вы меня поняли, товарищ Момыш-Улы?

— Да, товарищ генерал.

Разговор близился к концу. Панфилов задавал последние вопросы:

— Ну, а солдат? Что, по-вашему, вынес из боев солдат? Раскусил ли то, что вы назвали психической войной? Раскусил ли немца?

Я вдруг вспомнил Ползунова.

— Простите, товарищ генерал. Я забыл вам доложить о Ползунове.

Панфилов, припоминая, поднял брови.

— А... Ну-ну...— с любопытством проговорил он.

8

Дверь опять отворилась. Вошел адъютант.

— Товарищ генерал, к вам подполковник Витевский. Из штаба прибывшей стрелковой дивизии.

Панфилов быстро взглянул на часы.

— Хорошо, очень хорошо.

Потом непроизвольно поправил волосы, коснулся черных, подстриженных щеточкой усов, чуть выпрямил сутуловатую спину. Ему, очевидно, предстояла очень серьезная встреча. Однако, взглянув на меня, он сказал адъютанту:

— Попросите, пожалуйста, немного подождать.

Он не хотел комкать разговора со мной, он, наш генерал, умел не скупясь уделять время командиру батальона.

— Ну-ну, Ползунов...— произнес он.

Я рассказал, каким был Ползунов, когда он вышел из леса в числе тех, кого я обозвал «беглякамп», рассказал,

каким видел его в последнем бою, как сторожко ясными, разумными глазами он озирал местность с противотанковой гранатой наготове.

— Привет ему! — сказал Панфилов.— Не забудьте передать. Каждый солдат, товарищ Момыш-Улы, хочет теплого слова за честную службу.

Еще не прощаясь, он протянул мне руку и, задержав мою, опять пожал ее с теплотою, лаской, обеими руками — по-казахски.

— Я попрошу вас: сейчас же, товарищ Момыш-Улы, представляйте отличившихся к награде. Пожалуйста, чтобы сегодня же списки и характеристики были у меня... Ну, идите... Кажется, я смогу позволить вашему батальону передохнуть до завтра. Счастливо вам!..

Обгоняя меня, он быстро подошел к двери, раскрыл ее.

— Товарищ подполковник, прошу вас.

В фуражке с красным, нефронтовым, околышем вошел подполковник.

Я хотел пройти в дверь, но Панфилов тронул меня за рукав. Показав глазами на вошедшего, он потянулся к моему уху и шепнул:

— Это, товарищ Момыш-Улы, подкрепление. Дальневосточники. Мчались двенадцать дней. Успели. Вот вам, товарищ Момыш-Улы, смысл оборонительного сражения под Волоколамском.

Влагой волнения, влагой счастья заискрились на миг его глаза.

Закрывая за собой дверь, я еще раз увидел генерала. Карманные часы с отстегнутым ремешком Панфилов положил на стол. Маленький, сутуловатый, с загорелой морщинистой шеей, он стоял уже спиной к дверям и приветливым жестом указывал подполковнику стул. А другою рукой — вернее, одним лишь большим пальцем — он машинально поглаживал выпуклое стеклышко часов.

На улице падал крупный дождь. Небо было нависшим, темным. У станции гремели пушки. Стоял слабый запах гари. Все вокруг было затянуто струящейся мглистой пеленой.

ПОВЕСТЬ ТРЕТЬЯ

Синченко, коня!

1

На чем мы поставили большую точку? — спросил Момыш-Улы.

— Вот, Баурджан, посмотрите.

На фанерный ящик, служивший тут, в блиндаже, столом, я положил свою тетрадь, черновик повести.

В последней главе говорилось о марше батальона, прорвавшегося из тылов противника, затем о беседе в домике на окраине Волоколамска — беседе генерала Ивана Васильевича Панфилова с командиром батальона старшим лейтенантом Момыш-Улы.

Придвинув раскрытую тетрадь к керосиновой лампе, свет которой едва достигал углов всаженного в землю сруба из неободранных еловых бревен, Момыш-Улы склонился над моими записями.

Прошло уже несколько месяцев со дня нашего знакомства. За эти месяцы Момыш-Улы похудел; тени во впадинах лица были густо-темными; в белках не по-монгольски больших, широких глаз проступила желтизна — сказалось напряжение войны. Освещенный лампой, его резко очерченный профиль казался похожим, как и в первую встречу, на профиль индейца, памятный по детским книгам.

Склонившись над тетрадью, он не горбился. Время от времени быстрым движением узкой, худощавой кисти он откидывал прочитанную страницу. Порой пальцы касались черных, как тушь, волос, что упрямо поднимались, лишь только рука оставляла их. Вот он потянулся к лежавшему на ящике серебряному портсигару, взял папиросу и повертел ее над лампой, подсушивая табак. Закурив, продолжал читать без единого замечания, без сло-

ва. Вот наконец он захлопнул тетрадь. Я ждал, что же он скажет, но Момыш-Улы молчал.

— Это было двадцать шестого октября,— напомнил я.

— Да,— произнес он.— Двадцать шестое октября... Одиннадцатый день битвы под Москвой...

Все, кто вместе с Момыш-Улы обитал в блиндаже, уже спали под шинелями на грубо сколоченных, устланных хвоей нарах. Лишь мы двое бодрствовали, чтобы записать историю батальона, сражавшегося под Москвой.

Момыш-Улы курил. Затянувшись, он смотрел на меркнувший огонек папиросы.

— Приступим,— сказал он,— к новой повести. Но помните наше условие.

— Какое?

— Ваше божество — правда!

Он угрожающе на меня взглянул. Я покосился на его шашку, прислоненную к стене, сдержал вздох, достал новую тетрадь, взял карандаш — обе мои руки, которые Бауржан Момыш-Улы обещал одну за другой отрубить, если в книге, написанной по его рассказу, я совру, были, к счастью, еще целы.

Раскрытая свежая тетрадь, свежая, нетронутая страница ожидали слов. Момыш-Улы приступил к повествованию.

2

— Из домика, где жил Панфилов,— начал он,— я вышел около двух часов дня. Лил дождь, глухо урчали пушки, пахло гарью.

Под навесом крыльца я приостановился. Разгуливался ветер; все выбоины, ямки были затянуты лужами; неслись мутные потоки; темная вода вскипала пузырями под дождем. Непогода, видимо, зарядила надолго. В тех местах, где довелось нам воевать, такие дожди называют «мокрыми». Странное название: мокрые дожди. Хорошо, что бойцы моего батальона проведут эту ночку под крышей, помоются, попарятся в домашних баньках, отдохнут.

Плотнее нахлобучив ушанку, я сошел с крыльца. Дождь захлестал по лицу, по шапке, по ватной стеганке, уже было просохшей, пока я сидел у генерала.

— Товарищ комбат, вот плащ-палатка!

Передо мной мой коновод Синченко. Вы с ним знакомы. Смышленый и простодушный, смугловатый, сероглазый Синченко родился в одной из русских деревень Казахстана, провел детство на коне, подобно казахским ребятишкам, и свободно говорил по-казахски. После выпавших нам испытаний и этот здоровяк спал с тела; румянец, обычно игравший во всю щеку, удержался лишь на выступивших скулах. Однако серые глаза глядели на меня из-под намокшей ушанки задорно и весело.

Я накинул на плечи темно-зеленую прорезиненную ткань, на ней мгновенно появились черные штрихи дождя.

— Где штаб батальона? — спросил я.

— Вон там, товарищ комбат... Вторая улочка направо.

— Ясно. Дойду сам. А ты давай бегом! Передай, чтобы вызвали ко мне, в штаб батальона, всех командиров рот и политруков.

— Все уже собраны. Ждут в штабе, товарищ комбат.

— Кто приказал?

— Лейтенант Рахимов.

Синченко вдруг улыбнулся.

— Почему улыбаешься? Что-нибудь знаешь?

— Знаю. Батальон в резерве. Будем сутки отдыхать и...

— И что еще? Чего осекся?

— И генерал нами доволен.

— Солдатский телефон?

— Точно, товарищ комбат.

Я не поддержал этой темы.

— Боеприпасы нам доставлены?

— Привезли, товарищ комбат. И продукты привезли. И пять ящиков водки. Говорят, генерал приказал выдать нам сегодня двойную порцию.

— Не по этому ли случаю собрались командиры?

— Да...— Синченко снова улыбается.— Командиры думают, что вы сегодня устроите званый обед.

— Обед? Кому это взбрело?

— Политрук Бозжанов сам взялся готовить.

— При твоем участии?

— Точно, товарищ комбат.

— Вот всыплю вам обоим. Велю нарвать крапивы и...

Синченко знает: сейчас моя суровость напускная. Он лукаво посматривает на меня.

3

У входа в нештукатуренный рубленый дом, где разместился штаб батальона,— оттуда, из раскрытой форточки, уже выбегали черные шнуры полевого телефона,— дежурил часовой. Его залубеневшая намокшая до черноты плащ-палатка не помешала ловко отдать мне честь — по-ефрейторски, как на караул. Я узнал курносого малорослого Гаркушу, ездового пулеметной двуколки.

— Здравствуй, Гаркуша... Не дремлешь?

Гаркуша на весь батальон славился всяческими проделками, хотя попадался редко. Бойцы любили его за то, что он никогда не изменял духу товарищества, не робел ни под обстрелом, ни перед начальством, ему легко прощали разные уловки, к которым он прибегал, чтобы облегчить свое солдатское житье-бытье.

— Что вы, товарищ комбат! — смело отвечает он.— Напрасно вы обо мне так...

Мне сейчас особенно нравится маленький ловкий ездовой. Капюшон его плащ-палатки откинут. Мне хорошо видно его плутоватое лицо, по которому скатываются дождевые струйки.

— Ладно, Гаркуша... Потерпи... Сменишься — согреешься.

— Изнутри? — тотчас спрашивает он.

Я делаю вид, что не слышу этого удалого вопроса, и вхожу в дом.

4

Миновав сени, распахнув дверь, ведущую вовнутрь, я остановился на пороге.

Любопытное зрелище предстало мне. Все в комнате спали. Ожидая меня, вызванные в штаб Рахимовым командиры и политруки рот, истомленные многими днями боев и последним ночным маршем, прилегли и, наверное, тотчас уснули. Первым, видимо, лег командир роты Панюков — во всяком случае, ему принадлежало лучшее место: он растянулся у стены на голых досках единственной в комнате кровати. Самый молодой и самый быстрый среди командиров рот, он успел побриться и сменить гимнастерку.

Впрочем, выбриты, кажется, все. В спертом, несмотря на раскрытую форточку, воздухе слышен не только блиндажный запах портянок, но и душок одеколона. Должно быть, поблизости обнаружен военторг и командиры попаведались туда.

Рядом с Панюковым на краю кровати примостился политрук той же роты Дордия. Он без гимнастерки, в одной голубой трикотажной майке. Вероятно, попросил кого-нибудь — не моего ли Синченко? — подшить ему свежий подворотничок (сам Дордия не имел никаких способностей по этой части) и, не дождавшись, уснул.

Остальные расположились на полу на разостланных шинелях, подложив в изголовье противогазные сумки. Командир роты Филимонов, обычно отличавшийся здоровым кирпично-красным цветом угловатого лица, побледнел во сне. Землисто-бледным казалось и смуглое острое лицо Рахимова. А щеки Бозжанова пылали. Он, политрук расформированной пулеметной роты, спал, свернувшись калачиком, и посапывал как младенец. Неторопливый, основательный инструктор пропаганды Толстунов разулся, прежде чем уснуть, и повесил, по солдатскому обычаю, сырые портянки на голенища сапог.

Вдоль порога, на самом неподходящем месте, лежал командир второй роты Заев. Он сунул под голову кулак, не снял стеганки и развязавшейся ушанки. Единственный из всех, он не потрудился сбрить темно-рыжую щетину, колючую даже на взгляд.

Прикорнул, привалившись к стенке, и боец-связист Ткачук. У его ног — полевой телефонный аппарат. Телефонная трубка выпала из руки на пол.

Не решаясь кого-либо разбудить, я достал папиросу и закурил.

— Назад! На месте укокошу! — вдруг спросонья закричал Заев. Открыв глаза, он увидел меня и удивленно заморгал.

— Заев, на кого ты так?

— На этих... на окруженцев, товарищ комбат. Опять чуть не разбежались...

Я засмеялся. Лишь тут Заев окончательно проснулся. Вскочив, он вытянулся, отдал честь и неожиданно гаркнул:

— Встать! Смирно! Господа офицеры!

Я проговорил:

— Ну, Заев, отмочил... Хоть стой, хоть падай...

Почему Заеву вздумалось прокричать «господа офицеры», этого, наверное, он бы и сам не объяснил.

Сейчас он стоял передо мной в непросохшем ватнике, из-под которого выглядывала гимнастерка, в покрытых грязью сапогах, в мокрой ушанке. Уши ее торчали вверх и вместе с завязками свисали в обе стороны. Его лицо с выпирающими скулами, с провалами у висков и на щеках, с утиным носом никто не назвал бы пригожим. Иногда мне думалось, что в свои тридцать лет Заев еще не вполне сформировался, что какие-то гаечки в нем, как говорится, не подтянуты. И все же он был мне мил: долговязый, нескладный, стремительный во всем — в походке, в решениях, даже в чудачествах. Он казался мне похожим на знаменитого некогда Пата. Помните ли вы этого всегда серьезного киноактера-комика, длинного как жердь, неизменно совершавшего что-либо невпопад, игравшего в паре с толстяком-коротышкой Паташоном? Не раз после какой-нибудь выходки Заева я думал: «Пат! Форменный Пат!»

Показав на его измызганные сапоги, на нелепо расхлестанную шапку, я приказал:

— Приведи себя в порядок.

— Есть, товарищ комбат, привести себя в порядок.

Он сдернул шапку, посмотрел на нее и сунул за пояс, за кобуру пистолета. Потом вынул из кармана длинный складной нож — Заев почему-то называл его «боцманским»,— раскрыл, отщепил лучину от валявшегося на полу полена и принялся соскребать грязь с сапог.

5

Пробужденные возгласом Заева, командиры быстро поднялись, собрали разбросанные по полу шинели. Лишь Толстунов не спешил. Умело навертывая портянки, он наблюдал за происходившим.

— Ну-с, господа офицеры,— сказал я,— для чего пожаловали? Рахимов, зачем собрал командиров?

Рахимов стоял навытяжку, руки по швам, но эта поза у него, альпиниста, инструктора горного спорта, казалась как бы вольной, свободной. Он доложил, что получен приказ, согласно которому батальон передан в резерв коман-

дира дивизии. Затем сообщил о прибытии боеприпасов и продовольствия.

— Я вызвал, товарищ комбат,— продолжал он,— к вашему приходу командиров рот и политруков. Чрезвычайных происшествий в батальоне не было. В данное время батальон отдыхает.

— Почему отдыхает? — спросил я.— А чистка оружия? Дордия! Ты тут со всеми удобствами расположился. Даже изволил скинуть гимнастерку... В твоей роте оружие бойцы чистили?..

Дордия вспыхнул. В его наружности была редкая особенность: светло-русый, даже белобрысый, он от грузина-отца унаследовал черные глаза. Сейчас у него покраснел даже лоб. Покраснела и шея в вырезе голубой трикотажной майки, облегавшей несильные плечи.

— Кажется,— запинаясь, проговорил он,— кажется, чистили... Это командир роты... Я не знаю, товарищ комбат.

Дордия обычно робел, получая замечания. В батальоне он считался мямлей. В эту минуту ему, видимо, было трудно не отвести, не опустить взгляд. Однако он превозмог себя: черные глаза направлены прямо на меня.

— Нет, Дордия... Командир командиром, а оружие бойца — это также и твое дело. Но хорошо, что сказал правду. А что скажет командир роты?

Я посмотрел на Панюкова. Подтянут, к заправочке не придерешься. Выпрямившись, чуть вскинув черноволосую голову, он доложил:

— Приказано вычистить, товарищ комбат.

— А проверено ли?

— У меня проверено,— пробурчал Заев.

Вероятно, я одернул бы его, но тут вмешался еще один голос.

— Комбат,— улыбаясь сказал Толстунов,— оставь ты хоть на сегодня приструнивать.

6

Толстунов был единственным человеком в батальоне, кто называл меня попросту «комбат». По званию он был на одну ступень выше меня. Я, старший лейтенант, носил три «кубика» в петлицах, Толстунов — «шпалу». Он

числился в должности инструктора пропаганды при штабе полка: его «шпала» означала звание старшего политрука.

Натянув сапоги, он продолжал сидеть на своей разостланной шинели.

— Комбат,— повторил он,— я прошел по ротам. Все в порядке. Бойцы на квартирах, баранина в котлах, курево выдано. Оружие вычистят. Командиры взводов в этом спуску не дадут. А мы собрались потому, что ты пригласил нас обедать. Так каждому и было сказано: «Комбат приглашает обедать». Ну и угощай!

Я опять оглядел присутствующих. Все они выдержали боевой искус, выдержали пробу, проверку огнем. Так, по крайней мере, мне тогда казалось.

На круглом молодом лице Бозжанова я уловил улыбку. Он косился на дверь, что вела в другую комнату. Оттуда выглядывала разрумянившаяся физиономия Синченко. Они — Бозжанов и Синченко — были друзьями. Бозжанов постоянно подкармливал корочкой хлеба, а порой и сахаром наших верховых лошадей, особенно мою Лысанку. Синченко позволял ему, улучив удобный часок, проехаться, проскакать верхом. Бозжанов не умел скрывать этих маленьких тайн. Его узкие блестящие глаза все выдавали. Легко было разгадать и сейчас, почему он переглядывается с Синченко: за дверью, видимо, ждало угощение, приготовленное не без участия их обоих — коновода и политрука, любителя состряпать и покушать.

Встретив мой взгляд, Синченко мигом прикрыл дверь. Бозжанов потупился, но продолжал улыбаться. Что же, Бозжанчик, ты, пожалуй, придумал неплохо.

За окном стучал дождь, порой долетал рокот орудий, а мы справляли особенный день — дневку батальона. Много улыбок повстречал я в этой комнате. Чувствовалось, командиры принесли с собой и улыбку солдата, разувшегося наконец около печки, закурившего в тепле папиросу или толстую самокрутку махорки.

Я спросил:

— Бозжанов, а бишбармак к обеду будет?

Бишбармак — наше национальное казахское блюдо.

— Нет, товарищ комбат,— весело ответил Бозжанов.— Будет плов из барашка.

Он чмокнул губами, и все рассмеялись.

— Разрешите,— молвил Рахимов, скупым жестом указывая на заветную дверь.

— Уже разрешил! — вмешался Толстунов.— Разве не видишь? Товарищи, комбат вас просит.

И первым направился к двери.

— Подожди, Толстунов,— сказал я.— Сначала, товарищи, следует выполнить одно распоряжение генерала. Садитесь. Можно курить.

— Куда же садиться? — буркнул Заев.

Никого не спрашивая, он вышел в сени, принес на плече скамейку и поставил, или, вернее, сбросил, на пол.

Дом, видимо, был недавно покинут хозяевами. Из комнаты еще не исчезло тепло чьей-то чужой жизни. На подоконнике сиротливо лежала забытая кукла.

Я хотел заговорить, но раздался писк полевого телефона. Комиссар полка вызывал к телефону старшего политрука Толстунова.

— Наверное, сейчас влетит,— громко вздохнул тот.— Давно бы надо явиться, доложить.

Он взял трубку.

— Слушаю, товарищ комиссар... Через десять минут выхожу. Прошу разрешить десять минут.

В мембране заклокотали сердитые звуки,— по-видимому, Толстунов получал взбучку.

— Есть! Есть! — отчеканивал старший политрук.— Слушаюсь, товарищ комиссар. Есть, товарищ комиссар, немедленно.

Клохтанье в мембране стало более спокойным, поутихло. И вдруг Толстунов совсем просто сказал в трубку:

— Ну разреши, Петр Васильевич. Единственный раз собрались по-человечески. Пришел комбат от генерала. Что? Да, может быть, трахнем по единой. Не беспокойся. Все будут ходить по струнке, у него не забалуешь. Позволь, Петр Васильевич... Четверть часа? Есть, выйду через четверть часа. Благодарю, товарищ комиссар.

Отдав трубку телефонисту, Толстунов отогнул обшлаг, посмотрел на часы.

— Сколько? — спросил кто-то.

— Четырнадцать сорок... Еще часа два светлого времени.

В дни оборонительных боев у нас вошло в привычку выделять светлое время, прикидывать, долго ли до суме-

рек. Противник наносил удары в разные часы, но всегда засветло. Каждые сумерки значили, что в этой битве, где мы стояли против численно сильнейшего врага, имевшего к тому же и превосходство в танках, нами вырван у него, выигран еще день.

В комнате стало очень тихо. В молчании мы ловили ухом вдруг сразу участившееся далекое бабаханье пушек. Наверное, шла атака танков.

— Слушайте меня! — обратился я к собравшимся.— Наш батальон — в резерве командира дивизии.

Кратко передав разговор с генералом, то, как пытливо он выспрашивал о подробностях боев, я сообщил приказание Панфилова: сегодня же прислать ему для представления к награде список отличившихся.

— Это немалое дело, немалая честь,— продолжал я.— Надо поименно назвать героев батальона. Подумайте, товарищи, взвесьте. Через час к этому вернемся, спрошу у вас списки достойных. А теперь... Больше морить голодом я вас не буду. И Толстунова без обеда никуда не выпущу, наш дом не опозорю. Бозжанов, командуй. Приглашай.

7

Бозжанов не без торжественности открыл дверь в другую комнату.

Нет, не скатертью был накрыт наш званый стол. В покинутый хозяевами дом с нами вошел блиндажный быт. На столе были разостланы газеты. Копченая сухая колбаса, нарезанная крупными кусками, лежала грудами прямо на газете. Стояли вскрытые, с отогнутыми крышками, банки мясных консервов. Соленые огурцы были поданы к столу в котелке. Обещанный Бозжановым плов еще готовился в кухне, где владычествовал наш старик повар Вахитов. Посуда была сборной: разнокалиберные кружки и граненые дешевые стаканы. Бутылок без меня поставить не решились.

— Бозжанов, где водка? — спросил я.

Он без запинки ответил:

— Под столом.

Вокруг рассмеялись. Я разрешил налить по полстакана.

— Мало! — пробурчал Заев.

Он придвинул к себе жестяную кружку, подмигнул Бозжанову. Тот наливал под возгласы, под шутки. Потом спросил:

— Товарищи, кто же скажет тост?

Тотчас откликнулся, поднял стакан Панюков. В батальоне он считался мастаком по части тостов. Не раздумывая, он возгласил:

— Мир держится верностью друзей! Выпьем, товарищи, за дружбу! За боевую дружбу!

Тост был встречен одобрительно. Однако мне он показался избитым, много раз повторенным за бутылкой. Хотелось каких-то иных, берущих за сердце слов. Впрочем, ладно, обойдемся этим. Но раздался голос Заева:

— Товарищ комбат, разрешите дополнить!

Я кивнул. Непросохшая ушанка торчала теперь у Заева за поясом. Наголо стриженная шишковатая голова была обнажена. Из-под сильно выступающих надбровных дуг Заев оглядел застолье. Улыбка, как это бывает у людей чистой души, вдруг сделала нашего Пата привлекательным. Он поднял кружку.

— Товарищи, выпьем за винтовочку!

— За винтовочку? — переспросил Толстунов.

— Ага,— подтвердил Заев.— За ту самую...

Желая пояснить свой тост, он вдруг взмахнул кулаком и мрачно пропел, или, вернее, проговорил нараспев, речитативом:

Иного нет у нас пути,
В руках у нас вин-тов-ка!

Это были слова знакомой всем нам песни, будто всплывшей из времени нашего детства, из первых годов революции.

Тост понравился. Мы выпили.

8

Наскоро прожевав кусок колбасы, с сожалением глянув в сторону кухни, где доспевал плов, Толстунов выбрался из-за стола и, проговорив: «Извини, комбат. Я пошел. А то влетит от комиссара», покинул комнату.

Всем было налито еще по полстакана. Нашлась кружка и для Синченко.

Я поднялся, намереваясь произнести здравицу, но неожиданно дежурный телефонист тронул меня за плечо:

— Товарищ комбат, вас к телефону. Штаб дивизии.

Я взял трубку. За столом смолкли.

— Слушаю,— проговорил я.

— Момыш-Улы?

— Я.

— Говорит Дорфман. Передаю приказание командира дивизии: поднять батальон по тревоге и немедленно выступать в район штаба дивизии. Потом двинетесь дальше.

— С артиллерией?

— Да, со всеми боевыми средствами.

— Есть, товарищ капитан. Понятно.

— Лично вы, товарищ Момыш-Улы, немедленно к генералу.

Видимо, что-то стряслось. Капитан Дорфман говорил сдержанно, но явно не случайно дважды повторил «немедленно». Вот и конец нашему обеду, нашей дневке.

— Синченко, коня!

Этот возглас, столь знакомый моему штабу, почти всегда означал тревожную минуту.

— Товарищи, слушайте приказ.

Все встали. Я продолжал:

— Командир дивизии приказал: поднять батальон по тревоге. Я вызван в штаб дивизии. Без меня колонну поведет лейтенант Рахимов. Расходитесь по ротам! Поднимайте, выстраивайте людей.

Отворилась дверь. Повар Вахитов торжественно внес кастрюлю с дымящимся пловом. Присутствующие постарались не заметить этого. Заев крикнул:

— А ну, выпьем по второй!

Не теряя времени, он опрокинул свою кружку в рот. Потом, с хрустом жуя огурец, зашагал к двери. На ходу он нахлобучил ушанку. Незавязанные уши опять торчали вверх, тесемки по-прежнему свисали в обе стороны.

Я крикнул:

— Заев, завяжи тесемки.

— Есть, товарищ комбат, завязать тесемки!

В штабе дивизии

1

Несколько оседланных коней мокли под дождем у каменного дома, где помещался штаб дивизии. Я осадил Лысанку. От ее сырой шерсти поднимался пар. По лужам, по месиву незамощенных переулков она в несколько минут домчала меня сюда, на асфальт Волоколамского шоссе, просекающего город.

Непрекращающийся обложной дождь, исчерна-серое низкое небо делали день мрачным. Сквозь не зашторенное еще окно был виден свет — в штабе горело электричество. Невдалеке, по той же улице, находился домик, где жил генерал Панфилов. Меж раскрытых ставен тускло поблескивали стекла — Панфилов, вероятно, ушел в штаб.

Сегодня я уже побывал у генерала в этом домике. Вкратце напомню: мой батальон, отрезанный от дивизии, несколько суток не подававший о себе вестей, залповым огнем проложил дорогу сквозь немецкое расположение, пришел в Волоколамск. Генерал увидел из окна нашу батальонную колонну и тут же послал адъютанта, вызвал меня к себе. Докладывая, я делал пометки на карте генерала. Она, эта карта, запечатлела историю боев дивизии. Противник рвался к Волоколамску. Темно-синие стрелы, обозначающие напор, наступление немцев, уже почти коснулись сооружений и путей станции Волоколамск.

— Вот наш путь. В этом месте, товарищ генерал, мы пригвоздили немецкую колонну.

— Постойте... Когда это было? В котором часу? Теперь мне кое-что проясняется.

Он делился со мной своими мыслями.

— Вы поднесли немцам сюрприз,— говорил Панфилов.— С такими сюрпризами они уже встречаются не раз. И платят за них дорого, теряют кровь, наступательную силу. И, наверное, не знают, что ваш сюрприз был лишь случайностью...

Еще некоторое время он выспрашивал меня, затем сказал:

— А насчет вашего батальона вот что... Свой резерв я послал туда, где сейчас нам тяжеленько. Ваш батальон

заменит его, станет моим резервом. Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

— А теперь идите отдыхайте.

2

«Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых». Но прошло лишь два с половиной часа, как я покинул домик генерала, и вот я вновь вызван к нему. Что же стряслось?

Мимо меня в штаб пробежал офицер, разбрызгивая высокими начищенными сапогами грязь. В этой нервной поспешности, какой я никогда раньше не встречал в штабе Панфилова, чувствовалась напряженность момента.

Пушечный рокот почему-то стих. Над городом будто нависла тишина.

На серой, несколько тяжеловатой кобыле подскакал Синченко, отставший на полсотни шагов. Я спрыгнул, бросил ему повод и, принуждая себя быть неторопливым, погладил теплый храп Лысанки, успокаивая не то ее, не то себя. Довольная, она повела на меня влажным большим глазом.

У входа дорогу преградил часовой. Был вызван дежурный по штабу.

— Доложите,— сказал я.— Старший лейтенант Момыш-Улы. Явился согласно...

Дежурный прервал:

— Да, да... Вас ждет генерал. Идемте со мной.

3

В двух передних комнатах стояли и сидели штабные командиры, некоторые в шинелях, в снаряжении, готовые тотчас отправиться по поручениям. Я знал почти всех еще с Алма-Аты, с дней формирования дивизии.

На столах были установлены три или четыре телефона; по двум аппаратам разговаривали. Топилась печь. Напротив раскрытой печной дверцы, вытянув ноги к огню, сидел долговязый полковник Арсеньев, начальник артиллерии дивизии. На днях мне довелось видеть в бинокль, как он шел с отходящими орудиями. Над людьми, над пушка-

ми и порой между ними пролетали сотни трассирующих пуль, а он, старый полковник, потомственный военный, приостановился, посмотрел назад, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил, проделал все это с нарочитым спокойствием, остановил одну пушку, приказал огрызнуться.

Теперь он сидел в плетеном кресле перед огнем, откинувшись, удобно вытянув ноги, подставив жару и руки — красноватые, с длинными, чуть узловатыми в суставах пальцами. Близ него, у телефона артиллерийской связи, расположились штабники-артиллеристы.

Полковник окликнул меня:

— Момыш-Улы?! С батальоном?

— Да, товарищ полковник.

— Дело... Ну, иди, иди...

В другой комнате разговаривал по телефону капитан Дорфман. Моложавый, всегда бодрый и приветливый, он и теперь улыбнулся мне глазами. Перед ним лежала карта, испещренная красными и темно-синими значками.

— А в роще наши? — допытывался у кого-то Дорфман.— Да, да, в квадратной роще? Уцепились пулеметчики? По-видимому? Так посылайте же разведку, связь... Путевую будку удержали?

Не прерывая разговора, Дорфман указал мне рукой на притворенную дверь. Жест означал: «Проходите». Я все-таки помедлил, не решаясь войти к генералу без доклада.

Поглядывая на эту же дверь, словно кого-то ожидая, по комнате ходил начальник политотдела дивизии полковой комиссар Голушко — в шапке, в шинели, стянутой ремнем. Обычно жизнерадостный, шумливый, в эту минуту он не встретил меня шуткой.

— Батальон? Резерв генерала? — отрывисто спросил он.

— Да.

— Идите к нему!

4

Так случилось, что, открыв дверь, я уловил фразу, которая явно не предназначалась для моего уха:

— Позор! А мы вам доверяли...

В тот же миг я увидел Панфилова. Лицо его было

угрюмым. Тяжелые слова, которые я случайно услышал, относились к нему.

Неподалеку стоял грузноватый человек в мерлушковой военной шапке, что носили генералы, в кожаном черном пальто без знаков различия.

— Товарищ генерал...— обратился я к Панфилову.

— Товарищ Момыш-Улы,— остановил меня Панфилов,— здесь генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией.

Повернувшись, я встал лицом к человеку в кожаном пальто.

— Товарищ генерал-лейтенант! Разрешите обратиться к командиру дивизии. Командир батальона старший лейтенант Момыш-Улы.

— Что за партизанщина? — поморщился тот.— Почему шашка?

Я ответил:

— Я артиллерист и до сих пор не переаттестован. Ношу шашку по уставу.

Звягин покачал головой, неодобрительно взглянул на Панфилова.

— Почему вы завели такой порядок, что командир батальона является непосредственно к вам, командиру дивизии?

Панфилов покраснел. На его очень смуглой коже с морщинками у глаз, с глубокими складками около рта румянец проступил темными пятнами. Мы знали эту черточку Панфилова: когда нервничал, то этак, пятнами, краснел. Впрочем, это быстро проходило.

У Звягина, несомненно, имелись основания для упрека. За Панфиловым действительно водился такой грех: обычно он держал себя столь не по-начальнически, столь явно избегал чинопочитания, что случалось, к нему обращались вопреки уставу не только командиры батальонов, но и взводные и даже солдаты, которых он не умел или не хотел оборвать.

Теперь он объяснил, что я командую его резервным батальоном. Хрипловатый голос Панфилова звучал тихо. Казалось, Панфилов чувствует себя в чем-то виноватым, теряется перед начальником.

— А, командир резерва...— сказал Звягин.— Сколько штыков?

Я доложил:

— Шестьсот штыков, четыре станковых пулемета, восемь орудий.

Желтоватое, немного отечное лицо Звягина просветлело. Я вдруг заметил, что у него крупные свежие губы, которые раньше были словно сжаты.

— Обстреляны? В боях бывали?

— Да,— кратко ответил я.

Вмешался Панфилов. Пятна исчезли с его загорелых щек. Он в нескольких словах рассказал о батальоне, о том, как мы, отрезанные немцами, в свою очередь, перехватили скрещение дорог в тылу у них и на сутки пригвоздили к месту рвущихся в Волоколамск и в Москву гитлеровцев.

— Он действовал там не по приказанию,— продолжал Панфилов, глядя на меня.

В его маленьких глазах я уловил не только встревоженность, смятение, но и напряжение мысли. Ему, вероятно, хотелось что-то уяснить себе, поразмышлять вслух. Рука потянулась к черным с проседью, стриженным по-солдатски, под машинку, волосам — в затруднительных случаях Панфилов любил поскрести затылок,— но, спохватившись, он опустил руку.

— Действовал не по приказанию,— повторил Панфилов.— Собственно говоря, у него был другой приказ: отходить, присоединяться к дивизии. А он остановился, захватил узел дорог. Беспорядок? Конечно, беспорядок... Но все-таки... Все-таки вот он каков, этот партизан с шашкой.

Со знакомой мне легкой улыбкой Панфилов жестом как бы представил меня. Ему явно хотелось обрести свой обычный, простой, нередко шутливый тон. Но улыбка лишь мелькнула. Лицо опять стало расстроенным, угрюмым, постаревшим. Брови — очень заметные, черные, без единой седой нити, как бы изломанные под прямым углом — опять насупились.

Однако Звягин уже смягчился.

— А, вот каков! — произнес он.— Казах?

— Да.

— Хорошо.

Я ожидал, что Звягин продолжит: «Хорошо, что батальоном командует казах». Такого рода одобрения мне доводилось выслушивать от русских — они не понимали, что этим походя, не думая, задевают мою национальную гордость. Однако Звягин в этом, видимо, был чуток.

— Хорошо,— повторил он.— Сейчас генерал поставит вам задачу. Я скажу не много. Противник прорвал на правом фланге фронт дивизии. Вам придется контратаковать в темноте, отбросить немцев, восстановить рубеж и закрепиться. Закрепиться и не отходить. Ясно, товарищ командир батальона?

— Ясно, товарищ генерал-лейтенант,— сказал я.

— Сегодня, завтра,— продолжал Звягин,— решающие дни битвы за Москву. Противник измотан, обескровлен, он делает последние усилия, мы можем и должны остановить его здесь. Можем и должны, пусть даже всем нам, всему политическому и командному составу, пришлось бы с винтовками отправиться на поле боя. Позор, что мы все еще отходим! Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии.

Панфилов стоял, немного опустив голову, сутулясь. В упорных, жестоких боях, длившихся с шестнадцатого октября, немцы дважды или трижды прорывали оборонительные рубежи дивизии; казалось, фронт крошился; но наши боевые части, даже разрозненные, изолированные, продолжали драться, нападали, удерживали дороги, перед прорвавшимися немцами опять появлялись роты, батареи, батальоны; фронт снова смыкался.

А сейчас вновь рассечена наша оборона, сейчас Панфилову пришлось выслушать упрек: «Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии».

Казалось, в этот час был смят не только фронт, были смяты и мысли Панфилова.

5

— Ставьте задачу, генерал,— произнес Звягин.— Не буду вам мешать.

Он начал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину. Панфилов открыл дверь.

— Товарищ Дорфман, попрошу вас с картой.

Звягин негромко пробурчал:

— «Попрошу»... Не «попрошу», а «идите сюда с картой».

Панфилов промолчал. Опять проступили темные пятна румянца. Потупясь, он вновь слегка наклонил голову. Теперь это движение показалось мне упрямым.

В свое время меня изумляла мягкая, как бы вовсе не военная, не властная манера Панфилова, его склонность советоваться, раздумывать вслух. К подчиненным он тоже обращался как-то не по-военному: «товарищ Момыш-Улы», «товарищ Дорфман». У него был несильный голос с хрипотцой застарелого курильщика, он не любил, не позволял, чтобы перед ним тянулись, и словно не умел разговаривать повелительно. Мы скоро привыкли к этому. Однако теперь я словно увидел Панфилова глазами Звягина.

Да, наш генерал был невзрачен с виду, особенно в эту минуту. Маленький, сутуловатый, с впалой грудью, с глубокими морщинами на худой шее, он, несомненно, выглядел совсем не молодцевато, выглядел «заштатным генералом», как однажды в шутку сам себя назвал. И конечно, со стороны нелегко было понять, как же он мог управлять дивизией, подчинять своему приказу, своей воле несколько тысяч человек...

Быстро вошел Дорфман с большой черной папкой.

— Попрошу к свету, к столу,— пригласил Панфилов.— И вас, товарищ Момыш-Улы, попрошу сюда.

Он упрямо повторил свое «попрошу». Звягин промолчал. Он тоже подошел к столу. Дорфман развернул папку. Перед нами лежала оперативная карта штаба дивизии.

Думается, мне никогда не забыть этой карты. По ней походила резинка, счищая синие и красные карандашные линии. В разных местах была несколько стерта и печать, особенно вдоль оси главного удара немцев, вдоль шоссе, ведущего в Волоколамск с юга. Там в отчаянных боях положение менялось иногда по два-три раза на дню. Нанесенная красным карандашом теперешняя линия дивизии, выгнувшаяся дугой или полупетлей вокруг Волоколамска, была в двух местах разорвана — на юге и на севере. Обстановка на юге мало изменилась с того часа, как она была обозначена на карте, к которой еще днем в своем домике подвел меня Панфилов. Разорванные, разрозненные красные звенья, или, вернее, звенышки, кое-где со значками пулеметов и пушек, и сейчас еще жили, противостояли рвущимся в наши тылы немцам.

Но на правом, северном, фланге дивизии произошло, видимо, нечто неожиданное, страшное. Там зиял пролом в несколько километров по фронту. На карте эту брешь пронзила широкая синяя стрела с раздвоенным жалом.

Раздвоенное острие было нанесено пунктиром, означающим, что движение противника в этих направлениях установлено не точными данными, а изображено предположительно. Между немцами, прорвавшимися севернее города, и самим городом не было никакой преграды, никаких наших заслонов, лишь в садах у городской черты краснели в двух или трех пунктах значки зенитных пушек.

Признаюсь, меня охватила тревога. Быть может, немцы, не встречая сопротивления, уже идут сюда, к штабу Панфилова, к Волоколамску? Указывая взглядом на этот пролом, Панфилов спросил:

— Ну-с, товарищ Дорфман, какие у вас новые сведения?

Ответ был неутешителен:

— Связь, товарищ генерал, не восстановлена.

В эту минуту вошел дежурный по штабу.

6

— Товарищ генерал-лейтенант,— обратился он,— разрешите доложить.

Звягин кивнул. Дежурный сообщил, что по вызову Звягина прибыл майор Кондратьев, командир сводного полка. Недавно я слышал, что такой полк был сформирован в Волоколамске и занял участок обороны где-то по соседству с нашей дивизией.

— Кондратьев? Где он? — спросил Звягин.

— Здесь. В той комнате.

Тяжеловатыми, твердыми шагами Звягин направился к двери, распахнул ее и, не затворив, прошел дальше. Панфилов последовал за ним.

Сперва я не следил за начавшимся там разговором. Невнятно доносились лишь слова прибывшего. Казалось, он в чем-то оправдывается. И вдруг на весь дом прогремел голос Звягина:

— Перепугались?

Я приблизился к раскрытой двери. Перед Звягиным стоял худощавый, краснолицый, явно взволнованный майор в мокрой, заляпанной грязью шинели. Через всю щеку, от виска к подбородку, пролегла вспухшая царапина. Держа руки по швам, вытянувшись, Кондратьев молчал. На щеке, возле царапины, ходил желвак.

Тем же громовым голосом Звягин продолжал:

— Кто позволил отойти без приказа?

В комнате было очень тихо. Прервав работу, стояли штабные командиры. В противоположную дверь заглядывали штабники-артиллеристы. Каждое слово явственно раздавалось в тишине.

Звягин ждал ответа. Кондратьев молчал. Ухо уловило тяжелое, участившееся дыхание Звягина.

— Отвечайте! — крикнул он.— Вам известен приказ о категорическом запрещении самовольного отхода с занимаемых позиций?

Кондратьев сглотнул, выпирающий острый кадык поднялся и скользнул вниз.

— Я был вынужден,— выговорил он.

— Бежать?

Опять минута молчания.

— Всем нам приказано,— вновь заговорил Звягин, явно обращаясь не только к Кондратьеву,— приказано: теперь, в решающие дни битвы за Москву, самовольное оставление позиции равносильно предательству и измене Родине! Вы поступили как предатель...

— Что же я мог, если...

— Молчать! — загремел голос Звягина.— Оружие на стол!

Майор побледнел. Вспухшая царапина, смутно темневшая на красноватой коже, вдруг резко обозначилась, выделилась багровой полосой. Точно кто-то хлестнул его по лицу. Оглянувшись, будто ища участия, майор снял поясной ремень с пристегнутой кобурой пистолета и положил на стол.

— Звезду долой!

Мгновение поколебавшись, Кондратьев снял мокрую шапку и отодрал красную звезду.

Звягин неумолимо продолжал:

— Арестовать! Предать суду! Судить сегодня же... Завтра объявим приказом по армии... Увести!

Молодой лейтенант, комендант штаба дивизии, хмуро произнес:

— Пошли...

Кондратьев двинулся первым, комендант за ним. Звягин повернулся к Панфилову:

— Генерал, я возьму у вас на время несколько политработников и штабных командиров. Поедем в этот полк.

Поможем собрать тех, кто разбежался, сколотим и поведем в контратаку. Звоните к себе,— приказал Звягин начальнику политотдела.— Пусть ваши работники садятся на коней. Сейчас выезжаем.

Через несколько минут, захватив приготовленную для него свежую карту с обстановкой, Звягин покинул штаб дивизии.

7

В комнату, где я все еще находился, вернулся Панфилов. Сюда же вошел долговязый артиллерийский полковник. Несколько по-домашнему, даже как бы бравируя небрежностью тона, он бросил:

— Контратака... Слезы, а не контратака...

Панфилов резко обернулся.

— Не понадобится ли вам платочек? — спросил он.

Такова была манера Панфилова. Он не вспылил, не закричал: «Вы забываетесь!» или: «Вы распустили нюни!», не прибег к громким словам, а ограничился ироническим вопросом.

Полковник Арсеньев понял иронию, выпрямился, опустил руки по швам.

— Разрешите идти? — произнес он.

— Идите,— ответил Панфилов.

Мы остались с Панфиловым вдвоем. Снаружи кто-то закрыл ставни. Панфилов посмотрел на карту, лежавшую на его столе, прошелся по комнате. И неожиданно сказал:

— Вас удивляет беспорядок? Да, беспорядка много, товарищ Момыш-Улы.

Потом, следуя каким-то своим мыслям, он спросил:

— Вы читали, товарищ Момыш-Улы, военные работы Энгельса?

— Нет, товарищ генерал.

— Советую прочесть... Кажется, именно у Энгельса в одном месте говорится, что в военном деле случается и так: беспорядок есть новый порядок.

Ему, вероятно, хотелось походить, поразмыслить вслух. Но он вынул карманные часы, отстегнул, положил на стол.

— Идите-ка сюда, товарищ Момыш-Улы... К карте.

Минуту-другую Панфилов молча смотрел на карту. Синяя стрела, устремленная к городу с севера, по-прежнему была намечена легким пунктиром. Как сообщил Дорфман, связь с полком, на участке которого прорвались немцы, все еще не была восстановлена. Двигается ли оттуда противник? Серьезная ли это опасность? Или лишь демонстративный обманный удар, рассчитанный на отвлечение резерва? Имеет ли право Панфилов послать туда, в неизвестность, в ночь, свой последний резервный батальон? И имеет ли право не посылать, если линия обороны прорвана, если путь к городу открыт?

На столе тикали часы. Время шло. Следовало решать.

— Вот, товарищ Момыш-Улы, линия укреплений под Волоколамском,— обратился ко мне Панфилов.

Тупым концом карандаша он очертил северный отрезок Волоколамского укрепленного района, заранее, еще до прибытия дивизии, подготовленного оборонительного рубежа по рекам Ламе и Гродне.

— Но здесь вы не закрепляйтесь,— продолжал Панфилов.— Видите, тот берег господствует... Обвод сделан по шаблону: река,— значит, бери карандаш, проводи линию...

Кажется, я уже как-то говорил об одном жесте, свойственном Панфилову в минуты колебаний, неясности в мыслях,— в такие минуты он непроизвольно слегка растопыривал пальцы. Вот и сейчас он повертел в воздухе растопыренной пятерней, вероятно даже не заметив этого.

— Ваша задача,— сказал он,— пройти на тот берег, занять вот эти высоты, деревню Иванково и задержать противника. Если же столкнетесь с ним раньше, вступайте во встречный бой. Попятно?

— Понятно, товарищ генерал.

— Идите... В штабе возьмите листы карты.

— Есть, товарищ генерал.

Глядя в глаза Панфилову, я произнес «есть!», а сам подумал: «Ты не уверен, ты колеблешься, не знаешь, на что решиться. Зачем же посылаешь меня?» Впервые за все время, что мне довелось общаться с Панфиловым, он вызвал во мне досаду.

Как сказано, я смотрел прямо в глаза генералу. И вдруг, словно разгадав мои мысли, он добавил:

— Я сомневаюсь, я колеблюсь, товарищ Момыш-Улы. У меня нет решения, но нет и времени.

В один миг неприязнь к Панфилову превратилась в нежность, в любовь. Ведь он правдив, честен со мной, он не разыгрывает передо мной непогрешимого.

— Признаться,— продолжал он,— я подумывал поручить вам вести бой в городе. Подумывал: после того как мы измотаем противника здесь,— Панфилов показал карандашом рубежи боев с главной группировкой немцев,— я поручу вам оборону в самом городе. Может быть, выдержать характер, не посылать вас?

Панфилов живо посмотрел на меня, даже подался ко мне, явно ожидая моих слов, моего совета. Но что я мог посоветовать генералу?

— Что там творится,— вновь заговорил он, касаясь карандашом пролома на севере,— я не знаю. Возможно, вам придется принимать решения самому. Смело это делайте, я вам доверяю. Возможно, вдогонку еще что-нибудь сообщу. Ну, товарищ Момыш-Улы...— Он протянул мне руку, крепко пожал мою.— Верю вам, товарищ Момыш-Улы. Чести вы никогда не потеряете.

— Никогда! — твердо ответил я.

Я уже повернулся, чтобы идти, однако Панфилов задержал меня.

— Еще одно: не пренебрегайте осторожностью. Пусть сперва авангард ввяжется. Вы ориентируетесь — и со своими главными силами бочком, бочком... Глядишь, выбьете без больших потерь. Вы меня поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— Ну, идите, идите... До свидания.

В его глазах я уловил ласку и встревоженность.

Батальон во тьме

1

Выйдя из штаба, я мигом разыскал взглядом Лысанку. Ее даже в сумерках не спутаешь с другими лошадьми: на лбу большая белая пролысина, на сухих, тонких ногах белые чулки до колен. Гнедая, она сейчас под дождем казалась черной.

Синченко караулил меня. Держа в поводу Лысанку и свою Сивку, он быстро зашагал мне навстречу.

Вскоре мы подскакали к батальону, расположившемуся в стороне от шоссе, в боковой улице. Я издалека увидел черневшие на мостовой орудийные запряжки, двуколки с пулеметами, обозные повозки, кухни на колесах. В ожидании меня батальон расположился на привал. Неясными группами, в потяжелевших на дожде шинелях, бойцы тесно сгрудились на ступеньках крылец или притулились у заборов. Далеко пролегла россыпь красных точек тлеющего курева, разгорающихся при затяжках.

Город был темен, тих, в окнах — ни огонька. Лишь на станции не унимался пожар. Небо там смутно багровело.

2

Меня узнали издали. Рахимов скомандовал:

— Встать! Смирно!

Я крикнул:

— Отставить! Вольно!

Рахимов доложил, что один дом он занял для штабной работы, подтянул туда связных. Мой немногословный, незаметный начштаба всегда был предусмотрителен. Всякий раз, когда я видел Рахимова, я без расспросов знал: почти бесшумно, почти невидимо для ненаметанного глаза четко действует управление батальоном. Вручив Рахимову свернутые в трубку листы топографической карты, которые Синченко заботливо завернул в плащ-палатку, я приказал:

— Передать по колонне: командира третьей роты ко мне!

Рахимов проводил меня к дому, облюбованному им для штаба. Тотчас туда же подбежал Филимонов:

— Товарищ комбат, по вашему приказанию явился!

— Рахимов, дай Филимонову карту. Держи, Ефим Ефимович. Разворачивай.

Здесь же, на крыльце, укрывшись от дождя под кровелькой, мы рассмотрели свежий, еще без привычных глазу сгибов, квадрат карты. Рахимов направил на нее сноп лучей карманного фонарика. Я показал Филимонову деревню Иванково:

— Видишь? Сюда подходит колонна противника, прорвавшегося на правом фланге. Силы его не выяснены. Задача батальона: преградить путь к городу. Ты, Ефим Ефимыч, пойдешь головной заставой. Твоя задача — прийти в Иванково раньше немцев, ввязаться в дело, навязать им бой, притянуть к себе. А потом я с главными силами ударю с фланга или с тыла. Отдаю тебе половину огневых средств — два пулемета, четыре орудия. Если встретишь немцев ближе, оседлай дорогу, не уступай ее. Связь пока будем держать через связных. Понял, Ефимыч?

— Понял, товарищ комбат... Упрусь — и ни шагу назад.

— Нет. Можешь поиграть с ним. Можешь немного отойти. Втягивай его. Но держи поводья.

— Лучше я упрусь, товарищ комбат, на одном месте.

Военные хитрости были Филимонову не по нутру. Он привык выполнять точные, вполне ясные ему приказы.

— Ладно,— сказал я,— упрись. Потом все будет видней. Ну, поднимай людей и отрывайся. Я выступлю через двадцать минут. Маршируй ходко, по-суворовски.

Сбежав с крыльца, Филимонов зычно прокричал:

— Третья рота, становись!

Прозвучали повторные команды: «Первый взвод, становись!», «Второй взвод, становись!»

На фоне низкого зарева вырисовалась черная поросль штыков. Рота построилась. Я подошел к Филимонову:

— Командирам и бойцам задачу растолкуешь на ходу. Выступай! Не теряй времени.

Быстро засунув под ремень полы шинели, Филимонов, заправский ходок, встал во главе роты. Раздалась его команда: «Марш!» Рота двинулась. Четыре орудия, две двуколки с пулеметами тронулись за ней.

3

Отправив головную походную заставу, я зашагал к штабу. Хотелось курить. Но в карманах папирос не оказалось.

— Синченко!

— Я, товарищ комбат.

— Дай пачку «Беломора».

В тот же миг передо мной выросла невысокая фигура с винтовкой.

— Товарищ комбат, закурить не угостите?

Я разглядел лукавую физиономию Гаркуши.

— А, боец Гаркуша... Что за вольности?

— Почуял дымок, товарищ комбат.

— Ишь ты... Я еще не закурил, а Гаркуша уже дым почуял.

— Не зеваю, товарищ комбат. Меня еще родитель обучал: пока рохля разувается, расторопный выпарится.

Несколько бойцов уже присоединились к Гаркуше, обступили меня. Поговорка была встречена смешком. Синченко подал мне пачку «Беломора». Я надорвал ее, протянул бойцам:

— Закуривайте.

Разумеется, никто не отказался. Гаркуша сумел, как я заметил, ухватить сразу две папиросы. Затем он же, несмотря на ветер и дождь, ловко зажег спичку, поднес мне огоньку.

Я пошел в штаб. Там меня ждали созванные Рахимовым командиры и политруки. Я объяснил обстановку, объяснил задачу батальона.

— Ступайте, товарищи, к бойцам,— сказал я.— Растолкуйте: нам предстоит встречный бой, бой ночью, в темноте. Драться придется на близком расстоянии. Дело будет решать бросок гранаты, штык. Выступим через пятнадцать минут. Пообедаем на марше. Сделаем привал за чертой города. Вопросов нет? Идите.

Командиры ушли. Задержался лишь политрук Дордия. Не очень умело козырнув, он произнес:

— Разрешите, товарищ комбат, провести с ротой беседу.

— Что же ты народу скажешь?

— Думаю сказать, что подходит годовщина Октября... И вот... Как боролись подпольщики-большевики. А еще раньше революционеры-демократы... Чернышевский, например...

— Э, Дордия, заехал...

Дордия замялся, замолчал.

— Эка хватил!.. Зачем это солдату?

— Зачем? — переспросил Дордия.— А Ленин?

— Что Ленин?

— Он еще юношей полюбил Чернышевского. И любил всю жизнь. Чернышевский вывел образ революционера, для которого превыше всего долг...

Дордия оживился. Он попал на своего конька, заговорил на тему, что была ему близка.

— Некогда, Дордия, тебя слушать,— сказал я.— Иди в роту. И говори с бойцами проще.

Дордия покраснел. Краска залила даже шею.

— Иди! Напутственное слово я сам скажу бойцам.

Ничего не ответив, Дордия отдал честь, мешковато повернулся, ушел.

4

Вскоре бойцы были выстроены.

Медленно проезжая вдоль строя, я в полутьме различал знакомые лица.

Вот вторая рота, самая немногочисленная, потрепанная в славной контратаке под селом Новлянским. Вспомнился вскинутый в замахе огромный приклад ручного пулемета, что, как дубину, поднял над собой ринувшийся на врага Толстунов. Вспомнился его яростный зов: «Коммунары!»

Жаль нет сейчас с нами Толстунова. Почти одновременно с ним поднялся в атаку Заев — они повели за собой роту. Вот он, Семен Заев, стоит на правом фланге, ссутулившийся, длинный, несуразный. На поясном ремне висит пистолет в кобуре, ручка другого пистолета — парабеллума, взятого в Новлянском у застреленного немца,— торчит из-за пазухи шинели. Шапка низко нахлобучена, ее уши наконец подвязаны.

А вот молодое лицо Ползунова. Не пряча от дождя шею в воротник, он смотрит доверчиво, серьезно. Сегодня наш генерал услышал от меня о нем. Услышал, как этот юноша солдат, сжав ручку противотанковой гранаты, следил ясными глазами за надвигавшимися черными коробками, с ходу стрелявшими в нас. И о тяжелораненом командире второй роты Севрюкове, о герое лейтенанте Донских, о струсившем Брудном, который потом стал бесстрашным. Вот он стоит со своими разведчиками, маленький смуглый Брудный. А вот пулеметная двуколка. Рядом пулеметный расчет: очкастый, слегка вытянувший ко мне длинную шею Мурин, саженный, возвышающийся

над строем бывший грузчик Галлиулин и невысокий Блоха с белесыми, неразличимыми в сумерках бровями.

Что им сказать, моим солдатам, перед новым боем?

Остановив коня, я обратился к строю:

— Товарищи! Нам хотели дать отдохнуть, но не пришлось. Нельзя отдыхать, пока враг под Москвой. Мы идем в бой, идем вперед вопреки всем трудностям. В будущем станут допытываться: что же это за люди, которые боролись под Москвой с такой отвагой? Ответим им теперь: это советские люди, защищающие свою Родину!

Выдержав паузу, я приказал:

— Рахимов, ведите батальон.

5

Мы двинулись, выбрались из города.

Должен сознаться: я был недоволен своей речью. Язык произнес привычные, стертые слова: советские люди и так далее... А что это такое? Разве советский человек не такой же, как и все иные?

Я рассердился на себя. Зачем было пользоваться избитыми фразами, повторять наскучившие общие места? Неужели не мог найти собственных, выношенных, задушевных слов?

Кто-то ко мне подошел, зашагал рядом с Лысанкой. А, верзила Заев...

— Крепко сказали, товарищ комбат,— пробурчал он.— Здорово! До нутра дошло!

Заев никогда мне не льстил. Лесть была чужда его натуре. Что же дошло в моей речи до нутра? Какая ж большая правда, тронувшая душу Заева, душу солдата, заключена в этих примелькавшихся словах: советские люди, советский человек?

6

Роты шагали по проселку, меся грязь. Позади, выделенные заревом, чернели купола церквей, башни колоколен. Вскоре их затянула мгла.

Усилился ветер. Но дождь стал утихать. Утихла и пальба. Не слышалось ни близко, ни вдали даже одиноч-

ных винтовочных выстрелов. Казалось, все замерло под Волоколамском.

Однако мы, идущие сейчас в неизвестность, в темноту, мы знаем: впереди линия обороны прорвана; сбегающиеся с севера к Волоколамску проселки, по одному из которых мы шагаем, уже не прикрыты нашими войсками; где-то во мгле перед нами противник.

Лысанка легко, точно не по вязкой грязи, шла подо мной сбоку колонны. Задумавшись, я грузно сидел в седле. И вдруг услышал позади топот коней. На миг топот смолк. Донесся торопливый вопрос:

— Где командир батальона?

И чей-то ответ:

— Впереди.

Минуту спустя меня нагнал майор из штаба дивизии в сопровождении двух бойцов.

— Фу-ты... Далеконько вы ушли,— обратился он ко мне.— Придется поворачивать. Привез вам, товарищ старший лейтенант, новый приказ. Командуйте батальону: стой!

— В чем дело? Почему?

Отъехав вместе со мной в сторону, майор объяснил: удалось наконец восстановить связь со штабом полка, на участке которого прорвались немцы. Мой батальон по приказу генерала поступает в оперативное подчинение командиру этого полка, подполковнику Хрымову. Мне приказано изменить маршрут батальона, идти не в Иванково, а в Тимково. Задача: занять Тимково, Тимковскую гору и держаться там.

Я спросил:

— А почему так, товарищ майор?

— Не знаю... Мое дело передать вам приказание.

— Вы сами говорили с Хрымовым?

— Нет. Говорил начальник штаба.

— Могли бы у него спросить.

Майор был задет.

— Не имею обыкновения задавать вопросы старшим начальникам.

Я не сдержался:

— Напрасно.

И, четко козырнув майору, крикнул:

— Синченко!..

— Я, товарищ комбат!

— Передай Рахимову: остановить батальон!

Обернувшись к майору, я вновь козырнул:

— До свидания, товарищ майор.

Он сухо ответил:

— До свидания... Поворачивайте скорее.

7

Приказав сделать привал, я вызвал к себе командиров. Солдаты присели у дороги на мокрую, побитую заморозками траву. Жадно закурили, пряча огоньки самокруток. Заметно похолодало. Снова припустил мелкий, будто сеющийся сквозь сито, дождь. Эту изморось подхватывал, хлестал ею по шинелям, по плащ-палаткам, по ушанкам злой северный ветер.

Рахимов опять, как и на улице Волоколамска, навел луч карманного фонарика на прямоугольник карты, просвечивающий сквозь прозрачную крышку планшета. Я сообщил командирам о новом приказе: повернуть на Тимково, занять эту деревню, удерживать Тимковскую гору, господствующую, как показывала карта, над Волоколамском. Объяснив задачу, я приказал:

— Рахимов, дай Бозжанову коня. Бозжанов, гони к Филимонову, передай, чтобы возвращался.

Кажется, я уже говорил, что Бозжанов, как и многие мои сородичи-казахи, любил верховую езду. Не часто ему выпадал на войне случай вдеть ногу в стремя, натянуть повод. Поэтому даже теперь, в эту тревожную минуту, он доволен поручением. Его молодое, широкое, обрызганное дождем лицо серьезно. Но ответ весел, быстр:

— Слушаюсь, товарищ комбат!

Тон Бозжанова вызывает улыбки. В отсветах фонарика я вижу: улыбается Дордия, зябко втянувший под дождем голову в плечи, улыбается сдержанный Рахимов. Я велю:

— Выполняй!

Откозырнув, Бозжанов поворачивается, шагает во тьму. Вот уже видна только его спина — надежная, немного наклоненная вперед, будто тоже, как и весь он, устремленная к цели. «Стрела!» — приходит на ум нужное слово. Я продолжаю распоряжаться:

— Панюков!

Командир первой роты Панюков — тот, что за нашим

прерванным, несостоявшимся обедом возгласил тост за дружбу,— делает шаг вперед, четко, каблук к каблуку, несмотря на грязь, приставляет ногу. Поясной ремень туго стягивает хорошо пригнанную сейчас мокрую шинель. Багровый полусвет, отблеск далекого пожарища, смутно озаряет его худощавое лицо.

— Панюков! — говорю я.— Корми людей. Через пятнадцать минут выступай как головная походная застава. Займи Тимково. Видишь? — Я показываю Тимково на карте. Панюков сверяется со своей картой.— Закрепляйся там. Потом я подойду со всеми силами.

— Товарищ комбат, а где противник?

— Черт его знает... Будем надеяться, даст знать о себе.

Тут подает голос Дордия:

— Товарищ комбат, разрешите.

— Ну...

— Товарищ комбат,— неуверенно говорит он.— Может быть, лучше подождем утра?

Не решаясь вслух поддержать политрука, Панюков вопросительно и, как я улавливаю, с тайной надеждой смотрит на меня. Отрезаю:

— Что за разговоры? Приказано поворачивать на Тимково,— значит, рассуждать нечего. Иди в Тимково! Занимай деревню! Понял, Панюков?

— Да, товарищ комбат.

— Отдаю тебе всю артиллерию, имеющуюся в наличности... Ну, корми людей. Сейчас Пономарев подгонит сюда кухни. Пономарев, ко мне!

Передо мной вытягивается Пономарев:

— Слушаю вас, товарищ комбат.

— Пономарев, давайте-ка сюда кухни.

Смутно различаю лицо Пономарева. Кажется, он растерян. Да, так оно и есть. Слышу ответ:

— Кухонь нет, товарищ комбат.

— То есть как это нет? Куда же они делись!

— Майор из штаба дивизии приказал: весь обоз направить назад в город, идти налегке.

— Весь обоз? И ты отправил?

— Да, товарищ комбат. Исполнил все бегом.

Я не могу удержаться от ругани.

— Ведь ты, бестолочь, знал, что люди не ели. Почему не доложил мне?

Пономарев молчит.

— Черт тебя возьми! Шагай в Волоколамск! Привези хоть сухарей! Без сухарей не появляйся!

8

— Придется, Панюков,— проговорил я,— идти наголодке... Может быть, у немцев разживемся чем-нибудь... Выстраивай роту, веди.

Панюков повелительно кричит во тьму:

— Связной, ко мне!

Тотчас появляется маленький Муратов:

— Я!

— Пойдем!

Ступая по чавкающей грязи, Панюков зашагал к своей роте. Я смотрел ему вслед. Все вроде бы сделано; приказание отдано; подчиненный ответил «слушаюсь», отправился выполнять. Но смотри на его плечи, смотри на его спину: что они скажут? Мне вдруг почудилось: спина Панюкова, всегда статная, выпрямленная, сейчас выглядит понурой, неуверенной. Это мгновенное впечатление словно ударило меня. Подмывало крикнуть: «Стой, ты не пойдешь!» Но я тут же себя одернул. Видимо, развинтились нервы. Бестолковщина, потемки, неизвестность играют со мной шутки.

Вот еще одна спина — связного Муратова. Он преданно шагает рядом с командиром. И, наконец, третья спина — плохо видящего в темноте, нетвердо ставящего ногу политрука Дордия.

Да, шалят нервы. И что-то неможется, знобит. Черт возьми, этого еще не хватало — захворать! Нет, не поддамся, справлюсь.

Слышу команды, шум строящейся роты, потом тяжелые, мерные шаги. Рота Панюкова ушла.

Я остался в поле с ротой Заева.

9

Ко мне подошел Заев. Из-за пазухи его шинели по-прежнему торчит ручка парабеллума.

— Товарищ комбат, стеганка небось промокла. Шинель вам не мешало бы надеть.

— Потерпим. Глядишь, и другие не распустят нюни.

— Никто и не распускает,— хрипло бурчит Заев.— Поколе у нас такой комбат.

— Поколе...— иронически повторяю я.— Прибереги любезности до другого раза. Лучше пойдем промнемся.

Некоторое время мы с Заевым молча прохаживаемся по дороге, отдаляемся от сидящих по гребешкам канавы спиной к ветру бойцов. Простуженным басом Заев угрюмо говорит:

— Нескладица! Гоняют вперед, назад... Батальон разорвали на три части... Кавардак!

В словах Заева, словно в отражении, я узнаю собственные мысли. И резко обрываю:

— Об этом, товарищ лейтенант, вашего мнения я не спрашивал.

Заев хмуро отвечает:

— Есть!

Мы возвращаемся, подходим к бойцам. Ко мне опять смело подскакивает Гаркуша:

— Товарищ комбат, разрешите развести костерик... Согреть душу.

— Костров разводить нельзя. Будем греться куревом.

— Папиросок, товарищ комбат, нет.

— Что же, закуривай...

Вынув пачку «Беломора», угощаю Гаркушу папиросой. Тотчас вокруг собираются бойцы. Из-за плеч Гаркуши тянет длинную шею Мурин. Он тоже угощается из моей пачки. Я спрашиваю:

— Как, Мурин, не раскис?

Мурин отвечает:

— Выдублены... Эта дубка не раскиснет...

Ого, какие слова усвоил Мурин, бывший аспирант консерватории! Дубка... Знал ли он раньше, до армии, это словечко?

Вторая рота... Любимая, самая крепкая, гнавшая немцев, не принявших вызова на рукопашку... Вторая рота... К ней в жару незабываемой первой атаки прикипело сердце комбата.

Я, разумеется, знал наизусть пункт устава, требующий постоянного личного общения командира с подчиненными. Не всегда это общение мне легко давалось. Однако сейчас вовсе не только пункт устава движет мной.

— Сегодня, товарищи, я побывал у генерала, — негромко произношу я.

Те, кто меня слушает, сдвигаются теснее. С мокрой земли поднимаются, подходят еще и еще бойцы.

— Генерал Панфилов велел мне,— продолжаю я,— передать привет лейтенанту Брудному... Брудный, где ты?

— Здесь, товарищ комбат.

Толпа расступается, я смутно различаю легкого на ногу, худощавого Брудного. Сейчас он замер, не шелохнется. Недавно я его казнил перед строем, казнил не пулей, а бесчестьем.

Я чувствую, Брудный ждет еще каких-то моих слов. И вместе с тем не хочет их, стесняется.

Я говорю:

— Собирался представить тебя, Брудный, к награде, но видишь... Придется еще раз стукнуть немцев, чтобы дали спокойно написать.

Брудный молчит. Незримый ток доносит ко мне его волнение. Справившись с собой, он бойко отвечает:

— Обеспечим, товарищ комбат.

Ответ нравится, бойцы смеются. Ну, хватит с тебя, Брудный. Я продолжаю:

— И тебе, Ползунов, привет от генерала. Слышишь?

Из темноты раздается:

— Служу Советскому Союзу, товарищ комбат!

— Я, товарищ комбат, взял его в пулеметчики,— вмешивается без разрешения Заев.— Ничего, парень способный. Сам его учу.

Не хочется кого-либо подтягивать в такую минуту, но существует закон командира, его крест: никогда не спускай!

— Следовало бы, товарищ лейтенант,— говорю я Заеву,— сперва обратиться ко мне: «Разрешите сказать...»

— Виноват,— бурчит Заев.

— Хвалит тебя, Ползунов, командир роты. Зря он не скажет. Но не возгордись. А то велю нарвать крапивы...

Бойцы встречают смехом знакомую шутку.

Солдатский смех всегда отраден. Усталые, давно не евшие, закинутые сюда, под дождь, в темное поле, в неизвестность, они сами не ведая того учат душевной стойкости меня, своего комбата.

Побыв с бойцами еще некоторое время, я снова зашагал по расползающейся под ногами вязкой грязи, вдоль немногих оставшихся у меня запряжек.

Вон темнеет напитавшийся дождевой влагой брезентовый верх широкой санитарной фуры. Где-то тут я сейчас, наверное, увижу нашего батальонного врача, капитана медицинской службы Беленкова. Иногда, пожалуй, в нервной обстановке боя я был к нему несправедлив, не раз, точно хлыстом, огревал резким словом за суету, за боязливость. Надо бы теперь как-то поправить, возместить обиду, уловить в полутьме улыбку и на его длинном, всегда бледноватом лице.

Задний борт фуры опущен. На краю деревянного настила тесно сидят, свесив ноги, несколько санинструкторов и пожилой фельдшер Киреев, все еще, вопреки испытаниям и лишениям, не потерявший грузноватости.

— Киреев, ты?

Санитары соскакивают. Слезает, покряхтывая, Киреев.

— Сиди, сиди,— говорю я.

Но старый фельдшер не позволяет себе этого. Тяжело спрыгнув, он говорит:

— Дремлем... Извиняюсь, товарищ комбат.

— Чего извиняешься? Когда же и подремать, как не теперь? Где доктор?

— Спит,— вполголоса, боясь потревожить сон врача, отвечает Киреев.— Постелили ему, товарищ комбат, в фуре. Уснул тут на спокое. Будить?

— Не надо... Разбудят без нас.

И вдруг словно в подтверждение моих слов, где-то вдалеке — там, куда ушла рота Панюкова,— глухо затрещали винтовочные выстрелы. Потом застрекотал пулемет.

Черт возьми, там уже бой! А роты Филимонова нет! И Бозжанов будто сгинул!

От санитарной фуры я быстро направился к роте. Синченко уже шел навстречу мне с лошадьми. Одним махом вскочив в седло, я подрысил к стоящим на дороге Рахимову и Заеву.

— Заев! Поднимай роту! Рахимов, веди колонну на Тимково! Синченко, за мной!

Не теряя больше ни минуты, не оглядываясь, я погнал Лысанку на звук выстрелов, туда, где вступила в бой рота Панюкова.

Ночь

1

Вдвоем — я впереди, Синченко следом — мы скачем впотьмах. Почти не требовалось сверяться с картой, чтобы держаться пути, которым прошла рота Панюкова. На развилке, на скрещениях дорог мы поворачиваем на выстрелы. Ориентиром служит и колея, продавленная в грязи тяжелыми колесами пушек. В какой-то миг в небе завиднелись ракеты, будто замирающие в высоте, источающие далекий, бледный свет. У Панюкова не было ракет. Это немцы освещают местность.

Дорога пошла вниз. Дождевая вода тут уже не застаивается в рытвинах, колеях и канавах, а бежит под уклон. Чем ниже в ложбину, тем темнее, отсюда уже не видно ракет, их заслонил гребень горы. Лишь край зарева все еще мутнеет над нами. Можно разглядеть раскинувшиеся вдоль дороги домики и палисадники. Никто нас не окликает, только тявкают собаки. На минуту сбоку открывается прогалина, далекий раздол: в небе вырисовываются черные ветки, оголенные ранними морозами. Глаз схватывает, фиксирует каждую подробность — отсюда уже близка черта, где идет бой.

Вскоре Лысанка настороженно замедляет шаг. Слышен шум несущейся где-то внизу воды. Еще минуту-другую длится спуск. Лысанка останавливается. Перед нами ручей, вздувшийся от долгого дождя. На карте этот ручей обозначен тонкой голубой волосинкой. В сухую погоду его, наверное, можно перейти, не черпнув голенищами. А сейчас вот он каков! Поток пенится, клокочет у хлипких деревянных устоев, поддерживающих узкий, почерневший, почти неразличимый настил. Пушки не пройдут по этому хлипкому мостку. Где же переправлялись запряжки? Не ожидая вопроса, остроглазый Синченко находит колею, показывает мне. По следу пушек направляю Лысанку. Она выносит меня через обдающий брызгами шумный водоскат на другой берег. Взбунтовавшаяся быстрая вода смывает грязь с белых чулок Лысанки, они чуть светлеют в потемках. Моя легкая лошадка и крупная, сильная Сивка, которую, слышу, нахлестывает Синченко, взбираются по крутизне, по вязкой черной грязи.

Внезапно из мглы раздается окрик:

— Кто это? Стой!

Узнаю голос командира батареи лейтенанта Кубаренко. И он уже узнал Лысанку.

— Товарищ комбат, вы?

— Кубаренко, ты почему здесь? Где твои орудия?

— Застряли, товарищ комбат... Вот поглядите.

Он указывает вперед. Я шевелю повод, трогаюсь и почти тотчас наталкиваюсь на завязшие пушки. Различаю очертания павшего коня. Другие кони понуро стоят, выбившись из сил. Артиллеристы притулились к пушкам.

Кубаренко докладывает:

— Как переправились, товарищ комбат, так и засели... Вытаскивали вместе с пехотой орудия на руках, но время уходило, и пехота пошла дальше.

На высоте, за невидимым отсюда гребнем, стучат два или три пулемета. По звуку определяю: немецкие. Доносятся редкие глухие разрывы мин. Это опять-таки немцы бьют из минометов. У нас с собой минометов нет. Я спрашиваю:

— Отсюда не сможем стрелять?

— Нет, товарищ комбат. Чертовски круто. Слишком велик угол.

— Вот что, Кубаренко... Подойдет Филимонов, тебя вытащим. А Заев пусть не задерживается. Передай ему, чтобы скорей вел роту вверх.

Пришпорив Лысанку, кричу:

— Синченко, за мной!

И гоню в гору.

2

Оскальзаясь, приседая на круп, с усилием вытаскивая копыта, Лысанка одолевает подъем. Ладонью я похлопываю по шее славную лошадку. Влажная шерсть горяча.

Вверху, на фоне белесого смутного мерцания, обозначился гребень. Затем взгляду открылись обрезанные гребнем траектории взлетающих, вспыхивающих в выси ракет. Нагоняю нескольких бойцов, бредущих в гору.

— Кто такие? Стой!

— Свои, товарищ комбат.

— Как фамилия? Какой роты?

— Боец Березанский, товарищ комбат. Из первой роты.

Березанского в роте звали стариком. Он вечно покашливал табачным застарелым кашлем с хрипотцой, с отхаркиванием. Пожалуй, единственный среди бойцов, он носил усы, длинные, слегка свисающие, прокуренные над губой, а на концах светлые, пшеничные. Нередко он раздражал меня медлительностью. Вот и сейчас еле плетется.

— Куда идете? Где командир роты?

— Не знаем. Сами ищем. Потерялись, товарищ комбат.

Про себя чертыхнувшись, проезжаю дальше. Дождь перестал, но с горы по-прежнему бежит вода. Лысанка наконец взяла подъем. Сразу набросился, резнул по лицу, по рукам колючий, леденящий ветер.

Ясно: немцы раньше нас пришли сюда, овладели высотой, заняли деревню. Вон на бугре в свете ракет смутно видны крыши. Оттуда, из деревни, вылетают светлячки трассирующих пуль, взвиваются ракеты. А где же наш огонь? Улавливаю лишь разрозненные винтовочные выстрелы.

Оглядываюсь по сторонам, оборачиваюсь назад. Черт возьми, мы взобрались выше зарева! Гаснущее, блеклое, оно розовеет вдалеке, никнет к земле. Виден и очаг пожара, похожий отсюда на догорающую груду угля. Это станция Волоколамск. Там пролегает рубеж нашей обороны. Несколько левее — город, сейчас скрытый тьмой. Где-то на восточной окраине штаб Панфилова.

Здесь, на юру, на ветру, прохватывающем до костей, я вдруг почувствовал себя брошенным. В мыслях воззвал к Панфилову: «Товарищ генерал, батальон разъединен, разорван на несколько частей; пушки завязли; обоз со всеми средствами управления, средствами связи ушел в Волоколамск; мы опоздали, немцы раньше нас захватили высоту; как поступить, что делать, товарищ генерал?»

Нет, Баурджан, генерал не ответит. Не жди! Но ведь он тебе сказал: «Я вам доверяю». Чего же ты расхныкался? У тебя есть приказ: «Занять Тимково!» Так к черту меланхолию! Занимай! Исполняй приказ!

3

Без дороги, полем, меня медленно несет Лысанка. В стороне различаю стог, направляю туда лошадь.

— Эй, кто-нибудь тут есть?

— Мы, товарищ комбат.

— Почему вы здесь? Где командир взвода?

— Не знаем, товарищ комбат.

Неподалеку с характерной красной вспышкой рвется в грязи мина. Я спрыгиваю с седла.

— Синченко, укрывай коней.

— Вы куда, товарищ комбат?

— Похожу здесь, разберусь.

Иду отыскивать Панюкова. Поеживаясь от острого ветра, тащусь по вспаханному полю. Сапоги сразу становятся пудовыми, их будто присасывает, хочет сдернуть липкая земля. Тут же по полю слоняются бойцы, потерявшие своих командиров. Где же, где же Панюков? Рота, черт возьми, развалилась, распалась в этой грязище!

Неожиданно слышу крепкое русское ругательство. Голос энергичный, повелительный.

— Ложись! Ложись цепью, кому я говорю!

— Куда же тут ложиться? В грязь?

— Ложись! Не теснитесь в кучу! Всех одной миной перебьет! Рассыпайся в цепь!

Приказание снова уснащается ругательством. Чей же это грубый, властный голос? В первую минуту не могу определить, не узнаю. Неведомый мне командир продолжает:

— Джильбаев! Проценко! Собирайте сюда людей!

— Есть, товарищ политрук, собирать людей!

Политрук? Кто же такой? Неужели мешковатый Дордия? Нет, не его тон, не его голос. Слышу новую команду:

— Глушков!

— Я!

— Будешь пока командовать взводом. Первый взвод — к Глушкову! Принимай вправо! Да не теснитесь же!

И снова крепкое словцо. Нет, от застенчивого, легко краснеющего Дордия я не слыхивал таких слов. И вдруг тот же голос совсем другим тоном произносит:

— Муратов, моей шапки ты не видишь?

— Не вижу, товарищ политрук.

— Давай-ка поищи. Где-то я ее посеял.

Я ахнул. Это же все-таки он — неловкий близорукий Дордия! Умудрился потерять шапку. Но откуда же у него взялись властность и энергия? Каким чудом за один час он так переменился?

Я подошел ближе. В неживом свете медленно ниспадающей ракеты увидел белобрысого политрука. Свирепый ветер, словно гребешком, зачесал назад, поднял торчком его коротко подстриженные волосы.

— Дордия, где командир роты?

— Не знаю, товарищ комбат. Не мог его найти.

— Принимай командование ротой.

— Есть! Я уже принял, товарищ комбат.

Позади шлепнулась, разорвалась с глухим треском мина. Мы с Дордия легли. Под упором локтей расступилось противное месиво расквашенной, вспаханной земли.

В поле там и сям возникают красные вспышки нечастых разрывов. Из мглы появляется Муратов, подает политруку его ушанку. Я спрашиваю:

— Муратов, почему потерял командира роты? Как это случилось?

Маленький связной отвечает:

— Я держался, товарищ комбат, рядом с политруком. Шли все время вместе: лейтенант, политрук и я. Потом вдруг туда-сюда — командира роты нет... Должно, ушел вперед. А мы отстали.

Трогающая душу вера в своего командира звучит в словах Муратова. И я верю Панюкову. Конечно, не обращая внимания на отставших, он вырвался вперед с горсткой бойцов, залег где-то около деревни.

Надевая ушанку, Дордия притрагивается к своим встопорщившимся волосам.

— Подмораживает, товарищ комбат. Колется! — восклицает он.

Да, ветер еще полютел. Дордия вновь посылает бойцов собирать разбредшихся. Но сходятся туго. Пока всего тридцать — сорок человек стянулись к Дордия.

Лежа, я наблюдаю за огнем противника. Хлопки мин по-прежнему редки,— по-видимому, действуют всего два или три миномета. Прочерчивая ночь цветными хлыстиками, из деревни вылетает веер трассирующих пуль. Можно проследить, как свирепый ветер слегка скашивает лёт пули. Пушек у противника нет. Вероятно, перед нами головная походная застава немцев такая же примерно, ка-

кую и я выслал сюда под началом Папюкова. Осветительные ракеты противник расходует скупо, бережливо: взбрасывает по две, по три, выжидая, пока они, медленно падающие, не потемнеют, не погаснут. Порой взлетают и цветные сигнальные ракеты: вероятно, немцы сигнализируют, что встретились, столкнулись с нами, вызывают подкрепления. Возможно, к ним уже спешит подмога. Надо бы скорее атаковать, подавить огонь врага, сблизиться на бросок гранаты, вышибить немцев из деревни, пока их силы невелики. Но с кем атаковать? Еще не собрана, не сошлась к Дордия хотя бы половина роты. Заев, Заев, поспешай! Эх, как сейчас ты нужен!

Кто-то, запыхавшись, подбегает. Еще не веря себе, узнаю сутулую фигуру, размах длинных рук, оттопыренную пазуху шинели.

— Заев! — кричу я.

Тяжело дыша, Заев докладывает:

— Привел роту, товарищ комбат!

— Пулеметы с тобой?

— Втащили, товарищ комбат...

— Ладно, Семен... Надо вышибать немцев из деревни.

— Вышибем, товарищ комбат! — простуженным басом отвечает Заев.

Некоторое время молчу. Заев ждет приказа. Что ему сказать? В эти минуты, когда надобно принимать решение, отдавать боевой приказ, тысячи мыслей, тысячи противоречий роятся, борются в душе. Панфилов напутствовал меня: «Ударьте бочком, бочком... Глядишь, и выбьете без больших потерь...» Но если послать роту Заева в обход, я потеряю время. Из Тимкова опять взметнулась серия сигнальных ракет. Несомненно, немцы призывают, торопят подмогу. Отложишь атаку на два-три часа — столько времени Заеву потребуется, чтобы обойти Тимково,— а противник меж тем подбросит туда новые силы, артиллерию, всякие прочие огневые средства. Как же поступить? Что приказать? Опять вспомнился Панфилов: «Я колеблюсь, товарищ Момыш-Улы, у меня нет решения, но нет и времени...» Нет времени! Это будто тисками сдавливает голову, сжимает грудь. Я приказываю Заеву:

— Развертывай роту! Открывай огонь! И веди вышибать. Сближайся перебежками. Доберемся на бросок гранаты и гранатой вышибем!

— Понятно, товарищ комбат!

— Отсюда тебя поддержит Дордия. Дордия, слышишь? Как только поднимется вторая рота, поднимай и своих в атаку. Ну, Заев, действуй быстрей, быстрей! Смотри не распускай вожжи!..

— Не распущу! У меня не забалуешь...

Заев тяжело бежит по грязи к своей невидимой отсюда роте.

4

Я пошел вслед Заеву. Вот положение: у меня нет ни светосигнальной, ни телефонной связи. Как управлять боем? Хоть бегай сам от командира к командиру.

Из тьмы слышны негромкие слова приказаний, слышно чавканье сапог — вторая рота принимает боевой порядок, рассыпается в цепь перед атакой. Немцы, видимо, заметили подошедшую роту — часто и близко зашлепали мины. Кто-то вскрикнул, застонал.

Шагая, замечаю идущую навстречу пару: грузноватый фельдшер Киреев поддерживает, почти тащит на себе раненого, ворчливо и ласково приговаривая:

— Ты ходи, ходи ножками-то... Не ложись, браток. Ходи, ходи ножками.

Опять слышу чей-то вскрик. Добираюсь к Заеву. Опустившись на одно колено, он прилаживает ручной пулемет. Через голову перекинут белый жгут, сделанный, как можно догадаться, из бинта. На эту перевязь Заев укладывает дуло ручного пулемета, примеривается. Я говорю:

— Заев, кого ждешь? Теряешь без толку людей. Веди!

Он вскакивает. Дуло пулемета удобно покоится на белеющей лямке. Массивный приклад плотно прижат к животу.

— Слушать меня! — хрипло орет Заев.— Вперед!

Стреляя на ходу, он бежит к деревне.

Мгновенно поднялась вся цепь. Я определил это не столько глазом, сколько чутьем командира.

Пронзая ночь огоньками выстрелов, трещат наши винтовки. Шагаю по топкому полю вслед за ротой, вижу, как перебегают бойцы. Некоторые стреляют лежа, другие — с колена, опять поднимаются, продвигаются вперед. Пробегают пулеметчики; огромный Галлиулин, согнувшись, вскинул на плечи тело пулемета, Мурин тащит станину, Блоха нагружен лентами. Вот они останавливаются, быстро

крепят пулемет, бьют длинными очередями. В ответ немцы усиливают пальбу. Мины рвутся чаще. Ракеты висят над полем, источая бледный свет, в котором мы кажемся призраками, не отбрасывающими тени.

И вдруг наш огонь будто сам собой затихает. Понимаю, вижу воочию причину. При близких хлопках мин бойцы плюхаются, втискиваются в грязь. Погодя они живо поднимаются, вскидывают винтовки, но это уже лишь тяжелые палки с примкнутыми штыками, а не огнестрельное оружие. Ствол в грязи, затвор в грязи! Стрелять нельзя! Оборвалась и стукотня ручного пулемета, с которым пошел на немцев Заев. Загрязнился, перестал действовать и пулемет Блохи.

Грязь подавила наш огонь, все пулеметы и винтовки постепенно отказали.

Прижимаясь к липкой, холодной земле, там и сям залегли бойцы. Я продолжал мрачно шагать. Ко мне подошел растерянный, понурившийся Заев.

— Вот, товарищ комбат, какая вещь,— невнятно буркнул он.

На его груди по-прежнему болталась лямка, почерневшая от грязи. Ручной пулемет прикладом назад, наподобие дубины, был перекинут через плечо. Я приказал выносить с поля боя пулеметы, идти с ними в племхоз, расположенный неподалеку, под горой, вычистить, смазать и вернуться.

— Людей где-нибудь укрой. Но спать не давай, пока не вычистят винтовок: выставь охранение. Понятно?

Заев выпрямился. Приказание вернуло ему целеустремленность и энергию.

— Ага! — просипел он.— Можно выполнять?

— Выполняй.

Заев и тут не обошелся без чудачества. Четко проделывая приемы, он взял ручной пулемет на караул, постоял так, словно отдавая честь, затем канул во мглу.

5

Вскоре все затихло на поле под Тимковом. Мы не стреляли. Прекратили огонь и немцы. Ракеты взметывались все реже. Потом воцарилась тьма. Ни выстрела, ни проблеска, ни крика. Улеглось и зарево дальнего пожара.

Тишина. Лишь воет, свистит ветер. Я промок до нитки. Холодно. Дрожу. Зубы выбивают дробь. Думаю о Панюкове. Где он? Наверное, впереди. Надо его найти.

Беру по компасу азимут на запад, иду полем к деревне, скрытой тьмой. Сапоги продавливают подмерзшую корочку, оставляя глубокий след, куда тотчас набегает вода. Твердеют, замерзают мокрые штаны, мокрая стеганка. Коченею, бьет озноб, с одеревеневших губ в такт дрожи все время слетает: «У-у-у-у...»

Прошел сквозь охранение второй роты. Люди тоже дрожат, лязгают зубами. Никто не обратился ко мне, ни о чем не спросил. И я ничего не сказал. Все понятно без слов: ужасная ночь!

Я долго шагал полем. Со мной ни адъютанта, ни связного: все разосланы в разные стороны. Синченко остался с лошадьми. Иду, в темноте вдруг споткнулся обо что-то мягкое, чуть не упал. Дотрагиваюсь: убитый. Наверное, из первой роты. Значит, наши где-то здесь. Броском, под командой Панюкова, добрались сюда. Закоченевшими пальцами продолжаю ощупывать труп. Нашариваю узкий погон. Немец? Да, немец. Где же я, в немецком расположении, что ли? А может быть, Панюков перебил здесь немцев, закрепился на высотке? Медленно тащусь дальше. И вдруг шаги. Справа идет человек, слева — другой. Дрожь, что трясла меня, мгновенно прекратилась. С двух сторон приближаются ко мне. Возможно, немцы. Возможно, идут с двух сторон на захват. Вынул пистолет. Зарядил, пуля в стволе, с курка снял предохранитель. Шагаю вперед, будто не обращая внимания. Если окликнут по-немецки, буду стрелять в упор. Подошли. Постояли. Я прошагал мимо. Никто не промолвил ни слова. Боялись в темноте открыть себя. Так и разминулись.

Где же Панюков, где его бойцы? Ничего не выяснил. Повернул назад.

Шагаю, шагаю к своим. Сапоги по-прежнему увязают в размытой дождем пахоте, выдираю их с усилием. Поглядываю на светящиеся стрелки часов: уже пора бы мне дойти. Не миновал ли я наши посты? Продолжаю шагать. Чувствую, что начался склон. Черт возьми! Куда же меня занесло? Неужели заплутался, потерял свой батальон? Эта мысль вдруг стиснула горло, мне не хватило дыхания. Потерял свой батальон! Проплутаю всю ночь, окажусь к свету на отшибе...

Блуждаю в отчаянии. Наконец судьба надо мною смилостивилась. Натыкаюсь в темноте на сарай. Изнутри доносятся голоса. Прислушиваюсь. Русский говор, наши. Вот проем ворот. Вхожу. Люди сидят, лежат в соломе.

— Кто идет?

— А вы кто?

Выяснилось, что в сарае собралось человек тридцать, почти целый взвод из роты Панюкова. Среди них двое раненых. Здесь же находился и командир взвода младший лейтенант Агейкин. Он встал передо мной навытяжку. Я посветил фонариком. На шапке, на шинели Агейкина белели приставшие соломинки.

— Агейкин, где командир роты?

— Не знаю, товарищ комбат. Потеряли.

— С политруком связался?

— Не знаю, где он, товарищ комбат.

— Конечно, пока валяешься в соломе, ничего не будешь знать. Посылай двух бойцов к политруку. Я растолкую, где его найти.

У меня еще хватает сил на разговор с бойцами, которых Агейкин посылает к Дордия. Приказываю им:

— Сообщите, что нахожусь здесь.

И тяжело опускаюсь на солому, почти падаю мешком. Что со мной? Неужели теряю волю? Неужели болен? Дрожу. Озноб колотит все сильнее. Тепла ждать неоткуда. Сквозь щели со свистом врывается ветер. Надо бы снять сапоги, вылить из них воду, выжать портянки, переобуться, но нет сил. Закрываю глаза, сжимаю руками плечи, чтобы унять дрожь. Много часов во рту не было ни крошки, но есть не хочется. Хочется лишь одного: тепла, тепла.

Наверное, какое-то время я пролежал в полузабытьи. Меня возвращает к действительности голос Рахимова.

— Комбат здесь?

— Рахимов, ты? Иди сюда.

С души спадает тяжесть. Появился точный, исполнительный Рахимов,— значит, появится все: связь, штаб, порядок. Нет, на этот раз так не случилось.

— Где Филимонов?

— Еще не подошел, товарищ комбат.

— Панюков?

— Неизвестно. Не отыскался.

— Как первая рота?

— Командует политрук Дордия. Почти всех собрал. Люди повзводно находятся в сараях.

— Как с телефонной связью? Повозки не пришли?

— Нет, товарищ комбат.

— Соседи есть?

— Не выяснил. Послал людей выяснить.

Я молчу. Пытаюсь скрыть сотрясающий меня озноб. Рахимов спрашивает:

— Заболели, товарищ комбат?

— Ступай распоряжайся.

Постояв с минуту, он бесшумно поворачивается, бесшумно уходит.

7

Снова дрожу, лежа на соломе. Такого пронизывающего холода я еще никогда не испытывал. Мерзнут ноги, руки, уши, лицо, мерзнет все внутри. Мыслями завладевает мечта о лихорадке, о лихорадочном жаре. Лежать так и дрожать, пока лоб, лицо, все не запылает жаром.

Наконец я забываюсь, перестаю различать, где явь, где бред. В бреду вижу телефонный аппарат, прижимаю к уху трубку, связываюсь с Панфиловым.

«Товарищ генерал, дошел до Тимкова. Оно уже занято противником. Ничего сейчас не могу сделать».

«Это не беда, товарищ Момыш-Улы. Берегите людей. Утром поведете в бой».

«Оружие не стреляет, товарищ генерал. Грязь лишила нас оружия».

«Ничего, почистите... Сейчас позаботьтесь о людях, товарищ Момыш-Улы. Пусть поспят».

«Я сам хочу спать».

«Нельзя, товарищ Момыш-Улы. Нельзя вам спать».

Неотвязно чудились эти слова: «Нельзя вам спать, товарищ Момыш-Улы». Но я не мог встать. Дрожал и бредил. В полусне услышал, как опять кто-то вошел в сарай. И не один, а трое или четверо. С кем-то перекинулись словами, сели на солому, стали разуваться. Слышу покряхтывание, незлобную, вполголоса, ругань, стариковский кашель.

Кашель мне знаком.

— Березанский?

Долго нет ответа. Ну и медлителен же, черт побери! Сначала он крякает, вздыхает — в этом вздохе чувствуется откровенная досада: опять-де напоролся на комбата,— потом произносит:

— Я...

Молчу... Ведь он, этот непроворный усатый солдат, давно мог бы забраться куда-нибудь в тепло, притулиться к любому омету, а он ходил, шлепал всю ночь, искал своих, пока не прибрел в свой взвод, в этот сарай.

Снова забываюсь. Минутами ощущаю блаженство. Пришел желанный жар. Но и в бреду, в лихорадке неотвязно мучит мысль о бойцах, о батальоне. Как мы встретим утро, что станется с нами, если я не встану, не перемогусь? Но подняться не могу. Сквозь дрему чувствую: меня бережно укрывают шинелью. Пытаюсь открыть глаза. Надо мной кто-то склонился; поднимаю руку, касаюсь стриженых жестковатых волос, узнаю Бозжанова.

— Бозжанов, где третья рота?

— Подходит, товарищ комбат.

— Ладно... Иди к Заеву, в племхоз. Помоги там наладить пулеметы.

— Слушаюсь, иду.

Опять утрачиваю ощущение действительности, ощущение времени. В какой-то миг послышался мерный, убаюкивающий звук: кони жуют сено. Пролетел, как мне показалось, еще миг. Чьи-то сильные заботливые руки стаскивают с меня сапог. Спрашиваю:

— Бозжанов, почему ты еще здесь?

Нет, я ошибся. Бозжанов отвечает мне голосом Синченко:

— Это, товарищ комбат, я...

Он сдергивает мои сапоги, разбухшие, неподатливые, протирает мои голые ледышки-ноги чем-то сухим, приятным, ловко обертывает свежими портянками, потом возится с флягой, протягивает стакан. В нос ударяет запах спирта. Я залпом выпиваю. Водка вышибает слезу, приятно обжигает. Синченко укрывает меня еще одной шинелью. Не удовлетворившись этим, он без стеснения переворачивает меня, словно малого ребенка, чтобы подоткнуть края шинели. Я говорю:

— Хватит! Убирайся!

Но он все-таки укутывает меня. Потом удовлетворенно произносит:

— Теперь добре... Чего бы еще, товарищ комбат, вам?

— Чаю! Чаю, горячего, как в аду!

Мысленно усмехаюсь. Какой тут чай?!

Но прошли минуты, а может быть, и часы, и я слышу:

— Вот, товарищ комбат, горячий...

Когда я вновь открыл глаза, ночь уже минула. Сквозь неплотно припертые ворота, сквозь щели в стенах пробивался мутный свет. Никого, кроме меня и Синченко, уже не было в сарае. Коновод с довольной улыбкой протягивал мне стакан и поместительный термос, ярко раскрашенный оранжевым и синим.

— Где раздобыл?

— У доктора, товарищ комбат. Слетал на Сивке в санитарный взвод. Разрешите, товарищ комбат, я вам налью.

Обхватив обеими ладонями стакан, я с удовольствием, медленными глотками, попивал теплый сладкий чай.

— Где разместился санвзвод?

— Около нашего штаба... В племхозе, товарищ комбат. В тепле.

— Раненых много?

— Человек двадцать... Тяжелых, кажись, нет. Все пошли сами, своим ходом, в тыл.

— Где Филимонов? Подошел?

— Подошел, товарищ комбат... Роту оставил пока на той стороне, в поселке.

— Панюков объявился?

— Нет, пропал.

Я поставил опорожненный стакан.

— Давай папиросы.

— Вот, товарищ комбат, закуривайте. Только знайте: осталось всего две пачки. Очень-то не угощайте, не шикуйте, а то проугощаемся.

— Ладно. Надоел со своими поучениями.

Зажигаю папиросу. С первой же затяжки понимаю: болезнь не покинула меня. Табачный дым противен, горечью осел во рту. Продолжаю спрашивать:

— Куда отсюда ушли люди?

— К политруку Дордия. Он еще ночью вызвал всех занимать позицию.

— Так... Давай сапоги.

Натянув сапоги, все еще сырые, я встал, потянулся. Ломило суставы. Слабость звала снова лечь. Ничего, превозмогу! Оправил на себе измявшуюся за ночь одежду, туго стянул ремень.

— Куда, товарищ комбат? В штаб?

— Нет, сначала к Дордия. Осмотрю рубеж.

Утренняя муть незаметно посветлела. Ветер прекратился. Было тихо. Ужасная ночь ушла в минувшее. Зачинался новый боевой день — двадцать седьмое октября тысяча девятьсот сорок первого года.

Утренний туман

1

Поле было застлано негустым туманом, замутнявшим позднюю октябрьскую зорьку. За ночь подморозило. Лужи были затянуты пленкой белесого льда, трескающегося, крошащегося под сапогами. Однако под ледяной корочкой грязь не затвердела, ее еще не схватил морозец. Черт возьми, опять грязь не позволит нам стрелять. Как же быть?

Шагая к Дордия, я вдруг буквально наткнулся на ответ. В тумане я увидел наш передний край, фронт роты, которой теперь командовал Дордия. Бойцы лежали в неглубоких окопах на втиснутых туда, умятых охапках соломы. Светлая, чистая желтизна соломы прикрыла грязь вокруг окопчиков, легла на брустверы. Для маскировки солома была раструшена и на всем поле, насколько хватал взгляд. Все это совершилось без меня, без моего приказа, ночью, когда я, сваленный с ног, продрогший, сдавшийся недомоганию, метался, бредил в сарае. Теперь, пользуясь краткой передышкой в ратном нескончаемом труде, бойцы, все как один, спят. Около каждого бойца покоится на соломе винтовка. Блестит темная сталь смазанных затворов. В изголовьях гранатные и противогазные сумки, тощие вещевые мешки. Здесь же, под руками, и остальное нехитрое хозяйство солдата: его верная заступница — малая саперная лопата, патроны в брезентовых подсумках.

Мне навстречу торопливо идет Дордия. Еще издали он прикладывает руку к ушанке, отдавая честь; проделывает это неловко, как и прежде. Я невольно всматриваюсь: вижу рябинки на бледноватой, почти не принимающей загара коже, светлые, негустые ресницы. Однако что-то в Дордия и внешне изменилось. Выпуклые черные глаза устремлены прямо на меня, в них не таится обычного смущения.

— Товарищ комбат, рота находится в боевых порядках. Оружие у всех в полной готовности. Бойцам и командирам я позволил спать.

Дордия докладывает, не всегда соблюдая уставные термины, но говорит четко, не запинается, не мнется. Он сообщает потери. Кроме убитых и раненых, несколько человек пропали без вести. В их числе командир роты Панюков. Я спрашиваю:

— Кто это надумал натащить сюда соломы?

Неожиданно для меня самого мой голос звучит резко. Никак, черт возьми, не умею, не могу найти мягких ноток. Дордия воспринимает мою резкость, как неодобрение. Его щеки, шея, лоб мгновенно розовеют. Однако, не опуская глаз, он внятно отвечает:

— Я приказал, товарищ комбат.

— Хорошо,— кратко говорю я.

Дордия снова вспыхивает — теперь от похвалы.

Мы идем вдоль набитых соломой окопов, где жадно — не подберу другого слова — спят солдаты. Оглядывая рубеж, я нет-нет да и взглядываю на Дордия. Какая все-таки сила заставила его, такого неловкого, мешковатого, собрать вокруг себя потерявшую командира, расползавшуюся роту? Какая же сила? Как ее назвать?

Приходят на ум слова, которые вчера произнес Дордия: «Превыше всего долг». Но из чего проистекает долг? На чем зиждется? Опять всплыло вчерашнее: что же такое советский человек?

Захотелось потолковать об этом с Дордия. Нет, не время и не место. Когда-нибудь найдется подходящий час.

Туман редел. Где-то вдалеке прогремел пушечный выстрел. Еще один, еще... Там и сям, справа и слева, заурчали пушки. Наконец и над нами, ввинчиваясь в воздух, прошелестел снаряд, разорвался в отдалении.

— Бризантный,— определяю я.— Подтянули артиллерию.

В вышине опять гудит снаряд, с треском лопается позади нас. Немцы повели из Тимкова методический огонь, стали бить по площади, не видя цели.

— Вот, Дордия, и побудка,— говорю я.

2

Пройдя с Дордия на фланг роты, где находилось выложенное соломой пулеметное гнездо, я кликнул Синченко, который следовал за мной с лошадьми, сел на Лысанку, велел коноводу:

— Теперь в штаб... Показывай, куда ехать.

Мой штаб расположился под горой, в поместительном длинном сарае, сложенном из дикого камня. Неподалеку виднелись подобные же каменные длинные строения, ранее служившие конюшнями и разными службами племхоза.

У входа в штаб, где дежурил часовой, мирно жевала сено впряженная в двуколку низкорослая, крепкая белая лошадка из породы уральских маштачков. В дремавшем на двуколке солдате в очках я узнал Мурина.

— Мурин, почему здесь околачиваешься?

Спросонья Мурин вскинулся, попытался встать, маштачок по-своему истолковал его движение, нехотя шагнул, колеса стронулись. Мурин качнулся, вцепился в борт и, крича «тпру!», путаясь в полах шинели, кое-как слез наземь. Почувствовав наконец под ногами твердь, он вытянулся, как подобает солдату.

— Промучились всю ночь с пулеметом, товарищ комбат. Так и не отладили. Теперь взялся сам командир роты.

— А где пулеметчики, твои товарищи? Залегли спать?

— Роют укрытие, товарищ комбат. Но только...

— Что еще? Что «только»?

Ворот шинели не закрывал тонкой, вытянутой шеи Мурина. Одна дужка его очков была сломана и скреплена проволокой.

— Ругать не будете?

— Не буду. Говори.

— Устоим ли тут, товарищ комбат?

Не решившись продолжать, Мурин покосился на белую

лошадку, на двуколку, с которой только что едва не сверзился. Этим своим взглядом он как бы произнес: «Шаткая позиция».

Э-э, вот, значит, каковы сейчас солдатские думки в батальоне! А разве я сам думаю иначе? Но мои тягостные мысли — моя тайна. Я ответил:

— Кто тебе сказал, что мы собираемся тут стоять, пока нас не огреют обухом? Постараемся сами огреть.

Я соскочил с Лысанки, кинул повод Синченко и мимо часового прошел в дверь сарая, в штаб.

3

В сарае, видимо, недавно плотничали. На земляном полу валялись не успевшие потемнеть завитки стружек. Легкий смоляной дух струганой сосны еще не был заглушен запахом махорки, сырых сапог, сырых шинелей. У стены белело несколько готовых неокрашенных оконных рам, две были повалены, их никто уже не трудился поднять, по ним ходили, на свежей древесине отпечатались следы сапог.

Возле двери сидели и лежали солдаты взвода связи. Командир этого взвода, молодой, почти юноша, младший лейтенант Тимошин, которого я всегда привык видеть на ногах, всегда за делом, теперь сидел, привалясь к стене, праздно сложив руки. Он первый вскочил, как только я вошел. Я поискал взглядом коробку полевого телефона — ее не было. Я сразу понял: обозные повозки еще не прибыли из Волоколамска. Опять мысленно выругался, вспомнив майора.

Из глубины сарая прозвучала негромкая команда Рахимова:

— Встать! Смирно!

Я прошел к нему.

Сложенный посреди сарая невысокий штабель досок был превращен в стол. На нем лежали два склеенных листа топографической карты, остро очиненные карандаши Рахимова, его полевая книжка. На верстаке у одного из окон разместился разобранный на части пулемет. Сборкой занимались Бозжанов и Заев. Оба сейчас вытянулись передо мной. Заев был без шинели, без шапки; на его слегка вдавленном лбу темнело пятно смазки, кисти длинных рук

черно лоснились, вымазанные маслом. Пальцы стоявшего рядом Бозжанова тоже чернели, как от ваксы. Я знал: у него и у Заева имелось общее пристрастие — хлебом не корми, дай повозиться с огнестрельным оружием, особенно с неведомым, трофейным, или, вот как сейчас, с нашим отказавшим пулеметом, дай разыскать загвоздку, довести до ума-разума, отладить заупрямившийся механизм.

— Вольно! — сказал я.

Заев и Бозжанов тотчас повернулись к пулемету.

— Разрешите доложить,— произнес Рахимов.

— Докладывайте.

На карте Рахимов успел обозначить обстановку, аккуратно проштриховал линию, где мы окопались. Застрявшие ночью пушки были уже выволочены на гору, заняли огневые позиции под прикрытием гребня. Рота Филимонова, доложил далее Рахимов, пришла перед рассветом, разместилась в поселке на той стороне ручья.

— Филимонову я приказал,— сообщил Рахимов,— дать людям четыре часа поспать, потом двигаться сюда.

Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая одобрения, но я ничего не сказал, не отвел взгляда от карты. Рукой Рахимова там были намечены фланги соседних частей — разрыв между ними, нашими соседями справа и слева, равнялся приблизительно шести километрам. Нам, резервному батальону Панфилова, выпало на долю заградить, затянуть эту брешь. Конечно, двумя ротами мы ее не затянули. Наши фланги были голыми, открытыми. С обеих сторон, справа и слева, зияли пустоты шириной в полтора-два километра. Фронт дивизии здесь оставался порванным. Противнику не потребуется много времени, чтобы обнаружить, засечь эти пустоты и врезаться, проникнуть туда, обтекая наши фланги. Как же восстановить порванную линию? Еще растянуть, еще ослабить нашу и без того растянутую цепь? «Устоим ли тут, товарищ комбат?» — вспомнились слова Мурина.

У окна на верстаке Заев и Бозжанов по-прежнему занимались пулеметом. Оттуда доносились стук, шуршание, порой сиплое бурканье Заева, тщетно пытающегося говорить шепотом. Он, видимо, опять ляпнул какую-то шутку-несуразицу. Бозжанов фыркнул. Я раздраженно обернулся.

Заев как ни в чем не бывало осторожными, почти нежными движениями, каких было трудно ожидать от его

костлявых больших рук, поворачивал насаженную на стерженек сжатую пружину, устанавливал ее в нужном положении. Это положение он отыскивал, осязая подушечками загрубелых пальцев. Глаза были зажмурены. Я не без удивления заметил, что его угловатое, с провалами у висков и на щеках лицо выглядело в эту минуту красивым. Отнюдь не принадлежа к замкнутым или хотя бы сдержанным натурам, Заев обычно немедленно выкладывал вслух все, что взбредет на ум, шевельнется в душе. У нашего народа, у казахов, сложена о таких людях поговорка: откроет рот, желудок видно. Сейчас в его лице без труда читалось упоение делом, удовольствие мастера-умельца. Уйдя в работу, ничего кругом не замечая, он машинально облизал потрескавшиеся, сухие губы, улыбнулся. Дело, видно, ладилось.

Я опять обратился к карте, стал слушать Рахимова.

— Пока я приказал командирам рот,— проговорил Рахимов и опять вопросительно глянул на меня,— приказал: укреплять рубеж, приготовиться к отражению атаки.

Я так и оставил без ответа его немой вопрос. У меня не было ясности в мыслях, не было решения. Немцы из Тимкова нечасто постреливали; снаряды и мины порой рвались совсем поблизости. Доходили и глухие раскаты издалека.

4

У верстака все еще слышался невнятный басок Заева, сдавленный смешок, шушуканье. Я наконец не выдержал:

— Заев!

— Угу...

— Что за «угу»? Как отвечаешь старшему?

— Слушаю вас, товарищ комбат.

— Разболтался... Болтать сюда пришел... Долго еще будешь копаться?

— Осталась, товарищ комбат, самая малость. Последний, как говорится, мазок кисти. Через пяток минут машинка заработает.

Действительно, несколько минут спустя он наскоро отер стружками руки, взвалил на плечо поблескивающее стальное тулово, крякнул и, широко шагая, пошел к две-

ри. Опять он пренебрег воинским тактом, не обратился ко мне, прежде чем выйти. Бозжанов поспешил выговорить:

— Разрешите опробовать, товарищ комбат?

Я молча кивнул. Бозжанов бегом обогнал Заева, распахнул дверь. Вскоре вышел на улицу и я.

Стоя спиной к сараю и не замечая меня, Заев разносил Мурина:

— Долго ли еще будешь копаться? Разболтался! Живей! Одна нога здесь, другая там!

Я усмехнулся, узнав некоторые свои выражения, свои интонации. Бозжанов глазами указал другу на меня. Обернувшись, Заев буркнул:

— Не даю, товарищ комбат, потачки.

Будто не чувствуя холода, промозглого тумана, сырости, он стоял в гимнастерке, с непокрытой головой, держа на плече пудовую тяжесть пулемета.

Мурин притащил станину. Еще минута — и пулемет установлен, закреплен. Бозжанов вправил ленту. Заев лег плашмя на прихваченную морозом землю, раздвинул, как полагается пулеметчику — первому номеру, свои длинные ноги, и... пулемет застрочил, замелькали полускрытые надульником острия пламени.

— Хорошо! — просипел Заев и легко вскочил.

Затем он разбил каблуком ледок на ближайшей луже, зачерпнул воды и грязи, принялся соскребать с рук въевшуюся смазку. Быстро покончив с умыванием, вытерев руки весьма примитивным способом — проволочив их под мышками, Заев побежал в сарай за оставленным там ватником и шапкой.

Бозжанов и Мурин погрузили пулемет на двуколку.

Выбежавший из сарая Заев с размаху кинул ногу за борт, схватил вожжи и погнал рысью белую лошадку-крепыша.

Волоколамск пал

1

Этот день, двадцать седьмое октября, запомнился мне отдельными картинами.

...Еду верхом по косогору. В седле сижу грузно, понуро. Моя подавленность передается и Лысанке. Осторожно

ступая по скользкой, белеющей инеем траве, она, как и я, повесила голову.

Шальные мины ложатся там и сям. Вот сзади что-то трахнуло. Лысанка скакнула, идущая следом Сивка с моим коноводом в седле тоже шарахнулась.

Кричу:

— Синченко, жив?

— Живой.

...Снова едем молча. Я снова прислушиваюсь к немецкой музыке, преддверию дня. Черт возьми, здесь, на горе, на пятачке, мы в огневом кольце! Внизу, где, скрытый туманом, лежит Волоколамск, ухают пушки — много десятков, а возможно, и сотни стволов. По обеим сторонам Тимковской кручи тоже бьют пушки.

А мы, две окопавшиеся на горе роты и рота Филимонова в тылу,— мы одиноки среди этого охватившего нас кольцом огня. Мы лишены связи, оторваны от своей дивизии.

Но тотчас вспыхивает другая мысль: нет, мы не оторваны, это всюду бьются с врагом наши, всюду отвечают огнем на огонь.

Выпрямись в седле, Баурджан! Противник хочет тебя устрашить, смять еще до боя твою душу,— значит, твое дело сохранить разум, холодный разум.

2

Копыта Лысанки простучали по настилу мостка. Следом зацокали подковы Сивки. После ночного паводка ручей утихомирился, лишь темные следы на устоях-бревнах, кое-где покрытых прозрачной наледью, свидетельствуют, как бунтовала вода.

Стежкой, проложенной меж огородов, добираюсь в поселок. Роте, поспавшей несколько часов после ночного марша, уже скомандован подъем. За палисадником у колодца умываются бойцы. Кому-то прямо из ведра льют на спину воду; человек выпрямляется, с покрасневшей мускулистой груди скатываются струйки; узнаю Курбатова.

Подъезжаю к дому, занятому командиром роты. Филимонов выбегает мне навстречу. После недавнего бритья поблескивает его загорелая кожа.

Я спешиваюсь, Филимонов докладывает:

— Товарищ комбат, третья рота...

— Ладно... Пойдем к тебе, Ефим Ефимыч, потолкуем.

В комнате жарко топится печь. Хочется поудобнее сесть, привалиться к стенке, закрыть на минуту глаза. Не разрешаю себе этого.

— Садись, Филимонов. Доставай карту.

Показываю, помечаю на карте позиции батальона, наши оголенные фланги, широкие, в полтора-два километра, бреши в линии фронта, отделяющие нас от соседей и никем не прикрытые.

Филимонов, насупясь, слушает. Следовало бы ввести его в мои командирские помыслы, планы. Но никаких планов у меня все еще нет.

— Пока выбирайся из поселка,— говорю я.— Растяни роту по гребню. Окопайся.

В этот миг с горы докатываются частые выстрелы орудий. Мы оба настораживаемся. Да, там заговорили наши пушки. Повели беглый огонь. Доносится и клекот пулеметов. Филимонов смотрит на меня выжидающе.

— Располагай роту по берегу, по гребешку,— повторяю я.— Загни фланги, посматривай на все четыре стороны. Дело разыгрывается. Немцы могут появиться здесь внезапно, стукнуть тебя врасплох.

— Понятно, товарищ комбат.

Филимонов встает, переминается с ноги на ногу.

— Что еще у тебя?

— Да все то же... Люди-то не евши.

— Пусть стреляют, чтобы не думать о желудке. Выбери ориентиры и пристреляй все перед фронтом роты.

Наверху наши пушки продолжают пальбу. Что-то серьезное творится там. Душу сосет тревога.

— Будь каждую минуту начеку... Понятно?

— Понятно, товарищ комбат. Не побежим.

— Но гляди не начни в суматохе палить по своим.— И я повторяю то, что говорил себе: — Сохраняй выдержку, разум. Втолкуй бойцам: без команды не стрелять. Не торопись спускать курок, выдерживай.

Наверху гремят и гремят наши орудия. Ну, теперь туда!

Во дворе наготове стоит с лошадьми Синченко. Вскакиваю в седло. Подмывает пустить Лысанку во весь дух. Нет, нельзя вносить смятение в души солдат. И, нарочно

придерживая коня, с виду спокойный, я рысцой еду по улице.

Опять копыта простучали по мостку. Лишь теперь посылаю Лысанку. Вскачь, вскачь по крутизне!

3

Наверху туман уже рассеялся. Небо еще было затянуто белесой хмарью, но склон горы уже ясно просматривался.

Подскакиваю к глинистому оползню. Здесь, на гребешке, оборудован наблюдательный пункт артиллеристов.

Склоняясь к полевому телефону (у артиллеристов имелась собственная телефонная связь), стоит, жадно куря, разгоряченный Кубаренко. Шинель измазана глиной, крапинки глины усеивают лицо. Прервав разговор по телефону, он кричит:

— Дали им жару, отбили, товарищ комбат!

Опустив по швам руки — они не слушаются, ему хочется жестикулировать,— Кубаренко докладывает. Немцы пошли в атаку против роты Дордия. Бойцы резанули их огнем. Немцы начали обходить фланг. Огонь наших пушек заградил им путь. Немцы откатились.

Я переспрашиваю:

— Наш фланг обнаружили?

— Обнаружили, товарищ комбат.

В эту минуту будто кто-то раздергивает мутноватую занавесь, закрывающую небо. В один миг воздух становится прозрачным. Вдали завиднелись влажные крыши, купола. Будто очнувшись, понимаю: это Волоколамск. Здесь мы преграждаем к нему путь. Сегодня мы будем драться за него. Собери силы, сохрани ясную голову, комбат.

Блестит полоса черного мокрого асфальта, пролегающая через город. Это шоссе, Волоколамское шоссе, прямиком ведущее к Москве.

...В небе появились самолеты, черные силуэты немецких бомбардировщиков.

Они идут волнами к Волоколамску. В разных концах города застучали наши зенитки. Красноватые разрывы в вышине почти незаметны в свете солнца, бьющего прямо в глаза.

Стоя подле меня, Синченко вслух считает самолеты:

— Тридцать четыре... тридцать пять... тридцать шесть...

Доносятся тяжелые, глухие удары сброшенных бомб. Над крышами там и сям взметнулись, поволочились по ветру темные дымы. Улицы пустынны, лишь на дальней окраине куда-то уходят вскачь запряжки. У железнодорожной станции артиллерийская стрельба поутихла. Что это значит? Как это понимать?

...Тянутся минуты бездействия... Полулежа выслушиваю донесения связных. Противник по-прежнему обстреливает реденькую цепь батальона, но уже не пытается нас атаковать. Прибежавший от Дордия Муратов оживленно тараторит. Борюсь с лихорадкой, с трудом заставляю себя вслушиваться. Вдруг Муратов осекается. Странно расширившиеся его глаза устремлены на Волоколамск. Вскакиваю, смотрю туда же.

4

По асфальту, насквозь просекающему город, ползут, как бы не торопясь, на малой скорости, два танка, ползут в ту сторону, где расположен штаб Панфилова.

Из орудия вырывается дымок. Танк палит по городу. Неужели это немцы? Неужели они ворвались в Волоколамск?

Быстро подношу к глазам бинокль, отчетливо вижу фашистские белые кресты на черной броне.

Я знаю: в городе нет наших войск. Мой батальон, что лежит сейчас в окопах на горе и под горой, был единственным резервом Панфилова. Теперь немцы захватывают улицу за улицей, а мы — шестьсот бойцов с пулеметами и пушками — остались в стороне.

...Лежу, томлюсь бездействием, текут и текут мысли. Для чего я живу? Ради чего воюю? Ради чего готов умереть на этой размытой дождями земле Подмосковья? Сын далеких-далеких степей, сын Казахстана, азиат — ради чего я дерусь здесь за Москву, защищаю эту землю, где никогда не ступала нога моего отца, моего деда и прадеда? Дерусь со страстью, какой ранее не знавал, какую ни одна возлюбленная не могла бы во мне возбудить. Откуда она, эта страсть?

Казахи говорят: «Человек счастлив там, где ему верят, где его любят».

Вспоминаю еще одну казахскую поговорку: «Лучше быть в своем роду подметкой, чем в чужом роду султаном». Советская страна для меня свой род, своя Родина.

Я, казах, гордящийся своим степным народом, его преданиями, песнями, историей, теперь гордо ношу звание офицера Красной Армии, командую батальоном советских солдат — русских, украинцев, казахов.

Мои солдаты, обязанные беспрекословно исполнять каждый мой приказ, все же равные мне люди. Я для них не барин, не человек господствующего класса. Наши дети бегают вместе в школу, наши отцы живут бок о бок, делят лишения и горе тяжелой годины.

Вот почему я дерусь под Москвой, на этой земле, где не ступала нога моего отца, моего деда и прадеда!

Но почему же, почему же мы сейчас в стороне? Ненавистны эти минуты, эти часы бездействия.

5

Яростный крик внезапно прерывает мои мысли:

— Огневая! Огневая!

Залегший на гребне Кубаренко орет во всю мощь легких, будто хочет попросту голосом, а не по телефону докричаться до пушек.

— Огневая! Лейтенанта Обушкова! Скорей!

Я вскакиваю.

— Что там, Кубаренко?

— Немцы, товарищ комбат... Человек сто.

— Где?

— Справа, товарищ комбат. В логу... Огневая! Что же вы там? Где лейтенант? Обушков, ты? Немцы идут вниз ложком. Да, да, этот самый лог...

Он встревоженно называет ориентиры, координаты цели, кричит:

— Зарядить и доложить!

Я ищу в бинокль проникших в незащищенную полосу немцев. Вот они. Грязно-зеленые шинели почти сливаются с цветом пожухлой осенней травы. Идут по солнышку, словно на прогулку. Впереди молодой офицер в одном кителе. Он шагает без фуражки, держит ее в руке, подставляя солнцу светловолосую голову. Минуя куст шиповника, он приостанавливается, отламывает веточку, вставляет ее

себе в петлицу. Еще бы! Нынче у немцев день удачи: ворвались в Волоколамск...

За офицером вольным строем, вольным шагом быстро следуют солдаты. Им легко идти под горку; автоматы и винтовки закинуты за плечи; нами они пренебрегают, знают: мы их не достанем пулей.

Углубляясь в неприкрытый промежуток, они беспрепятственно идут, идут нам в тыл... А наши пушки все еще молчат.

— Скорее! Скорее!

Это кричит Кубаренко. Это же про себя повторяю и я.

Наконец-то два пушечных выстрела ударяют по барабанным перепонкам. В логу, обочь шагающих немцев, встают два земляных взброса.

Ну, теперь мы заставим их лечь! Теперь их остановим! Заговорили все восемь наших пушек. Немцы бросаются в стороны, разбегаются, ложатся... Вижу: офицер оборачивается к своим солдатам, что-то выкрикивает и, призывно махая фуражкой, бежит вперед по травянистому склону. За ним, выскальзывая из-под обстрела, устремляются солдаты.

Мы, обороняющиеся, прикованы к своим позициям. А нападающему предоставлен выбор: он наносит удар там, где считает выгодным, выбирает направление. Но и у нас, обороняющихся, есть свои преимущества. Противник не знает местности, не знает глубины, лежащей за моим передним краем, руководствуется только картой. А мне известны и подступы, и своя позиция, и рельеф за ней. Обороняясь малыми силами против больших, я беру себе в союзники рельеф, заставляю и землю воевать.

Командую огнем, подправляю наводку. Наши снаряды опять настигают немцев. Они сворачивают в извилину, едва заметную отсюда, скрываются из виду, скрываются от нашего огня.

Ну, Филимонов, держись! Сейчас они вынесутся прямо на тебя! Держись, Ефим Ефимыч!

...С разных сторон слышатся звуки огневого боя, гремящего вблизи и вдалеке.

Ухо ловит, различает, сортирует эти звуки, и в то же время мне, как ни странно, кажется, что все вокруг замерло, затихло. В этой кажущейся тишине я жду не дождусь выстрелов внизу, в лощине, куда бегом повернули

немцы. Неужели они застигнут Филимонова врасплох? Неужели сомнут роту?

Застрочил пулемет. Нет, это не внизу, это на фланге роты Заева. Наверное, и там немцы обтекают нас.

А в лощине тихо...

И вдруг там будто кто-то огромными руками разодрал полотняную ткань. Это треск винтовочного залпа, единого выстрела из сотни винтовок,— треск, которого я жаждал, который мое ухо не спутает ни с каким иным.

Еще раз внизу протрещал залп. Мне чудится: я слышу вопли заметавшихся, настигаемых пулями немцев. Вот вам Волоколамск, вот вам день удачи!

Внизу уже застучали наши пулеметы, защелкали винтовочные выстрелы враздробь.

Безмолвно я взываю к бойцам: «Не щадите врагов! Пусть ни один из них не останется в живых! Пусть заплатят нам за Волоколамск!»

6

Снова прикладываю к глазам бинокль, опять бросаю взгляд на Волоколамск.

По улицам уже разъезжают, переваливаются на ухабах длинные, несхожие с нашими немецкие грузовики. Шмыгают и едва различимые, защитной окраски, легковые машины.

На окраине, в той стороне, где находился штаб Панфилова, еще длится бой. Там рявкают орудия гитлеровских танков, пощелкивают наши противотанковые пушки, стучат, будто колотушкой, крупнокалиберные пулеметы.

Мелькает догадка: не удержав Волоколамска, Панфилов цепко обороняется на краю города, не уступает шоссе, выигрывает минуты, часы, чтобы искромсанная, рассеченная дивизия успела перестроиться, сомкнуться, создать новый фронт за Волоколамском.

Мне ясна моя задача: не давать немцам ходу, не давать противнику наращивать свой напор на горстку наших войск, чтобы закрыли горловину шоссе на выходе из города, отнимать у немцев время, помогать, помогать замыслу Панфилова.

...Побывав у себя в штабе, спускаюсь в лощину. Ручей еще не виден, а Лысанка уже упирается, вертит головой,

пытается повернуть в сторону. Тверже держу повод, успокаиваю лошадку. Мне известна ее слабость: Лысанка быстра, неутомима, послушна, уже привычна к выстрелам, но она не выносит запаха крови. Почуяв его, она всякий раз, вот как и в эту минуту, волнуется, рвется ускакать.

Спускаюсь ниже. Невольно осаживаю коня. Росший по топкому берегу кустарник сплошь порублен пулями. Всюду простерты настигнутые смертью на бегу тела людей в зеленоватых шинелях. Там и сям видны извилистые алые дорожки крови, сбегающей в ручей.

Теперь и я, моим человеческим грубым обонянием, ощущаю тяжелый запах крови.

Толстоногая крупная Сивка, на которой восседает Синченко, невозмутимо стоит сзади, а Лысанка беспокоится, рвет повод. Медленно еду среди трупов. Лицом к небу лежит светловолосый юный немец. Офицерская фуражка с вышитым серебряной канителью гербом откатилась под уклон. Веточка шиповника с несколькими красными бусинками-ягодами еще держится в петлице. На высоком смертно побелевшем лбу виднеется пятнышко — входное отверстие пули.

В мое сердце не прокрадывается жалость. Всем вам, кто вступил на нашу землю, чтобы нас поработить, мы отплатим пулей, истреблением! Привыкай, привыкай к запаху крови, моя добрая лошадка!

Медленно проезжая среди трупов, поглаживая встопорщившуюся гриву Лысанки, я начинаю понимать: нам помогла случайность. Она превратила эту топкую лощину в огневую ловушку для врагов.

Складочка местности, рытвина, оказавшаяся под боком у немцев, накрытых огнем наших пушек, вывела их сюда под кинжальный огонь, под винтовочные залпы роты Филимонова.

Что для этого сделал я, комбат?

Ничего. Или почти ничего. Лишь сказал Филимонову: «Пристреляй все перед фронтом роты. Пусть люди стреляют, чтобы не думать о желудке».

Разве умом я одержал здесь победу? Нет, просто повезло... Повезло, и мы поднесли немцам сюрприз.

«Сюрприз»... Это слово употребил Панфилов, разговаривая со мной в своем домике, в своей временной обители на краю Волоколамска. «С такими сюрпризами противник

уже встречается не раз,— сказал наш генерал.— И платит за них кровью». Да, отборная гитлеровская армия, подступившая к Москве, теряет и теряет силы.

Вспомнились наши бои на дорогах, наши залпы из засад, наш марш-бросок сквозь оцепеневшую немецкую автоколонну. А разве один наш батальон дерется под Москвой? Разве одна эта лощина напитана кровью врага?

7

Еще два или три часа боя. Немцы дубасят по нашим окопам. Приказываю Заеву сменить позицию, отойти за ручей, прикрыть нас со стороны Волоколамска.

Бойцы роты Заева скатываются с крутояра, минуют лощину, перемахивают вброд через ручей, добегают до загородного кладбища, залегают там среди могильных холмиков.

...Справа и слева от нашего выгнувшегося дугой батальона тоже полыхает бой.

В стороне от города торчит среди полей длинное каменное здание сельскохозяйственного техникума. Нижний этаж скрыт неровностями местности: виднеются лишь провалы верхних окон, крыша. Над ней то и дело тяжело взлетает клубящаяся красноватая пыль. Немцы всаживают в здание снаряд за снарядом, крошат кирпичную кладку, но наши вцепились в этот каменный редут, бьют под его защитой из пулеметов и пушек, полосуют винтовочным огнем.

Мы знаем, там обороняется полк Хрымова. Нас разделяет промежуток шириной около двух километров. В этот промежуток и в другие бреши постепенно пробираются нам за спину немцы.

...Стрельба в тылу; там затрещали автоматы немцев. Отправляю туда свой резерв — разведчиков под командой лейтенанта Брудного.

Взвод лишь успел выбежать, как там же, в тылу, неожиданно забарабанил зенитный пулемет. Треск немецких автоматных очередей почти сразу оборвался.

Кто же так вовремя, так кстати пришел нам на помощь? Вспоминаю запрятанную в придорожном хворостиннике зенитную огневую точку.

От всех оторванные, затерянные в поле, полтора-два десятка зенитчиков не бросили своего орудия, не ушли, вступили сейчас в драку, бьют, бьют по наземным целям, заслоняя нас.

...Над крышей техникума уже не вздымаются облака пыли.

Что там случилось? Не оставлена ли нами эта кирпичная громада, простреливаемая со всех сторон? Не отошел ли мой сосед, полк Хрымова, которому я придан — придан для того, чтобы закрыть прорыв на его участке?

...Посылаю Брудного в штаб Хрымова. Смышленый юркий Брудный наверняка проберется, передаст боевое донесение, принесет новые сведения, принесет приказ.

...Мы по-прежнему держимся, стреляем, огрызаемся, не даем ходу немцам.

На землю уже пала вечерняя тень, солнце ушло за тучи.

...Брудный возвратился. На том месте, где утром находился в блиндажах штаб Хрымова, теперь никого не оказалось. В здании техникума — немцы. Оттуда уже начали хлестать их пулеметы.

К множеству чувств, переполняющих душу, прибавляется возмущение Хрымовым. Как он смел отойти, не предупредив нас, бросив приданный ему батальон?

Принимаю решение: отходить. С этим приказом посылаю гонцов в роты. Назначаю сборный пункт: сосновую рощу, раскинувшуюся среди поля.

...Таковы эти рваные картины — возможно, столь же рваные, как и самый бой, который мы, разрозненные, раздробленные войска Панфилова, вели в тот день, когда пал Волоколамск.

Отход. Последняя пачка «Беломора»

1

Приказ об отходе отдан.

Все уже покинули сложенный из дикого камня сарай, что служил нам помещением штаба, лишь Рахимов еще собирает свое бумажное хозяйство, да я сижу на штабельке теса.

Сделав какую-то последнюю пометку в полевой книжке, Рахимов аккуратно вкладывает ее в планшет, оправляет портупею, надвигает глубже шапку, взглядом докладывает: «Готов!»

— Пошли,— говорю я.

Мы выходим из сарая.

На воле опять похолодало; задувает, усиливается ветер; ползет темная наволочь, заглатывает голубизну неба. Вокруг слышится стрельба. Дуры пули залетают и сюда, посвистывая на излете: «Фьють! Фьють!»

Неподалеку, у длинного, похожего на конюшню дома — там раньше находилась ветеринарная лечебница племхоза — грузится, готовится в путь санитарный взвод. Тяжелораненые уже вынесены, уложены под кибиточный верх фуры. Бойцы с легкими ранениями, те, что могут держаться на ногах, терпеливо ждут команды трогаться; некоторые присели в затишье у дома, негромко переговариваются, а больше молчат, прислушиваясь не то к посвисту пуль, не то к себе, к собственной боли.

Около фуры нервно прохаживается наш врач Беленков. Он зябко поеживается; ворот шинели поднят, платком он утирает нос, оседланный пенсне. На боку висит вместительная сумка с эмблемой Красного Креста. Недавно новехонькая — такой она мне запомнилась по учебным маршам батальона,— эта докторская сумка уже поистрепалась. На брезенте среди замытых пятен чернеет несмываемый потек разлитого йода. Это след минувшей ночи, когда доктору пришлось работать при неверном свете керосиновой лампы. Конечно, он не выспался, устал, нервы пошаливают.

Завидев меня и Рахимова, Беленков рывком поворачивается к распахнутой двери ветеринарного пункта, кричит:

— Киреев, что вы там копаетесь? Скорей! Уже штаб уходит.

На крыльце появляется полнотелый, рыхловатый Киреев. Несколько по-бабьи он держит, в обхват прижимая к животу, большой белый эмалированный таз, нагруженный какими-то склянками и пакетами. Следом выходит санитар, тоже нагруженный; в охапке, что он тащит, можно различить мотки веревок, тонкие сыромятные ремни.

Доктор вновь набрасывается на Киреева:

— Хватит вам таскать всякую заваль! Становитесь! Выступаем!

— Какая же это, Яков Васильевич, заваль? В походе ремешок — первое дело.

— Зачем вы набрали соды? Куда нам ее столько?

— Для стирки хотя бы,— невозмутимо объясняет Киреев.

— Сейчас надо думать не об этом... Кончайте! Ждать нас не будут!

— Доктор, спокойней,— вмешиваюсь я.— Без вас не уйдем. Киреев, почему не слушаетесь приказаний?

Моя строгость не пугает старика фельдшера.

— Товарищ комбат, такое добро грех оставлять.

— А ну, какое там добро?

Вхожу в дом вместе с Киреевым. Это аптека племхоза, второпях брошенная ветеринарами. Всюду разбросана бумага: старые газеты и журналы, затоптанные, исписанные на машинке и от руки листки. Из прорванных пакетов на пол просыпался порошок разных цветов, сапогами его разнесли по полу. На окрашенных белилами полках выстроились обозначенные латинскими надписями банки. Подоконник уставлен широкогорлыми, запечатанными сургучом бутылями с бурой, почти черной жидкостью.

Киреев подводит меня к бутылям.

— Ценная штучка, товарищ комбат... Настойка опия... При расстройстве желудка замечательное средство.

Он собирается продемонстрировать еще и другие ценности брошенной аптеки, но я прерываю:

— Бери это желудочное снадобье! И на этом точка! И на будущее изволь не прекословить доктору.

Киреев бережно забирает в объятия драгоценные бутыли. Одна все же не умещается. Он обращается ко мне:

— Положите, товарищ комбат, сверху.

Исполняю просьбу рачительного фельдшера. Бросив прощальный взгляд на заставленные полки, печально покачав головой, Киреев со своей ношей покидает временное пристанище санвзвода.

Минуту спустя он, опять как-то по-домашнему, говорит ездовому:

— С богом!.. Трогай помаленьку...

2

Медленно тащится санитарная фура. Идущие позади раненые сбились кучкой — в эти минуты никто не решается отстать.

Мы уже выбрались из дола, из укрытых мест, миновали домики поселка. Впереди заросшая травой пустошь, простреливаемая с трех сторон. Ее надо пересечь, чтобы достичь рощи, темнеющей приблизительно в километре,— это сборный пункт, указанный командиром рот.

Роты еще не начали отход. На пустоши гуляет ветер, прочесывает истоптанную, выстриженную скотом траву. Порой, при сильных порывах ветра, кустики травы клонятся сильнее, тогда легкие тени пробегают по пустому выгону. Туда, напрямик к роще, поворачивает санитарная запряжка, колеса легко движутся по ненаезженной дернине.

Я на миг задерживаюсь, оглядываю простор. Пора, пора бы уже отходить ротам.

Словно в ответ на эту мысль, из-за кладбища на луговину выкатывается вторая рота. Люди бегут гурьбой, некоторые вырвались вперед, среди них я прежде всего различаю Заева. Согнувшись, прижав локти к бокам, он несется не оглядываясь. Его пистолет сунут за пояс, карманы шинели обвисли, оттопырены, туда, наверное, всыпаны патроны. Силясь догнать передовых, тяжело бегут отставшие. С ними мчится и Бозжанов. Он на бегу вспотел, щеки влажно лоснятся. Рой разноцветных пуль — красных, желтых, зеленых — преследует бегущих. Эти светящиеся хлыстики словно подгоняют бойцов. Мне кажется, я слышу, как стучат сердца топающих по луговине людей, вижу их замутненные неистовым бегом глаза.

А что будет, если выскочат вдогонку немцы, ворвутся сюда на плечах наших? Нет, так не пойдет!

Посылаю Лысанку карьером, в полминуты обгоняю бегущих. Осадив коня, поворачиваюсь им навстречу. Тяжело дыша, подбегают передние.

— Стой! — резко кричу я.

Безотказно действует укоренившийся рефлекс дисциплины. Послушные приказу, бойцы остановились.

— Не убегать! Будем отходить, как положено солдатам. Заев, почему допустил такой кабак?

Заев шагает ко мне. Шумно отдуваясь, произносит:

— Нас, товарищ комбат, прикрывают пулеметчики... Я думал, что...

— Где уж тут думать, если бежишь как угорелый! Отходи повзводно! Управляй!

— Есть! — гаркает Заев.

И тотчас командует:

— Всем разобраться! Первый взвод, стройся! Второй и третий, прикрывать отход! Разомкнись! Шире... Еще шире...

Подняв жилистый кулак, Заев грозно командует:

— Шагом...

И рявкает:

— Марш!

Где в такую минуту мое место? Если пойду впереди — вдруг задние не выдержат, вновь побегут, смутят других... Отъезжаю к небольшой выпучине, соскакиваю с седла, приказываю Синченко вести лошадей в лес, взбираюсь на бугорок. Теперь меня видно отовсюду.

Сотни цветных мух по-прежнему носятся над двумя цепочками людей, удаляющихся скорым шагом, снуют между фигурами. Внезапно мне делается страшно: наверное, сейчас немцы снесут полвзвода. Нет, все целы, идут, пуля пока никого не тронула.

Поднялась, пошла еще одна шеренга.

Заев тоже высмотрел для себя горбик, взбежал на него и, грозно уперев сжатые кулаки в бока — по-русски это говорится «руки в боки»,— молча наблюдает, как отходит рота.

Наконец и он, покосившись на меня, покидает свою вышку, уходит, вышагивая длинными ногами, с последней цепью роты.

3

Возле меня задержался лишь Бозжанов. Слышу его голос:

— Товарищ комбат, сойдите. Тут очень опасно.

Отвечаю:

— Можешь уходить... Тебе никто не велел здесь оставаться.

Нет, Бозжанов меня не оставляет. По широкому лицу пробегает тень обиды, но тотчас же он забывает о заде-

том самолюбии: глаза-щелочки сторожко окидывают местность.

Мы видим: на пастбище с другого края выносится рота Филимонова. Она тоже валит скопом, потеряв порядок. Иные бойцы далеко обогнали командира. Вон он, подтянутый, поджарый Филимонов, легко, будто без усилий, бежит в гурьбе солдат. Заметил меня, с маху остановился. Его обходят, обтекают. Но уже приметили комбата.

Те, что разогнались, вышли вперед, замедляют бег. Филимонов повелительно командует, рота почти враз ложится; бойцы перебежками занимают места в своих отделениях, во взводах, поворачиваются лицом к пулям.

...По выгону, вслед роте Заева, отходят раненые. Выстрелы, свист пуль, нервные окрики возницы горячат коней; пристяжная то и дело норовит перейти на рысь.

Раненые уже не жмутся к борту фуры, идут нестройной вереницей, растянулись, некоторые едва ковыляют, поотстали.

Доктор Беленков ушел далеко вперед. Пролетающие светляки-пули заставляют его гнуться, вбирать голову в поднятый ворот шинели. Вон он оглянулся на фуру, ползущую в сотне шагов сзади, задержался, принуждая себя подождать свой взвод, подождать раненых, но цветные змейки, готовые мгновенно ужалить, гонят его к роще. Придерживая свою докторскую сумку, Беленков убыстряет шаг и уже больше не оглядывается.

Пропустив впереди себя раненых, за ними беглым, скорым шагом повзводно проходит рота Филимонова. В задней цепи идет сам командир. Поравнявшись со мной, он поворачивает голову ко мне и вот так, не спуская глаз с комбата, минует бугорок. На сердце вновь теплеет: вот они, мои герои...

На рысях проносятся артиллерийские упряжки; катятся, проминая дернину, колеса пушек. Откуда-то выскакивает пулеметная двуколка, влекомая крепкой мохноногой лошадкой. В кузове уселись пулеметчики.

Последней уходит рота Дордия. Противник по-прежнему пригоршнями мечет светящуюся дробь. Вот пуля находит себе жертву. Кто-то в цепи осел наземь, не поднялся. Его берут на руки, тащат с собой.

Замыкающим мешковато идет Дордия. Рядом два его связных — маленький Муратов и рослый, молодцеватый Савицкий. Неожиданно Муратов хватается рукой за плечо.

Дордия бросается к ужаленному пулей связному, но я кричу:

— Не отставать! Вперед!

Стискивая рукав шинели, раненый Муратов тоже наддает шагу. Замыкающая тройка быстро удаляется.

4

Последними с поля уходим мы с Бозжановым. Шагаем к роще. Бозжанов беспокойно оглядывается.

— Товарищ комбат, надо бегом. Нас могут настичь немцы.

Я с трудом плетусь, насилу заставляю себя идти быстрей. Нервная взвинченность, сильные переживания, что в этот пролетевший час заполняли душу, сменились усталостью, опустошенностью. Нет воли, нет сил, чтобы бежать. Волочусь под огнем рядом с Бозжановым. Теперь это уже не выдержка, не храбрость, а попросту упадок.

— Аксакал, зачем вы так рисковали? Зачем стояли на виду?

— Это, Джалмухамед, не пустой риск. Это долг... Моя профессиональная обязанность.

В мыслях добавляю: «Мы с тобой люди военные, люди высокой профессии. Утрата жизни — естественное следствие нашего с тобой ремесла». Однако зачем это высказывать? Говорю:

— Разве я мог уйти первым? Если побежит командир, бойцы обгонят его на пять километров.

— Аксакал, вы должны беречь себя ради этих людей. Что будет с батальоном, если вы погибнете?

В ответ я усмехаюсь:

— Ты знаешь, этой ночью я свалился, погиб для батальона. И нашлись люди, которые вполне меня заменили.

Бозжанов снова оглядывается, снова торопит:

— Пойдемте же скорей!

5

Наконец мы в роще. Бойцы, устало сидевшие меж деревьев, без команды вскакивают.

— Отдыхайте. Вольно,— говорю я.

Кто-то уступает мне пень. Грузно сажусь. Сквозь стволы виднеется покинутое нами поле. Там снова все

голо, недвижно. Лишь ветер прочесывает коротышку траву. На краю неба, в прогалинах меж туч, проступили блеклые краски раннего осеннего заката. Синченко подводит коней. Лысанка тянется к моей руке.

— Синченко, кусок сахару не приберег?

— Нет, товарищ комбат.

Я поглаживаю нежный храп Лысанки.

— Хлеба, Лысанушка, тоже у нас нет. Сами без обеда. А закурить, Синченко, есть?

Синченко подает пачку «Беломора».

— Последняя, товарищ комбат.

Ко мне подходят пулеметчики Блоха, Мурин, Галлиулин. С ними и Гаркуша. Все испачканы землей. Белесые брови невысокого Блохи потемнели, на них осела черная пыль взрывов и кладбищенская черная земля, к которой сегодня, наверное, не раз приникали пулеметчики.

Вытянувшись, Блоха говорит:

— Товарищ комбат, разрешите доложить. Пулемет разбит.

Вяло отвечаю:

— Ладно... Разбит так разбит.

С разных сторон бойцы сходятся к моему пню, слушают наш разговор. Надрываю пачку «Беломора», предлагаю:

— Что же, товарищи, закурим.

Но ни одна рука не поднимается, никто не притрагивается к папиросам. Блоха отрицательно поводит головой. Мурин тоже молча отказывается, вертит тонкой шеей. Даже лукавый курносый Гаркуша сейчас смотрит в сторону.

— Курите же! Гаркуша, закуривай.

Чувствую, что Гаркуша колеблется. Но вот он взглянул прямо на меня:

— Нет, товарищ комбат. Курите сами. Нас много, всем не хватит.

— Почему не хватит? По затяжке и то хорошо.

— Нет, товарищ комбат.

Поворачиваюсь, нахожу взглядом пшеничные, порыжелые от табачного дыма усы Березанского.

— Березанский, тащи папиросу.

— Нет, товарищ комбат.

Я с удивлением оглядываю бойцов. Нет, удивление — не то слово.

Трудно солдату проговорить «нет», когда ему предлагают папиросу. Но мои солдаты отказались. Я их муштровал, был беспощаден, лишал отдыха, не давал подчиниться усталости, не позволял бежать от пуль, а они... Они сейчас не хотели лишить меня хотя бы одной папиросы.

— Ну, как хотите.

Сам я взял в зубы папиросу, зажег спичку, последил за огоньком. Маленькое пламя добралось к пальцам, обожгло, я отбросил спичку. Надкушенная папироса вернулась на свое место в пачку. В ту минуту и я не смог курить. Посидел еще немного. Глубоко вздохнул, крикнул:

— Командиры рот, ко мне!

Командиры подбежали. Я сказал:

— Будем двигаться... Стройте людей...

Момыш-Улы помолчал.

— Нет, это было не удивление,— вновь произнес он, возвращаясь к сказанному.— Душа многострунна. Усталость, уныние, горечь, радость, гордость, любовь к своим бойцам — все переплелось вместе... Что еще сказать? Маленькая история в лесу, история последней пачки «Беломора», запала в память как одно из самых острых переживаний войны. Это тоже один из кульминационных пунктов, одна из вершин нашей повести... Поставим здесь большую точку.

После большой точки

1

— Поставим большую точку,— повторил Бауржан Момыш-Улы.

Он сидел возле меня на пне. Нередко в дни затишья, сменившего полосу боев, мы беседовали не в блиндаже, а здесь — на песчаной мшистой гривке среди мрачноватого леса на Калининском фронте. Подмосковные поля и перелески, где в прошлом году гремела битва, остались за несколько сотен километров позади.

Нещедрое тут, близ Холма и Старой Руссы, летнее солнце пригревало вырубку. Я то и дело шлепками ладони

убивал у себя на лбу или на шее комаров, но Момыш-Улы оставался равнодушен к их уколам. Он сидел, положив обе кисти на рукоять своей неизменной шашки, упиравшейся в мох. Его руки, подобно лицу, казались вырезанными из темной бронзы или дуба. Косточки у сгиба худощавых пальцев были тонко выточены. Четко проступал и рисунок слегка выпуклых вен на тыльной стороне ладони.

Неожиданно Момыш-Улы запел. Слов я не понимал — он пел по-казахски,— мотив был протяжный, заунывный.

— Снова отрезаны,— произнес он, перестав напевать.— Без связи, без хлеба, без патронов. С одной пачкой папирос на весь батальон. И идем, идем...

Около нас дымил костерик, отгонявший комаров. Я подбросил ветку хвои, она задымилась, потом ярко полыхнула. Полузакрыв черные глаза, слегка покачиваясь на пне, Бауржан опять затянул песню. Теперь он пел по-русски. «Иван, Иван,— разобрал я.— На твоем костре я загорался...»

— О чем вы? — решился спросить я.

— Вспомнилась степь,— ответил Момыш-Улы.— Когда кончится война, вернусь туда. Степь — это символ вольности, свободы. В городе чувства скованы. А в степи едешь, едешь... Пришло настроение — запоешь. Я был рожден для свободы, был рожден в степи, а стал, видите, солдатом, офицером. Солдат — это символ дисциплины. Сумеете ли вы передать это в книге: несвобода ради свободы?

Однако формулировки, которые он сейчас находил, его, видимо, не удовлетворили.

— Мы с вами,— продолжал он,— слишком малы, чтобы разговаривать с человечеством. Но все-таки дерзнем. Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек? Мы об этом сказали на войне. Сказали не этим болтливым языком, которому нипочем солгать, а языком дисциплины, языком боя, языком огня. Никогда мы так красноречиво о себе не говорили, как на полях войны, на полях боя... Вернемся же под Волоколамск... Идем, идем...

Уносясь в прошлое, Бауржан Момыш-Улы снова протяжно запел по-казахски.

2

Я опять прервал заунывную песню.

— Бауржан, а что случилось с командиром роты Панюковым? Куда он делся? Вы об этом так и не сказали.

— Панюков? — Веки Бауржана вскинулись.— Долгое время мы о нем ничего не знали. Порой меня точила мысль: не оказался ли он калекой совести? Не намеренно ли в ту ужасную ночь отбился от нас, бросил свою роту? Припоминалось то и се... Наш последний разговор, последняя минута... Еще в ту минуту мне вдруг померещилось, что он боится. Я чуть не крикнул: «Стой, ты не пойдешь!» Нет, я зря грешил на Панюкова. Сквозь немецкое расположение к нам выбрался один боец из его роты. И рассказал, как Панюков сложил под Тимковом свою голову. Обогнав растянувшуюся ротную колонну, он вместе с несколькими бойцами шел во тьме напрямик к деревне. Вдруг оклик по-немецки... Выстрелы в упор. Вскрики... Тишина... Боец долго лежал без движения. Потом ползком разыскал командира. Тот уже не дышал. Все, кто вместе с Панюковым подошел к деревне, были перебиты. Удалось спастись лишь одному...

3

Момыш-Улы помолчал.

— Так и теряешь,— продолжал он,— одного за другим боевых товарищей. А меня пуля покамест не берет. Один раз тронула, но обошлось. Наверное, бережет судьба, чтобы мы с вами могли рассказать о батальоне.

Его глаза, скользнувшие по моей тетрадке, были сейчас ласковы. Но, как обычно, ласку он прикрывал грубоватой шуткой.

— Ну-с, что еще вы хотели бы спросить?

Чувствуя, что Бауржан расположен поговорить, что сегодня, пожалуй, он склонен отвлечься от излюбленной военной темы, я сказал:

— Какое странное выражение вы употребили: «калека совести». Что оно значит?

Момыш-Улы ответил не сразу. Он улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Прочеканенные резцом черты смяг-

чились. Мне показалось, будто проглянул Бауржан-юноша, Бауржан-мальчик.

— Когда-то, много лет назад, мой отец,— заговорил он,— впервые повез меня в город. Мы ехали мимо базара. И вдруг я увидел калеку. Он с трудом ползал на обрубках. Из-за какого-то ужасного повреждения его шея не держала головы. Огромная всклокоченная голова болталась, подпираемая чем-то вроде деревянного воротника, укрепленного ремнями. Болталась и стукалась о воротник. Испугавшись, я прижался к отцу и заревел. Отец снял меня с коня, взял за руку, подвел к увечному. «Не бойся, Бауржан, калеки. Он не страшен. Самое страшное на свете — это калека совести».

Момыш-Улы снова чему-то улыбнулся. Мне опять почудилось, что сквозь суровое обличие воина я различаю маленького казашонка, прильнувшего к отцу, широкими глазами оглядывающего незнакомый, удивительный мир.

— Мой отец,— продолжал Бауржан,— был в роду старшим, если не считать бабушки. Все, начиная с его брата, уважительно называли его «папаша», «ата», «жаке». Он был худощавым, маленьким. Кожа черная, вены выпуклые, вздутые. Это я унаследовал от него. Глаза узкие, спрятанные в глубоких глазных впадинах. Негустая седеющая борода.

Раньше Момыш-Улы неизменно отстранял мои вопросы, если они не касались войны, боевого пути батальона. Сейчас он впервые стал рассказывать об отце. Кисти рук Бауржана по-прежнему легко лежали на рукояти упертой в землю шашки, он глядел куда-то в сторону, дав, видимо, волю нахлынувшему настроению.

4

— У отца,— продолжал Бауржан,— был любимый, выезженный им молодой конь. Отец был легоньким, сухим и коня подобрал себе под пару — легконогого, поджарого. Однажды конь захромал, на задней ноге стянулись сухожилия. Я в то время был уже юношей, работал в райсовете. Отец привел коня к доктору-ветеринару, захватил с собой на всякий случай на подмогу и меня. На обширном дворе ветеринарного пункта рыжеватый толстяк

доктор в белом халате осматривал приведенных к нему лошадей. В аулах он считался знатоком конских недугов. Казахи, ожидавшие с лошадьми очереди, расступились перед старым Момышем — ему в то время было уже под восемьдесят.

— Проходите, проходите, ата, к доктору...

Ветеринар осмотрел коня.

— Уводи. Ничего сделать нельзя. Твой конь пропал.

Отец начал упрашивать, вынул деньги. Доктор рассердился:

— Ты что, русского языка не понимаешь? Переводчик, скажи, что этого коня лечить нельзя. Дело пропащее.

Кое-как подыскивая русские слова, отец стал возражать, убеждать доктора. Тот крикнул переводчику:

— Скажи этому ахмаку (дураку), чтобы пустил своего коня на махан.

«На махан» — это значит на мясо, на конину. Отец смутился, ничего не ответил, сел верхом на хромого коня и уехал. Со мной он не попрощался. Его, старшего в семье, почтенного жаке, публично, в присутствии сына, назвали ахмаком, осмеяли. И сын не сумел вступиться, промолчал... Прошло месяца два. Отец пропадал в степи, в ауле, не подавал о себе вестей. Однажды утром, когда я сидел на службе, явился посланец от него.

— Ата просит, чтобы ты сейчас же пришел на ветеринарный пункт.

Я сложил бумаги, прихожу. На знакомом вместительном дворе много коней, много народу. Толстяк доктор отбирает лошадей в армию. Оглядываюсь, моего старика нигде не видно. Я встал в сторонке, жду. И вдруг полным галопом, так, что из-под копыт летит земля, на том самом коне, которого доктор послал «на махан», во двор влетел отец в новом бешмете, в шапке из мерлушки — он всегда любил хорошо одеться. На всем скаку он осадил коня, дал свечку, заставил станцевать. Приемка лошадей остановилась. Все засмотрелись на отца. Тот нашел взглядом меня,— должно быть, хотел видеть, здесь ли его сын. Потом подрысил к ветеринару, снова поднял коня на дыбы и крикнул:

— Переводчик, скажи этому ахмаку, что не коня, а его самого надо пустить на махан!

Победоносно глянул на меня, повернул коня, прыгнул через арык и ускакал.

Оказалось, что два месяца он был одержим лишь одним стремлением, одной думой: вылечить коня. Сделал надрезы, пустил кровь, массировал, дневал и ночевал с конем. И вкусил сладость триумфа.

С ветеринарного пункта я вернулся к себе за служебный стол. Старик куда-то канул, не наведывается. В конце дня ко мне входит доктор.

— Где ваш родитель? Я хочу извиниться перед ним. Он-то был прав.

Отца нашли на базаре в компании стариков. Он упирался, не хотел идти к врачу, но его все же притащили. Доктор принес извинения по всей форме. На террасе его дома появились разные кушанья, кипящий самовар, вино. Старый Момыш был усажен на почетное место, растрогался, помирился с доктором. Весь вечер они, чокаясь, толковали о конях.

Отец умел слагать стихи. Эту историю он впоследствии изложил стихами, в которых излил свои переживания и воздал напоследок хвалу доктору, не оказавшемуся гордецом.

5

Я охотно занес в тетрадь этот рассказ Бауржана. Казалось, мне приоткрылась еще одна сторона души командира батальона, стал еще понятнее сын Момыша.

По-прежнему с улыбкой, делавшей лицо ребячливым, Бауржан продолжал перебирать и пересказывать встающие перед ним картинки прошлого.

— Матери я почти не помню. Запечатлелось лишь, как она болела, умирала. Крупная, высокая, с большими глазами, с белой кожей. Говорят, была красивой. О ней мне рассказывала бабушка, мачеха моего отца. Она никогда не называла мою мать по имени, а всегда так: «Моя красавица». Любовалась нами, внуками: «Глаза моей красавицы...» А отца не жаловала. Если ей что-нибудь не нравилось во мне, определяла: «Это отцовское». Отцу говорила: «Красивых детей она оставила тебе. Непонятно, как это случилось. От такого красавца, как ты, можно родить только обезьяну». Отец к ней относился с уважением,

никогда не обижал, все ее колкости пропускал мимо ушей. Русских бабушка называла желтыми, желтоволосыми...

Набежавший ветерок шевельнул листок моей тетради. Бауржан посмотрел на меня, на карандаш в моей руке.

— До бабушки дошли,— сердито произнес он и повысил голос.— Все это лишнее! Можете вымарать! На чем мы оборвали?

— Вы что-то напевали... О каком-то, кажется, Иване. .

— Что?.. Открывайте чистую страницу. Начнем новую главу.

Побеседуем втроем

1

Достав портсигар и закурив, Бауржан Момыш-Улы сказал:

— Эти дни после падения Волоколамска, когда мы, отрезанные немцами, пробирались к своим, казались мне трагическими. Особенно остро я пережил один случай.

Однако генерал Панфилов, которому по долгу службы я докладывал о нем, неожиданно, в самый драматический момент моего рассказа, начал хохотать. Смеясь, он даже утер слезу. И все повторял:

— Так и сказали: «высшее медицинское образование»?

2

— Хочется,— продолжал Момыш-Улы,— не упустить ни одной подробности из моих встреч с Иваном Васильевичем Панфиловым.

Я пришел к нему пять дней спустя после того, как он послал меня, свой единственный резервный батальон, навстречу немцам, прорвавшимся севернее Волоколамска.

Оставшись далеко в стороне от Волоколамского шоссе, мы четверо суток скитались, немало претерпели. Выведя батальон к нашим частям, вновь окопавшимся, заградившим Москву, я был обязан явиться к генералу, доложить о действиях батальона.

Минули сутки, как мы вышли к своим. Выдался солнечный, погожий день. Чуть подмораживало. На фронте, казалось, водворилось затишье. Лишь изредка то поблизости, то вдалеке постреливали орудия.

Штаб дивизии помещался в деревне Шишкино, примерно в пятнадцати километрах от Волоколамска. Знакомые штабные командиры встречали меня как воскресшего из мертвых. Несколько суток о батальоне не было вестей — поневоле поминали за упокой.

Панфилов занимал бревенчатую ладную избу под железной крышей, куда тянулись три-четыре нитки полевого телефона. У входа меня остановил часовой. Вскоре на крыльцо выбежал вызванный часовым молоденький лейтенант Ушко, адъютант Панфилова.

— Мы уже, товарищ старший лейтенант, не чаяли,— улыбаясь, заговорил он,— что вас увидим. А вы... Вы опять как после живой воды. Идемте, идемте, товарищ старший лейтенант. Генерал вас примет.

В сенях я чуть не столкнулся с идущим навстречу подполковником Хрымовым. Неужели он? Приземист, мрачноват, как всегда. Всколыхнулась ярость, что накопилась в душе против него. Именно ему был в ходе событий, по приказу Панфилова, подчинен мой батальон. И дважды в эти дни Хрымов бросал меня на произвол судьбы, не извещая об отходе своей части. При отступлении мы наткнулись на его командный пункт — шалаш, в котором еще горела лампа. «Не до вас было. Прости, Момыш-Улы» — так ответил позже на мои упреки заместитель Хрымова майор Белопегов. Меня тронуло его искреннее, честное признание. Но что мне скажет сейчас сам Хрымов? Я вытянулся в положении «смирно».

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

Хрымов приостановился. Его отливающая желтизной лысина мгновенно покраснела. Однако он быстро справился с замешательством.

— А-а, Момыш-Улы... Рад тебя видеть. Как твой батальон?

— Этим, товарищ подполковник, вам следовало поинтересоваться, когда вы снялись с позиции, не сообщив об этом мне.

— Во-первых, возьмите-ка, товарищ старший лейтенант, полтона ниже...

— Слушаюсь, товарищ подполковник. Но предпочел бы слушать ваши приказания в бою.

Лысина Хрымова мало-помалу приобрела свою обычную окраску. Он грозно хмурился, но избегал моего взгляда. Чины не помогают смотреть подчиненному в глаза, если начальник преступил законы чести.

— Во-вторых, потрудитесь,— Хрымов повысил голос,— меня не поучать... Кстати, почему вы здесь?

— Иду к генералу.

— К генералу? Ишь... Командир батальона идет непосредственно к генералу!

Неожиданно дверь из комнаты отворилась. На пороге мы увидели Панфилова.

— Да, товарищ Хрымов,— с обычной хрипотцой проговорил генерал,— товарищ Момыш-Улы идет ко мне. Он командир моего резерва. Вам, товарищ Хрымов, об этом следовало бы помнить. Если бы вы хорошо воевали, мне не пришлось бы посылать вам на помощь мой резерв.

Как обычно, Панфилов делал замечания не ругаясь, не крича, а этаким боковым ходом. Я считал должным повторить в присутствии генерала упрек Хрымову:

— При отходе подполковник меня бросил, товарищ генерал. Снялся и ушел, не сообщив мне.

Хрымов попытался изобразить возмущение:

— Товарищ генерал, как вы позволяете ему?

Маленькие умные глаза Панфилова, устремленные на подполковника, прищурились.

— Я с вами поговорю наедине, товарищ Хрымов. Думаю, что и вы это предпочтете... Не так ли?

Хрымов промолчал.

— Можете идти,— сказал Панфилов.— Товарищ Момыш-Улы, пойдемте.

3

В комнате Панфилов еще раз ласково оглядел меня, пожал мне руку.

Наш невысокий, невзрачный генерал был свежевыбрит, подстрижен. Усы, беспорядочно торчавшие, когда немцы наседали с разных сторон на Волоколамск, теперь чернели, как обычно, двумя четкими квадратиками. На генерале был новехонький, видимо только что сшитый,

китель. В нем сутуловатость Панфилова почти не бросалась в глаза: он распрямился, будто сбросил с неширокиx плеч добрый десяток лет.

Что запомнилось мне в комнате Панфилова? Потемневшие от времени, нештукатуренные бревенчатые стены. Свисающая с потолка электрическая лампочка привычного глазу размера, видимо уже не получающая тока, а рядом с нею крохотная, на витом черном шнуре — походная, действующая от аккумулятора. В углу кровать, застланная серым, так называемым солдатским одеялом. Трюмо, на подставке которого поместился полевой телефон. Два стола — один большой, другой поменьше. На большом была разостлана топографическая карта с разноцветными карандашными пометками. На меньшем — самовар, белый фаянсовый чайник, сахарница, раскрытый перочинный нож, недопитый стакан остывшего крепкого чая.

Панфилов кликнул адъютанта.

— Товарищ Ушко, распорядитесь... Сообразите-ка нам самоварчик... У нас теперь, товарищ Момыш-Улы, времени много... Можем позволить себе посидеть за самоваром. Отвоевали себе времечко.

Панфилов прошелся по комнате, попридержал шаг у тусклого трюмо, на ходу оглядел себя, прищелкнул пальцами и молодецки, на одном каблуке, повернулся. Он, видимо, превосходно себя чувствовал, был на редкость оживлен.

Подойдя к телефону, он соединился с начальником штаба дивизии полковником Серебряковым.

— Иван Иванович, я собираюсь поработать... Ничего не попишешь, все это вы возьмите на себя. К вечеру повидаемся, поговорим. А сейчас я приступаю к своим прямым обязанностям: буду пить чай и размышлять о будущем. Нет, нет, не один... У меня командир моего резерва... Не знаю, может быть, придется разок-другой самоварчик подогреть... Так имейте, пожалуйста, это в виду, Иван Иванович...

Далее характер телефонного разговора изменился, пошла речь о делах. Закончив, положив трубку, Панфилов сказал:

— Сегодня, товарищ Момыш-Улы, нам никто не помешает. Спокойно побеседуем втроем. Располагайтесь поудобней. Мы вас послушаем.

Я невольно оглянулся. «Побеседуем втроем. Мы вас

послушаем». Кто это — мы? Кроме Панфилова, в комнате не было никого.

— Мы, мы,— повторил Панфилов.— Я и моя карта. Ей тоже полезно вас послушать. Взгляните на нее, отвесьте ей поклон.

Я подошел к раскинутой на столе карте. Взглянул — и невольно отшатнулся. То, что сказала мне карта, совершенно не вязалось с довольным видом генерала.

Как и несколько дней назад, когда я был у Панфилова, меня поразила картина взломанного, раздробленного фронта. Там и сям пролегли словно бы разрозненные красные ощетиненные дуги, ромбики, кружки, обозначавшие наши боевые части. Просветы, разрывы между ними достигали километра и более. Эти просветы были открыты для противника.

Обернувшись, я встревоженно посмотрел на Панфилова. Он улыбался — от узеньких глаз бежали гусиные лапки.

— Товарищ генерал, я не пойму... Где же наш фронт?

— Это и есть наш фронт, товарищ Момыш-Улы.

— Но ведь тут... Где тут наша линия?

Замечу, что в те времена фронт мне всегда представлялся линией.

— Линия? — Панфилов засмеялся. Чуть ли не впервые в дни битвы под Москвой я услышал его смех.— А зачем нам линия? Думайте, товарищ Момыш-Улы, за противника. Всмотритесь: это опорные точки, узелки нашей обороны. Промежутки простреливаются. Здесь он не полезет. А полезет — пусть! Ни машин, ни орудий не протащит.

Придвинув мне стул, Панфилов не удержался, чтобы не полюбоваться картой.

— Вчера, товарищ Момыш-Улы, приезжал Рокоссовский, все это одобрил. Знаете, товарищ Рокоссовский считается со мной...

Таково было невинное хвастовство нашего генерала.

В комнате запищал телефон. Панфилов взял трубку.

— Здравствуйте... Да, да, узнал. Как не узнать!

Очевидно, Панфилов услышал слова одобрения.

— Благодарю вас... Служу Советскому Союзу!

Внезапно смуглое лицо Панфилова стало лукавым, он подмигнул мне, словно приглашая принять участие в разговоре, и тоном простака произнес в трубку:

— А я думал, вы опять будете ругать меня за беспорядок.

А, вот он с кем разговаривает! Я догадался — Звягин. Вспомнился Волоколамск, атмосфера тревоги в комнатах штаба дивизии, грузноватый, с небольшими отеками под серыми властными глазами заместитель командующего армией, тяжело роняющий фразы, отчитывающий Панфилова за беспорядок. Вспомнилось и угрюмое лицо Панфилова, его упрямо наклоненная, иссеченная морщинами шея.

Сейчас все было по-иному. Громко звучащая мембрана донесла смех Звягина. Засмеялся и Панфилов.

Далее, как я понял, Звягин приказал Панфилову выделить еще некоторое количество саперов, чтобы скорее построить зеленый театр в лесу на участке дивизии. Затем разговор коснулся дивизионного оркестра и самодеятельного красноармейского ансамбля.

— Слушаюсь, все соорудим,— сказал Панфилов.

Закончив разговор, он отошел от телефона. Мне показалось, что Панфилов взволнован. Когда он вновь обратился ко мне, его хрипотца была заметнее обычного.

— Видите, товарищ Момыш-Улы, о чем думаем... Об ансамбле, о театре! Все это нужно для войны. Нужно, чтобы дошло до сердца — все-таки остановили! Остановили немцев под Москвой по всему фронту.

— Я, товарищ генерал, не смел этому верить.

— Остановили! — повторил Панфилов.— Им теперь потребуется недельки две, чтобы подготовиться к новому рывку. Но и мы с вами дремать не будем.

Извинившись, он позвонил начальнику инженерной части, приказал послать взвод саперов на постройку театра, потом соединился с начальником политотдела, расспросил про ансамбль. Положив наконец трубку, Панфилов вернулся к карте, посмотрел на россыпь цветных значков.

— Беспорядок! — проговорил он.— Случается, что беспорядок, товарищ Момыш-Улы, это и есть новый порядок.

Еще в Волоколамске мне пришлось услышать от Панфилова эти слова. Тогда он произнес их не совсем уверенно, будто сомневаясь, спрашивая самого себя. Теперь они звучали как продуманное, выношенное убеждение.

Однако для меня его мысль еще не была ясна. Он добавил:

— Мы с вами это еще обсудим.— Чувствовалось, Панфилову действительно было интересно обсудить со мной, средним командиром, занимавшие его вопросы.— А пока рассказывайте, товарищ Момыш-Улы. Рассказывайте о батальоне.

Тем временем подали кипящий самовар. Панфилов сам заварил чай, достал из буфета несколько крупных алма-атинских яблок, копченую рыбу, баночку варенья.

Перочинным ножом он ловко расколол на кусочки глыбочку сахару, стал пить вприкуску.

Я рассказал про страшную ночь под Тимковом, про то, как грязь подавила наш огонь, нашу атаку. Пришлось рассказать и о своей болезни, о том, как провалялся, пробездельничал ночь. Панфилов расспрашивал о батальоне, о людях, оставшихся в эту ночь без командира. Он не позволял спешить, комкать подробности, все время подливал мне горячего, крепкого чая, точно и сейчас меня мучил озноб. Подливал и приговаривал:

— Пейте... Про чай не забывайте. И курите, курите, не стесняйтесь.

Когда я описал, как смотрел в бинокль на ворвавшиеся в Волоколамск немецкие танки и пехоту, Панфилов спросил:

— А в котором часу, товарищ Момыш-Улы, вы это видели?

— Приблизительно в час дня.

Панфилов засмеялся:

— Как раз тогда я решил побриться. Обстановочка, товарищ Момыш-Улы, была тае... Следовало,— Панфилов мотнул куда-то в сторону стриженной по-солдатски седоватой головой, вновь подмигнул мне,— следовало успокоить мою штабную публику. Вызвал парикмахера. А на улице трах-тарарах... Парикмахер бросил бритву, кисточку, сбежал. Я кричу: «Товарищ Дорфман, парикмахер сбежал, добривайте, окажите милость...» И ничего, еще часика три там продержались.

— Товарищ генерал, вы не бережетесь.

— Ничего... Поспешишь — противника насмешишь... Но продолжайте, продолжайте, товарищ Момыш-Улы.

Я рассказал, как случайность боя загнала немцев в огневую ловушку. Панфилов заинтересованно слушал, по-

просил показать на карте позиции батальона, путь немцев, лощину, где мы учинили им побоище. Потом пришла очередь рассказу и про наш отход.

— Замыкающей, товарищ генерал, шла рота Дордия. И Дордия шел позади всех.

Уже несколько раз я называл генералу имя Дордия.

— Дордия? — переспросил Панфилов.— Этакий беленький? Глаза навыкате?

— Да, товарищ генерал.

— Что с ним теперь? Командир на славу?

— Он был ранен... И раненым был брошен.

— Брошен?

Черные брови Панфилова вскинулись, вмиг стал круче их излом.

— Да... Это, товарищ генерал, произошло так...

Тягостные картины блужданий батальона опять встали предо мной. Я поведал их Панфилову.

Ночевка у моста

1

— Тягостные картины,— повторил Момыш-Улы.— Идем по лесу усталые, голодные, понурые. Молчим, удаляемся в сторону от Волоколамска, оставленного Красной Армией. Лесная дорога узка; колеса пушек порой обдирают кору елок; санитарная крытая брезентом фура переваливается на корневищах; иногда из-под брезента доносится сдерживаемый стон; раненые бредут и за фурой; к их трудному шагу приноравливается шаг всей далеко растянувшейся колонны. Изредка попадаются прогалины, полянки, куда заглядывает ползущее к закату солнце. А дальше опять полумрак. Тяжелые лапы елей нависли над глухим, почти ненаезженным проселком. Тропа вывела в открытое поле, влилась в утолченную щебнем более широкую дорогу. В сумерках мы пересекли ее, двинулись дальше по задернелому полю, стараясь не отдаляться от опушки.

Часа через полтора, уже в темноте, мы вышли к деревне Быки. В деревне оказались наши, сюда отошел полк

Хрымова. Мне повстречался помощник начальника штаба этого полка.

— А-а, хорошо, что подошли,— с места в карьер заявил он.— Я как раз еду вас разыскивать.

— Спасибо и на этом,— ответил я.— Разрешите связаться со штабом дивизии?

— Зачем? Вы приданы нам. Будете действовать совместно с нашим полком.

— Я с вами уже действовал. Непорядочно вы поступили. Где командир полка?

— В лесу. Завтра сможете с ним поговорить. А сейчас вот вам район обороны. Поднимайте людей и выступайте.

Мне был указан рубеж. Была дана задача: удерживать мост на дороге Волоколамск — Быки, перекрыть эту дорогу. Следовало идти обратно на щебенку, которую мы пересекли, занимать там оборону. Дело происходило вечером двадцать седьмого октября, а батальон с двадцать третьего не спал ни одной ночи. Последние сутки мы не ели, остались без курева, обедняли и патронами. Я попросил:

— Прикажите накормить мой батальон. Тут у вас полковой обоз. Пусть нам дадут хоть по двести граммов хлеба.

Однако помощник начальника штаба не решился вмешаться в неподведомственные ему хлебные дела.

— Первым долгом выполняйте задачу! Мы вам всё вышлем. И дадим, если понадобится, дополнительные приказания.

Я спросил о своих будущих соседях.

— Вашим соседом справа будет наш первый батальон. Насчет соседа слева уточняем.

— То есть слева никого?

— Эти сведения пришлем. Не задерживайтесь, идите.

— Коли так, слушаюсь.

Я кликнул коновода. Синченко подвел коней. Его Сивка несла на себе изрядный мешок овса.

— Раздобыл, товарищ комбат, у ездовых,— радостно заговорил Синченко.— Оживим наших коней.

Длинной мордой Лысанка тянулась к мешку. Я положил руку на холку. Лысанка мгновенно подобралась, тонкие уши шевельнулись, будто прислушиваясь ко мне. Вскочив в седло, я с тяжелой душой поехал к батальону, расположившемуся на привал вблизи деревни.

2

Дорога шла под изволок. Спускаясь мимо темных изб, я повстречал нашу санитарную фуру. Красноватая луна неясно озаряла пару отощавших, выбившихся из сил лошадей. Они медленно влачили в гору большие колеса, поблескивавшие высветленным на щебенке железом.

Впереди фуры энергично шагал военврач Беленков. На груди скрещивались ремни планшета и докторской полевой сумки. Я подивился бодрой походке Беленкова, мысленно похвалил его.

— Доктор, вы куда?

— Эвакуировать раненых, товарищ комбат.

— Этим займутся и без вас. С эвакуацией управится Киреев. Где он?

Доктор ответил не сразу:

— Кажется, сзади.

Его голос почему-то упал. Я крикнул:

— Киреев!

Фура уже проехала. За ней двигались легкораненые; во тьме смутно белели забинтованные головы, забинтованные, на марлевых перевязях, руки. Позади всех устало плелся Киреев. Он подбежал ко мне, одолевая одышку. Теперь они стояли рядом — высокий длиннолицый врач и запыхавшийся грузноватый фельдшер.

— Киреев,— сказал я,— сдавайте здесь раненых, эвакуируйте их. Берите с собой двух санитаров. Остальные пусть идут обратно. Кормите здесь коней. А утром, чуть забрезжит, возвращайтесь в батальон. Найдете нас на этой дороге у моста. Понятно?

— Понятно... Все, товарищ комбат, будет в аккурате.

— Выполняйте.

Киреев тяжеловато побежал догонять фуру. Беленков сказал:

— А я?

— Возвращайтесь в батальон. Мы получили район обороны и задачу. Сейчас построимся, пойдем...

— Но как же? Как же?..— Волнуясь, Беленков застрял на этом «как же».— Товарищ комбат, я мечтал хоть вымыться по-человечески, хоть отмыть руки.

— Ну, руки-то отмоете. Там как раз течет речонка.

Неожиданно доктор захныкал:

— Я устал... Я не дойду...

Захотелось прикрикнуть, окриком вернуть ему мужество, выдержку. Но вместе с тем подумалось: ведь он же достойно выполнил свой долг, наслушался стонов, нагляделся крови, оперировал, перевязывал, вовремя вывез раненых. Нет, нельзя воздействовать только криком. Я соскочил с седла.

— Доктор, садитесь на Лысанку. А я пойду пешком. Давайте я подержу вам стремя.

Подержать стремя — это, по нашему казахскому национальному обычаю, знак уважения, почесть. Беленков был уроженцем Казахстана, жителем Алма-Аты, знал этот обычай. Застеснявшись, он пробормотал:

— Зачем, зачем?

Но я почтительно склонил перед ним голову. Доктор уступил, поставил ногу в стремя, взобрался на Лысанку.

— Благодарю вас,— проговорил он.

Голос его снова был твердым.

3

Минуту спустя, шагая вслед удаляющимся всадникам и еще различая в лунном свете серый круп Сивки и белые чулки Лысанки, я вдруг услышал:

— Гляди-ка... Кажись, батька!

Я узнал быстрый говорок Гаркуши. Вот как, он уже именует меня батькой. Тотчас прозвучал ответ:

— Он! Его коняшка!

Кто же это с Гаркушей? По голосу, по произношению я определил: мой сородич, казах. Но кто же именно? Казах продолжал:

— Айда в роту! А то как бы не ушли!

— Погоди. Стукнем в эту хату. Еще чем-нибудь, может, разживемся.

Я крикнул:

— Гаркуша! Ты с кем?

Водворилось молчание. Донесся сокрушенный вздох. Потом две фигуры с винтовками за плечами, с котелками в руках послушно подошли ко мне. Я мгновенно распознал богатырскую стать Галлиулина. Сейчас он понурился, словно пытаясь стать незаметнее, как-то уменьшить свой огромный рост. Но и при этом он на голову возвышался над Гаркушей.

— Кто разрешил ходить по хатам?

Галлиулин смущенно молчал, но Гаркуша не утратил бойкости.

— Товарищ комбат, злодей брюхо виновато. Вчерашнего добра не помнит.

— Молчать! Марш в батальон! Вижу, вас распустил лейтенант Заев. Доложите ему, что шастали по избам. Пусть он вас взгреет!

— Товарищ комбат, разрешите не докладывать,— попросил Гаркуша.— Всего-то и раздобыли по котелку творога. И чуток картошки.

Галлиулин робко добавил:

— Разве мы только для себя? Несем товарищам.

— Без разговоров! Бегом!

Вероятно сочтя себя прощенными, Гаркуша и Галлиулин побежали.

4

Вскоре я подошел к батальону, расположившемуся под горкой на привал. Озаренное луной поле было усеяно сидевшими и лежавшими солдатами. Впрочем, сидели лишь немногие: усталость, изнеможение повалили почти всех.

Меня встретил Рахимов. Он подбежал легким шагом, будто вовсе не был измотан напряжением боя, бессонными ночами, долгим маршем. Привычная уху команда огласила поле:

— Встать! Смирно!

Я не произнес: «Отставить!» Но этого слова, видно, ждали. Истекла минута. Сначала вскочили командиры, потом, нехотя отрывая от земли ноющие, натруженные тела, со вздохами, с кряхтением поднялись бойцы. Рахимов отрапортовал: батальон на привале, чрезвычайных происшествий не было. Я сообщил ему полученный мной приказ, велел вести батальон к мосту. Без промедления, без расспросов Рахимов выкрикнул команду, которая — я это знал — была для всех сейчас постылой:

— Становись!

Однако пружина дисциплины действовала. Тотчас прозвучали повторные команды. Опередив всех, хрипло гаркнул Заев:

— Вторая рота, становись!

К его сорванному басу присоединился звонкий, высокий голос Дордия:

— Первая рота, становись!

Кубаренко прокричал команду своим артиллеристам, Филимонов — третьей роте. Эти голоса слились. Бойцы медленно построились. Вновь над темными рядами выросла грозная щетина штыков.

— Равняйсь!

От сердца немного отлегло. Батальон жил, держал равнение, держался вопреки недосыпу, голоду, усталости, почти непосильной человеку. Незримое знамя воинской чести, дисциплины, солдатского долга реяло над нами. Я сказал:

— Рахимов, ведите батальон!

5

Через час мы добрались до мостика, перекинутого через узкую, в несколько шагов шириной, речонку. В небе по-прежнему плыла луна, порой застилаемая быстро несущимися облаками. Берег, обращенный к противнику, был слегка вздыблен, образовывал высотку или, вернее, хребетик. Глубокая впадина реки поросла кустами. В открытом поле виднелись темные шапки стогов. К полю со всех сторон примыкали леса, порой чуть ли не сплошь заливающие зеленой краской топографическую карту этой части Подмосковья.

Я вызвал командиров рот, указал участки обороны.

— Кладите бойцов в оборону. И пускай спят. Часовых не ставить. Вы будете часовыми.

Рахимов тем временем выбрал в лощине у реки место для штаба. Там быстро соорудили шалаш. Синченко привязал неподалеку Сивку и Лысанку. Лысанка, доставившая сюда, на рубеж, нашего доктора, была счастливее нас: она уже перетирала на зубах вкусное сено, щедро натасканное руками Синченко из ближайшего стога; она подняла морду, потянулась ко мне, когда я проходил мимо. Я ласково тронул ее мягкую губу.

В шалаше уже расположился мой маленький штаб: Рахимов, Бозжанов и Тимошин. Я сказал им:

— Будем, товарищи, дежурить, обходить роты.

Послав в одну сторону Бозжанова, я сам пошел в

другую, куда направилась вторая рота. Эта испытанная рота, под командой Заева, была отправлена на самое уязвимое, самое угрожаемое место, туда, где у нас не было соседей, где фронт батальона словно обрывался в пустоту, на открытый фланг. На другом краю, где под боком находилась деревня Быки и как бы чувствовался локтем полк Хрымова, оборону занял Филимонов. Рота Дордия залегла в центральной части рубежа, непосредственно перед мостом.

Я шагал по гребню вдоль реки. Кустарник отмечал ее извивы. Вдруг в неверном лунном свете мне предстало удивительное зрелище. Длинный, жердеобразный Заев восседал на той самой маленькой белой лошаденке, которую обычно впрягали в пулеметную двуколку. Он взгромоздился, что называется, охлябь, то есть без седла; его ноги, лишенные стремян, доставали, казалось, до земли. Сидя довольно прямо, хотя и уронив голову на грудь, Заев сонно покачивался. Лошаденка мирно пощипывала тронутую заморозками жесткую траву, смиренно выдерживая на себе верзилу всадника. Вот она скакнула стреноженными передними ногами — Заева кинуло назад; едва не свалившись, он вцепился в гриву. Я не выдержал и рассмеялся. Заев грозно просипел:

— Стой? Кто идет?

— Ну, Заев,— сказал я,— сейчас полюбовался на тебя. Приспособил лошаденку.

Видимо смутившись, он неуклюже слез с лошади, пошел ко мне навстречу.

— Только на ней спасаюсь. Очень бросает в сон. Люди, товарищ комбат, на месте... Дрыхнут...

Мы подошли к рубежу, занятому ротой. Рассыпанные в цепь солдаты спали. Никто не ворочался. Тела могли бы показаться мертвыми, если бы не громкий храп, разносившийся над полем.

— Ну, что снилось, Семен? — спросил я.

— У вас, товарищ комбат, белые перчатки есть?

— Белые перчатки? К чему они мне?

— А у меня есть.

— На кой ляд они сдались?

— Для Берлина берегу,— доверительно пробасил Заев. Из бокового кармана шинели он достал пару новеньких белых перчаток.

— Где ты раздобыл?

— В Волоколамске, в военторге. Никто не брал, а я купил. Взойдем в Берлин — поглядят на нас. Ну рус! В белых перчатках.

Над полем забухал его хохот, отрывистый, хриплый, как и его речь. Заев разговорился.

— Послужат. Похожу два дня в Берлине и выброшу. Не для Алма-Аты же буду их беречь. Там меня чудаком назовут...

— Этого, Заев, тебе и без перчаток не миновать.

Заев наклонился ко мне.

— Как думаете, товарищ комбат,— просипел он,— понаделаем мы еще дел на этом шарике?

В эту минуту как раз мы проходили мимо пулемета, стоявшего с заправленной в магазин лентой. Пулеметчики тоже спали. Невольно я поискал взглядом Галлиулина. Нет, ведь пулемет Блохи разбит, теперь и Блоха, и весь его маленький расчет получили винтовки, стали обыкновенными бойцами в роте Заева.

— Дисциплинка у тебя, Заев, хромает. Бог знает о чем думаешь, а люди совсем разболтались.

— Как так? У меня не забалуешь!

— Плохо смотришь. Баловали. Разве Гаркуша и Галлиулин не докладывали тебе?

— А что они?

— Шатались по деревне, побирались.

— Шатались? Сейчас я им влеплю!

Заев любил требовательность, любил подтягивать, подражая, возможно, в этом мне. Ни один проступок он не оставлял без нагоняя. Узнав о самовольстве двух своих бойцов, он немедля стал их разыскивать среди спящих. Вскоре мы набрели на Галлиулина. Он лежал, обратив к небу лоснящееся черное лицо, раскинув руки, как сраженный.

— Галлиулин! — хрипло крикнул Заев.

Ответом было лишь мерное похрапывание. Заев нагнулся, крикнул почти в ухо:

— Галлиулин!

Тот не шелохнулся, сонное дыхание не прервалось.

Заев напрягся, обхватил могучее туловище солдата, приподнял, поставил на ноги. Веки громадины бойца приподнялись. На мгновение он очнулся, увидел Заева, увидел меня, сложил умоляюще ладони, кротко прошептал:

— Я извиняюсь...

И тотчас заснул снова. Так он и посапывал, держась на ногах, привалившись к Заеву. Даже мое не знающее снисхождения сердце было тронуто.

— Ладно,— сказал я.— Завтра ему всыплешь.

Заев опустил солдата на землю. Тот не проснулся.

Таков был богатырский сон батальона.

6

Из второй роты я вернулся в шалаш, на командный пункт. Там на пустом патронном ящике сидел Рахимов.

— Не спишь?

— Вполглаза дремлю, товарищ комбат, в пол-уха слушаю.

Будто из-под земли, в шалаше появился Синченко. Видимо, мой верный коновод тоже спал в пол-уха, поджидая меня.

Вот, товарищ комбат, я постелил вам потник... Вот ваша шинелька. Сапоги, товарищ комбат, будете снимать?

— Нет. Ложись. Не приставай.

Улегшись, я подложил под голову полевую сумку. Вспомнил белые перчатки Заева, улыбнулся. Эх, Заев, Заев, чудачина! Минуту-другую еще слышал, как неподалеку жуют лошади: «хруп-хруп...» Унесся мыслями в детство, в степь... Там в кибитке или в юрте я нередко засыпал под это лошадиное домашнее «хруп-хруп...». И вскоре окунулся в приятную, влекущую дремоту.

Очнулся от чьего-то прикосновения. В шалаше уже горел костерик, потрескивал в огне хворост. Дым стлался под сводом, уходя сквозь ветви и в шалашный лаз. Меня разбудил Рахимов. Невысокое пламя озаряло двух незнакомых мне людей. Я разглядел пожилого полнотелого капитана с несколько бабьим расплывчатым лицом и молодого лейтенанта.

— Товарищ комбат, к вам,— доложил Рахимов.— Из штаба подполковника Хрымова.

Я приподнялся, сел на своей кошме.

— Вы командир батальона? — не здороваясь, спросил капитан.

— Я.

— Почему допустили такое безобразие? У вас все спят.

— Хорошо, что спят. Я приказал спать.

— Это недопустимо... Это нарушение устава! Это преступление!

И давай меня честить. Позже я близко узнал этого капитана. Он был добродушным, честным, хотя и недалеким офицером, но той ночью наше первое знакомство оказалось далеко не добрым.

Я слушал, слушал и сказал:

— Рахимов, я прилягу. Когда капитан закончит поучения, разбуди.

Капитан обиделся.

— Почему вы так дерзко отвечаете?

— Не люблю, когда попусту болтают. Мне ваши нотации надоели. И кто вы, собственно, такой?

— Капитан Синицын. Начальник химической службы полка.

— То-то вы так благоухаете... Зачем вы ко мне приехали?

— Меня послал командир полка, чтобы подтвердить задачу, данную вам, и проверить боеготовность батальона.

— И больше ничего? А сведения об обстановке, о соседях?

— Я вам уже сказал: обстановка прежняя, задача прежняя.

Тут я по-настоящему разозлился.

— То, что вы привезли, не стоит пота той лошади, на которой вы сюда приехали. Передайте это вашему командиру.

Капитан оскорбленно поджал губы. А я уже не старался сдерживаться. Ругал недостойную, дрянную привычку иных командиров, которые с легким сердцем оставляют без патронов и хлеба чужих — то есть не своей роты, не своего полка — солдат.

— Вашему командиру наплевать на судьбу чужого батальона,— кричал я,— наплевать, что мои люди голодны! Хоть бы прислал патронов! Если завтра нас тут перебьют, как кур, ваш командир даже не почешется!

Синицын все темнел с лица, все хмурился. Наконец попытался меня оборвать:

— Вы не имеете права так говорить о старших...

Я отрезал:

— Убирайтесь из расположения батальона! Передайте вашему командиру, что я задачу выполню. Сложим на этом поле головы, но выполним. Больше с вами разговаривать не желаю. Рахимов, проводи гостей!

Не прощаясь, я улегся, накинул шинель, повернулся к стенке шалаша.

Разумеется, моя резкость была недопустима. Следовало вести себя по-иному. Но несдержанность — мой недостаток. В оправдание мне нечего сказать. Или скажу, пожалуй, вот что: если вы ищете человека без слабостей, ошибок, недостатков, человека без острых краев и углов, то со мной тратите время даром.

...Нервы были еще взвинчены, когда топот коней возвестил, что посланцы подполковника Хрымова уехали. Постепенно раздражение притупилось, усталость взяла свое, я снова заснул.

7

Под утро из полка Хрымова к нам прибыла повозка. Штаб полка прислал несколько ящиков патронов и два ведра вареного мяса. Я обрадовался патронам, но сокрушенно смотрел на куски мяса. Два ведра! Это на батальон-то, на пятьсот голодных ртов!

— Синченко,— приказал я,— расстилай плащ-палатку. Рахимов, у тебя глаз верный. Дели.

Рахимов достал перочинный нож, оглядел разложенное на плащ-палатке мясо и без единого слова принялся делить. Я послал связных за командирами рот.

Раньше других пришли Заев и Бозжанов. Нынче, как я знал, Бозжанов провел у Заева почти полночи, взялся быть его подчаском, дал ему поспать.

Пришедшие недоуменно уставились на несколько порций мяса.

— Заев,— сказал я,— это на всю твою роту.

— На роту? Я один все съем.

Я прикрикнул:

— Хватит дурить! Раздай бойцам и объясни, что у комбата нет больше ничего. Расскажешь, как Рахимов на плащ-палатке делил мясо. Ступай буди людей! Дело к свету! Пора! Начинай окапываться, зарывайся глубже. И присылай за патронами. Денек будет горячим.

— Есть, товарищ комбат. Денек будет горячим,— просипел Заев.

Я покачал головой: снова он чудит. Кто мог предвидеть, каким страшным, роковым окажется этот день для него, лейтенанта Заева?

Двадцать восьмое октября

1

День двадцать восьмого октября — следующий день после того, как пал Волоколамск,— помнится мне так.

...Я лежу на бугре в кустах — это мой наблюдательный пункт. Телефонной связи я не имею, управляю ротами через связных. Бугор невысок, я вижу лишь центральную часть рубежа, позицию роты Дордия. Брустверы одиночных окопов, обложенных свежим дерном, сливаясь с пожелтевшей травой луга, кажутся затравеневшими кочками. Линия этих кочек заграждает мост.

Там и сям возле окопов вздымается земля; немцы уже разведали наш передний край, гвоздят и гвоздят из леса.

Внимание напряжено... Противник вот-вот где-нибудь рванется. Но где именно? Здесь ли — напрямик к мосту? Или слева, где у меня нет соседей, где дугой окопалась рота Заева?

...Трава на рубеже уже потеряла свой жухло-зеленый цвет, на ней осели пыль и копоть. Всюду чернеют оспины воронок.

Противник молотит и молотит. Нелегко сейчас бойцам в одиночных стрелковых ячейках. Мы уже стреляные воробьи: от грохота близких разрывов у бойца уже не мутится рассудок, боец ценит свой окоп, свою винтовку, и все же подавленность, свойственная отступающим, нас не покидает. Незримая волна словно доносит ко мне тоску солдата, его страх, его темные предчувствия.

Меня тоже томит, сосет страх за моих солдат, за судьбу батальона, гложет ожидание удара.

...Что это? Чья-то фигура несется от кочки к кочке. Тотчас узнаю Бозжанова. Шинелька безукоризненно заправлена, талия не тонка: все в его роду были толстяками. Бежит умеючи, не теряя головы. Вот сделал зиг-

заг, вот низко пригнулся... Добежал! Камнем пал в окоп, скрылся, будто сгинул.

Немного погодя две ушанки чуть приподымаются над краем ямы — бойца и политрука Бозжанова. Неунывающий, общительный Бозжанов принес с собой в окоп шутку, мужество. Слегка двинулась лежащая на возвышении винтовка, приклад прильнул к плечу; какая-то цель, может быть гадательная, взята на мушку. Знаю, Бозжанов сейчас несколько раз выстрелит. Это его слабость, любит пострелять.

Скоро он явится ко мне с ворохом вестей о роте Дордия: сообщит о потерях, о том, что примечено, засечено перед фронтом роты.

Потом Рахимов (он не покидает шалаша в лощине) все это зафиксирует на карте или в полевой книжке. По существу, оба они начальники штаба у меня: Рахимов — сидячий начштаба, а Бозжанов — ходячий, курсирующий из роты в роту и ко мне.

...Огонь немцев усилился. Не предвестие ли это атаки?

Да! Из леса выбежала цепь солдат в летних зеленых пилотках, зеленых шинелях. Бегут к нашим окопам... Немецкие минометы и пушки замолкают. Тишина. Зеленые шинели приближаются. Чернеют прижатые к животам, направленные вперед автоматы. Наши начали стрелять. Немцы перебегают, надвигаются. Неужели же, неужели мы не устоим? На это, конечно, и рассчитывает противник: рус постреляет и даст драла. Огнем автоматов, струями трассирующих пуль немцы прокладывают себе дорогу. Чувствую: вот она, критическая минута боя. Не могу вздохнуть, грудь будто в тисках.

И вдруг рявкнули четыре наши пушки, скрытые около моста. Картечь ударила по атакующим. Еще! Еще!

Немцы легли, стали откатываться.

...Удар отбит. Но за это пришлось заплатить. Пушки, обнаружившие себя, не успели переменить позицию. Стволы противника обрушили на них огонь.

Вскоре связной доставил мне известие: две пушки разбиты, артиллеристы понесли потери, командир батареи лейтенант Кубаренко убит.

Прощай, Кубаренко! Прощай, друг по оружию!

...Филимонов донес через связного: немцы пытались атаковать и на его участке. И тоже отбиты.

Лишь Заева противник пока не трогал.

...Я по-прежнему лежу на бугре, вижу мост, далекий лес, окопы роты Дордия.

Опять кто-то бежит по рубежу. Кобура пистолета обвисла на нетуго стянутом поясном ремне; шинель плохо пригнана, великовата; полы путаются между ногами. И все же он — я уже признал щупленького Дордия,— все же он, верный велению долга, бежит сквозь эти взбросы, грохот, вспышки пламени, чтобы рассеять подавленность, страх уткнувшихся в землю бойцов.

...Укрываясь между кустами, ко мне на бугор пришел Тимошин.

— Прибыл от Заева, товарищ комбат.

Дыхание слегка учащенное. На загорелом, юношески открытом лице я не приметил волнения. Однако какая-то чрезмерная твердость в складке губ, в устремленных на меня серых глазах не сулила доброй вести.

— Чего стоишь? Ложись. Что там? Докладывай!

Тимошин сообщил, что немцы обошли позицию Заева, охватили нас полупетлей. Заев растянул загнутый фланг, но немцы продвигаются все глубже. Я ожидал, предугадывал эту весть. Сейчас ощущение нависшего удара, ощущение обуха, занесенного над головой, стало еще острее.

Я посмотрел вперед. На фронте роты Дордия по-прежнему взметывалась земля. По склону к речке отползал раненый.

Я сказал Тимошину:

— Иди к Рахимову. Сообщи обстановку. Передай, что я, возможно, пойду отсюда к Заеву.

Тимошин поднялся, поднес ладонь к ушанке. В этот миг рядом с его головой чиркнула пуля. Тонкий голый прутик, которого касалась его шапка, упал, будто перерубленный. Я дернул Тимошина вниз. Он даже не успел побледнеть.

— Не тянись, когда не надо! — крикнул я.— Иди!

Пригнувшись, он стал пробираться по кустарнику. Что же это? Шальная пуля? Или снайпер обнаружил мой наблюдательный пункт?

Ко мне сзади подполз Синченко.

— Чего тебе?

— Ничего. Нахожусь при вас.

Помолчав, Синченко добавил:

— Вы вроде сказали, что собираетесь до Заева. Кони, товарищ комбат, в готовности.

Я ничего не ответил.

— Ожидаю ваших слов,— продолжал Синченко.

— Не суйся, пока тебя не звали,— оборвал я.

Мой коновод обиженно засопел.

— Пройду лощиной. Ты с конями оставайся здесь!

— Дело ваше... Вам видней...

Синченко любил оставить последнее слово за собой. Я прикрикнул:

— Хватит болтать!

2

...Вместе с Бозжановым и связным Ткачуком шагаю вдоль речонки к Заеву. Илистый берег прихвачен морозцем, тверд. Обгоняем двух или трех плетущихся к перевязочному пункту раненых. Вот еще один. Прижимает к лицу напитанную кровью тряпку, кровь каплями сбегает с шинели на траву, отмечая каждый его шаг. У него хватает сил самому передвигать ноги, но все же двое бойцов, взяв винтовки на ремень, поддерживают его.

— Стой! Какой роты? Филимонова?

— Да, товарищ комбат.

— Почему бросили окопы?

— Сопровождаем раненого, товарищ комбат.

— Доберется сам!

Пожалуй, следовало добавить: «Он исполнил долг солдата. А вы? Вы этим пользуетесь, чтобы не исполнять свой!» Но мой взгляд, думается, уже сказал все это. Кричу:

— Марш по местам! Бегом!

Послушные приказу, бойцы припустились обратно.

Смотрю на раненого. Его глаза, странно расширенные, с необычно большими белками, все еще таят ужас той секунды, когда на землю, на шинель, на руки брызнула, захлестала его кровь.

— Тут доктор уже рядом,— успокаивает Бозжанов.— Сейчас помогут, перевяжут, и пойдешь в тыл героем. Передай там девушкам от нас привет.

...Шагаю дальше. Вот и палатка, где развернулся наш медпункт. Там же, задрав дышло к небу, стоит вернувшаяся из ночного похода санитарная фура, уже старательно вымытая речной водой.

В палатке кто-то стонет. На воле разведен костер. Возле костра сидят и лежат раненые, человек двадцать. У многих шинели внакидку, ясно видны недвижные, покоящиеся на марлевых повязках забинтованные руки. Немало ранений в голову, в лицо. Порой тот или иной отхаркивается кровью.

И вдруг — словно и нет войны — раздается по-домашнему покойный, со стариковской приятной хрипотцой, голос фельдшера Киреева:

— Товарищ комбат, чайку не откушаете? И сахарок есть...

— Некогда, Киреев... Спасибо. Как тут у тебя дела?

— Собираю команду в путь-дорогу.

— Какую команду? Куда?

— Товарищ Рахимов приказал, чтобы все легкораненые, кто может идти сам, шли потихоньку-полегоньку в деревню... Напою сейчас ребят, и тронутся...

Ребят... Я не любил этого выражения, но у добряка фельдшера с серебрящейся щетинкой на лице оно звучало как-то кстати. Он ворковал хозяйственно, несуетливо. В мыслях я отметил и Рахимова. В эти тяжелые, даже, может быть, роковые для батальона часы, сидя в шалаше, без телефона, Рахимов распоряжался с обычной точностью и предусмотрительностью. Мой маленький штаб действовал, управлял.

Кивком подтвердив приказание Рахимова, иду дальше по береговой впадине. За мной по-прежнему следуют Бозжанов и связной Ткачук.

Вот кого-то несут на шинели к перевязочному пункту.

Посторонившись, я увидел покачивающуюся на шинели белобрысую голову без шапки, очень бледное, со смеженными веками лицо. Губы казались неживыми, по ним будто мазнули белой краской. Столкнувшись со мной, бойцы, несшие раненого, приостановились. Он открыл глаза — слегка выпуклые, черные, восточные. Дордия!

Заметив меня, он зашевелился, лоб порозовел. Стиснув губы, он хотел подняться, но я не позволил.

— Ладно, Дордия, ладно...

— Товарищ комбат... Я ранен в грудь. Перевязка сделана. Роту сдал командиру взвода младшему лейтенанту Терехину.

— Лежи... Несите его в медпункт. Сейчас с санитаром отправим тебя в Быки.

Дордия привстал. В устремленных на меня черных глазах я прочел мольбу. Или, может быть, это лишь боль?

— Товарищ комбат, у меня просьба.

— Давай... Обещаю выполнить.

Он помедлил.

— Я могу... Вполне могу... Никуда, товарищ комбат, меня не отправляйте... Такой момент...

Беспомощный, раненый Дордия хотел в этот грозный день остаться с нами, с теми, кого узнал в бою. Вероятно, он догадался, что у меня мелькнула мысль о его беспомощности, и заставил себя еще раз произнести:

— Могу еще понадобиться.

И опять посмотрел с мольбой:

— Вы же... Вы же, товарищ комбат, меня не бросите...

— Никогда не брошу,— сказал я.— Ладно, Дордия, будь по-твоему.

Он прикрыл глаза. Его подхватили, уложили на шинель. Губы уже не были мертвенно-белыми; кто-то словно стер с них белесые мазки.

Кто-то... Кто же это сделал, вернул спокойствие духа раненому Дордия? Отвечу: это была вера. ВЕРА! Большими буквами пишите это слово.

3

Я сказал Бозжанову:

— Иди в роту Дордия. На время останешься там командиром.

— Есть! Покомандую,— без запинки откликнулся Бозжанов.

Напряжение боя, раненые, кровь — все это, конечно, действовало и на него, но он даже и теперь не потерял неистощимой жизнерадостности и приказ взять на себя командование воспринял с явной охотой.

Выбравшись из буерака, он зашагал по некрутому подъему. Неожиданно из-за какого-то бугра навстречу Бозжанову вынеслась толпа солдат. Бозжанов закричал:

— Куда? Стой! Стой!

Окрик прозвучал впустую, никто не повернул голову, не задержался. Оравой — даже не различишь, кто впереди,— ничего вокруг не замечая, целый взвод тяжело топал, бежал вниз. Извечная солдатская поклажа — лопаты, ве-

щевые мешки, подсумки — была захвачена явно впопыхах. Винтовки торчали как попало — то за спиной, то в руке наперевес. Среди бегущих я узнал молодого высокого Савицкого, который был связным командира роты, узнал худенького остролицего Джильбаева, усатого Березанского, других. Они неслись мимо меня.

Неужели же все кончено? Неужели их гонит враг?

Я бросился вслед за толпой, нагнал, опередил. Набрал в легкие воздуха, гаркнул во всю мочь:

— Стой!

Остановились, сбились кучей.

— В чем дело? Почему бежите?

Ответа нет.

— Савицкий, почему бежишь?

— Все ушли, товарищ комбат... Ушли, когда ранило командира роты. Мы остались там одни.

— Врешь! Где командир взвода?

— Ранен. Ушел на перевязку.

Я приказал построиться.

— Смирно! По порядку номеров.

Рассчитались. Оказалось, тридцать три человека. У меня все внутри дрожало. Я сказал:

— Трусы! Весь советский народ борется за Родину! А вы, тридцать три предателя, бросили окопы, открыли врагу фронт.

Кто-то в задней шеренге пробурчал:

— У нас ничего нет, кроме винтовок.

— Молчать!

Я кричал чуть не в истерике. В ту минуту мне казалось: все, чем крепок батальон, все мои святыни — воинская честь, верность присяге, долгу, дисциплина, боевая традиция батальона,— все это разваливается, гибнет.

Глядя на выстроившихся, ненавидя их, я, не сдерживая себя, выпаливал:

— Да, ваш командир роты ранен. Командир батареи, которая воевала рядом с вами, убит. От имени раненых, от имени павших, от имени тех, кто честно сражается в окопах, я сейчас всех вас расстреляю. Бозжанов, прикажи принести ручной пулемет.

Бозжанов козырнул, медленно пошел к связному Ткачуку.

— Чего волочишь ноги? Быстрей!

В строю все стояли бледные, суровые. Я подошел к од-

ному из солдат, деревенскому парню, здоровяку Прохорову.

— Почему бежал?

Он не ответил. Его толстые, сильные пальцы, державшие взятую к ноге винтовку, были бледными, будто бескровными,— так крепко они стиснули ствол. О чем он сейчас думал? Я спросил:

— Женат?

Сжатые губы шевельнулись:

— Да.

— Давай документы.

Свободной рукой он рванул крючки шинели, полез в прорезанный на груди карман гимнастерки.

— Вынимай все, что есть в кармане.

Он выпул красноармейскую книжку и маленькую фотографию. На фотокарточке было запечатлено молодое улыбающееся женское лицо.

— Это твоя жена? Посмотри на нее перед смертью, больше ее не увидишь.

Парень вдруг неумело, по-мужски, в голос заревел и кинулся мне в ноги. Никогда этого я еще не видел; у казахов нет этого обычая — падать в ноги.

— Прохоров, встань!

Все еще рыдая, он поднялся. Я оглядел бойцов. На правом фланге вытирал слезы Савицкий.

— Савицкий, выходи из строя! Джильбаев, выходи! Ты тоже выходи! И ты...

Всех, у кого слезы, вывел из строя.

— Почему плачете?

Молчание.

— Абиль, почему заплакал?

Джильбаев выговорил:

— Пусть убьет немец, а от вашей руки...

И не досказал. Слова, собственно, уже не были нужны. Джильбаев, как и я, происходил из рода воинов. «Честь сильнее смерти». Эта поговорка казахов была для нас заветом. На миг я представил себя на его месте: потерявший честь, бежавший с поля боя, я стою здесь у обрыва, приговоренный к расстрелу. Меня скосят не вражеские пули, а свои — непрощающие пули верных сынов Родины, вершащих воинское правосудье. Я содрогнулся, все еще чувствуя себя Джильбаевым. Нет, нет, пусть со мной станется что угодно, но не это!

— Идите! — сказал я.— Я вас прощаю. На, Прохоров, бери фотографию, пусть твоя жена будет при тебе. За ваши слезы прощаю ваш позор.

Обращаюсь к другим:

— А что делать с вами?

За всех ответил Березанский:

— Мы тоже будем воевать.

— Кто «мы»? Ты?

— Все будут.

Позади меня стоял Бозжанов. Я знал — мельком увидел по его лицу,— как он волнуется, как переживает эту драму. До этой минуты он не позволял себе вмешиваться, исполнил приказание, послал за пулеметом, а сейчас без моего разрешения скомандовал:

— Кто хочет честно умереть в бою, выходи из строя!

Все, как один, шагнули вперед. Я посмотрел на Березанского, вспомнил, как он, сорокапятилетний усатый солдат, на Тимковской горе блуждал ночью по грязи, отыскивая свой взвод, как под утро занял место в боевой цепи, в цепочке устланных соломой окопов, уснул там с чистой совестью.

— Березанский,— произнес я,— ты сказал «мы», держал ответ за всех. Иди командуй этим взводом. А ты, Бозжанов, принимай командование ротой. Ну, отправляйтесь занимать позицию.

Будто опасаясь, что я передумаю, Бозжанов, не теряя минуты, крикнул:

— Товарищи, за мной!

Вскочив на невысокий, ниспадающий к речке обрыв, он побежал к линии брошенных окопов. Сдергивая с плеч винтовки, вынося их вперед, наперевес, бойцы кинулись за ним.

4

...Иду дальше. Речонка запетляла. Покидаю береговую ложбину, иду к Заеву лугом, напрямик. Кое-где торчат стога. У одного задерживаюсь, прислушиваюсь.

Немцы дубасят, не дают нам передышки. Тихо лишь в той стороне, где залегла рота Филимонова. По соседству с Филимоновым, как было уже сказано, оборонялся, держал деревню Быки батальон из полка Хрымова. Пальба

стихла и там, у деревеньки. За этот фланг я был более или менее спокоен. Немцы, наверное, устремились в незагражденное, незащищенное пространство, в обход Заеву. Оттуда, с той стороны, надо ждать удара.

Продолжаю свой путь полем. Кто-то показался вдалеке. Шагает от опушки леса, что примыкает к нашему рубежу с тыла. Странно — идет не один, а с лошадью; ведет ее за повод: на седле что-то навьючено. Поворачиваю навстречу. А-а, это Тимошин!

Вижу — на рослого, ухоженного, со стриженой холкой гнедого коня нагружены два немецких телефонных аппарата, два мотка провода. Тимошин возбужден: шапка сбита набок, раскраснелся, ни с того ни с сего вспыхивает и пропадает улыбка.

— Тимошин, ты откуда? Это что у тебя?

— Трофеи, товарищ комбат.

— Где раздобыл?

Тимошин объясняет: шел опушкой, повстречал двух немцев, которые тащили по лесу телефонную связь, обоих укокошил, взял трофеи.

— Теперь, товарищ комбат, тороплюсь к вам.

Понимал ли он, все еще переживающий горячие минуты схватки, понимал ли он, какое тяжелое известие принес? Не доверяя собственным ушам, я вновь спросил:

— Где же они напоролись на тебя?

Тимошин размашисто показал назад:

— Да вон там, в лесу.

— В нашем тылу? Филимонову сообщил?

— Первым делом, товарищ комбат.

Я молчал. Два станковых пулемета, которыми располагал батальон, я отдал Заеву, оборонявшему самый угрожаемый, как мне казалось, участок. А вот теперь... Теперь опасность пришла сзади. Грозно темнела стена недалекого леса. Значит, немцы уже вышли с обеих сторон к этому лесу... Понадобилась, по крайней мере, еще целая минута, чтобы я воспринял, осознал эту обрушившуюся на меня новость.

Тимошину я приказал:

— Сгружай здесь свои трофеи. Садись верхом. Скачи во весь дух к Заеву. Объясни обстановку. Пусть берет пулемет и прикрывает тыл. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

Тимошин ускакал. Я поспешил назад, к своему штабу. В небе за пеленой облаков был заметен белесый кружок солнца. Черт побери, как он долго тянется, этот проклятый день! Но самое страшное было еще впереди.

5

Вот что стряслось четверть часа спустя. Именно стряслось — я не смог ничего предпринять, не успел даже крикнуть.

Еще не добравшись до лощины, где к обрывчику прижался наш штабной шалаш, я увидел несущуюся по полю двуколку, а в ней Заева. Двуколку влекла белая крепкая лошадка, та самая, на которой Заев восседал ночью. Теперь он стоял в кузове, держа в одной руке вожжи, в другой — длинный прут. Три или четыре пулеметчика примостились рядом с Заевым. Маштачок резво бежал, двуколку швыряло на неровностях. Заев с трудом удерживался на расставленных ногах, свирепо покрикивал и размахивал хворостиной.

Я понял, что Заев, захватив с собой пулемет, направлялся к штабу; он считал, вероятно, нужным явиться ко мне или к Рахимову, чтобы уяснить обстановку, задачу.

Дальнейшее свершилось, как мне показалось, мгновенно. Немцы, по-видимому, давно обнаружили мой наблюдательный пункт на поросшем кустарником бугре и исподволь вели пристрелку. В эту минуту они стукнули по бугру из шестиствольного миномета. С этой новинкой немецкого оружия мы еще не были знакомы. В небе возник странный, устрашающий гул. Кучно легли, оглушая взрывами, шесть тяжелых мин. Над бугром еще не рассеялась пыль, как немцы закатили второй такой же залп по той же точке. Опять засверкали, забухали шесть взрывов. Впервые видя эти залпы, я, однако, уже понял, как действует такого рода сосредоточенный, массированный огонь: он разит не только тело, но и психику, душу.

Из полога пыли, с бугра, где рвались мины, вдруг вылетела обезумевшая Лысанка. Не разбирая пути, она перемахнула через речку, понеслась полем. На ней, пригнувшись к гриве, сидел Синченко. Показалось, Лысанка мчится прямо на меня. Я увидел ее морду, желтый оскал. Белая отметина была залита кровью. У Синченко тоже

был ошалелый вид, ухо и щека в крови, одной рукой он тянул на себя повод, другой вцепился в гриву.

В следующий миг Лысанка уже была далеко, виднелся лишь ее стелющийся силуэт, взмахи сухощавых ног.

На нее смотрел не только я. Заев осадил маштачка, остолбенел в своей двуколке. Его взгляд был устремлен на мою дико мчащуюся лошадь. Внезапно он вскинул хлыст — и я не успел опомниться, как его двуколка понеслась за Лысанкой. Лысанка исчезла в лесу. Я стоял оцепенев, глядя в спину Заева, яростно орудующего хворостиной. Вот и двуколку поглотила стена леса.

Так у меня на глазах командир роты Заев с пулеметом и несколькими пулеметчиками бежал с поля боя.

Не зря говорится: беда не приходит одна. На войне это особенно верно. У стогов в укрытиях находились орудия под командой лейтенанта Обушкова. Ему была дана задача: поддерживать роту Заева. Увидев проскакавшую Лысанку, затем умчавшегося на двуколке командира роты, Обушков, недолго думая, скомандовал: «Орудия на передки!» И артиллерийские упряжки во весь опор унеслись в лес.

А вот побежала и пехота, рота Заева. Неужели это она — вторая рота, самая крепкая, самая геройская? Неужели оборона рухнула?

Неужели оборона рухнула, батальон погиб?

Почему-то вспомнилось лицо Кондратьева, командира сводного полка,— лицо, по которому будто кто-то ударил хлыстом: на щеке багровела вспухшая царапина. Его полк бежал. А он, командир, держал ответ за это.

Нет, если мне суждено узреть бегство, развал, гибель батальона, не я доложу об этом. Я сумею сам произнести приговор себе, сам его исполню.

6

Тимошин на трофейном жеребце обогнал бросившую рубеж, удиравшую вторую роту, остановил ее посреди луга. Я кинулся туда. Бойцы стояли под прикрытием стога. В какой-то миг по рядам прошло движение: наверное, только сейчас солдаты заметили меня. Кто-то выдохнул:

— Комбат!

Уже спешившийся, требовательно говоривший что-то Тимошин обернулся, радостно охнул, умолк. Я приблизился, оглядел всех.

Мурин втянул шею, потупился, встретив мой взор. Отвел глаза и командир отделения, образцовый солдат, светлобровый Блоха.

— Да, это ваш комбат,— произнес я.

Все молчали. Я сказал Тимошину, стоявшему с трофейным автоматом за плечом:

— Тимошин, принимай командование ротой.

— Есть, товарищ комбат.

— Автомат заряжен?

— Заряжен.

— Сейчас укажу тебе новый рубеж. И если кто-нибудь не только побежит, а хотя бы оглянется назад, бей по трусу из автомата. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

Я вновь обратился к строю:

— Мы охвачены немцами со всех сторон. Сейчас займем круговую оборону. Потом либо все выйдем, похоронив убитых, захватив с собою раненых, как это полагается честным солдатам, либо все сложим тут головы.

— Правильно,— пробасил кто-то из строя.

— Вашего одобрения я не спрашивал. Оно мне не требуется. Тимошин, получай задачу...

7

Небо по-прежнему было затянуто октябрьской хмарью. Облака стали будто тяжелее, нависли ниже. Сквозь них уже не проглядывал белесый кружок солнца. Но до сумерек оставалось еще часа два. Скорей бы стемнело. Сейчас, на виду у немцев, не уйдешь, не проскользнешь.

Они продолжают обстрел, порой пытаются небольшими группами приблизиться, мы их отгоняем огнем. Наверное, они рассчитывают: рус постреляет-постреляет — и поднимет руки. Нет, этого вы не дождетесь. Но скорей бы, скорей бы свечерело!

В штабном шалаше, поджав ноги калачиком, сидел Рахимов. На опрокинутом ящике из-под патронов белела топографическая карта.

Рахимов легко поднялся, увидев меня.

— Товарищ комбат, разрешите доложить.

— Докладывайте.

Мой бесстрастный начштаба уже знал обо всем: о том, как пропал Заев, о том, что Обушков с последними нашими пушками тоже исчез в лесу. На карту уже была нанесена обстановка: цветные карандашные пометки показывали продвижение немцев, завладевших деревней Быки, показывали круто загнутый, ощетиненный в сторону этой деревни фланг роты Филимонова, всю нашу круговую оборону.

Без суеты и даже будто без волнения Рахимов докладывал о петле, захлестнувшей батальон. Лишь смуглое лицо его посерело. Что же, не сохранишь свежесть красок в такой день.

От Рахимова я узнал про Лысанку, про то, почему она, невольная виновница беды, так обезумела. Залпы шестиствольных минометов, казавшиеся такими жуткими, не убили ни одного человека. Единственной жертвой оказалась Сивка. Осколок перебил ей шейную артерию. Струя крови брызнула в морду, в глаза привязанной рядом Лысанки. Та рванулась, понесла. А Синченко не догадался ее пристрелить.

— Тоже потерял себя,— молвил Рахимов.

8

Как только смерклось, немцы зажигательными пулями воспламенили несколько стогов в разных местах луга. Эти жаркие костры освещали поле, не давали нам уйти. Оставался единственный скрытый путь — по лощинке под мостом.

Эта впадина вела еще дальше в сторону от Волоколамска, от Волоколамского шоссе, в неблизкий лесной массив. Роты незаметно отползли к речонке, вода казалась красноватой, полыхающее зарево, извивы огня отражались в ней.

Мы втихомолку построились. Разведчики под началом Брудного двинулись головным дозором. Все оставшиеся у нас двуколки, все лошади были отданы под раненых. Эти повозки и санитарная фура разместились меж боевых подразделений. Кое-где кустарник оттеснял колеса в воду, лошади ступали по неглубокому дну.

Вот наконец последние ряды батальонной колонны проскользнули под мостом. Сзади всех шел Филимонов, командир замыкающей роты. В отсветах занявшегося неподалеку стога, враз выросшего в огненную башню, выделились темные провалы его небритых похудевших щек. Пистолет был сунут за пазуху, как это обычно делал Заев.

Мне на миг так и почудилось: это шагает длинноногий Заев. Сейчас он что-нибудь буркнет, отчубучит. Нет, Заев никогда больше не пойдет в наших рядах. Он нас предал, бежал, навсегда вычеркнул себя из солдатского честного сообщества.

...Неясно прорисовалось скособоченное колесо разбитой пушки. Здесь мы потеряли Кубаренко. Один из окопов огневой позиции послужил ему могилой. Лишь обструганная наскоро дощечка с написанными химическим карандашом фамилиями да вот эти подбитые пушки остаются тут надгробным памятником.

Мы двигаемся по желобку берега, уходим в темноту. Кольцо огня полыхает сзади.

Этот наш потаенный, почти бесшумный марш вдоль изгибов речушки длился почти два часа. Никого не встретив, мы втянулись в лес.

9

В потемках идем по глухой лесной дороге. Колонну ведет Рахимов: он в темноте видит, как кошка.

Неожиданно наталкиваемся на землянку. Вместе с Рахимовым вхожу туда. В землянке ни души. Горит керосиновая лампа. Валяется забытая кем-то большущая эмалированная фляга. На полу набросаны еловые ветви, они пружинят под ногой. Белеют там и сям, видимо оброненные впопыхах, бумаги.

Поднимаю листки. Это какие-то распоряжения и запросы, адресованные в штаб подполковника Хрымова. Значит, здесь обретался его штаб. Еще встретимся с вами, подполковник! Посмотрим, хватит ли у вас совести поглядеть мне прямо в глаза. Поспешно же отсюда выскочили, если даже не подняли бумаг, не погасили лампу. Ушли, не известив нас, кинув мой батальон в открытом поле.

С тяжелой душой сажусь на широкую, вбитую в землю лавку, сколоченную из грубо обтесанных плах. Приказываю Рахимову:

— Располагай роты на ночевку. С рассветом пойдем дальше. Вели выставить посты. Командиров рот собери ко мне.

...Пришли командиры. Бозжанов уже порылся в седле, снятом с убитой Сивки, нашел там фляжку, где еще бултыхалась водка.

— Садитесь,— сказал я.

Расположились кто как смог. Рахимов сел на хвою, на пол, поджав калачиком под себя ноги. Рядом пристроился поджарый Филимонов: за один этот день он еще опал с тела, с лица, глаза так ввалились, что негустые брови будто навсегда насупились; не теряя выправки, он вольно оперся плечом на угловой стояк землянки. Тимошин, еще не обвыкший в должности командира роты, скромно присел на краю лавки, покусывая ветку хвои. Лишь Бозжанов вопреки всем нашим злосчастьям силился сохранить шутливость, бережно, словно чашу, держа обеими руками фляжку.

— Званый обед, товарищи, предложить вам не могу,— сказал я.— Но водка есть.

«Званый обед»,— мысленно повторил я. Неужели лишь два дня отделяют нас от того обеда, на который мы собрались в Волоколамске?! Всего два дня... Среди нас уже нет щеголеватого смуглого Панюкова, предложившего выпить за дружбу. Нет неловкого темноглазого Дордия, его мы везем с собой в санитарной фуре. Нет Кубаренко, похороненного у моста. Нет Толстунова, вызванного к комиссару полка и потом разминувшегося с нами. Нет Заева...

Бозжанов протянул мне фляжку:

— Товарищ комбат, первый глоток ваш!

В мыслях снова всплыл Заев, наш батальонный Пат. Вспомнилось, как, подняв жестяную кружку, он вместо тоста хрипло, нараспев проговорил: «Иного нет у нас пути, в руках у нас вин-тов-ка!» Эх, Заев, Заев...

Взяв фляжку, я первым приложился к горлышку. Влага обожгла глотку, по телу побежали согревающие струйки, голова почти сразу приятно затуманилась. Я пустил фляжку вкруговую. Все по-братски выпили из горлышка.

Окончился и этот денек, четырнадцатый день нашей борьбы под Москвой.

1

Рассвет еще не проник в лес, в вышине лишь чуть-чуть обозначились сучья, порастерявшие листву, а мы уже выстроились и зашагали. Вокруг неясно белел иней, земля была схвачена морозцем, подернута коркой, на которой оттиснулись давнишние, полузасыпанные хвоей и палыми листьями вдавлины копыт, следы колес, колея лесной дороги. Порой потрескивал, крошился ледок под сапогами.

Превратности боевой судьбы отбросили мой поредевший батальон далеко в сторону от асфальтовой ленты Волоколамского шоссе. Где немцы? Где наша дивизия? Это нам было неведомо. Обычно мы с нетерпением ждали, когда же стемнеет, а теперь хотелось — скорей бы посветлело! Скорей бы зачинался на подмосковном фронте новый страдный день! Я надеялся по пушечной пальбе приблизительно определить, куда же отодвинулся рубеж дивизии.

Но наступило утро, проглянувшее солнце озарило острые макушки елок, а для пушек еще словно не было побудки.

Вот наконец ухнула пушка где-то сбоку, на оси Волоколамского шоссе. Погодя минуту оттуда же донесся второй выстрел, затем третий, занялась редкая пальба.

Вот громыхнуло впереди, там, куда мы пробирались. Кто это — наши или немцы? Насторожившееся ухо долго, слишком долго ждет разрыва. Невнятный удар наконец доходит. Сомнений нет: снаряд ушел в сторону Москвы, в сторону Красной Армии. Вот еще один послан туда же. Да, немецкие пушки, зачаленные к грузовикам, обогнали нас по большим дорогам; мы оказались позади переднего края немцев, перехлестнувшего через этот лес, через нашу голову.

Пушки проснулись, подали голос и в других местах. Выстрелы были не частыми. Изредка за спиной ухали тяжелые орудия немцев. Наша артиллерия, закрепившаяся где-то на новом рубеже, почти не отвечала.

Мы устало шагали под эту тоже будто усталую, нежаркую пальбу. Идя рядом с Рахимовым во главе колонны, я избегал просек, выбирал петляющие глухие дороги, проложенные деревенскими телегами.

Морозец незаметно отпустил. Земля стала отмякать. С нависших над нами голых веток, с жухлых желтых листьев, с тяжелых лап елей, еще час назад подернутых сединой инея, падали крупные капли. Сапоги потяжелели от налипшей грязи.

Шаг батальона замедлился. Порой я останавливался, пропускал мимо себя растянувшуюся батальонную колонну, смотрел на бредущие кое-как ряды. Впрочем, бойцы уже шли не в рядах. Некоторые, оскользаясь, не покидали дороги, другие тащились пообочь, меж негустой поросли. Каждый нес свою солдатскую поклажу. За спинами были приторочены к вещевым мешкам котелки, в которые уже несколько дней не заглядывала ложка солдата.

Я смотрел на своих бойцов, они тоже посматривали на меня. Никто не расправлял плеч, не пытался приободриться. Я ловил во взглядах какое-то единое, терзающее душу выражение. Как его назвать?

Выдирая ноги из чавкающего месива, шагают два солдата, запевалы батальона — здоровенный Голубцов и статный, мускулистый Курбатов. Голубцов повесил голову. Он не поднимает ее, проходя мимо меня. А Курбатов, покосившись на меня, по привычке выпрямляется. Но и его глаза печальны.

Да, безмерная печаль виднелась в глазах отступающих солдат. Растерянность, уныние, грусть реяли над батальоном.

2

Я опять обгонял устало ползущую колонну и шагал впереди рядом с Рахимовым.

Мрачные думы одолевали меня. Почему, почему мы отступаем? Почему так тяжко, так неудачно началась для нас война?

Еще недавно, еще в мае и в июне этого трагического года, всюду висели плакаты: «Если нас тронут, война разыграется на территории врага».

Наступление, наступление, вперед, только вперед — таков был дух нашей армии, дух предвоенных пятилеток, дух поколения. Об отступательных боях мы не помышляли, тактикой, теорией отступления никогда — по крайней

мере на моем офицерском веку — не занимались. Даже самое слово «отступление» было вычеркнуто из боевого устава нашей армии.

Почему, почему же мы отступаем?

Нас бьют... Но ведь и мы — вот эти солдаты, что унылой вереницей шагают за мной,— ведь и мы били врага, видели спины удиравших от нас немцев, слышали их предсмертные крики.

Нас бьют... Но Советское государство не разбито. Не разбито и наше маленькое государство, насчитывающее сейчас четыре с половиной сотни вооруженных советских людей, наше маленькое государство — мой батальон, резерв Панфилова. Мы несем с собой не только видимую глазу солдатскую поклажу, но и все наши незримые святыни: верность своему знамени, верность заветам революции, воинскому долгу, нашу нравственность и нашу честь, все наши законы.

В памяти почему-то опять всплыл сиплый голос Заева, его здравица в Волоколамске: «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка»,

Эх, Заев, Заев!

3

Шагая, я так задумался, что до слуха не сразу дошли слова Рахимова:

— Товарищ комбат! Товарищ комбат!

— А? Что у тебя?

— Товарищ комбат, солнце на обеде. Разрешите дать часовой привал.

— Да, пора... Можешь скомандовать.

Козырнув, Рахимов отчетливым и вместе с тем свободным движением повернулся, негромко выкрикнул:

— Батальон, стой!

Пожалуй, во всем батальоне лишь один Рахимов — ходок по горам, альпинист — сохранил неутомимость. Нет, не один он. Почти тотчас раздался не потерявший молодой звонкости голос Тимошина, ведшего головную роту:

— Вторая рота, стой! Разобраться! Равняйсь!

Немного погодя донеслись команды и из других рот, подтягивающихся к той, что уже выстроилась. В нашем маленьком государстве, уместившемся на полоске размок-

шей дороги, затерянном в островке леса среди захваченной немцами земли, еще держался наш воинский, наш советский строй и порядок.

Внезапно я поймал себя на этих мысленно сказанных словах: «еще держался». Неужели я сам — комбат! — произнес в уме неуверенное, нетвердое «еще»?! Неужели и я поник душой, ослаб? Как же я буду командовать батальоном, как проведу моих солдат через невзгоды?

Батальон расположился на привал. Рахимов мне сказал: «Солнце на обеде». Действительно, сквозь остатки листвы пробиралось расщедрившееся к полудню солнце, но никакого обеда не предвиделось. На мокрой земле затрещали костры, из наскоро выкопанных ямок бойцы набирали воду, ставили котелки на огонь, чтобы хоть пустым кипятком обмануть, согреть желудок.

По-прежнему погруженный в свои мысли, я присел на пень. Ко мне кто-то подошел. Я поднял глаза. Предо мной стоял Мурин. Ворот его шинели был расстегнут, полы заляпаны лепешками грязи. Заострившийся подбородок порос темной щетиной. Тонкий, несколько горбатый нос тоже заострился. Сломанную дужку очков скрепляла проволока. По привычке вытянув длинную шею, Мурин смотрел на меня исподлобья. Странные огоньки, значения которых я сперва не понял, вспыхивали в его глазах. Я ожидал, что он вытянется, отдаст честь, но он этого не сделал.

Некоторое время мы молчали.

— Чего тебе? — произнес я.

— Хочу есть.

Я встал.

— Как ты подходишь к комбату? Отойди на десять шагов, приведи себя в порядок, потом снова подойдешь.

Мурин хотел что-то сказать, но, подчинившись, повернулся, отошел. Минуту-другую спустя он вернулся ко мне, вымыв в луже сапоги, заправленный по форме, встал, как положено солдату, развернув плечи, подняв голову.

— Товарищ комбат, разрешите обратиться.

— Говори.

— Товарищ комбат, мы хотим кушать.

— Мы... Ты что, представитель?

— Не представитель, но все мы... Мочи нет, все изголодались.

— Так передай всем: сегодня у меня нечем накормить людей, хоть режьте на кусочки меня — нечем. Понятно?

Мурин не ответил.

— Режьте на кусочки! — повторил я.— Это единственное, чем я могу утолить твой голод. Больше у меня ничего нет.

Мурин помялся.

— Разрешите идти? — произнес он.

— Иди... Передай всем, что я тебе сказал.

Мурин ушел, но у меня на душе стало еще неспокойнее, еще тягостнее.

Подавленные, истомленные солдаты ложились вповалку, где придется.

4

Подошел Бозжанов.

— Аксакал,— сказал он по-казахски,— случилось нехорошее.

Его скулы, обычно незаметные, прикрытые жирком, теперь резко обозначились под кожей. Доброе лицо было растерянным. Неужели действительно обрушилось новое несчастье?

— Ну... Что такое?

— Брошены раненые.

— Как брошены? Откуда ты знаешь?

— Сейчас разговаривал с доктором. Фура отстала и где-то потерялась. А он и несколько санитаров пошли с батальоном.

Я вскочил. Как? Этого еще не хватало! Мы, мой батальон, дошли до подлости, предали, бросили раненых!

Мимо невесело потрескивающих, а то и угасших костров, мимо сидевших и лежавших бойцов я поспешил к центру колонны, где, согласно походному порядку, занимал место санитарный взвод. За мной следовал Бозжанов.

Еще издали я увидел Беленкова. Он сидел на земле, привалившись к березе. Сложенные на груди руки были засунуты глубоко в рукава. Казалось, он дремлет. Нет, лицо было напряженным. Он, конечно, знал, что предстоит объяснение со мной; наверное, уже меня заметил, но не подал виду, не изменил позы. Я окликнул его:

— Беленков!

Нервная спазма сжимала мне горло. Язык не повернул-

ся назвать его «доктором» или «товарищем». Не поднимаясь, Беленков поглядел в мою сторону, блеснули стекла пенсне. Тут я обрел наконец голос, гаркнул:

— Встать!

Беленков, как вам известно, был капитаном медицинской службы, я лишь старшим лейтенантом, но, очевидно, в моем голосе прозвучало что-то такое, чему доктор предпочел подчиниться. Он неохотно поднялся, огрызнувшись:

— Попрошу на меня не кричать.

Он, однако, трусил. Это выдали руки, выпростанные из рукавов. Пальцы слегка дрожали. Он стиснул их.

— Где раненые? — спросил я.— Где санитарная фура?

— Я не ездовой... Не знаю...

— Не знаете? Не знаете, где раненые, которые доверены вам?

— Не знаю...— Голос Беленкова внезапно стал плаксивым.— Фура отстала... Мы пошли со всеми... Я думаю, что она нагонит...

— Когда это случилось?

— Уже часа два прошло.

— Почему вы не доложили мне? Вы обесчестили себя, предали товарищей, проливших свою кровь...

К нам подошли, стали прислушиваться бойцы и командиры. Весть о брошенных раненых уже облетела батальон. Не оборачиваясь, я чувствовал: полукругом за моей спиной уже стоят несколько десятков человек. Ища сочувствия, Беленков ответил:

— Никого я не предавал... Вы сами... Вы сами не знаете, куда вы нас ведете. А люди уже не могут идти дальше.

Я вдруг ощутил сорок — пятьдесят уколов в спину. Бойцы взглядами кололи меня. Я оглянулся. Все на меня смотрят: «Ты нас погубишь или выведешь?» Это было сказано красноречивее, чем словами. Узенькие щелочки Джильбаева, серые, уже слегка выцветшие глаза Березанского, юные серьезные глаза Ползунова, десятки пар зрачков уперлись в меня, спрашивали: «Почему ты ничего нам не приказываешь, почему мы тащимся табором, толпой, почему не заставляешь быть солдатами?»

В это мгновение я решился:

— Передать по колонне: лейтенант Рахимов, ко мне! Командиры рот, ко мне!

Рахимов уже и без моего приказа легко подбежал к березе. Не прошло минуты, как все командиры рот — Филимонов, Тимошин, Бозжанов — оказались возле меня. Подошли и те, кто хотел послушать.

Я сказал:

— Товарищи! Военврач Беленков бросил наших раненых. Санитарная повозка осталась где-то позади, в лесу. Сейчас мы пойдем обратно — туда, где остались раненые. Пойдем всей колонной, дробить силы нельзя. Командиры рот, разъясните бойцам, что мы идем на выручку наших беспомощных брошенных товарищей. Лейтенант Брудный здесь?

— Я!

Брудный выбрался из сгрудившегося полукружья. Его черные бойкие глаза не утратили живого блеска.

— Брудный, выступай головной заставой! Товарищи, бегом по ротам! Исполняйте!

5

Возвращаемся по своим следам. В любой момент возможна встреча с немцами. Все понимают это. Колонна стала собраннее, интервалы четче.

Небо опять захмарилось, перепал дождь, в лесу потемнело.

Душу давит сумрак, но мы идем, идем в глубь леса, уже отхваченного от нашей земли немцами, с каждым шагом отдаляемся от Красной Армии. Где-то перед нами шагает разведка, от нее пока нет вестей.

Но вот часа через полтора ходьбы навстречу нам бежит связной, крепыш Самаров. Его физиономия радостна.

— Товарищ комбат,— докладывает он,— лейтенант Брудный послал...— И, сбившись, кричит попросту: — Нашлись!

Вскоре сквозь прутья ольхи, сквозь стволы елок и берез я увидел нашу фуру. Свернув с дороги, она стояла на прогалине. Выпряженные кони уткнулись мордами в охапки сена. Мирно горел костер, огромный, полуведерный чайник висел над огнем на палке, положенной на вбитые в землю рогульки. Вокруг огня на мягкой подстилке из хвои сидели раненые. Не приходилось гадать, кто устроил этот

лесной небогатый уют. От фуры к костру шел своей обычной неторопкой походкой Киреев с топориком за поясом, с чайной посудой — грудой жестяных кружек, хозяйственно нанизанных сквозь проушины ручек на веревочку.

Я подозвал Киреева.

— Почему отстал?

Он виновато ответил:

— Лошади, товарищ комбат, пристали... Вовсе притомились...

— И что же ты думал делать?

— Покормить коней... Напоить раненых. Чаек и сахарок, слава богу, еще есть. И помаленьку трогаться.

— А если угодил бы к немцам?

— Все возможно... Я рассудил, товарищ комбат, так: надо исполнять службу до последнего... Перед совестью-то буду чист, что ни случись. А оно вот как ладненько обернулось...

— До ладненького далеко,— сказал я.

Потолковав еще немного с фельдшером, я пошел к фуре. Мои глаза встретились с черными глазами Дордия.

— Товарищ комбат,— выговорил Дордия,— я знал...— Он передохнул.— Знал, что вы вернетесь.

У меня не было времени для разговора. Так и не выдался подходящий час, чтобы, как я намеревался, посидеть, пофилософствовать с Дордия о том, что такое советский человек.

6

Я приказал Рахимову созвать и выстроить на прогалине весь средний командный состав батальона. В шеренге стоит и доктор Беленков. Ссутулившись, он взирает исподлобья сквозь пенсне, знает: я не прощу.

— Беленков, выйдите из строя! — произнес я.

Он метнул взгляд по сторонам, хотел, видимо, запротестовать, но все же шагнул вперед, нервно оправил висевшую на боку медицинскую сумку.

Я отчеканил:

— За трусость, за потерю чести, за то, что бросил раненых, отстраняю Беленкова от занимаемой должности. Он недостоин звания советского командира, советского во-

енного врача. Беленков! Снять знаки различия, снять медицинскую сумку, снять снаряжение!

Он попытался возразить:

— Вы... Вы... Вы...

— Молчать! Киреев! Идите сюда. Передайте свою винтовку Беленкову. Вы, Киреев, будете командовать санитарным взводом, а этот недостойный человек будет сам подбирать, выносить раненых, как рядовой санитар. Беленков, исполняйте приказание! Снять знаки различия!

Беленков заговорил:

— У меня... У меня высшее медицинское образование. Вы не имеете права разжаловать меня. Меня может разжаловать только народный комиссар.

Действительно, по уставу, по закону я не имел права на разжалование. Тем более что в петлицах Беленкова поблескивала капитанская «шпала», а я носил лишь «кубики» старшего лейтенанта. Но я выпрямился, посмотрел Беленкову в глаза — в неспокойно бегающие глаза труса — и твердо ответил:

— Я имею на это право. Мы, четыреста пятьдесят советских воинов, оторваны от нашей армии. Наш батальон — это остров. Советский остров среди захваченных врагами мест. На этом острове высшая власть принадлежит мне. Я, командир батальона, сейчас представляю всю советскую государственную власть. Я здесь...— И меня понесло.— Здесь я главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Советского Союза. На этом куске земли, где впереди и сзади, справа и слева находится враг, я здесь...— Я не мог найти слова.— Я — советская власть! Вот кто я такой, командир батальона, отрезанного от своих войск. А ты, жалкий трусишка, говоришь, что я не имею права. Я имею право не только разжаловать тебя, не только расстрелять за измену долгу, но и на куски разорвать.

7

Волнуясь, невольно встав со стула, я воспроизвел перед Панфиловым эту мою речь. Вот тут-то, именно в этот, казалось бы, самый драматический момент, он начал смеяться.

— Так и сказали: «Я — советская власть»?

— Да, товарищ генерал.

— Так и пальнули: «Я — главнокомандующий»?

— Да.

— Ой, товарищ Момыш-Улы, лошадиная доза...

Я на минуту опешил. Неужели Панфилову известна история лошадиной дозы, еще не занесенная в вашу тетрадь, история, о которой я и ему не обмолвился ни словом?

— Товарищ генерал, вы про это уже знаете?

— Про что?

— Про случай с лошадиной дозой...

— Ничего не знаю... Что за случай?

— Особого значения он не имел. Признаться, товарищ генерал, я и не собирался вам рассказывать.

Панфилов, однако, заинтересовался.

— Извольте рассказать... Но не спешите. Я вас не тороплю. Мы с вами сейчас на прогалине в лесу.— Он опять рассмеялся.— Неужели вы действительно могли бы разорвать на куски вашего доктора?

Теперь засмеялся и я:

— Нет, товарищ генерал... Не мог бы.

Некоторое время Панфилов о чем-то молча думал. Потом живо спросил:

— Ну, а насчет высшего медицинского образования? С этим-то как быть?

— Насчет высшего медицинского образования, товарищ генерал, я ему ответил: «Послужишь рядовым санитаром, потаскаешь раненых из-под огня, научишься честно исполнять свой долг, тогда и будет у тебя высшее медицинское образование. Снимай шпалу, иди в рядовые, зарабатывай высшее медицинское образование». И разжаловал, товарищ генерал.

Панфилов с улыбкой смотрел на меня. Что-то в моем рассказе, видимо, радовало его, отвечало каким-то его мыслям. Словно подтверждая эту мою догадку, он сказал:

— Вы, товарищ Момыш-Улы, возможно, сами еще не понимаете, до чего эта история примечательна... Пишите рапорт! Я, со своей стороны, попрошу командующего армией утвердить. Но с этим успеем... Рассказывайте, рассказывайте дальше.

Я продолжал свой доклад или, вернее сказать, свою командирскую исповедь.

Деревенька Горки

1

Под взглядами стоявших в строю командиров Беленков вытащил из петлиц знаки различия, снял планшет, медицинскую сумку и, передав все это Кирееву, поплелся с винтовкой, как рядовой санитар, к фуре, видневшейся на другом краю поляны.

Я объяснил командирам, в каком трудном положении мы находимся, приказал всякое нарушение порядка карать только смертью. Все иные виды взысканий отменяются, пока мы не выйдем к своим.

Затем я приказал построить батальон.

На прогалине встали ряды бойцов. Как это уже не раз со мной бывало, я ощутил силу, как бы источаемую строем.

Я сказал бойцам:

— Мы, четыреста пятьдесят вооруженных советских людей, находимся на захваченной врагами территории. Наша задача — выйти к своим. И не просто выйти, а уничтожать противника, мешать его продвижению вперед. Кроме того, нам предстоит побороться с голодом. Голод сейчас — страшный враг, который стремится расшатать, сломить нашу волю. Он набрасывается, как бешеный волк, пытаясь поколебать нашу верность долгу, присяге, великую заповедь советского народа: одолевать все трудности, не покоряться им. Наша главная сила теперь — дисциплина.

Далее я сообщил, что разжаловал в рядовые Беленкова. И продолжал:

— Товарищи бойцы и командиры! В этих условиях я приказал всякое нарушение порядка карать только смертью. Неповиновение командиру, все проявления трусости, нестойкости будут наказываться смертью.

Закончив свою речь, я приказал построиться в колонну по четыре. Затем скомандовал:

— Направо! За мной шагом... марш!

2

Вот и еще денек канул в былое. Истекло уже четверо суток с того часа, как мы, поднятые по тревоге, выступили из Волоколамска. Уже четверо суток мы не знали никакой пищи, кроме крохотного кусочка мяса.

Переночевав в лесу, мы и тридцатого октября продолжали свои скитания.

Утром тридцать первого мы наконец вышли к своим. Ко мне, шагавшему рядом с Рахимовым, подбежал Брудный, которого я постоянно высылал вперед с головным дозором. Брудный лихо козырнул:

— Товарищ комбат, разрешите передать приказ.

— Какой приказ? Чей?

— Подполковника Хрымова.

Мне показалось, что от Брудного подозрительно попахивает спиртным.

— Ты, случаем, не тяпнул ли спиртяги?

— Всего стопочку, товарищ комбат. Больше себе не разрешил. Мы, товарищ комбат, уже вышли в расположение дивизии. В полутора километрах — деревенька Горки. Там наши, заградительный отряд.

— Там ты и приложился?

— А то где же? Оттуда я позвонил в штаб подполковника Хрымова. Нам приказано идти в эту деревню.

Я велел Рахимову вести батальон в Горки, а сам вместе с Бозжановым отправился разыскивать штаб подполковника Хрымова.

Отмерив еще несколько километров по грязному, размокшему проселку, мы наконец добрались до штаба, разместившегося в какой-то деревушке. Оперативным дежурным оказался молодой лейтенант, тот самый, что вместе с полнотелым капитаном побывал ночной порой в нашем шалаше у моста. Сейчас лейтенант встретил нас удивленным взглядом. Видимо, он еще не знал о возвращении батальона и, должно быть, подумал, что уцелели только мы двое.

Хрымов отсутствовал. К нам, ожидавшим у крыльца, выбежал начальник штаба полка, общительный румяный майор Белопегов.

— Момыш-Улы! Не ждал тебя увидеть. Мне по телефону доложили, но не верилось. Пойдем, пойдем...

Я угрюмо сказал:

— Дайте поесть.

— Сейчас тебя накормим. Ну, идем...

— Не меня. Накормите батальон. Ведь мы через вас снабжаемся.

— А сколько людей ты вывел?

— Четыреста пятьдесят. А вы уже нас похоронили?

— Признаться, Момыш-Улы, похоронили. И нечего дать. Уже два дня, как мы вас отчислили.

— Эх, вы!.. Сначала бросили нас, ушли... А теперь пожалуйста, отчислили.

Начальник штаба промолчал. Но я наседал:

— Нечего ответить?

— Не до вас было, Момыш-Улы.

Он сказал это искренне, не пытаясь оправдаться. Да, было не до нас, ведь выскочили, не потушив лампы. Правда смягчила мое сердце. Ругаться уже не хотелось.

После минутного молчания Белопегов сказал:

— Момыш-Улы, пойдемте обедать.— Он попытался найти поддержку у Бозжанова.— Товарищ политрук, пошли...

Я отказался, повторив:

— Прежде накормите батальон.

— Нечем, Момыш-Улы.

Бозжанов смотрел на меня умоляюще. Но я отрезал:

— Пошли! Нам нечего здесь делать.

И вышел не прощаясь.

3

С трудом я дотащился до деревни Горки. Бозжанов тоже совсем выдохся, плелся позади, отстав шагов на двадцать.

На краю деревни мне повстречался Мурин, идущий с ведром воды. Он не очень ловко перехватил дужку ведра в левую руку, вода плеснула наземь. Мурин козырнул, весело сказал:

— К удаче, товарищ комбат! Встречаю с полным...

— Куда несешь?

— Моемся, товарищ комбат, банимся.— Движением головы Мурин указал на ближний домик.— Все грехи надо отмыть.

Я не поддержал шутливого тона.

— Где штаб батальона?

Этого Мурин не знал. Неожиданно он поставил ведро, выпрямил шею, постарался придать себе молодецкий вид. Я догадался: сейчас спросит про обед.

Так оно и оказалось.

— Товарищ комбат, животы подвело.

— Пообедаем,— кратко ответил я.— Ступай.

На широкой деревенской улице я повстречал еще нескольких моих солдат, но никто из них не знал, где находится штаб батальона. Люди уже разместились по избам. Кое-где за изгородями палисадников уже парусят по ветру наскоро простиранные солдатские подштанники, нижние рубахи, порой даже гимнастерки и штаны. Вон у сарая кто-то без шинели и без шапки колет дрова: уже белеет изрядная груда полешек, а боец все еще машет и машет колуном.

Вон кто-то вышел на крыльцо босой, в чистой, только что надетой нательной рубахе. Он перекликается с хозяйкой:

— Мать, еще картошки не уважишь?

— Уважу, голубок, уважу.

Черт возьми! Расположились, словно здесь не фронт, словно не противник перед нами.

Иду. Каждый шаг мне труден. Наконец вижу Рахимова.

— Рахимов!

— Я, товарищ комбат.

— Почему не выставлены караулы? Почему здесь такой ералаш? Почему люди не в окопах?

— Извините, товарищ комбат. Занимался устройством штаба. Упустил.

— Упустили из виду, что здесь передний край? Хотите, чтобы противник напомнил нам об этом?

4

Голодный, усталый, злой, я вошел с Рахимовым в избу, где обосновался штаб. В просторной горенке, отделенной сенями от другой половины дома, на придвинутом к окну большом столе лежали остро очиненные карандаши, чернильница и ручка, чистая бумага, карта. Широкая кровать была аккуратно, без морщинки, застелена плащ-палаткой. Ковер заменяли ветки хвои, щедро разбросанные по полу. На стене, на гвоздиках, висели наши, военного образца, полотенца. Во всем этом угадывалась рука аккуратного Рахимова.

А у меня недостало сил даже как следует вытереть у крыльца ноги. Кое-как соскребя с сапог налипшие черные шматки, я ввалился в штаб и тяжело сел на кровать,

не сняв шинели. На полу у стены я увидел седло, снятое с убитой Сивки,— оно путешествовало с нами в санитарной фуре. Возле седла выстроились взятые Киреевым в племхозе шесть запечатанных сургучом бутылей. Рядом — груда пакетов из той же ветеринарной аптеки. Видимо, санитарный взвод повез раненых в тыл, оставив здесь эти запасы.

Я выслушал доклад Рахимова. Заградительный отряд, занимавший деревню, ушел. Мы сменили его. Чрезвычайных происшествий не было.

— Вызвать председателя колхоза! — приказал я.— Потом собери сюда командиров рот!

С председателем колхоза, сухоньким бритым стариком, я поговорил коротко. Объяснил, что мы выбрались с захваченной врагом территории, что несколько дней не ели.

— Надо накормить людей. Что можете дать?

Председатель ответил, что весь колхозный скот эвакуирован, в колхозе осталась лишь единственная телка.

— Зарезать! — сказал я.— Зарезать и раздать мясо хозяйкам. Пусть варят бойцам суп.

Председатель помялся.

— Товарищ начальник, она у нас последняя.

Я хотел прикрикнуть: «Исполнять!», но вместо этого сказал:

— И последнее надо отдавать. Отечественная война... Понимаете, Отечественная война!

Старик не без удивления покосился на меня. Не знаю, понял ли он чувство, вложенное мною — казахом, бывшим кочевником, бывшим пастушонком — в эти два слова: «Отечественная война». Думается, понял.

— Зарежу,— согласился он.

5

Начали сходиться командиры рот. Первым пришел Филимонов. Он успел побриться. Шинель, что много раз была заляпана, забрызгана в скитаниях по месиву глухих дорог, тщательно вычищена.

Войдя, Филимонов, как положено строевику, припечатал ногу.

— По вашему приказанию явился.

— Садись,— произнес я.

И посмотрел на свои замызганные сапоги. Как я в та-

ком виде — сгорбившийся, неумытый, раздраженный, не снявший шинели, полы которой поросли коростой грязи, не вытерший сапог,— как я в таком виде буду разговаривать с подчиненными? Я учил Мурина, учил командиров и солдат: «Являйся к комбату как к девушке, в которую ты влюблен!» А сам я?

Чуткий Рахимов угадал, должно быть, мои мысли.

— Товарищ комбат, не хотите ли умыться? Рукомойник во дворе.

— Спасибо,— сказал я.— Найду.

Взяв полотенце и мыло, я вышел во двор. Там погуливал сырой ветер. Низкие тучи, обложившие небо, сочились неприятной мокрядью: падали капли дождя и хлопья снега, мгновенно таявшие на земле. Бр-р-р... Непогодь гнала назад в тепло, в избу. Привалить бы сейчас голову к подушке, укрыться овчиной, закрыть глаза и полежать так, отбросив все заботы, хотя бы несколько часов.

Нет, Баурджан, нельзя! Я быстро разделся до пояса, оставшись полуголым под неприветным, холодным небом. В кожу будто впились иголки, она сразу покрылась мурашками. Сдержав дрожь, я провел ладонями по телу. Можно было пересчитать каждое ребро, как у изнуренной старой клячи. Живот стал таким впалым, будто присох к хребту.

Опоясав себя полотенцем, я шагнул к жестяному рукомойнику, висевшему на изгороди, но в этот миг из сеней вышла хозяйка — пожилая женщина, закутанная в теплый платок. В огрубевших, натруженных руках она несла ковшик и ведро воды.

— Погоди... Сама тебе солью.

Я снял ушанку, повесил на кол изгороди.

— А ну, лей... Прямо на голову, на спину.

— Простынешь. Пойдем в дом.

— Лей!

Жгуче-холодная вода, ковшик за ковшиком, полилась на голову, на спину. Вместе со стекающей водой уходило утомление, легче дышалось, появилось, как говорят бегуны, «второе дыхание».

Поблагодарив хозяйку, я стал насухо растираться полотенцем.

— Ты, парень, оголодал... Накормила бы тебя, соколик, да у самой только пустые щи. Пустых щец похлебаешь?

— Спасибо, похлебаю... Но немного погодя. Сначала займусь делом.

Я затянул ремень на гимнастерке, причесал гребешком мокрые волосы. Женщина спросила:

— Из каких же ты краев? Киргиз?

— Казах... Из Алма-Аты.

6

Таким вот — причесанным, умытым, в очищенных от грязи сапогах — я вернулся в горенку, где уже сидели командиры рот. Все мгновенно поднялись, вытянулись передо мной. Я подошел к разостланной на столе карте.

— Идите сюда!

Командиры обступили стол.

— Слушайте мой приказ. Сейчас же вывести людей из домов, выставить посты.

На карте я показал каждому его рубеж обороны. В сенях хлопнула дверь, там кто-то зашаркал ногами, вытирая сапоги. Я продолжал:

— Председатель колхоза забил для нас телушку. Мясо будет роздано хозяйкам, чтобы сварить бойцам обед. До обеда приказываю копать окопы. Пищу получит только тот, у кого будет готов окоп для стрельбы с колена.

Без скрипа раскрылась дверь, раздался знакомый грубоватый голос:

— Комбат, я немного припоздал вернуться к твоему званому обеду.

Все обернулись. На пороге стоял Толстунов, старший политрук, инструктор пропаганды.

— Ушел от тебя на часок,— продолжал он,— а пролетело, глядишь, четверо суток.

На грубоватом, под стать голосу, лице Толстунова не выразилось никакого удивления, когда, оглядев командиров, он не нашел среди них ни Заева, ни Панюкова. Должно быть, по пути ко мне Толстунов уже все разузнал о батальоне. Неторопливо сняв шинель, он повесил ее на гвоздь, сел на кровать, принялся переобуваться.

— А у тебя, комбат, холодновато. Надобно бы протопить.

Казалось, он вовсе не расставался с батальоном или отлучался лишь на часок.

Я уже разрешил командирам идти, но вмешался Толстунов:

— Погоди, комбат. Я притащил курево. Позволь нам подымить. Ты и сам, верно, не откажешься.

Он без спешки развязал вещевой мешок, вынул несколько пачек махорки, оделил командиров, потом выложил на стол коробку «Казбека», предложил угощаться папиросами. Изголодавшись по куреву, мы предпочли махорку. К потолку заструился синеватый дым толстых самокруток. Табак ударил в голову, комната закачалась, поплыла, все молчали, блаженно затягиваясь.

Дверь снова раскрылась. В комнату ступил Бозжанов, скинувший шинель, умытый, повеселевший: громко, со всхрапом удовольствия, он втянул носом благоухание махорки. Бозжанов торжественно держал в руках жестяную миску, куда щедро, с верхом, была наложена квашеная изжелта-белая капуста с красными крапинами клюквы.

— Товарищ комбат, разрешите всех попотчевать.

7

«Второго дыхания» мне хватило ненадолго. Похлебав предложенных хозяйкой щец, подзаправившись кое-чем из сухого пайка Толстунова, я разрешил себе передохнуть.

В полусне слышу, что Бозжанов в сенях ставит самовар. Толстунов свалил на пол охапку дров, колет лучину, растапливает печь. Рахимов поскрипывает пером, пишет боевое донесение. Порой его куда-то вызывают, он уходит из комнаты, потом тихонько возвращается.

Вот вновь хлопнула дверь. К кровати подошел Бозжанов, стоит около меня. Чувствую: хочет и не решается что-то сказать.

— Чего тебе?

— Товарищ комбат... Нашлась Лысанка...

Поднимаю голову.

— Где же она? Как отыскалась?

Бозжанов почему-то медлит.

— Синченко привел...

— Синченко?

В памяти всплыло: желтый оскал бешено скачущей Лысанки, в седле вцепившийся пальцами в гриву Синченко, распространяющееся, как обвал, бегство. Привстаю. Душа окаменела.

— Пусть войдет!

Синченко переступил порог. Щеки были землисто-бледны. Покосившись на меня, он потупился.

— Зачем явился? — спросил я.

— Привел...— У него не хватило дыхания, он осекся.— Привел Лысанку.

— Почему ты ее не убил?

— Как так? Зачем?

— Почему бежал?

— Я не бежал... Она, товарищ комбат, осатанела. Я оборвал повод... Ничего не мог поделать.

— Почему же не убил? Пистолет у тебя был?

— Был, товарищ комбат.

— Почему не выстрелил ей в ухо? Не уложил на месте?

Синченко молчал.

— Почему не спрыгнул? Не вернулся?

— Я, товарищ комбат... Я подумал...

— Что же ты подумал? Что я был убит? Почему не смотришь на меня?

Синченко с усилием поднял голову.

— Отвечай: подумал, что я был убит? Почему же ты не вынес моего тела?

Я наотмашь ударял этими беспощадными вопросами. Ответом было лишь молчание.

— Убирайся,— сказал я.— Убирайся вон из батальона!

— Куда же, товарищ комбат?

— Куда угодно! Бросил нас в бою, так не смей к нам возвращаться! Уходи!

Синченко молча повернулся и вышел из комнаты. В штабе водворилась тишина. Лишь потрескивали пылающие дрова в печке. Бозжанов присел у открытой заслонки и смотрел в огонь. Толстунов помял в пальцах папиросу, чиркнул спичкой, закурил.

Вот негромко стукнула заслонка. Бозжанов поднялся, ушел. Минуту спустя вернулся.

— Сидит во дворе,— сообщил он.

Я не откликнулся. Бозжанов вновь вышел, вновь вернулся.

— И Лысанка привязана. Можно, товарищ комбат, дать ей сена?

— Дай.

Бозжанов выглянул в сени. Наружная дверь, ведущая из сеней во двор, была, видимо, распахнута. Он крикнул:

— Синченко! Задай Лысанке корма!

Я промолчал. Ни единым словом не противореча мне, Бозжанов боролся за судьбу коновода.

— Посмотрю, как она станет есть,— объявил Бозжанов.

Он вновь на минуту-другую исчез. Вернувшись, заговорил:

— Исхудала... Меня сразу узнала...— Не обращаясь ко мне, он продолжал: — Много раз хотели отобрать у него лошадь, а он все-таки привел ее сюда.

Толстунов тем временем расставил на столе чашки, достал из своего мешка сахар, тюбик чаю. Бозжанов опять выскочил в сени.

— Самовар готов! Товарищ комбат, можно нести?

— Можно.

Толстунов подошел ко мне:

— Комбат, чего ты такой сумный? Дай-ка помогу тебе снять сапоги.

Не ожидая ответа, он взялся за мой сапог, потянул умелыми сильными руками. Сразу стало легче. Я уже не помнил, сколько суток не разувался. В эту минуту Синченко внес кипящий самовар.

— Ставь,— сказал Толстунов. Потом окликнул коновода. — Николаша, возьми-ка портянки у комбата, посуши... Сапоги вымой...

Я молча смотрел, как Синченко взял мои портянки, темневшие сыростью в тех местах, где оттиснулась ступня. Потом он вынес сапоги. Бозжанов уже смелее крикнул ему вслед:

— Николаша, притащи дровец!

9

Синченко притащил дров, стал помешивать в печке. Его щеки слегка разгорелись от жара.

Толстунов сказал:

— Ты что, Синченко, не видишь? Комбат с голыми ногами. Теплые носки у него есть?

— Найду!

Минуту спустя Синченко подошел ко мне с парой носков. Я не протянул руки. Он положил их на кровать, опять занялся печкой.

Вскоре явился Брудный, за которым я послал, чтобы поставить задачу взводу разведки. Брудный лихо щелкнул каблуками, отдал честь.

И вдруг мне вспомнилось... Я сижу под накатом блиндажа, ко мне наклоняется Синченко:

«Товарищ комбат... Там лейтенант Брудный... Ожидает вас...»

Мой коновод знает, что я выгнал струсившего Брудного из батальона, свершив над ним суд перед строем.

«Пусть войдет»,— говорю я.

«Пусть войдет»... Десять дней назад — неужели всего десять? — это относилось к Брудному, опозорившему себя в бою, к этому задорному чернявому лейтенанту, что сейчас ждет моих приказаний.

Я сказал:

— Брудный, садись. Получи пачку махорки... Синченко, налей чаю лейтенанту...

Донесся едва слышный вздох Бозжанова. Так была отпущена вина коновода. О ней больше не заговаривали. Мы блюли завет: отпущенного не поминать.

10

В этот же день новая напасть нежданно-негаданно обрушилась на батальон.

Все мы расплатились за несдержанность в еде после четырехдневной голодовки. Люди корчились от болей в желудке. Батальон потерял боеспособность. Часовые, боевое охранение, люди в окопах, командный состав — все заболели.

Что делать? Как назло, под рукой не оказалось ни одного человека, сведущего в медицине. Санвзвод был занят эвакуацией раненых, ушел вместе с Киреевым, вместе с разжалованным в санитары Беленковым.

Вдруг меня осенило. В глаза кинулись стоявшие на полу бутыли с настойкой опия. Черт возьми, это ведь желудочное средство!

Немедленно одна бутыль была водружена на стол и раскупорена. Я налил целебной жидкости в стакан, отве-

дал. Лекарство приятно ожгло глотку спиртом. Затем настойку попробовал Бозжанов. Он сделал глоток-другой, на лице тоже выразилось удовольствие. К снадобью приложился и Рахимов. Оно действительно оказалось целительным — боли в желудке утихли.

Я приказал раздать бутыли командирам подразделений.

— Пусть бойцы примут лекарство! Разделить его по-братски: каждому по четверти стакана!

Закончив врачевание, я прилег, незаметно уснул. Проснулся среди ночи от толчков. Что такое? Меня тормошил только что вернувшийся Киреев.

— Товарищ комбат, что вы наделали?

Не сразу удалось стряхнуть сонную одурь. Наконец стал понимать, о чем говорит фельдшер. Оказывается, я совершил страшную вещь. Людям следовало дать по пятнадцати капель настойки, а я вкатил им лошадиную дозу, то есть отравил батальон опием. Все полегли, уснули, надо было немедленно расталкивать, будить спящих, иначе они, возможно, вовсе не проснутся.

Не буду описывать, что я пережил в эту ночь. Мы — несколько командиров, фельдшер, санитары — будили, поднимали солдат, те снова валились, засыпали... И все же поутру — в медицине, как я потом узнал, известны подобные случаи — бойцы встали как встрепанные. Все выдержал солдатский желудок.

Такова была история лошадиной дозы, история, завершившая наши скитания.

Командир дивизии за работой

1

Все это,— разумеется, не так, как вам, не столь пространно,— я поведал Панфилову. Не раз он перебивал меня вопросами, добирался до подробностей.

— Список отличившихся в боях, товарищ Момыш-Улы, составить не успели?

— Составлен, товарищ генерал. Сегодня с утра занялись этим.

— Где же он? Давайте.

Я достал из полевой сумки характеристики командиров и бойцов, которых считал достойными награды. Панфилов живо потянулся к листам, начал их просматривать.

Пробежав страницу, где говорилось о политруке Дордия, Панфилов несколько раз кивнул, потом прочитал вслух:

— «Оставшись без командира роты, без связи, по собственному почину принял командование, собрал разбредшуюся в темноте роту».

Опустив лист, Панфилов взглянул на меня. Он улыбался, глаза казались хитрыми.

— Оставшись без командира,— повторил он,— без связи, по собственному почину... В этом, товарищ Момыш-Улы, гвоздь. Или, если хотите, гвоздик.

Я знал русское выражение «гвоздь вопроса». Но было невдомек, что имеет в виду Панфилов. Я спросил:

— Гвоздик чего?

— Вот этого! — От стола, уставленного чайной посудой, за которым мы сидели, Панфилов легко повернулся к другому — там во всю столешницу белела карта, испещренная разноцветными пометками, та самая, что сегодня, когда я впервые наклонился над ней, ужаснула меня.— Гвоздик вот этого,— еще раз сказал Панфилов, протянув к карте загорелую, словно побывавшую в дубильном густо-коричневом настое, руку.— Нашей новой тактики. Нового построения обороны. Вы поняли?

— Нет, товарищ генерал, не понял.

— Не поняли? Но ведь вы же, товарищ Момыш-Улы, все сами объяснили.

— Что объяснил? Это?

Я подошел к карте и снова увидел будто прорванный во многих местах фронт, распавшийся на разрозненные, казалось бы, в беспорядке звенья. Рассекая, дробя линию дивизии, немцы не раз приводили именно к такому виду нашу разрушенную, взломанную оборону. Но зачем мы сами будем помогать в этом противнику? Зачем это сделал Панфилов, посмеивающийся к тому же сейчас надо мной? Должен признаться, его усмешка задевала меня.

— Что ж, займемся разбором,— сказал он.— Садитесь. Еще стакан чаю выпьете?

Опять запищал зуммер полевого телефона. Панфилов взял трубку.

— Да, Иван Иванович, слушаю... А-а, творение капитана Дорфмана. Сегодня же надо отправить? Гм... Гм... Очень удачно? Почитаю. Смогу, Иван Иванович, только через час. Да, скажите товарищу Дорфману, чтобы пришел через часок.

Закончив этот краткий разговор, Панфилов вернулся ко мне.

— Не буду от вас, товарищ Момыш-Улы, скрывать. Тянут меня, раба божьего, к Иисусу: почему был сдан Волоколамск? Создана специальная комиссия. Пишем объяснение: авось гроза минует.— Он помолчал, вопросительно на меня взглянул.— Как вы думаете, товарищ Момыш-Улы? Пронесет грозу?

— Уверен в этом, товарищ генерал.

— Гм... Благодарю на добром слове.

Мне вновь показалось, что в тоне генерала прозвучала насмешливая нотка. Однако Панфилов стал серьезным.

— Разберемся же, товарищ Момыш-Улы, что сказали вам эти несколько дней.

2

Однажды мне уже пришлось слышать от Панфилова: «Разве война не требует разбора? Мои войска — это моя академия. Ваш батальон — ваша академия».

Сейчас вновь предстоял разбор действий батальона. Почему-то я вздохнул. Говорю «почему-то», ибо в ту минуту сам еще не понял, что означал мой вздох. Панфилов бросил на меня пытливый взгляд. Неожиданно сказал:

— Вы, наверно, думаете: «Я открыл ему всю душу, выложил все свои терзания, а он хочет отделаться мелочным разбором двух или трех боев». Так?

Пожалуй, Панфилов действительно угадал то, в чем я еще не признался себе. Молчанием я подтвердил его догадку. Он продолжал:

— Наверно, думаете: «Пусть-ка он ответит, почему мы отступаем? Почему немцы уже столько времени нас гонят? Почему мы подпустили их к Москве? Пусть на это ответит!» Ведь думаете так?

— Да,— напрямик ответил я.

Панфилов поднялся, склонился к моему уху; я снова заметил под его усами лукавую улыбку.

— Скажу вам, товарищ Момыш-Улы...— Он говорил не без таинственности, я ждал откровения.— Скажу вам, этого я не знаю.

Наблюдая смену выражений на моем лице, Панфилов рассмеялся. Еще никогда,— кажется, я об этом уже говорил,— еще никогда я не видел Панфилова таким веселым.

— Впрочем, это не совсем так,— поправил себя Панфилов.— Кое-что весьма существенное мы с вами знаем.

Он перечислил ряд причин наших военных неудач. Конечно, эти причины были известны и мне; немецкая армия вступила в войну уже отмобилизованной; в сражениях на полях Европы она приобрела уверенность, боевой опыт; она имела преимущество в танках, в авиации.

— Что еще? Внезапность? — с вопросительной интонацией протянул он.— Да, внезапность. Но почему мы ее допустили? Почему были невнимательны? Почему пренебрегли реальностью?

Он задавал эти вопросы самому себе, не глядя на меня, не вызывая на ответ. Он попросту приоткрывал мне свой внутренний мир, платил откровенностью за откровенность. Вероятно, он мог бы сказать еще многое, но сдержал себя. Некоторое время длилась пауза. Потом он обратился ко мне:

— Вот, товарищ Момыш-Улы, в чем, сдается, был наш грех: пренебрежительно отнеслись к реальности. А она не прощает этого! Вы понимаете меня?

Постучав пальцами по самовару, уже переставшему мурлыкать, он отворил дверь в сени.

— Товарищ Ушко! Распорядитесь-ка подогреть нам самоварчик.

И опять обратился ко мне:

— Так и условимся, товарищ Момыш-Улы... Чего мы с вами не знаем, того не знаем. История когда-нибудь все это исследует, откроет... Но действия дивизии нам известны. И об этом мы обязаны иметь свое суждение.

В комнату вошел лейтенант Ушко.

— Товарищ генерал, вас дожидаются корреспонденты из Москвы. Просят принять.

— Сейчас не могу. Работаю... Никак не могу. Пусть пока едут в части. А вечером милости просим.

— Они, товарищ генерал, уже были в частях.

— Пусть отдохнут. Устройте-ка им это.

— Товарищ генерал, там и фотокорреспондент. Он ни-

как не может ждать. Должен уехать. Очень к вам просится.

Панфилов усмехнулся:

— Наверно, уже сфотографировал моего боевого адъютанта. Приобрел заступника. Ладно, зовите. Не буду, товарищ Ушко, вас подводить...

Подойдя к карте, Панфилов сложил ее вдвое, закрыл вычерченное карандашом построение дивизии.

3

Небрежный зачес льняных волос, аккуратно заправленная гимнастерка, акающий «масковский» говорок,— таков был фотокорреспондент, появившийся в комнате Панфилова.

— Капитан Нефедов,— представился он.— От журнала «Фронтовая иллюстрация».

Профессиональным взглядом Нефедов окинул комнату, глаза скользнули по окнам, этажерке, зеркалу, полевому телефону, столу, на миг задержались на мне.

— Кстати, товарищ Нефедов, познакомьтесь,— произнес Панфилов.— Это командир моего резерва старший лейтенант Момыш-Улы.

Я встал.

— Командир резерва? — воскликнул Нефедов.— Товарищ генерал, кажется, есть сюжет.

Нефедов явно радовался какому-то возникшему у него плану. Он даже слегка покраснел, пятерней откинул волосы. Панфилов сказал:

— А нельзя ли без сюжета? Сняли бы попросту. Вот так, как я стою... И подарили бы мне карточку. Я пошлю домашним.

— Сделаю... Сделаю, товарищ генерал, это для вас. Пожалуйста, ближе к окну.

Панфилов приосанился, немного вскинул голову. Таким его и застиг щелчок фотоаппарата.

— Теперь, товарищ генерал,— сказал Нефедов,— я сниму вас для журнала.

— А разве это не годится?

— Не годится,— с обезоруживающей искренностью ответил Нефедов.— Нужен, товарищ генерал, боевой сюжет, оригинальный, незатасканный.

— Гм... Какой же у вас сюжет?

— Стойте, товарищ генерал, на том же месте. А старший лейтенант пусть станет здесь. Показывайте, товарищ генерал, рукой в окно! К снимку мы дадим текст. Сверху такой: «Командир дивизии за работой». А внизу: «Генерал Панфилов приказывает отбросить противника контратакой».

— Но я, товарищ Нефедов, никогда так не приказываю.

— Товарищ генерал, прошу вас... Пойдите мне навстречу.

Было ясно, что отказ не на шутку опечалит корреспондента.

— Уф...— выдохнул Панфилов.— Что же, снимемся, товарищ Момыш-Улы.

Я стал на указанное корреспондентом место. Панфилов крякнул, поднял руку, слегка растопырил пальцы. Как-то я уже говорил об этом его жесте. Находясь в сомнении, он всегда так растопыривал пальцы.

— Нет, товарищ генерал, ничего не получается,— заявил Нефедов.— Вообразите: ведь рядом прорвались немцы. Вы приказываете: «Вперед, в контратаку!» Нужен, товарищ генерал, орлиный взмах!

Панфилов решительно сунул руку в карман, упрямо склонил голову. Теперь было заметно, что он горбится, что у него впалая грудь.

— Снимайте как хотите,— угрюмо сказал он.— Руками размахивать я не буду.

— Но как же тогда? Хотя бы поверните голову, товарищ генерал, к окну. И пожалуйста, не сердитесь на меня... Вы, товарищ старший лейтенант, тоже поверните туда голову. Вот-вот... Хорошо!

Нефедов еще раз оценивающе нас оглядел и вдруг без профессиональных ноток, очень непосредственно воскликнул:

— Товарищ генерал, вы со старшим лейтенантом похожи друг на друга... Или нет... Сходства, пожалуй, мало. Но поворот головы похож.

Прильнув к аппарату, он дважды щелкнул. И все же не скрыл неудовлетворения:

— Эх, если бы вы скомандовали, товарищ генерал, как я хотел!

— Сам знаю, вышло бы получше,— произнес Панфилов.

В его искоса брошенном на меня взгляде я поймал искорку иронии. Нефедов ее не уловил.

— Хоть бы взмахнули кулаком! — продолжал сокрушаться он.

— А вот у казахов,— Панфилов указал на меня,— есть поговорка: «Кулаком убьешь одного, умом убьешь тысячу».

— Но каким сюжетом это выразить? — живо спросил Нефедов.— Снять вас у карты? Уже было! Сто раз было! Неоригинально! Подскажите, товарищ генерал.

— Что-нибудь пооригинальнее?

— Да. Что-нибудь такое, чего еще не было в печати. Выхваченное прямо из жизни.

— Прямо из жизни? Можно. Товарищ Момыш-Улы, садитесь.

Движением руки он пригласил меня к чайному столу. Там по-прежнему высился самовар, стояли стаканы, белый фаянсовый чайник, сахарница, початая бутылка кагора. Сев возле меня, Панфилов спросил:

— Знаете ли вы, товарищ Момыш-Улы, что писал Ленин насчет отступления?

— Нет, товарищ генерал, не знаю.

Панфилов повернулся к корреспонденту:

— Пожалуйста!.. Прямо из жизни. Ловите момент! Снимайте!

Нефедов оторопело выговорил:

— Что же тут, товарищ генерал, снимать?

— Как что? Сижу с командиром батальона, пьем чай, размышляем, толкуем.

— Не знаю... Ну, хорошо... Пожалуйста!..

Он несколько раз щелкнул.

— Но как же это назвать? «Дружба народов», что ли?

— Нет,— весело сказал Панфилов.— Назовите: «Командир дивизии за работой».

Ничем больше генерал не выразил свою иронию, не обидел гостя, тепло с ним распрощался.

4

Мы остались вновь наедине.

Подойдя к карте, Панфилов посмотрел на нее, почесал в затылке, повертел пальцами в воздухе.

— Может быть, кое-где все-таки сомкнуться потес-

ней? — протянул он.— Уплотнить передний край? Как вы думаете, товарищ Момыш-Улы?

Его интонации были столь естественны, он с таким интересом спросил о моем мнении, что я так же непосредственно ответил:

— Конечно, потесней! Душе будет спокойней...

Едва у меня вырвались эти слова, как они показались мне наивными, смешными. Панфилов, однако, не засмеялся.

— Душе? С этим, товарищ Момыш-Улы, надобно считаться. Вы знаете, что такое душа?

По-прежнему чувствуя непринужденность разговора, я отважился на шутливый ответ:

— Ни в одном из ста изречений Магомета, ни в одной из четырех священных книг, товарищ генерал, ответа на ваш вопрос мы не найдем. Что же сказать мне?

— Нет, нет, товарищ Момыш-Улы. Вы отлично это знаете... Знаете как командир, как военачальник. Душа человека — самое грозное оружие в бою. Не так ли?

Я в знак согласия склонил голову. Панфилов опять взглянул на свою карту, похмыкал. Видимо, он еще лишь вылепливал построение дивизии, оно еще не отформировалось, оставалось податливым под его пальцами... Вылепливал... Именно это выражение пришло в ту минуту мне на ум.

Панфилов сказал, следуя каким-то своим думам:

— Вот мы и вернулись к гвоздику вопроса...

Присев, он вместе со стулом придвинулся ко мне. Я понимал — его подмывало выговориться, он хотел видеть, как я слушаю: вникаю ли, принимаю ли умом и сердцем его мысли?

— Вернулись к гвоздику,— повторил он.— Подошли к нему с другого бока... Что думали немцы — и не только немцы — о советском человеке? Они думали так: это человек, зажатый в тиски принуждения, человек, который против воли повинуется приказу, насилию. А что показала война?

Эти вопросы Панфилов, по-видимому, задавал самому себе, размышляя вслух. Докладывая сегодня генералу, я откровенно признался, как меня угнетало, точило неумение найти душевные, собственные, неистертые слова о советском человеке. Панфилов продолжал:

— Что показала война? Немцы прорывали наши ли-

нии. Прорывали много раз. При этом наши части, отдельные роты, даже взводы оказывались отрезанными, лишенными связи, управления. Некоторые бросали оружие, но остальные — те сопротивлялись! Такого рода как будто бы неорганизованное сопротивление нанесло столько урона противнику, что это вряд ли поддается учету. Будучи оторван от своего командования, предоставлен себе, советский человек — человек, которого воспитала партия,— сам принимал решения. Действовал, не имея приказа, лишь под влиянием внутренних сил, внутреннего убеждения. Возьмите хотя бы ваш батальон. Кто приказывал политруку Дордия?

Панфилов потянулся к листку, где моей рукой была дана характеристика представленного к награде Дордия. Вторично в этот день генерал негромко прочитал:

— «Оставшись без командира роты, без связи, по собственному почину... »

Панфилов повертел бумагу, поднял палец.

— Кто-нибудь, возможно, скажет,— продолжал он,— что тут особенного? Да, были тысячи, десятки тысяч таких случаев. Но в этом-то и гвоздь! Припомните вашего Тимошина, вступившего в одиночку в схватку с немцами! А фельдшер, оставшийся с покинутыми ранеными! Кто им приказал? Под воздействием какой силы они поступали? Только внутренней силы, внутреннего повеления. А сами-то вы, товарищ Момыш-Улы?

Панфилов покачал головой, улыбнулся.

— Вы, конечно, нагромоздили себе званий, произвели себя чуть ли не в генералиссимусы...

Это вскользь брошенное замечание отнюдь не было резким. Панфилов очень мягко, так сказать лишь движением мизинчика, поправлял меня.

5

Генералу не сиделось. Он опять подошел к карте. Я тоже поднялся.

На этот раз Панфилов не произнес: «Сидите, пожалуйста, сидите», а слегка подвинулся, предлагая присоседиться.

— Так и получилось,— сказал он,— что беспорядок стал...— Панфилов тотчас поправил себя,— становится новым порядком. Вы меня поняли?

— Понял, товарищ генерал.

Мое краткое «понял» не устроило Панфилова. Он продолжал донимать меня вопросами:

— В чем же жизненность нашего нового боевого порядка? Что является его основанием?

Я не успел ответить, как адъютант доложил о приходе капитана Дорфмана.

Панфилов посмотрел на часы, взглянул на меня.

— Нет, нет, товарищ Момыш-Улы, не уходите. Сейчас я займусь с товарищем Дорфманом, а вы посидите, поприсутствуйте. Тем более что дело несколько касается и вас.

— Меня?

— Да. Приходится держать ответ за Волоколамск. И в частности: правильно ли я использовал свой резерв?.. Как вы на сей счет думаете? А?

— Мне, товарищ генерал, сказать об этом трудно.

— Трудно? — Будто узрев в моем ответе некий скрытый смысл, Панфилов вдруг живо воскликнул: — Что верно, то верно... Сказать трудно!

Он повернулся к вошедшему капитану Дорфману:

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Дорфман.

Пружинящей, легкой походкой Дорфман прошагал к столу. Хромовые сапоги блестели. Поблескивали и каштановые волосы, разделенные прямым пробором. Белая каемочка свежего подворотничка оторачивала отложной ворот незаношенной суконной гимнастерки. Вот таким же — чуть щеголеватым, моложавым, с игрой в карих глазах — я видел Дорфмана в тревожный час в Волоколамске, когда он, начальник оперативного отдела штаба дивизии, с неиссякаемой энергией исполнял свои обязанности. Он и теперь, как и в тот вечер, улыбнулся мне глазами. Под мышкой он держал свою неизменную черную папку.

— Садитесь, садитесь,— произнес Панфилов.— И давайте-ка ваше сочинение.

— Товарищ генерал, я не могу назвать его своим,— скромно сказал Дорфман.— Я лишь облек в письменную форму ваши, товарищ генерал, соображения. Кроме того, и начальник штаба...

— Так, так,— прервал Панфилов.— Этикет мы соблюли... А теперь к делу.

Дорфман раскрыл папку, извлек несколько исписанных на машинке страниц, подал генералу. Панфилов же-

стом вновь пригласил Дорфмана сесть и, подавшись к свету, к окну, углубился в чтение.

На стол ложились одна за другой прочитанные страницы. В какую-то минуту, не поднимая склоненной головы, Панфилов нашарил на столе карандаш, сделал пометку на полях. Вот заостренный графит вновь легонько коснулся бумаги. Еще одна страница перевернута. Опять поднялся карандаш. Панфилов почесал острым кончиком в затылке и оставил страницу без пометки. Потом и вовсе отложил карандаш.

Последний листок содержал лишь несколько строк текста. Панфилов долго глядел на них, очевидно обдумывая прочитанное.

— Убедительно! — произнес наконец он.— Слов нет, убедительно! Вы, товарищ Дорфман, оказали мне услугу.

— Сделал, товарищ генерал, что мог.

Панфилов глядел в окно.

— Действительно, ведь получается,— продолжал он,— что с нас нечего спрашивать. На подступах к Волоколамску героически дрались... Проявили такое упорство, что...— Он повернулся к Дорфману.— Это, товарищ Дорфман, у вас крепко изложено. Отдаю должное вашему перу.

Однако не в лад со словами одобрения черные брови генерала были изломаны круче обычного. Это, конечно, заметил и Дорфман.

— Вы же сами, товарищ генерал, вчера высказали эти мысли...

Панфилов не откликнулся; по-прежнему сосредоточенно он рассуждал вслух:

— После сдачи города сохранили стойкость, не пустили немцев по шоссе, восстановили фронт в нескольких километрах от Волоколамска. Об этом вы опять-таки ясно и сильно написали. Какой же, товарищ Дорфман, вывод?

— Вывод, товарищ генерал, сам собой напрашивается.

— Вывод таков: сдать дело в архив, оставить без последствий. Я не ошибаюсь?

Легким наклоном головы Дорфман выразил согласие.

— Что же выходит? Там,— Панфилов показал в сторону Волоколамска,— там мы, товарищ Дорфман, сдрейфили, потеряли город... А теперь сдрейфили и тут...

— Как? Где, товарищ генерал?

— Здесь...— Панфилов тронул прочитанные страницы.— Здесь та же половинчатость, та же нерешительность...

— Товарищ генерал, я же хотел...

— Знаю, товарищ Дорфман, понимаю. Не вас я упрекаю. Но скажите: зачем нам вести дело к тому, чтобы лишь уйти из-под удара? Почему избегать грома? Пусть он грянет!

— Накликать, товарищ генерал, я бы не стал...

— Конечно, мне, товарищ Дорфман, будет неприятно, если за ошибки я буду смещен или получу взыскание. Но все же давайте-ка наберемся мужества, скажем о них открыто. Скажем так, чтобы нельзя было наложить резолюцию: «В архив. Оставить без последствий». Дадим бой, товарищ Дорфман. А?

Дорфман слегка выпрямился, задорно блеснул карими глазами.

— Я, товарищ генерал, готов.

— А я в этом и не сомневался.

6

Панфилов прошелся по комнате, подумал.

— В чем была наша ошибка в бою за Волоколамск? — проговорил он.— В том, что, несмотря на приобретенный уже опыт, я еще следовал уставной линейной тактике.

— Не вполне так, товарищ генерал,— поправил Дорфман.

— Да, вы правы. Не вполне... Мы ее уже сознательно ломали. Примеров этому немало. Взять хотя бы решение об использовании резерва.

Генерал повернулся ко мне:

— Видите, добрались, товарищ Момыш-Улы, и до вас... Я послал ваш батальон, приказав захватить, занять господствующую высоту. Это уже был отход от линии, от построения в линию. Но нерешительный, неполный, половинчатый... Ибо следовало, несмотря на прорыв линии, оставить ваш батальон в городе, поручить вам держать город. Думаю, что вы и сейчас бы еще дрались там... Вот это и надо написать, товарищ Дорфман.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Написать остро, как это вы умеете, товарищ Дорфман. Сказать ясно и определенно: была совершена ошибка. Ее суть в том, что недостаточно решительно было нарушено изжившее себя, хотя и записанное в уставе, построение войск в оборонительном бою. Напишите так, чтобы... Чтобы дело без последствий не осталось. Разумеется, соблюдите меру, скромность. А насчет упорства, героических боев — все это сохраните. Пусть это останется на своем месте. Вы меня поняли?

— Понял. Даем бой.

— Вот-вот... Сдавать города хватит! Сдал, так отвечай: как и почему. Не будем же, товарищ Дорфман, заниматься составлением уклончивых ответов.

Не ограничившись примером, касавшимся моего батальона, Панфилов еще некоторое время говорил с капитаном о неудаче в бою за Волоколамск.

— Понятно, товарищ генерал,— произнес Дорфман.— К вечеру сделаю.

— Нет, скоро делать — переделывать... Лучше и ночку посидите. Утром приходите ко мне снова. А ежели наша бумага опоздает на денек... Что же, за это головушку не снимут. Ну-с, товарищ Дорфман, ни пуха ни пера.

7

Отпустив Дорфмана, Панфилов обратился ко мне:

— Видите, товарищ Момыш-Улы, даем бой нашему уставу. Ведь уставы создает война, опыт войны. Существующий устав отразил опыт прошлых войн. Новая война его ломает. В ходе боев его ломают доведенные до крайности, до отчаяния командиры. Вы сами, товарищ Момыш-Улы, его ломали...

Панфилов приостановился, глядя на меня, давая мне возможность вставить слово, возразить, но я по-прежнему лишь слушал.

— Ломали, а потом докладывали об этом мне. Я докладывал командующему армией. Он докладывал выше... Таким образом, прежде чем новый устав выкристаллизуется, прежде чем он будет подписан, тысячи командиров уже создают в боях этот новый устав.

Подойдя к ошеломившей меня сегодня карте, Панфилов опять стал ее разглядывать.

— Гм... Гм... Да, сопротивляемся малыми силенками. Теперь смогу их подкрепить. Слава богу, воскрес ваш батальон. Вы будете опять моим резервом. Второй полосой обороны.

Я не скрыл удивления:

— Второй полосой? Один мой батальон?

— Постараюсь вас несколько пополнить. Возможно, придам средства усиления. Но их у меня не много. Горсточки, крупицы...

— Но как же, товарищ генерал?.. Как же мы сможем? Что сможет сделать один батальон, несколько сотен человек с винтовками, если на них навалятся целые полки?! Где же наша армия? Где наша техника?

Я снова высказывал Панфилову все, что томило, бередило душу. Возможно, с другим командиром дивизии я не позволил бы себе этой откровенности. Но Панфилов всей своей повадкой, своей склонностью делиться с подчиненным размышлениями, думать при нем вслух, искать его совета располагал к откровенности. Он и сейчас без тени осуждения, наоборот — с интересом, слушал меня.

— Говорите, говорите, товарищ Момыш-Улы. Вы командир моего резерва. Мы с вами должны друг друга понимать...

Я вновь спросил:

— Неужели, товарищ генерал всю вторую линию?

Панфилов перебил:

— Не линию, товарищ Момыш-Улы, не линию... Отвыкайте от этого слова. Смелей уходите из плена прежней линейной тактики.

— Так вместо второй линии у вас будет один мой батальон? Разве, товарищ генерал, это реально?

— Реально... Только следует оказаться в нужное время в нужном месте. Пусть Волоколамск будет нам уроком. Если вы изучите всю эту полосу,— Панфилов показал на карте широкую полосу местности, прилегающую к фронту дивизии,— если ваш генерал больше не промажет, то и один батальон заставит противника поплясать несколько дней. Вспомните нашу спираль-пружину. Противнику придется развернуться, перестроиться. На это понадобится времечко. Не взводик, а батальон запрет дорогу. Ну-ка, действуйте за противника. Пожалуйста, господин командующий немецкой группировкой, как вы поступите, если на шоссе, на пути главного удара, упретесь в батальон?

Несколько минут я пребывал в роли немецкого командующего. Затем признал:

— Конечно, два-три дня батальон у них отнимет.

— Может быть, товарищ Момыш-Улы, и побольше...

— А потом? А дальше, товарищ генерал?

— Дальше?.. В случае необходимости будем перекатами, рубеж за рубежом, отходить до Истры. Мне не полагалось бы, товарищ Момыш-Улы, вам говорить об этом. Я вам это доверяю как командиру резерва. Будем вести отступательный бой, пустим опять в ход спираль-пружину. Отступление, товарищ Момыш-Улы,— это не бегство, это один из самых сложных видов боя. Не каждый умеет отступать. Нам поставлена задача: не давать противнику возможности быстро продвигаться, изматывать его, удерживать дороги, по которым могут устремиться механизированные силы. А ведь таких дорог — присмотритесь, присмотритесь! — таких дорог не много. Если мы будем умело отступать, то месяц-полтора он потеряет, чтобы выйти на рубеж Истры. Как по-вашему, это нереально?

Я смотрел на карту, следил за карандашом генерала, за планом боя, еще зыбким, вырисовывающимся лишь в некоторых главных очертаниях, планом, что открывал мне Панфилов. Не скрывая трудностей, он создавал во мне уверенность. Держать дороги... Месяц-полтора проманежить немцев... Это уже не ошеломляло, уже воспринималось как продуманная большая задача.

— Полагаю,— продолжал Панфилов,— что драться придется так: один против четырех, против пяти. Ничего, для нас с вами, товарищ Момыш-Улы, это уже не впервой... А через месяц-полтора подойдут наши резервы. Нельзя нерасчетливо бросать их сейчас в бой по малости. Придет срок — и, думается, мы увидим, где же наша армия, где же наша техника.

8

— Ну, на сегодня хватит,— заключил генерал.— О тонкостях потолкуем в другой раз. На днях переведу ваш батальон к себе поближе, во второй эшелон. Приеду к вам туда справить новоселье. Приглашаете?

Я низко поклонился:

— Милости просим... Угостим вас по-казахски. Приготовим плов. Только с вечера предупредите.

— Хорошо. Повару настроение не испорчу. Теперь вот что, товарищ Момыш-Улы. Хочу вам поручить одну сверхурочную работку. Опишите все ваши бои, все действия батальона. Приложите схемы...

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Трудностей не затушевывайте. Горькое вкушайте во всей горечи. Вы меня поняли? Сколько дней на это вам понадобится?

— Надеюсь, в три дня справлюсь.

— Нет, в три дня не успеете. Берите неделю. Ангел-хранитель нам это позволяет.

Я взглянул недоуменно: какой ангел-хранитель? Панфилов пояснил:

— Ангел-хранитель обороняющегося — время! Знаете, кому принадлежат эти слова? Клаузевицу, одному из выдающихся людей немецкого народа.— Панфилов подумал, повторил: — Немецкого народа... Вы, товарищ Момыш-Улы, никогда не унижали себя ненавистью к немцам как к нации, как к народу?

— Никогда! — твердо ответил я.— Если под знамя свастики, порабощения, встанет мой брат по крови, казах, я и его буду ненавидеть.

Панфилов вдруг вспомнил:

— Да, ведь я вам так и не сказал, что же писал Ленин насчет отступления. Он считал, что искусство отступления столь же важно в нашей борьбе, как и умение беззаветно, смело, безудержно наступать... Писал, что опыт отступления необходимо изучать. Вы поняли, товарищ Момыш-Улы?

Он протянул мне руку, мы обменялись на прощанье рукопожатием.

Выйдя от Панфилова, я взглянул на часы. Стрелки показывали около трех.

Несколько суток назад в этот же час я покинул домик Панфилова в Волоколамске; хлестал дождь, гремели пушки, пахло гарью, все вокруг было застлано мутной пеленой. А сейчас будто вернулась золотая осень. Из непросохших луж, что рябил ветерок, в глаза били тысячи блесток, солнечных зайчиков.

Беззвучно напевая, вскакиваю в седло. Лысанка идет хорошей рысью, несет меня домой — так в мыслях я называю батальон.

Каким бы ты ни был...

1

Вот и деревня Горки... Одна сторона улицы в тени, на другой горят в уже скошенных солнечных лучах стекла окошек.

Лишь вчера мы закончили поход по захваченной немцами земле, вышли к своим. За плетнем дымят три походные кухни. Ага, значит, прибыл наш обоз. У кухонь наряженные из рот бойцы пилят дрова, чистят картошку. А на улице пустынно — роты уже выведены на рубеж. У избы, где поместился мой штаб, осаживаю Лысанку; подскочивший Синченко принимает повод, я прохожу в горенку штаба.

Там уже установлен телефонный аппарат, возле которого дежурит связист. На топографической карте, лежащей на столе, вычерчена оборона батальона. Готовый к докладу Рахимов положил на край стола листок с цифрами о наличном составе подразделений и другими сведениями.

Я проглядываю листок. Уже и без доклада знаю, что батальон вновь крепок, собран, послушен руке командира. Можно прилечь, вытянуться на кровати, отдохнуть телом и душой. Так и поступаю. Валюсь на плащ-палатку, что прикрывает постель, поудобнее устраиваю подушку, расстегиваю ворот гимнастерки.

— Садись, Рахимов... Докладывай.

Ощущая приятную расслабленность, слушаю доклад. Какой-то шум за окнами отвлекает внимание. Поворачиваю голову.

— Рахимов, что там?

Мягко ступая, Рахимов уходит. Минуту спустя он возвращается. Видно, что он взволнован. Эта его напряженность мгновенно передается мне. В комнате ничто не изменилось, но будто глухо забили барабаны.

— Товарищ комбат, разрешите доложить.

— Ну, что там?

— Прибыл Заев с пулеметной двуколкой.

— Заев?

Ярко предстало случившееся на моих глазах: рвущиеся мины, удаляющийся силуэт обезумевшей Лысанки, Заев с хворостиной в руке в пулеметной двуколке. Миг — и

двуколка с Заевым, с пулеметным расчетом помчалась за Лысанкой, унеслась с поля боя. И лишь теперь, через два дня, Заев явился. Я вскочил. Размягченности, усталости как не бывало.

— Где он?

— Во дворе.

— А пулеметчики?

— Они тоже здесь.

Овладеваю собой. Барабаны уже не стучат в висках. Застегиваю, оправляю гимнастерку, переступаю порог.

2

Прорезавшая свежую колею во дворе, заляпанная грязью двуколка стоит в тени сарая. Четыре пулеметчика, что вместе с Заевым бежали с поля боя, жмутся к колесам. Лишь ездовой Гаркуша уже занялся делом, тащит коню сена. Белый маштачок пощипывает еще не убитую морозами, как бы наново в теплый день зазеленевшую траву.

Где же он, Заев? Прячется? Боится на меня взглянуть? Нет, он не прятался. Длинный, костлявый, он встал у стены сарая на самом виду, глядя на меня исподлобья, из-под нахлобученной шапки.

Во двор уже выбежал Бозжанов, уже подошел к Заеву, но, заметив меня, звонко скомандовал:

— Смирно!

Пулеметчики выпрямились. Гаркуша кинул наземь сено, тоже вытянулся. Лишь Заев не вскинул голову, не расправил плечи, стоял, опустив по швам длинные руки.

— Трусы! — сказал я.— Пока вы шатались по тылам, честные бойцы воевали. Для чего вы теперь пришли? Как вы будете смотреть в глаза товарищам? Где ваша совесть?

Меня слушали угрюмо. Среди четырех пулеметчиков находился и Ползунов, о котором всего несколько дней назад с командирской отеческой гордостью я докладывал генералу. Сейчас серьезные ясные глаза Ползунова потемнели.

— Где твоя совесть, Ползунов?

Он нашел в себе мужество ответить:

— Товарищ комбат, мы знали, как вы нас встретите. И все-таки пришли к вам.

— А почему сразу не вернулись? Почему сразу не повернули обратно, когда увидели, что ваши товарищи дерутся?

Заев молчал. Гаркуша ответил:

— Напоролись на немцев, товарищ комбат. Кинулись в сторону. Там тоже нас огрели.

— А потом?

— Потом уже не было к вам ходу... Хотели вернуться, немец не пустил.

Я приказал:

— Заев! Идите ко мне в штаб. А с вами, бродяги, у меня еще будет разговор.

С тяжелым сердцем, круто повернувшись, я ушел в комнату штаба.

3

Я ждал недолго. Вскоре заскрипели половицы под тяжелыми шагами Заева. За ним в горенку вошел притихший Бозжанов.

Заев вытянулся:

— Товарищ комбат, по вашему приказанию явился.

Вопреки своему обыкновению, он не пробурчал, а отчетливо выговорил эти слова.

Я сел. Косая полоса солнечного света падала на Заева. Только сейчас я рассмотрел, что он был одет строго по форме. Пожалуй, прежде ни разу я его таким не видел. Возвращаясь сегодня в батальон на суд комбата — суд, от которого он, преступник, беглец, не мог ожидать пощады,— Заев счел нужным побриться, выскрести шинель, надеть наплечные ремни, так называемое снаряжение, что не носил с тех пор, как мы прибыли на фронт. Пазуха шинели, куда Заев нередко совал и личное оружие, и всякую всячину, сейчас не оттопыривалась; шинель была застегнута на все крючки и пуговицы. Офицерская, серого бобрика, с потертой эмалированной звездою шапка, уши которой зачастую болтались незавязанные, теперь выглядела аккуратной. Лишь карманы шинели, и сейчас оттопыренные, напоминали прежнего несуразного Заева. На фоне окна в пучке солнечных лучей был ясно прочерчен его профиль: провал на висках, бугор скульной кости, затем снова провал — щеки́ и снова крутой выступ: широкая нижняя челюсть.

— Снять снаряжение,— приказал я.

Заев освободился от наплечных ремней, расстегнул пояс, снял кобуру, положил все это на стол.

— Снять звезду! Снять знаки различия.

Заев, конечно, знал, что ему предстоит эта расплата, подготовился к ней, и все же тень пробежала по его лицу, дернулся рот, еще более насупились лохматые брови. Однако он с собой справился: потрескавшиеся, сухие губы не разжались, не попросили пощады; в глубоко сидящих глазах, неотрывно устремленных на меня, не было мольбы. Заев молча исполнил приказание. Эмалированная красная звезда и сорванные с петлиц шинели красные квадратики тоже легли на стол.

— Срывайте петлицы,— велел я.

Стукнула дверь, появился Толстунов. Обычной спокойной походкой, слегка вперевалку, он прошел к столу, где были сложены принадлежности воинской чести, и сел.

4

— Петлицы! — повторил я.

— Товарищ комбат, может быть, разрешите оставить петлицы?

— Нет, срывайте!

Не потупив взгляда, Заев поднял широкую в кости, сильную руку. Раз, два... Обе петлицы сорваны, кинуты на стол. Теперь Заев перестал быть даже простым солдатом, я отнял у него последнюю примету воина.

— Вывернуть все карманы! Кладите на стол все, что там есть.

Покорный приказанию, Заев принялся выгружать содержимое карманов.

На стол лег распотрошенный медицинский индивидуальный пакет. В нем сохранились обтянутые марлей ватные подушечки, ампула с йодом, английская булавка, но бинт был извлечен. Мне вспомнилась белая, скрученная из бинта лямка, служившая опорой дулу ручного пулемета, когда Заев, стреляя на ходу, повел роту на немцев. Вот и она, смотанная в ком, почти черная от грязи, эта самодельная шлея,— Заев ее выгреб из кармана. Из брюк он вытащил носовой платок, тоже измазанный смазкой, спички, надорванную пачку папирос, пустой красный кисет

с черными следами пальцев, свой огромный складной нож, неприхотливо оправленный в дерево. Коснувшись нагрудного кармана гимнастерки, рука Заева приостановилась.

— Это личное, товарищ комбат.

— Вынимай все.

Отстегнув клапан, Заев вынул слежавшуюся пачку писем. Вместе с письмами в кармане хранились и фотографии. Сверху легла карточка мальчика лет шести-семи. Он стоял на стуле в свежепроглаженной — продольные складочки на рукавах еще не расправились после утюга — косоворотке, все до единой пуговицы застегнуты, ремешок туго стягивал талию. Порода Заева угадывалась по височным впадинам, по сильно развитым бровным дугам. К фуражке была прикреплена красноармейская звезда. На карточке она алела, неумело, по-детски, раскрашенная акварелью. Я лишь мельком увидел эту карточку: Заев быстро перевернул ее обратной стороной. Однако рука сделала не совсем верное движение: вместе с этой фотографией она захватила и другую, которая тоже обернулась изнанкой. Я прочел крупную надпись: «Другу, русскому брату...» Почерк показался знакомым. «Русскому брату...» Кто это мог написать? Я перевернул карточку. На фоне смутно проступающих в небе отрогов Тянь-Шаня в летний день в казахстанской степи были сняты двое: худой верзила Заев, чем-то недовольный, грозно посматривающий в сторону, словно вот-вот он кого-то «вздрючит», и чуть ли не на голову ниже его ростом, тоже повернувшийся вполоборота, браво выпятивший грудь, улыбающийся, толстощекий Бозжанов — неразлучные командир и политрук, наши Пат и Паташон.

— От кого письма?

— От жены.

— Могу, Заев, вас заверить,— сказал я,— эти письма останутся неприкосновенными. Никто их не прочтет.

Туго связав пачку, я отложил ее на подоконник. Открытка, на которой были сняты Бозжанов и Заев, легла в связке сверху; бечевка крест-накрест пересекла, перечеркнула ее.

— Это все?

— Нет, товарищ комбат.

Из внутреннего кармана шинели он вытащил продолговатый прозрачный пакет, сквозь который просвечивали

белые лайковые перчатки. Мне вспомнилась ночь, когда Заев объяснил, что бережет белые перчатки для Берлина. Вспомнилось: восседая на хребте маштачка, почти доставая длинными ногами землю, он просипел: «Как вы думаете, товарищ комбат, еще понаделаем дел на этом шарике?»

Нет, воспоминания не растрогают меня. С тобой, Заев, у нас счеты покончены. Тебе, утратившему честь, преступившему воинский долг, больше не предстоит никаких дел. Или, вернее, лишь одно: молча принять кару.

— Теперь все?

— Да, товарищ комбат, все.

Куда делись его постоянные «угу», «ага» — эти словечки, за которые ему не раз от меня влетало? Их как не бывало.

Я сказал:

— Курево можете взять.

Заев положил в карман папиросы и спички. Потом аккуратно застегнул каждый крючок, каждую пуговицу шинели. Его тяжелая, с выступающими в запястье буграми костей рука не дрожала, была твердой.

Застегнувшись, он выпрямился, застыл.

5

В комнате водворилась тишина. Я уже вынес в душе приговор, принял решение: расстрел. Но дал себе еще минуту на раздумье.

Каждая из вещей, лежавших на столе,— и складной, оправленный в дерево нож с толстым шилом, с отвертками, что Заев неизменно пускал в ход, разбирая и собирая оружие; и жгут грязного бинта, перевязь-опора для ручного пулемета, которую Заев до сих пор таскал с собой; и чудаковатая покупка — перчатки для Берлина; и две защитного цвета с обрывками ниток петлицы — каждая взывала: «Пощади!»

Но в моем сердце была выжжена заповедь войны: «Если струсишь, изменишь — не будешь прощен, как бы ни хотелось простить... Тебя раньше, быть может, любили и хвалили, но, каков бы ты ни был, за воинское преступление, за трусость, будешь наказан смертью».

Да, каков бы ты ни был!.. Минута раздумья истекла.

— Рахимов!
— Я, товарищ комбат.
— Идите выстройте вторую роту, выстройте бойцов, которые прибыли с ним...
— Товарищ комбат, они обедают.
— Как обедают? Кто разрешил им обедать?
Толстунов ответил:
— Я разрешил. Люди голодные.
У меня наконец сдали нервы.
— А мы не голодали? Сколько суток мы голодали, пока они околачивались в тылу?
— Ладно, комбат,— примирительно сказал Толстунов.— Пусть уж дообедают.
Я совладал со своей вспышкой.
— Хорошо. Подождем. А пока, Заев, я могу позволить вам написать жене письмо. Никаких других последних желаний я слушать не хочу. Вы будете расстреляны перед строем роты, которой вы командовали, будете расстреляны теми бойцами, с которыми вместе бежали.
— Товарищ комбат,— произнес Заев,— дайте мне умереть честно! Дайте мне умереть рядовым бойцом в своей роте.
— Нет!
— Товарищ комбат, я знаю... Я заслужил смерть. Я сам не позволю себе жить. Пусть к этому привела одна минута, она отняла у меня все, отняла жизнь. Но позвольте мне умереть с честью. В разведке, в атаке, от пули врага. Я не пытался, товарищ комбат, скрыться от вашего суда, перейти в другой батальон, в другую роту. Пошлите меня к моим бойцам, перед которыми я опозорил себя. Я там буду рядовым. И умру как честный солдат. Товарищ комбат, не отказывайте мне в этом!
Впервые Заев стал красноречивым, заговорил убедительно, сильно. Потрясение переродило его. Вместо прежнего чудака и балагура передо мной стоял, меня с силой убеждал новый, иной Заев. Я почувствовал, что колеблюсь. Но ответил, как отрубил:
— Нет! Нет! Довольно! Идите в соседний дом. Пишите последнее письмо жене.
Заев глухо, с трудом произнес:
— Что же, пусть так... Слушаюсь, товарищ комбат.
И, вычеркнутый из братства воинов, он вышел, не отдав чести, без пояса, без звезды, без петлиц.

Я взглянул на своих товарищей: на Толстунова, Рахимова, Бозжанова.

Никто из них не осмелился вмешаться, когда я судил Заева. Никто и сейчас ничего не вымолвил. Но говорили глаза. Поведение Заева, его мужественное самоосуждение, даже сила речи — неожиданная, неведомо откуда взявшаяся сила, с которой он просил даровать ему честную смерть,— это тронуло всех, возбудило сочувствие к осужденному. Три пары глаз кричали: «Сохрани ему жизнь, пощади!» Нет! Каков бы ты ни был... Нет, товарищи, нет!

Затянувшееся молчание нарушил Бозжанов:

— Давайте обедать. Уже все готово.

Я проронил:

— Куда торопишься? После...

Однако Бозжанов продолжал хлопотать.

— Прибирайте стол. А я сейчас...

Избегая моего взгляда, он поспешил уйти в другую половину дома, где для нас варился в печи обед.

Рахимов быстро очистил место на столе, развернул свою плащ-палатку и с обычной аккуратностью привел в порядок груду вещей Заева. Не пожалев белой бумаги из нашего скудного штабного запаса, он обернул нетронутым, чистым листом петлицы, звезду, красные кубики, вложил этот сверточек в бумажник Заева. Потом покосился на связку писем и снимков, что была брошена на подоконник, но не решился ее взять. Умело упакованный, скрепленный булавкой, тяжелый тючок лег на сундук в дальнем углу комнаты.

А Бозжанов уже внес кастрюлю с супом.

— После, после, Бозжанов,— сказал я.

— Но как же, товарищ комбат? Ведь и так все переварилось.

Бозжанова поддержал Толстунов:

— Пообедаем, комбат. Успеем, пока он там пишет. Синченко, ставь тарелки, давай хлеб.

Я и не приметил, когда и как в комнате оказался Синченко. Он молча расставил посуду, нарезал хлеб. Старался не шуметь, не стукнуть ножом или тарелкой, смотрел вниз с видом виноватого ребенка. Толстунов сказал:

— Комбат, разреши по рюмке водки.

— Не надо.

— Как же не надо? Мы-то, комбат, в чем провинились? Чего нас обездоливаешь? Разреши перед обедом.

— Ладно. Пейте, если можете.

— И ты с нами, комбат, чокнись. Синченко! Где фляжка?

Синченко подал флягу. Толстунов разлил водку по стаканам. Все молча выпили.

Бозжанов кивком показал на снимок, что, перекрещенный бечевой, лежал в связке лицом вверх:

— Знаете, товарищ комбат, чему я там смеюсь?

— Чему?

— Мы с ним стали сниматься, приготовились, и вдруг в расположении роты он увидел девушку. Постороннюю девушку. И заорал. А я...

— Мне это неинтересно,— резко сказал я, пресекая разговор о Заеве.

Но разговор продолжался.

— Слушай, комбат,— сказал Толстунов.— Лучше пусть его судит Военный трибунал. Сейчас ведь мы не в боевой обстановке...

— Как не в боевой? Перед нами противник.

— Но все же передышка, боев нет. Отправь его в трибунал, пусть трибунал разберется.

Я молчал. Толстунов продолжал:

— Если приговорят к расстрелу, так расстреляем по суду перед строем батальона. Если разжалуют, пусть искупает вину рядовым бойцом.

— Какие могут быть сомнения? — вскричал я.— Конечно, к расстрелу за то, что в бою бросил позицию. Иной приговор немыслим.

— Правда, аксакал, пусть его судит трибунал,— молвил Бозжанов.

Я ничего не ответил. Мы пообедали. Синченко убрал посуду.

— Рахимов! — сказал я.— Зовите Заева.

Через несколько минут в комнату вновь вошел Заев. В руке он держал исписанный лист бумаги.

— Написал жене?

— Да, товарищ комбат.— Голос Заева был тверд, он без заискивания, без робости смотрел прямо мне в глаза.— Написал, что одна позорная минута сгубила мою жизнь. Одна минута! И за эту минуту расплачиваюсь

честным именем и жизнью. Написал, что буду расстрелян перед строем. Написал, чтобы поберегла сына, не говорила ему правды. Мальчик должен быть уверен, что отец погиб в бою.

— Хорошо. Садитесь. Рахимов, дайте Заеву конверт.

Заев сел, вложил письмо в конверт, надписал адрес.

— Заклейте, я ваше письмо читать не буду.

Заев заклеил конверт, передал мне. Я сказал:

— Рахимов, берите бумагу. Пишите: «В Военный трибунал дивизии. Препровождаю вам арестованного мною бывшего командира второй роты моего батальона Заева. В бою 30 октября сего года близ деревни Быки Заев позорно бежал и увлек с собой в бегство часть роты. Став предателем, изменником Родины, он заслуживает единственной кары — расстрела перед строем. Прошу трибунал рассмотреть преступление Заева и прислать его ко мне с приговором суда, чтобы расстрелять перед строем батальона». Написали?

— Да, товарищ комбат.

Я взял бумагу, перечел, обозначил дату, расписался.

С этой бумагой Заев был направлен под конвоем в трибунал дивизии.

Зачем, зачем он приезжал?

1

На следующий день после обеда к нам неожиданно приехал Панфилов.

Выполняя задание генерала, я писал историю боев батальона. Заботами Рахимова и Синченко для меня был устроен рабочий уголок на хозяйской половине — в тишине, в тепле. Неведомо откуда появившийся маленький стол с письменным прибором удобно приткнулся к окну. Хозяин и хозяйка старались меня не беспокоить, я их почти не замечал. На столе росла горка исписанных мною листов.

Погруженный в работу, я услышал стук подков по звонкой, прихваченной морозом земле. У крыльца топот оборвался.

В сенях послышались шаги. Дверь отворилась. Пораженный, я увидел генерала. Нащипанные морозом, его смуглые щеки раскраснелись, квадратики усов заиндевели. Он был одет в длинный, по колени, добротный нагольный полушубок, перехваченный в талии ремнем. Овчина у ворота и на плечах собралась складочками, облегая впалую грудь.

Я встал навстречу гостю, хотел доложить, но Панфилов с улыбкой протянул мне руку.

— Пустите погреться?

Достав носовой платок, он вытер усы, снял полушубок и ушанку, поздоровался с хозяйкой. Она спросила:

— Чайку выпьете? Самовар поставить?

— А что же? Не откажусь.

Хозяйка вышла с самоваром.

— Как дела, товарищ Момыш-Улы? Помыли батальон? Баньку организовали?

— Да, товарищ генерал.

— Как материальное снабжение? Сапоги чините? Сапожный товар есть? Теплые фуфайки прибыли?

— Нет, товарищ генерал, фуфайки еще не получили.

— Эк они, наши интенданты, тянут... Если вам завтра доведется побывать по делам в Строкове, вы на них нагряньте. Надевайте шашку и нагряньте.

В деревне Строково, как мне было известно, расположились разные тыловые отделы дивизии. Еще несколько вопросов Панфилова тоже касались солдатского житья-бытья. Потом он спросил:

— Как подвигается описание боев?

— Подвигается, товарищ генерал. Как раз этим занимаюсь.

— А ну, прочтите, прочтите, что написали.

В эту минуту со двора вошел с вязанкой дров совсем седой, но еще крепкий хозяин. Свалив у печи поленья, он поклонился генералу.

Панфилов встал, протянул руку. Старик посмотрел на свою — загрубелую, в черных въевшихся пятнах древесной смолы.

— Грязновата,— с сомнением сказал он.

Панфилов пожал старику руку.

— Рабочая грязь не грязная. Часом, не из лесорубов?

— Пильщик... Окрест во всех домах моей работы доски.

Ежели попросят, и теперь еще хожу, занимаюсь распиловкой.

— Добре... Послужили и в солдатах?

— Так точно... Служил, товарищ... не знаю, как вас величать...

— Иван Васильевич. А вас?

— Значит, тезки... Меня Иван Петрович.

— Может, присядете с нами, Иван Петрович? Вот командир батальона почитает про бои. А мы, старые солдаты, послушаем, покритикуем.

— Оно можно бы... Но уж другим разом. Сейчас занимайтесь сами. Иной раз глядишь: человек все пишет, пишет... А не знаешь, что там у него: небыль или быль.

Расправив свою шишковатую ладонь, хозяин добавил:

— Быль — что смола, а небыль — что вода.

Перекинув через плечо веревку, которой были обвязаны дрова, он пошел к порогу.

Генерал сказал:

— А почаевать с нами придете?

— Чайку выпью... Шумните...

2

— Интересный, кажись, у вас хозяин,— протянул Панфилов, когда за старым пильщиком закрылась дверь.— Не правда ли? А?

Я не ответил. Не хотелось признаваться, что я ничего не знал о своем хозяине, ни разу с ним не потолковал. Панфилов, несомненно, уловил мое замешательство, но ничем этого не показал.

— Читайте же, товарищ Момыш-Улы... Бои на дорогах, ваши первые спиральки... Об этом у вас уже написано?

— Да, товарищ генерал. Этот раздел закончен.

— Вот, вот. Это и давайте.

Сев возле меня, Панфилов с интересом смотрел на листки, которые я перебирал. Отобрав нужные, те, где говорилось о боях, что вели на дорогах, на подходах к рубежу батальона, две горстки, взвод Брудного и взвод Донских, я начал читать вслух. В своих записях я стремился поточней охарактеризовать замысел этих боев, панфиловскую спираль-пружину. Искусно бороться малыми силами против больших — таково было ее предназначение. Далее

я писал о том, что практически удалось и что не удалось в этих боях.

Панфилов внимательно слушал. Возможно, он хотел проверить, как я усвоил уроки войны; возможно, еще и еще раз выверял свой план надвигающегося нового сражения.

Хозяйка втащила кипевший самовар. Панфилов кивнул ей: «Поставьте!» — и продолжал слушать. Дочитав заключительные строки, я поднял глаза. Генерал улыбался. Улыбка сделала явственнее две глубокие складки на щеках и сеточку разбежавшихся по вискам морщин. Я видел, что Панфилов доволен.

— Под селом Новлянское,— проговорил он,— у вас спиралил взвод, а теперь вам придется пружинить батальоном. Сначала вы будете сзади, а потом окажетесь впереди всех войск. Как, где, когда это произойдет — не знаю. Но понимать друг друга — это для нас, товарищ Момыш-Улы, самое главное. Понимать с одного слова! А иногда даже и без слов...

Я понимал генерала. Он жил, горел своей идеей — нового оборонительного построения, нового боевого порядка,— опять и опять возвращался к ней. Как назвать это состояние? В одной книге я встретил выражение: неотступное думание. Лучше, пожалуй, и не скажешь. Военачальник-творец непрестанно прикидывает, примеривает в уме все варианты, все возможности предстоящего боя. Как поступить, если бой сложится так? Что предпринять, если дело обернется эдак? Вот почему такой командир сам все дотошно, досконально проверяет, настойчиво, даже назойливо возвращается к тому, о чем уже не раз говорил с подчиненным. То, что для тебя является его заданием, он уже пережил, вы́носил. И радуется, если встречает понимание.

3

Однако порой нить мыслей генерала ускользала от меня. Вот он спросил:

— Как у вас поживает Ползунов? Кажется, стал пулеметчиком?

Я ответил, что Ползунов провинился, устранен от пулемета.

— Провинился? В чем?

— Удрал вместе с Заевым, товарищ генерал.

— А... С Заевым...— протянул Панфилов.

И ничего больше об этом не сказал. Взял листки, только что мною прочитанные вслух, пробежал глазами по строкам. Остановился на фамилии Брудного.

— А как Брудный? Командует ротой?

— Да, товарищ генерал.

— Справляется?

— Один из моих лучших офицеров, товарищ генерал.

— А ведь вы его... Ведь вы его... Помните, товарищ Момыш-Улы?

Я спросил:

— Разве надо и об этом написать?

— Нет. Зачем же? — Панфилов помолчал.— Не все, товарищ Момыш-Улы, надо поверять бумаге...

И опять перевел разговор:

— Кстати, схемы этих боев у вас готовы?

— Этим, товарищ генерал, у нас занимается Рахимов. Кажется, он еще не закончил. Разрешите, я выйду узнаю.

4

Схемы, над которыми трудился Рахимов, еще не были готовы. Предстояло обвести тушью и расцветить карандашные наброски.

Я доложил об этом генералу. Стол, где шумел самовар, уже был накрыт к чаю. Синченко расставлял угощенье. Приглашенный почаевать хозяин уже сидел на табурете.

Панфилов сказал:

— Пусть товарищ Рахимов все-таки закончит. Я подожду. Попью пока с хозяином чаю, поговорю с ним.

Я опять вышел, передал Рахимову слова генерала. У моего начштаба имелись другие неотложные дела: он был обязан подготовить завтрашний переход батальона во второй эшелон. Следовало составить приказ, разработать маршрут, порядок движения колонны и так далее. Рахимов выразил опасение, что не успеет вовремя дать мне на подпись необходимые распоряжения.

— Давайте, сам все это сделаю. А вы чертите,— сказал я.

— Зачем он приехал, товарищ комбат? — спросил Рахимов.

— Не понимаю. Не могу уразуметь. Говорит, завернул погреться.

Взяв некоторые материалы для работы, я вернулся к генералу. Вместе с хозяином он сидел за самоваром. Оба пили чай вприкуску: около каждого лежала горка мелко наколотого сахара.

— Присаживайтесь, товарищ Момыш-Улы. Чаю с нами выпьете?

— Спасибо, товарищ генерал. Попрошу разрешения поработать.

На миг наши взгляды встретились. Проницательные глаза Панфилова живо блестели. Почудилось, в них проглянуло упорство. Он словно хотел сказать: «Э, брат, меня не переупрямишь...»

— Пожалуйста, работайте, работайте,— проговорил он.— Не обращайте на меня внимания... Подготавливайте переход батальона.

Я невольно посмотрел на бумаги, что держал в руке. Неужели Панфилов сумел издали разобрать хоть строчку? Нет, просто-напросто он понимал, чем мы сейчас заняты, знал наши заботы, видел все это насквозь. Но зачем он все-таки приехал. Ради чего сидит? Схемы? Ладно, изготовим ему схемы.

Подавив смутное, непонятное мне самому раздражение, я устроился за своим маленьким столом у окна и, черкая бумагу, стал продумывать приказ по батальону. Порой краем уха я улавливал разговор генерала с хозяином. Беседа велась в добром согласии. Хозяин уже называл генерала на «ты».

— Скажу тебе, Иван Васильевич, по душе... Все-таки с вами, партийными, жить тяжеловато.

— Оно верно,— подтвердил Панфилов.— Мы, коммунисты, люди трудные.

Я покосился на генерала. Ни в уголках глаз, ни под черными квадратиками усов не было и тени усмешки. Странно, такой мягкий, внимательный к людям, для всех доступный, он сказал о себе: «Мы люди трудные». И тут же пояснил:

— Еще в гражданскую войну об этом писал Ленин... Мы, коммунисты, для крестьянства люди трудные. Помните те годы, Иван Петрович?

Русло разговора повернуло в прошлое. Время от времени я опять прислушиваюсь.

С обычной хрипотцой звучит голос Панфилова:

— Разве я родился коммунистом? Э, сколько до этого было пережито... В семнадцатом году был еще совсем зеленым, метался, колебался. В руках винтовка. А что с ней делать? Куда стрелять, в кого?

Вставляет словечко и хозяин: он тоже встретил семнадцатый год с винтовкой; тоже не сразу понял, против кого повернуть оружие. Я стараюсь переключиться на работу, но не могу не ловить слов Панфилова. Теперь он ведет речь о каком-то эпизоде из своей солдатской жизни:

— Долой войну — и вся недолга! Бросил винтовку. Черт с ней!..

— Э, нехорошо! Позор,— осуждает хозяин.

— А я бросил и пошел. И вдруг стыд остановил. Что ты, солдат, наделал? Побежал обратно. Вот, Иван Петрович, какая была минута в моей жизни.

Невольно опять взглядываю на генерала. «Минута в моей жизни». К чему он это сказал? Но Панфилов даже как будто не видит меня. Продолжаю писать. И снова вслушиваюсь.

— И еще был случай,— звучит голос Панфилова.— Ходил целую ночь, не мог найти своих. Скажу по чести: плакал. Ведь я же командир, как явлюсь, как объясню!

Странно: о ком он говорит? Не обо мне ли? Не о том ли горьком часе, когда я бродил во тьме, потеряв свой батальон?

Горячий чай вызвал легкую испарину на загорелой, изрытой глубокими морщинами шее генерала. Ее наклон почему-то опять кажется мне упрямым. На миг Панфилов поворачивает голову ко мне:

— Вы работайте, работайте, товарищ Момыш-Улы. Не обращайте, пожалуйста, на нас внимания.

5

Вновь ощутив приступ раздражения: «Чего он тут сидит? Что ему надобно?», я заставил себя уйти в работу.

Звякнул чайник, зажурчал кипяток из самовара. Панфилов наполнил крепким чаем два опорожненных стакана. Чаепитие продолжалось.

Разговор, как мне казалось, повернул от больших тем.

Панфилов со свойственной ему дотошностью интересовался заработками пильщика, расценками на погонный метр за доски, за плахи, за тес.

Рахимов принес наконец схемы. Генерал сразу стал внимательно их разглядывать. Он опять, видимо, был доволен.

— Товарищ Момыш-Улы, можно мне захватить это с собой? Покажу кое-кому, как оформляют штабные документы в батальоне.

— Товарищ генерал,— вмешался Рахимов,— это еще не вполне закончено.

— Думаете, что начальству полработы не показывают?

— Надо бы отделать, товарищ генерал.

— Ну, отделывайте...

Панфилов еще раз пересмотрел, одну за другой, схемы наших первых боев, первых спиралек. И, следуя каким-то своим мыслям, вдруг сказал:

— А поворот головы похож!

Заметив мое недоумение, он рассмеялся:

— Разве вы не помните, как мы с вами снимались? Как фотокорреспондент обнаружил между нами сходство? Не похожи, а поворот головы похож... Казалось бы, пустячные слова. И вылетели-то у него случайно. Но когда я потом обдумывал наши с вами рассуждения о советском человеке, это мне пришло на ум: поворот головы... Вы меня поняли?

— Не совсем, товарищ генерал.

— Ну как же? У старшего поколения, у тех, которые своими руками совершали революцию, понимание своего долга родилось иначе, чем у вас, у молодых. Тем приходилось решать: против кого воевать, за что воевать? А вы... Вы наши потомки по крови. Потомки. Иной раз глядишь на юношу. Что в нем отцовского? Как будто на отца не похож. А поворот головы тот же. Согласны, товарищ Момыш-Улы?

6

В сенях прозвучали чьи-то шаги. С мороза в комнату вторгся Толстунов.

— Здравствуйте, товарищ генерал... Инструктор пропаганды старший политрук Толстунов.

— А, товарищ Толстунов,— сказал Панфилов.— Сегодня как раз вас вспоминали. Да, да, начальник политотдела сегодня ко мне заходил...

Толстунов слушал генерала, вытянувшись в струнку.

— Вспомнили не худым словом,— продолжал Панфилов.— Вольно, вольно, товарищ Толстунов. Чувствуйте себя свободно.

Мне показалось, что генерал с каким-то особым выражением произнес и эти обычные простые слова: «Чувствуйте себя свободно». Но тотчас же он заговорил на другие темы: о предстоящем нам завтра переходе, о работе с гражданским населением, о боевой подготовке батальона.

— Помогайте, товарищ Толстунов, командиру батальона. Во всем помогайте. Укрепляйте его авторитет. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

— Перебирайтесь, а потом приеду к вам, как обещал, на новоселье. Куда же ушел хозяин? Где хозяйка? Хочу с ними попрощаться.

Мы проводили генерала. Простучали, отдаляясь, подковы лошадей.

Толстунов спросил:

— Комбат, зачем он приезжал?

Грубоватое лицо его выглядело совсем бесхитростным.

И вдруг неожиданно для себя я сказал:

— Мне кажется, ты об этом лучше меня знаешь.

— Что ты? Откуда мне знать?

— Ну и я не знаю. Заехал погреться, выпить чаю. Вот и все...

7

Лишь ночью, когда схлынул поток дел, не оставляющий времени для дум, когда и в штабной горенке и на хозяйской половине все уснули, а я в тиши, при свете поставленной на стол керосиновой лампы, уселся писать дальше историю батальона, мысли о приезде генерала заставили отложить перо.

В самом деле, зачем, зачем он приезжал?

Быть может, для того, чтобы окончательно решить,

оставить ли мой батальон в своем резерве? Еще раз проверить, насколько мне близки, понятны его замыслы? Понимать друг друга с полуслова... Кажется, он сегодня это дважды повторил.

Спросил о Ползунове... Промолчал, когда я назвал фамилию Заева... Напомнил о Брудном... «Ведь вы его... Помните, товарищ Момыш-Улы...» Рассказал при мне о том, как сам бросил винтовку... «Вот какая была минута в моей жизни...» Рассказал, как потерял своих.

Черт возьми! Ведь он приехал ради Заева! Нет, откуда ему знать, как я порешил с Заевым? Но разве он не мог узнать через Толстунова? Вчера Толстунов долго не ложился, все сидел, составлял свое политдонесение. И вчера же отослал. Не о Заеве ли он писал? Разумеется, о Заеве. Да, генералу все было известно.

Панфилов никогда не отменял ни одного моего приказа, ни одного распоряжения. Он и Толстунову сказал: «Помогайте командиру батальона, укрепляйте его авторитет». Генерал, наверное, имел право сам, собственной властью, приостановить или вовсе прекратить дело в трибунале. Он властен и не утвердить приговор, заменить расстрел разжалованием. Но приехал ко мне, дважды сказал: «Понимать с полуслова...»

Да, я понимаю.

Из полевой сумки, что висела возле меня на спинке стула, я вынул заклеенный конверт, письмо Заева жене... «Одна минута! За эту минуту плачу честным именем и жизнью...» Повертел конверт... Нет, не раскрою, не имею права читать обращенные не ко мне последние предсмертные строки Заева. Положил конверт обратно в сумку. Вспомнилась фотография: рассерженный нескладный Заев рядом с добряком Бозжановым.

Нет, к черту эти размягчающие сердце картины! К черту колебания! Бежал с поля боя, так будешь расстрелян!

Понимаю, товарищ генерал, зачем вы приезжали. Но не сделаю того, что вы от меня хотите, не возьму назад бумагу, которую я подписал. Можете сами, своей властью сохранить жизнь человеку, предавшему нас в бою. От меня этого вы не дождетесь.

1

Следующее утро. Рахимов подает мне список, в котором перечислены нужды батальона.

Список велик: в нем значатся пулеметы и орудия, что надобны взамен разбитых в бою; потребны и кони, повозки, оружейная смазка, гранаты, патроны, перевязочный материал, медикаменты, мыло, керосин, сапоги, теплые фуфайки — те самые фуфайки, о которых вчера спрашивал Панфилов.

Кстати, он мельком мне посоветовал: «Нагряньте сами в Строково на интендантов... Надевайте шашку и нагряньте...»

Пожалуй, так и сделаю.

— Синченко, седлай коней.

2

Далеко протянулся ряд изб деревни Строково. Тут поместились многие тыловые отделы дивизии. У колхозного сарая бойцы быстро разгружают несколько машин, что доставили ящики с боеприпасами. К другому концу деревни на санях по первопутку везут попахивающие сельдью бочки, прессованное сено, сухари в плотных бумажных мешках.

Возле какого-то дома на бревнах стайкой уселись десять — двенадцать молодых лейтенантов в новехоньких шинелях, в непоцарапанных, непотрепанных ремнях. Без расспросов понятно: нам шлют пополнение. Кто-то из них, этих юношей, выпущенных лишь вчера-позавчера из военного училища, еще не слышавших, как свистит над ухом пуля, попадет, наверное, и в мой батальон. Что ж, вместе будем драться за Москву!

Заезжаю к интенданту дивизии полковнику Сыромолотову. На него действительно требовалось нагрянуть. Не спешит расставаться со своими запасами. Доказывает, что я должен обратиться не к нему, а в полк, ибо батальон снабжается лишь через полк. Предъявляю приказ командира дивизии о том, что мой батальон является его резервом. Сыромолотов все же упирается. Продолжаю его убеж-

дать. Ведь это же нелепость! Он хочет, чтобы все добро, которое получит батальон, сначала пропутешествовало на передовую, в полк, а затем, после разгрузки, перегрузки, пошло по тем же дорогам обратно в тыл дивизии, в мой резервный батальон. Эти доводы действуют. Рассматриваем мой список. Наряд наконец выписан — завтра же получим со склада нужное имущество.

3

Покинув интенданта, выхожу на улицу. Синченко подвел Лысанку.

— Товарищ комбат, я видел Заева...

— Где?

— Вон в той хате.

Синченко показал на избенку с выбитыми стеклами. У двери похаживал часовой. Рядом, у бревенчатого дома, тоже дежурил часовой. В этом доме разместились прокуратура и Военный трибунал дивизии.

Еду мимо. Останавливаюсь. Соскочив с Лысанки, направляюсь в трибунал. Часовой вызвал дежурного.

— Вам кого, товарищ старший лейтенант?

— Хочу узнать о деле Заева. Почему до сих пор нет приговора?

— Сейчас наведу справку. Подождите немного.

Через две-три минуты ко мне вышел военный следователь, пожилой серьезный человек. В руке он держал папку из плотной коричневой бумаги. Чернели буквы: «Дело»...

Я представился, спросил:

— Дело Заева еще не разбирали?

— Очень хорошо, товарищ старший лейтенант, что вы приехали. По вашему рапорту трибунал не может приступить к рассмотрению дела.

— Почему?

— Во-первых, вы прислали бумагу без номера и без печати...

— У меня в батальоне никаких печатей нет.

— Во-вторых,— продолжал следователь,— для предания суду необходима санкция командира полка.

— Значит, вы ничего не сделали?

— Почти ничего... Только получил показания у аре-

стованного. Он написал сам. И все признал. Можете ознакомиться.

Следователь подал мне папку. Я ее раскрыл, увидел свой рапорт, затем уместившиеся на одном листке показания Заева. Твердым, разборчивым почерком было написано: «Я совершил воинское преступление, бежал с поля боя». Далее в нескольких строчках перечислялись отягчающие обстоятельства: «Бежал на двуколке, где находился пулемет. Виновен и в бегстве бойцов-пулеметчиков». В своих показаниях Заев не оправдывался. Он так и написал: «Никаких оправданий моему преступлению нет».

Самый суровый прокурор вряд ли смог бы более непреклонно обвинять, чем это сделал сам Заев. Он уже подписал себе приговор.

Я посмотрел на избу, где содержались арестованные. И вдруг в одном из окон увидел Заева. Обросший рыжей щетиной, он, прижав лоб к черневшей без стекол перекладине, впился в меня глазами.

И вдруг я совершил поступок, которого еще минуту назад не ожидал от себя.

Я разорвал папку на мелкие куски. Все разорвал — и мой рапорт, и показания Заева. Ветер закружил, понес куски рваной бумаги.

— Заев! — гаркнул я.

Он замер, пальцы вцепились в переплет разбитого окна, взгляд засверкал.

Следователь был возмущен:

— Что вы делаете? Вы нарушаете законность. Я доложу... Командир дивизии узнает о вашем самоуправстве.

Я уже опомнился. Действительно, так поступать нельзя.

— Товарищ следователь, разрешите его освободить. Пусть искупит вину в бою.

Следователь не сразу успокоился, назвал меня правонарушителем, потом махнул рукой, разрешил освободить Заева. Однако подтвердил, что о моем поведении будет доложено командиру дивизии.

Через несколько минут освобождение Заева было оформлено.

Вручив часовому бумажку, я крикнул:

— Заев, иди в батальон!

Он вмиг выскочил из хаты.

— Есть идти в батальон, товарищ комбат.

Не ожидая, чтобы я повторил приказание, он повернулся, как подобает солдату, через левое плечо и пошел длинными шагами. Пошел все быстрей, быстрей.

Вот он скрылся за домами, за поворотом улицы.

У меня еще оставались дела в Строкове. Побывав у начальника санчасти и в некоторых других тыловых отделах, я в сопровождении неизменного Синченко поехал к себе.

4

Во дворе нашего дома меня встретил Бозжанов. Стараясь казаться встревоженным, хотя в его узеньких глазах я заметил хитринку, он спросил:

— Товарищ комбат, что случилось с Заевым? Он пришел сюда.

— Знаю,— сказал я.

Притворная тревога сразу улетучилась с круглой физиономии Бозжанова. Он засиял. С одного моего слова он понял, что Заев прощен. Нарушая субординацию, он впереди меня побежал в дом.

За ним и я вошел в штабную горенку. Весь мой маленький штаб был в сборе. Заев уже успел побриться, вымыться. Его нескладное, с утиным носом лицо было очень светлым. Казалось, сквозь загорелую кожу светит невидимая лампочка. Он стоял навытяжку в шинели, без пояса и без петлиц, в шапке без звезды.

— Где его снаряжение? — спросил я.

Бозжанов мгновенно бросился к сундуку, вытащил аккуратно упакованный, зашпиленный двойной булавкой сверток, раскрыл его.

— Надевайте, Заев, все что у вас было,— сказал я.

Толстунов, Бозжанов, Синченко принялись обряжать Заева. Достав нитку, Рахимов умелыми стежками в одну минуту пришил к вороту шинели петлицы.

Бозжанов вложил в нагрудный карман Заева пачку фотографий и писем, Толстунов застегнул на нем поясной ремень и пуговицы шинели, Синченко успел наскоро обмахнуть щеткой тяжелые заевские сапоги.

Теперь Заев стоял в полном убранстве офицера.

— Будешь опять командовать второй ротой,— сказал я.

— Есть, товарищ комбат, командовать второй ротой!

— Пойдешь в свою роту с начальником штаба,— продолжал я.— Соберешь бойцов и расскажешь им свои грехи. Сам расскажешь.

— Есть, товарищ комбат. Честно расскажу.

Из полевой сумки я вынул конверт, надписанный рукой Заева.

— Вот твое письмо жене. Можешь разорвать.

Заев взял конверт. Немного подумал.

— Нет, не разорву...

Он оглядел всех, кто находился в комнате. И, не опуская глаз, сказал:

— Когда искуплю, тогда и разорву...

5

Передав оборонительный рубеж сменившим нас войскам, мы выступили вечером в поход, двинулись в тыл, во второй эшелон.

Наш маршрут пролегал через деревню, где находился штаб дивизии.

Идет батальонная колонна, мои солдаты, с кем делил беды и радости. Смотрю на них, думаю о судьбе одного, другого, третьего.

Враг остановлен, но стягивает сюда, к Москве, новые силы. Бойцы знают: мы резерв Панфилова. Впереди новые и, быть может, еще более тяжелые бои.

Входим в деревню. В окнах ни огонька. Всюду — на крышах, в кюветах, на полях — белеет свежий снег, смутно отражающий свет звезд. Ясно видна дорога. Верхом обгоняю колонну, протянувшуюся почти на километр. Мерно шагает строй.

Вдруг меня окликает адъютант Панфилова:

— Товарищ старший лейтенант, генерал просит вас заглянуть на минуту.

В натопленной, ярко освещенной, хорошо знакомой мне комнате сидит Панфилов с начальником артиллерии дивизии полковником Арсеньевым. Оба склонились над картой. Прямыми, веерообразно расходящимися линиями в разных местах ее намечены секторы обстрела.

— Товарищ генерал, по вашему приказанию явился... Старший лейтенант Момыш-Улы.

— О том, как вы зоветесь, знаю... Все знаю, товарищ Момыш-Улы.

Конечно, я понял: генералу уже было известно обо всем, что я натворил в прокуратуре.

Панфилов помолчал, взглянул на карту.

— Вот занимаемся с полковником, готовим противнику несколько сюрпризов... Отчасти используя ваш опыт... То, что вчера было случайностью боя, постараемся завтра применить сознательно.

Разумеется, генерал вызвал меня не для того, чтобы произнести эти слова одобрения. Но даже и теперь, перед тем как меня отчитать (подумалось: неужели это произойдет в присутствии полковника? Неужели генерал так меня унизит?), Панфилов все же счел нужным отдать мне должное, похвалить по-своему, не восклицанием: «Хорошо повоевал!», а деловито: «Готовим, используя ваш опыт».

— И очень точно отмеряем, товарищ Момыш-Улы,— продолжал он.— Вы были артиллеристом, знаете, что такое точность. И я хотел бы на будущее вам пожелать... Или, если не возражаете, выпить с вами рюмочку. Хочется с вами чокнуться за... Ну, вы меня поймете.

— Товарищ генерал, и я присоединюсь,— сказал полковник.

— Нет, это не для вас. Это лишь для тех, кто...— Панфилов помедлил.— Комбат меня поймет. Товарищ Ушко! Дайте-ка две рюмочки. И нашу походную аптечку.

На столе появились две рюмки и деревянный, крытый светлым лаком ящичек с надписью: «Походная аптечка». Панфилов налил в рюмку воды, отыскал в аптечке склянку с темноватой жидкостью. На стекле виднелась надпись: «Опий».

Вмиг мне припомнилось, как я занимался врачеванием. Панфилову была известна история лошадиной дозы. Теперь он налил в рюмку воды, откупорил склянку и накапал, четко отсчитывая капли:

— Одна, две, три... Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот и достаточно... Пятнадцать капель...

Затем отсчитал пятнадцать капель и в другую рюмку.

— Прошу вас, товарищ Момыш-Улы. Точная доза. Чокнемся за то, чтобы точно отмерять. Вы меня поняли?

Генерал чокнулся со мной и выпил. Пришлось и мне осушить свою рюмку.

— Странный у вас тост,— произнес полковник.— Не объясните ли, товарищ генерал, в чем дело?..

— Нет. Это наш секрет. Ну-с, пойдемте, товарищ Момыш-Улы. Посмотрю, как идет ваш батальон.

6

Накинув полушубок, генерал вышел на крыльцо. Я прошагал мимо него по ступенькам. Увидев меня, Синченко подвел коней.

Мне было жарко. Пятнадцать капель! Получил урок от генерала...

Во тьме, рассеиваемой белизной снега, раздавался мерный шаг батальона. Вслед пулеметной двуколке шла вторая рота. Во главе маршировали двое — чуть подавшийся корпусом вперед, помахивающий длинными руками командир роты Заев и плотный низкорослый Бозжанов. Приметив, должно быть, белые чулки Лысанки, узнав меня, узнав генерала, Заев оглянулся, гаркнул:

— Подтянись!

И стал подсчитывать:

— Ать, два... Ать, два...

Поравнявшись с крыльцом, где стоял Панфилов, он зычно скомандовал:

— Равнение нале-во!

И рывком повернул голову к Панфилову. Исполняя команду, печатая шаг, рота шла мимо генерала.

— Разрешите идти? — произнес я.

Генерал молча вглядывался в стройно идущие ряды.

— Нет, не видать, не видать немцу Москвы! — негромко сказал он.

В полумгле мне показалось, что Панфилов улыбнулся.

— А поворот головы отцовский,— неожиданно выговорил он.— Пожалуйста, можете идти. До свидания, товарищ Момыш-Улы.

ПОВЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Женщине выйти из рядов!

1

Я снова во фронтовом блиндаже у своего героя. Момыш-Улы смотрит в небольшое окошко под верхним накатом, окошко, за которым чернеет ночь. О чем он думает? Куда унеслись его мысли? Вот он негромко пропел:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей...

За время нашего знакомства — уже не краткого, но еще и не короткого — я успел заметить: обладая верным и развитым музыкальным слухом, Момыш-Улы знал, хранил в памяти немало песен, старинных романсов, оперных арий. Иногда он любил в лад мыслям пропеть фразу-другую из своего обширного, как я мог определить, музыкального репертуара.

— Откуда, Бауржан, вам известно столько музыки?

Я ожидал, что мой вопрос будет немедленно отвергнут. Момыш-Улы всегда так поступал, когда я расспрашивал о чем-нибудь личном. Однако сейчас он затянулся папиросой и сказал:

— Жила-была такая девушка Рахиль, которая водила меня по театрам и концертам, когда я был студентом в Ленинграде.

— В Ленинграде?

— Да.

— Как же вы туда попали?

— Долгая история.

Бауржан замолк, явно не намереваясь развивать дальше эту тему. Я попросил:

— Расскажите о Ленинграде, об этой девушке.

— Зачем?

— Мне как писателю это необходимо. Хочется вас увидеть в разных гранях.

— Я рассказываю не вам.

— Не мне?

— Не вам, а поколению. Было бы глупо и неблагородно подсовывать сюда собственную биографию.

Я вздохнул. Чем, какими доводами переубедить этого неуступчивого человека?

2

— Коль мы заговорили про женщин,— продолжал Бауржан,— то вместо россказней, которыми иногда позволительно согрешить в землянке, коснемся вопроса о женщинах на войне, в сражающейся Красной Армии.

В дни битвы под Москвой я, командир батальона, решал эту проблему просто: женщине не место в боевых частях. Коротко и ясно. И вся проблема отсечена, как шашкой.

Никогда ни одна женщина не шагала в батальонной колонне, не становилась в наш строй. Но вот однажды...

Собственно говоря, про этот случай следовало бы рассказать на страницах одной из наших прежних повестей, где описаны первые бои батальона, наш отход к Волоколамску. Что же, вернемся к тем картинам, к нашему невеселому ночному маршу.

...Во мраке ротными колоннами батальон шагает по расползающейся талой земле. Движутся бойцы, движутся орудия, двуколки с пулеметами, повозки с боеприпасами, потом опять бойцы.

Мы покидаем эту землю, выскальзываем из петли. Деревни по правую и по левую руку от нас уже заняты врагом; осталась лишь узкая проушина; надо пользоваться мраком, ночным временем, чтобы по приказу отойти к своим, соединиться с частями дивизии.

Колонну ведет Заев. Его рота головная. Он неутомимо шагает, помахивая длинными руками. Проходят ряды бойцов, проезжают запряжки. Вот и приблудная команда — потерявшие своих командиров, свою часть, приставшие к батальону солдаты. Их ведет политрук Бозжанов. Сюда присоединился и инструктор по пропаганде Толстунов.

С седла — я сидел верхом, пропускал мимо себя колонну,— с седла я разглядел: возле Бозжанова и Толсту-

нова шагает кто-то третий. Что за черт? Юбка? Быть этого не может! Померещилось... Нет. Среди мужских силуэтов мелькают ножки в ботиках, мелькает юбка.

И я крикнул:

— Стой!

Колонна остановилась.

— Женщине выйти из рядов!

Нерешительно вышла и приблизилась женская фигура. Я скомандовал бойцам:

— Марш!

Ряды двинулись. Толстунов и Бозжанов остались на обочине.

— Кто такая?

Во тьме прозвучал женский голос:

— Фельдшерица... Фамилия Заовражина...

Толстунов добавил:

— Из села Васильево... Уходит, комбат, от немцев.

— Что за порядок? Почему мне не доложили? Кто разрешил допускать жителей в батальонную колонну?

Бозжанов хотел что-то ответить, но я оборвал:

— Без разговоров! По местам!

— А я? — спросила девушка.— Неужели оставите у немцев?

Я вытащил карманный электрофонарик, нажал кнопку. Пучок света вырвал из темноты русское девичье лицо, широкие крылья округлого носа, ямочку на подбородке. На миг я увидел серьезные темно-серые глаза. Тотчас девушка заморгала, ослепленная внезапным светом. Я повел фонариком ниже — луч упал на осеннее черное пальто, на лямки закинутой за плечи котомки, на висевшую сбоку фельдшерскую сумку. Далее полоса света опустилась на дешевые, простые чулки, на облепленные грязью, должно быть, хлебнувшие воды, невысокие боты. Меня потянуло еще раз увидеть ее взгляд. Чуть приподнял фонарик. В слабом отблеске опять стали различимы обращенные ко мне небоязливые серые глаза. Я опять подивился их серьезности.

Да, пришел для нее серьезный час! Родная пристань брошена, чалки обрублены топором войны. В ботиках, с наскоро собранной тощей котомкой девушка встала в ряды последнего уходящего батальона Красной Армии, пошла с нами. Великое время, великая война позвали ее.

Фонарик погашен.

— Как зовут? — спросил я девушку.
— Варя.
— Ну, Варя, выведем тебя. Иди, где шла. Скоро дойдем. Там скажу: вот, Варя, наша сторона. И пойдешь себе...
— А с вами?
— С нами нельзя.

3

За деревней Долгоруковкой, занятой немцами,— ее мы обогнули — нас радостно встречал помощник начальника штаба полка лейтенант Курганский. Его появление означало: мы дошли к своим!

Курганский привез нам подарок — две подводы с белым хлебом, совсем свежим, ночной выпечки. Я смотрел на эти укрытые брезентом повозки, на колеса с поблескивающими сталью ободами, проложившие к нам колею из Волоколамска, и беззвучно пел: «Мы у своих! Мы на земле, где стоят наши!»

Брезжил рассвет, стлался утренний туман. Я решил укрыть батальон в леске, дать людям поесть, передохнуть.

Вместе с бойцами в лес зашагала и Варя. В черном пальто, черном беретике, с котомкой за спиной. Я снова вызвал ее из рядов. Она подошла, оглянулась на уходящую колонну, подняла на меня взор. Теперь, в утреннем неярком свете, черты ее лица — крупные нерасплывчатые губы, открытый лоб, прямой пробор темных, без завивки, волос,— эти черты показались мне более тонкими, чем ночью при фонарике.

— Ну, Варя... Вот дорога. Иди.

В устремленных на меня темно-серых глазах показались слезы. Я не слишком чувствителен к женским слезам. Но эта девушка плачет, пожалуй, не часто. Она проговорила:

— Одна?

Стало ее жалко. Действительно, нелегко уйти одной в этот туман.

— Хорошо, Варя. Доведем тебя дальше.
— А совсем мне с вами нельзя?
— Нет. Мы, Варя, воины. Отправим тебя, если хочешь служить в армии, немного подальше в тыл. А в батальоне девушки ненадобны.

Привел ее в санитарный взвод к Кирееву, нашему фельдшеру.

— Киреев, доверяю тебе эту девушку. Зовут Варя Завражина. Сколько, Варя, тебе лет?

— Девятнадцать.

— У меня как раз такая дочь,— сказал Киреев.

— Знаю, ты отец... Передаю тебе ее на сохранение до Волоколамска. Следи за ней строго, как за дочерью.

Варе напоследок дал наказ:

— А ты смотри — ни с кем не заводи здесь шуры-муры. Веди себя, как подобает порядочной советской девушке.

Она покраснела. В ее взгляде я прочел: «Зачем ты меня обижаешь?»

4

Вы, надеюсь, помните, как далее сложилась обстановка. Я пожадничал; захотел вывезти из-под носа у немцев припрятанные нами снаряды и пушки, для которых не хватило коней; приказал Бозжанову взять распряженных артиллерийских битюгов и доставить все, что было кинуто. Бозжанов с конями, со своим воинством ушел. А с разных сторон леска, где мы укрылись, занялась пальба, разгорелся бой. Выстрелы орудий слились в сплошной гром. Я ждал Бозжанова. Без него не тронешься. Вал боя приближался. Пришлось дать приказ: поднять людей, рыть круговую оборону.

Вместе с Рахимовым я обходил роты. В штабной шалаш мы возвращались мимо санитарного взвода. Из-за деревьев донесся хохот нескольких здоровых глоток. Что такое? Раненые так не загогочут.

Я зашагал на голоса. На полянке возле ручья трещал костер. В бачке грелась вода. Неподалеку на веревке было развешано только что выстиранное белье — санитарные халаты, марлевые салфетки, простыни. Справедливости ради скажу: развешанное белье поражало белизной, его всегдашний изжелта-серый отлив будто улетучился. От кровяных пятен и потеков не осталось следа.

И все Варя! Она стирала здесь же, у ручья. Пальто было сброшено. Вместо него поверх платья была надета гимнастерка. А вместо ботиков по милости какого-то неведомого мне добряка (уж не Киреева ли?) девушка уже

успела обуться в солдатские кирзовые сапоги. Она склонилась над тазом, пристроенным на пне, рукава были засучены, мыльная пена брызгала из-под ее распаренных широких кистей.

Подле работающей девушки разместились, словно стянутые сюда магнитом, чуть ли не все мои герои во главе со свежевыбритым Толстуновым. Всюду поспевающий Брудный сушил у огня Варины туфли. Здесь же оказался и командир роты Филимонов, которого я считал образцом дисциплинированности, исполнительности.

Нет, не зря я придерживался заповеди: женщине не место в боевых частях! Кругом пальба, черт знает какая обстановка; в любой момент можем очутиться в окружении, а командиры льнут к юбке. Варя заметила меня, улыбнулась, показав крупные красивые зубы. Ее улыбка говорила: «Вот и я при деле, вот я и нужна».

Командиры, несколько сконфуженные, встали «смирно». Невдалеке, у санитарных повозок, я заметил Киреева, крикнул:

— Киреев, ко мне! Так-то ты следишь за девушкой? Почему допустил сюда этих молодцов?

— Как же, товарищ комбат, я с ними слажу? Они командиры, а я...

— А ты отец! Я тебе ее доверил, как отцу. Всякого, кто к ней подойдет, ты обязан гнать властью отца.

— Оплошал, товарищ комбат. Сробел.

— Другой раз не плошай. О тех, кто тебя ослушается, докладывай мне. Понял?

Обратившись к Рахимову, я приказал:

— Всех этих молодчиков и девушку немедленно пошлите ко мне в штаб.

Повернулся и ушел.

5

Следом за мной к штабному шалашу приплелись вызванные. С ними Варя в солдатских сапогах, в своем черном пальто, в черном берете. Все струхнули, лишь Толстунов пытался с независимым видом улыбаться.

— Толстунов! Что за ухмылки, когда подходишь к командиру батальона?

— Комбат, ну что ты? Чего накинулся? Мы же...

Я перебил:

— Вы мне, товарищ политрук, не подчинены, но если намерены со мною пререкаться, будьте любезны оставить батальон.

Толстунов смолчал.

— А ты что, Филимонов? Ротой командуешь или выехал с барышней в лесок?

Филимонов был очень чувствителен к замечаниям, которые я ему делал на людях. Он был, как вам известно, командиром-кадровиком, бывшим пограничником. По его убеждению, которого он не скрывал, лишь пограничники умели нести службу. Выслушивая мой нагоняй, он краснел и бледнел, на скулах ходили желваки. Я продолжал:

— Хочешь, чтобы я пощадил твое самолюбие? Не пощажу! Ты липнешь к каждой юбке!

— Товарищ комбат, это же первый раз...

— Молчать! Ты что, не понимаешь обстановки? Не понимаешь, что с любой стороны могут появиться немцы? Каждый обязан быть на своем месте.

Влетело как следует и Брудному. Отчитав моих героев, я сказал:

— Ступайте... А ты, Заовражина... Если ты будешь так себя вести...

— Господи, как?

— Сама знаешь! Зачем собрала вокруг себя этих мужланов?

— Я не собирала. Я вовсе не хотела...

— А зачем одаривала улыбками? Запомни: за малейший проступок, за кокетство — слышишь? — положу тебя на этот пень и разрублю шашкой на кусочки! А заодно и твоих ухажеров. Понятно? Я тебя спрашиваю: понятно?

Она едва выговорила:

— По... понятно.

...Наконец мы, батальонная колонна, пришли в Волоколамск. Шагая во главе строя по асфальту главной улицы, я увидел на тротуаре начальника санитарной части полка доктора Гречишкина. Подошел к нему, перекинулся словцом, подождал, пока с нами не поравнялись повозки санитарного взвода. На одной из повозок сидела, мокла под дождем в своем черном пальтишке Варя. Я остановил повозку.

— Варя, слезай! Доктор, вот вам подарок. Это работящая, честная девушка. В будущем тоже врач. Ушла с нами от немцев. Она вам пригодится, будет ходить за ранеными. Пенять на меня, уверен, не придется.

Доктор поздоровался с Варей, сказал:

— Получить рекомендацию от нашего комбата нелегко. Найдем, Варя, вам место.

Девушка бросила на меня прощальный взгляд. В серых серьезных глазах таилась и благодарность и обида. Я пожал жестковатую Варину руку.

6

Вам известен дальнейший боевой путь батальона, ставшего резервом командира дивизии. Заградив прорыв под Волоколамском, мы опять были отрезаны, опять — не теряя строя, порядка — прошли к своим по занятой немцами земле.

И вот наконец батальон на отдыхе. Вновь поступив в резерв Панфилова, мы были отведены во второй эшелон за пять-шесть километров от переднего края. Роты расположились в поле, вырыли себе солдатские квартиры — блиндажи. А штаб батальона и специальные подразделения поместились в деревне Рождествено.

В начале ноября 1941 года ударил ранний мороз. На всем фронте под Москвой длилась оперативная пауза. Не пробившись к Москве с ходу, не одолев нашего сопротивления, немцы подтягивали свежие силы, готовили новый рывок. А пока воевала артиллерия. Уху стала привычна однообразная, порой ненадолго учащавшаяся канонада. Время от времени противник накрывал огнем и нашу деревеньку. Немцы, отдадим им должное, не приучали нас к беспечности. Ночью нельзя было курить открыто: гитлеровцы нередко швыряли десяток-другой мин по вспыхнувшей спичке, по огоньку папиросы. И все же после тяжелых боев мы более или менее спокойно отдыхали. Затишье позволило торжественно отпраздновать день седьмого ноября, двадцать четвертую годовщину нашей Великой революции. Из Казахстана нам, дивизии Панфилова, прислали к празднику подарки: знаменитые огромные алма-атинские яблоки, конфеты, вино.

Незаметно мы втягивались в этакий быт передышки, даже стали наезжать друг к другу в гости.

В тот вечерок, о котором сейчас пойдет речь, я сидел за своей тетрадью, продолжал записи о боях батальона. Был в сборе весь мой маленький штаб. Толстунов и Бозжанов по-братски вдвоем прилегли на широкую кровать, позволили себе, с моего молчаливого разрешения, соснуть после обеда. Рахимов занимался нравящейся ему работой (в ней он был искусником), растушевывал схемы — графическое приложение к моим записям.

Растворилась дверь.

— Товарищ комбат, разрешите.

На пороге стоял фельдшер Киреев. Мне показалось, что у него лукавый вид, что добрые губы вот-вот расползутся в улыбке. Он понизил голос:

— Происшествие, товарищ комбат.

Толстунов сразу проснулся, сел. Бозжанов приоткрыл глаза, еще с поволокой дремоты, приподнял голову.

— Какое происшествие? — спросил я.

— Приехала в гости дочка.

— Дочка? Твоя?

— Моя. Варя Заовражина. Не позабыли?

Тут следовало бы написать: «движение в зале». Толстунов спустил босые ноги на пол. Бозжанов откинул шинель, исполнявшую обязанности одеяла. Даже Рахимов отложил карандаш. Я произнес:

— Где же она?

— К вам, товарищ комбат, не пошла.

— Вот как... Напугана?

— Нет... Ждет приглашения.

— Ого! Следовательно, гордая?

— Гордая.

— Так приглашай. Буду ей рад. Далеко она?

— Здесь. У крыльца.

Я скомандовал:

— А ну, товарищи офицеры, полную приборочку!

Распоряжение, впрочем, оказалось излишним. Толстунов уже навернул портянки, натягивал сапоги. Бозжанов обрел всю свою подвижность: шинель вмиг очутилась на гвозде; смятая плащ-палатка, прикрывавшая тюфяк, расправилась будто сама собой; по чуть вьющимся черным волосам Бозжанова прошелся гребешок. Рахимов тем временем взялся за веник, гнал в угол кучу сора.

— Киреев, проси гостью. Не заставляй девушку ждать. Синченко!

Из сеней раздалось:
— Я.
— К нам гости. Ставь самовар.
— Уже шумит.

7

Вскоре, сопровождаемая названым отцом, через порог нашей штабной обители переступила Варя. Теперь она была одета по-военному. Вместо пальто — ушитая в талии шинель. Ботики, равно как и кирзовые сапожищи, преподнесенные Варе в батальоне, уступили место легким сапогам-недомеркам, что пришлись, видимо, впору. На скрывавшей волосы солдатской ушанке была, как положено, прикреплена жестяная красноармейская звезда. Варя отдала мне честь.

— Товарищ комбат,— проговорила она,— по вашему приглашению прибыла. Военфельдшер Заовражина.

— Военнослужащие, товарищ фельдшер,— сказал я,— прибывают к командиру, как гласит устав, лишь в трех случаях: с новым назначением, или из отпуска, или покидая свою часть. Во всех остальных случаях являются. Уразумела?

— Да.

— А теперь, Варя, можешь снять свои доспехи. Присаживайся. Будь нашей гостьей.

Варя вновь поднесла руку к шапке, козырнула. Довольная своей форменной одеждой, своим правом взять под козырек, ловкостью этого своего движения, еще ей непривычного, она вдруг улыбнулась. Блеснули крупные красивые зубы. Однако она тотчас сжала рот. Улыбка исчезла, как прихлопнутая.

— Варя, что же это? — сказал Толстунов.— Забоялась улыбнуться?

Она ответила:

— Боюсь вашего комбата. Он запретил. Если осмелюсь, положит меня на пень и разрубит шашкой на кусочки.

В ее темно-серых глазах, которые я видел то серьезными, то радостными, то с влагой навертывающихся слез, мелькнули искорки смеха. Заметив, что Бозжанов едва сдерживается, чтобы не фыркнуть, я резко повернулся

к нему, но... Но нельзя же вечно быть строгим, надо уметь и пошутить, и понять шутку. Рассмеявшись, я сказал:

— Поддела... Для гостьи, Варя, запрещение отменяется. И про мои зверства больше, чур, не поминать.

Все же еще одну шпилечку я получил.

— Товарищ комбат,— с невинным видом произнес Киреев,— оставляю ее вам на сохранение.

Ишь, и он возвращает мне мои словечки. Что же, надобно стерпеть.

— Ладно. Можешь идти. Присмотрю за твоей дочкой.

8

Варя сняла ушанку и шинель, провела ладонью по волосам, разделенным надвое прямым пробором, оправила гимнастерку, явно великоватую, слишком свободную в плечах и в вороте, с укороченными на живую нитку рукавами. Зато широкая, военного образца юбка была ладно сшита, ладно пригнана. Вновь подойдя ко мне, Варя проговорила:

— Товарищ комбат...

Я перебил:

— Варя, для тебя я не комбат. Называй меня старшим лейтенантом.

Она помолчала.

— А если попрошу? Можно называть вас комбатом?

— Что же,— согласился я.— Гостю отказать трудно.

— Обратно свое разрешение не возьмете?

— Обратно? Нет, Варя. Хлопнул дверью — не открывай! Подарил — не отнимай!

— Верно! — Варя вдруг опять вытянулась «смирно».— Если так, то разрешите мне, товарищ комбат, прибыть. Не явиться, а прибыть.

— Э, вот оно что... Нет! Бросим, Варя, эту тему. Садись... Синченко! Как самовар?

Девушка огорченно помолчала. Однако, как только Синченко втащил самовар, как только стал расставлять чайную посуду, принялась помогать. Замелькали, захлопотали ее широкие красноватые руки. В фаянсовом чайнике, служившем для заварки, Варя обнаружила груду влажного спитого чая. Синченко хотел было взять у нее чайник.

— Дайте-ка выплесну.

— Что вы? — возмутилась Варя.— Это же лучшее средство против пыли.

Тотчас влажные чаинки оказались раскиданными по полу. Бозжанов не без лукавства произнес:

— Товарищ Рахимов только что подмел.

Варя лишь покачала головой. Потом, глянув в окно, еще не замазанное на зиму, сказала:

— Товарищ комбат, разрешите войти еще кое-кому.

— Кому?

— Свежему воздуху.

Все рассмеялись. Окно было мигом распахнуто. Только в ту минуту, когда в комнате сразу посветлело, я увидел, как были замызганы, запылены стекла. На воле лежала ранняя русская зима, мело, сквозь раскрытые створки влетал снег и на лету таял.

Варя наводила чистоту с не меньшим рвением, чем однажды стирала на берегу ручья. Комната наконец прибрана, проветрена. Ни мусора, ни пыли, стекла протерты, посуда чиста. Можно уже сесть за стол, благо мы теперь богаты: на разостланной газете красуются консервы, брусок сливочного масла, колбаса, яблоки, печенье и даже две плитки шоколада из нашего командирского пайка.

9

К чаю подоспел еще один гость — лейтенант Мухаметкул Исламкулов.

В нашей летописи мы его уже бегло обрисовали. Теперь познакомимся с ним заново.

Он не ввалился в комнату в шапке и в шинели, что стало привычным в нашем быту огрубевших вояк, а воспользовался сенями, чтобы раздеться, и вошел в гимнастерке, с непокрытой головой, с приветливой, сдержанной улыбкой — статный, красивый казах. Все в нем было приглядно: разворот слегка округлых сильных плеч, прямизна шеи, державшей большую, хорошо поставленную голову. Над открытым выпуклым лбом лежали очень черные — еще черней, чем у меня,— зачесанные назад волосы. Скульные кости не выдавались, были скрыты под матовыми, сейчас с мороза разгоревшимися, в меру полными щеками.

Кажется, я как-то уже говорил, что казахи в старину подразделялись на три главных рода: род воинов, к которому принадлежу я; род судей, в большинстве толстяков, из которого вышел Бозжанов; и, наконец, род дипломатов. От этого рода Исламкулов унаследовал свою стать.

Войдя, он поклонился. Нам уже довелось локоть к локтю воевать, мы вместе недели две назад гнали немцев у села Новлянского, нас побратали пули. Теперь, приехав в гости, Исламкулов мог бы кинуться ко мне с раскрытыми объятиями. Нет, он сдержанно, пристойно поклонился.

Я шагнул ему навстречу, радостно пожал красивую, тонкую руку. Затем подошел с ним к Варе.

— Ну-с, товарищ военфельдшер...

Девушка мигом поднялась, выпрямилась.

— Познакомься с лейтенантом Исламкуловым. Он командир роты из другого батальона. Человек с высшим образованием, представитель нашей казахской интеллигенции. Конечно, осуждает мои зверства, считает меня жестокосердным. Кстати, имей, Варя, в виду, и комбат у него не очень строг.

Варя ничего не ответила, лишь порозовела. Видимо, я опять ее обидел.

— Бауржан,— произнес Исламкулов,— я давно хотел тебе сказать, но на войне все было некогда... Давно хотел сказать: кай жере, аксакал!

Эти последние три слова, которыми он как бы подводил итог нашим давним спорам, были сказаны не без торжественности. По-русски они означают: «Ты прав, старейший!» Старейший... Но ведь я на пять-шесть лет моложе Исламкулова. Еще никогда он, казах-интеллигент, знаток наших древних народных обычаев, не величал меня аксакалом. Напротив, раньше, еще в Алма-Ате, мы были постоянными противниками в спорах. Приехав теперь в гости, он выразил свое признание величавым языком наших акынов. Я склонил в знак благодарности голову.

10

За столом потекла оживленная беседа. Посматривая на Исламкулова, рассказывавшего о себе, о своей роте, я вспоминал наши встречи, беседы, несогласия. В спорах Исламкулов любил рассуждать, находить доводы. Резкость речи,

резкость жеста были не в его натуре. Даже давая нагоняй подчиненному, он взвешивал слова, старался быть убедительным.

В прошлом не однажды он откровенно осуждал меня. Как-то оба мы, командиры запаса, участвовали в воинском сборе близ Алма-Аты. После целого дня занятий в горах я вел батарею на ночлег. Устали лошади, устали люди. Неподалеку от лагеря я скомандовал: «Запевай!» Но утомление было так велико, что никто не запел. Я крикнул: «Направо кругом!» — и повернул батарею назад в горы. Еще два часа мы занимались. Уже затемно двинулись обратно. На том же месте, где батарея не исполнила команду, я опять гаркнул: «Запевай!» На этот раз запели.

Вечером ко мне в палатку пришел Исламкулов. «Так нельзя, Бауржан. Ты поступаешь слишком жестоко, слишком круто».— «Нет, можно! Каждый приказ должен быть исполнен. Надо, чтобы это вошло в кровь, стало второй натурой».

Исламкулов тогда не согласился. А теперь, побывав в боях, изведав стихию войны, вошел со словами: «Ты прав, аксакал!» Знал бы Исламкулов, что всего пять-шесть дней назад генерал Панфилов чокнулся со мной, отмерив пятнадцать капель в рюмку! Возможно, и мне следовало бы высказать Исламкулову свое ответное признание. Ведь и он был не менее прав. Однако эти думы, признаюсь, в тот вечер остались моей тайной.

Между тем подступили сумерки. Была зажжена керосиновая лампа. Синченко наглухо, согласно правилам светомаскировки, завесил окна. В кругу света, отбрасываемого лампой, стал как бы тесней и наш застольный круг. Мы выпили по стопке, по другой.

Отказавшись даже пригубить водку, Варя разливала чай, помалкивала. Я посмотрел на нее.

— Исламкулов, рассуди... Эта девушка просится ко мне в батальон. А я уверен, что женщине в строю не место. И если не ошибаюсь, в этом со мной согласны полководцы всех времен.

Исламкулов ответил:

— Ты забыл гражданскую войну. А потом — Отечественная война изменяет многие понятия. Что раньше считалось немыслимым, то ныне становится возможным, порой даже необходимым.

Вновь открылась дверь. Вошел дежурный по батальону, лейтенант Тимошин. Он, едва вышедший из возраста юноши, всегда прямодушный, отличался вместе с тем скромностью, застенчивостью. Смущенно отведя взор от нашего застолья, он проговорил:

— Товарищ комбат, разрешите доложить. В одном доме недостаточно замаскирован свет. Я требую, а меня обзывают нахалом.

— Кто?

— Молодая женщина... И я ничего не могу сделать.

— Ничего не можешь? Няньку тебе надо?

Тимошин потупился.

— Возьми двух бойцов,— приказал я.— Приведи эту женщину сюда. И всех, кого застанешь в ее доме, тоже веди сюда. Понятно?

— Есть, товарищ комбат.

Мы продолжали чаепитие. Некстати прерванный разговор о том, место ли женщине в строю, заново не завязался. Беседа повернула к другим темам.

Четверть часа спустя Тимошин ввел в комнату красивую, с накрашенными алыми губами, женщину.

— Почему ты, красавица, не подчиняешься порядку? Да еще оскорбляешь командира!

Она попыталась возмутиться:

— Что значит — красавица? Что за выражение?

— Э, какая смелая... Тимошин! Застал у нее кого-нибудь?

Тимошин помялся.

— Да, товарищ комбат.

— Кого?

Юноша лейтенант явно испытывал неловкость. В нем, видимо, боролись добросовестность и деликатность. Так и не решившись назвать во всеуслышание чье-то имя, он смолчал.

— Привел? — продолжал спрашивать я.

— Да. Он, товарищ комбат, здесь. В сенях.

— Давай его сюда. Посмотрим, красавица, на твоего заступника.

И через минуту перед нами предстал — кто бы, вы думали? — командир роты Ефим Ефимович Филимонов. Он

вошел, насупившись. Его обветренные бритые щеки всегда были красноватыми. Теперь покраснела и шея. Однако в эту неприятную для него минуту Филимонов сумел сохранить вид образцового служаки. По всем правилам приставив ногу, он отдал мне честь и, как говорится, оторвал руку от шапки.

За столом прозвенел смех. Я покосился на засмеявшуюся Варю — предмет столь еще недавних ухаживаний Ефима Ефимовича. Варя тотчас пальцами зажала себе рот.

На скуле Филимонова выпукло обозначилась, заходила мышца. Вот, собственно говоря, он и наказан. Можно, пожалуй, сказать «ступай!» и этим ограничиться. Нет, не могу ослабить воинскую требовательность.

Накрашенная женщина еще храбрилась, хорохорилась. Я сказал ей:

— Вы нарушили порядок в прифронтовой полосе. Вы не подчинились приказанию дежурного по гарнизону. Даю вам два часа на сборы. И чтобы через два часа вас в этой деревне не было!

Она опять стала возмущаться.

— Молчать! — прикрикнул я.— Филимонов!

— Я, товарищ комбат.

— Проводишь свою даму до деревни Голубцово и оставишь ее там. Об исполнении мне доложишь.

Филимонов еще более потемнел, но ответил:

— Есть!

— Угомони свою знакомую.

Он помедлил, покусал верхнюю губу. Ему, наверное, хотелось попросить о пересмотре приказания, но дисциплина взяла верх. Он проговорил:

— Пошли.

Его тон был твердым. Женщина смирилась.

После их ухода в комнате стало тихо. Толстунов и Бозжанов уставились на свои чашки: знали, видимо, грешки и за собой. Исламкулов, как и положено гостю, не вмешивался в наши домашние дела. Толстунов наконец поднял голову, усмехнулся, обратился к Варе:

— Заовражина, неужели ты все-таки хочешь служить под начальством этого свирепого комбата?

— Хочу,— просто ответила она.

— Нет, Варя,— сказал я.— В ряды батальона я женщину не допущу! И хватит об этом разговаривать.

Таким было мое решение. Коротко и ясно! Отрублено, как шашкой!

Пожалуй, и нам с вами, товарищ бумагомаратель, хватит болтать о бабах. Правда, на отдыхе это иногда позволительно... Но отдых батальона, перекур в великой битве уже был на исходе.

Панфилов приехал пообедать

1

Однажды вечером мне позвонил Панфилов.

— Здравствуйте, товарищ Момыш-Улы. Как себя чувствуете? Как живете?

— Благодарю вас, товарищ генерал. Живем нормально. По уставу.

— Что сейчас поделываете?

— Просматриваю, товарищ генерал, свою тетрадь. Кое-что поправляю. Заканчиваю, товарищ генерал, то, что вы мне поручили.

— Заканчиваете? Успели? Рад, очень рад, товарищ Момыш-Улы... Завтра приеду к вам обедать. Свое обещание не забыли?

— Какое, товарищ генерал?

— Приготовить плов. У вас, кажется, есть мастаки по этой части.

— Да, имеются.

— Кто же?

В душе подивившись неистощимому любопытству генерала, я ответил:

— Любит постряпать политрук Бозжанов. Неплохо готовит наши национальные блюда.

— Отведаем... Так ждите, товарищ Момыш-Улы, меня завтра к обеду.

Таков был этот вечерний разговор по телефону. Казалось, генерал позвонил доброму знакомому: «Как себя чувствуете, что поделываете, ждите к обеду». Ни единой начальственной нотки не прозвучало в его голосе, постоянно хрипловатом, как у всякого старого курильщика.

Ночью я вдруг проснулся. Мерно похрапывал Толстунов, почти неслышно дышал во сне Рахимов. За окнами стояла тишь. Ни одного звука войны не доносилось. В мыслях внезапно мелькнуло: «Успели?» Почему генерал произнес это словечко? Что хотел этим сказать?

2

На следующий день Панфилов приехал несколько раньше обеденного времени.

Работая у себя в горенке, я увидел из окна: к калитке подкатили сани. В ушанке, в длинном — по колено — полушубке на мерзлую землю, припорошенную снегом, легко выскочил Панфилов. Наскоро оправив гимнастерку, я встретил его на крыльце.

— Товарищ генерал! Первый батальон Талгарского полка, находясь в резерве командира дивизии, занимает...

— Пойдемте, пойдемте... Время не летнее. Простудитесь.

Войдя в сени, он распахнул дверь, ведущую туда, где у жарко топящейся русской печи вершились таинства кулинарии. Как раз в эту минуту повязанный белым, не первой свежести передником Бозжанов, предоставив старику повару Вахитову роль наблюдателя, вытащил ухватом из печи на загнетку большой, глухо бурлящий чугун. На отдыхе Бозжанов успел пополнеть. Озаренное жаром печи круглое лицо лоснилось. Обернувшись, он на миг оторопел, затем швырнул ухват, сорвал передник, вытянулся перед генералом.

— Здравствуйте, товарищ Бозжанов,— произнес генерал.— Попробуем, как вы готовите. И вы, пожалуйста, пообедайте с нами.

Панфилов поглядел на облачка пара, вырывающиеся из-под крышки, втянул ноздрями воздух.

— Пахнет недурно... Много ли приготовили?

— Много, товарищ генерал. Хватит и останется,— весело ответил Бозжанов.— Но еще час нам потребуется.

— Хотя бы и два,— сказал Панфилов. Он достал карманные часы, взглянул, погладил большим пальцем выпуклое стеклышко.— Товарищ Момыш-Улы, воспользуемся этим времечком, чтобы потолковать с командирами рот. Не возражаете?

— Слушаюсь. Сейчас их вызову.

Я обернулся, чтобы кликнуть Рахимова, но он, неслышный, незаметный начальник штаба батальона, уже находился в комнате, стоял вблизи меня.

— Рахимов, звони в роты. Вызывай командиров.

— Нет, сделаем так,— сказал Панфилов.— Берите, товарищ Рахимов, мою кошевку. И везите командиров сюда.

Мягко ступая, Рахимов удалился.

— А пока мы с вами, товарищ Момыш-Улы, поработаем. Где ваш рабочий стол?

3

Я провел генерала в горенку. Он разделся, перекинул через плечо новенького кителя ремешок полевой сумки, ранее висевшей поверх полушубка, и, заметно сутулясь, подошел к столу. Там лежали разные мои бумаги — тетрадь с описанием боев, потрепанная, отслужившая карта, запечатлевшая походы и рубежи батальона, боевой устав. Панфилов с интересом оглядел мое бумажное хозяйство. Его смуглые, испещренные морщинками пальцы потянулись к красной книжечке устава; Панфилов ее взял, хотел, видимо, раскрыть, но передумал, вернул на место. Затем выложил коробку папирос «Казбек», угостил меня, нашарил в кармане полушубка зажигалку, несколько раз чиркнул. Искры не воспламенили фитилька. Я поспешил поднести спичку. Задымив, Панфилов досадливо повертел зажигалку, сунул ее в карман.

— Садитесь, товарищ Момыш-Улы. Садитесь со мной рядом.

Из полевой сумки он достал свою карту. Передо мной вновь возник фронт дивизии, цепочка нашей обороны под Волоколамском. Срез карты отсек часть улиц города, две недели назад захваченного немцами. Деревушки, станционные поселки, путевые будки, отдельные, помеченные коричневой расцветкой высотки, зеленые острова леса, петляющие сельские дороги, лишь кое-где крытые щебенкой, болота, овраги, речушки, мосты и, наконец, просекающая лист, напрямик ведущая в сторону Москвы полоска Волоколамского шоссе — здесь предстояли новые жестокие бои. Красная щетина нашей обороны была не везде сомкнута, там и сям по бездорожью зияли просветы. Я знал, что эти просветы пристреляны, видел на карте огневые позиции артиллерии, знал, что битва за Москву

будет, как и прежде, битвой за дороги, и все же при взгляде на карту генерала мне как и десяток дней назад, когда он впервые ознакомил меня с новым оборонительным построением дивизии, опять стало не по себе. За передним краем, в глубине, кроме позиций артиллерии да охраны штаба дивизии были обозначены лишь окопы моего батальона за околицей Рождествена.

Присмотревшись, я увидел, что от этой деревушки, где сейчас я сидел рядом с Панфиловым, вели в разных направлениях к фронту несколько пунктирных линий, нанесенных простым черным карандашом.

— Тут, товарищ Момыш-Улы, показана ваша задача.

Панфилов провел пальцем вдоль каждой из этих расходящихся веером линий.

— Ваш батальон у меня единственный резерв. Где ударит противник, мы не знаем. Надо быть готовым закрыть любую дыру. Вот вам пять направлений. Пять участков. Пометьте их на своей карте.

Я развернул еще не служивший в бою свежий лист карты. Взяв мой карандаш, Панфилов сам очертил конечные пункты всех пяти маршрутов. При этом он разбирал, как может обернуться дело, если противник ударит вот так или вот эдак. Исчезла его обычная шутливость, он говорил очень серьезно.

— Вам надо изучить все эти маршруты. Продумайте, проработайте эту задачу. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

— Что-нибудь вас смущает? Думайте, думайте за противника.

Войдя в роль немецкого военачальника, я не затруднился применить элементарную военную хитрость. Скрытно сосредоточив главные силы, я нанес вспомогательный и где-то неподалеку еще и так называемый демонстративный удар, отвлек в этом направлении резерв Панфилова и лишь затем неожиданно рванулся вперед главной группировкой, рванулся к Волоколамскому шоссе, на его убегающую к Москве ленту, уже никем не заграждениую.

Панфилов кивал, слушая меня. Очевидно, он уже не раз перебрал в уме эти возможности.

— Так, так,— произнес он.— Неожиданно? Скрытно? Э, товарищ... виноват... господин командующий. Отдайте же приказ сосредоточиваться в лесах, куда не проникнет посторонний взгляд. Вы готовы на это? Зимняя одежонка

у вас есть? Готовы лишить свои войска, которым была обещана молниеносная война, летняя военная прогулка, лишить их всяких удобств, печей, теплых домов в стужу? Решаетесь на это?

В качестве немецкого командующего я был вынужден признать:

— Нет, не решаюсь.

— Ничего,— иронически утешил Панфилов,— придет время, когда вы, господин противник, к этому будете готовы... Войну, товарищ Момыш-Улы, надо брать в ее реальности. Врага видеть таким, каков он есть. Против нас сосредоточена развращенная, разбойничья армия. Привыкшая воевать с удобствами. С ограблениями. С посылками домой... Конечно, они еще узнают иную войну. Но пока... Командуйте, командуйте. Обманывайте меня.

Я опять действовал за противника, Панфилов разбирал мои ходы.

Вот он посмотрел в окно, к чему-то прислушался. Где-то далеко изредка рявкали орудия.

— Слышите? Немец пристреливает свою артиллерию... Внезапная ночная переброска? А новая пристрелка? Она вас выдаст, если мы сумеем внимательно слушать.

С фронта опять донеслись голоса пушек.

— Если сумеем внимательно слушать,— повторил Панфилов.

Вот он живо повернулся ко мне, заглянул в глаза.

— Признавайтесь, ведь у вас вертится на языке вопрос: а Волоколамск?

Он угадал. Я подтвердил, что действительно вспоминаю потерю Волоколамска. Там резерв Панфилова, мой батальон, был отвлечен в сторону, не оказался на пути главного удара немцев.

— Почему же, товарищ Момыш-Улы, это случилось? Почему вашего генерала провели?

Он с интересом ждал моего ответа.

— Был прорван фронт, товарищ генерал.

— Да, линия фронта. Мы с вами уже об этом толковали. Гипноз линии, прежней линейной тактики. С этим всерьез надо разделаться. Не только мне, но и вам, и вам, товарищ Момыш-Улы. Вы меня поняли?

Он снова взглянул на карту. Его рука потянулась к стриженным по-солдатски, изрядно тронутым сединой волосам, он почесал в затылке.

— Конечно, всякое может случиться. Один ваш батальон, товарищ Момыш-Улы, заменяет мне пять батальонов. В уставе этого мы не найдем.

Он посмотрел на красную книжечку устава, вновь ее взял, перелистал.

— Не найдем, товарищ Момыш-Улы. Война в ее реальности не записана в уставе. Хотя... Э, хорошо сказано!

Карандашом, двумя чертами на полях, Панфилов отметил несколько строк. И прочитал вслух:

— «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы».

Подумав, он продолжал:

— Придет время, когда немцы будут перенимать наш опыт отступательных боев, приемы, которые мы вырабатывали. Но вот этому...— Панфилов еще раз провел на полях карандашом,— этому гитлеровская машина не научится. Педантичное исполнение — это ее заповедь. Лучше остаться в бездействии, чем проявить инициативу. А мы...

С воли донесся конский топот. По-видимому, кошевка генерала вернулась. Панфилов, взглянув в окно, докончил фразу:

— ...мы выросли в традициях инициативы. Для нас инициатива — это...— он повертел пальцами, подыскивая слово,— это... Ну, вы меня понимаете!

4

В горенку вошел Рахимов, доложил, что командиры рот явились.

— Хорошо. Зовите их сюда.— Панфилов встал, поглядел по сторонам.— А стульев, товарищ Рахимов, всем хватит?

Неторопливо сложив свою карту, генерал спрятал ее в полевую сумку. На столе остался принадлежавший мне лист, кое-где уже тронутый пометками Панфилова.

Через порог один за другим шагнули три лейтенанта. Они вытянулись перед генералом. Прозвучала бойкая скороговорка Брудного:

— Товарищ генерал, по вашему приказанию явился. Командир роты лейтенант Брудный...

Он, маленький, черненький Брудный, чувствовал себя, видимо, свободнее остальных. Внятным, хотя и простуженным басом назвал себя Заев. Его угловатое, с провалами щек, лицо было чисто выбрито, рыжеватые волосы наголо острижены. Подворотничок, которым прежде Заев пренебрегал, теперь белой, свежей полоской окаймлял жилистую, с острым большим кадыком шею. Доложившись, он сжал рот. Глаза, затененные сильно развитыми бровными дугами, неотрывно смотрели на генерала. Очередь была за Филимоновым. Развернув плечи, выставив грудь, он, кадровик, отчеканил уставные слова. На его крепкой шее вздулась, напряглась жила.

Рахимов тем временем внес, поставил недостающие стулья.

— Всех вас, товарищи, я знаю,— произнес генерал.— А вы знаете меня. Садитесь, давайте закурим.

Он раскрыл коробку «Казбека». Я быстро зажег спичку, поднес генералу. Все закурили. Однако напряженность, как я чувствовал, не рассеивалась. Из кармана кителя Панфилов вынул зажигалку.

— Вот получил подарок из Алма-Аты. Но что-то капризничает... Забросить неудобно. Посмотрите-ка, товарищ Заев. Ведь, кажется, вы оружейник.

Заев взял сияющую никелировкой вещицу, крутнул стальное колесико загрубелой подушечкой большого пальца — брызнули белые искры, но огонек не затеплился. Заев еще раз высек пучок искр, и снова впустую.

— Собственно, я всегда на пару с политруком Бозжановым,— пробурчал он.

Панфилов мигом откликнулся:

— Да, где же Бозжанов? Ведь вы, товарищ Момыш-Улы, взяли его в штаб?

— Помогает мне,— ответил я.

— Но ведь не только же на кухне.

Шутка генерала вызвала улыбки. Я гаркнул:

— Бозжанов! К генералу!

Панфилов посмотрел на меня:

— Ну зачем же так грозно? Должно быть, он там, бедняга, испугался.

Этой новой шуткой он еще поразвеял дух стесненности.

Вбежал Бозжанов, остановился, вытянул руки по швам. Я смотрел на его вскинутую голову, на черные, с курчавинкой волосы, на плотную фигуру. И вновь, как однажды на марше, мне подумалось: «Стрела!»

— Товарищ Бозжанов,— сказал генерал,— тут, кажется, требуется и ваше активное участие.

Он кивнул на Заева, державшего зажигалку в костлявом большом кулаке.

— Как, товарищ Заев, не получается?

— Дай-ка, Семен,— сказал Бозжанов.

— Погоди.

Еще некоторое время Заев продолжал держать зажигалку в кулаке. Затем легким, без усилия, движением пальца снова высек искру. И фитилек вдруг запылал.

— Дело простое, товарищ генерал. Бензин малость тяжелый. Недостаточной очистки. Летучесть недостаточная. Надо согреть в руке.

Глаза Заева уже не были скрыты тенями бровных выступов. Неясная, неполная улыбка удовлетворения прикрасила его нескладные черты.

— Только и всего? — воскликнул Панфилов.

Теперь он сам добыл огня. Задул и вновь зажег.

— Послужит, послужит,— довольно проговорил он.— Спасибо, сынок.— И повертел зажигалку.— Значит, подержать в руке, согреть?.. Любопытно, очень любопытно...

5

Панфилов стал расспрашивать, как одеты-обуты бойцы, обеспечены ли баней, довольны ли пищей. Командиры свободно отвечали.

— Теперь, товарищи,— сказал Панфилов,— придвигайтесь к карте. Потолкуем о том, что нам предстоит... Видите, это фронт дивизии...

Несколькими штрихами черного карандаша он схематически обозначил расположение полков. И стал излагать свои мысли, которые только что выложил мне:

— Противник готовится к рывку. Где-то будет нанесен главный удар с целью выйти на шоссе.— Тупым концом карандаша Панфилов провел по убегающей к Москве прямой полоске.— Второго эшелона обороны у меня нет.

Вы, товарищи, мой второй эшелон. Какова будет ваша задача? Встать на пути немцев и удерживаться, пока отходящие части не займут новый рубеж.

Он опять обратился к карте, по ней опять заходила его указка-карандаш.

— Вот дороги, которые ведут к шоссе. Я вас выброшу, как только обозначится прорыв. Где же он случится? В одном из этих пяти направлений. Поэтому для вас я тут наметил пять маршрутов.

Он повторял то, что я уже слышал, но повторял с новыми подробностями, проясняя, дополнительно освещая задачу. Все это у него было выношено, думано-передумано, он хотел сам, так сказать из первых рук, передать командирам свое детище, идею боя.

— Вы меня поняли? — привычно спросил он.

Оглядел присутствующих, увидел, что слушают, вникают.

— Итак, товарищи, проработаем первый маршрут.

Первый маршрут вел на правый фланг дивизии, к селу Авдотьино.

— Товарищ Филимонов, вы командуете батальоном.

Филимонов встал.

— Вам указан фронт: село Авдотьино, мост, высота. Выступайте, располагайте роты.

— Есть! — отчеканил Филимонов.

На его лбу под аккуратным зачесом русых волос проступили две-три крупные морщины. Он грамотно снарядил головную походную заставу, выстроил батальонную колонну, привел роты в район обороны. И затруднился, запнулся.

— Располагайте, располагайте.

— Круговую оборону? — неуверенно спросил Филимонов.

— Да, прикрыться надобно со всех сторон. Мне поддержать вас нечем.

Филимонов очертил оборонительный обвод вокруг всего указанного генералом района. Панфилов поправил, объяснил, что надо держаться не ниточкой окопов, а опорными пунктами, узлами сопротивления. Эти узлы не позволят противнику выйти на шоссе.

— Товарищ Брудный, располагайте теперь вы.

Брудный на лету схватил мысль генерала. Он разместил роты в ключевых пунктах, использовал и условия

местности. Роты оторвались одна от другой на полтора-два километра.

Панфилов одобрил, еще раз втолковал, что разрывы между ротами не страшны, сквозь них без дорог не пробьются, не пройдут немецкие автоколонны.

— Перенести направление главного удара противник уже не сможет. На вас он натолкнется, как на вторую полосу обороны. Поворачивать назад, идти в обход — это трудновато. Он будет таранить... Товарищ Заев, где вы расположите командный пункт батальона?

Подумав, Заев ответил:

— В селе.

— Почему в селе? Почему не на высоте? Там же безопаснее. А село, наверное, явится главной целью для атак противника.

— Вот туда и штаб.

— Правильно. Правильно, сынок.

Второй раз на долю Заева пришлось это будто сказанное невзначай ласковое «сынок». Панфилов и сам, как мы знавали, всегда выбирал место для штаба близко к фронту, к решающему пункту боя, укрепляя этим стойкость своих войск.

— А управление батальоном? Как, товарищ Заев, вы будете управлять другими ротами?

— По телефону.

— Но телефонную связь разобьют.

— Тогда посыльными.

— Но в промежутки вклинится противник. Тут везде,— Панфилов показал на карте пальцем,— будут шнырять немцы. Ну-с, как же управлять?

Заев молчал.

— Кто хочет ответить?

Никто не подал голоса. Генерал взглянул на меня, но я тоже затруднился. Радиосредств в батальоне не было. В самом деле, как же управлять?

6

Генерал вновь всех оглядел. Рахимов что-то быстро набрасывал на листке плотной бумаги.

— Товарищ Рахимов, что вы рисуете? Сидите, пожалуйста, сидите.

— Схему, товарищ генерал. Эти пять маршрутов.

— Покажите-ка.
— Пока, товарищ генерал, только наметка.
Панфилов взял листок, повертел, одобрительно хмыкнул.
— Скоро вы работаете. Ей-ей, как по щучьему велению.— Он опять полюбовался наброском.— А почему, товарищ Рахимов, пять направлений?
Панфилову не терпелось еще и еще раз проверить, понята ли, усвоена ли его мысль. Рахимов ответил:
— Противник где-то прорвется, выйдет на какую-нибудь из этих дорог, надо закрыть ему путь.
— Верно.
Панфилов был доволен. Гусиные лапки заметнее обозначились у краешков прищуренных глаз.
— Так как же, товарищи, управлять ротами, если нет никакой связи? — Он помедлил.— А ведь управление все-таки будет. И знаете какое? Ясное и точное понимание задачи. Если тебе ясна задача...
Он опять приостановился, словно ожидая, что кто-нибудь из командиров подхватит, продолжит его фразу.
— Ясен долг! — твердо выговорил Филимонов.
Сколько я мог заметить, Панфилов обычно обходился без так называемых высоких слов. Однако сейчас он сказал:
— Что же, пожалуй, тут это слово подойдет... Когда тебе ясно, что ты должен делать, то именно в этом и заключено управление. Если всем ясна задача, то можно драться разрозненными группами, без телефона, без посыльных — и все-таки бой будет управляем... Вы поняли меня, товарищи?
Продолжая занятие, Панфилов предлагал новые вопросы: как использовать пулеметы? где расставить пушки? — опять и опять возвращаясь к задаче: запереть дорогу, не давать противнику, его мотоколоннам, выйти на шоссе. Меня он спросил:
— Команду истребителей танков вы создали?
— Нет, товарищ генерал.
— Гм... Создать бы следовало. Кто мог бы взять это на себя?
— Я! — вырвалось у Заева.
— Я! — звонко воскликнул Брудный.
— Я! — с привлекательной смелой улыбкой произнес Бозжанов.

— Я! — веско, неторопливо сказал Филимонов.

Все четверо — каждый по-своему — выговорили это «я!». Каждый по-своему — и на всякого можно понадеяться. На миг я ими залюбовался.

— Нет, вас, товарищи, я не отпущу,— сказал Панфилов.— Командовать ротой — тоже не простое дело. И не менее трудное, чем бросить в танк гранату. Да и вы, товарищ Бозжанов, нужны командиру батальона. Я еще это обдумаю. И, может быть, чем-нибудь смогу помочь.

А вы, товарищи, учтите, тренируйте людей на борьбу с танками.

Он опять угостил всех папиросами, вынул зажигалку, с минуту подержал в сжатой ладони. Движение пальца — фитилек воспламенился. Улыбаясь, Панфилов поднес всем огонька.

— Почему так? — вдруг спросил он.— Говорим о тяжелых вещах...— Панфилов посмотрел на карту, где были нанесены карандашом три замкнутых обвода, наша возможная завтра-послезавтра круговая оборона.— Говорим о тяжелых вещах, а на душе тяжести нет. Почему?

Никто не решился что-либо сказать, перебить нашего сутуловатого, небравого с виду генерала.

— Потому, что верю вам, товарищи. Каждому из вас. А вы верите мне. Когда это есть, то и помирать не так уж трудно... но и пожить, конечно, можно!

Он встал, приосанился, тронул квадратики усов. Поднялись и командиры. Панфилов отпустил их, попрощался, пожал каждому руку.

Я вышел с ними в сени.

— Глашатай! — нахлобучивая шапку, сказал Заев.

Определение, которое он дал Панфилову, показалось мне совсем неподходящим. Я покачал головой. Это не смутило Заева.

— Глашатай! — повторил он.

Санки генерала увезли командиров рот.

— Товарищ генерал, пожалуйте обедать.

— С удовольствием. Давненько не угощался настоящим казахским пловом.

Мы еще не успели сесть за стол, как в комнату с мороза вошел Толстунов. Снежинки, застрявшие на шинельном ворсе, на бобриковой шапке, мгновенно обернулись капельками влаги. Старший политрук откозырял генералу.

— Раздевайтесь, товарищ Толстунов,— сказал Панфилов. И тотчас поинтересовался: — Где были? Что делали?

— Собрал колхозников, товарищ генерал. Беседовал с ними.

— Расскажите, расскажите... О чем шла речь?

Толстунов начал рассказывать о беседе с колхозниками.

Бозжанов не выдержал, взмолился:

— Товарищ генерал, плов перестоялся.

— А, голос автора... Так раздевайтесь, товарищ Толстунов. Где тут ваше место? Занимайте.

Наконец мы расселись. Вооружившись баклажкой, Бозжанов разлил по полстакана (в ту пору мы уже начали получать так называемую наркомовскую норму, по сто граммов водки в день). Повар Вахитов,— казалось, каждая его морщинка улыбалась,— подал блюдо пахучего, приправленного морковью, желтоватого, напитанного горячим жиром риса, смешанного с мелко изрубленной бараниной. На столе были расставлены приборы — тарелки, вилки, ложки. Толстунов взялся за ложку.

— Товарищ генерал, разрешите, я вам положу.

Панфилов прищурился.

— Товарищ Толстунов, вы в Казахстане долго жили?

— Родился там.

— Неужели?

Толстунов уловил иронию генерала.

— А что? Почему вы удивляетесь?

— Потому что... Нет, плов так не едят. У вас можно вымыть руки?

Разумеется, мигом появилась вода, мыло, полотенце.

— А ну, товарищ Толстунов, и вы!

Не раскатывая засученных рукавов, Панфилов снова сел к столу, запустил пальцы в блюдо, слепил шарик плова и отправил в рот. Чмокнув заблестевшими губами, он воскликнул:

— Вкусно!.. Черт возьми, как вкусно!

Бозжанов восхищенно на него смотрел. Толстунов

тоже начал действовать щепотью. Панфилов опять хитро прищурился:

— А другим, товарищ Толстунов, указывать мы не будем.

Другими были мы, люди монгольской крови, которым принадлежал этот обычай. Конечно, мы охотно последовали примеру генерала, умылись и стали есть плов руками, как едали наши деды и отцы.

После плова был подан самовар. Все опять вымыли руки, закурили. Панфилов стал перелистывать мои записи.

— Тяжеленько приходилось,— произнес он.— Даже про самого последнего вашего бойца, товарищ Момыш-Улы, про какого-нибудь солдата-замухрышку, надобно сказать: герой! Не так ли?

По своей манере словно рассуждая сам с собой, он продолжал:

— Да, не страшно помирать, когда выросло такое поколение. А впрочем, еще поживем, повоюем, погоним немца от Москвы. Тогда, товарищи, не забудьте еще раз пригласить на плов.

Выпив стакан чаю, Панфилов заторопился, выбрался из-за стола. Однако перед тем как уехать, он опять вернулся к делу:

— Завтра с утра, товарищ Момыш-Улы, начинайте изучение маршрутов. Пусть командиры рот пройдут по маршрутам. Промерят шагами. Может быть, даже и со взводами.

Он подумал.

— Нет, с утра не ходите. Проверьте сначала сбор на месте. Сбор по тревоге. Просмотрите у бойцов боеприпасы, подгонку снаряжения. Глядишь, у кого лямка оторвана, у кого сапог худой. Пора этим заняться. Надо, чтобы до вашего возвращения люди привели себя в порядок. Лямки пришить, сапоги залатать, патроны пополнить. А потом снова проверка, сбор по тревоге...

Его наставления были, как всегда, практичными. Он входил во всякие мелочи нашего воинского житья-бытья. Услышав мое «есть!», он надел полушубок, попрощался.

Мы проводили генерала. Бозжанов еще долго поглядывал в окно вслед унесшейся кошевке.

Секрет чистого бритья

1

В течение двух-трех дней мы отработали задачу. По всем пяти направлениям прошли взводы, промерили маршруты солдатскими шагами. Был составлен документ, в котором мы указали расстояния, расчет времени на сбор, на движение, на развертывание.

Тихим студеным утром, лишь занялся поздний ноябрьский рассвет, я верхом на Лысанке повез эту бумагу в штаб дивизии. Присыпанная снегом обочина проселка была звонкой, отчетливо цокали подковы, порой с хрустом проламывая тонкий белесый ледок на просушенных морозом лужицах.

Вот и деревня Шишкино, где обосновался штаб Панфилова. Там мне передали распоряжение генерала: принести документ лично ему. Я пошел в избу, где жил Панфилов.

Пожилой солдат-парикмахер, честь честью обряженный в белый халат, брил командира дивизии.

— Входите, сейчас освобожусь. Присаживайтесь,— сказал Панфилов.— Товарищ Зайченко, поспешайте.

— Еще машиночкой пройдусь по шее... Подмоложу сзади.

— Нет, нет. До следующего раза.

Парикмахер неодобрительно крякнул. Исчерна-загорелая шея Панфилова действительно уже поросла седоватым пушком. Казалось бы, еще совсем недавно, в первые дни затишья, я видел ее начисто остриженной. Да, ведь уже больше двух недель длится передышка.

С едва слышным шелестом бритва снимала белоснежную пену со щек генерала. Обнажились глубокие складки вокруг рта. Постепенно от пены очищался подбородок твердого рисунка, упрямый, крутой. Еще движение бритвы — и стала видна мягкая выемочка в середине подбородка.

— Когда же, товарищ генерал, по-серьезному займемся? — спросил парикмахер.

— Вот заработаем гвардейскую, тогда подмоложусь. Предамся в ваши руки. Обещаю.

Панфилов шутил. Однако и в шутке, как известно, приоткрывается душа. Недавно несколько особо отличив-

шихся дивизий Красной Армии получили звание гвардейских.

— Но и вы мне обещайте,— продолжал Панфилов,— в такой день, если он придет, не оставлять меня небритым. Пусть хоть земля ходуном ходит, а вы...

Генерал лукаво прищурился. Мне вспомнился его рассказ о том, как немецкие танки, ворвавшиеся в Волоколамск, приблизились к штабу дивизии. «Обстановочка, товарищ Момыш-Улы, была таё... Следовало успокоить мою штабную публику. Решил побриться, вызвал парикмахера. А на улице грохот, пальба... Парикмахер бросил бритву, кисточку, сбежал... Но ничего, еще часика три там продержались».

— А вы, товарищ Зайченко, должны оправдать свою фамилию.

Парикмахер обиженно опустил бритву.

— Товарищ генерал, опять вы... Уже добрались и до фамилии...

— Нет, вы меня не поняли. Я сказал: оправдать свою фамилию. Репутация у зайца неважнецкая, но на самом-то деле...

Панфилов выпростал руку из-под повязанной вокруг ворота салфетки, его сухощавые пальцы сложились щепоткой, как бы что-то ухватив.

— На самом-то деле у зайчишки мужественное сердце. Доводилось вам слышать, товарищ Момыш-Улы, что заяц-степняк выдерживает взгляд орла?

— Да, я человек степной. Слышал.

— Видите, не выдумал... Мне говорили так: нацелившись, птица падает с высоты на зайца. А тот глядит на хищника и задает стрекача только тогда, когда орлу-зайчатнику уже поздно менять направление. Вот он каковский, серенький заяц! Чего же обижаться?

Бритье закончено. Свежо блестят спрыснутые одеколоном смуглые щеки генерала.

Парикмахер складывает свое походное хозяйство. Панфилов смотрит в зеркало, касается пальцами выбритой кожи.

— Чистенько. Отлично.— И обращается ко мне: — Вам известен, товарищ Момыш-Улы, секрет чистого бритья? Думаете, лишь острое жало? А ну, спросим у мастера.

Парикмахер прокашлялся.

— Намылка много значит.

— Не угодно ли: намылка. Этому меня еще в первую войну учили старые солдаты: намыливай и намыливай. И еще намыливай.

— А в Литве,— сказал парикмахер,— работают, товарищ генерал, так: мастер намылит, а потом еще втирает пальцами.

— Втирает? — Панфилов рассмеялся.— Вы слышите, товарищ Момыш-Улы? А?

Он вновь погладил подбородок, застегнул воротник кителя, встал. Я тоже поднялся.

— Одним словом, победа куется...— Генерал прищурился.— До бритья. До первого касания бритвы. Вы меня понимаете?

Разумеется, я понимал: о чем бы он ни заговорил, его мысль возвращалась к предстоящему сражению. Неотступное размышление, вынашивание идеи боя — иных слов не подберешь, чтобы выразить состояние Панфилова.

Он повернулся к парикмахеру:

— Так, значит, обещаете? Ну, по рукам! Спасибо! Идите.

2

Мы остались вдвоем. Панфилов оглядел меня.

— Вы, кажется, в обновочке?

Действительно, я приехал в новой стеганке, слегка суженной в манжетах и ушитой в талии. Перехваченная поясным ремнем, она, эта телогрейка, конечно, отличалась от обычного грубого ватника.

— Замечаете,— продолжал Панфилов,— что в последнее время командиры у нас стали франтоваты? Добрый знак! Ну-с, привезли грамотку?

Я подал генералу документ. Панфилов развернул бумагу, долго всматривался.

На столе лежала раскрытая коробка папирос. Рука генерала потянулась туда, он взял папиросу, стал разминать в пальцах, спохватился, протянул коробку мне:

— Закуривайте, товарищ Момыш-Улы.

На свет из кармана его кителя появилась поблескивающая никелировкой зажигалка.

— Уж и бензин первостатейный,— сказал он,— а иной раз все-таки капризничает. Штучка с секретом.

На минуту зажигалка спряталась в его сжатой ладони. Панфилов продолжал читать схему. Потом высек огонь. Мы задымили.

— Рекогносцировку на конечных пунктах делали?

— Да, товарищ генерал.

— Кто делал?

— Командиры рот. А на четвертом и на пятом направлениях побывал и я.

Генерал задал еще несколько вопросов, потом ласково похлопал меня по плечу. Видимо, документ его удовлетворил. Впрочем, следует сказать сильнее: доставил удовольствие. Ведь если подчиненный понял, схватил твою мысль, сделал именно то, чего ты ждал, чего хотел,— это большая радость.

— Разрешите передать документ в штаб? — произнес я.

— Нет, поступим иначе.— Взяв трубку полевого телефона, Панфилов вызвал оперативный отдел штаба дивизии, к кому-то обратился: — Зайдите ко мне. Хочу вам показать, как отрабатывают документы в батальоне.

Такова была похвала генерала. Потом он спросил:

— Команда истребителей танков у вас выделена?

Уже не первый раз, как вы, наверное, помните, он задавал этот вопрос.

— Да. Взвод.

— Взвод? Целиком? Вы, следовательно, людей не отбирали?

— Во взводе, товарищ генерал, люди сжились. Друг другу верят.

— Вы, возможно, правы... Кто командир?

— Лейтенант Шакоев.

— Дагестанец? Мотоциклист? Сорвиголова?

Я ответил кратким «да». Будучи до войны преподавателем института физической культуры в Алма-Ате, Шакоев действительно приобрел там некоторую известность как участник конских ристалищ и мотоциклетных гонок.

— Пожалуй, подойдет,— сказал генерал.— Военный человек должен быть немного озорным. Да, подойдет. Пришлю ему в помощь на денек одного командира, который сколотил крепкий отрядик истребителей.— Панфилов подумал.— Да, только на денек. Ждите, товарищ Момыш-Улы, моего посланца.

— Есть.

— Теперь вот еще что,— продолжал генерал.— Завтра к вам прибудет пополнение. Небольшое. Полсотни бойцов. Народ зеленый, молодой.— Панфилов почесал за ухом.— Боюсь, вы уже не успеете с ними поработать. Но встретьте их достойно. Продумайте это. Пусть сразу ощутят традиции батальона. Традиции-то у нас с вами уже есть. А, товарищ Момыш-Улы? Вы меня поняли?

Как видите, разговор был недолог.

— Понял, товарищ генерал. Разрешите идти?

— Да, да! Езжайте, езжайте. И у меня и у вас работенки еще много.

3

Пополнение прибыло на следующий день. Об этом доложил мне Рахимов. Я приказал выстроить батальон в укрытом месте за стеной уже по-зимнему оголенного леска и вести туда прибывших.

Верхом на своей гнедой лошадке, насторожившей уши, будто чувствующей значительность минуты, я выехал к строю батальона.

За ночь мороз отпустил; снег потемнел, кое-где вовсе сошел, обнажив сырую землю; с голых сучьев березы и ольшаника, а также с листов дуба, бурых, покоробленных, но не сшибленных вьюгами, морозами, падала капель.

Роты стояли, прижимаясь к опушке. Рахимов скомандовал: «Смирно!», подбежал с рапортом. Я смотрел на шеренги, на лица, на поблескивающие грани штыков. К горлу опять, как и в былые времена, подступил комок волнения. Мой батальон! Ряды бойцов, о которых комбат в донесениях — и в собственной душе — говорит: «я». Резерв Панфилова, резерв, который, лишь только поступит приказ, двинется туда, где загрохочет молот главного удара немцев. Вот он, поредевший, не раз повидавший кровь и смерть, хоронивший павших батальон — не значок на карте, не чертежик в оперативном документе, а ряды людей с винтовками у ног, с брезентовыми подсумками, где до поры скрыта грозная тяжесть огня, ружейные патроны, по сто двадцать на бойца. Поредевший... Нет, после боев, после потерь батальон словно сбит плотнее.

Сразу я увидел и пополнение, выстроенное в стороне,— сплошь юношеские лица, светлый тон шинелей, еще не по-

роднившихся с окопной глиной. На краю этой полоски стоял человек постарше, приблизительно лет сорока. На его рукаве была нашита незаношенная, не подтемненная войной суконная красная звезда — знак политработника. Отделившись от строя, он зашагал ко мне. На ходу поправил, сдвинул повыше явно великоватую для него бобриковую шапку, открыв глубокие залысины. Солдатская шинель, солдатский пояс из простроченного толстого брезента, кирзовые сапоги с короткими широкими голенищами — все было на нем грубым. А лицо не грубое. Казалось, оно отвыкло от румянца, щеки и теперь, на воздухе, оставались желтоватыми. Он шел, неумело печатая шаг, устремив на меня серые глаза. Остановился. Доложил, что прибыл в мое распоряжение в составе пополнения числом пятьдесят два человека. Назвал себя: политрук Кузьминич. Я выслушал его, взяв под козырек.

— Давно ли в армии?

— Второй месяц.

— Где раньше работали?

— В институте экономики. Научный сотрудник.

— Кто-нибудь из офицеров с вами еще прибыл?

Видимо, слово «офицеры», которое у нас тогда только-только прививалось, резнуло Кузьминича. Он переспросил:

— Из средних командиров и политруков?

— Да.

— Никого больше. Один я.

Втайне вздохнув, я опять поглядел на ряды батальона. Скупо, очень скупо возмещались наши потери. Вон на фланге первой роты стоит чернявый Брудный. Когда-то это место занимал ловкий, щеголеватый Панюков, потом белобрысый Дордия. Их нет уже с нами. Нет и Донских, Севрюкова, Кубаренко... Еще свежи в памяти взвивы огня над горящими стогами, когда мы в красноватой полумгле отходили мимо наших разбитых орудий, мимо насыпанного нашими лопатами холмика братской могилы.

Неподалеку от Брудного виден высокий, красивый кавказец лейтенант Шакоев, который командует взводом истребителей танков. Различаю бойцов этого взвода — пятидесятилетнего, со свисающими пшеничными усами Березанского, силача Прохорова, коротышку Абиля Джильбаева. К поясам приторочены громоздкие, с длинными ручками противотанковые гранаты в чехлах. По нескольку гранат имеют и другие роты.

Центр строя занимает выделенная интервалами вторая рота. В ней осталось лишь человек восемьдесят, почти столько же выбыло в боях. На фланге возвышается верзила Заев. Встречаю взгляд Ползунова. Его потертая шинель заправлена, солдатская кладь пригнана, как у старого служаки. Вдоль строя всюду блестит темная сталь затворов.

Нас мало. Невелико пополнение, которое сейчас, в эту тяжелую годину, прислано нам. И все же мы сила! Сила, имя которой — батальон!

— Товарищ политрук, ведите людей ко мне! — приказал я.

4

Выстроенные по двое, приблизились те, кому предстояло делить нашу судьбу.

Красноватые на ветру молодые лица под серыми ушанками были внимательными и несколько оторопелыми. Я понимал, что творится в душах этих солдат-новичков. Недолгая выучка в тылу — и вот фронт, передовая. Почему же тут тихо, спокойно? Где же враг? Когда же бой? И какая тайна кроется в этом коротком слове «бой»? Да, они изведают страх и даже ужас, будут мужать под огнем. Но как же теперь, накануне боя,— быть может, самого жестокого из всех, которые знавал батальон,— как теперь укрепить дух этих юношей? Что я смогу сделать в те дни, что остались нам до боя?

Обратившись к новоприбывшим, я громко сказал:

— Товарищи, сегодня вы станете бойцами батальона, которым я командую. Вы обязаны знать, в какую семью вас принимают. Мне, командиру, неудобно хвалить своих солдат, но сейчас скажу: и внуки и правнуки назовут нас храбрыми людьми. Посмотрите на них, моих воинов, с этого часа ваших братьев. Всего месяц назад они тоже были новичками на фронте.

Далее я кратко изложил боевой путь батальона:

— Они, эти бойцы, огнем отражали атаки, сами били, гнали немцев, врывались в занятые врагом села, шагали по вражеским трупам. Эти люди, которых вы видите, отходили под пулями, не теряя боевых порядков. Трижды они бывали окруженными и пробивались к своим, нанося

врагу потери. Эти люди принимают вас в свое боевое братство.

Вновь оглядев роты, протянувшиеся вдоль опушки, я крикнул:

— Муратов, ко мне! Джильбаев, Курбатов, Березанский, ко мне!

Первым встал передо мной скороход Муратов. Легко подбежал и Курбатов, вскинул голову, красиво посаженную на крепкую, мускулистую шею, замер. Маленький Джильбаев поотстал. Немного запыхавшись, он встал в ряд, взял к ноге винтовку. Последним добежал или, вернее сказать, дотопал неторопливый Березанский. Сначала прокашлявшись, он лишь затем расправил грудь.

— Смотрите на них. Это мои солдаты.

Я по-прежнему говорил громко; из леска откликалось приглушенное эхо.

— Вот Муратов, связной командира роты. Поглядите на него: обыкновенный человек, такой же, как и вы. Он был ранен в руку, мог уйти лечиться, но остался с нами. Разве это не герой? Вот рядом с ним Курбатов. Он представлен к званию младшего лейтенанта. Красивый парень! Залюбуешься. Но он станет командиром не из-за того, что красив, а потому, что хранит воинскую честь. Вот Березанский. Сколько ему влетало от меня за неповоротливость! А в бою, когда пуля скосила командира взвода, я приказал ему быть командиром — и взвод удержал позиции, отбил немцев. Разве это не герой? И все,— я опять показал на ряды батальона,— все до единого такие. Вы, товарищи, тоже станете такими.

Воззрившись на меня узкими глазами, Абиль Джильбаев с любопытством ожидал, что же я скажу про него. Он не знал за собой ни одного подвига.

— Вот Джильбаев,— продолжал я.— Он малорослый, слабосильный, много раз я его ругал, однажды чуть не расстрелял, но и он прошел с нами путь героев.

Джильбаев по-детски улыбнулся.

— Почему они стали такими? Потому, что понимают, что такое долг, что такое совесть и честь воина. Долг перед Родиной — это...

На мгновение я приостановился, заглянул в свое сердце. Да, имею право сказать от всего сердца:

— Долг — это самая высокая святыня солдата.

Далее моя речь продолжалась так:

— Какие требования я буду предъявлять вам? Буду требовать строжайшей дисциплины. Нянчиться с вами я не намереваюсь. Поблажек от меня не ждите. Ни одного нарушения воинских обязанностей не оставлю ненаказанным. Вы обязаны любить, беречь свое оружие. Как бы ни была сильна ненависть к врагу, без оружия ничего не сделаешь.

Моя речь не стерла растерянности, оторопи с молодых лиц.

— Вам помогут они,— я опять показал на ряды батальона,— испытанные воины. Как, товарищи, поможете?

Роты дружно откликнулись:

— Поможем!

Этот гулкий единый ответ будто прибавил мне силенок. Я не сдержал улыбки облегчения. Некоторые из новоприбывших тоже наконец улыбнулись, большинство нерешительно, лишь иные смело. Теперь они уже не казались на одно лицо.

— Подсобим, товарищ комбат,— внятно произнес Березанский.

Молодцеватый Курбатов молча кивнул в подтверждение. Вот как... Не только я ощущаю переживания солдата, но и солдат понимает мою душу. Спасибо, друзья!

Дав команду «вольно», я вместе с Рахимовым и политруком Кузьминичем распределил людей по ротам. Они встали в ряды батальона, слились с нашим строем. Хотя не совсем слились, более светлый тон малоношеных шинелей все же выделялся в слегка раздвинувшихся, вновь подравнявшихся шеренгах.

5

Вечером, когда мы уже собрались ужинать, в нашу штабную избу пришел одетый в потертую грязноватую стеганку небольшого роста лейтенант. Заморгав от яркого света, он вытер ладонью вздернутый нос. Затем доложил:

— Прибыл поработать по приказанию генерала. Лейтенант Угрюмов.

Я смотрел в недоумении. Поработать? По приказанию генерала? Что имеет в виду этот птенец? Белобрысый, в крупных веснушках, каким-то чудом сохранившихся с весны, он в своей телогрейке казался пареньком семнадцати —

восемнадцати лет. Над большим ртом пробивалась скудная растительность. Верхняя губа была несколько вывернутой; когда он разговаривал, виднелись — не знаю, можно ли так выразиться? — и губа и подгуба. В прокуренных, почти коричневых, крупных зубах выделялась щербинка. Даже глядя на лейтенантские кубики в его петлицах, было трудно видеть в нем офицера. Заметив мое недоумение, он добавил:

— Командир группы истребителей танков... Прибыл на один день в ваше распоряжение.

Он докладывал четко. Эта четкость совсем не вязалась с его внешностью нескладного подростка.

— Садитесь, располагайтесь, товарищ лейтенант.

Он сел.

— Разрешите закурить?

— Курите.

Угрюмов снял шапку, достал из кармана газету, кисет и завернул толстенную самокрутку махорки. Под его ногтями залегла черная каемка; подушечки пальцев тоже были черноватыми, потрескавшимися. Наверное, эти пальцы, равно как и потрепанный, потемневший ватник, много раз на дню касались земли.

И вдруг мне вспомнилось. Угрюмов... Ведь не так давно довелось слышать об этом лейтенанте, о его провинности. Будучи командиром взвода разведки, он однажды, когда немцы еще только подходили к рубежам нашей дивизии, оставил свой взвод в лесу, а сам переоделся в крестьянскую одежду и отправился разведать деревню, уже занятую немцами. Вернулся он оттуда в темноте, потерял связь со своим взводом, за что и был в наказание отстранен от должности. Вот какого паренька, оказывается, приметил Панфилов. Вот кому он поручил командовать истребителями танков.

Закурив, Угрюмов с аппетитом, с нескрываемым удовольствием затягивался махрой. И с таким же удовольствием выпускал дым изо рта и из ноздрей. Еще никогда я не встречал такого жадного, или, может быть, лучше сказать, страстного, курильщика.

На ужин была сварена рисовая каша. Повар Вахитов стал разносить тарелки с кашей. Нашего неказистого гостя он даже не заметил, не подал ему ужина.

— Вахитов, почему лейтенанту не подали?

Угрюмов смутился.

— Спасибо, я поужинал, товарищ старший лейтенант.

— Ничего. Поешьте.

Принесли ему кашу. Достав из противогазной сумки собственную ложку, он стал есть почти с таким же аппетитом, как курил. Отправляя в рот содержимое ложки, он каждый раз ее вылизывал. Покончив с кашей, Угрюмов обратился к непритязательному лакомству, к ржаным сухарям, которые горкой лежали на столе. Его крупные прокуренные зубы замечательно их разгрызали. Негромкий хруст раздавался в комнате.

От чая наш гость отказался. Он опять свернул огромную цигарку, опять задымил махрой.

6

Утром я вызвал Шакоева. Ладный, атлетически сложенный, черноусый Шакоев иронически сощурился, когда ему был представлен невзрачный посланец генерала.

Среди дня я приехал во взвод истребителей танков. В поле, уже снова присыпанном порошей, стоял сколоченный из фанеры макет танка. Кое-где темнел вынутый суглинок, были отрыты щели. Бойцы сидели на краю придорожной канавы, внимательно слушая Угрюмова.

— Силой не возьмешь,— говорил Угрюмов.— А сохранишь присутствие духа — одолеешь!

И опять было странно слышать эти серьезные, исполненные достоинства слова — «присутствие духа» — от курносого парнишки, почти мальчика.

Приготовиться по пятому!

1

Прошел день, другой. Помнится, наступила суббота. Передышка нас несколько избаловала. Мы уже замечали субботы, воскресенья. К обеду я ждал Исламкулова, еще накануне пригласил его. Хотелось пофилософствовать, погуторить, как говорят русские, с этим интересным собеседником, моим образованным сородичем.

Утром мне позвонили из штаба дивизии, передали приказание генерала явиться к нему в двенадцать часов дня.

После оттепели опять стала хозяйничать зима. Ветер завивал вихорки снега.

Мягко стучали подковы Лысанки, не пробивая белого покрова, затянувшего окоченевшую землю.

В назначенный час я вошел к генералу. Знакомая мне комната ничуть не изменилась. Я увидел, как и прежде, коробку полевого телефона, затейливый, в завитушках, буфет, тускловатое трюмо, топографическую карту на столе.

Но в самом Панфилове я в первый же миг уловил перемену. Еще ничего не проговорив, он посмотрел на меня долгим и, как мне показалось, нежным взглядом. Еще никогда я не встречал такого его взгляда.

— Здравствуйте, товарищ Момыш-Улы.

Он не добавил обычного «садитесь». Не улыбнулся. Мы разговаривали стоя.

— Ну вот, пожили тихо, отдохнули. Это кончилось.

Мои глаза, вероятно, выразили удивление. Как так? Всюду спокойно, редко-редко вдали рявкнет пушка, на сегодняшний вечер я пригласил гостя, а генерал говорит: «Кончилось»?

— Есть основания полагать,— продолжал Панфилов,— что завтра, шестнадцатого ноября, противник перейдет в наступление.

Он так и сказал: «шестнадцатого ноября».

— Выступайте, товарищ Момыш-Улы. Заранее посылаю свой резерв, у вас будет время окопаться. Думаю, не ошибусь.

Видимо, некоторые сомнения еще оставались у него. Однако интонация была твердой.

— Пятый маршрут,— проговорил он.

Он подошел к карте. Я следовал за ним.

На карте красными значками были указаны звенья нашей обороны, синим карандашом — передний край противника и сосредоточение его войск. Четко выделялись названия, номера немецких дивизий и полков, районы их расположения. Темно-синие знаки, в том числе и те, что отмечали мотомеханизированные и танковые части, особенно сгустились там, где пролегал левый фланг нашей дивизии.

Пятый маршрут вел именно туда, к левому флангу. Там, по наметке генерала, которую я получил от него несколько дней назад, батальону предстояло занять деревню

Горюны на Волоколамском шоссе и расположенную несколько в стороне станцию Матренино. Близ деревни Горюны, взбежавшей на пригорок, находилось важнейшее пересечение дорог, рельсовая колея перерезала здесь, у путевой будки, полотно асфальта.

— Вот ваш участок. Вы там побывали?

— Да.

— Я должен его расширить. Займите и отметку 131,5.

Карандаш генерала указал эту точку — затерянный среди лесов узел проселочных дорог. Теперь оборонительный участок батальона глубже подходил к крайнему левому флангу дивизии.

— Таким образом вы перекроете,— продолжал Панфилов,— все дороги, которые ведут слева в Горюны.

Вновь обратившись к карте, Панфилов объяснил обстановку, наше расположение на переднем крае. Тут — полк нашей дивизии, здесь — кавалеристы Доватора.

— Немцы будут рвать на левом фланге.

Он сказал это уверенно. Его словно покинула обычная манера порассуждать вслух. Если у него еще и таились сомнения — в мыслях он, наверное, допускал всяческие неожиданности,— то сейчас уже ничем этого не выдал. Видимо, все было продумано, решение принято.

— Где-нибудь прорвут и выйдут на ваш батальон. Ваша задача — держаться, пока мы не приведем себя в порядок.

Он говорил спокойно, а у меня по спине бегали мурашки. Как я займу такой участок? Ведь это почти пять километров фронта, а у меня всего пятьсот бойцов.

— Товарищ генерал, как же я удержу такой фронт?

— Э, к чему же мы с вами столько толковали? Вы и не пытайтесь все удерживать. Не создавайте сплошную оборону. Займите лишь узлы. Одну роту в Горюны, другую в Матренино, третью на отметку.

Вспомнилось, как генерал с нами занимался, с какой настойчивостью добивался понимания будущей нашей задачи. Вот и пришел ее черед.

Теперь Панфилов повторял то, о чем говорил и со мной наедине, и на занятиях:

— Промежутки пусть вас не беспокоят. Каждая рота должна быть готова вести бой в окружении. А управление...

Он выжидающе посмотрел на меня.

— Управление — уяснение задачи,— сказал я.

— Вот, вот... По всей вероятности, он начнет завтра с утра и попытается с маху выйти на шоссе, в тылы дивизии. Мы постараемся, чтобы он увяз... Вы должны, товарищ Момыш-Улы, продержаться четыре дня.

Он по пальцам перечислил эти дни:

— Шестнадцатое. Первые сутки. Они будут для вас легкими. Семнадцатое. Уже придется вам тяжеловато. Восемнадцатое. Вы останетесь в окружении. Девятнадцатое...— Он помедлил, не дал никакой характеристики этому дню.— Да, и девятнадцатое. Надо, товарищ Момыш-Улы, удержаться до двадцатого.

Он не спросил: «Вы меня поняли?», но я понял, все понял. Наверное, он это прочел в моем взгляде.

— Вам, товарищ Момыш-Улы, вашему батальону, будет тяжело. Очень тяжело.

Видно, ему непросто дались эти слова. Если бы я не понял задачу, он их не мог бы выговорить. Он был искренен со мной. Не обещал поддерживать, выручить, ничего не обещал. И считал нужным сказать все до конца. Я молча стоял перед ним. Сумеете ли вы передать в повести эту минуту? Сумеете ли найти тон — тон, который окрашивал слова генерала, прозвучавшие так сурово и так нежно?

— Разрешите идти?

— Подождите.

Он подошел к буфету, вынул початую бутылку кагора, наполнил две большие рюмки, достал две конфеты, сказал:

— Пусть надежда вам согревает сердце.

Мы чокнулись. Он протянул мне конфету.

— Ну, иди, казах.

Впервые он назвал меня так. Опять это было и нежно и сурово. И тяжело.

Я козырнул, повернулся и вышел.

2

На минуту я заглянул в штаб дивизии к капитану Дорфману, начальнику оперативного отдела, моему давнему знакомому.

Перед ним лежала оперативная карта. Резерв командира дивизии, мой батальон, был уже перемещен на этой кар-

те на новую позицию. В тылу протянулась от деревни Горюны до лесной высотки ощетиненная красная линия. Опять линия... Мы уже сломали нашу прежнюю линейную тактику, а карандаш начальника оперативного отдела по привычке все еще прокладывал сплошную черту.

Здороваясь со мной, Дорфман встал. Его каштановые волосы, разделенные прямым пробором, были, как обычно, тщательно приглажены, свежо блестели. Я ожидал увидеть в его живых карих глазах всегдашнюю приветливую улыбку. Нет, в эту минуту ее не было. Конечно, он знал нашу задачу, предстоящую нам участь.

— Товарищ капитан, разрешите позвонить.

— Пожалуйста.

Я вызвал штаб батальона.

— Рахимов?

— Я.

— Приготовиться по пятому.

Весь приказ — эти три слова. Их было достаточно, чтобы поднять батальон. Вступил в действие документ, над которым мы кропотливо потрудились. Я положил трубку.

— Всего доброго, товарищ капитан.

— Ну, Момыш-Улы, ни пуха ни пера...

Теперь Дорфман все-таки заставил себя улыбнуться. Подумалось: похоронил.

В Рождествено я ехал шагом. Ветер поутих. С неба падали редкие снежинки. Хотелось собраться с мыслями, внутренне собранным вернуться в батальон.

Значит, завтра заполыхает новая битва. Удержаться до двадцатого... «Вам будет тяжело, очень тяжело...» Но и погибать, если уж пробил твой час, надо с толком, с умом. Думая о себе, я видел и вверившихся мне людей, видел темный блеск штыков и винтовочных затворов, грозный строй бойцов. Твой час... Мой и батальона.

Предстоят четыре дня... Возможно, в эти четыре дня уложится оставшийся мне век. Так проживу же его с честью. Нелегка задача запереть шоссе, удержаться, устоять против ударного кулака немцев. Никогда еще мой батальон не занимал ключевой позиции, не принимал на себя самого тяжкого удара. Возможно, я родился, окреп, возмужал для того, чтобы исполнить задачу этих четырех предстоящих дней. Все отдам ей — ум, волю командира, жизнь.

Текли думы... Вот и Рождествено. Среди снегов, заблестевших на проглянувшем скупом солнце, чернеют избы. На улице уже стоит колонна головной роты под командой Заева. Винтовки взяты на ремень. У всех за плечами вещевые мешки с нехитрым имуществом солдата, с розданным на руки запасом сухарей.

— Смирно! — во всю силу легких орет Заев.

— Вольно,— откликаюсь я.

И чувствую, что верю им всем, кто здесь стоит под очистившимся бледноватым небом, моим соратникам, участь которых разделю.

Помню этот миг — ощутил веру, счастье веры, и сразу успокоился.

3

В штабной избе меня встретил Рахимов. С лавки поднялся и приехавший в гости Исламкулов, приветствовал меня дружеской улыбкой, поклоном. Я тоже отвесил ему поклон.

— Извини, Мухаметкул. Видишь, не мы располагаем временем, а время располагает нами.

Он ничем не проявил любопытства, не задал ни одного вопроса. Рахимов произнес:

— Через сколько минут прикажете выступать?

Можно было не спрашивать, все ли готово, во всех ли подразделениях соблюден график сбора. «Через сколько минут» — этим все было сказано.

— Пусть Заев двигается.

Рахимов вызвал по телефону Заева.

— Выступайте. Отключайте связь.

Затем соединился с другими ротами, сообщил, что марш начался.

— Придерживайтесь графика. Пока можно отдыхать.

Так без шума, без суеты работал мой начальник штаба. Чего я не сказал, он договорил.

— Где Толстунов? — спросил я.

— Пошел к Филимонову.

— Бозжанов?

— У Заева.

— Что же, пообедаем и тоже тронемся.

Синченко подал обед, разлил по стаканам «наркомовскую норму». Мы выпили за здоровье гостя. Я вынул карту, показал наш расширенный участок. Рахимову на миг изменило бесстрастие, его черные глаза вдруг погрустнели. Действительно, если при взгляде на такой участок — пять километров фронта батальону — вы не будете потрясены, то вы не командир и не начальник штаба. Я объяснил задачу. Три узла сопротивления. Надо удерживаться. Когда наши части отойдут, еще держаться. Когда останемся одни, окруженные противником, тоже держаться.

Я не сказал, что битва начнется завтра, не сказал, что обязан драться до двадцатого, не передал слов генерала: «Вам будет тяжело. Очень тяжело».

Синченко добавил в опорожненные стаканы еще немного водки. Я обратился к Исламкулову:

— Жаль, война не дает потолковать. Недавно ты подарил мне признание: «Кай жере, аксакал!» Еще тогда я хотел возвратить тебе его, хотел сказать: «Кай жере, Мухаметкул!»

Исламкулов слушал не перебивая, не торопя меня даже взглядом. Он знал: я сам все разъясню.

— Существует сила приказа,— продолжал я.— Но есть и задушевность приказа. Теперь я, пожалуй, это понял. Генерал Панфилов обучил.

Исламкулов тоже заговорил о Панфилове, рассказал, что вчера наш генерал побывал во втором батальоне, включавшем в себя и роту Исламкулова, прошелся с командиром батальона, заглянул на кухню, в хозяйственный взвод, но не остался обедать. Кошевар просил оценить его старание, не обижать отказом. «А как вы стреляете? — неожиданно спросил Панфилов.— Покажите-ка вашу винтовку!» Винтовка оказалась запущенной, грязной. И Панфилов отказался от обеда. «Какое же сопротивление вы окажете, если на вас выйдут немцы? — сказал он повару.— Как же вас не обижать, если вы меня обидели?» Весь батальон об этом уже знает.

Неслышно вошел сероглазый Тимошин.

— Товарищ комбат, разрешите забрать аппарат?

— Бери.

Рахимов взглянул на часы.

— Все уже выступили, товарищ комбат.

Мы покинули избу. Небо было ясным, мороз защипал щеки. Синченко подвел Лысанку. Исламкулов взял у него повод и, держа лошадь под уздцы, подсадил меня в седло. У нас, казахов, это знак высшего уважения, оказываемый лишь немногим. Рахимов вскочил на своего коня. У крыльца ожидали сани, в которых приехал Исламкулов. Я вновь извинился.

— Пора на рубеж. Прощай.

Исламкулов ответил:

— На этом рубеже тебе или слава, или смерть.

До этой минуты он ни словом не обмолвился о задаче, предстоящей моему батальону. А сейчас сказал веско, обдуманно. С седла я отдал честь своему гостю и тронул коня.

Поставим здесь большую точку. Разрешим себе перевести дух.

Канун. Станция Матренино

1

На фанерном ящике лежит моя тетрадь.

— Прочтите,— говорит Бауржан,— что вы записали о Джильбаеве. О том, как он чуть не был расстрелян...

Я удивлен. Зачем Бауржану понадобилась запись о Джильбаеве? Нахожу нужную страницу. Читаю вслух о том, как Момыш-Улы на миг представил себя худеньким Джильбаевым, приговоренным к расстрелу.

«...Бросивший позицию, потерявший честь, я стою здесь у обрыва. Меня скосят не вражеские пули, а свои, непрощающие пули солдат, вершащих воинское правосудие. Нет, нет, пусть со мной станется что угодно, но не это!»

Бауржан жестом прерывает чтение.

— И все же именно это со мной сталось,— произносит он.

Освещенное керосиновой лампой, его лицо непроницаемо. Быть может, он шутит? Не похоже.

— Как? Вы были приговорены к расстрелу?

— Да, был приговорен.

— Когда?

— Семнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок первого года.

— Из-за чего же? Каким образом?

— Совершил проступок, за который требовалось отвечать жизнью. И не только жизнью — честью.

— Кто же предал вас суду?

— Кто? Не знающий жалости, самый беспощадный среди героев вашей повести.

Захотелось воскликнуть: «Это же вы, Бауржан!» Я, однако, предпочел послушать, промолчал.

— Открывайте чистую страницу,— продолжал Момыш-Улы,— начнем новую главу.

2

Итак, пятнадцатое ноября. Еще засветло я провел час-другой на отметке 131,5, выбирая вместе с Заевым позицию его роты.

Местность представляла собой обширную вырубку-пролысину в сплошном лесу. Там и сям торчали пни, поднялась мелкая молодь, кое-где виднелись узкие заснеженные полоски пашни. Огражденный пнями, поросший кустарником бугор громоздился близ скрещения двух проселков. Они соединялись у крепкого деревянного моста, переброшенного через речонку, уже затянутую льдом, и затем снова разбегались.

С бугра открывался круговой обзор. В тишине было слышно, как шуршат пошевеливаемые ветром цепкие листья дубняка. Переваливаясь на выбоинах, проехали в сторону фронта два грузовика. В кузовах были наложены стянутые веревкой полушубки. Машины миновали мост, скрылись в лесу. И опять все замерло.

— Здесь и окапывайся,— сказал я Заеву.

— Угу,— по возвратившейся к нему привычке буркнул Заев.

И тотчас поправился:

— Есть!

Одетый поверх ватника и толстых, тоже стеганных на вате штанов в свою послужившую шинель (так был обмундирован весь мой батальон), Заев еще раз оглядел подступавший отовсюду лес. В ранних сумерках глубокие глазницы Заева казались темными, лишь иногда оттуда посверкивали маленькие запавшие глаза. Темнели и провалы его щек.

— В дальнюю перебранку не вступай,— продолжал я.— Подпусти поближе и огрей.

— И немец нас огреет.

— Да. В таких случаях выигрывает тот, кто не боится ближнего боя. Тот, у кого больше решимости.

— Решимости, товарищ комбат, хватит!

Мы помолчали. Пролетел, как говорится, тихий ангел, безмолвно пронеслось былое.

— Хватит! — отрывисто повторил Заев.— Я уверен в своих львятах.

Он и раньше, как вы знаете, любил выразиться по-чудному. Показалось, это прежний Заев. Нет, он был и прежним и не прежним.

— Каждому бойцу разъясни задачу: ни шагу назад,— сказал я.

— А ежели...— Заев помялся.— Ежели нас обойдут? Поможете?

— Рассчитывай, Семен, только на себя.

Мы опять помолчали.

— В хозвзводе, товарищ комбат, скажи,— Заев неожиданно перешел на «ты»,— скажи, чтобы привезли нам ужин. И чтобы на водку не скупились. А то чем я согрею своих молодцов?

— Ладно, Семен, не позабуду.

— Не позабудете? — переспросил он.

Его голос прозвучал глухо. Я понял, о чем он меня спрашивает, понял и прикрикнул:

— Ты что, прощаться со мной вздумал? Рановато! Выкинь эту дурь!

Под его нависшими бровями ничего не проблеснуло. Мне вспомнилась напутственная здравица Панфилова. Я сказал мягче:

— Согревай своих бойцов не только водкой, но и, главное, надеждой. Не смей терять ее, Семен!

— Угу,— опять услышал я.

И опять Заев поправил себя:

— Есть!

3

Снова скачу верхом, направляюсь в Матренино, в роту Филимонова. Неизменный Синченко следует за мной. Ухабистая лесная дорожка выводит на шоссе. Уже совсем

смерклось; над темными зубцами леса, жмущегося к тесьме асфальта, показалась полная луна; в вышине проступили первые, еще редкие, звезды. По шоссе, прямому, как натянутая тетива, порой на небольшой скорости, без света, проходят машины то к фронту, то в другую сторону. Это движение не назовешь оживленным. Ничто, кажется, не предвещает громового дня. Противник изготовился, молчит. Видимо, готовы и мы.

Вновь сворачиваю на боковую дорогу. Вдоль нее на еловых вешках, окученных снегом, уже протянут телефонный черный шнур. Лысанка бежит подле него. Впереди неясно вырисовывается здание железнодорожной станции. Это Матренино. Дома, лепящиеся к станции, не составляют порядка, а темнеют вразброд. Неожиданно на околице грохочет разрыв дальнобойного снаряда. Почти тотчас слышится еще удар — глуховатый тяжелый удар в той стороне, где пролегает скрытое мглой Волоколамское шоссе.

Останавливаю лошадь, слушаю, смотрю. Впереди опять гремит разрыв. Взблеск озаряет изгородь, макушку стога. И, будто откликаясь, снова бахает там, где протянулась невидимая отсюда деревня Горюны. Пауза. Снова одиночный разрыв. Другой...

С этого часа — стрелки моих ручных часов показывали почти ровно семь — немцы начали методически гвоздить два населенных пункта: станцию Матренино и Горюны.

4

Цепочка солдат неподалеку от крайних домов вгрызалась в закоченевшую землю. Я подъехал туда. Крупный, когда-то полнотелый, а теперь костистый Голубцов, запевала батальона, с маху рубил жесткую почву острым ребром лопаты. Стал слышен нарастающий противный гул снаряда, будто летящего прямо сюда. Бойцы прильнули к неглубоким выемкам, я спрыгнул с седла, тоже распластался. В полусотне метров в чистом поле взметнулось белое пламя, громыхнул взрыв.

Мы поднялись. Голубцов опять принялся крошить неподатливую землю. Порой острая сталь высекала искры. Высоко над головой прошелестел следующий снаряд, бахнул где-то за селом.

— У тебя, Голубцов, дело, вижу, подвигается.

Он бросил лопату, распрямился.

— Нам, товарищ комбат, командир роты задал вырубить окопчик для стрельбы лежа, постелить сенца и... И можно спать.

Скорее слухом, чем зрением, я уловил улыбку Голубцова. И тотчас услышал голос сбоку:

— Такой окоп разве спасет?

Кто-то из «новеньких» стоял у соседней чернеющей проплешинки, опустив руки. Потянуло одернуть молодого солдата, но, сдержавшись, я объяснил, что даже небольшое углубление, любая ямка является защитой от взрывной волны и от осколков. Вместо меня прикрикнул Голубцов:

— Рубай, Строжкин, рубай! Не распускай губы.

Ничего не ответив, боец-новичок (в те дни я только-только стал узнавать их в лицо и по фамилиям) принялся опять долбить мерзлую землю.

— Выжля. Будет толк,— понизив голос, доверительно сказал Голубцов.

— Выжля? Что это такое?

— Ну, щенок, молодая собака. Еще дура, а порода, товарищ комбат, уже видна. Воспитываю, гоняю. Будет солдатом не хуже других. И голос завидный. Годится в запевалы.

— Что же, отгоним немцев — запоем... Где командир роты?

— Ушел с генералом.— Голубцов продолжал по-прежнему доверительно, негромко: — Генерал тут приходил, глядел нашу позицию.

— Какой генерал? Командир дивизии?

— Нет, другой... Похоже, строговат.

— Что же он говорил?

— Что говорил? Подвертывал гайки. А они, товарищ комбат, и так у нас подвернуты.

Это тоже было сказано с улыбкой, со спокойным юмором солдата. Теплый ток доверия, понимания струился между нами.

— Где же он?

— Куда-то ушел с командиром роты.

Вновь сев верхом, я направился в Матренино. Сразу не определишь — деревня или дачный поселок. Ровный штакетник, застекленные веранды, на окнах затейливые наличники. Жители затаились. Однако их присутствие выдавали дымки, вившиеся из печных труб. Где-то промыча-

ла корова, где-то стукнуло ведро. Обстрел по-прежнему был редким, методичным.

Мерным шагом по улочке навстречу мне идет патруль. Кто-то хрипловато кричит:

— Стой!

Придерживаю Лысанку.

— Стой! — повторяет прежний голос.— Кого бог несет?

Различаю Корзуна, большеносого русского колхозника из-под Алма-Аты.

— Что, Корзун, не узнал?

— Признать признал, но порядок своего требует.

В этот канунный вечер, в час обстрела, мил сердцу ровный тон исполнительного Корзуна. И опять вера — вера в своих солдат, послушных долгу, порядку, дисциплине,— подкатывает горячей волной к горлу.

Спрашиваю:

— Где командир роты?

— Пошли на линию с генералом.

Без дальних слов шевелю повод, посылаю коня к железнодорожной линии.

5

Снежный пушок лежит на рельсах. За полотном, огибающим деревню, уходит вдаль белый простор — не видать, как говорится, конца-краю. Однако мне известно — это шутит свои шутки обманщица луна, укрывает в полумгле белесую березовую опушку. Вблизи насыпи — фронтом к этому невидимому сейчас лесу — бойцы роют оборону. По взмахам рук угадываю: тут в дело пущен и подручный железнодорожный инструмент: кирки, ломики, кувалды. Неподалеку темнеет огражденная невысоким палисадом будка путевого сторожа; стекла отливают глубоким черным блеском. Разматывая моток телефонного шнура, туда прошагал связист.

Взгляд опять убегает в голубоватую мутную даль, возвращается к запорошенным путям. Вдруг замечаю: на шпалах стоят трое. Сразу узнаю ладную стать Толстунова, узнаю Филимонова, вытянувшегося — руки по швам — перед человеком в серой шапке, в поблескивающем кожаном пальто.

По бровке вдоль пути Лысанка несет меня к ним. Соскакиваю с седла, и — черт подери, экая досада! — от вол-

нения, что ли, я не успеваю придержать шашку, она попадает мне под ноги, я утыкаюсь в снег. Дурной знак...

Тотчас поднявшись, печатаю шаг, всматриваюсь в приехавшего к нам генерала. Можно различить его крупные губы, небольшие отеки под глазами. А, так вот это кто! Генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией. Три недели назад я с ним повстречался в штабе Панфилова в Волоколамске.

Подойдя, рапортую: батальон занял указанный ему рубеж, начал окапываться. Звягин меня оглядел. Молчание затянулось. Где-то посреди деревни грохнул очередной снаряд.

— По-прежнему с шашкой? — недовольно сказал Звягин.— По-прежнему оригинальничаете?

— Товарищ генерал-лейтенант, я вам уже докладывал, что, не будучи переаттестован...

Он не дослушал.

— Почему не зачитали средним командирам и политрукам приказ Военного совета? Приказ о приговоре Кондратьеву.

Мгновенно вспомнилось: сумеречный час в Волоколамске, освещенная электричеством штабная комната, побледневшее, со вспухшей царапиной, лицо майора, заляпанная мокрая шинель. И голос Звягина: «Кто позволил отойти без приказа?» И его участившееся тяжелое дыхание. И гремящие слова: «Оружие на стол! Звезду долой! Арестовать! Предать суду!»

Позже я узнал, что уже через сутки приговор Военного трибунала — расстрел — был объявлен в приказе по армии.

— Товарищ генерал-лейтенант, в те дни мы не имели связи. Батальон был отрезан, боролся в окружении.

— Ну, а затем?

— Затем обстановка изменилась, время было уже упущено, поэтому я...

— Кто разрешил вам рассуждать?

Заглушая этот сильный, гневный голос, возник, стал нарастать устрашающий гул летящего, приближающегося к нам снаряда. Потянуло прянуть с насыпи, открытой отовсюду, залечь. Уголком глаза я видел, как разом повалились, втиснулись в землю бойцы, рывшие окопы. Звягин, однако, даже не повел головой. Стоя на виду и, конечно, зная, что сейчас на него поглядывают десятки солдатских

глаз, он, не меняя позы, ждал моего ответа. Толстунов и Филимонов тоже не шелохнулись. Снаряд шлепнулся, хлопнул близ путевой будки. Зазвенели стекла, высаженные взрывной волной. Звягин не обернулся, не взглянул туда, где встала темным столбом пыль.

— Виноват,— произнес я.

6

Не удовлетворившись моим «виноват», Звягин обратился к Толстунову:

— Вы, старший политрук, могли бы проследить за исполнением.

Толстунов не стал оправдываться.

— Недоглядел,— произнес он.

— Сделайте выводы на будущее.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант.

Звягин будто позабыл обо мне; я глядел на его спину в кожаном пальто.

— Говорю с вами сейчас,— продолжал он,— как с членами партии.

Обращается к Филимонову и Толстунову, но знает, конечно, что я, беспартийный, тоже слушаю.

— Как с членами партии,— повторяет Звягин.— Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским. Предательским, преступным. Расстаньтесь с мыслью, что отсюда возможно отойти. Внушите всему личному составу, что это последний рубеж батальона.

Слова ложатся веско, тяжело.

— Ну, желаю вам, товарищи, боевого счастья.

Он круто — с несколько неожиданной для его грузноватой фигуры резкостью движений — повернулся ко мне:

— А вы, партизан с шашкой, проводите-ка меня.

«Партизан с шашкой». Далось же это Звягину. Впрочем, сейчас он говорил без начальственной грубости, без раздражения.

Сойдя с полотна, мы зашагали к санной дороге, пролегшей возле рельсов. Откуда-то бесшумно появился адъютант Звягина, тоже пошел с нами.

Беспокоящий обстрел продолжался. Зарницы разрывов поминутно вспыхивали и в стороне — в той стороне, где

находилась деревня Горюны. Звягин взглянул туда, заговорил:

— Завтра, наверное, начнется. Да уже, собственно, и началось. Мы разгадали намерения противника, сделали свой ход, выдвинули сюда резерв. А немец, в свою очередь, это разгадал. И отвечает. Пытается деморализовать наши резервы.

Анализ Звягина был краток. Вслушиваясь в его низкий голос, явственно доносивший каждое слово, я уяснял происходящее, понимал, как идет бой ума с умом. Мы подошли к машине, уже выкрашенной в белое, в защитный цвет зимы, почти неприметный на снегу. Звягин остановился, посмотрел вдаль.

— Подтягивать, карать, никому не давать спуску — это... Это, старший лейтенант, наша с вами доля.

Его интонация неожиданно была задушевной. Открыв дверцу машины, он заключил:

— Нам это зачтется. И если на том свете будет Страшный суд, встретим его смело: на земле мы не колебались исполнять свой долг.

Он протянул мне руку: крепкую, твердую, тяжелую. Дверца захлопнулась, машина тронулась. Я проводил его взглядом. Да, буду исполнять свой долг.

Канун. Горюны

1

Еще некоторое время я провел в Матренине, походил вокруг поселка вместе с Филимоновым и Толстуновым.

Затем — снова ногу в стремя. Скачу на Лысанке в Горюны. Лоснящийся под луной мерзлый накат на минуту нырнул в лес и опять выбежал на волю, на поляну. Посматриваю по сторонам. На белом пригорке темнеют свежие брустверы окопов. Поминутно ложатся там и сям одиночные снаряды. Мгновенные вспышки озаряют то пустое поле, то домики на гребешке. Эти домики — деревня Горюны. Лысанка выносит меня на шоссе, идущее на изволок. Полоса асфальта еще не заснежена, черна, будто подметена ветром. На макушке по обеим сторонам шоссе выстроились огороженные палисадами избы.

Кое-где, как и в Матренине, вьются дымки из печных труб,— наверное, бойцы кухарничают. Видны распряженные повозки: санитарная фура заведена во двор; на обочине стоят две наши пушки, их охраняет часовой. Расспрашиваю, где поместился штаб батальона. Еду дальше.

Кто-то шагает навстречу. Странная фигура. Солдатская шапка, шинель, но... Из-под шапки выглядывает крыло гладко зачесанных женских волос. Осаживаю коня.

— Кто такая? Зачем сюда попала?

— Здравствуйте, товарищ комбат.

Улыбка приоткрыла ровные белые зубы. Одетая в варежку рука взяла под козырек.

— Заовражина, ты зачем здесь?

— Тут наше место по приказу.

— Какому приказу?

— Начальника санитарной части. Будем делать вам прививки.

— Какие еще, к чертям, прививки?

— Уколы против брюшного тифа. Мы достали лампу-«молнию». И скоро начнем.

— Ты, часом, не спятила? Завтра здесь, возможно, все будет гореть. Немедленно уноси отсюда ноги.

— Нет, товарищ комбат, теперь не выгоните. Придется вам поговорить с моим начальником.

— Что еще за начальник?

— Военврач второго ранга. Можно сказать, майор. Женщина-врач. Она сказала, что никуда мы отсюда не уйдем.

— Тогда выброшу отсюда вас.

Не сказав больше ни слова, я поскакал к штабу.

2

Еду по улице. Слышу:

— Товарищ комбат!

Оборачиваюсь, вижу Кузьминича. Он тяжеловато бежит, придерживая рукой полевую сумку.

— Что там, Кузьминич, у вас стряслось?

— Товарищ комбат, разрешите доложить.

— Ну, не тяните.

— Есть! — Он и впопад и невпопад старается употреб-

лять уставные словечки.— Товарищ комбат, тут доктор, майор медицинской службы, начал делать бойцам уколы.

— Начал? Кто разрешил?

Вспомнилась недавняя встреча с Заовражиной. Принялась все же, черт возьми, за свое!

У меня вырвался вздох. Вот чепуха! Хоть стой, хоть падай!

— Вам, товарищ политрук, сегодня уже было сказано: когда наконец вы станете военным? Этот майор не вправе вам приказывать.

Кузьминич смиренно — руки по швам — выслушал мой нагоняй.

Пришлось отправиться к майору-доктору. Походная амбулатория была развернута в лучшем, самом большом доме. Огромная лампа-«молния», висевшая под потолком, лила яркий свет на застланные белейшими простынями стол, лавки, кровати. На плите в эмалированном тазике кипела вода.

Смуглая женщина в белом халате — я сразу отметил ее точеное лицо, властную повадку — обернулась ко мне. Волосы, не совсем прикрытые медицинской белой шапочкой, были столь черными, что казалось отливали синевой.

На стуле сидел ездовой Гаркуша. Засучив рукав, он с важным видом подставлял голый локоть. Я крикнул:

— Гаркуша, почему тут околачиваешься? Кто разрешил?

Гаркуша встал, скромно потупился.

— Приглашен, товарищ комбат, по старому знакомству.

А, еще один знакомец Вари Заовражиной!

— Убирайся отсюда! Ну, живее поворачивайся!

Взяв шинель, Гаркуша, не теряя достоинства, но и не мешкая, покинул комнату. Женщина-майор холодно сказала:

— Товарищ старший лейтенант, следовало бы вести себя приличнее. И прежде всего полагается представиться.

Я извинился, назвал себя.

— А вас, доктор, попрошу прекратить эту затею.

— Какую затею? Мы обязаны сделать уколы. Это приказ по дивизии.

— Не знаю. Не могу разрешить.

— Что вы волнуетесь? Укол вызывает только легкое недомогание на один-два дня. Зато потом...

— Доктор, поймите, у меня задача. Возможно, завтра придется вступить в бой.

Как раз в эту минуту на воле бабахнул очередной разрыв. Оконные стекла слегка задребезжали. Я продолжал:

— Мы уже и сегодня под огнем. Вы разве не слышите?

— Слышу. Что же особенного? Удивляюсь, старший лейтенант, вашей нервозности.

— Доктор, извините, не могу больше уделять вам время. Уезжайте отсюда.

— Нет, у меня есть свои обязанности.

Я рассвирепел:

— Приказываю через два часа оставить расположение батальона.

— Вы не имеете права мне приказывать.

— Убирайтесь к черту!

Властная — чуть не сказал: царственная — женщина вскинула голову:

— За это вы ответите! И никуда мы отсюда не уйдем!

Не знаю, где притаилась в эти минуты Заовражина. Впрочем, я не желал этого знать. Сочтя разговор законченным, я вышел, с силой хлопнув дверью.

3

Постепенно собрался весь мой маленький штаб. Из Матренина явился Толстунов, от Заева, с затерянной средь леса высотки, пришел невеселый, усталый Бозжанов.

Сидим молча. В печи трещит огонь. Заслонка открыта. Отсветы пламени играют на обоях. Невольно разглядываю узор: по немаркому, серому фону рассыпаны серебристые трилистники. Или, может быть, птицы. У косяка оконной рамы отодралась полоса обоев и свисает до полу. Никто уже не поднимет этих оторванных птиц. Хозяева оставили жилье, ушли, а мы... Мы здесь жильцы временные. Вернее, даже кратковременные.

На квадратном дубовом столе разложено бумажное хозяйство Рахимова; несколько остро очиненных цветных карандашей покоится на разостланной топографической

карте. Рахимов уже написал и отправил донесение, сейчас он вырисовывает на листе ватмана оборону батальона.

Входит Тимошин. Этот деликатный лейтенант-юноша ступает осторожно, словно бы стесняясь нарушить тишину, мою задумчивость. И останавливается около двери.

— Что тебе, Тимошин?

— Товарищ комбат, дали связь из штаба дивизии.

— Хорошо! Иди!

Он отдает честь, уходит.

Поцарапанная брезентовая коробка, вмещающая телефонный аппарат, стоит на подоконнике. Рядом присел дежурный боец-связист. Он произносит:

— Вызывают, товарищ комбат.

— Кто?

— Сверху. Из дивизии.

Беру трубку.

— Комбат?

Мгновенно узнаю могучий голос Звягина.

— Да, товарищ генерал-лейтенант.

Замечаю: Бозжанов поднял круглую стриженую голову, посмотрел на меня. Потом снова опустил.

— Приказ исполнили?

— Да.

— Донесение написали?

— Да.

— Ну, теперь спокоен за вас... Как ведет себя немец? Похлестывает?

— Да. Но уже пореже.

— Вскоре, думаю, угомонится. И сможем, комбат, поспать эту ночь спокойно.

Разговор закончен. Толстунов интересуется:

— Что он говорил?

— Сказал, что сегодня можем поспать ночь спокойно.

Инструктор пропаганды оставляет эти слова без комментариев. Мы снова молчим. В комнате ни улыбки, ни смешка. В мыслях мелькает: не я ли источаю это настроение грусти, обреченности? Не я ли своей мрачностью породил эту мрачную тень, нависшую над моим штабом?

Вспоминаю о делах. Приказываю телефонисту соединить меня с начальником санитарной части дивизии. Минуту спустя опять держу телефонную трубку, прошу сегодня же отозвать из Горюнов женщину-майора и ее помощников. На другом конце провода седой врач-полков-

ник, с которым я знаком еще с Алма-Аты, спохватывается:

— Прости, Момыш-Улы, из головы вон! Сделай милость, пошли кого-нибудь, позови к телефону эту черненькую лебедь. Нынче же ее заберу.

— Благодарю, товарищ полковник. Сейчас приглашу.

Как раз в этот момент в дверях появляется повар Вахитов, он тоже невесел.

— Товарищ комбат, ужинать-то будете?

— Будем! — отвечаю я.— И в женском обществе! А ну, товарищи, устроим званый ужин!

4

Старик повар вмиг преображается, радостно всплескивает руками, ему приятно мое оживление. Однако тотчас огорчение, испуг проглядывают в складочках лица.

— Товарищ комбат, на ужин у меня только гречневая каша.

Я не теряюсь.

— В таком случае званый чай. Товарищи, требуется снарядить дипломатическую миссию: комбат-де просит забыть о его грубостях, приносит покорнейшие извинения. Бозжанов, возьмешься быть моим послом?

Вижу: усталая, посеревшая было физиономия Бозжанова опять залоснилась. Он восклицает:

— Согласен! Отправляюсь на подвиг, товарищ комбат.

Наконец-то улыбка залетела к нам в штаб. Не остался в стороне и Толстунов — рассудительный старший политрук посоветовал своему другу-послу захватить с собою ловкого Гаркушу. Признаться, в душе я опять подивился Толстунову: черт возьми, все ему известно.

Так или иначе, полчаса спустя мы встретили, приветствовали гостей: женщину с майорскими шпалами в петлицах и Варю Заовражину.

— Доктор,— сказал я,— у нас, кажется, произошло небольшое столкновение.

— Небольшое? Предположим.

Я принес доктору свои извинения, а Варе незаметно показал кулак. И пригласил гостей к столу. Не жеманничая, Варя села как своя. Величественная «черненькая ле-

бедь», поговорив по телефону со своим начальством, тоже согласилась разделить нашу трапезу. Однако она и теперь, при каждой встрече, любит мне припомнить, какую я ей задал трепку в Горюнах.

«Так держать — значит не удержать»

1

С окон сняты плащ-палатки, служившие нам шторами. Медленно занимается, яснеет утро. На воле тишина. Редкая пальба по Матренину и Горюнам оборвалась еще до рассвета; уснув, я не заметил, в какой час она окончилась. Серые тона ноябрьского утра постепенно становятся светлей. Вот чуть заголубело незаволоченное, как и вечером, небо. И вдруг, будто эта проглянувшая блеклая голубизна была сигналом, по всему фронту рявкнула, взгремела артиллерия немцев.

Вместе с Толстуновым и Бозжановым я вышел на улицу. Не усидел в штабе и Рахимов. Давно мы не слышали такого грома. Непрестанно возникали его гулкие раскаты. Так в штормовую погоду бьет, обрушивается на препятствие ревущая волна прибоя. Канонада как бы перекатывалась по фронту. Она то уходила вправо, то возвращалась, рокотала в той стороне, куда были выдвинуты роты Филимонова и Заева. Потом огневой бурун снова шел направо.

День, как я сказал, выдался ясный. Впереди, там, где пролегал фронт, в воздухе ходили, разворачивались, порой пикировали, сбрасывали боевой груз немецкие бомбардировщики. Два «горбача» — самолеты-наблюдатели — кружили в высоте.

До полудня наша артиллерия не отвечала. Эта выдержка — рискну поделиться такой мыслью — характерна для Панфилова. Легко ли четыре часа молчать, не подкрепляя огнем дух своих войск, окопавшихся на передних рубежах? Четыре часа молчать — это значило верить солдату, его мужеству, сознанию долга. И располагать ответной верой.

Что выигрывалось этим молчанием? Засечены все артиллерийские позиции противника, а наши скрыты. Пан-

филов не раз говорил, что надо уметь разгадывать намерения врага по голосам его пушек. Расстановка артиллерии, сосредоточенность, кучность огня позволяют определить направление готовящегося главного удара. Однако эту истину ведали, конечно, и немцы. Они применяли военную хитрость, прокатывая с фланга на фланг волну огня. Вот и отыщи, где они намерены прорваться!

Имеются различные методы артиллерийской подготовки. Например: сначала измочалить, исколотить передний край, потом перебросить огонь в глубину. Или сперва обрушиться на позиции вторых эшелонов, устрашить, смутить резервы, затем перенести огонь — ударить по передовой... И рывок!

Шестнадцатого ноября немцы совмещали оба эти метода. Помолотив часа два по переднему краю, они затем несколькими залпами угостили и нас в Матренине и в Горюнах. На своем новом рубеже батальон понес первые потери. Я не знал, что в эти минуты происходило впереди,— атаковали ли немцы, где именно? — но вот их артиллерия снова оттянула прицел, громыхающий каток опять стал прокатываться по фронту.

2

«Первые сутки будут для вас легкими»,— предсказал Панфилов.

Так и случилось. Все же кое-что бегло отмечу в этом легком для моего батальона дне.

Примерно в обеденное время в мое распоряжение в Горюны прибыла батарея противотанковых орудий из резерва командира дивизии. Это служило знаком, что Панфилов не изменил своей оценки намерений противника, укреплял мой узелок. Артиллеристы заняли огневые позиции в лесу, наведя стволы на еще не совсем задернутое снегом Волоколамское шоссе.

Впереди продолжались грохотня, уханье, раскаты. Над гребешком леса вздымались, медленно расплывались в небе черные дымы. А у нас на холме, где протянулись Горюны, не прерывалась солдатская страда. Бойцы крошили землю, рыли и рыли оборону.

Взвод Шакоева занимался на шоссе. Встав у палисадника, я несколько минут наблюдал. Вот фанерный макет

танка быстро движется к бойцу, укрывшемуся в ямке. Что же тот медлит? Нет, все же успел. Вскинулся, еще миг выждал, метнул гранату. Хорошо, четко сработал! А, это худенький, слабогрудый Джильбаев, мой сородич. Теперь вот он каков! Верю ему, знаю — не зажмурит в ужасе глаза, не побежит, встретит танк гранатой.

Макет на полозьях возвращается для нового захода. К броску готовится политрук Кузьминич. Солдатская одежда — короткие голенища тяжелых сапог, ватные теплые штаны, что видны из-под встопорщившейся горбом шинели,— по-прежнему кажется чужой на нем. Танк приближается. Кузьминич, стараясь побороть неповоротливость, по-молодому быстро вскакивает, размахивается и... И тотчас слышится характерный, с кавказским акцентом, голос Шакоева:

— Отставить, отставить, товарищ политрук. Не так...

Стройный лейтенант-дагестанец в исцарапанных, испачканных землей хромовых сапогах, в загрязненной почти дочерна, ушитой по фигуре телогрейке,— пожалуй, в нем появилось некое особое щегольство оборванца,— легко подбегает к сорокалетнему мужу науки, впервые, быть может, пробующему метнуть противотанковую громоздкую гранату. Шакоев спокойно обучает политрука. Доносятся слова:

— Присутствие духа, понимаешь? Кидай с выдержкой, легонько.

Невольно вспоминается невидный, курносый посланец генерала.

3

В тот день, шестнадцатого ноября, довелось опять повстречаться с ним.

Мне позвонили из штаба дивизии: к нам направляется по приказанию генерала Панфилова команда истребителей танков во главе с лейтенантом Угрюмовым. Ответив неизменным кратким «есть!», я вернулся на складное кресло — это удобное кресло-кровать где-то раздобыл и притащил Синченко,— вернулся, уселся и задумался.

Не раз в нашей повести заходила речь о думах командира. Они настолько забирают тебя, так глубоко в них по-

гружаешься, что перестаешь замечать комнату, все окружающее. Правильно ли расставлены силы? Что сделаю, если бой сложится так? Как поступлю, если противник подойдет отсюда? Если вырвется сюда?

Удержаться до двадцатого! Прикидываешь бесчисленные варианты. Если не ошибаюсь, Лев Толстой в наброске предисловия к роману «Война и мир» говорил о миллионе вариантов, которые проносятся перед художником. Возможно, творчество командира сродни погруженности художника. Удержаться до двадцатого! В эти часы командирской творческой сосредоточенности задача, полученная от Панфилова, становилась моим собственным созданием, моим детищем.

Я сидел и думал под несмолкаемый рев прибоя. Порой машинально отмечал: вот гремящая волна покатилась в сторону, пошла обратно... Вот вступили басы наших пушек, вот зачастила, забарабанила наша истребительная артиллерия. Что же там? Уже дерутся? Уже идет атака немцев?

Под вечер мне позвонил Заев:

— Дали им прикурить, товарищ комбат.

— Что? Кому?

Задыхаясь, торопясь, он продолжал:

— Резанули их. Подпустили и — огрели.

Набираюсь терпения, выслушиваю его восклицания, не расспрашиваю — сам дойдет до сути. Оказалось, что к высотке, где окопалась рота Заева, проникла какая-то группа немцев с минометами. Возможно, лишь разведка. Винтовочный залп уложил несколько немцев. Другие под прикрытием огня отползли, унесли трупы.

Полчаса спустя позвонил Филимонов, доложил: немцы сунулись из леса и к станции Матренино. Вызвали наш огонь, ушли.

Тем временем низкие тучи затянули небо, повалил снег. В комнате слегка потемнело. И вдруг — для меня это было неожиданностью — я обнаружил, что наступил час сумерек. Мало-помалу пушечный гром утих. Закончился первый день новой битвы под Москвой. Насколько я мог судить, немцы нигде не прорвали наш фронт. Не знаю, задавались ли они в первый день этой целью. Вероятно, противник вклинился во многих местах, еще не раскрывая своих карт, не раскрывая, где проляжет его главный удар. Панфилов, как я уже сказал, по-видимому, придерживался

прежней догадки. Впрочем, он все же испытывал колебания. Поздно вечером он мне позвонил:

— Здравствуйте. Что делаете?

— Думаю, товарищ генерал.

— Дело хорошее. Я тоже этим занят. Как провели день?

Я доложил итоги дня. Конечно, Панфилову они были известны: о всяком изменении обстановки мы тотчас сообщали капитану Дорфману. Однако Панфилов, не торопясь, не подгоняя, еще раз выслушал от меня эти же сведения.

— Следовательно, обменялись любезностями издалека? — произнес он.

— Да.

— Так... Угрюмов к вам пришел?

— Еще нет.

— Передайте ему: пусть идет в Ядрово к майору Юрасову. Знаю, нехорошо гонять людей, но... Привели к этому думы.

— Есть!

— Ну, всего доброго, товарищ Момыш-Улы. Поспите, отдохните. Завтра ваш черед.

Еще минуту я молча постоял у аппарата. Панфилов опять — в который уже раз! — поразил меня. Он думает и об отряде в двадцать — двадцать пять человек, думает и передумывает, куда его послать. Эта горстка — команда Угрюмова — тоже резерв генерала. Нелегки же дела у него, командира дивизии! А где же завтра-послезавтра, когда удар немцев станет нарастать, где он, наш генерал, возьмет новые резервы?

Отойдя от телефона, я кратко изложил Рахимову, неизменно сидевшему за штабным столом, разговор с генералом.

— Велел нам,— заключил я, — подготовиться к завтрашнему дню, поспать. Ложись, вздремни часика три, а я подежурю, проверю посты.

Оделся, вышел на волю. Ветер, которому не хватало сил, чтобы завьюжить, увлекал, уносил падающие белые хлопья. Шоссе, что еще несколько часов назад пролегало черной, будто подметенной полосой, теперь укрылось пуховым покровом, слилось с дальними и ближними снегами. Ночную белесую мглу изредка тревожили голоса пушек. Вот со стороны Матренина дошел глухой хлопок. Вот

и здесь, на пустом пригорке, возник смутный взблеск, тотчас вдогонку добежала гремящая волна. И опять несколько минут покоя. И снова бахает один-другой разрыв. Немцы, как и в прошлую ночь, дарят вниманием Матренино и Горюны, держат наши нервы напряженными, ведут беспокоящий огонь.

Шагая под гору в сторону Москвы, к железнодорожной колее, перерезающей шоссе,— там, у путевой будки, тоже расположилось охранение,— я повстречал отряд Угрюмова. Свежий белый полог даже и под беззвездным небом отбрасывал какие-то слабые лучи, не позволял тьме стать непроглядной. Узнав меня, Угрюмов — ночью он, малорослый, в ватнике, облегавшем неширокие плечи, опять показался мне подростком — скомандовал:

— Стой!

И подошел, намереваясь докладывать. Я ему передал приказание генерала: идти дальше по шоссе в деревню Ядрово. Угрюмов досадливо крякнул.

— Ребята приустали. Думали здесь, товарищ старший лейтенант, заночевать.

— Отдохните,— сказал я.— Прикажу накормить ваших людей.

Угрюмов оглянулся на свою смутно темневшую команду.

— Нет, товарищ старший лейтенант, спасибо. Пойдем дальше. А то у вас только разморимся.

Прощаясь, он добавил:

— Жаль, не пришлось повоевать вместе.

Опять, как и несколько дней назад, было странно слышать от него, чуть ли не мальчика, эти серьезные слова.

Русские, здороваясь или прощаясь, нередко держат и трясут твою руку, выказывая этим дружеские чувства, уважение. Угрюмов лишь пожал мою кисть. Ощутив это пожатие, я опять подумал: «Силенка в руке есть!»

Он козырнул, пошел к своим. Вскоре отряд скрылся в снегопаде.

В нашу штабную избу я вернулся приблизительно к полуночи. Слышалось мерное дыхание спавшего Рахимова. Человек исключительной аккуратности, он обладал качеством, которое я ни у кого больше не встречал. Если ему скажешь: «Поспи часика три», он минута в минуту — в данном случае через три часа — откроет глаза, встанет. Будить его не требуется.

Я сел и опять задумался. Ночная тишь по-прежнему изредка нарушалась буханием разрывов. «Завтра ваш черед», — сказал Панфилов. Вот этому нашему близящемуся череду были отданы мысли.

Точно в свой срок поднялся Рахимов.

— Ложитесь, товарищ комбат.

Растянувшись на кресле-кровати, я долго не мог уснуть. Обдумывал, воображал подступающий день. И забылся лишь под утро.

4

В этот день, семнадцатого ноября, пушечные залпы заухали пораньше, чем шестнадцатого. Еще лишь брезжило, а огневой вал уже прокатывался по фронту. Немцы палили по-вчерашнему — раскаты то удалялись вправо, то возвращались, шли влево и снова направо. Так и ходил, так и качался впереди в рассветной мути этот маятник-ревун.

Слушая рык пушек, я невольно отмечал: дивизия удержалась на всем фронте, немцы по-прежнему лишь готовят удар, еще не раскрывая, куда, на какой участок он нацелен. Наша артиллерия, в отличие от минувшего дня, сразу стала отвечать. Отовсюду гремели наши залпы.

Мало-помалу на воле посветлело. Над снегами висело низкое, облачное небо. Вдруг ухо различило перемену в режиме немецкого огня. Налево от центральной точки переднего края дивизии, от лежащей впереди по шоссе деревни Ядрово, дробь участилась. А направо стукотня стала умереннее. Уже не оставалось сомнения: в одном краю бьют одиночные стволы и батареи, в другом — дивизионы, множество жерл. На левом фланге противник уже не крохоборничает. Дробь там еще усиливается, учащается. Значит, все окончательно решено, участок прорыва обозначен, противник уже не прячет намерение протаранить наш центр и левый фланг — намерение, угаданное Панфиловым,— уже молотами пушек прокладывает, проламывает себе дорогу.

В комнате все мы приумолкли. Знакомое нервное напряжение — ожидание атаки, рывка немцев — прокралось и сюда, в нашу избу, еще далекую от рубежа. Ища отвлечения, разрядки, я позвонил в штаб дивизии капитану Дорфману. Хотелось просто-напросто услышать его голос; перемолвиться словечком.

— Товарищ капитан, здравствуйте.

Всегда вежливый, приветливый, Дорфман на этот раз позабыл ответить на мое «здравствуйте».

— Ну, что у вас?

— У нас без изменений.

— Так. Дальше.

В тоне чувствовалось: чего тебе, спокойно сидишь, ну и сиди.

— Извините, хотел только доложить обстановку.

— А... Всего хорошего!

Легкий щелчок в мембране. Трубка на другом конце провода положена.

Приблизительно час спустя немцы перенесли огонь в глубину нашего фронта, замолотили по Матренину, по Горюнам, по вырубке, где окопалась рота Заева. В эти минуты, несомненно, двинулись вперед немецкие танки и пехота. Я ждал, не промчатся ли мимо нас по шоссе артиллерийские запряжки, меняющие огневую позицию, уходящие от прорвавшихся немцев. Нет, к нам не вынеслась ни одна пушка. Артиллеристы, как я мог понять, не отступали.

5

Ко мне обращается телефонист:

— Товарищ комбат, вызывает штаб дивизии.

Беру трубку. Мембрана без искажений доносит знакомый хрипловатый голос Панфилова:

— Товарищ Момыш-Улы, вы?

— Да.

— Что у вас делается?

— Артиллерийская стрельба. Противник ведет огонь.

— Какой огонь? Что за огонь?

— Огонь серьезный, товарищ генерал.

— А поточнее? Поточнее! Вот что, товарищ Момыш-Улы, выходите-ка на улицу. Вы же артиллерист. Взгляните своим оком, что там делается, понаблюдайте за разрывами. Потом мне доложите.

Перебросив через стеганку ремень своей шашки, я оставил наше штабное обиталище, в котором пока что все оконные стекла были целы, и вышел под открытое небо. У крыльца часовым стоял Гаркуша. Он взял на караул.

— Как немец? — спросил я.— В щель не загоняет?

— Нет. Терпеть, товарищ комбат, можно.

— Воюешь с морозом? — продолжал я.

— Точно. Часовой летом зной, зимой стужу стережет.

Миновав этого скорого на слово, неунывающего ездового, выйдя за калитку, я ступил на шоссе, крытое белым пухом, который близ обочин еще не был примят автомобильными колесами. В снегах, насколько хватало глаз, не видно ни пешего, ни конного. Деревня затаилась. На опушке, что темнеет в стороне, то и дело взблескивает белое пламя. Оттуда бьют на далекую дистанцию наши тяжелые орудия. Их выстрелы почти не слышны в треске и громе немецкого огня. Там и сям лопаются, рвутся бризантные гранаты и шрапнель.

Прислушиваюсь. Немцы по-прежнему грохают залпами. Присматриваюсь. Вижу очень большое рассеивание, большой разброс. Кучных попаданий — самых опасных, эффективных, устрашающих, когда один подле другого гремят несколько разрывов,— кучных попаданий нет. В воздухе возникают клубки дыма, напоминающие вату. Однако таких клубков не много. Более часты дымные взбросы на снегу; они слишком низки; это препятствует нужному разлету пуль, начиняющих гранату. Подобные разрывы у нас, артиллеристов, называются клевками. А чрезмерно высокие мы именуем журавлями. Почти все немецкие снаряды — и бризантные для открытого поля, и шрапнель для прочесывания леса — давали именно такие разрывы: или клевок, или журавль. Наш боевой порядок — цепочки одиночных окопов — был неплотным: неметкие, некучные удары немецкой артиллерии находили лишь редкую жертву. Да, пожалуй, напрасно в разговоре с Панфиловым я прибег к выражению: серьезный огонь.

Вернулся в штаб, взял трубку, доложил Панфилову о том, что увидел на дворе. Наговорил всякой всячины: наверное, не только дельное, но и пустое. Казалось, чем больше ему наболтаешь, тем лучше. Иной раз это воспринималось как некое чудачество Панфилова. Ведь нас воспитывали: «Короче, короче!» Доложил, повернулся и ушел. А Панфилов слушал, интересовался, вытягивал мелочи, подробности.

— Большое рассеивание? А сколько метров? Ну примерно, приблизительно, товарищ Момыш-Улы.

Этот штрих характеризует Панфилова как знатока. Чем отдаленнее от цели артиллерийские позиции, тем больше разброс. Возможно, наш передний край уже прорван, но немецкая артиллерия еще занимает позиции вдалеке, стреляет на пределе.

Несколько позже я сообразил, что в этот час была уже перерезана связь Панфилова с войсками, дравшимися впереди. Рассеивание снарядов, характер разрывов в Горюнах, всякие прочие признаки теперь отчасти заменяли ему связь, служили донесениями с фронта.

6

И вдруг весь этот артиллерийский стук и треск стал явственно стихать. Пальба немцев продолжалась уже не с такой активностью, как прежде. Снаряды рвались реже. Об этом тоже было доложено Панфилову. Я услышал, как он хмыкнул:

— Гм... Меняет позицию. Раньше он вас доставал кончиками пальцев, а теперь готовьтесь: попробует двинуть кулаком.

Время текло быстро. Приближался полдень, когда мне позвонил Заев.

— Товарищ комбат, усиленный обстрел из минометов.

— Что видишь?

— Немцы на опушке леса. На той стороне ручья. Шпарят минами. Не дают голову поднять.

Заев приостановился, ожидая моих слов. Доносилось его шумное дыхание. Что ему сказать? Неумно, бессмысленно стрелять на далекую дистанцию из винтовок под жестоким минометным огнем. Главное, надо сохранить людей. Приказываю:

— Притворись мертвым. А пойдут в атаку, стегани!

В это же время немцы подступили и к станции Матренино. Туда они тоже подтащили минометы, запалили по нашим окопам. Бойцы и тут прильнули к промерзшей земле, вжались в неглубокие ямки. Исхлестав минами нашу реденькую, лепящуюся к станции оборону, немцы пошли в атаку. Их встретили огнем. Эта первая атака была легко отбита. Однако, откатившись, немцы точней засекли каждый наш окоп, каждую винтовку. И опять десятки стволов стали метать мины. Нет-нет осколок залетал в

окоп, врезался в теплое, живое тело. Раненые отползали по снегу к поселку, тяжелых выносили, вытаскивали на себе санитары.

Обо всем этом мне по телефону доложил Филимонов. Еще не закончив донесения, он вдруг оборвал себя на полуслове:

— Опять, товарищ комбат, идут.

В отличие от Заева, Филимонов ничем не выказал волнения, его тон был по-прежнему ровен. Издалека чувствовалась его твердость, решимость. Я сказал:

— Посылай связного к пулеметчикам. Пусть помолчат, подпустят ближе.

— Есть, товарищ комбат. Понятно. Отобьем!

Истекло лишь несколько минут, и Филимонов вновь докладывал:

— Отбросили, товарищ комбат. Как дали им огоньку, так они сразу отскочили.

— А сейчас что у тебя делается?

— Опять дубасят минами.

— Какие потери?

— Небольшие, товарищ комбат.

Я всегда ценил уверенность, спокойствие Филимонова. Он этим отлично воздействовал на солдат. Сейчас я ощутил, что он опасается и за мою душу, заботится и о моем, что называется, моральном состоянии. Черт возьми, не много ли он на себя берет? Я раздраженно произнес:

— Что означает — небольшие? Точнее!

— Есть! Выясню, товарищ комбат.

Вскоре Филимонов доложил, что рота потеряла убитыми и ранеными двадцать человек. Теперь тактика немцев у Матренина стала мне яснее. Они не хотят тратить живую силу, не хотят платить за продвижение большой кровью. Вместо крови они согласны жертвовать временем. Но сколько же времени они отдадут нам за Матренино? Это нетрудно рассчитать. Они дважды сунулись, оба раза, напоровшись на огонь, тотчас отскочили и продолжали долбежку из леса, продолжали избиение минами моих солдат. Две долбежки — и мы уже недосчитываемся двадцати защитников станции Матренино. Надолго ли хватит солдат, что остались теперь в роте Филимонова? Еще десять подобных жестоких бомбардировок, и рота будет перебита. Когда это случится? Вряд ли сегодня. Но завтра в окопах у Матренина будут отстреливаться, сопротив-

ляться лишь немногие последние бойцы. Верю, мы не запятнаем свою честь, воинский долг будет исполнен.

Нет, мой долг — выполнить задачу, удержаться до двадцатого. Но как же, как же я удержу станцию?

Опять звонит Заев.

— Два раза, товарищ комбат, дали немцу по носу. Отогнали от моста. А теперь шпарит минами. Терпежа нет, товарищ комбат.

— Сиди.

— К немцу, товарищ комбат, как будто подходят танки. Ясно слышен гул моторов.

— Сиди и не стреляй.

— А ежели опять пойдут на нас?

— Выдерживай, не стреляй, подпускай ближе, чтобы потом не могли возвратиться в лес. Понял? Объясни это бойцам.

Проходит еще некоторое время. Я втиснулся в глубокое кресло, смотрю в стену, думаю. Перед глазами все тот же узор на обоях: трилистники, похожие на парящих птиц. Рассматриваю распластанные крылья, закорючки-клювы. По-прежнему у косяка оконной рамы свисает до полу отодранная полоса обоев. Уже никто не поднимет этих оторванных птиц. Сижу молча. Молчат и все, кто находится в комнате штаба. Бесстрастный Рахимов, мой сидячий начштаба, что-то пишет, склонившись над столом. Бозжанов — его, как вы знаете, я про себя именую ходячим начальником штаба — уже обряжен в шапку и в шинель: готов выйти в любой миг, ждет моего слова, поручения. Толстунов, самый старший по званию среди нас, как бы нештатный комиссар батальона, сидит в шапке на кровати. Куда-то исчезла его привычная глазу независимая, вольная поза. Сейчас он не приваливается к спинке, корпус выпрямлен, отложной ворот шерстяной гимнастерки, нередко распахнутый, тщательно застегнут. Еще утром он сказал: «Давай поручения, комбат!» Чувствую: он, как и Бозжанов, готов к действию. Штаб ждет моего слова. Но мне нечего сказать. Думаю, молчу.

Вновь тонкий писк — так называемый зуммер — призывает к телефону. Беру трубку. Опять слышу будто за-

пыхавшегося Заева. Из отрывистых фраз уясняю: немцы снова вышли из лесу, они, вероятно, подумали — «рус перебит», но все же, опасаясь ловушки, направились не на отметку, а в обход. Уже вот-вот клещи сомкнутся.

— Окружают, обходят, товарищ комбат. Два раза отбивал. Что прикажете, товарищ комбат?

Видимо, он ожидал, что я прикажу отступить.

— Держаться,— сказал я.

— Закроют проушину, товарищ комбат.

— Держаться, Семен! Пан или пропал!

Я и сам не знал, что хотел этим сказать: «Пан или пропал!» Но продолжал:

— Пусть окружают. Ни шагу назад!

Чик... Связь оборвалась, мембрана внезапно омертвела. Разговор с Заевым был пресечен на полуслове. Я крикнул:

— Тимошин!

Юноша лейтенант, начальник взвода связи, мгновенно появился из сеней. Он всегда находился под рукой и всегда был незаметен, словно стеснялся отвлекать меня от дум даже своим взглядом, присутствием.

— Тимошин, посылай людей! Восстанавливай связь с Заевым!

— Есть!

Это же воинское «есть!» читалось в его голубых глазах. Еще секунда, и он пробежал за окном.

Я позвонил Панфилову.

— Разрешите доложить? Рота на отметке два раза отбивала атаки. Теперь осталась в окружении. Связь с ней порвана.

Докладывая, я невольно допустил преувеличение. Ведь Заев мне сообщил, что коридор еще остался. Правда, за протекшие минуты немцы могли уже перехватить горловину. Нет, я обязан быть точным, обязан говорить своему командиру только истину. И поправил себя, сказал, что рота, быть может, еще не отрезана.

Панфилов похмыкал. Какой-то частицей души я втайне надеялся, что он произнесет: «Пусть пробивается, оставит отметку». Нет, он этого не произнес. Я продолжал:

— Идет бой за Матренино. Там немцы тоже два раза пытались подойти, были отбиты огнем. Ожидаю новой атаки. А в Горюнах спокойно.

— Спокойно?

— Да, товарищ генерал.

Горюны, эта наша крепостца, преграждавшая Волоколамское шоссе, были в тот день еще прикрыты отовсюду: слева ротами Филимонова и Заева, напрямик по асфальту — узлом обороны в селе Ядрово, справа — деревенькой Шишкино, где обретался штаб Панфилова. Я ожидал, что генерал скажет: «Отправьте роту из Горюнов на станцию», ожидал, что он найдет еще какую-нибудь роту, которую пришлет в Горюны. Нет, надежда и тут не оправдалась. Панфилов сказал:

— Сообщайте обо всем, товарищ Момыш-Улы.

И положил трубку.

8

Я вызвал к телефону Филимонова.

— Со стороны Заева береги себя.

— А что? Что там?

— Береги! Понял? Связи с ним не имею. Как дела у тебя?

— Земля дрожит. Но ничего. Держимся.

— Сколько еще потерял людей?

— Выясню, товарищ комбат. Доложу.

Опять мне показалось, он заботится о том, чтобы гнетущими вестями не поколебать, не смутить мой дух.

— Где раненые?

— Те, что могут, пошли к вам. А тяжелые тут, в поселке.

— Так... Посылаю тебе повозки для эвакуации раненых. Сейчас прибудут пять повозок.

Я полагал, что Филимонов воскликнет: «Куда пять, двух хватит!» Но он ничего не возразил. Черт возьми, неужели такие потери?!

Окончив разговор, я с тягостью на сердце еще постоял у телефона. Затем обернулся, сказал:

— Бозжанов, сходи к Пономареву, пусть немедленно пошлет пять повозок к Филимонову, чтобы вывезти раненых.

У Бозжанова вырвалось:

— Пять?

Он, мой чуткий общительный сородич, конечно, ощущал мою подавленность, понимал, каким мрачным было мое приказание. Тотчас поднялся Толстунов:

— Комбат, может, я схожу?

И опять глаз отметил: Толстунов стоял по-иному, чем обычно, не вразвалку. «Располагай мной!» — говорил его собранный вид.

— Погоди, Толстунов. Сиди,— сказал я.

И вновь обратился к Бозжанову:

— Возьми повозки и поезжай с ними на станцию. Побывай там, узнай, что делается, и возвращайся.

— Есть! — выдохнул Бозжанов.

Его щеки, пополневшие в дни передышки, еще вчера лоснившиеся, осунулись, потеряли блеск за одно утро. Прирожденная улыбка покинула уголки губ. Стремительный, серьезный, он козырнул и вышел.

9

В комнате опять водворилось молчание. Толстунов снова присел на кровать, я опустился в кресло, невидящим взором уставился в стену.

Опять потекли думы. Заев окружен. У Филимонова выбивают бойцов одного за другим. Что же мне делать? Как удержусь до двадцатого?

Захотелось выйти из-под крыши, послушать на воле звуки боя, походить. Надев ушанку, перекинув через плечо ремешок шашки, я выбрался из нашей штабной избы, ступил на крыльцо. Вновь увидел часового. Теперь это уже был не Гаркуша. Но кто же? Съежившись, подняв воротник, отвернув лицо от ветра, низенький красноармеец держал ружье в обнимку. Уши низко нахлобученной шапки были опущены, подвязаны. Услышав мой шаг, он быстро обернулся, взял на караул. Джильбаев! Его втянутые смуглые щеки, короткий приплюснутый нос полиловели на морозе. Я вздрогнул, на миг замер, будто меня кто-то хлестнул. Джильбаев! С поразительной четкостью всплыло воспоминание. Минута у ручья, который я назвал арыком. Минута, когда я вдруг представил себя на месте моего заплакавшего маленького соплеменника. Стою у обрыва, потерявший честь, приговоренный к расстрелу. И не оружие врага, а пули сынов Родины, вершащих воинское правосудие, принесут мне постыдную смерть.

Пожалуй, уже в этот час, когда я шагнул на крыльцо и увидел коченеющего на морозе Джильбаева, я мысленно

взвешивал: быть может, рискнуть честью, приговорить самого себя к бесславному концу.

Молча ответив на приветствие часового, я прошагал на шоссе.

С разных сторон слышались то заглушенные, то более явственные шумы боя. Частые глухие хлопки доходили от деревни Шишкино, где находился со своим штабом Панфилов. В ближнем лесу раздавались резкие выстрелы наших орудий. Там, над опушкой, в небе то и дело возникали ватные клубки шрапнели: немцы сверху прочесывали лес, стремились подавить батарею. Уже почти не было ни клевков, ни журавлей — противник приблизил артиллерию. Порывы ветра доносили издалека отчаянную стукотню пулеметов. Где-то впереди, за грядой леса, били наши противотанковые «сорокапятки». Со станции Матренино доходил слабый слитный гул минометного обстрела. А сюда, в Горюны, немцы теперь лишь изредка бросали один-другой осколочный снаряд. Там и сям на снегу чернели пятна разрывов. Кое-где и на белом шоссе виднелись неглубокие темные воронки.

Погруженный в думы, я пошел к перекрестку, откуда ответвлялась дорога на Матренино. Еще издали увидел: по этой нахоженной тропе тянется вереница раненых. Некоторые едва ковыляют, останавливаются, снова плетутся. Я обождал у развилки.

Впереди брел Голубцов. Я не сразу узнал этого рослого солдата, запевалу батальона, который позавчера вечером на рубеже сильными ударами крошил, высекая искры, каленую землю. Шинель была наброшена внакидку. На сукне у ворота, близ плечевого шва, была заметна небольшая рванинка. Еще не потемневший свежий бинт охватывал странно недвижную шею. Я окликнул его.

Остановившись, он с усилием слегка выпрямился. На обескровленном лице загар казался желтым. Глаза провалились. Вам известно: настоящий солдат может сказать мудрое слово. Случается — вы тоже это знаете,— что и раненые могут поднять дух. Нет, вряд ли на это я надеялся.

— Ну как там, Голубцов?

Он сплюнул. Розовый плевок лег на истоптанный снег.

— Как там? — повторил я.— Держим?

Голубцов ответил:

— Ежели так держать...— Он с хрипом передохнул.— Ежели так держать — значит, не удержать.

И, тяжело ступая, пошел дальше.

Так ловят хищных птиц

1

Заглянув в хозяйственный взвод к Пономареву, приказав ему остановить любую машину, которая пойдет через Горюны в сторону Москвы, и подсадить раненых, я вернулся в штаб.

На краю кровати по-прежнему сидел Толстунов, сидел таким же настороженным, как я его оставил. Из-за стола бесшумно поднялся Рахимов. Его губы не шевельнулись, не произнесли: «Разрешите доложить». С одного взгляда я понял: ничего нового, связь с Заевым не восстановлена, по рубежу роты Филимонова, как и раньше, хлещут минометы.

Кивнув Рахимову — «садись», я занял свое кресло. В ушах застрял потерявший звонкость голос Голубцова. Да, не удержу станцию. Минометы исподволь выбьют всех бойцов. Так держать — значит оставить. Не сегодня, так завтра. И сколько ни думай, нет возможности предотвратить нависающий исход. У нас, казахов, есть поговорка: если сердцу суждено лопнуть, пусть лопается немедленно. Сидеть в бездействии, ожидая неминучего,— это жгло, терзало меня.

Вошел в своих мягких сапогах Вахитов.

— Товарищ комбат, обедать.

— Не буду. Уходи.

Я знал, что мой штаб без меня не притронется к обеду, знал, что голодны и Толстунов и Рахимов, но не мог в этот час помыслить о еде.

Еще протекло несколько минут молчания.

— Рахимов, генерал звонил?

— Нет. Порыв линии, товарищ комбат.

У нас в армии за связь отвечают по принципу: сверху вниз. Начальнику принадлежат заботы об исправном действии линии, ведущей к подчиненному. Однако я вызвал Тимошина.

— Посылай бойца, помогай искать порыв на линии в Шишкино.

— Есть!

Одетый строго по форме — два ремешка протянулись крест-накрест по заправленной без морщиночки шинели, красная звезда на серой шапке поблескивала точь-в-точь над переносьем,— Тимошин ожидал моего «иди».

Я спросил:

— От тех, кто пошел к Заеву, никаких вестей?

— Никаких, товарищ комбат.

— Посылай к нему еще!

— Разрешите исполнять?

— Да. Иди.

Отчетливый легкий поворот, негромкий стук затворенной двери, и Тимошина уже нет в комнате.

Опять молча гляжу на птиц с розоватыми загнутыми клювами. Заев... Что с ним, с его ротой? Внезапно всплывает: обросший рыжей щетиной, он уткнулся лбом в перекладину рамы, из которой вышиблены стекла, глядит на меня из-под нависших бровных дуг. Таким я его видел в избе возле Военного трибунала дивизии.

Сумею ли я быть безжалостным к самому себе? Неужели и мне предстоит это же: небритый, без петлиц на вороте, в шапке без звезды, буду, сжав пальцами перекладину рамы, глядеть из холодной избы.

2

Только в эту минуту я вполне осознал: у меня зреет решение отдать станцию.

Нет, нет! Не имею права! В мыслях я услышал низкий сильный голос Звягина: «Даже один шаг назад с этого рубежа был бы предательским, преступным». Нет, нет, не пойду на преступление! Пусть потеряю людей, не удержу рубеж, но не замараю честь.

Но кому она будет нужна, моя честь, если не исполню долг — мой последний единственный долг: удержаться до двадцатого... Не удержусь! Сейчас мне это ясно. Не сохраню людей, ничего не сохраню! Вновь, не в первый уже раз тут, на полях Подмосковья, припомнилось, как однажды вечером в Алма-Ате Панфилов мне сказал: «Умереть с ба-

тальоном? Сумейте-ка принять десять боев, двадцать боев, тридцать боев и сохранить батальон!» Но позавчера он, наш генерал, выговорил: «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Выговорил, когда почувствовал, что я понял задачу. Товарищ генерал, как же мне быть, на что решиться? Я же не выполню, не выполню задачу!

Встал, прошелся, остановился у стола, на котором аккуратно, по-рахимовски, было разложено наше штабное бумажное хозяйство. Наклонился над картой. Вот станция Матренино с прильнувшим к ней поселком — несколько тесно сбежавшихся черных значков у слегка изогнутой нитки железнодорожного пути. Вокруг Матренина чистое поле среди зеленых пятен леса. Немцы в лесу — там их не достать,— мы на открытом ровном месте. Быть может, мне следовало бы расположить нашу оборону где-либо на опушках, тоже воспользоваться прикрытием леса? Держали бы на мушке подходы к поселку, просекали бы поле огнем. Поздно, поздно сожалеть об этом. И все-таки во мне затеплилась неясная надежда. Ведь если я прикажу Филимонову оставить станцию, его рота сможет не пустить немцев дальше, вот с этих опушек перекроет дорогу огнем. Удастся ли это? Возможно.

Нет, мне не позволено сдать станцию! У меня нет права на такой приказ. Но что же делать? Сложа руки ждать развязки?

Обратился к телефонисту:

— Проверь, штаб дивизии отвечает?

Телефонист стал упорно выкрикивать позывные штаба дивизии. Было без пояснений понятно: отклика нет. Он доложил:

— Ни шумка... Мертвое дело, товарищ комбат.

Я безмолвно повторил это невзначай вылетевшее у телефониста выражение. Мертвое дело... Неужели и впрямь так?

На столе среди прочих бумаг лежала красная книжка уста́ва. Я машинально взял ее, раскрыл. И вдруг увидел на полях пометку Панфилова, три черточки карандашом. Прочитал отмеченные строки: «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы».

Прочел, положил книжку. Это был миг решения.

Я подошел к телефону, вызвал Филимонова.

— Ефим Ефимыч, ты? Что у тебя?

— Долбит... Наверное, скоро опять сунется. Хочет, думаю, смешать с землей и потом войти.

— Слушай мой приказ. Если сунутся, не надо стрелять.

— Как? Что?

— Не надо стрелять. Пусть будет так, как желает немец. Сдай станцию.

3

— Сдай станцию! — повторил я.

Смятение, колебания уже были выметены за порог — порог, что я переступил. Внутренний голос, предостерегавший: «Это противоречит приказу, ты не имеешь права», был задушен, смолк. Военным людям, собратьям по профессии, вряд ли требуется пояснение: командир должен потерять пять килограммов веса и состариться на пять лет, прежде чем принять такое решение.

В телефонной трубке прозвучало:

— Как? Как? Не понимаю.

— Думаешь, ослышался? Нет! Сдать! Бежать к мосту! Собраться там!

— Товарищ комбат, что вы говорите! Мы отбиваем, мы еще здесь устоим, а вы хотите сдать?! Я... Я не...

Это был бунт Филимонова. Не стерпело, взбунтовалось его сердце кадровика командира, коммуниста, пограничника. Ведь именно ему, ему и Толстунову, генерал-лейтенант Звягин напомнил, что сдача рубежа — преступление.

Я не дал договорить запнувшемуся Филимонову:

— Вы слышали мой приказ? Повторите.

Молчание. Филимонов не повторяет приказа.

— Повторите.

Филимонов нехотя произносит:

— Сдать станцию...

— Да. Бежать, драпать к мосту.

— Есть.

Ну, есть так есть. Я кинул трубку. В ту же минуту Толстунов, все время сидевший как бы наготове — в ушанке и в шинели, безмолвно поднялся и пошел к двери. Я не обменивался с ним мнениями, ни с ним, ни с кем другим, приказывал как командир-единоначальник.

— Куда ты? — спросил я.

— В Матренино.

Он не сказал больше ни слова. Еще миг я смотрел ему в спину. Его шаг был решительным, твердым. Подумалось: «Это пошел комиссар». Вот за ним стукнула дверь.

Я постоял еще минуту молча. Чем закончится этот денек? Что сталось с ротой Заева? Как обернется бой в Матренине? Чуть брезжущая, смутная надежда — не обманет ли она меня? Как, где встречу вечер? Под арестом? Под судом? Что ж, готов к этому. Перед совестью я чист. Своему долгу, своей совести я не изменил. Совесть и страх. Да, не всем ведомый, особый страх командования, ответственности — той ответственности, о которой сказано на помеченной карандашом Панфилова страничке устава. Совесть и страх. Вот как они дрались!

Посмотрел на Рахимова.

— Ну, Рахимушка, сдаем станцию. Может, тебе придется командовать батальоном вместо меня...

Учтивый Рахимов хотел сказать что-то приличествующее случаю, но я остановил его взглядом.

— Если придется командовать вместо меня, то будешь иметь бойцов. Пока они живы, можно воевать.

4

Я молил бога, чтобы подольше не восстанавливалась связь со штабом дивизии. Сначала пусть исполнится мой замысел, потом доложу о совершившемся. Но все же заставил себя опять обратиться к телефонисту:

— Чего дремлешь? Вызывай, вызывай Заева. И штаб дивизии.

— Да они, товарищ комбат, давно бы и сами сюда гукнули.

— Не рассуждать! Вызывай, если приказано.

В комнате опять настойчиво, несчетно зазвучали условные словечки — позывные. Нет, Заев не отвечал. Линия в штаб дивизии тоже еще оставалась порванной.

Я сказал Рахимову:

— Езжай в Матренино. Выбери место для наблюдения где-нибудь около моста. Бери телефонный аппарат и

обо всем, что увидишь, сообщай мне. Рота должна дать драпака и собраться у моста. Понял?

— Да. Есть, товарищ комбат.

Рахимов взял под мышку одну из запасных коробок полевого телефона и вышел. Его докладам я мог верить, как собственному оку, он всегда был неукоснительно точным. Минуту спустя я в окно разглядел, как он вскочил в седло и почти с места бросил коня в галоп.

Вот со мной уже нет и Рахимова. Почему сам я не поехал? Во-первых, я отвечал за все три узла, за всю оборону батальона. И кроме того, вскоре мне предстоял еще один бой — разговор с генералом. Как я доложу, как ему признаюсь? Получу ли его благословение или... К черту из мыслей это «или»!

Рахимов наконец доскакал. Его телефон подключен к линии.

— Что видишь?

— Противник бьет минами по рубежу.

— Сильный огонь?

— Да. Непрерывные разрывы.

Я вызвал Филимонова, свел его на проводе с Рахимовым.

— Рахимов, ты нас слышишь?

— Да.

— Филимонов! Объявил мой приказ бойцам?

— Еще нет. Не успел, товарищ комбат.

— Ах ты...— Я, пожалуй, впервые за все дни боев вслух вспомнил мать и бабушку.— Если ты набрался смелости так поступать, пошлю Рахимова, чтобы трахнул на месте за неисполнение боевого приказа. Рахимов, слышишь? Расправишься с ним без разговоров! Филимонов, слышишь?

Убитый, неуверенный голос Филимонова:

— Да.

И вдруг в мембране еще один голос:

— Товарищ комбат?

А, вмешался Толстунов. Почему-то он назвал меня официально «товарищ комбат». Кажется, никогда он ко мне так не обращался.

— Товарищ комбат, я здесь, у лейтенанта Филимонова. Ваш приказ будет исполнен.

Ясно, твердо Толстунов выговорил эти слова.

— Где Бозжанов? — спросил я.

— Тоже тут. На рубеже.

— Берись, Федор Дмитриевич. Проведи этот...— Я запнулся, ища выражения. Маневр? Нет, смутно мерцавшую надежду я еще не мог назвать маневром.— Этот отскок. И держи вожжи. Проведи вместе с Бозжановым.

— Зачем? Это проделает командир роты. Подменять его не буду.

Так незаметно, спокойно Толстунов меня поправил. Я с ним молча согласился.

Жду... Жду, что сообщит Рахимов. Скорей бы немцы шли в атаку. Если сердцу суждено лопнуть, пусть лопается тотчас. Скорей бы отдать станцию, пока не позвонил Панфилов. Что ему скажу? Как ему скажу?

5

Бог не внял моей мольбе. Телефонист радостно выкрикнул:

— Товарищ комбат, есть штаб дивизии!

Ну, пришло время открыться, поведать все Панфилову. А дело еще не свершилось, станция еще не сдана.

— Вызывай генерала.

— Разом, товарищ комбат... Генерал у телефона, товарищ комбат.

Я взял трубку. Она будто потяжелела, будто отлита из чугуна. Неожиданно услышал в мембране голос Звягина.

— Кто говорит?

Я оторопел. Готовность сообщить свое решение мгновенно была подсечена. Я испугался. Отдать немцу станцию не испугался, потерять честь, встретить казнь не испугался, а вот перед Звягиным смешался. Ощутил — не выговорю истину.

— Докладывает старший лейтенант Момыш-Улы.

— А, обладатель шашки... Ну, что у вас?

— Противник захватил станцию Матренино.

— Что? — прогремело в трубке.

— Рота не могла удержать. Она несла потери под губительным огнем. Поэтому...

— Кто вам позволил?!

Громовой голос бил в ухо. Однако тотчас Звягин заговорил ледяным тоном:

— Сдайте командование начальнику штаба и явитесь в штаб дивизии.

— Я не могу сдать командование. Я здесь один.

— Как только придет начальник штаба, сообщите ему, что вы больше не командуете батальоном. И немедленно отправляйтесь в штаб дивизии. Здесь с вами поговорю.

— Не знаю, удастся ли пройти засветло.

— Явитесь с наступлением темноты.

И трубка брошена. Слава богу, получил три-четыре часа отсрочки. Ответ будет нелегок, но я к нему готов. Минутная растерянность ушла без следа. Да, она длилась лишь минуту. А потом? Некогда про это думать. Я был уже захвачен своим замыслом, погружен в него, объят его огнем.

6

Вновь позвонил Рахимов.

— Товарищ комбат...

— Ну?

— Немцы идут в атаку.

— А наши?

— Наши побежали. Бегут без оглядки.

Рахимов доносил сдержанно, скупо, но если вы будете рисовать картину, которую он видел, то надо дать подлинное бегство, безудержный, беспорядочный «драп». Поймите солдата. Целый день под жутким обстрелом лежишь в мерзлом неглубоком окопе, жмешься к стенкам, к жесткому донцу этой ямки, слушаешь, как с угрожающим гудом низвергаются мины, ловишь глухой взрыв, свист разлетающихся кусков рваного железа, невольно оглянешься, увидишь отползающих к поселку раненых, пятна крови на бинтах, ждешь, что вот-вот какой-нибудь осколок врежется и в твое тело. Нервы так натянуты, что один повелительный крик «назад!», пример командира отделения, командира взвода, кинувшегося вспять из своего окопа, мгновенно высвобождает подавленное дисциплиной и сознанием долга естественное человеческое стремление уйти, убежать, вырваться из этого ада.

Не ограничивайте себя, дайте резкие мазки. Бегство гурьбой во все лопатки; тяжелый топот; рты хватают воздух; скорее, скорее прочь отсюда!

По донесениям Рахимова слежу за бегущей толпой. Бойцы приближаются к мосту. Крепыш Толстунов обогнал многих, выбрался вперед, не постеснялся своего звания, превратился в вожака. Остановятся ли мои люди у моста? Не пронесутся ли с помутненными глазами дальше, не рассеются ли по лесу?

Остановились!

Потеряли свои взводы, отделения, но остановились — исполнили команду. Кто сел, кто лег в изнеможении. Ни одна мина, ни одна пуля не залетает сюда, под мост и за железнодорожную насыпь, к которой почти вплотную подступил строй елок.

Слушаю дальше сообщения Рахимова. Передовая группа немцев заняла станцию. Затем остальные вытянулись в ротные колонны и вступили в поселок. Туда полем, проминая тонкий покров снега, проехало и несколько мотоциклеток, вооруженных пулеметами.

Опять запищал телефон. На этот раз позвонил Панфилов:

— Товарищ Момыш-Улы, что там у вас произошло?

— Сдал станцию.

— Как же это? Почему?

По жилке провода дошла и хрипловатость Панфилова, сейчас более явственная, чем обычно. Легко было догадаться: он расстроен, огорчен.

— Люди бежали в беспорядке. Я так приказал.

— Вы приказали?

— Да. Иначе потерял бы роту.

— Гм... Гм... А дальше? Как думаете? Что дальше?

— Думаю контратаковать. Разрешите, товарищ генерал, вернуть станцию контратакой.

— Гм... Вы же достаточно грамотны, товарищ Момыш-Улы, и должны понимать, что люди, которые только что бежали с поля боя, сейчас не способны к контратаке.

— У меня, товарищ генерал, все-таки есть надежда.

На память пришли слова Панфилова, его напутствие. Я повторил его фразу:

— Надежда согревает душу. Разрешите, попробую.

— Попробуйте...— В голосе, однако, звучало сомнение.— А дорогу держать сможете? Держать огнем?

— Да.

С минуту генерал помолчал.

— Что слышно на отметке?

— Нет связи. Посланы связные.

Я ожидал, что Панфилов обмолвится хоть словом о приказе Звягина. Да, он сказал:

— Вечером я вас увижу. До свидания.

Все было понятно. Надо исполнить приказ заместителя командующего армией. Ты, Бауржан, отрешен. Сдавай командование. Что же, чему быть, того не миновать.

7

Рахимов продолжал сообщать мне обо всем, что видел: и о противнике, и о нашем стане у моста.

Немцы заняли поселок. Разошлись по домам. И немедленно начался разгул завоевателей. Сейчас Рахимову воочию предстало правило гитлеровской армии, правило, о котором мы слышали, читали: возьмешь населенный пункт — все хорошие вещи твои, все молодые женщины твои! Немцу-солдату, захватившему деревню, предоставлено право разбоя.

Часть жителей не покинула поселок, не ушла от сараев с живностью, от погребов, от добротных домиков с застекленными террасами, с резными наличниками вокруг окон. Они, эти жители Матренина, притаились в кухоньках, в подполах, в запечьях. Вооруженные люди в немецких зеленоватых шинелях стали охотиться за курами, гусями, поросятами.

— Рахимов, передай Филимонову: собрать людей, привести в порядок.

— Люди в сборе, товарищ комбат.

— Что делают немцы?

— Ловят девчат. Стреляют домашнюю птицу, поросят.

— Хорошо. Прекрасно. Замечательно.

— Товарищ комбат, что?!

Наверное, Рахимов подумал: не свихнулся ли комбат?

Лишь потом он меня понял. Разве худо — пришли, разбрелись, заняты грабежом?!

Рахимов докладывал, и во мне трепетала радость. Ненависть и радость. Оправдывалась, оправдывалась единственная моя надежда.

Я приказал:

— Пусть люди залягут на насыпи и смотрят.

Некоторое время спустя Рахимов кратко сообщил:

— Рота в порядке, товарищ комбат.

— Сколько бойцов?

— Приблизительно сто двадцать.

— Что у немцев?

— Наверно, уже потрошат кур, свиней. Сейчас будут класть на сковородку.

— Подождем... Подождем, пока не станет красным клюв.

— А-а... Понимаю, товарищ комбат.

Вот когда он ухватил то, что я замышлял. Знаете ли вы, как ловят хищных птиц? Сын Средней Азии, ее гор и степей, Рахимов это знал. Хищная птица, кидаясь на жертву, раздирает мясо и жадно клюет. Свежая кровь опьяняет хищника. Птица запускает клюв все глубже и наконец окунает до ноздрей. Такова ее жадность. Весь клюв делается красным. Пернатый разбойник уже ничего не чует, не смотрит ни направо, ни налево. Как только заклюется до того, что окунет ноздри, так цап его — и готово! Надо лишь дать время, чтобы клюв окрасился кровью от кончика и до основания.

Враг, захвативший Матренино, запускал клюв все глубже. Логика противника была проста: рус не стерпел, удрал, а раз удрал, значит, не вернется. Меня подмывало отдать приказ о контратаке. Нет, надо выдержать, выждать.

— Рахимов, что нового? Где Толстунов?

— Здесь. В роте, товарищ комбат.

— Бозжанов?

— Тоже с бойцами.

— Ну, Рахимушка, слушай мой приказ. Разделиться на три группы по сорок человек! Одну поведет Толстунов, другую Бозжанов, третью — Филимонов. Пусть по опушке обтекают станцию. Ворваться с трех сторон! Бойцам сказать: «Лети вперед, винтовка наперевес, гранаты под рукой, на бегу стреляй и кричи «ура».

— Товарищ комбат, разрешите передать трубку лейтенанту Филимонову.

Теперь и Рахимов деликатно выправлял меня. Что же, у нас, как вы знаете, это повелось: чего я не сказал, договорил начальник штаба. Конечно, следовало найти несколько сердечных слов для командира роты.

— Ефим Ефимыч, ты? Рахимов тебе передал приказ?

— Но как же, товарищ комбат? Там ведь батальон.

— Да. И мы их разгромим.

Мелькнула мысль: не следовало ли загодя разъяснить ему маневр? Но раньше и мне самому этот маневр далеко не был ясен. Теперь я повторил:

— Разгромим. Не дадим опомниться.

— Вы думаете, товарищ комбат, удастся?

Филимонов еще продолжал спрашивать, но в голосе пробивалась радость.

— На то и бой. Надо сделать так, чтобы удалось. Отплатим им, Ефимушка! Создавай три группы! Главное командование принадлежит тебе. Бозжанов и Толстунов — твои помощники. Ну, Ефимыч, с богом!

8

Темные шеренги деревьев с молодью в ногах — хвоя, не облетевший еще дуб, оголенный осинник, береза — отовсюду посматривают на обширную заснеженную поляну, прорезанную слегка изогнутым железнодорожным полотном. Возле станционных построек раскинулись добротные, а то и щеголеватые домики поселка. Опушка кое-где далека, в других местах край леса подходит к станции совсем близко: на двести — двести пятьдесят метров.

И вот три отряда, по сорок человек, крича «ура», стреляя, понеслись к деревне. Снег не мешал мчаться. Толщина покрова была как раз такой, что он лишь слегка проминался, пружинил под сапогом. Пока немцы опамятовались, наши уже добежали, ворвались.

Рахимов подробно обо всем докладывал. Сейчас скуповатость на слово оставила его.

— Застигли, товарищ комбат, до того внезапно, что немцы ошалели.

Поистине это был громовой удар, гром среди ясного неба. Неожиданность отняла разум. Наверное, паника подняла прямо из кроватей. Некоторые держали в руках кители. Так в нижнем белье и выбегали.

Когда слушаешь такой доклад, улыбка раскрывает губы. Хочу и не могу ее сдержать.

Панфилов не звонит. Очевидно, решил меня не дергать.

И до поры до времени не волновать. Но позвонил капитан Дорфман. Его голос суховат:

— Доложите обстановку.

Отвечаю:

— Ничего не могу доложить. Связь порвана. Ничего не знаю.

— Немедленно восстановите.— Он, учившийся каждодневно у Панфилова, тут же исправил это свое «немедленно»: — Через четверть часа выясните обстановку.— И добавил мягче: — Примите все меры, чтобы восстановить связь.

— Слушаюсь.

Опять разговариваю с Рахимовым:

— Ну, Рахимушка, докладывай.

— Резня, бойня, товарищ комбат. Немцы, кто уцелел, кинулись со станции. Бегут врассыпную, спасайся кто может! Э, товарищ комбат, их еще много. Побежали в лес. К насыпи. В свободную сторону.

— А наши?

— Преследуют. Гонят по пятам.

9

Впоследствии по множеству рассказов были восстановлены различные эпизоды, подробности этого боя. Нагрянувшие, учинившие страшную расправу-месть красноармейцы будто отведали, хлебнули напитка по имени «дерзость». Стихийно, без команды, они понеслись вслед за бегущими. Преследуя, наши стреляли на бегу — стреляли с толком и без толка,— приканчивали отставших.

Провод по-прежнему соединял меня с Рахимовым, уже перебравшимся в поселок.

— Рахимов, верни на станцию хоть половину роты! Закрепляйтесь! Какая-нибудь неожиданность может все перевернуть.

— Ничего не могу сделать, товарищ комбат. Все гонятся за немцами. Даже Филимонов.

— Посылай связного! Останови! Верни!

Широкая полоса в поле по пути бегущих там и сям была уже устлана — я знал это из сообщений Рахимова — трупами в большинстве без шинелей, в серых немецких кителях или в нательных рубашках.

Повторяю: два часа назад мы тоже задали «драпака», уносили ноги. Однако наше бегство было вызвано приказом, было преднамеренным, а теперь враг удирал, обезумев. Это надо различать. Когда противник панически бежит, в преследовании даже самый боязливый или неопытный солдат обретает удаль.

Вместе с оравой, в какую превратился немецкий батальон, бежал без фуражки командир этого батальона, потерявший управление здоровяк капитан. Он кричал «хальт!», взмахивал пистолетом, пытаясь остановить, повернуть против нас своих людей. Их еще было немало. Однако власть командира, выкрики «стой!», угрозы, даже, возможно, расстрелы в затылок на бегу за неподчинение уже не действовали.

У нас вырвался вперед вчерашний московский школьник, боец-новичок Строжкин. Помните, он однажды мельком появился в нашей повести... Канунный вечер. Красноармейцы рубят тяжелый, мерзлый грунт. Робкий голосок: «Такой окоп разве спасет?»

И вот парнишка Строжкин сумел на крутом откосе железнодорожной насыпи догнать капитана. Охотники знают, что удирающего матерого волка даже и одногодовалая собака хватает за уши, за холку. Это сделал и Строжкин: цапнул волка. Именно цапнул. В руках юноши винтовка, на конце штык, а он — тут и упоение победой, и дерзость, озорство — сумел поймать подол шинели и потянул к себе. Физически крепкий, поистине матерый, капитан обернулся, узрел тонкокостного юнца с пушком на нежной коже, отбросил разряженный, ненужный пистолет и, взбешенный, кинулся на Строжкина, свалил и стал душить. Судорожно сопротивляясь, Строжкин успел, наверное, подумать: «Зачем я в него не выстрелил?» Это горькое, позднее сожаление бойца. Но не умирать же! Напряг силы. Рывок. Удар коленом в пах. Крутизна откоса помогла. Немец потерял точку опоры. Оба покатились вниз. Катясь, переворачиваясь, москвич изловчился, боднул немца в глаз. Капитан взревел, схватился за лицо. Строжкин вскочил, бросился к своей винтовке. На выручку уже подоспели наши. Строжкин — теперь это был другой человек, герой, богатырь,— по праву крикнул:

— Не трогать его! Я его взял!

Он вывернул у пленного карманы, отобрал полевую сумку, нашел, поднял пистолет-парабеллум, сунул за свой

пояс. И повел в Матренино стонущего, окровавленного капитана.

Другие бойцы тоже стали возвращаться. Строжкин остановил пленного, подождал идущих. Тоненький, едва познавший бритву, он набрался такого молодечества, что гаркнул:

— Кто велел идти назад? Только вперед!

Издали ему крикнул Филимонов:

— Строжкин, не командуй!

Отмечу еще один небольшой эпизод этого быстротечного боя. Немцы-мотоциклисты успели завести моторы и дунули из деревни по своему прежнему следу. Это предугадал командир отделения Курбатов, в мирные дни владелец мотоциклета. Он на краю поселка стерег этот проложенный след. И не упустил жданную минуту. Хладнокровно, меткими выстрелами он снял четырех немцев-водителей, удиравших на машинах.

Держа трубку, я внимал донесениям Рахимова.

— Трупов очень много, товарищ комбат. Идет подсчет. По-видимому, мы перебили больше половины батальона. Ушла меньшая часть. Взяты трофеи: документы, исправные пулеметы, патроны, много личного оружия, мотоциклеты, минометы с боезапасом мин.

Я упивался: минометы! Те самые, которыми противник согнал нас с рубежа. Теперь они послужат нам.

Ну, можно звонить генералу.

Надо лишь унять непокорную улыбку, овладеть собой, чтобы доложить спокойно, деловито.

10

Панфилов все же не выдержал, позвонил сам.

— Ну, как у вас, товарищ Момыш-Улы?

Заставив себя обойтись без единого восклицательного знака, я кратко изложил события: рота Филимонова с трех сторон вторглась в Матренино; значительная часть немецкого батальона уничтожена; остатки бежали; командир батальона взят в плен.

У Панфилова вырвалось:

— Как? Как? Командир батальона?

— Так точно. Кроме того, захвачены трофеи: пулеме-

ты, минометы, мотоциклеты. В данный момент рота вновь закрепляется на станции.

— Что вы говорите! Вы это проверили?

— На станции, товарищ генерал, находится начальник штаба лейтенант Рахимов. Доносит мне оттуда. Сейчас идет подсчет убитых немцев и трофеев.

— Ну, товарищ Момыш-Улы, это же... Это же...— Панфилов приостановился. Очевидно, и он удержал себя от каких-то высоких слов.— Ей-ей, нынешний день по-новому нас учит грамоте. Передайте великое спасибо всем бойцам и командирам!

— Есть!

— Что со второй ротой?

— Не знаю, товарищ генерал. По-прежнему нет связи.

— Гм... Возможно, бродят в лесу. Пошлите туда ваших людей. Обязательно одного-двух политруков. Надо собрать тех, кто бродит. Позаботьтесь об этом, товарищ Момыш-Улы. Дорожите каждым десятком солдат. Каждый десяток, если он организован,— очажок сопротивления.

— Слушаюсь. Пошлю.

Помолчав, Панфилов сказал:

— До свидания.

Что же, я понял и это. Признаться, я надеялся, что мне уже не придется передавать командование и являться в штаб дивизии. Однако Панфилов об этом не заговорил. Действительно, ведь приказание исходило от старшего начальника. Значит, я все же обязан, как только свечереет, покинуть батальон, предстать перед строгими очами Звягина.

Из Матренина позвонил Филимонов. Он доложил: уже сосчитаны вражеские трупы, их более двухсот. Наши потери в этом налете — восемнадцать раненых. Ежеминутно обнаруживаются новые трофеи: лошади, повозки, продовольствие, офицерские чемоданы, солдатские ранцы, парабеллумы, бинокли, множество плиток шоколада, много французского вина.

— Французского? — переспросил я.

— Точно... И опять тут, товарищ комбат, отличился Строжкин. Гляжу, держит бутылку, пьет из горлышка. «Строжкин, что ты делаешь?» А он: «Э, квас!» — и расшиб бутылку о приклад. А на ней ярлык: «Бургундское, 1912 года».

В трубке раздался непривычный мне хохот Филимонова. Было странно слышать мальчишеские высокие нотки в этом смехе сурового кадровика командира.

— Ефим Ефимыч, сам ты не хватил?

— Ни-ни. Не до того. Вечером отведаю.

— Гляди, чтобы народ не перепился.

— Гляжу. Сейчас, товарищ комбат, грузим повозки, отправляем вам. Разрешите, товарищ комбат, организовать учебу.

— Какую учебу?

— Изучим немецкое оружие, пулеметы, минометы.

— Дельно! Скажи Рахимову, чтобы дал первый урок. Потом пусть идет в штаб. Людям объяви: генерал приказал передать великое спасибо всем бойцам и командирам.

Филимонов выкрикнул:

— Есть! Служим Советскому Союзу!

Опять — правда, не совсем к месту — он залился ребяческим смехом. Видимо, волнение, которое он пережил, находило выход в этом смехе.

— Оберегай себя со стороны Заева. От него нет вестей. Оттуда в любую минуту могут выйти немцы. Предупреди бойцов! Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

— Позови Толстунова.

Почти тотчас я услышал в трубке знакомый басок:

— Комбат?

— Федя, генерал приказал всех благодарить. А тебе еще и товарищеское отдельное спасибо. От меня.

— Что ты, Бауржан? К чему?

— Ну, хватит об этом. Теперь вот что. С Заевым нет связи. Его последнее донесение: «Обходят». С тех пор прошло уже больше двух часов. Генерал сказал: надо идти в лес собирать тех, кто, быть может, бродит. Возьми с собой Бозжанова, возьми нескольких бойцов и держи путь на отметку. Буду тебя ждать. Без тебя не уйду из батальона.

— Как? Куда уйдешь?

— Расскажу, когда вернешься... Посматривай, чтобы не нарваться на противника. Значит, буду тебя ждать.

— Понятно... Ну, я, комбат, пошел.

Потянуло на воздух, захотелось минуту-другую пошагать.

На воле было еще совсем светло, хотя бледный кружок солнца, различимый за пеленой облаков, уже близился к гребешку леса и стал чуть желтоватым.

Беспорядочная барабанная дробь боя еще не пошла на спад. Гремящие залпы, глухие хлопки, жесткие выстрелы башенных орудий, негромкое, схожее с тюканьем топора постукивание противотанковых пушек, скороговорка пулеметов, слабо доносящийся треск ружейного огня — эти звуки, будто перекатываясь, в одном направлении притихали, взметывались в другом. В поле у Горюнов то и дело рвались одиночные, возможно случайные, снаряды. По правую сторону не часто, но размеренно бухали неблизкие разрывы — противник, по-видимому, упорно обстреливал деревню Шишкино, где обретался штаб Панфилова.

Поразмявшись, я снова ступил на крыльцо, миновал сени, отворил дверь в комнату штаба. И сразу увидел обернувшегося ко мне телефониста. Показалось, он только что умылся, посветлел. Живо вскочив, он протянул трубку.

— Товарищ комбат, на проводе лейтенант Заев.

— Заев?

Телефонист улыбался, утвердительно тряс головой. Он все понимал, все переживал вместе с нами. Я схватил трубку.

— Семен?

И тотчас услышал захлебывающийся говорок Заева:

— Товарищ комбат, имеем одну автомашину, три танка, тягач...

— Погоди! Ты откуда говоришь?

— С отметки. Из своего блиндажа... Имеем пушки... Вышли, товарищ комбат, панами... Мои львята! Гренадеры Советского Союза!

Вы знаете, Заев любил подобные неожиданные выражения, несколько книжные, но согретые искренностью, пылом. Я слушал и почти ничего не понимал. Однако решил не перебивать. Пусть изливается. Доберется и до обстановки.

— Я уж, товарищ комбат, и не мечтал, что будем живы. Получилось диво дивное!

Чик! Опять провод перебит, наверное шальным осколком.

Черт возьми, кого же послать к Заеву? Под рукой, как это нередко случалось и прежде, оказался Тимошин. Он сидел вместе с дежурными связистами в соседней комнате. Все мгновенно поднялись, как только я вошел. Я невольно отметил: ясные глаза Тимошина глядели на меня необычно. К знакомой преданности добавилось что-то еще. Он словно бы заново меня рассматривал. В ту минуту я не понял, что говорил его взгляд.

— Тимошин, бери коня, лети к Заеву! Выясни, что у него делается, и скачи обратно!

— Есть!

Вернувшись к себе, я позвонил Панфилову.

— Товарищ генерал, пока еще в точности не знаю, но, кажется, нам посчастливилось и на отметке.

— Роте Заева? Да? Что же вам известно?

— Противнику не удалось окружить роту. Что именно произошло, понять не мог, связь оборвалась. Взяты трофеи. Доложу точней, как только выясню.

— Помогай бог! Помогай вам бог, товарищ Момыш-Улы.

Вскоре все выяснилось. Прискакал Тимошин, за ним быстрым шагом — нога легка, когда идешь со счастливой вестью,— пришли Толстунов и Бозжанов, да и связь с Заевым восстановилась.

Итак, Заеву был дан приказ: пан или пропал. Конечно, какой это приказ? Боем, который вела вторая рота, «гренадеры Советского Союза», по восторженному выражению Заева,— этим боем я не управлял. У Заева было колебание, я пресек. И еще сказал: «Притворись мертвым!» Вот, собственно, и все, что тут сделал я.

Когда бойцы Заева прикинулись мертвыми, замерли в окопах, отрытых на вырубке-высотке, немцы, обойдя этот бугор, вышли на дорогу. К мосту подползли восемь танков. Здесь они остановились, надлежало проверить, не заминирован ли мост. Из первых трех машин вылезли танкисты, начали осмотр. Пехота, сопровождавшая эту немецкую бронеколонну, перебежала замерзшую речонку и, развернувшись в цепь, с автоматами наизготовку, стала взбираться на бугор. Шли, не теряя осторожности, прочесывая кустарник. Замершие бойцы видели: немцы сейчас подойдут, сейчас уничтожат.

Инстинкт самосохранения напряжен. Еще минута, десяток-другой шагов — и гибель! И как только Заев гаркнул: «Вперед!», бойцы единым махом поднялись в контратаку. Пожалуй, лишь в подобный критический момент, когда каждый нерв кричит: сейчас, сию секунду все решится, будешь ли жить или погибнешь,— лишь в такой момент возможен этот страшный, внезапный бросок.

Крик Заева, его команда — мгновенный спуск натянутой до отказа тетивы. Или, вернее, туго сжатой пружины. Дернуть чеку — пружина вмиг распрямляется. Когда будете писать, дайте резкими чертами не только отдернутую чеку — приказ, но и главное — пружину.

«Мертвецы» поднялись и ринулись вперед, ринулись со склона. Это все равно что взрыв, пламя в лицо. Хоть ты и осторожен, все же будешь ослеплен, ошеломлен. Немцы шарахнулись. «Воскресшая» рота, рванувшаяся к мосту, расправилась с ними, заставила сломя голову бежать. Полегли, пронзенные нашими пулями, и девять танкистов на мосту. Другие танки открыли пальбу. Но наши бойцы уже вышли к речонке. Прикрываясь береговым обрывом, они стали метать противотанковые гранаты и бутылки.

Оставшись без пехотного прикрытия, танки, стреляя на ходу, отошли.

Рота Заева уложила около сотни врагов. Были захвачены три опустевших танка. Внутри бойцы обнаружили жареных кур, женское белье, туфли, шерстяные отрезы, всякую всячину. Нам досталось и семидесятипятимиллиметровое орудие с тягачом и со снарядами. Застряла в кювете, была брошена и одна легковая машина с походной радиоаппаратурой. Немцы успели напоследок подорвать мотор.

Отшвырнув противника, испятнав снег вражеской кровью, торжествуя удачу, рота Заева заняла свою прежнюю позицию.

12

Уже подступил вечер, когда наконец собрался мой штаб.

В доме стало шумно. Голоса были непривычно громкими, в гости пришел и не уходил смех. Радость победы вторглась в комнату, преобразила ее. Серые обои, прежде

навевавшие мрачность, теперь, несмотря на сумерки, будто засеребрились.

Из Матренина уже привезли трофеи — пистолеты, бинокли, чемоданы, ворох документов, сигареты, сласти, вино. Трофеями были завалены и стол, и кровать, и подоконники, и угол комнаты. То и дело хлопала дверь. Входили без разрешения связные, телефонисты, подчаски, бойцы хозяйственного взвода, коноводы.

Разрумянившийся Рахимов отдавал распоряжения. Я стоял, ни во что не вмешиваясь. Счастье переполняло меня. Мое состояние понимали и разделяли сотоварищи-воины, породнившиеся со мной в испытаниях. Толстунов посматривал на меня с нежностью. Бозжанов обращался ко мне с детской почтительностью. Теперь мне открылось, что означал внимательный, долгий взгляд Тимошина. «Ты совершил подвиг!» — говорили его юные глаза.

Еще никогда мне не случалось с такой остротой познать и страх командования, и радость командира. Даже слегка ломило грудь, счастье не вмещалось в грудной клетке.

Последняя встреча

1

Я сказал:

— Всем выйти из комнаты! Старшего политрука Толстунова прошу не уходить.

Минуту-другую длилась толчея в дверях. Затем я остался наедине с Толстуновым. Его шапка и шинель уже висели на гвозде. Отложной ворот гимнастерки был по-домашнему расстегнут. Выпроваживая товарищей, Толстунов со спокойной небрежностью пошучивал, улыбка то и дело прохаживалась по его остроносому лицу, трогала тугие губы. Однако сейчас к нему возвратилась серьезность.

— Что же случилось, Баурджан?

Не таясь, я выложил все. Приказом генерал-лейтенанта Звягина я отрешен от командования. Должен явиться в штаб дивизии. Хочу верить, что дело кончится добром,

знаю, что моя честь и моя жизнь спасены, но... Приказ есть приказ. Кто знает, чего мне ждать от Звягина.

— А наш генерал?

— Не сказал про это ни полслова. Только пожелал: «Помогай вам бог, товарищ Момыш-Улы».

— Ты еще никому не говорил, что отстранен?

— Никому, кроме тебя.

— И не говори.

— Все же я сюда, возможно, не вернусь. Ежели выпадет такая судьба, я рад был бы знать, что ты принял батальон.

— Брось эти думки! Вернешься.

— Говорю на всякий случай. Хотел бы видеть тебя командиром батальона. Тогда, что ни приключись, был бы спокоен.

— А Рахимов? Ведь по должности ему положено заменять командира.

— Федя, я это обдумал. Командир — человек творчества. Война — искусство. Одной исполнительности недостаточно, чтобы командовать. Знать — это еще не все. Надобно делать. Надобно сметь! Рахимов будет отличным помощником тебе. Я попрошу, чтобы ты меня сменил. Генерал с моей просьбой посчитается.

— Ей-ей, ты будто собираешься навовсе. Вернешься же!

— Не знаю. Говорю на крайний случай. Хочу, чтобы душа была спокойна.

— Ладно. Не подведу.

Я крепко пожал жестковатую широкую ладонь Толстунова. Затем отворил дверь, кликнул своих штабников. Они вошли.

— Товарищи, я вызван в штаб дивизии. Меня временно будет заменять лейтенант Рахимов. В батальоне остается и старший политрук Толстунов. Уважайте его авторитет! Авторитет воина! Товарищ Рахимов, понятно?

— Понятно. Слушаюсь.— Чуть помолчав, Рахимов счел нужным прибавить: — Вы правы, товарищ комбат.

Черт возьми, он ответил так, точно слышал наш разговор. Ни тени обиды, задетого самолюбия не мелькнуло в его черных глазах. Да, хорош у тебя, Толстунов, начальник штаба. Эта моя мысленно произнесенная фраза кольнула меня. Неужели и впрямь прощаюсь с батальоном?

Чуткий Бозжанов пристально посмотрел на меня. Сердце-вещун подсказало ему: произошло что-то недоброе. Он встревоженно спросил:

— Товарищ комбат, когда вы вернетесь?

— Сегодня,— спокойно сказал я.— Пожалуй, товарищи, не грех перекусить.

Наконец-то повар Вахитов дождался своего часа. У него было готово и то, и это, и третье, и четвертое, но я помешал ему насладиться хлебосольством:

— Давай быстро. Званых обедов разводить не буду.

Из груды трофеев Рахимов вытащил несколько банок консервов: какие-то анчоусы, омары.

Толстунов поставил на стол бутылки трофейного вина. Я отказался. Стоявший в сторонке коновод Синченко протянул фляжку:

— Стопочку русской, товарищ комбат?

— Налей! Одна не помешает. Чокнемся, товарищи. Ну, как говорится, дай бог, чтобы не последняя.

Осушив свою посудинку, Рахимов встал.

— Разрешите, товарищ комбат, снарядить вашу экспедицию.

— Экспедицию? Важное нашел словечко.

— А как же? Не с пустыми же руками приедете в штаб дивизии. Я, товарищ комбат, уже дал распоряжение.

— Что же, снаряжай.

2

Моя «экспедиция» выглядела так: двое конных — это я и Синченко — и два мощных, испускающих мерные выхлопы трофейных мотоциклета с прицепными колясками. Один был вверен сорвиголове, неоднократному в мирные времена участнику гонок, лейтенанту Шакоеву, командиру взвода истребителей танков. Уроженец Кавказа, хранитель взлелеянного там церемониала, каким сопровождается поездка в гости, знаток по части подарков и отдариваний, он заполнил коляску отборными трофеями. Там уместились и чемоданы с бумагами, и лучшее оружие, и фотоаппараты, и, разумеется, редкостные вина.

Нашелся водитель и для второго мотоциклета, тот, кто захватил эти машины, подтянутый, строгий Курбатов. Тут прицепную коляску занял плененный капитан. В сумерках, рассеиваемых отсветами снега, его разглядывали

бойцы. Бинт чистейшей белизны, очевидно только что наложенный в санвзводе, прикрывал один глаз. Другой глаз никого не удостаивал вниманием, глядел лишь напрямик. На бритом, словно окаменевшем лице темнели царапины, густо смазанные йодом. Полоска пластыря пролегла на тяжелом подбородке. Шинель с капитанскими погонами оставалась полурасстегнутой, на ней не хватало двух или трех пуговиц. Капитану была уже возвращена потерянная в бегстве фуражка. Ее торчащая высокая тулья, широкий блестящий козырек как бы подчеркивали, что пленный не согнут, сохранил непреклонность, надменность. Несомненно страдающий от боли, потрясенный, он держался так, будто хотел сказать: «Я схвачен, обезоружен, но моральное превосходство — превосходство моей нации победителей, расы господ — вы не сможете у меня отнять». Позади устроился не покидавший своего пленника Строжкин. Съехавшая набекрень ушанка открывала белобрысое темя; тонкая в запястье рука держала винтовку; за поясом торчал парабеллум.

Там и сям на полукружии горизонта розовели шапки зарев. Пушечные раскаты поутихли. Но в разных местах еще продолжалась перебранка орудий, подчас вдруг ожесточавшаяся; не кончился боевой день. По шоссе шли со стороны фронта небольшими группами без строя, а то и вовсе в одиночку бойцы; их задерживали наши патрули.

Шевелю повод. Лысанка с места берет хорошей рысью. Сворачиваю с шоссе на боковую дорогу, ведущую к деревне Шишкино. Синченко на гнедом рослом коне и две ровно постукивающие моторами машины движутся за мной. По левую руку, там, откуда доносится словно погремливание жести, темной громадой стоит лес. С опушки появляются то одинокие, то по трое, по четверо люди с винтовками, бредут по снежному полю. Их и здесь останавливают, группируют. Неожиданно слышу:

— Стой! Пропуск!

Осаживаю Лысанку. Подъезжает всадник. Командирские ремни пересекают его грудь. Одна рука на поводе, в другой пистолет. Узнаю начальника политотдела дивизии Голушко. Чувствую, как напряжены сейчас его нервы.

— Момыш-Улы? Эти с тобой? Куда?

— В штаб дивизии. Вызван к генералу.

— Не знаю, застанешь ли его. К Шишкину уже подходили автоматчики. Возможно, штаб ушел. Все штабные

командиры и политработники разосланы собирать людей. Сам видишь, какая петрушка.

Повернув коня, начальник политотдела поскакал навстречу понуро идущей от леса веренице. Опять разнесся его громкий, с чуть уловимым мягким украинским акцентом голос:

— Стой! Погоди! Куда? Какого полка?

Я подъехал, прислушался.

— Какой роты? Почему ушли?

— Ничего, товарищ командир, не разберешь. Потерялись. Может, роты уж и нету.

— А там кто дерется? — Голушко указал вперед, где рокотали орудия.— Слышите?

— Немец стреляет.

— По пустому месту, что ли, бьет? Становись! На первый-второй рассчитайсь!

Голушко обернулся ко мне:

— Поезжай, поезжай, не задерживайся, Момыш-Улы. Возможно, из Шишкина тебя еще куда-нибудь направят. И будь поосторожнее, а то как бы тебя наши не подстрелили. Подумают, гитлеровские мотоциклеты.

— Это и есть гитлеровские. Сегодня взяли.

— Ого! Славно! Слышите, ребята? Взяли у фрицев мотоциклеты! Равняйсь! Смирно! За мной!

Я вернулся к своим. Мы тронулись дальше. А слева, со стороны фронта,— кто знает, где сейчас он пролегал! — беспорядочно шли и шли бойцы, словно осколки, остатки полков, раздробленных молотом боя.

3

Перед Шишкином нас остановило боевое охранение. Здесь окопалась, была готова к обороне комендантская рота штаба дивизии. На краю деревни чернели пятна пожарищ, кое-где пробегали синеватые язычки пламени. Подумалось: наверное, сейчас скажут: «Генерала здесь нет». Должно быть, придется ехать куда-нибудь дальше, в тыл. Однако командир роты снесся с кем-то по телефону, затем дал провожатого.

Несколько минут спустя я подъехал к небольшой бревенчатой избе под железной крышей — обиталищу Панфилова. Наглухо завешенные окна. Стекла потрескались,

в иных створках зияла пустота. Неподалеку, возле большой избы, где помещались некоторые отделы штаба, втаскивали на грузовик тяжелый несгораемый ящик. Штаб дивизии, видимо, все же уходил.

Приказав моим спутникам ожидать, я соскочил с седла, пошел к часовому. Почти тотчас, как и в миновавшие времена передышки, на крыльцо выбежал одетый в стеганку лейтенант Ушко, адъютант Панфилова.

— Идите, идите, товарищ старший лейтенант. Генерал уже знает, что вы здесь.

Вот и знакомая мне комната. Небольшая лампочка, работающая от аккумулятора, источала яркий свет. На подоконнике стояла обшитая кожей коробка полевого телефона. Ветерок, проникавший сквозь разбитые, хотя и зашторенные окна, пошевеливал лист газеты на столе. В крытую черным лаком обшивку трюмо угодил шальной осколок. Возле расщепленного дерева был отбит и кусочек стекла. Э, тут, в этой выстуженной комнате, приходилось жарковато. Походная кровать генерала была уже сложена. Рядом лежал обернутый в плащ-палатку объемистый тюк. Генерал, видимо, не собирался здесь ночевать. Из соседней комнаты, не затворив за собой двери (я заметил в глубине капитана Дорфмана, сидевшего над разостланной картой, заметил еще один телефонный аппарат), вышел Панфилов. Его долгополый, ниже колен, полушубок был надет нараспашку, концы длинных рукавов генерал вывернул черным мехом наружу, укоротил их, словно для того, чтобы не мешали работать. Что-то в сегодняшнем облике Панфилова удивило меня, оно, это «что-то», как бы не вязалось с обстановкой. Еще не выветрившийся запашок одеколона исходил от генерала. Не прикрытая шапкой седеющая голова была аккуратно подстрижена, морщинистая шея, которую недавно я видел заросшей, свежо поблескивала,— должно быть, по ней сегодня прошлась бритва. Парикмахерские ножницы коснулись и усов, они чернели на чисто выбритой губе двумя четкими квадратиками. В старательно начищенных — наверное, не только щеткой, но также и бархоткой — сапогах генерала отражался бликами свет электролампочки. Одним словом, мне показалось, что наш генерал в этот вечер выглядит щеголеватым.

— Товарищ генерал, по приказанию генерал-лейтенанта Звягина сдал командование батальоном и...

На миг я приостановился. Как я обязан сказать: явился или прыбыл? Я произнес:

— Прибыл.

Панфилов чуть прищурился.

— Так-так... Почему не договариваете?

Я не понимал, что он разумеет.

— Почему вы не назвались?

— Виноват... (Подумалось: «Странно, ведь наш генерал никогда, кажется, не был формалистом».) Старший лейтенант Момыш-Улы.

— Какого полка?

Я назвал номер полка.

— Какой дивизии?

— Как?

— Я спрашиваю: какой дивизии?

— Триста шестнадцатой стрелковой.

Панфилов обернулся, крикнул в раскрытую дверь:

— Слышите, товарищ Дорфман? Не знает. Ничего еще не знает.

Затем снова обратился ко мне. Верхняя губа, наполовину скрытая усами, слегка сморщилась, будто удерживая улыбку.

— Ошибаетесь, товарищ Момыш-Улы. Теперь мы именуемся иначе.

Он взял со стола и протянул мне газету. Это был корректурный оттиск завтрашнего номера. Среди столбцов набора еще зияли белые пустоты. На листе выделялось обведенное красным карандашом сообщение, что наша дивизия отныне зовется: Восьмая гвардейская стрелковая.

— С чем, товарищ Момыш-Улы, вас и поздравляю.

Откинув овчинную полу, Панфилов вытащил из брючного кармана значок советской гвардии — я впервые тогда его видел — эмалевое развернутое алое знамя.

— Посмотрите, товарищ Момыш-Улы. Мне сегодня привезли вместе с газетой. Пока только образец. Я уже примерил. Потом снял.

Он еще повертел значок, полюбовался переливами эмали, водворил в карман. Вспомнилось, как несколько дней назад он помечтал вслух, сказал парикмахеру: «Заработаем гвардейскую, тогда подмоложусь, предамся в ваши руки, обещаю...» Панфилов тоже припомнил ту минуту.

— Приходится обещанное исполнять,— сказал он,— как видите, и побрился и подстригся. Благо, времени у меня сегодня много.

Он вновь удивил меня. Как так? Обрушен ударный кулак немцев, они таранят, рвут нашу оборону, нынешний день, возможно, предопределит исход этого нового гитлеровского наступления, нового рывка к Москве, а у командира дивизии, принявшей удар, опять времени много? Панфилов пояснил:

— Почти с обеда нет связи ни с Малых, ни с Юрасовым. Даже не знаю, держатся ли еще наши в Ядрове. Но вот сижу тут у себя в Шишкине, сижу, что называется, на чемоданах, и ничего, противник пока в гости не пожаловал. А хотелось бы ему, ох как хотелось бы оказаться здесь.

Посмотрев на свою сложенную койку, он продолжал:

— Отделы переехали, а мы вот с товарищем Дорфманом еще, может быть, тут заночуем.

Панфилов поддернул опушенные вывернутым черным мехом рукава своего распахнутого полушубка — генералу, наверное, не терпелось поработать,— обернулся к зеркалу, которое, несмотря на удар, не просекли трещины, распрямил плечи, коснулся пальцами усов. Он еще ничего не сказал обо мне, о моем вызове. Я молча ожидал его слов.

4

В комнате опять объявился Ушко.

— Товарищ генерал, к вам с подарками лейтенант Шакоев. Разрешите?

— Мы, товарищ генерал,— произнес я,— кстати прихватили с собой на мотоциклетке и пленного капитана.

— У вас уже и мотоциклетка на ходу?

— Да. Со мной две. И еще две в батальоне.

— Гм... Выйдем-ка посмотрим.

Панфилов уже застегивал полушубок, нетерпение, жажда дела, неиссякаемое живое любопытство влекли его на улицу.

С подарками вторгся Шакоев. Он смело водрузил на стол свою увесистую ношу — узел из немецкой плащ-палатки с маскировочными бурыми и зелеными разводами. Затем черноусый дагестанец лихо вытянулся.

— Товарищ генерал, бойцы и командиры,— с расстановкой, со вкусом рапортовал он,— первого батальона Талгарского полка...

— Спасибо,— прервал генерал.— Всем вам спасибо.

Тотчас он перешел к делу:

— Везите, товарищ Шакоев, пленного и все захваченные документы в деревню Гусеново, в разведотдел. И побыстрее. Вы меня поняли?

Вместе с Панфиловым мы вышли на улицу. Впереди, главным образом на левом краю небосклона, по-прежнему розовели размытые пятна зарев. Нет, пожалуй, не по-прежнему. Иные сникли, потускнели. И пальба заметно улеглась. Пушки вели уже редкий огонь. Вот глухо протрещала колотушка пулемета. Слабо донеслась еще одна пулеметная очередь. Панфилов глубоко вобрал морозный воздух.

— Устояли,— проговорил он.— Где, что, как — почти ничего еще не знаю, но устояли, выдюжили, товарищ Момыш-Улы.

У калитки на заснеженной дороге темнели силуэты двух коней и наши два мотоциклета. Курбатов и Строжкин стояли с винтовками, взятыми к ноге. Как и ранее, в прицепе сидел, будто нахохлившийся, пленный в своей встопорщенной фуражке. Торчал поднятый воротник его шинели.

— Встать! — резко скомандовал по-немецки Шакоев.— Перед вами генерал!

Капитан-гитлеровец поднялся, пошатнулся,— наверное, затекли ноги,— но удержал равновесие, переступил через борт коляски, вскинул голову, опустил руки по швам.

— Э, как его разукрасили,— вглядываясь, сказал Панфилов.— Он у вас, товарищи, кажется, совсем закоченел.

Шакоев ответил:

— Пусть, товарищ генерал, его русский морозец проберет.

— Негоже мучить пленного. Товарищ Ушко, принесите ему что-нибудь, хотя бы ватник.

Ушко направился в дом.

— Товарищ генерал,— раздался новый голос,— разрешите обратиться? Сержант Курбатов.

— Да, да, товарищ Курбатов, говорите.

— У нас тут его чемодан. Оттуда можно взять.

Не обиженный силой и сметкой, сержант ловко достал

большой кожаный с металлическими наугольниками чемодан, положил на жестяную обшивку прицепа.

— Мы поглядели, товарищ генерал, а тронуть ничего не тронули.

Курбатов откинул крышку чемодана, посветил карманным электрофонарем. Сверху аккуратно лежала белая, тончайшей шерсти, так называемая оренбургская шаль. Под шалью обнаружилось женское шелковое белье, женские цветные блузки, туфли.

— Гм... Не буду я с ним разговаривать. Бросьте обратно. Это вы, товарищ Курбатов, его изловили?

— Нет. Боец Строжкин. Вот он, товарищ генерал.

— Строжкин? Из Алма-Аты?

— Москвич! — звонко ответил Строжкин.

Панфилов не скрыл радости:

— Из пополнения? Вот это подарок! — Он подумал.— У нас, товарищи, нынче такой день, после которого уже не будем разделяться на новеньких и старых. Нынче у нас...

Он не договорил. С крыльца с ватником в руках бежал Ушко.

— Товарищ генерал, вас к телефону. Звонит комиссар семьдесят третьего...

— А, отыскались.. Так поезжайте, товарищ Шакоев. Киньте это господину из грабьармии... До свидания, гвардейцы! Пойдемте со мной, товарищ Момыш-Улы.

5

В комнате уже с порога было слышно квохтанье мембраны. Слегка отстранив трубку от уха, у аппарата стоял капитан Дорфман в туго стянутой поясным ремнем, нигде не наморщенной шинели. Близ телефона на краю стола (узел трофеев, что там высился, был уже убран) Дорфман пристроил свою постоянную спутницу — раскрытую черную папку, в которой хранилась оперативная карта.

— Минутку,— произнес он,— передаю трубку хозяину.

Панфилов придвинул к телефону стул, присел, не позабыл обратиться к нам: «Садитесь, товарищи, садитесь!» — и взял трубку.

— Товарищ Лавриненко? Долгонько ждали от вас вести... Слушаю, слушаю. Не торопитесь.

В мембране опять заклокотал голос. Панфилов время от времени вставлял вопросы:

— А штаб полка? В котором часу это случилось? Кто же вас прикрыл?.. Какие же там еще нашлись у нас силенки? Дайте-ка, товарищ Дорфман, карту.

Положив карту на колени, он продолжал слушать.

— И Угрюмов? — Лицо Панфилова сразу стало будто старше, резче обозначились складки вокруг рта.— И Георгиев? У моста? Вижу. В живых кто-нибудь остался? Погодите-ка, помечу.

Генерал повернулся к Дорфману, хотел, видимо, что-то сказать, но лишь обвел карандашом точку на карте. И опять стал слушать. Тень сошла с его лица, привычка, жестокая и спасительная привычка солдата, позволяющая утолять голод, порой даже гуторить на поле брани рядом с павшими, взяла свое, Панфилов уже снова мог улыбаться и шутить.

— Располагайтесь, товарищ Лавриненко, на ночлег. Я? Нахожусь на прежнем месте. Да, преспокойно здесь сижу.

Удерживая усмешку, верхняя губа Панфилова опять чуть сморщилась. Легко угадывалось, что ему было очень приятно произнести эти слова.

— Отчасти, товарищ Лавриненко, благодаря вам,— тепло добавил Панфилов.— Завтра вы меня тут смените. Вы поняли? Оставляю вам трюмо, к сожалению подбитое.

Теперь интонация Панфилова была шутливой. Поражала эта быстрая смена выражений лица, оттенков тона, эта, отважусь сказать, раскрытая душа генерала. Вот опять тон изменился:

— Объявите, что дивизии сегодня присвоено звание гвардейской. Да, Восьмая гвардейская стрелковая. Всех поздравьте от меня. Передайте, что каждому жму руку, каждому говорю спасибо!

Панфилов мягко, без стука, положил трубку, вернул Дорфману карту.

— Помните, товарищ Момыш-Улы, лейтенанта Угрюмова?

Я кратко ответил:

— Да.

Конечно, еще бы мне не помнить курносого веснушчатого лейтенанта, которого повар Вахитов однажды об-

нес кашей, на вид деревенского парнишку — парнишку с рассудительной речью и крепкой рукой.

— Погиб... А политрука Георгиева знавали? Тоже погиб. Почти весь этот маленький отрядец сложил головы. Но не пропустил танков. Девять машин подорваны, остальные ушли. Видите, товарищ Дорфман, дело просветляется. Но и загадок еще много.— Панфилов почесал свой подстриженный затылок.— Вроде бы книга с вырванными страницами. Надо, чтобы эти страницы не пропали. Надо их восстановить. Прочесть эту книгу.

Разложив на столе карту, он некоторое время еще беседовал с Дорфманом. Потом взглянул на меня.

— Идите, товарищ Дорфман. Поработайте.

— Слушаюсь. Извините, товарищ генерал, но не пора ли...

— Переселяться? Это успеется. Спасибо, что заботитесь. Идите.

Панфилов остался со мной наедине.

— Загадок много,— повторил он.

И по знакомой мне манере повертел в воздухе пальцами. Этот жест нередко сопровождал его размышления вслух.

— Ведь совсем мальчик...

Я мгновенно догадался: он разумел Угрюмова.

— Оголец... Я знал, товарищ Момыш-Улы, что у него за душой кое-что есть. Но этого... Этого не ждал.

Он подался ко мне, с интересом в меня всматривался, явно желая услышать мое мнение. Но что я мог ему сказать? Протянулась минута молчания.

— Ну-с, товарищ Момыш-Улы, доложите, что вы...— Панфилов прищурился, мелкие морщинки разбежались от уголков глаз,— что вы натворили. И не спешите. Я не тороплюсь.

Я стал докладывать. Описал тактику немцев, решивших перебить издалека минометным огнем окопавшихся в поле защитников станции Матренино. Сказал, какими гнетущими были сообщения о потерях. Поведал о своих колебаниях, о встрече с раненым бойцом, изрекшим солдатскую мудрость: «Так держать — значит не удержать».

Панфилов слушал, ни разу меня не перебив.

Однако мне все же пришлось прервать доклад. С улицы донесся звук мотора, хлопнула автомобильная дверца.

Панфилов поднялся. Я тоже встал. Подумалось: не Звягин ли сейчас войдет?

Вошел лейтенант Ушко.

— Товарищ генерал, опять корреспонденты. Очень просятся.

Панфилов достал часы, взглянул.

— Те самые?

— Да. Торопятся в Москву. Я им сказал, что сегодня вы не сможете.

— Гм... Я им обещал. Утром обещал, когда они привезли вот это.— Он опять вынул значок «Гвардия», повертел.— Надо бы их понапутствовать. Нет, сейчас оторваться не смогу. Пусть извинят. Передайте, товарищ Ушко, мои извинения.

— Есть!

Однако, едва мы снова сели, едва Панфилов выговорил: «Продолжайте, товарищ Момыш-Улы, продолжайте»,— как опять предстал Ушко:

— Товарищ генерал, я им все сказал. Они просят...

— Ну, ну...

— Просят, чтобы вы разрешили им войти и задать только один вопрос.

— Только один? — Панфилов рассмеялся.— Хитры на выдумку. Что ж, придется отдать должное военной хитрости. А, товарищ Момыш-Улы?

Он вопросительно на меня посмотрел, словно требовалось мое согласие. Потом пошел к двери, раскрыл.

— Пожалуйте, товарищи. Хотелось бы с вами основательно потолковать, но... Так и условимся: один вопрос. Прошу, прошу...

Первым шагнул в комнату капитан Нефедов, корреспондент журнала «Фронтовая иллюстрация». Шапка прикрывала его льняной зачес. Новенький, изжелта-белый, еще пахнущий дубленой овчиной полушубок был кое-где испачкан глиной. Видимо, вместе со своим фотоаппаратом, что сейчас на тонком ремешке висел в кожаном футляре на груди, Нефедов побывал в укрытиях, притискивался к земле. Жизнерадостная, чуть смущенная улыбка, делавшая заметными ямочки на разрумяненных щеках, свидетельствовала, что капитан был удовлетворен своим рабочим днем. Нефедов козырнул генералу.

— Добрый вечер, товарищ...— Панфилов прищурился,

узкие, монгольского разреза глаза засмеялись,— товарищ Поворот Головы.

Тотчас негромко заговорил спутник Нефедова, обмундированный в ладный, уже мятый-перемятый короткий кожушок, не мешавший шагу. На обветренном досмугла лице проступила однодневная темная щетинка.

— Как? Как вы, товарищ генерал, сказали?

Панфилов усмехнулся:

— Это ваш вопрос?

Ваш коллега-бумагомаратель — назовем его Гриневичем —не потерялся:

— Товарищ генерал, помилуйте... Пока только переспрос.

— Гм... О повороте головы сейчас некогда, к сожалению, философствовать. Хотя, раз уже коснулись... Товарищ Нефедов однажды узрел сходство между нами,— и он показал на меня.— Не похожи, а поворот головы тот же... Кстати, познакомьтесь, товарищ Гриневич, с командиром моего резерва товарищем Момыш-Улы. И, пожалуйста, товарищи, садитесь. Хоть на минутку, а присядьте: в ногах правды нет.

Вошедшие расположились на стульях. Гриневич вернул генерала к его мысли:

— Итак, сию мудрость...

— Да, скажу об этом кратко. Не похожи на своих отцов сыны, которые нынче дерутся. А поворот головы тот же! Вы меня поняли?

По своей манере генерал подался к собеседнику, словно для того, чтобы получше рассмотреть, действительно ли понята, схвачена эта полюбившаяся Панфилову фраза.

— Ну-с, давайте ваш вопрос.

Неожиданно обладатель короткого кожушка поднялся. Раньше его походка, движения, говорок были неторопкими, теперь в нем пробудилась быстрота.

— Товарищ генерал, вы уже ответили. Больше задерживать вас не будем.

— Уже ответил?

— Да. У меня к вам был вопрос: как в одном-двух словах выразить смысл, итог сегодняшних боев? Эти слова вы уже сказали! Спасибо. Мне ясно, как писать. Товарищ генерал, разрешите идти?

Панфилов встал. Ворот расстегнутого полушубка приоткрывал несильную, изборожденную морщинами шею. Сейчас она была немного склонена. Складка губ казалась угрюмой. Что он, утомлен? Или недоволен? Кем?

— Вам, товарищ Гриневич, значит, ясно?

— Статья прояснилась, товарищ генерал. Еду писать.

Молчание. Черт возьми, почему Панфилов не отпускает корреспондентов?

— А вот мне неясно,— проговорил он.

Сутулясь — голова по-прежнему была упрямо склонена,— Панфилов прошелся.

— В одном-двух словах? Нет, товарищ Гриневич, мы с вами эту задачу не решили. Поворот головы? Гм... Это можно отнести ко всей войне, ко всей нашей жизни, но нынешний денек...

Палец Панфилова коснулся газеты, которую по-прежнему потрагивали продувающие комнату невидимые струйки.

— Нынешний денек, семнадцатое ноября, что-то еще в себе таит...

Он почесал в затылке, снова прошелся, остановился перед смуглым корреспондентом, взглянул ему в глаза, увидел в них внимание, улыбнулся, опять заговорил:

— Кажется, у Вольтера в каком-то письме сказано: извините, мол, что пишу длинно, быть кратким не хватает времени. Могу лишь повторить это изречение.

Вновь протекла тихая минута. Корреспонденты вели себя умно: молчали. Панфилов поддернул рукава.

— Товарищ Гриневич, у вас карта с собой?

Извлеченная из планшета журналиста топографическая карта мгновенно оказалась на столе. Панфилов обернулся ко мне:

— Товарищ Момыш-Улы, вы тоже придвигайтесь.

С карандашом генерал постоял над картой.

— Да, мне, товарищи, неясно... Неясно, откуда они взялись, эти мои резервы?

Он опять посмотрел на меня:

— Сегодня, товарищ Момыш-Улы, вы, наверно, удивились: почему я не приказал вам бросить роту из Горюнов в Матренино? Признавайтесь, было? А ведь в этот час

я ожидал, что на вас, на ваши позиции в Горюнах, выйдет противник, прорвавшаяся танковая группа.

Панфилов показал на карте район сосредоточения танковой дивизии немцев, провел черную стрелку, прободавшую — он это схематически наметил — переднюю черту дивизии.

— Здесь,— продолжал он,— танки проложили себе путь через наши артиллерийские заслоны. Конечно, за это уплатили. Но прошли.

Далее он сказал, что танки открыли этим себе выход на Волоколамское шоссе. Немецкая пехота наступала по обеим сторонам шоссе, чтобы обеспечить продвижение танков по основному большаку.

— Думалось, товарищи, вот-вот защелкают наши противотанковые пушки в Горюнах, вступит в дело узелок обороны на шоссе. Но туда танки не добрались. Объявился какой-то неведомый резервик, который принял их удар. И не дал им дороги. Кто же это сделал? Пока не ясно. Связь со штабом полка прервана. Артиллерии у меня тут не было. Горсточка пехоты? Еще вчера, товарищи, военная грамота...— Панфилов покосился на меня, в его прищуре мелькнула улыбка.— Военная грамота, пожалуй, не допускала таких случаев. А?

Панфилов разговорился. Несомненно, ему хотелось не только добросовестно ответить корреспондентам, но и удовлетворить собственное побуждение, излить мысли. Его шея распрямилась, сутуловатость перестала быть заметной. В распахе полушубка на свежем, проутюженном кителе виднелись боевые ордена. Его обычное похмыкивание в эти минуты исчезло. Он легко поворачивался, легко переступал в своих начищенных до глубокого блеска сапогах, опять был помолодевшим, счастливым, щеголеватым — таким он мне и запомнился по этой последней нашей встрече.

Снова его карандаш помечал карту. Вот здесь кто-то — опять-таки пока не ясно, кто же именно,— прикрыл перестроение батальона, подвергшегося нападению с тыла. Откуда взялось это прикрытие, этот еще один неведомый, непредусмотренный резерв? А легонькие пушки, которые долгими часами, захлестнутые со всех сторон противником, еще жили, дрались! А отряд истребителей танков под командой лейтенанта Угрюмова и политрука Георгиева! Генерал не мог не рассказать об Угрюмове:

— Хлопчик, малец! И остановил со своими бойцами двадцать танков. Погиб. Самоотверженно, осмысленно погиб.

Я понимал: Панфилов вернулся к тем же думам, которые стал было высказывать наедине со мной. Сейчас он как бы сам себя спросил:

— Откуда у него, этого мальчика, нашлись эдакие душевные резервы?

— Поворот головы? — негромко вымолвил Гриневич.

— Не только, не только... О повороте головы я, дорогой товарищ, и вчера хорошо знал. Но сегодня... Как охарактеризовать это сегодня? — Подняв руку, Панфилов в затруднении щелкнул пальцами.— Я, товарищи, готовился к этим боям, имел тактический замысел, план, готовил бойцов. Без бойца ведь любой замысел — пустое. Однако все, о чем я думал, чего добивался, все превзойдено.

Приподнятая рука генерала замерла. Загорелые пальцы опять сложились щепотью. Что он, снова щелкнет? Нет, пальцы остановились. Он воскликнул:

— Вот вам, товарищ, это слово! Превзойти! — Панфилов повторил раздельно: — Пре-взой-ти! Бойцы и командиры превзошли все, чего от них мог я ожидать. Превзошли себя! Таков, пожалуй, и был мой негаданный резерв. Вы поняли?

Он подумал, добавил:

— Конечно, у меня только предварительные сведения. Давно не имею связи со штабами двух полков. Не знаю, где командиры этих полков. Живы ли? Многого не знаю. И слово «превзойти» тоже предварительное. Потом отыщем что-либо посодержательнее, поточнее. Может быть, и поскромнее. Впереди еще нелегкие деньки. Будем это знать! И все-таки... Все-таки сейчас не подвертывается другое слово. Только это — «превзойти»! Ну-с, теперь, товарищи, я с чистой совестью могу сказать вам: до свидания.

Он потянулся к карте, хотел ее сложить, но задержал на ней взгляд.

— В темноте будем выводить войска на следующий рубеж... Отойдем, нигде не позволив врагу прорвать фронт дивизии.

Панфилов вручил карту владельцу.

— Итак, товарищи, до встречи. Доброго пути!

Вновь обнаружив в улыбке свои ямочки, Нефедов сдернул через голову ремешок фотоаппарата.

— Товарищ генерал, разрешите, я вас тут сниму? Вот как вы стоите! В полушубке! Рядом с этой выбоинкой! — Он указал на трюмо.— Товарищ генерал, надымлю немного магнием. Но здесь живо проветрится.

— Э, днем немец отсюда нас выкуривал, а теперь, извольте-ка, этим займетесь вы? Избавьте, товарищ Нефедов. Не надо.

— Товарищ генерал, ведь замечательный сюжет.

— Ничего. Есть позамечательней! Поезжайте-ка через Гусеново. Там в разведотделе найдете пленного гитлеровского капитана. Отборный экземпляр. Возможно, застанете и бойца-москвича Строжкина, который его взял.— Панфилов посмотрел на часы.— Застанете! Сейчас туда позвоним. Сфотографируйте их вместе. Юноша-боец ведет обезоруженного здоровенного разбойника, командира батальона. Москва этому порадуется. А меня, товарищ Нефедов, снять еще успеете. Загляните завтра. Выйду на волю, на морозец, прихвачу товарищей, вот вы и щелкнете. Ну, по рукам!

Корреспондент в коротком кожушке упрятал карту.

— Нефедов, не приставай. Товарищ генерал, спасибо вам за слово!

Оба откозыряли. Гул заведенного мотора. Машина укатила.

7

Сказав мне «подождите», Панфилов удалился в соседнюю комнату, откуда во время беседы с корреспондентами иной раз заглушенно долетал голос капитана Дорфмана, разговаривавшего по телефону.

За притворенной дверью генерал провел примерно минут десять. Порой невнятно доносилась его хрипотца. Разумеется, я не прислушивался. Наконец генерал вернулся.

— Сидите, сидите.

Он прошелся, озабоченно сказал:

— Еще не обнаружились ни Малых, ни Юрасов.

Сев возле меня, Панфилов достал, раскрыл коробку папирос «Казбек».

— Берите. Покурим, товарищ Момыш-Улы.

Чиркнув спичкой, он поднес мне огонек. Его неначальственная, нечиновная манера позволила мне спросить:

— Товарищ генерал, где же ваша зажигалка?

— А, зажигалка? — Он почему-то лукаво прищурился.— Подарил сегодня одному человеку. Сказал ему, что подарок со значением. А когда-то хотел преподнести вам. Тоже со значением. Вы меня понимаете?

Да, я понимал. Даже и сейчас, перед тем как вернуться к нашему прерванному разговору, Панфилов двумя-тремя фразами, дружелюбным прищуром как бы вновь расположил, согрел, настроил меня.

— Ну-с, продолжайте, продолжайте, товарищ Момыш-Улы.

Я без утайки рассказал, что решил рискнуть тем, что дороже жизни,— своей честью командира. Описал, как был отдан приказ, как помог мне Толстунов, как удалась наша контратака. Сказал и о звонке Звягина, не скрыл того, что еще не сдав деревню, доложил: «Сдана!»

— Уже не мог отступиться, загорелся. Приказом генерал-лейтенанта Звягина был отстранен, но все же до вечера командовал.

— Гм... Значит, воевали на два фронта? И с противником, и со своим старшим начальником?

Едва он это сказал, мне вспомнилась минута, пропущенная в моем исповедном объяснении.

— Товарищ генерал, извините, упустил... Я увидел вашу руку и решился.

— Какую руку?

Из бокового кармана своей стеганки я вытащил красную книжку боевого устава, отыскал страницу, где тремя штришками, принадлежавшими Панфилову, был помечен пункт об инициативе.

— Вот... Увидел три черточки, которые вы провели, и в этот миг принял решение.

Неожиданно Панфилов рассмеялся:

— Хотите на меня переложить?

— Товарищ генерал, вовсе не переложить. Прошу поверить: так оно и было.

— Следовательно, и я там находился вместе с вами?

— Да,— твердо сказал я.— Вы, товарищ генерал, были со мной. Вы мной управляли.

— Ой, вас занесло! Соблюдем меру.

— Товарищ генерал, вы же говорили: управление — уяснение задачи!

Панфилов опять засмеялся. Видимо, эта формулировка, которую мы столько раз от него слышали, была ему сегодня очень по сердцу. Я продолжал:

— Товарищ генерал, я с вами правдив. Вы мне поставили задачу: удержаться до двадцатого! Если бы не это, то сегодня, семнадцатого, я имел бы право потерять в честном бою роту, имел бы право и сам с честью погибнуть. Но в мыслях было: до двадцатого! И я все собрал. И пришло решение.

Панфилов погладил большим пальцем раскрытую книжечку устава.

— «Упрека заслуживает не тот...» Что же, товарищ Момыш-Улы, не отпираюсь. Согласен, беру на себя половину вины. Но и половину удачи. Горе и радость пополам. Идет?

— Благодарю вас, товарищ генерал.

— Но как нам понять, расценить этот бой? Случайно удавшаяся авантюра? Нет. Закономерность? Да, в этой удаче есть закономерность. Вы, товарищ Момыш-Улы, использовали слабости противника.

Казалось, Панфилов с кем-то спорил, находил аргументы.

— Однако, товарищ Момыш-Улы, приказ есть приказ. Ночью буду у командующего. Наверное, увижу и товарища Звягина. Доложу командующему обо всем. Отменять приказание не могу, но приостановить решусь. Поезжайте к себе. Я вам ночью позвоню. Эту вашу книжечку оставьте.— Он опять взял устав, повертел.— Пусть взглянет командующий.

— Разрешите ехать?

— Не торопитесь. Еще вас задержу немного.

Панфилов вновь пошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, откуда по-прежнему время от времени слышался неразборчивый говорок Дорфмана, взялся за ручку и вдруг круто, по-молодому, обернулся.

— Значит, побывал у вас сегодня?

Он засмеялся. И, не ожидая ответа, толкнул дверь, скрылся за ней.

Воспользуемся несколькими минутами его отсутствия. Выскажу свое понимание Панфилова — понимание, в котором слиты и мои мысли того ноябрьского вечера, и думы, пришедшие позднее.

Вот я провел с ним полчаса. Дважды и трижды я уловил его новый, не примеченный мной ранее жест — он поддергивал рукава, тяготясь отсутствием дела. Весь этот день, который, возможно, предрешал исход предпринятого еще раз немецкого рывка к нашей столице, судьбу второго тура битвы за Москву, день массового героизма — под таким названием он вписан в историю войны,— Панфилов провел в деревне Шишкино, почти лишенный возможности управлять войсками. Телефонные шнуры, соединявшие генерала с подчиненными ему штабами, теми, что оказались в крутоверти боя, были порваны, посечены. Немецкие удары искромсали фронт дивизии. Там и сям наши уцепившиеся группы, потрепанные батареи, роты, взводы дрались как бы без управления.

И все же оно, управление войсками, управление боем, существовало.

Массовый героизм — не стихия. Наш негромогласный, неказистый генерал готовил нас к этому дню, к этой борьбе, предугадал, предвосхитил ее характер, неуклонно, терпеливо добивался уяснения задачи, «втирал пальцами» свой замысел. Напомню еще раз, что наш старый устав не знал таких слов, как «узел сопротивления» или «опорный пункт». Нам их продиктовала война. Ухо Панфилова услышало эту диктовку. Он одним из первых в Красной Армии проник в небывалую тайнопись небывалой войны.

Оторванная от всех маленькая группа — это тоже узелок, опорная точка борьбы. Панфилов пользовался любым удобным случаем, чуть ли не каждой минутой общения с командирами, с бойцами, чтобы и так и эдак растолковать, привить нам эту истину. Он был очень популярен в дивизии. Разными, иногда необъяснимыми путями его словечки-изречения, его шутки, брошенные будто невзначай, доходили до множества людей, передавались от одного к другому по солдатскому беспроволочному телефону. А раз бойцы восприняли, усвоили — это уже управление.

Мы не вправе сказать, что Панфилов командовал, например, взводом или ротой. Один автор ухитрился даже

дать ему в руки гранату. Чепуха! Но все же Панфилов командовал! Он воспитал свою дивизию, сделал нашим общим достоянием свой замысел, план, свое проникновение в особый склад современного оборонительного боя, задачу грядущего дня.

И этот день настал. Рука, голос командира дивизии уже не достигали разрозненных очагов боя. Но боем управляла его мысль, уясненная и командирами и рядовыми. В таком смысле подвиги панфиловцев — его творение. Так мы будем верны исторической правде.

По отрывочным сведениям, а то и по звукам, по отличительному своеобразию пальбы, по всяким иным признакам Панфилов следил, как оправдывается то, что он задумал, загадал. Все, все было оправдано — риск внове примененного построения обороны, неустанное воспитание войск, чему он отдавал себя.

В тот вечер, о котором идет речь, он это уже знал, однако скромность не разрешала ему говорить о себе. Но заговорил я, выразил то, что являлось для него трепетом сердца, смыслом жизни. И ему это было приятно.

Здесь, думается, ключ к сокровенному миру, к переживаниям Панфилова. В кажущемся хаосе боя не только сбывался его план, но и разительно выявлялось нечто, чему он нашел наименование: превзойти! Да, вся его жизнь солдата, жизнь коммуниста, все, все было оправдано.

9

Меня заставил встрепенуться стук копыт, оборвавшийся возле крыльца. Снова промелькнуло: Звягин?

Со двора донеслось:

— Генерал у себя.

Слегка осипший голос принадлежал долговязому артиллеристу полковнику Арсеньеву. Покинув седло, полковник вошел, чуть подволакивая плохо гнущуюся ногу. Его шапка и длинная шинель заиндевели. Тотчас появился и Панфилов.

— Николай Викентьевич, прошу.

— Холодище! — произнес Арсеньев.

Стянув шерстяные варежки, он с силой потер красноватые руки.

— Не раздевайтесь. У нас здесь тоже не теплынь.

Полковник заметил меня:

— А, Момыш-Улы? Поминали тебя лихом.

— Лихом? — переспросил Панфилов.

— Так точно... Мы уже начали отход. А его герои,— Арсеньев ткнул пальцем в мою сторону,— его герои не пущают.— Выходец из стародворянской семьи, потомственный военный, Арсеньев любил иногда употребить эдакий простецкий оборот.— Крутые у тебя, Момыш-Улы, мужички. «Стой, занимай позицию, копай землю!» Пока я не приехал, так ни одну запряжку и не пропустили.

Казалось, он меня поругивал, но осипший голос рокотал спокойно, одобрительно.

— Хотел дать твоим молодцам взбучку, но вот чем откупились.

Длинные узловатые пальцы полковника извлекли из шинельного кармана бутылку с иноземной этикеткой.

— Мартель! — объявил он.— Настоящий, выдержанный! Пришлось сказать: «Спасибо, ребята!»

В этой говорливости полковника чувствовалась душевная взвинченность, уже спадавшая, уже как бы сопровождаемая вздохом облегчения.

— Они меня тоже одарили,— тепло сказал Панфилов.— Пройдите, Николай Викентьевич, к Дорфману. Кстати, полюбуйтесь там трофеями. И пожалуйста, выбирайте, что понравится. Это будет память о деньке... С товарищем Момыш-Улы я сейчас закончу...

Полковник поставил на стол привезенную бутылку, выразительно крякнул и, уже не подволакивая, а твердо ставя ногу, не спеша прошагал в другую комнату.

Долгим дружеским взглядом Панфилов проводил своего постоянного сподвижника, командира пушек.

— Дайте вашу карту, товарищ Момыш-Улы.

Я разложил свою карту.

— Что же вам надлежит сделать? Во-первых, ночью вы будете пропускать через свои боевые порядки наши отходящие войска. У вас это предусмотрено?

— Да, товарищ генерал.

На карте Панфилов показал мне следующий рубеж обороны дивизии. Он пролегал уже позади Горюнов.

— Но всю эту полосу,— продолжал генерал,— которую мы сегодня держим, противник отнюдь не получит без борьбы. За каждый лесок, за каждую деревушку по-

стараемся взять плату. Не заплатит — не продвинется. Так и будем обескровливать, лишать наступательной способности.

Уже не один раз Панфилов разъяснял мне принятую нашей армией тактику в сражении под Москвой. И все же считал нужным вновь и вновь повторять это. Стоя теперь возле меня в своем распахнутом долгополом полушубке, он опять, слегка подавшись ко мне, вглядывался, слежу ли, понимаю ли я.

— Завтра, товарищ Момыш-Улы, вы еще не почувствуете одиночества. Возможно, дышаться будет легче, чем мы с вами позавчера предполагали. Но случиться может всякое. Посмотрим, введет ли он завтра резервы.— Панфилов опять соображал вслух.— Рота Заева у вас на прежнем месте?

— Да, на отметке.

— Пусть будет наготове перейти в Горюны. Не исключено, что завтра придется прикрыться со стороны Шишкина. Но еще повременим. Вы поняли?

Карандаш генерала опять касался топографических значков на моей карте. Счастливый, что дивизия устояла, выдержала таранные удары, Панфилов не зарывался, не бахвалился, расчетливо, трезво вникал в завтра. Он сказал об артиллерии, которая вместе с моим батальоном будет драться в Горюнах. Но в последний момент, пока еще не захлопнется путь отхода по шоссе, она уйдет.

— А у вас, товарищ Момыш-Улы, прежняя задача: держаться до двадцатого. В ночь на двадцатое снимайтесь, уходите. Сегодня уже верю: свидимся. Ну...

Он протянул мне руку. Последний раз на меня смотрели его узкие, монгольского разреза, глаза. В них искрилась вера. ВЕРА! Опять большими буквами пишите это слово! Как и позавчера, он произнес:

— Иди, казах!

Ночь на восемнадцатое ноября

1

Бауржан смолк.

Мы опять сидели на открытой солнцу гривке близ скрытого в лесу блиндажа-погреба, где пришлось обитать сыну степей Казахстана, герою этой книги. Из костерика

тянулся по ветру смолистый дым хвои, отгонявший комаров.

Неожиданно, как случалось и прежде, Момыш-Улы запел. Я разобрал уже однажды слышанное: «Иван, Иван, на твоем костре я загорался...»

Сейчас смысл этих слов был мне понятнее. Положив точеные темные кисти на рукоять упертой в землю шашки, Бауржан смотрел перед собой. Вот он проронил:

— Еду к себе от генерала...

И опять сопроводил отрывком песни встающие в памяти картины.

И продолжал повесть.

2

— Ухабистая полевая дорога влилась наконец в Волоколамское шоссе. Здесь оно уже сбежало с высотки, где смутно темнели Горюны, устремилось на восток, в наши тылы. У скрещения я остановил коня, смотрел несколько минут.

Что это? Разбитая армия? Идут люди в шинелях — идут усталые, повесив головы, без строя, маленькими группами. Винтовки за плечами будто гнут бойцов к земле. Иные садятся на обочины, ложатся, вытягиваются на снегу. Но лежат недолго. Поднимаются, тащатся дальше, стараясь из последних сил отдалиться от чего-то страшного. Поднимаются то молча, то с похожим на стон «эх» и идут, идут в сторону Москвы.

Прошел небольшой отряд в строю — не поймешь, рота или взвод,— с командиром впереди. И опять в беспорядке тянутся отбившиеся от своих подразделений истомленные, вымотанные люди.

Вот кто-то повстречал, узнал однополчанина.

— Николай, ты?! А наши где?

Спрошенный махнул рукой. Жест сказал: пропали!

Я смотрел не отрываясь. Знал, что в нескольких километрах позади, в селе Покровском, развернут заградительный пункт — об этом сообщил мне Панфилов,— где уже останавливают, собирают, приводят в порядок бредущих бойцов, знал, что в жизни войск бывают такие мучительные периоды, и все же понурые фигуры, вереницы скитальцев удручали.

Опять вставал вопрос: что это? Разбитая, не способная к сопротивлению, покатившаяся к Москве армия? Но я ехал от Панфилова, слышал его слово «превзойти», понимал, что дивизия вынесла удар, принудила противника увязнуть.

Кто же это сделал? Да они же, изнуренные бойцы, сейчас без строя уходящие во тьму. Они дрались, стреляли, теряли товарищей, теряли командиров. Победители, они брели, еще не ведая, что победили.

3

Еду шагом навстречу уходящим. Вот и выстроившиеся вдоль шоссе избы Горюнов.

— Бауржан!

В полумгле примечаю характерную развалочку идущего ко мне Толстунова. Соскакиваю с седла, отдаю повод коноводу.

— Куда, Федор, направился?

— Проверочка постов. Да и тебя уже заждался. Похаживаю, поглядываю. Ан вот и ты!

Не выказывая обеспокоенности моей судьбой, Толстунов с вкоренившейся небрежностью бросает фразы.

— Пойдем,— говорю я.

Толстунов просовывает свои пальцы в варежке под рукав моей стеганки, мы впервые с того дня, как познакомились, шагаем об руку. Он не расспрашивает, ждет. Я кратко выкладываю:

— Звягина не видел. Наш генерал сказал: не могу отменить приказ, но приостанавливаю. И послал меня обратно.

— Понятно. На этом теперь точка!

— Не знаю. Еще можно повернуть и так и эдак. Все-таки ведь я...

— Брось! Или, может, мне слетать в политотдел?

— Не надо! Ни к чему.

— Тогда не забивай этим себе голову! Надобно, чтобы она была у тебя ясной. Поверь старому политслужаке: дело прикончено!

— Значит, закурим, друзья, и забудем?

Толстунов заглянул мне в лицо, рассмотрел улыбку.

— Все! И больше, Бауржан, об этом ни полслова!

— Ладно,— сказал я.

4

Вместе с Толстуновым я вошел к себе в штаб. В комнате, которая, наверное, навсегда останется мне памятной, уже был наведен порядок. Присутствовали лишь те, кому здесь полагалось находиться: Рахимов и Бозжанов да еще дежурный связист у телефона. Плащ-палатка аккуратно прикрывала сложенный в угол штабелек трофеев. Большим листом белой бумаги, прикрепленным кнопками — тоже, должно быть, нашлись среди трофеев,— Рахимов освежил, принарядил свой стол. Даже отклеившаяся, обвисшая полоса обоев, которую раньше никто не поднимал, теперь водворена на место, пришита несколькими кнопками. Чувствовалось с одного взгляда: улетучился, исчез дух обреченности, еще днем витавший здесь.

Глаза-щелочки Бозжанова тревожно воззрились на меня — его сердце-вещун еще, видимо, томилось,— перебежали на физиономию Толстунова, остались неспокойными.

Рахимов без усилия вытянулся, стал рапортовать. В мое отсутствие чрезвычайных происшествий в батальоне не было. Подразделения занимали прежние позиции, в этот час пропускали отходивших. Рапорт окончен.

Толстунов спросил:

— Комбат, у генерала ужинал?

— Не довелось.

— И мы без тебя постились. Проголодались. Теперь давай-ка подзаправимся.

— Заправимся,— согласился я.

Наконец-то Бозжанов по-детски улыбнулся, поверил, что со мной ничего не стряслось. В один миг он засиял, залоснились его круглые щеки.

И вот мы за столом. Откупорены бутылки темно-красного бургундского; этим вином, льющимся в стакан медленной, густой струей, мы запиваем испанские сардины и обиходную рисовую кашу, сдобренную салом.

В сенях слышится шумок. Туда по обязанности младшего тотчас выскакивает Бозжанов. Минуту спустя дверь

снова открывается. В свете неяркой керосиновой лампы, висящей над столом, вижу, как входит Исламкулов. За ним ступает притихший Бозжанов.

Встаю навстречу гостю. Что с ним? На нем, как говорится, лица нет. Куда делась плавность его черт, вся его приятная взору стать. Уголок его рта подергивается.

— Мухаметкул, откуда ты?

Он нас оглядел, увидел знакомые, дружеские лица, ответил:

— Плохо. Позор.

— Что с тобой?

— Позор. Мы бежали. За нами гнались! Ты, Бауржан, не знал такого унижения.— И повторил: — За нами гнались.

— Раздевайся,— сказал я.— Как раз подоспел к ужину. Выпей. Поешь.

— Не буду. Не могу. Людей, Бауржан, накорми.

— Сколько их у тебя?

— Двадцать. Там и лейтенант Гуреев из штаба полка. Тоже оторвался ото всех, был все время с нами... Тоже испытал унижение.

Исламкулов, сдержанный, гордый казах, верный заветам нашей степной интеллигенции, что хранила, передавала сынам предания, традиции, древнюю славу народа, опустился на стул, открыто страдая.

Я приказал накормить команду Исламкулова, пригласил к столу начальника боепитания полка лейтенанта Гуреева — немолодого, изрядно за тридцать, уже с лысиной на темени.

За столом как ни в чем не бывало распоряжался Толстунов.

— Давайте-ка сюда свои шинели. Исламкулов, за тобой требуется поухаживать? На, тащи папиросу! Рахимов, в честь гостей не скопидомничай, потряси запасец!

К лампе пополз дым табака. Исламкулов одним духом выпил свою чарку. Крупные губы Гуреева тоже не отпустили стакана, пока он не был осушен.

Еще минуту Исламкулов жадно докуривал папиросу, потом, точно отворились душевные шлюзы у наших обоих гостей, полился рассказ.

Вырванная страница... Одна из тех, про которые наш генерал сказал: «Надо их восстановить». Вот этот клочок, эта страница еще не собранной книги, носящей название «Семнадцатое ноября».

Близ полудня Исламкулов, рота которого занимала отрезок переднего края у села Ядрово, был вызван в штаб батальона. Захватив связного, взяв полуавтомат, он пошел кружной лесной тропинкой. Она вывела к прогалине, где расположились походные кухни. Под гром пальбы кашевары в засаленных передниках и колпаках занимались своим делом, наряженные на кухню бойцы заготовляли дрова, чистили картошку. И вдруг, когда Исламкулов совсем было миновал кухни, лесом, с тыла, к прогалине вышла немецкая пехота. Это была страшная минута. Внезапно затрещали автоматы, засвистели пули. Прозвучал чей-то панический вопль.

Похолодев, но сохранив самообладание, мой красивый сородич, исповедующий заповедь «честь сильнее смерти», властно прокричал:

— Ко мне! Слушай мою команду!

Стоя во весь рост, он первым стал стрелять. Здесь же случайно оказался и лейтенант-штабник Гуреев. Он сразу отдал себя в распоряжение нерастерявшегося строевого командира. Наряд бойцов, связной, повара прибились к Исламкулову. Под команду, залпами, они стреляли, перезаряжали винтовки и снова стреляли. Исламкулов занял место на одном фланге, Гуреев — на другом. Не позволили врагу подойти. Остановили, припудили залечь.

Что же этим достигли случайно объединенные двадцать человек? Я сужу как командир. Они помогли своему батальону. Вкопавшийся в землю батальон был обращен спиной к проникшим немцам. Повернуть фронт почти невозможно. Размеренные залпы двадцати винтовок заставили насторожиться каждого бойца в окопе: в тылу что-то неладно.

Что же дальше произошло с этим батальоном? Ни Исламкулов, ни два десятка воинов, стрелявших вместе с ним, не знали о дальнейшем. Однако мне, побывавшему у генерала, была уже известна следующая страница.

Сообщение со штабом полка оказалось перерезанным. Комиссар полка, находившийся в этот час в батальоне,

принял решение: вывести батальон из огневого мешка, перестроиться. Этот трудный маневр удался. Роты снялись, заняли новые позиции, нависая над врагом. «Кто же вас прикрыл? Какие там нашлись у нас силенки?» — по телефону допытывался у комиссара Панфилов. И не получил ответа. Теперь мне предстала разгадка: вот они, герои!

Шел дальше застольный рассказ. Гуреев пытался пройти в штаб полка, путь был перехвачен. Он добрался к командному пункту батальона, нашел лишь пустые стены. Немцы уже обтекали группку Исламкулова. Он приказал отходить к шоссе. Там натолкнулись на немцев. Те заметили, стали преследовать, гнали по лесу. Наконец, после долгих метаний, удалось затаиться, дождаться сумерек в овраге.

Впитавший с малых лет заветы достоинства и чести, Исламкулов терзался, передавая эти злоключения. Я сказал:

— А ведь ты молодец, Исламкулов!

— Я?!

— Не ты один. Много молодцов сегодня. До скончания дней буду гордиться подвигами моих бойцов. Сотня героев под командой Филимонова разгромила немецкий батальон. Рота Заева захватила танки. Но и ты на своем месте был молодцом.

— Что ты, Бауржан!

— Мы были внутренне подготовлены, чтобы прыгнуть на врага. А ты одолел то, что бьет со страшной силой: внезапность. Ты сохранил разум. Пересилил внезапность... Теперь Панфилову было бы понятно...

— Что?

— Генерал сегодня спрашивал: откуда взялись, где нашлись резервы? А они — вот!

— Резервы, которые побежали.

— И тут ты поступил правильно.

— Бежали, как зайцы. Это так стыдно!

— Заяц выдерживает взгляд хищника. Помнишь?

Исламкулов уже перестал отчаиваться.

— И знаешь, Бауржан, какое совпадение! Помнишь, как генерал отчитывал повара, не захотел у него пообедать? Помнишь — невычищенная винтовка? Так вот, все произошло как раз там, в том лесу, чуть ли не в том месте.

— И повар тот был?
— Был.
— Стрелял?
— Стрелял.
— И винтовка была чистая?
— Этого не знаю. Но лежала под рукой. Стрелял.

Я разлил по стаканам вино. В наших буднях мы, разумеется, не возглашали тосты. Но сейчас я сказал:

— Выпьем за отцов!

И не пустился в пояснения. Если угодно, знайте: я разумел и предков-родичей, передавших нам, ныне мужам войны, свое достоинство, гордость и честь, и тех (Баурджан приостановился, грозно проследил за моей рукой), на чьем огне мы загорались.

6

Сидим. Вахитов принес чай. К Исламкулову уже вернулась его стройная осанка, мерность речи.

Опять в сенях шаги. Отворяется дверь, чередом входят еще гости. Впереди полковник Малых, поджарый, почти дочерна загоревший под солнцем Туркмении, где он прослужил немало лет, сейчас еще потемневший, без кровинки на впалых щеках. За ним, пятидесятилетним командиром одного из полков нашей дивизии, следовал начальник штаба, молодой капитан Дормидонов.

Все, кто сидел за столом, встали. Я придвинул полковнику стул. Малых отрицательно повел головой, тяжело прошагал в угол, опустился на пол, повалился на спину.

— Товарищ полковник, может быть, поужинаете?

— Не могу. Устал. Чертовски устал. Немного полежу. Минут через пять позвоните генералу, что я здесь.

С усилием приподнявшись, он снял полевую сумку, сунул под голову и, даже не расстегнув полушубка, опять вытянулся. Его спутник занял место за столом, накинулся на ужин. Вымотанный Малых уснул.

И опять все это — сваленный изнеможением, простертый на полу командир полка, молчание начальника штаба — вызывало мысль: разбиты!

Вскоре к гостям присоединился сотоварищ спящего, комиссар полка, крепыш Хайруллин, полутатарин-полурусский, мой давний знакомый по Алма-Ате. Потеки кро-

ви, почти не почерневшей на морозе, испятнали его полушубок. Я невольно воскликнул:

— Что с тобой?

— Ничего, Гнедка подо мной убило.

Подойдя к столу, Хайруллин без приглашений, по-хозяйски, отрезал изрядный кусок колбасы, наложил толстый слой масла на ржаную горбушку.

— Отходим, Момыш-Улы,— прожевывая, говорил он.— С нами тут двести штыков. Да и раненых еще полстолько. Я у тебя реквизировал варево из кухонь. Приказал накормить своих людей. Прежде всего раненых.

— И хорошо сделал.

— Насилу, Момыш-Улы, до тебя добрались. Шли и спотыкались.

— Да ты сядь!

— Некогда, брат. Работенки еще невпроворот.

Он посмотрел на мерно дышавшего полковника. Я сказал:

— Когда он лег, то велел через пять минут позвонить генералу, сообщить, что находится здесь.

— Я уже позвонил. И для раненых вызвал машины из санчасти. Не буди. Дадим часок поспать. А я...

Комиссар отрезал еще колбасы, опять выискал горбушку в груде хлеба, обратился к Дормидонову:

— Знаю, Дормидонов, ноги гудят, но айда со мной!

Немедленный отклик:

— Есть!

Я спросил:

— Далеко ли?

— Туда, где сейчас по штату положено нам быть. Обратно в лес по своим следам. Собирать людей. Еще к тебе наведаюсь. Посидим, братки, все вместе, будем гонять чаи. Только давай погорячей!

7

По телефону я проведал Филимонова, потом позвонил Заеву:

— Семен, что у тебя слышно?

Заев мне обрадовался.

— Товарищ комбат, слава богу, вспомнили. А то я тут уже песенку пою.

— Какую еще песенку?

— Какую? — Своим сиплым басом Заев воспроизвел заунывные причитания беспризорника: — Позабыт, позаброшен с молодых ранних лет...

— Брось чудить! Говори дело!

— Скучновато, товарищ комбат. Тишь. И морозец донимает.— Заев снова пошутил: — Вот вы немного взгрели, на сердце потеплело.

— Ночку перемайся,— сказал я.— А утром будет видно. Уразумел?

— Понятно, товарищ комбат.

Неожиданно в трубке раздался еще чей-то голос:

— Момыш-Улы, ты?

— Я. Кто говорит?

Выяснилось, что со мной разговаривает командир полка майор Юрасов. В лесу он подключился к телефонному шнуру.

— Момыш-Улы, как к тебе дойти?

— Держитесь провода. Идите смело. На немцев не нарветесь.

Примерно час спустя Юрасов с полковым инженер-капитаном оказались у меня. Я вытянулся перед своим командиром. Мягкий, впечатлительный, он подавленно молчал. Инженер произнес:

— Плутали, плутали... Уже не чаяли, что выйдем.

— С кем вы, товарищ майор? Я распоряжусь накормить.

Темная краска проступила на щеках Юрасова. Он ничего не ответил.

— Вдвоем?

Юрасов лишь кивнул. Я ни о чем больше не спросил, ни словом, ни лицом ничего не выразил. Вдвоем — этим сказано все. Командир полка был куда-то откинут вихрем боя, потерял свой полк, потерял штаб, бродил почти до полуночи в лесу, из своих нашел одного лишь инженера. Думается, это было возмездием за вину: обязанный строить оборону по-панфиловски, по-новому, Юрасов, как и раньше я замечал, этим не загорелся, исполнял без веры, душой находился еще во власти прежней тактики. Ему отомстила половинчатость.

Юрасов увидел Исламкулова.

— Ты с ротой?

— Привел, товарищ майор, двадцать человек.

Юрасов опять промолчал. Раздевшись, сняв шапку, открыв свой смятый светлый ежик, он присел к столу, придвинул поданную Вахитовым тарелку, стал жадно есть.

8

Два часа ночи. Пустует мое кресло-раскладушка. Воинский такт, уважение к старшим по званию не позволяют мне прикорнуть там. Обойдя затихшую деревню, вернувшись к себе, дремлю на полу, на том самом месте, где лежал проснувшийся давно полковник.

— Разрешите войти.

В дверях — незнакомый лейтенант.

— Товарищ командир батальона! Вас вызывает штаб армии.

Я уже знал, что под боком у меня, в Горюнах, развернулся промежуточный армейский узел связи, откуда побежали провода к левому флангу армии.

Подымаюсь. Тотчас поднимается Бозжанов. В последние часы, с той минуты, как я вернулся от Панфилова, Бозжанов не покидает меня. Его не зовешь, он все-таки идет.

Шоссе уже пустынно. Кажется, все замерло в эту глухую пору ночи. Лишь иногда, как предупреждение, вдали прокатывается пушечный выстрел.

Лейтенант ведет в избу. Там на миг ослепляет, заставляет зажмуриться яркий электрический свет. У стены поставлен коммутатор. С наушниками сидят телефонисты. Мне подают трубку помассивнее, побольше, чем привычная.

— Говорите.

Сразу же из мембраны слышится:

— Товарищ Момыш-Улы?

Узнаю глуховатый голос Панфилова. Впрочем, он неожиданно звучен, усилен. Приходится чуть отдалять трубку от уха.

— Да. Слушаю вас.

— Как дела, товарищ Момыш-Улы?

— Пока, слава богу, тишь. Люди на своих местах.

— Я говорю от большого хозяина. Здесь находится и товарищ Звягин, и тот, кто является его начальником. Вы меня поняли?

— Понял.

— Доложите подробно, что у вас делается.

Сообщаю: пришел лейтенант Исламкулов с двадцатью бойцами, которые, находясь на кухне, винтовочными залпами встретили немцев.

— Как то есть на кухне? Расскажите.

Принимаюсь докладывать о группке Исламкулова. Панфилов требует подробностей. Странно: сидит у командующего армией, которому подчинены несколько дивизий, и заинтересованно расспрашивает о действиях двадцати человек.

— Передайте товарищам гвардейское спасибо... Ядрово у немцев?

— По-видимому.

— Так... Дальше.

— Сидит у меня майор Юрасов. Отбился от своих. Отошел почти в одиночку. Отстреливался. Ночью разыскал меня.

— А как полк Малых?

— Полковник Малых тоже у меня. Вывел раненых, вывел двести штыков. Пришел с комиссаром, с начальником штаба. Сейчас они ходят по лесу, собирают людей.

— Что рассказывал Малых?

— Дрались весь день. Управление было потеряно. Но подразделения дрались.

— Так... Нет ли признаков, что немцы начнут ночью?

— Пока таких признаков не замечаю.

— Будьте, товарищ Момыш-Улы, еще внимательнее. Ночной удар возможен. Вы меня поняли?

— Да. Проверю готовность.

— Вот-вот... Теперь одну минуту подождите.

В мембране слабо гудит ток. Сейчас, наверное, Панфилов что-то скажет о приказе Звягина. Судя по всему, исполнилось прорицание Толстунова, старого политслужаки, как он себя назвал: дело прикончено.

Никому не мешая, у дверного косяка застыл Бозжанов. В узких глазах — ожидание. Конечно, усиливающая звук мембрана доносила и до него каждую фразу Панфилова. Теперь, как и я, Бозжанов ждет дальнейшего.

В трубке вновь возникает громкая хрипотца Панфилова:

— Вы слушаете?

— Да.

— Примите, товарищ Момыш-Улы, командование всей группировкой Красной Армии в Горюнах.

Не сразу осмысливаю эти слова. Ослышался я, что ли?

— Как? Что вы сказали?

Невольно приближаю трубку к уху. В барабанную перепонку будто ударяют молоточки, отчетливо выстукивают:

— Передаю приказание командующего армией: вам поручено командовать всей группой, сосредоточенной в Горюнах. И пожалуйста, исполняйте поскорей ввиду возможности ночных действий противника.

— Но как же? Ведь тут есть полковник.

Слышу похмыкивание Панфилова.

— Должно быть, вы хотите, товарищ Момыш-Улы, чтобы командующий дал мне нагоняй,— интонация становится чуть иронической, в воображении вижу тонкую усмешку под квадратиками черных усов,— нагоняй за то, что у меня такие недисциплинированные подчиненные. Что я их распустил.

Выговариваю:

— Есть!

— Ну вот... Какие у вас ко мне вопросы?

— Пришлось накормить раненых. Да и бойцов полковника Малых. Продуктов осталось маловато.

— Останавливайте от моего имени любую повозку, любую машину с продовольствием, забирайте.

— Есть!

— Задача у вас прежняя. Вы поняли? Ну-с, будьте начеку. До свидания, товарищ Момыш-Улы.

Где-то на далеком конце провода трубка положена. Кладу трубку и я. Взглядываю на Бозжанова. Сияют его приоткрывшиеся в улыбке ровные белые зубы, сияют глаза, смотрят на меня с детской любовью.

— Чему радуешься?

— Аксакал!

Не раз в некоторые особые минуты — большей частью это были кульминации, пики нашей повести, сложенной автором Войной,— Бозжанов употреблял такое обращение. Сейчас в нем слышна торжественность.

— Аксакал, это замечательно! — Ища выражений, он возносит обе руки.— Теперь живем!

— Чего доброго, пустишься в пляс?

Продолжая улыбаться, Бозжанов встает «смирно»: руки по швам, каблуки вместе, носки врозь.

Возвращаюсь к себе. Со мною идет, держась на полшага сзади, неотлучный Бозжанов.

Все, кому привелось перебыть эту ночку в моем штабе, ждут моих вестей. Всем интересно: зачем меня вызывали на армейский узел связи?

Полковник Малых сидит на кровати, привалившись к спинке. Он после короткого сна уже побывал среди своих бойцов. Напряжением воли он заставляет себя бодрствовать, хотя разбит усталостью. Его втянутые щеки все еще землисты.

— Садись, Момыш-Улы, садись,— роняет он.

Как же я скажу ему, пятидесятилетнему полковнику, что он переходит в мое подчинение? Нет, язык не повернется произнести это. Нет, командующий, конечно, поспешил. И стоять как-то неловко, и не могу сесть. Говорю:

— Командир дивизии звонил от командующего армией. Там и товарищ Звягин. (К чему, черт возьми, приплетаю Звягина?) Генерал предупредил, что противник, возможно, будет атаковать ночью... Спрашивал, товарищ полковник, про вас.

Уф, не могу сказать, и баста!

— Ну! Чего тянешь?

— Я доложил, товарищ полковник, что вы находитесь у меня, что ваш штаб приводит людей в порядок. Доложил, что вы здесь являетесь старшим начальником.

Как-то виляю, клоню дело к тому, чтобы Малых принял командование. Ведь по уставу в таких случаях командование принадлежит старшему.

И вдруг повелительный, возмущенный голос:

— Аксакал!

Оборачиваюсь к Бозжанову.

— Аксакал! Почему не берете повод? Исполняйте приказание.

Это резкое, требовательное восклицание придало мне силы. Я остро ощутил веление долга. ДОЛГ — пишите крупными буквами это самое высокое слово — голосом Бозжанова прокричал мне: исполняй! Колебания, нерешительность вмиг меня покинули. Я выпрямился. Речь стала официальной.

— Товарищи! Командир дивизии приказал мне командовать всей группировкой в Горюнах. Товарищ полковник, доложите: чем вы располагаете?

Мгновение тишины. И вот полковник поднялся. Разбитый усталостью, он сейчас испытал еще и удар по самолюбию, но овладел собой, встал, спросил у начальника штаба:

— Дормидоныч, как ты считаешь, что у нас есть?

— Пока имеем, товарищ полковник, человек двести семьдесят или двести восемьдесят. Еще соберем.

Далее Дормидонов сообщил о вооружении: имелись противотанковые гранаты, пулеметы.

Все поочередно доложили.

10

Я занял новый командный пункт в железнодорожной будке, несколько позади деревни. В передней каморке заполыхала печурка, засветилась коптилка, в комнату побольше перекочевали наша лампа, телефон, бумажное хозяйство Рахимова. Тимошин организовал связь со всеми моими новыми войсками. К ним, руководствуясь пословицей «свой глаз — алмаз», сходил обязательный Рахимов, на местности рассмотрел позиции, чтобы затем в точности нарисовать. Толстунова и Бозжанова я послал в роты проверить бдительность ночного охранения.

Незаметно пролетела ночь. Противник, говоря языком боевых донесений, активности не проявил. Помню, я откинул край нашей светомаскировочной шторы — плащ-палатки, глянул наружу: показалось, тьма чуть помутнела. Как раз в эту минуту позвонил Панфилов.

— Доброе утро, товарищ Момыш-Улы.

Поздоровавшись, я отважился заметить:

— Покамест еще ночка.

— Э, ночка позади. Уже можем ее себе приплюсовать. Выиграли ее, отняли у противника. Не хотел он нам ее отдать, да помотали мы его вчера, вынудили приводить себя в порядок. Думаете, только нам выпало это? Ошибаетесь, товарищ Момыш-Улы.

— Я же ничего не говорю.

— А я вижу по глазам.

Панфилов засмеялся своей шутке. Нас разделяли заснеженные просторы, но не приходилось сомневаться: он

встретил в отличном настроении этот первый брезг утра.

— Я уже чаевничаю, завтракаю,— продолжал он.— Так сказать, справляю новоселье. Вы меня поняли?

— И я тоже новосел. Перебрался в путевую будку. Отсюда управляю своими сводными войсками.

— Со сводными войсками, товарищ Момыш-Улы, придется вам расстаться. Полковника Малых со всеми его силами отправьте в мое распоряжение. Всех его людей освободите. Пусть идут ко мне, пока темно.

Затем генерал приказал отослать к нему и майора Юрасова.

— Отдайте ему отрядец Исламкулова. Пусть майор явится во главе войск. Хоть двадцать человек, а все-таки войска. Вы поняли?

Ночью Панфилов отодвинул в сторону соображения, касающиеся самолюбия подчиненных. А сейчас заботился о том, чтобы без надобностей не унизить командира, уже униженного, душевно израненного безжалостной действительностью, оберегал его достоинство.

— Рассчитывайте, товарищ Момыш-Улы, только на себя. Только на свой батальон. И вчерашним выигрышем не обольщайтесь. Нам с вами следует знать, что выигрыш с проигрышем в одной телеге ездят... Во все стороны поглядывайте. Прикройте себя справа и сзади. Роту Заева снимите.

Лишь прошлым вечером Панфилов сказал о переброске роты Заева «повременим», а нынче еще до утренней зорьки приказал: «снимите». Подготовляя сопротивление на следующем рубеже, оставляя в ключевой точке на шоссе впереди всех войск мой батальон, он, как и прежде, разговаривал со мной начистоту, ничего не обещал, не прикрывал реальность неясным, неверным утешительным покровом.

— Ну-ка, еще раз загляну в ваши глаза,— опять пошутил он.— Гм... Нет, не скажу... Не скажу, а то можете потерять скромность. О ней, товарищ Момыш-Улы, никогда не забывайте. Вы меня поняли?

— Есть! Никогда не забуду!

— Связь с вами я надеюсь сегодня еще удержать. Обо всем сообщайте. Всего вам доброго, товарищ Момыш-Улы!

Некоторое время я еще посидел у телефона, сложив

руки, переживая разговор. «Не теряйте скромности». Конечно, Панфилов имел в виду не только зачинающийся день. Это завет наперед, завет надолго. Значит, там, впереди, вдалеке, Панфилов меня видит живым. «Пусть надежда вам согревает сердце» — таково было его недавнее напутствие. И сейчас он сказал ведь то же самое, лишь несколько иначе. Иначе и уверенней!

Но некогда переживать. Я взял трубку, принялся выполнять приказания генерала.

Еще три дня

1

— Подходит к концу наша повесть,— продолжал Бауржан Момыш-Улы.— Приближаются ее скорбные страницы. Внутренний голос повелевает мне быть лаконичным.

...Туманный рассвет. Мороз. Леденящий ветер. На шоссе возобновился отход. Выбираются, бредут отбившиеся. Идут строем отдежурившие ночь на рубеже взводы прикрытия. В порядке уходят подразделения саперов, за собой они оставили минные поля.

...Возобновился и пушечный грохот. На Горюны, на склоны нашей высотки, на ближние опушки обрушился комбинированный частый огонь. Рявкают, бьют залпами и скрытые в лесу наши артиллерийские дивизионы. То и дело ко мне в путевую будку доходит дрожь сотрясенной земли.

...Рядом со мною в будке сидит чернобородый капитан, командир дивизиона «катюш» — мощных реактивных минометов. Это грозное оружие прислал в Горюны Панфилов. Выпустив серию ракет, «катюши», передвигающиеся на автотяге, немедленно меняют позицию, уходят из-под ответного огня. Производится заново расчет каждого выстрела. Цели указывает Панфилов: «Подготовьте туда-то. Потом я махну палочкой».

Слежу за работой «катюш». Выстрел. Басовое гудение заглушает все иные звуки боя. Накрыты позиции деревеньки Горки. Следующая цель — у Рождествена, где не-

давно генерал у нас обедал. Еще один наш залп туда же. И вот новая команда:

— Подготовьте в Шишкино!

Значит, отдали и Шишкино... Медленно тянулся день, дивизия оставляла деревню за деревней, залпы «катюш» очерчивали дугу вокруг нашей высотки.

Черт возьми, а Заева все нет! И со стороны Шишкина мы не прикрыты!

...Наконец-то он, верзила Заев, появляется. На поясе гранатная сумка, пистолет в кобуре. Из-за пазухи шинели, как и в прежние дни, торчит ручка парабеллума.

— Где ты пропадал?

— Товарищ комбат, дал людям часок обогреться в избах. Ознобились, спасу нет.

— Кто разрешил? Киркой, лопатой будем греться! Сейчас же выступай, перехватывай дорогу на Шишкино. Там уже противник.

— Подать его сюда! — по старинке отчубучивает Заев.

За два дня, проведенные в лесной глухомани, он оброс рыжей щетиной. Запавшие глаза не прячутся под выступами бровных дуг, преданно, смело глядят на меня. Отмочив шутку, Заев обретает серьезность.

— Товарищ комбат, слушаю вас!

— Занимай позиции по опушке! С тобой сейчас пойдет туда Рахимов. Укрывай, береги людей. Пристреляй дорогу. Если пойдут танки, отсекай огнем пехоту!

...Реактивные снаряды трахнули по Шишкину. Чернобородый капитан ожидает следующей команды. Связист зовет его к телефону. Выслушав приказ, командир «катюш» протягивает мне руку.

— Славно постреляли. Приказано ни минуты не терять, уходить из Горюнов. Сам знаешь, не дай бог, если моя техника попадет к немцам.

...Вызываю к себе лейтенанта Шакоева. Выхожу ему навстречу. Олютевший ветер несет, завихряет колючую снежную пыль. Горбоносый красавец, командир взвода истребителей танков, легко, будто земля под ним пружинит, подбегает ко мне. За ним топает, поспевает Кузьминич.

— Политрук, вы почему здесь?

— Я? — оторопело переспрашивает Кузьминич.— Я с истребителями.

Бросаю короткое:

— Ладно.

И обращаюсь к Шакоеву, указываю на местности задачу:

— Из Шишкина возможен рывок танков. Могут пройти позицию Заева. Он отсечет пехоту. А ты готовься встретить танки. Перебрось сюда свой взвод. От скрещения далеко не уходи. Посматривай назад. Будь под рукой!

— Есть!

...Снимаются с огневых позиций, раскинутых в лесу возле Горюнов, пушки артполка. Мимо окна проплывают на тракторной тяге длинноствольные орудия.

Погрузился, ушел и армейский узел связи. Вот теперь мы действительно одни.

Станцию Матренино противник сегодня не трогает. Такова манера гитлеровской армии: где единожды ожглись, туда больше не суются, обтекают.

Откуда же, откуда же грянет удар?

2

...В будку вторгся картинно одетый лейтенант: потрепанная длинная шинель, красный башлык, кубанка набекрень, из-под нее выбился пышный светлый чуб. Лихо козырнул, представился. Офицер связи такого-то кавалерийского полка.

Со вкусом, с расстановкой это выговорил. Почему он здесь? Залпы «катюш» были устремлены направо, а кавалерийский полк, что назвал лейтенант, удерживал участок фронта слева. Пришелец описал обстановку: рубеж лопнул, отходим, вернее — дали «драпака».

— Дело ваше. Спасибо, что сообщили.

— А ты чего будешь делать?

— Остаюсь здесь.

— Ишь какой герой! Ну, мир праху твоему!

Опять произнес это со вкусом. Взял у Рахимова пачку немецких, в яркой обертке, сигарет, козырнул и ушел. Ни на грош не переживал горечи отхода. Беспечный проныра!

...Танки! Они появились не спереди, не слева, не справа, а с тыла, с той стороны, где шоссе, обозначенное вылизанными ветром островками асфальта, чернеющего меж

косячков снега, убегало к Москве. Не завладев станцией Матренино, обойдя ее, противник где-то нащупал слабину и, сломив сопротивление, вырвался танковой колонной на основную магистраль. Но наш узелок в Горюнах преграждал прямое сообщение по шоссе, стоял у противника поперек горла.

Встают в мыслях те минуты... Сидя в будке, я вдруг услышал гул моторов. Почти в это же мгновение с негромким сухим треском бронебойный снаряд прошил стену, разнес вдребезги телефонный аппарат и, продырявив еще одну стену, ушел дальше. Сунув за телогрейку пистолет, я побежал на волю. Повар Вахитов, еще ни о чем не подозревая, священнодействовал над раскаленной плитой.

С порога сквозь поземку я увидел танки. Шли, приближались десять или двенадцать бронированных темных коробок, устрашающе рыча. Шли развернутым строем, нагло, без пехоты. Одна машина — большущая, наверное командирская,— стояла рядом с моей будкой. Башня была обернута красным полотнищем. Торчал прутик антенны. Высунувшись по пояс из приоткрытого люка, танкист оглядывал местность. Меня он не заметил.

Стрелять? Я еще не успел ничего сообразить — смутила и красная ткань над белеющим на бортовой броне вражеским крестом,— как из-за будки бесшумно шагнул побледневший Кузьминич. Его голые, без варежки, пальцы сжимали ручку противотанковой гранаты. Показалось, что он двигается непереносимо медленно, уже и немец насторожился, быстро пригнулся.

В этот миг я выстрелил. А Кузьминич неторопливо рассчитанным, точным швырком метнул в танк гранату. Стрелок, скрытый в машине, успел нажать спуск пулемета. Мой выстрел, пулеметный лай, острия пламени, вылетающие из тонкого рыльца, глухой грохот, содрогание стальной коробки — все это слилось воедино.

Стук пулемета оборвался.

— Кузьминич, вторую! — крикнул я.

Неспешным по-прежнему движением он кинул еще одну гранату и упал. Я бросился к нему, приподнял. Изо рта лила кровь, пузырилась красная пена.

Взрывы двух гранат Кузьминича стали будто сигналом отпора. Защелкали выстрелы двух пушечек, охранявших тыл, забухали противотанковые ручные гранаты.

Я вытащил бинт, расстегнул на Кузьминиче шинель. К нам уже подбегал Синченко.

— Берись,— приказал я,— помоги перенести политрука в будку. И седлай коня, скачи за Киреевым.

Гимнастерка Кузьминича намокла. Сквозь свистящее дыхание он смог проговорить:

— Нет, уже не стану... Не стану военным.

Неживая пелена подернула его глаза. Он, научный сотрудник института экономики, сидень-книжник, впервые в годину великой войны надевший грубую солдатскую шинель, обретший в страшный миг бесстрашие истинного воина, угас с этими словами: «Не стану военным».

...Три танка уже были окутаны дымом, в котором металось коптящее пламя. Один вертелся на перебитой гусенице.

Огрызаясь, отстреливаясь, уцелевшие машины отошли.

3

...Снова немцы нас молотят бризантными гранатами, шрапнелью, минами. Скрывшиеся в лесу танки, не жалея боеприпасов, тоже лупят из башенных орудий по деревне. За наглость они уже проучены. Вынудить танки идти медленно, не отрываясь от пехотного сопровождения,— этого, думается, мы достигли.

Перебежками я добрался к Брудному, растолковал задачу: отрезать, отсекать пехоту от гусениц. И когда пехота заляжет под нашим огнем, останется в поле без брони, контратаковать, гнать, убивать!

Бойкий, смышленый лейтенант понимающе кивает.

...Вот она, еще одна атака.

Снова развернутым строем ползут по снегу танки, ползут на малой скорости, держась возле идущих беглым шагом автоматчиков. Их разит наш винтовочный огонь, подкашивает пулемет Блохи. К пулеметчикам ушел от меня Бозжанов.

Люди в зеленоватых шинелях не выдерживают, ложатся. Машины притормаживают, вроде бы оглядываются на залегших. Вступают в дело наши пушечки. Снаряд-другой попадает в цель, в черные, почти неподвижные мишени. Минута колебания. Танки отвечают огнем, бьют по нашим

пушкам. И дают задний ход. С ними отбегает пехота. Второй приступ отражен.

...Опять бешеный обстрел. Сидим в подполах, в земляных укрытиях. Медпункт заполнен ранеными.

Наконец смеркается. Еще одна ночка окутывает тьмой подмосковные снега. Мы выстояли, не отдали Горюны.

4

Занялся следующий день, девятнадцатое ноября. Последний день обороны Горюнов.

...Стрельба с трех сторон. Единственная спокойная сторона — станция Матренино. Туда, к Филимонову, мы ночью переправили раненых, разгрузили медпункт.

Взводы Брудного и хозяйственный взвод обороняют деревню. С разных опушек лезут танки и пехота. Ведем огневой бой. Немецкие снаряды выводят из строя одно за другим наши орудия. Ездовой Гаркуша придумал: поставить пулемет на розвальни, запрячь маштачка и стрелять с саней, перебрасывая эту огневую точку из конца в конец деревни.

...Тают и тают наши силы.

Навзничь простерт на снегу богатырь Галлиулин. Шинель прорвана у самого сердца. В миг смерти он прижал руку к груди, прижал точно так же, как и в ту минуту, когда однажды сквозь сон кротко произнес: «Я извиняюсь».

Неловко согнувшись, застыл навсегда Мурин. Очки сбиты с воскового заострившегося носа, в снегу торчит обвязанная ниткой дужка. Никогда больше он, аспирант консерватории, ставший пулеметчиком, не подойдет ко мне, не приоткроет свою впечатлительную душу. Сколько раз я его учил стоять «смирно», а теперь сам стою «смирно» над ним, недвижным Муриным.

— Комбат, ты чего, сдурел? Нарочно ловишь пули?

Толстунов с силой пригибает меня к взрыхленному, перемешанному с глиной снегу, тащит за руку в укрытие.

...Сотоварищ погибших пулеметчиков, командир расчета Блоха ранен, осколок чиркнул по шее. Блоха

не оставил розвальней — своего летучего пулеметного гнезда.

Вот несутся эти сани. Рядом с Блохой, странно сбычившим голову, сидит на соломе у пулемета разгоряченный азартом, страстью боя Бозжанов. Вожжи держит тоже отнюдь не приунывший, подгоняющий коня кнутом и сочными ругательствами озорной Гаркуша.

Уже в середине дня этот пулемет остался у меня единственным.

...Еще одна атака немцев со стороны путевой будки, уже нами отданной. Лезут в гору танки, за броней укрывается пехота. Приближаются к крайним домам, к сараям на околице. Наш злой ближний огонь заставляет наконец автоматчиков лечь. А танки врываются в деревню.

Сбоку, с горы, срываются, скатываются мои бойцы. Они с диким рывком «а-а-а!», с примкнутыми штыками стремглав набегают на вражескую цепь. Вперед вынесся Брудный. Немцы не принимают удара.

А в Горюнах, на широкой улице меж домов, глухо хлопают противотанковые гранаты. Взвод истребителей схватился с черными машинами смерти. Тут и там замерли, дымят подорванные, подожженные, одетые в броню громадины. Те, что избежали этой участи, прогрохотали сквозь деревню и, не снижая скорости, ушли по противоположному склону.

Мы остались хозяевами Горюнов. И опять на взрытом гусеницами и снарядами снегу простерты павшие.

В единоборстве подбив танк, сложил удалую голову красавец Шакоев. В этой же схватке погиб тот, кого в роте называли стариком,— солдат с прокуренными пшеничными усами, Березанский.

Худенький низкорослый Джильбаев перевязывает сидящего на снегу раненого.

— Товарищ комбат, я тоже...

Джильбаев показывает взмахом руки, что и он метнул под танк гранату. Жар боя еще владеет им.

Он обводит взглядом улицу, что стала полем брани, видит догорающие танки, охваченную пламенем избу, недвижные тела в шинелях, стеганку распластанного на обочине с протянутой вперед рукой дагестанца-командира.

— Товарищ комбат, как же теперь? Что же мы теперь?

— Будем, Джильбаев, драться дальше.

...Вернулись бойцы, которые отогнали автоматчиков. Вернулись и принесли на шинели тело командира роты. В этой жестокой контратаке отдал жизнь Брудный.

Маленький связной, скороход Муратов, уже не раз терявший в бою командиров роты — и стройного, подтянутого Панюкова, и стеснительного, с грузинскими черными, навыкате, глазами Дордия,— сиротливо смотрит на утратившее краски жизни, пожелтевшее лицо.

Прощай, храбрец Брудный! Прощай, мой сотоварищ! Опять секунду-другую стою «смирно» над погибшим.

Уже некому передать командование ротой. Не забирать же Бозжанова от последнего моего пулемета. Опять рядом со мной Толстунов.

— Федя, прими роту. Больше некому.

Старший политрук сейчас словно забывает, что он выше меня званием, чеканит в ответ:

— Есть, товарищ комбат!

...Больше не пытаясь взять деревню с ходу, немцы упорно захватывают пространство. Уже продвинулись на восемьсот метров, отделяющих Горюны от кромки леса, темнеющего за путевой будкой. Уже отняли у нас несколько сараев на околице.

...Давно нет связи с Заевым. Ведущий к нему телефонный шнур перебит осколками. Порой доносится частая ружейная пальба с той стороны, где окопались бойцы Заева, отделенные от нас полосою леса.

Лишь с Филимоновым я держу связь. И телефонную (повреждения линии быстро исправляют герои-связисты) и огневую.

Поляна, где пролегает дорога на станцию, простреливается и с нашей высотки, и боевым охранением роты Филимонова, выдвинутым в перелесок, откуда видны Горюны. Ни один автоматчик не лезет в это поле, огражденное перекрестным огнем.

...Продолжаем драться. Немцы занимают дом за домом, мы от дома к дому медленно отходим, цепляемся за каждый двор, снова и снова встречаем врага пулями.

Вот так бы держать и Волоколамск!

...Свечерело. Мы владеем половиной деревни, другая — у немцев. Нас разделяют еще не погасшие пожарища.

Во мгле бой замирает. Мутные красноватые зарева обозначаются в небе. Под прикрытием тьмы в братской могиле хороним убитых. Хороним без салюта, без надгробных слов.

Санитары — их тоже осталось не много — без шума эвакуируют раненых в Матренино. Задерживается лишь фельдшер Киреев, чтобы уйти с последней горсткой.

...Часы показывают наконец полночь. Минуло девятнадцатое ноября. В душе умещаются и скорбь, и пронзающая радость. Задача, которую поставил Панфилов, нами выполнена. Воинский долг свершен! Можно покинуть Горюны.

Неожиданно во тьме возгорается стрельба. Сунулась немецкая разведка: не ушел ли уже рус? Мы огрели разведку из винтовок.

Убедившись, что рус еще держит оборону, немцы без прицела забрасывают нас минами. Пережидаем налет. Опять все затихает.

...Выхожу на улицу. В отсвете зарева вижу: мерно шагает Тимошин, сматывает провод.

Подзываю его. Заходим в стылую, с проломами в крыше избу. Приказываю Тимошину взять двух бойцов и пробираться к Заеву. Пусть рота Заева снимается, уходит. Назначаю место встречи — отметку в лесу близ деревни Гусенево. Обозначаю на карте Тимошина эту отметку. Отраженный от бумаги луч карманного фонарика падает на похудевшее, ставшее за один день поугловатее, мужественное юное лицо.

...Снаряжаю людей и в другую сторону, в недалекий лес, где укрыты кухни и обоз батальона. Посыльные передадут мой приказ: сейчас же запрягать и двигаться на станцию.

...Снимаю оборону. Все сходятся ко мне. Рахимов пересчитывает последних защитников деревни. Нас лишь двадцать четыре человека. С нами две пушки, один пулемет.

Втихомолку оставляем Горюны. Передовым идет Рахимов. Цепочку замыкает Толстунов.

Успеваю затемно оставить и станцию Матренино.

Засеревшее утро встречаем на марше. Двигаемся лесом: рота Филимонова, малые остатки роты Брудного — на время похода они переданы под начало Бозжанова,— добрый десяток саней, где тесно разместились раненые, санитарная линейка, розвальни под пулеметом, обозные двуколки, две пушки.

По лесным тропкам держим путь к отметке, куда должен подойти и Заев. Идем строем. Солдатская тяжелая обувь проминает до черной земли тонкий слой снега. Белые шапки лежат на лапах хвои. Уже облетает дуб. Опавшими листьями дуба усыпана наша тропа. Порой приходится топорами и малыми саперными лопатами подсекать прутняк, вырубать дорогу для орудийных запряжек.

Уже немало километров пройдено. Длинной дугой, кое-где с зубчиком — там мы огибали открытые места — прочерчен на крате Рахимова наш след. Нигде не наткнувшись на немцев, выходим лесной глушью к Волоколамскому шоссе. Нам его надо пересечь, прошагать полосу, очищенную от деревьев. Стоим в подлеске, наблюдаем.

Катят и катят в сторону Москвы длинные немецкие грузовики. Прошумела очередная автоколонна. В кузовах наложены, обвязаны толстыми веревками ящики с боеприпасами. Несколько машин заполнено солдатами. Сидят съежившись, вобрав руки в рукава темно-зеленых шинелей. На уши натянуты пилотки, воротники подняты.

Прошла, вздымая колесами снежную пыль, эта колонна. Двигаться? Опять приближается, мчится вереница машин с гитлеровской мотопехотой. Противник, видимо, вводит резервы, свежей кровью оживляет, подкрепляет наступление. Посмотрим, надолго ли еще хватит у вас крови!

Стоим, пережидаем. Движение по шоссе то затихает, то возобновляется. Черт возьми, не переждешь! Приказываю открыть по машинам огонь. Стрелять в пехоту, в кузова, чтобы шофер в ужасе добавил скорость.

Вот и еще одна колонна. Огонь! Трах, трах... Грузовики вихрем унеслись. Идет легковая штабная машина. Водитель, ошеломленный внезапной пальбой, тормозит. На шоссе выскакивает офицер и тут же валится, скошенный пулями. Шофер тоже застрелен.

Командую:

— Вперед!

Все кидаются через дорогу. Запряжки рысью обгоняют бойцов. Мчусь к легковой машине. На запястье только что рухнувшего офицера виден след ремешка ручных часов. Кто-то их уже снял. Обнаруживаю в машине радиоаппарат и портфель с документами. Берем это с собой.

Перевалив через шоссе, снова скрываемся в лесу. Снова идем строем.

6

Идем, как и прежде, по компасу, по азимуту. Путь прокладывает Рахимов, ведет строй к отметке, к пункту встречи с ротой Заева.

Подходим к железной дороге. Ее надо пересечь. Полотно расположено в глубокой выемке. Противоположный откос — настоящая круча. Почти отвесную глинистую осыпь лишь кое-где забелил снег.

Пушки здесь не вывезем.

Шагаю вдоль каймы леса: нет ли переправы поудобнее? Слышу немецкий говор. Будка путевого сторожа занята врагом.

Иду в другую сторону. В соседней будке тоже немцы.

Возвращаюсь. Что делать? Бросать пушки? В раздумье подхожу к обрыву. Позади, за деревьями, стоят бойцы. Вдруг ощущаю — однажды в нашей истории этакое уже было,— ощущаю сто пятьдесят уколов в спину. Оборачиваюсь. Все смотрят на меня. Читаю во взглядах: «Ты нас погубишь или выведешь?» Опять, как и в прошлый раз, взгляды были острее, сильнее любых слов.

Мгновенно обретаю решимость. Выпрямляюсь.

— Слушать меня! Лошадей выпрячь! Пушки вытащить на себе! Вперед!

С того самого места, где выемка-ущелье преградила нам путь, ринулись напрямик через нее. Бойцы вложили такую страсть, готовность побороть, одолеть препятствие, жажду жить, что пушки колесами едва касались земли. Потом легко вынесли сани, перевели выпряженных лошадей.

Война вновь и вновь учила: верь солдату! Стоит лишь сказать — и народ сделает, одолеет даже то, что тебе кажется немыслимым. Невозможное свершалось походя. Превзойти! Превзойти себя! Невольно всплыли сказанные нашим генералом эти слова-ключ.

Не раз совершавший походы в неизведанных местах, хаживавший, случалось, и дикими лесами, грамотный топограф, инструктор горного спорта Рахимов уверенно вел строй. Любо-дорого было оглянуться — мы оставляли за собой точную прямую. Но шли без патрулей. На марше полагается выделять головное, тыловое, боковые охранения. Однако никого нельзя было послать в дозор. Ориентироваться в лесу очень нелегко. Молодые лейтенанты, досрочно выпущенные из военного училища, не владели топографической грамотой, весьма туманно представляли себе, а то и вовсе не знали, что такое азимут. Выделишь головное или боковое охранение — оно бредет черт-те куда, приходится самому верхом разыскивать свои заблудившиеся патрули.

Еще до полудня мы вышли к пункту сбора, к небольшой вырубке в лесном массиве. Рота Заева нас уже ждала.

— Встать! Смирно! — во весь свой застуженный бас прогорланил Заев.

И подбежал ко мне. К привычным моему глазу двум его пистолетам — один на боку в кобуре, другой за шинельной пазухой — Заев добавил еще и висевший на груди вороненый трофейный автомат. Оттопыренные, обвисшие карманы шинели погремливали на бегу. Заев туда втиснул набитые патронами жестяные диски, они прорисовывались через сукно. Свежий лоск оружейной смазки чернел на коротких сильных пальцах. Видимо, здесь на привале, он занимался с бойцами разборкой и сборкой оружия. Зеленоватые, залегшие в глубоких впадинах, сейчас вскинутые на меня глаза верзилы лейтенанта блестели радостью. Большой рот приоткрылся в улыбке, показались желтоватые, прокопченные табаком зубы. Он был весь виден насквозь, не затаил зла, обиды на меня, от сердца радовался встрече с комбатом. Не позволив себе каких-либо чудачеств или вольностей, Заев доложил: боевую задачу рота выполнила, удерживала дорогу Горюны — Шишкино до получения моего приказа об отходе.

Все стояли «смирно», пока длился рапорт Заева. Затем я крикнул:

— Вольно!

И приказал Рахимову располагать батальон на привал,

раздать людям обед из батальонных кухонь, приготовленный на марше.

Батальон! С затаенной гордостью, со счастьем я вновь выговаривал это слово.

8

Итак, отдых в лесу. Бойцы нашли удобные местечки на вырубке и за деревьями, сели, привалились к пням, похлебали суп с мясной крошенкой, блаженно задымили — табаку нам теперь хватало, еще не истощился запас трофейных сигарет. С разных сторон неподалеку — далеко не отпустишь: заплутаются — нас охраняли посты. Рахимову я приказал съездить на опушку, зорким глазом оттуда окинуть простор.

Сидим, курим, дожидаемся Рахимова. Слышатся шутки. Кони выпряжены, мирно жуют насыпанный на подстилки овес. Кто-то шагает по вырубке с огромной охапкой сена. Из этого вороха выглядывает разрумяненная на морозе плутоватая физиономия Гаркуши. Окликаю его:

— Гаркуша, где раздобыл?

— Стожок тут отыскался. Приберем. Не фрицу же дарить.

И вдруг в это безмятежное мгновение несколько бойцов вынеслись на вырубку с воплем:

— Немцы! Немцы!

По вырубке будто пронесся смерч. Все, кто сидел или прикорнул, кинулись врассыпную в лес. Поляна вмиг опустела. Застигнутый врасплох батальон буквально в один миг обратился в бегство. Мои закаленные воины, знавшие радость победы, славу подвига, громившие, гнавшие врага, отходившие от дома к дому в Горюнах, все же оказались подверженными ужасу внезапности.

На вырубке — никого! Лошади спокойно хрупают, перетирают на зубах овес. Стоят две наши осиротевшие пушечки, около них — ни души. А я? Вскочил, остолбенел. Смотрю на пушки. Они мучили нас, мы с ними не расставались, выносили на руках, берегли это наше последнее противотанковое средство. Они выходили с нами из всех окружений от села Новлянского и до этой поляны, посреди которой сейчас брошен ворох сена. Перевел взгляд на лесок. В просветах меж деревьями — немцы! Человек три-

ддать в белых халатах, белых касках идут цепью. Впервые их вижу в этом маскировочном белом наряде. И стою, оцепенев. Идут не торопятся, соблюдают осторожность. Уже выходят на открытое место.

Неожиданно слышу сиплый шепот Заева:

— Товарищ комбат, чего стоишь? — В эту минуту он опять говорит со мной на «ты».— Ложись! Сейчас вдвоем их шуганем!

Кошу глазом. За пнем распластался Заев. Он изготовился для стрельбы лежа: слегка раскинуты длинные ноги, локти уперты в снег, автомат прижат к плечу, палец касается спускового крючка. Из кармана уже вытащена, темнеет под рукой запасная обойма. Отстегнута, покоится рядом и ручная граната. А меня еще держит, не отпускает столбняк. Встречаю взгляд Заева. Его глаза под выступами лохматых бровей вдруг становятся понимающими, проникновенными. Замечаю его горькую-горькую усмешку. Почему он так усмехнулся?

Взор Заева уже обращен к немцам. Вот-вот он нажмет спуск. И как раз в этот миг позади раздается повелительный крик Толстунова:

— Комбат остался! Куда же вы бежите? За мной!

Разумеется, Толстунов поминает и мамашу — где только в дни войны ее не вспоминали!

Весь батальон вылетает обратно на поляну. Строчит автомат Заева. Бойцы с яростным «ура» бегут на врага, стреляя на ходу. Впереди Толстунов и Филимонов. Их обгоняют другие. Различаю Гаркушу. Он почти неузнаваем. Лукавинка сошла с побледневшего лица, оно искажено злостью, страстью боя. Замечаю Ползунова, Джильбаева, Курбатова. Сейчас они страшны.

Страстные люди! Где-нибудь вставьте, употребите это выражение, когда будете писать о них, моих бойцах.

Немцы шарахнулись. Наши увлеклись преследованием. Выстрелы хлопают в лесу. Кричу:

— Заев! Ко мне!

Он подбегает, останавливается, ожидая приказания, серьезный, внимательный, суровый. Опущены по швам его длинные руки. Одна сжимает автомат. Вновь встречаю его честный, прямой взгляд. И вдруг вспоминаю его недавнюю горькую усмешку, понимаю ее смысл. Да, точно такой же паралич, что в минуту душевного потрясения, внезапности стиснул меня, охватил когда-то Заева на пу-

леметной двуколке. За это я его судил... Ну, не излияниями же заниматься!

— Семен, лети! Возвращай людей! А то не расхлебаем эту кашу.

— Есть!

9

Некоторое время занимаюсь сбором батальона. То и дело в лесу слышится: «У-гу-гу-гу...» Это аукаются, подают о себе весть далеко зашедшие бойцы.

Наконец все стянулись к вырубке, заняли места в своих взводах, отделениях. Батальон выстроен, готов к походу.

Лишь Рахимов еще не вернулся. Но ждать больше нельзя.

Всей колонной мы идем к опушке, откуда уже рукой подать и до Гусенова. В эту деревню, как сказал мне Панфилов, передвинулся штаб дивизии. Туда, к штабу Панфилова, нам, его резерву, надобно прийти, это конечный пункт нашего марша.

Опять меряем шагами лес. Головной взвод все время уклоняется куда-то вбок от прямой линии, прочерченной на карте. Посылаю вперед Филимонова, опять колонна кружит, выписывает зигзаги. Поручаю Заеву прокладывать путь, и снова нас шатает из стороны в сторону. Сам беру взвод — невеликий остаток сражавшейся в Горюпах роты,— иду головным бойцом.

Вот и опушка. Раскаты пушечного грома, с утра нас сопровождавшие, тут, на открытом месте, звучат резче. Колется ветер. Мороз сразу становится чувствительнее. Чуть на изволоке виднеются домики Гусенова. По ветру влачится дым. Деревня горит. Нас отделяют от нее километра полтора чистого поля.

Кто же сейчас занимает деревню: наши или немцы?

Подзываю Джильбаева, Муратова, еще трех бойцов. Отправляю их в разведку. Объясняю: возможно, деревню удерживают наши войска. Тогда двинемся туда всем батальоном. Если же она захвачена врагом, пусть он себя обнаружит. Задача в таком случае — вызвать огонь немцев. Идти с винтовками наизготовку, не прятаться, не ложиться, пока немец не откроет огонь. Потом отползать. Мы отсюда прикроем, не подпустим врага.

Оглядываю бойцов. Слушают внимательно. Волнуются. Муратов, словно стоя на горячем, переступает с ноги на ногу. Слегка расширились глаза-щелочки Джильбаева. Я продолжаю:

— Раненых не бросать! Вытаскивать на себе! Джильбаев, назначаю тебя командиром! Это твое отделение!

Разведка покидает подлесок. Пятеро бойцов опасливо шагают по нетронутому снегу. Тяжелые кирзовые сапоги увязают по щиколотку — насыпало, намело за эти дни. Мои посланцы приостанавливаются, оборачиваются. Я кричу:

— Не трусить! Шире шаг!

Хожу по опушке. Сюда подтягивается вся колонна. На какие-то минуты чем-то отвлекаюсь. Потом опять озираю изволок. Что такое? Где разведка? В белом поле пусто. Куда делись бойцы?

Из Гусенова доходит глухой рык. Узнаю низкую октаву танковых моторов. Чьи же это танки? Снова обегаю взором местность. Никого! Еще и еще всматриваюсь. В поле высится матерая одинокая ель, ее отягощенные снегом лапы мало-мало не достают земли. Под этой елкой, как цыплята под наседкой, тесно сбились, лежат мои бойцы.

Сердце мгновенно вскипает, жаркая волна ударяет в голову. А, подлые души! Вы решились обмануть комбата! Вам доверили судьбу батальона, а вы спрятались, трусы! Кричу, напрягаю голос:

— Встать! Исполнять приказ! Вперед!

Нет, они меня не слышат, никто не шевелится. Выхватываю винтовку у стоящего поблизости красноармейца и, не целясь, стреляю несколько раз туда, где запряталась разведка. Пусть просвистят хлыстики пуль, подхлестнут оробевших.

Разведчики оглядываются на мои выстрелы. Посылаю еще пули. Грозно трясу кулаком. Из-под елки выбегает Джильбаев, взмахом руки зовет за собой остальных. Хочется крикнуть: «Молодец!» Любовь, такая же острая, как гнев, врывается в немилосердное сердце. Все пятеро, развернувшись короткой цепочкой, шагают к деревне. Муратову не терпится — обогнал товарищей, проворно гребут снег его привыкшие к скорой ходьбе ноги.

Объятая пожарами деревня откликается, стучат автоматы немцев. Ясно: там противник. Бойцы кидаются наземь, отползают, отходят перебежками. Немцы не пыта-

ются их захватить, пренебрегают этой малой группой. Огонь вскоре прекращается.

На опушке Джильбаев, запинаясь, виновато на меня посматривая, докладывает об исходе разведки.

— Хорошо! — говорю я.— Будешь и дальше командовать отделением.

10

Мы опять выстроились, углубились в лес, пошли на восток. Где-то там, на новом рубеже, обороняется, дерется дивизия, теснимая к Москве.

Вновь глушитель-лес смягчал урчание канонады. Она как бы уже не нарушала лесную тишину. Небо над деревьями светлело — до вечера еще было не близко,— а тут, под елями, стлался легкий сумрак.

Я опять шагал головным бойцом. Опять мы проламывали прямую. Она вывела на заброшенную, укрытую снегом, без единого следа дорогу. По этой тропе я повел колонну. И вдруг...

Из-за какого-то дерева появилась рослая девушка в военной одежде. Под ободком серой бобриковой шапки со звездой виднелось крыло гладко зачесанных темно-русых волос. На боку — фельдшерская сумка. Варя Заовражина! Встреча, наверное, была одинаково неожиданной для нас обоих. Внезапность не только в бою шутит свои шутки. Варя рванулась вперед и, не успел я моргнуть глазом, с силой обхватила руками мою шею, спрятала лицо в жесткий ворс моей шинели. И тотчас опомнилась, отпрянула, залилась краской, поднесла, отдавая честь, руку к виску, но ничего не смогла выговорить. Я тоже молчал, пораженный этой встречей.

Следом за Варей приблизился еще один военный — тоже с брезентовой, меченной красным крестом сумкой. На длинном грушевидном носу были укреплены стекла пенсне. Беленков! Бывший врач батальона, бывший капитан медицинской службы, разжалованный за трусость. За его плечом винтовка рядового санитара. Он тоже козырнул. Я ответил этим же воинским приветствием. Но слова на язык не приходили. В душе билась радость. Наши! Первые советские люди, встреченные в сегодняшнем походе! Вразвалку подошел Толстунов.

— А, Варя?! Откуда свалилась?

Затем он поздоровался и с Беленковым.

— Ну, Варя, докладывай. Краснеть хватит,— продолжал Толстунов.

Черт возьми, все он примечал. Варя опять вспыхнула, не смогла заговорить.

— Нас послали за вами,— сказал Беленков.— Послали искать. Дошли сведения, что от батальона осталось лишь несколько бойцов, а комбат лежит в лесу тяжелораненый.

Я рассмеялся. Действительно, война, бои рождали множество слухов, легенд, распространявшихся с непостижимой быстротой, обраставших из уст в уста новыми подробностями.

— Это приказал товарищ Звягин,— доложил далее Беленков.— Приказал во что бы то ни стало отыскать вас. Идти в немецкое расположение.

— В немецкое расположение? — Я посмотрел на Заовражину.— Послал или вызвалась?

Варя ответила не сразу.

— Ну... Вызвались. Мы оба... Он, товарищ комбат...— она посмотрела на Беленкова,— он сам попросился. Добровольцем!

— Спасибо, доктор!

Назвав Беленкова доктором, я как бы возвратил ему звание, которое ранее сам у него отнял. Да, теперь он заработал право так именоваться, поистине приобрел высшее медицинское образование.

— Оставайтесь, товарищ Беленков, у меня. Будете снова врачом батальона. Я об этом доложу генералу Панфилову.

Непонятное молчание. Почувствовалось неладное. Наконец Варя произнесла:

— Генерал Панфилов убит.

Он будет жить

1

— Впоследствии мне довелось,— продолжал Бауржан Момыш-Улы,— слышать от очевидцев, как погиб Панфилов. Это случилось в деревне Гусеново, кото-

рую потом с лесной опушки мы видели в дыму и пламени.

В тот день Панфилов опять указывал цели командиру «катюш», «помахивал палочкой», по его собственному выражению.

Дивизия оставляла деревню за деревней, отходила на следующие рубежи, заставляя противника оплачивать кровью продвижение. Панфилов сидел со своим штабом в Гусенове, позванивал командирам — утраченная вчера связь наутро снова действовала,— следил по донесениям, а также по разным признакам, приметам, как мы, его войска, в жестоком оборонительном сражении выхватывали, выигрывали у противника еще один денек.

Пробравшаяся в какую-то брешь обороны немецкая пехота начала обстреливать Гусеново из минометов.

Наш неутомимый генерал надел полушубок — тот самый, памятный мне долгополый полушубок с вывернутыми мехом наружу обшлагами,— накинул на загорелую шею ремешок бинокля и вышел взглянуть, откуда ведется обстрел. Белая улица была испещрена черными метками разрывов. Полковник Арсеньев, вышедший следом за генералом, видел, как тот сделал по ней несколько шагов — своих последних шагов. Послышался нарастающий вой мины. Пламя и грохот взметнулись почти у ног генерала. Панфилов упал. Невредимый Арсеньев бросился к нему. Небольшой, с горошину, кусок рваного железа пробил овчину на левой стороне груди, там, где китель Панфилова был скромно украшен малозаметным, со стершейся эмалью, полученным еще в гражданскую войну орденом Красного Знамени.

Мне до сих пор кажется, что я сам был в тот миг возле Панфилова. Мысленно вижу и сейчас землистую, смертную бледность, сразу подернувшую его лицо, вижу черные аккуратные щеточки усов и как бы удивленно изломанные брови.

Арсеньев плохо слушающимися пальцами принялся расстегивать, обрывая крючки, полушубок генерала. Мутнеющие глаза генерала разглядели, как взволнован, потрясен старый вояка-полковник. Панфилов успел прошептать:

— Ничего, ничего... Я буду жить.

Это были его последние слова.

2

Повторю: лишь впоследствии я узнал, как погиб Панфилов.

А на лесной тропе, когда впервые услышал соединенное с его именем краткое «убит», отказался верить, откинул, не допустил до сердца эту весть, приписал ее блиндажной неосновательной молве. Разумеется, я ничего не сообщил бойцам.

Марш батальона продолжался. Нашу колонну повел новый головной боец — Варя Заовражина. Она, смелая крупная девушка, родившаяся, взросшая в этой лесной стороне, засекла особой памятью все тропки, по которым шла разыскивать нас, удержала в уме всякие меты, что теперь направляли ее шаг.

Еще час, еще два часа ходьбы — и мы на краю леса. Близ опушки пролегала накатанная санная дорога. Мы увидели парную запряжку, влекущую розвальни с патронными ящиками, увидели шагавший в строю взвод в серых ушанках, в красноармейских шинелях. Бегом мы выскочили на дорогу. Наши, наши! Батальон вышел к своим.

Скомандовав привал, я побеседовал с командиром встреченного нами взвода, молодым лейтенантом. Спросил о Панфилове. И снова услышал:

— Убит.

Все же не верилось. Лейтенант уловил мое сомнение, достал из планшета фронтовую газету, развернул.

Черным прямоугольником траурной рамки были обведены знакомые дорогие черты. «Снимок сделан в день гибели полководца»,— обозначено было под фотографией. Всегда верный слову, Панфилов сдержал обещание, которое при мне дал фотокорреспонденту, капитану Поворот Головы,— снялся на вольном воздухе в Гусенове. Портрет был изумительно живым. Рука, окаймленная черной овчиной, приподняла бинокль. Слегка прищуренные, монгольского разреза глаза пронизывали даль. Этот сосредоточенный прищур, складочка на переносье, две глубокие борозды около рта, острые, нимало не опущенные уголки губ, по-молодому крепких,— все, все было исполнено мысли. Да, мысли, проникновения, таланта!

В некрологе, что подписали начальник Генерального штаба, командующий фронтом, командующий армией, члены Военных советов, а также ближайшие соратники — друзья погибшего, Панфилов был охарактеризован как генерал-новатор, творец нового военного искусства, новой тактики современного оборонительного боя.

С тяжелой душой я смотрел и смотрел на газету. Прошелся, погруженный в думы. Затем приказал Бозжанову построить батальон.

На двадцатиградусном морозе у санной стежки в снежном поле выстроились мои бойцы. Двое — Варя Заовражина и Беленков — стояли поодаль. Я громко произнес:

— Товарищ доктор, займите, пожалуйста, место в строю.

Нарочно добавил это некомандирское «пожалуйста». Пусть слышит батальон! Блеклые щеки Беленкова порозовели пятнами — пятнами радости, смущения. Он встал в ряды санитарного взвода. Я покосился на Варю, ожидая, что встречу ее взгляд. Нет, даже глазами ни о чем не попросила, глядела прямо перед собой.

— Заовражина, становись в строй!

Если бы ранее мне кто-либо предрек, что я когда-нибудь сам скажу женщине, чтобы она встала в строй батальона, я бы лишь усмехнулся. А теперь вон оно как обернулось! Видимо, прав был Исламкулов: «Отечественная война изменяет многие понятия, делает возможным то, что прежде считалось немыслимым».

Почти неуловимая улыбка,— быть может, заметная лишь мне,— тронула крупные губы Вари. Она козырнула, широкой походкой зашагала к строю, встала рядом с седым добряком фельдшером Киреевым — своим названым отцом.

3

В две шеренги, взяв к ноге винтовки, стояли мои бойцы, небритые, прозябшие, измученные тяжелым маршем. А до штаба дивизии еще предстояло шагать добрый десяток километров. Надо было согреть сердечным словом, подбодрить солдата.

Я выехал к строю на Лысанке и, каждому зримый, закатил речь. Сначала я поздравил бойцов со званием совет-

ских гвардейцев, сказал о наших подвигах. Каждая рота увенчала себя доблестью. Сто двадцать бесстрашных — бойцы роты Филимонова — окружили и разгромили немецкий батальон.

Вчерашний московский школьник рядовой Строжкин взял в плен командира батальона.

— Строжкин! Три шага вперед! Повернись лицом к товарищам. Пусть посмотрят на тебя. Но не загордись! А то велю нарвать крапивы и крапивой выпорю!

Эта моя шутка-присказка была давно известна батальону, и все же усталые лица прояснели, из простуженных глоток вырвался хриплый смешок. Я продолжал:

— Восемьдесят воинов лейтенанта Заева тоже приумножили славу советского солдата, атаковали с такой яростью, что сумели взять три немецких танка, набитых награбленными тряпками, громили, гнали барахольщиков, захвативших нашу землю.

Далее я сказал о геройской роте Брудного, почти поголовно погибшей вместе со своим командиром и со своим политруком.

— Эти наши товарищи,— говорил я,— не зря отдали жизнь. Два дня эта рота, окруженная врагами, удерживала опорный пункт на Волоколамском шоссе, не позволила гитлеровским мотоколоннам пройти по шоссе. Честь и слава нашим павшим братьям! Родина вовек их не забудет!

Держа речь о героях боя в Горюнах, я вызвал из рядов пулеметчика Блоху, повернул его лицом к батальону. Шея этого белобрового солдата была забинтована. Раненный, он остался на посту, продолжал драться. Не оставил пулемета и во время нашего марша-отхода.

Подошел черед и слову о Панфилове. Я сказал, что наш генерал погиб. Сказал о строках, посвященных его памяти, в которых он назван генералом-новатором. Таким он и войдет в историю.

— Иван Васильевич Панфилов,— продолжал я,— был очень человечным, чутким к человеку. Он уважал солдата, постоянно напоминал нам, командирам, что исход боя решает солдат, напоминал, что самое грозное оружие в бою — душа солдата. На этом Панфилов и основал свое новаторство в тактике оборонительной битвы. Он ушел от нас, изведав высшее счастье творца. Его новая тактика была испытана таранными ударами врага и выдержа-

ла эти удары. Он исполнил дело своей жизни. Находясь близко к очагам боя, он незримо касался рукой плеча командиров, удерживал войска от преждевременного отхода. И если сейчас, на пятые сутки немецкого наступления, нам, нашей дивизии, принадлежит вот эта дорога, вот это поле, этот рубеж и дивизия по-прежнему грозна, то этим мы обязаны ему, Ивану Васильевичу Панфилову. Он был генералом разума, генералом расчета, генералом хладнокровия, стойкости, генералом реальности.

Я перевел дыхание — оно вылетело изо рта белым паркóм,— подумал. Напряженно подумал, еще не удовлетворенный своим словом. И продолжал:

— По рождению, по воспитанию, по натуре он был глубоко русским человеком. Знал и любил прошлое и настоящее русского народа, гордился его славными сынами, творениями, делами. И уважал все другие народы.

Мысль стремилась схватить, выразить нечто самое главное в Панфилове. Пробегая глазами по рядам, я остановил взгляд на Заеве. Насупив лохматые рыжеватые брови, он внимал мне.

— Лейтенант Заев!

— Я!

— Все вы, товарищи, знаете командира второй роты лейтенанта Заева. В недавних боях он дрался так, что не грех о нем сказать: герой среди героев! Однажды он молвил о нашем генерале: глашатай! В тот раз я не понял, что он разумеет. А сейчас повторю, товарищ Заев, это твое выражение. Да, генерал Панфилов был глашатаем возвышенной, великой идеи. В каждом слове, которое мы от него слышали, жила эта идея, великая идея революции угнетенных и трудящихся, ленинский огонь. Это был генерал-коммунист, сын партии, воспитавший нас, воинов Советской страны,— и тех, кто хранит партийную книжку на груди, и беспартийных.

Ощущая невидимый ток, соединявший меня с батальоном, я теперь знал: слово найдено, дошло!

— Товарищи, я только что назвал Панфилова генералом реальности. Нет, этого мало! Он был генералом правды.

Хотелось рассказать бойцам, как он прямо, бесхитростно заявил мне: «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Хотелось воскресить его тон, суровый и нежный. Но я молча

смотрел на своих бойцов. Вот мы вернулись, а его нет... Я сказал:

— Память об Иване Васильевиче Панфилове будет, товарищи, жить в наших делах, в подвигах его дивизии!

4

По пути в село, где пребывал штаб дивизии, обнаружился Рахимов. Оказалось, что, натолкнувшись на немцев, он не смог к нам присоединиться, покружил в лесу и выбрался оттуда в одиночку раньше нас. Затем он был задержан постами заградительного отряда. Суровый пожилой командир отряда, бывший моряк, с глубоким шрамом наискосок лба, отнесся недоверчиво к моему начштабу, потерявшему свой батальон, и отправил в промерзший сарай, что называется, до выяснения.

Разумеется, в моем разговоре с моряком «выяснение» тотчас состоялось. Освобожденного Рахимова я встретил сухо:

— Получили, товарищ Рахимов, что положено. Вы обязаны были отыскать нас в лесу. Поторопились выбраться. Поспешили в тыл.

— Я, товарищ комбат, предполагал...

— Ничего не хочу слушать. Я вас нашел в тылу.

Рахимов молчал. Конечно, он отлично умел исполнять, но, оставшись без командира, предоставленный в лесу самому себе, растерялся. Я продолжал мягче:

— Ладно. Посидели час в холодной, и на этом точка! Догоняйте батальон. Занимайте свое место.

— Есть!

...День уже перевалил на закат, когда мы проселочной дорогой опять ступили на Волоколамское шоссе, подошли к широко раскинувшемуся, вознесшему к небу церковные луковки селу. Приставший к асфальту снег был спрессован колесами грузовиков. Мороз усиливался. Налет инея сделал седыми примкнутые к винтовкам штыки. Заиндевевшие кони, размещенные меж стрелковыми подразделениями, тянули две наши пушечки, розвальни и двуколки с пулеметами, сани хозяйственного взвода, где разместились раненые, поставленный на полозья крытый кузов санитарной линейки, тоже с ранеными.

Я шел во главе колонны рядом с Толстуновым и Рахимовым.

Штаб дивизии расположился в каменном здании, глядевшем на обширную — вероятно, некогда базарную — площадь. Здесь я скомандовал батальону:

— Стой!

На крыльце уже стояли вышедшие нам навстречу некоторые штабные командиры. В центре выделялся человек в кожаном черном пальто с воротником серой мерлушки, в мерлушковой же шапке, что носили генералы. Я узнал крепко сбитую фигуру Звягина. Прокричал:

— Смирно! Равнение напра-аво!

И, обнажив шашку, или, как мы, военные, говорим, салютуя клинком, пошел через всю площадь строевым шагом к заместителю командующего армией. Огромное красное солнце уходило за не застланный облаками горизонт. Багрянец играл на узорчатом светлом лезвии, которое я, печатая шаг, держал перед собой.

В душе переплелись разные чувства: и гордость, и — чего скрывать! — некое затаенное удовлетворение: вот тебе партизан с шашкой!

Звягин не дал мне подойти. Он легко сбежал с крыльца, отодвинул мою шашку, проговорил:

— Брось ты, Момыш-Улы, свои штучки!

Обнял меня за плечи и по-русски поцеловал в губы.

Я со вспыхнувшей вдруг нежностью смотрел на этого генерала с тяжелой рукой, который три дня назад приказал мне сдать командование, а теперь без лишних слов одним объятием, одним поцелуем зачеркнул свой приказ.

Вновь попытавшись салютовать, я произнес:

— Товарищ генерал-лейтенант! Резервный батальон командира дивизии...

— Брось, Момыш-Улы! — вновь воскликнул Звягин.— И людей зря не томи.

Своим мощным, звучащим колокольной медью басом он скомандовал:

— Вольно! Можно курить.

Вынув из кармана коробку папирос высшего сорта, он раскрыл ее передо мной:

— Кури.

Я взял папиросу. Звягин опять запустил руку в карман и... в его крепких пальцах с блестящими, коротко

стриженными, видимо твердыми, ногтями я увидел зажигалку Панфилова. Так вот кому Панфилов ее подарил! Как он сказал? «Преподнес со значением одному человеку...» Вот кто этот «один человек»! Звягин подержал зажигалку меж теплыми ладонями. Знал ли он, с каким значением Панфилов подарил ему эту вещицу? В светлых глазах Звягина, под которыми, как и прежде, набухли небольшие отеки, промелькнула ироническая искорка. Черт возьми, возможно, ему было известно, что Панфилов хотел подарить ее и мне. И тоже со значением! Не обмолвившись про это ни словечком, мы лишь обменялись взглядами.

Чирк — возник огонек. Мы закурили.

— Ставьте большую-пребольшую точку,— сказал Бауржан Момыш-Улы.— На этом мы закончим нашу летопись о батальоне панфиловцев. Двадцать третьего ноября тысяча девятьсот сорок первого года я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб армии, назначили командиром полка. Свой батальон я передал Исламкулову.

Применяя панфиловскую спираль-пружину, огревая гитлеровцев огневыми пощечинами, мой полк отходил — отходил до поселка и станции Крюково. Там, на Ленинградском шоссе, мы выдержали шестидневный бой и вместе с другими частями Красной Армии, поворачивая историю, погнали врага от Москвы. Об этом можно было бы написать еще одну книгу под заглавием «Ленинградское шоссе». Можно написать и «Под Старой Руссой». Но — книга кончена! И в будущем могу обещать вам лишь одно...

Положив свою точеную кисть на рукоять шашки, Момыш-Улы одним махом неожиданно извлек клинок. В полутьме блиндажа засияла узорчатая сталь — та, что сверкнула и в зачине, и только что, в последней главе этой книги.

— Лишь одно,— повторил Момыш-Улы.— Наврете — кладите на стол правую руку. Раз! Правая рука долой! Вы подтверждаете ваше согласие?

Я скрыл улыбку. Мой грозный Бауржан, ты верен себе, характеру, что создан под пером, создан вниманием и воображением. Впрочем, писцу следует быть скромным.

— Подтверждаю,— сказал я.

1942—1960

Военные рассказы и очерки

ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ

1

Первые дни ноябрьского наступления немцев на Москву, которое, как известно, началось шестнадцатого, я, военный корреспондент журнала «Знамя», провел в 78-й стрелковой дивизии.

К этому времени я уже не был новичком на фронте, много раз слушал рассказы участников войны, кое-что видел сам, но не подозревал, что люди могут драться так, как дрались красноармейцы 78-й. Там сражались, и не как-нибудь, а по всем правилам боевой выучки, не только строевики, но и ездовые, писаря, связисты, повара.

В эти дни я познакомился со многими людьми дивизии и провел несколько часов с ее командиром — полковником Белобородовым.

На войне люди сближаются быстро. На прощание полковник сказал: «Теперь будем друзьями». Он показался мне таким же необыкновенным, как и его дивизия, и, каюсь — я влюбился в него.

Спустя несколько дней, когда сводки сообщали об особенно ожесточенных боях у города Истры, который, противостоя трем дивизиям Гитлера, в том числе и танковой, обороняла дивизия Белобородова, я, уже вернувшись в Москву, прочел в газетах, что в награду за мужество и стойкость 78-я стрелковая дивизия переименована в 9-ю гвардейскую, что полковнику Белобородову присвоено звание генерал-майора.

Растроганный, я читал и улыбался: мне казалось, что это моя дивизия и мой генерал.

Утром 7 декабря я случайно узнал, что в дивизию только что повезли Гвардейское знамя, которое предполагалось вручить в этот же день с наступлением сумерек.

Не долго думая, я сел в метро и поехал к фронту. Поездки на фронт в эти дни не занимали много времени.

На волоколамское направление маршрут был таким: на метро до станции «Сокол»; там пересадка на автобус № 21, курсировавший до Красногорска. Оттуда до линии фронта оставалось двенадцать — пятнадцать километров.

К удивлению, я не сразу нашел 9-ю гвардейскую.

Грузовик, на который я пристроился, свернул близ станции Гучково в сторону, а я спрыгнул на шоссе.

К 7 декабря станция Гучково была последней на Ржевской железной дороге по нашу сторону фронта; дальше следовала станция Снегири, несколько дней назад взятая противником.

Чувствовалось, что фронт где-то рядом. Наша артиллерия стреляла откуда-то сзади; высоко над головой с нарастающим, а затем удаляющимся гулом пролетали наши снаряды в сторону противника; изредка и глухо доносились короткие очереди пулемета.

Дойдя до Гучкова, я вошел в первый попавшийся дом. В комнатах было полным-полно красноармейцев; они топили голландку и кухонную плиту; толстый слой наледи на окнах побелел и стал подтаивать; жилище было покинуто хозяевами. «Какой-то батальон на отдыхе»,— подумал я и произнес:

— Здравствуйте. Девятая гвардейская?

— Нет.

— А где она?

— Мы сами тут ничего не знаем. Нынче прибыли. Новенькие.

— В боях бывали?

— Нет. Говорят тебе, новенькие.

В соседних домах я встретил то же самое: множество красноармейцев, только что прибывших, никогда не нюхавших боя. Никто из них не знал, где 9-я гвардейская.

Признаюсь, я был встревожен. Почему, зачем, каким образом эта часть — сырая, необстрелянная — попала сюда, на Волоколамское шоссе, на прикрытие важнейшей магистральной дороги на Москву?

Я знал суровую правду войны; знал, что через две недели, через месяц такая часть приобретет стойкость и ударную силу, станет твердым боевым кулаком, но сегодня... Странно, очень странно.

И куда делась 9-я гвардейская?

2

На поиски ушло несколько часов.

Из Гучкова я направился поближе к Москве, в поселок Нахабино, и узнал там наконец, что штаб 9-й гвардейской расположен неподалеку в доме отдыха.

Смеркалось, когда я подходил туда. «Успеть бы до вручения знамени»,— думалось мне.

Близ ворот, ведущих на территорию дома отдыха, у меня проверили документы и дали провожатого, который довел меня до штаба. Часовой вызвал дежурного, тот доложил, и через минуту я уже стоял в жарко натопленной комнате.

У окна на столе высился потрепанный брезентовый ящик полевого телефона, на табурете сидел связист, рядом стоял, прижав к уху трубку, начальник штаба дивизии полковник Федюнькин.

Он узнал меня и, не прерывая разговора, приветственно помахал рукой.

Дверь из соседней комнаты открылась, оттуда вышел генерал Белобородов. Он, словно дома, был без пояса; добротная гимнастерка, на которую не пожалели сукна, при каждом шаге свободно колыхалась вокруг приземистой фигуры; на отворотах расстегнутого воротника еще не было генеральских звезд, там по-прежнему виднелись полковничьи четыре шпалы.

Расставшись две недели назад с Белобородовым, я много думал и иногда рассказывал о нем. Порой он непроизвольно вспоминался мне — в воображении ясно вставал его облик...

И все же сейчас, когда он вышел из соседней комнаты, первой моей мыслью было: «Какое удивительное лицо!»

В этом лице — широкоскулом, с небольшими круглыми глазами — было, несомненно, что-то бурятское, что совершенно не вязалось с чистым, сочным русским говором. Еще в первую встречу я спросил об этой странности. «Иркутская порода»,— сказал Белобородов.

— Здравствуйте, Афанасий Павлантьевич. Разрешите...

Я хотел, поздоровавшись, поздравить его и дивизию, но Белобородов прервал на полуслове:

— Здравствуй! Уже знаешь?

Он пожал мне руку с каким-то особым оживлением.

— Что знаю? Насчет знамени?

Генерал расхохотался. Он любил смеяться громко, от души. Посмеивался и полковник Федюнькин. Почему-то улыбался и связист. Белобородов хохотал всего лишь несколько секунд. Потом резко, без перехода, перестал, словно отрезал.

— Вручение знамени отложено,— сказал он.

— Тогда почему же?.. Почему вы все здесь такие веселые?

— Обожди немного. Скоро будем с тобой чай пить, тогда и расскажу. А сейчас тут мои орлы собрались. Сейчас у меня горячие минутки.

Круто повернувшись, он ушел к себе.

«Какой быстрый»,— мелькнуло у меня. Движения и жесты Белобородова казались слишком стремительными для его плотной фигуры.

Вслед за генералом ушел и полковник.

За ними закрылась дверь. Я остался у полевого телефона.

3

Дверь иногда раскрывалась, входили и выходили командиры, тогда до меня долетали отдельные слова и фразы.

Впрочем, и через закрытую дверь я порой слышал голос генерала: не только в гневе, в споре, но и в минуты радости он любил говорить громко.

До меня доносилось: «Заруби себе — глубже обходить!», «Тогда здесь вот они дрогнут!», «И гони, гони,— не слезай с хвоста!»

А у телефона меж тем происходило следующее.

Из комнаты, где генерал разговаривал с командиром, вышел майор Герасимов, начальник связи дивизии. Он вынул карманные часы, положил на стол, взял трубку и вызвал заместителя.

— Говорит Герасимов. Достаньте ваши часы. Есть? Поставьте девятнадцать двадцать две минуты. Есть? Произведите поверку часов во всех частях, чтобы везде часы были поставлены по вашим.

Майор вернулся к генералу.

Через несколько минут к телефону вышел полковник Федюнькин.

— Дайте «Кедр». Алексей? Как ты себя чувствуешь назавтра? Не плохо? Ты за что голосуешь — за шестерку или за девятку? Не понимаешь? Шестерка или девятка — вспомни. Понял? За шестерку? Хорошо. Дайте «Клен». Николай? Ну, как ты — за шестерку или за девятку? Шестерка? Хорошо. Завтра поможем тебе капустой. Это мы им учиним. Этим мы тебя обеспечим.

Полковник ушел.

Дежурный телефонист подмигнул мне и сказал:

— Все говорим под титлами... Капуста, картошка, огурцы. Всего завтра он у нас покушает.

Дверь из комнаты снова открылась, показались знакомые лица — командир одного из полков 9-й гвардейской подполковник Суханов и комиссар полка Кондратенко. Мы поздоровались. Суханов, как всегда, выглядел флегматичным и даже несколько вялым; он не изменился за две недели напряженных боев; лицо с рыжеватыми бровями казалось, как и раньше, слегка оплывшим. В Суханове не было ничего героического, а между тем я знал, какое поразительное хладнокровие и мужество проявляет этот человек в самые страшные моменты.

А Кондратенко похудел. Щеки втянулись, глаза ушли глубже, тени на лице стали темнее и резче. Его шея была небрежно обвязана изрядно загрязненным белым шарфом. Он сорвал голос и поздоровался со мной сиплым шепотом.

Полк Суханова и Кондратенко считался лучшим полком в дивизии, а в штабе мне довелось слышать: «Каков командир, каков комиссар — таков и полк».

В раскрытой двери показался Белобородов.

— Еще вам, орлы, один приказ — выспаться,— сказал он.— До обеда я, должно быть, вас не потревожу. И береги горло, Кондратенко.

— Доктор велел трое суток не сердиться,— улыбнувшись, прошептал Кондратенко.

— Ого, я бы эдакого великого поста не вынес. Но ты все же продержись. Пусть Суханов вместо тебя сердится! — И, рассмеявшись, генерал захлопнул дверь.

В закрытой комнате он продолжал с кем-то разговор.

Через десять — пятнадцать минут дверь снова открылась. Опять вышли двое: один высокий, сутуловатый, в папахе, в овчинном полушубке, с шашкой на боку; другой поплотнее, в шинели с красной звездой на рукаве. Обоих я видел первый раз.

Следом вышел генерал. Вместе с ним в дверях появился комиссар дивизии Бронников.

— Ну, Засмолин...— произнес Белобородов.

Командир в полушубке повернулся. Я увидел хмурое немолодое лицо с проступавшими кое-где красными склеротическими жилками. К генералу повернулся и другой. Он стоял дальше от лампы, я плохо его разглядел; осталось лишь общее впечатление крепко сбитой фигуры, твердой постановки головы и корпуса.

С минуту Белобородов молча смотрел Засмолину в глаза.

— Ну, Засмолин,— повторил он,— первый раз деремся вместе; дай бог, чтобы не последний. Помни, это приказ партии. Без доклада о выполнении задачи ко мне не приходи! Не приходи, понял?

Последние слова он сказал громко, повелительно, по-командирски.

— Знаю, товарищ генерал.

— Ну... идите...

Спутник Засмолина четко отдал честь, повернулся и вышел. За ним последовал Засмолин, по пути задев шашкой за косяк.

Генерал поморщился:

— Какого черта он таскает эту шашку? Кавалериста изображает, что ли? Посмотрим, нажмет ли он завтра по-кавалерийски.

— Комиссар у него, кажется, крепкий,— сказал Бронников.— Правда, опыта нет. Завтра первый раз будет в бою.

— Перворазники,— произнес Белобородов с теплой ноткой в голосе.— Что ж, все такими были...

В этот момент он заметил меня.

— Из головы вон... Извините, дорогой, но сегодня некогда, некогда, некогда. И завтра будет некогда! Мы сейчас тебя накормим, спать уложим, отдыхай, а послезавтра писать будем.

— Я хочу, Афанасий Павлантьевич, попросить вас о другом.

— О чем?

— Здесь у вас происходит что-то необыкновенное. Разрешите мне сегодня и завтра побыть с вами. И не обращайте на меня внимания, не тратьте на меня ни ми-

путы времени, ничего не объясняйте — только куда вы, туда и я...

Генерал рассмеялся:

— Ого! Почувствовал? Что ж, если комиссар не возражает, ладно.

Бронников, уже знавший меня раньше, с улыбкой кивнул.

— Только чур,— сказал Белобородов,— не привирать. Писать правду.

— Это, Афанасий Павлантьевич, самое трудное на свете!

— А все-таки дерзай!

— Это от нас с тобой будет зависеть,— сказал Бронников.— Провалим операцию — и писать не о чем будет.

— Не провалим,— спокойно произнес Белобородов и пошел в комнату, жестом пригласив меня с собой.

Так случилось, что вечером 7 декабря 1941 года я оказался рядом с генералом, который командовал советскими войсками по обе стороны Волоколамского шоссе.

4

Стоит ли описывать комнату? В ней не было ничего экстраординарного. Две кровати; два окна, завешенные одеялами; в углу поблескивающий стеклом и никелем походный радиоприемник — из него звучала очень тихая, но отчетливая музыка; в другом углу знамя в чехле с лакированным новеньким древком — очевидно, Гвардейское, только что привезенное; у окна большой стол, на нем карта, исчерченная в середине красным карандашом; все освещение комнаты — две керосиновые лампы — было сосредоточено у карты; лампы стояли рядом, бросая свет на бледную сеть топографических значков, просеченных красными стрелами и дугами.

В комнате стояли и сидели пять-шесть штабных командиров.

Стараясь не мешать, я отошел в дальний темноватый угол.

Генерал оглянулся, посмотрел вокруг, очевидно намереваясь что-то мне сказать, но, мельком взглянув на карту, подошел к ней и, опираясь на стол обеими руками, склонил над ней круглую стриженую голову. Потом, не

отрывая глаз от карты, опустился на стул и продолжал смотреть.

В комнате звучала музыка; кто-то вышел к телефону; Бронников негромко говорил с начальником штаба, а Белобородов все смотрел и смотрел на карту, словно не замечая ничего вокруг. Его лицо было хорошо освещено. Я заметил, что иногда на несколько секунд он закрывал глаза, но это не были мгновения усталости: когда веки поднимались, глаза не были замутнены, взгляд оставался живым, сосредоточенным. Я понял: он закрывает глаза, чтобы яснее видеть.

Его отвлек дежурный:

— Товарищ генерал, пришли разведчики.

— Кто? Родионов? Давай его сейчас же.

Генерал вскочил и быстро пошел к двери, навстречу тому, кто должен был войти.

В комнату вошли два человека в белых штанах, белых рубахах, белых капюшонах, от них веяло морозом. У каждого на ремне за плечом ППД — пулемет-пистолет Дегтярева.

Передний, очевидно старший по возрасту и званию, был живым, подвижным толстяком (впрочем, после я узнал, что он лишь казался толстым, ибо любил поосновательнее одеться в разведку). Он на ходу протирал пальцами очки в жестяной оправе. «Удивительно,— подумал я,— разведчик, и в очках». Но на войне много удивительного. У его спутника было желтовато-смуглое монгольское лицо. Он шел за Родионовым легким охотничьим шагом.

— Садись, орлы! — сказал Белобородов.— Выкладывайте, где были.

Родионов присел и тотчас поднялся со стула. Другой вовсе не садился. Оба заговорили разом, потом младший смолк, но то и дело, не в силах сдержаться, перебивал Родионова.

— Мы их пугнули из Рождествено!

— Они, товарищ генерал, от нас бежали из Рождествено!

Разведчики явно ожидали, что генерал обрадуется, но Белобородов почему-то помрачнел.

— Из Рождествено? — переспросил он.— А ну, что у вас там было?

Из рассказа разведчиков выяснилось следующее. Они, действуя взводом в двадцать человек, подошли к

окраинам Рождествено — большого села почти в сотню дворов. Четыре дня назад немцы атаковали село и вырвали этот пункт у нас. Гвардейцы Белобородова несколько раз ходили в контратаку, но немцы подбрасывали подкрепления — людей, минометы и танки; их не удалось оттуда выбить. И вдруг сегодня разведчики обнаружили, что это село почти очищено немцами. Оттуда никто не стрелял по разведчикам. Они подошли вплотную к домам. Заглянули в крайний дом — пусто. В следующем дверь была заминирована: прогремел взрыв. И вдруг из какого-то дома на улицу выбежали пять немцев, среди них один офицер, и, беспорядочно стреляя, пустились наутек, к лесу.

— А вы? — спросил генерал.

— За ними! Мы разделились на две группы, чтобы окружить и взять живьем.

— Взяли?

— Не вышло. Утекли.

— А вы?

— Мы к вам — с докладом.

— Эх вы, чубуки... от дырявой трубки!

Это замечание было столь неожиданным, что у обоих сразу изменилось выражение лиц. Оба, только что оживленно жестикулировавшие, вытянули руки по швам.

— Значит, нет противника в Рождествено? Снялся и ушел? — спросил Белобородов. И, не ожидая ответа, крикнул: — Не верю! — Затем продолжал спокойнее: — У вас получается, как у Геббельса,— три немецких кавалериста захватили советскую подводную лодку. Два полка атаковали — не могли взять, а перед дюжиной разведчиков немцы побежали?

Вспышка гнева прошла. Теперь Белобородов хохотал, глядя на разведчиков. Родионов снял шапку и вытер платком лысину. Генерал резко оборвал смех:

— Эх, выстегать вас мокрой тряпкой...

— Мы вам, товарищ генерал, ни одного слова не соврали.

— А кто мне поручится, что вас не объегорили. Кто поручится, что над вами не хохотали там две или три роты немцев? Сколько раз я вам твердил, что война, тактика — это искусство! В частности, искусство объегорить.

— Ты уж на них слишком,— сказал Бронников,— ведь они принесли нам утром приказ Биттриха.

Бронников взял со стола и протянул мне два листа бумаги, исписанные на пишущей машинке. Это был русский перевод приказа по дивизии СС «Империя» от 4 декабря 1941 года, подписанного немецким генералом Биттрихом.

— А ну, поближе к свету,— сказал Белобородов.— Прочитай первый пункт вслух.

Я прочел:

— «Дивизия СС «Империя» занимает линию Снегири — Рождествено, с тем чтобы продолжать наступление с главным ударом на правом фланге в направлении на Москву. Противник на фронте дивизии СС «Империя» занимает оборону с использованием опушек леса с целью не допустить вперед нашего тяжелого вооружения; далее он гнездится во всех населенных пунктах. Его солдаты умирают, но не оставляют своих позиций. В связи с этим...»

Здесь Белобородов прервал меня.

— «Его солдаты умирают, но не оставляют своих позиций»,— медленно повторил он. Его голос дрогнул, он моргнул и продолжал не сразу: — Это про нас, Родионыч! Вот за этот приказ — спасибо!

Разведчики ответили:

— Служим Советскому Союзу!

Генерал оглянулся и показал на знамя:

— А ну, покажите-ка им...

Кто-то быстро снял чехол и развернул огненное шелковое полотнище. На знамени была крупная золотая надпись: «Смерть немецким захватчикам! 9-я гвардейская стрелковая дивизия». На обороте нитями разных цветов был вышит портрет Ленина.

— Как скоро успели сшить! — восхищенно сказал Родионов.

Белобородов, не оборачиваясь, ответил:

— Заслужить долго, а сшить недолго.

Он с минуту молча любовался знаменем, потом повернулся и совсем иным, командирским тоном произнес:

— Ну, еще что видели?

Разведчики продолжали доклад. Генерал настойчиво расспрашивал обо всем, что они заметили в лесу,— о тропинках, о телефонных проводах, о следах на дорогах и на

целине. Я тем временем просматривал приказ. Там в качестве ближайшей цели наступления была указана речка Нахабинка, станция Нахабино и... дом отдыха, в котором мы сидели. Но у этих пунктов было покончено с ноябрьским наступлением немцев. Линия Снегири — Рождествено была последним рубежом, куда они продвинулись.

В приказе содержалась полная дислокация немецких частей, развернутых для наступления: указывались точки сосредоточения полков, танковых частей, артиллерии, минометов. Это был ценнейший документ. Я тихо сказал Бронникову о своем впечатлении, кладя листки на стол.

Но Белобородов услышал.

— За три дня на нем бороденка выросла! — сказал он.— Вот за сегодняшний приказ господина Биттриха я бы дорого дал! «Языка» надо, Родионыч! Чтобы завтра у меня здесь был «язык» до голенища, понял?

И он продолжал негромко беседовать с разведчиками, наклоняясь вместе с ними над картой.

Я сидел у радио, мне несколько мешала музыка, и я улавливал лишь отдельные фразы:

— Исследуйте все справа... Каждую тропку, каждую полянку... Чтобы все там знать, как свою квартиру...

— Мы там уже бывали...

— Завтра еще раз... До самой Трухаловки... Но самое главное — лес...

— Проскользнем...

— И других чтобы могли незаметно провести... Как начнутся сумерки — ко мне! Задача понятна?

— Понятна, товарищ генерал.

Разведчики ушли.

Генерал продолжал рассматривать карту.

Адъютант попросил разрешения подать ужин.

— Не худо,— сказал Белобородов.

Он встряхнул головой и обеими руками отодвинул карту, словно отстраняя вместе с этим неотвязные мысли.

Ужин подали в один момент: Белобородов любил, чтобы все делалось быстро. Он налил каждому по полстакана водки.

— За что чокнемся? — спросил он и, не ожидая ответа, продолжил: — За то, чтобы завтра чай пить в Снегирях.

Все чокнулись и выпили. Генерал взглянул на знамя, уже опять скрытое чехлом.

— Эх, знамя, красота! — произнес он.— Заслужили гвардейскую, теперь будем зарабатывать орденоносную.

— Нечасто бывало,— сказал Бронников,— когда награждали знаменем за отступление.

За столом заговорили об эпизодах этого героического отступления, о незабываемых «сдерживающих боях», которые вела дивизия под Москвой.

За двадцать дней генерального наступления немцев на Москву дивизия отдала врагу сорок километров Волоколамского шоссе — отдала, ни разу не отходя без приказа, уничтожая атакующих немцев, отбивая артиллерией, противотанковыми ружьями, зажигательными бутылками удары танковых колонн, переходя в контратаки, уступая километры, но выигрывая дни, приближая неотвратимый час, когда противник выдохнется, когда в крепнущих морозах, нарастающих снегах иссякнет его наступательный порыв.

— А сколько бессонных ночей, сколько переживаний! — сказал Белобородов.— Ведь за спиной — Москва! Иногда чувствовал такую тяжесть, будто она на плечи навалилась.

— А теперь?

— Теперь легче. Теперь — шапка набекрень... Завтра... Ты знаешь, что будет завтра?

— Пока только догадываюсь...

— Завтра с утра общее наступление на всем Западном фронте!

— Общая контратака?

— Нет, это уже атака! Эх, дорогой, как ждали мы этого дня!

Поужинав, генерал продолжал работать по подготовке завтрашней атаки.

К нему пришли танкисты, которым предстояло завтра действовать совместно с одним из полков дивизии в направлении на Снегири и дальше.

Прощаясь после разговора, пожимая танкистам руки, Белобородов сказал:

— Хорошо бы нам всем встретиться, когда кончится война. Наверное, ночь маленькой покажется — все будем вспоминать про Волоколамское шоссе.

Затем он долго говорил с начартом (начальником артиллерии дивизии) майором Погореловым, намечая

позиции для минометов, для тяжелых и легких батарей, выясняя наличие боеприпасов.

В разговоре часто фигурировало слово «бык». Время от времени я слышал: «полтора быка», «три четверти быка», «два с половиной быка».

«Бык» — своеобразное видоизменение принятого в армии сокращенного названия «бе-ка», что значит боевой комплект.

Беседуя с начартом, генерал несколько раз довольно смеялся: «быков» было предостаточно, орудия всех калибров располагали ими назавтра вволю, многие — буквально без ограничения.

Для завтрашнего наступления Белобородову сверх двух артполков его дивизии дополнительно придали много артиллерии. Оставалось лишь расставить и использовать ее наиболее эффективно. Над этим и работал генерал с начартом.

Особенно настойчиво генерал говорил о минометах:

— Я от тебя требую, чтобы минометы всю артиллерию заглушали. Завтра я послушаю. Всю душу вымотай им минами!

Наконец Погорелов встал.

Отпустив начарта, Белобородов произнес:

— На войне все не так, как в академии. Там мы и не представляли, что дивизия может иметь такое насыщение артиллерией. Если бы какой-нибудь профессор дал бы задачу с таким насыщением, наверное, подумали бы, что он шутит.

Начальник штаба принес на подпись приказ о завтрашней операции.

Предстояло окончательно решить: шестерка или девятка? В шесть или в девять утра начать атаку?

Белобородов колебался: и за ту и за другую цифру были свои доводы. В шесть утра темно: возможна внезапность нападения, противник не сумеет вести прицельного огня. Но в темноте могут свои части перемешаться, могут сбиться с направления, будут скрыты артиллерия противника и его огневые точки, которые предстояло подавить.

— Все наши хозяева голосуют за шестерку,— сообщил полковник Федюнькин.

— И начнут не в шесть, а обязательно в шесть с гаком,— сказал генерал.— Позвони-ка еще раз, спроси, смогут ли они без гака.

Полковник вышел, а Белобородов опять стал рассматривать карту. Он молча просидел над ней, пока не вернулся Федюнькин.

— Ну что? Со всеми говорил?

— Со всеми. Все обещают: без гака.

— Тогда решаем: в шесть!

Он взял еще не подписанный приказ, на одной из первых строк поставил красным карандашом цифру «6» и внимательно прочел до конца.

Подписав, он произнес:

— Содес!

— Что это «содес»? — спросил я.

— Это по-японски: да, так! Ведь я три года в академии японские иероглифы зубрил... Еще, может быть, пригодится... Ну, звони, Федюнькин: бить шестеркой!

Полковник повернулся, но Белобородов остановил его:

— И передай, чтобы людей утром посолидней накормили! Побольше мяса заложить в котлы — по четыреста граммов на человека.

Полковник ушел к телефону.

Заложив руки за голову, генерал потянулся и сказал:

— Кажется, все. Что ж, комиссар, давай на боковую!

Но Бронников ответил:

— Нет, Афанасий Павлантьевич, я сейчас поеду.

— Куда?

— По полкам. Посмотрю на месте, как народ готовится.

— Не худо. К утру вернешься?

— Вряд ли.

— Тогда жду к обеду.

— Это верней...

Беглый короткий диалог, ровный повседневный тон. Но я знаю, что за этим скрыто многое. Знаю, что утром комиссару дивизии Бронникову придется, быть может, где-нибудь личным примером показать бойцам, что значит бесстрашие. Знаю, что из Истры он уходил с последней ротой, отстреливаясь от немцев. Знаю, что под Сафонихой он взял на себя командование окруженным, потерявшим командира батальоном и во главе гвардейцев с боем пробился из кольца.

Конечно, известно все это и Белобородову. Но генерал и комиссар не произносят лишних слов. Не все чувства

проступают наружу; нежность лишь на миг, быть может, промелькнет во взгляде, в твердом мужском рукопожатии. А нередко обходится даже и без этого.

Бронников приказывает приготовить машину, одевается, уходит.

Белобородов ложится не раздеваясь, накрывается шинелью.

Я устраиваюсь рядом на полу. Генерал поворачивается на бок, кровать трещит под его телом.

— Спать, правда, не спится,— произносит он,— но хоть ухо немного подавить перед завтрашним. А завтра... Сколько сейчас времени?

— Без двадцати два...

— Значит, уже сегодня... Что пожнем сегодня? — И, помолчав, отвечает сам: — Что посеяли, то и пожнем.

Я закрываю глаза; тихо; слышатся редкие выстрелы тяжелых орудий.

И мне вдруг кажется, что я жадно читаю необыкновенно захватывающую книгу, читаю ее не на бумажных страницах, а в самой жизни, которая развертывается передо мной, которая и есть самое необыкновенное, что было когда-нибудь на свете. И страшно хочется заглянуть вперед, но книга не напечатана на бумажных страницах, заглянуть нельзя.

5

Сквозь сон слышу движение в комнате. Открываю глаза. Белобородов уже на ногах. Достаю из кармана часы — четыре тридцать пять. Вскакиваю, выхожу на воздух.

Чудесная мягкая погода. Падают крупные хлопья снега. Трубы над домом отдыха дымят; невысоко поднявшись, дым медленно расползается и тает: его не треплет, не колышет ветер. Небо закрыто облаками, а вокруг все-таки полусвет: чувствуется, что там, над застлавшей небо пеленой, катится полная луна. Облака просвечивают, как матовый абажур.

На крыльцо быстро выходит генерал, без шапки, в неподпоясанной широкой гимнастерке. Зачерпывая обеими ладонями снег, обтирает лицо, голову и шею. Потом ему льют на руки: он, пофыркивая, умывается и бегом возвращается в дом.

Хочется запомнить, засечь в памяти все, что я увижу в этот день, который — твердо знаю! — войдет в историю великой войны.

Вот они — страницы моих блокнотов, записи 8 декабря 1941 года. Я просматриваю лист за листом, восстанавливаю смысл каждого недописанного слова и вспоминаю минуту за минутой.

4 часа 50 минут. В штабе все поднялись. На столе самовар, хлеб, масло, колбаса. Закусывают быстро, некоторые даже не присаживаются. Многие надевают шинели; оперативная группа во главе с генералом сейчас уезжает отсюда в другой пункт — ближе к линии боя.

5.00. Садимся в штабной автобус. С Белобородовым едут начальник оперативной части, начарт, начальник связи. Полковник Федюнькин и ряд штабных офицеров остаются здесь.

5.05. Тронулись. Медленно двигаемся к Волоколамскому шоссе по проселочной дороге, укрытой голубоватым снегом. Обгоняем какую-то часть. Сторонясь автобуса, идут бойцы с винтовками в запорошенных снегом шинелях. Ого, как их много! Они шагают и шагают, а голову колонны нельзя различить в рассеянном свете бледного облачного неба.

Открывается дверца автобуса, красноармейцев спрашивают:

— Какая часть?

— А тебе что?

Кто-то высказывает вслух мысль, тревожащую всех:

— Неужели бригада Засмолина? Ведь она в пять ноль-ноль должна занять исходную позицию.

Пробираясь меж бойцов, жмущихся к обочинам, автобус едва ползет. Белобородов соскакивает с подножки и, обгоняя машину, нетерпеливо идет вперед. Через несколько минут он возвращается и говорит:

— Свежая дивизия... Резерв командующего армией...

5.25. Все еще двигаемся. Проехали станцию Гучково. Водонапорная башня взорвана, станционные здания сожжены — из снега торчат высокие печные трубы.

Фронт близко; полки уже сосредоточились для наступления где-то на опушках, через полчаса начнется огневой налет, а еще десять минут спустя — атака; все загрохочет, задрожит вокруг; но пока на земле и в небе тишина. Бесшумно падает снег.

5.40. Прибыли. Автобус останавливается около одноэтажного широкого здания. Уходит вдаль широкая подачному улица и теряется в бледной полумгле. Это поселок Дедовский около станции Гучково.

В доме, куда входят штабные командиры, раньше помещался местный кооператив.

Поглядывая на каменные стены, генерал говорит:

— Тут нам их минометы не страшны...

— А разве сюда мины будут долетать?

— Обязательно. Эта музыка нам положена по штату.

Он подходит к дому и по пути одобрительно произносит:

— Ого, и подвал уже оборудовали.

Я присматриваюсь, подхожу к подвальному окну и вижу, что оттуда выглядывает дуло пулемета. Черт возьми! Неужели эта штука может тут понадобиться? Вот так обитель генерала.

Входим внутрь. Покинутый, застывший дом. Топятся все печи, но люди не снимают шинелей, изо рта идет пар. Промерзшие стены начали отпотевать; сквозь штукатурку проступил темный рисунок дранки; снизу поползли темные пятна сырости.

В магазине — пустые полки и прилавки. Жилая половина дома тоже покинута. Окна плотно зашторены прочной светонепроницаемой бумагой. На подоконнике лежит сломанная кукла.

Для оперативной группы приспособлены две комнаты в жилой половине. Маленькая — для генерала. Там полевой телефон, у телефона дежурный связист.

Рядом, в большой комнате, еще два телефона. Один предназначен только для артиллеристов, от него идут провода во все артполки и дивизионы белобородовской группы.

У другого телефона устраивается подполковник Витевский. Он не похож на военного: добротное командирское обмундирование сидит на нем мешковато; он не умеет прикрикнуть; у него застенчивая, мягкая улыбка; он умница и работяга. Его обязанность — постоянно связываться с частями, ведущими бой; непрерывно следить за ходом операций; немедленно наносить на карту все изменения обстановки. В любую минуту он обязан дать комдиву моментальный снимок боя.

У начальника связи майора Герасимова довольная улыбка. К приезду генерала у него все готово; в сарае установлена рация; в подвале подготовлены на всякий случай дублирующие аппараты.

— Как связь с Засмолиным?

Таков был первый вопрос, с которым Белобородов обратился к Герасимову.

— Работает.

— А с его полками?

— Пока прямой связи нет. Только через штаб бригады.

— Установить прямую.

— Есть, товарищ генерал.

5.50. Белобородов звонит Засмолину:

— Здравствуй! Говорит семьдесят шесть. Как твои, исходное положение заняли? Что? Ты отвечай, заняли или не заняли? Я вижу, ты сам не знаешь. Ты где сидишь? Далековато, друг, далековато. Устроился, словно штаб корпуса. Я маркой выше тебя, а сижу поближе. Сократи дистанцию, передвинься. Связь? А пусть за тобой провод тянут.

Генерал кладет трубку. Широкоскулое лицо задумчиво.

5.59. Через минуту заговорит артиллерия — начнется огневой налет на Снегири. В комнате тихо, разговоры оборвались, все прислушиваются. Майор Герасимов вынул часы.

6.00. По-прежнему тихо. Ни одного выстрела.

6.05. Тихо.

6.06. Тихо.

6.07. Тихо... Белобородов сидит с закрытыми глазами. Герасимов нарушает молчание.

— Уже семь минут седьмого,— говорит он.— Вызвать начарта, товарищ генерал?

— Не надо. Они сами чувствуют. У них сейчас самая запарка. Нагоняем теперь им не поможешь.

6.08. Залп... Еще один... Близко и далеко заговорила артиллерия. Слышно, как гудят снаряды, пролетающие над домами. Доносятся разрывы. Но в общем впечатление слабее, чем ожидалось в минуты тишины. Не содрогается дом, не дребезжат стекла, не надо повышать голоса при разговоре. Я делюсь с генералом впечатлениями.

— Такая погода,— говорит он.— Нет резкости звука.

6.20. Прошло всего несколько минут, а канонада стала привычной. Ее уже не замечаешь.

Белобородов звонит в гвардейские полки. Впрочем, здесь не вполне годится слово «звонит», вместо звонка в полевом телефонном аппарате раздаются резкие гудки высокого тона, несколько похожие на писк, и телефонисты вместо «звонить» употребляют выражение «зуммерить» — от слова «зуммер».

Генерал жалуется:

— Ухо болит от трубки. Скоро она проест мне дыру в барабанной перепонке.

Он ждет, пока к телефону подойдет командир полка.

— Алексей? Узнаешь, кто говорит? Ты на месте? Как Погорелов работает? Пашет, кажется, неплохо. Трещотки получил? Хороши? А как слева, сосед прибыл? Связь с ним установил? Людей накормил? Разведочка не пробегала туда? Ну, ну, что выловили? Докладывай... Так, так... Начинай, Алексей, время! Только так, как мы вчера договорились. Обход, обход, обход!

6.30. Белобородов вызывает к телефону командира другого гвардейского полка:

— Николай, здравствуй.

Генерал называет командиров полков по именам. Это шифр, имена являются условными названиями частей, и во всех телефонных разговорах в этот день говорят не о полках, а об Алексее, Николае, Михаиле.

Нередко он обращается к подчиненным на «ты», но порой, переходя на «вы», резким командирским тоном отдает приказание.

— Как дела?.. С лаптями у тебя все в порядке? (Лаптями в этот день в разговорах по телефону назывались танки.) Тогда в чем дело? Почему задерживаетесь? Давайте — время, время, время! Разведка принесла какие-нибудь данные? Что? Как будто? Меня «как будто» не устраивает. Не нравится мне это: задачу не ставишь своей разведке. Люди как? Поели, чайку попили? С батальонами связь есть? Ну, давай, Николай, двигай!

6.35. Белобородов вызывает штаб бригады. Но после первых же слов связь прерывается. Генерал обращается к Герасимову:

— Выясните, что такое?

Через минуту тот докладывает:

— Со штабом бригады связи нет. Порыв. Люди вышли исправлять.

6.45. Белобородов выходит на крыльцо и слушает пальбу. Еще не рассветает. Отовсюду появляются, и мгновенно гаснут, и снова появляются белые, словно магниевые, вспышки орудийных выстрелов. Одна батарея где-то совсем близко: кажется, будто над самым ухом кто-то огромным молотом ударяет по железу.

6.55. Возвратившись в дом, генерал вызывает к телефону Погорелова:

— Здравствуй. Твои минометы что-то помалкивают. Работают? Что-то не слышно... А ты сделай так, чтобы мне слышно было. Понял? Используй их на полный ход, чтобы они все на свете заглушили.

Положив трубку, Белобородов говорит:

— Пошли... Тысячи пошли...

7.15. Минуты напряженного бездействия. Надо подождать с полчаса, пока поступят первые сообщения.

Генерал молчит, потом нетерпеливо спрашивает:

— Как связь с бригадой? Восстановлена?

— Еще нет, товарищ генерал.

Белобородов молча ходит. В комнате холодно и сыро, но он расстегивает шинель. Ему тягостны эти минуты, когда не на что истратить накал, когда надо ходить и ждать.

Пользуясь моментом, я прошу генерала объяснить план операции. Он принимается за это с удовольствием, показывает на карте обстановку, чертит свой замысел в моем блокноте.

Перед тем как описать этот чертеж, или, вернее, набросок, необходимо сделать примечание. В дивизии три полка; будем именовать их просто — первый, второй, третий. Стрелковая бригада, приданная 9-й гвардейской для нынешней операции, имеет в своем составе два полка. Будем условно называть их: сто первый, сто второй.

Теперь посмотрим, что Белобородов начертил в моем блокноте. В направлении на северо-запад пролегает Волоколамское шоссе. У шоссе сосредоточены основные силы немцев. Здесь они будут держаться упорнее всего. Здесь их опорный пункт — Снегири. Задача двух гвардейских полков — овладеть сегодня Снегирями. (Впрочем, в армии, во избежание какой-либо путаницы, географические назва-

ния не склоняются. Там говорят и пишут так: «Овладеть сегодня «Снегири».)

— Видите, справа две стрелы? — говорит Белобородов.— Задача — обойти, окружить и уничтожить.

Удар по селу Рождествено — вспомогательный. Здесь задача — сковать противника, оттянуть сюда часть его сил, а при удаче немедленно двигаться вперед, к селам Жевнево и Трухаловка, выходя во фланг и в тыл основной группировке противника.

— На войне,— объясняет генерал,— нередко случается, что вспомогательный удар вдруг становится главным... Бывает и так, что не удаются оба. Тогда...

— Что тогда?..— спрашиваю я.

Не отвечая, Белобородов рассматривает свой набросок. Потом говорит:

— Вот поэтому и не спишь всю ночь, ворочаешься с боку на бок, думаешь...— Генерал стучит пальцами по рисунку.— Если так сложится — чем парировать? Если этак выйдет — куда ударить? А если получится такой-то вариант — что предпринимать?

— Неужели вы так всю ночь и не уснули?

— Всю. С полтретьего немцы стали бить по нашему дому отдыха из дальнобойных. Слышали?

— Нет, я спал.

— А я думал и считал. Насчитал четырнадцать снарядов...— И, улыбаясь, Белобородов вдруг идет к двери и кричит: — Бражниченко!

Тотчас входит старший лейтенант, артиллерист.

Генерал спрашивает:

— Сколько немцы выпустили по дому отдыха тяжелых?

— Четырнадцать, товарищ генерал.

— Хорошо, иди...

Белобородов смеется, возвращаясь к столу.

— Вот так и ходишь, как влюбленный... Все об одном и том же, об одном и том же.

Он смотрит на рисунок и становится серьезным.

— Черт его знает, сколько у него сил в Рождествено? Вчера Родионыч пробежал здесь — помнишь? — а надо бы порыться основательно. Но, сколько бы их ни было, и здесь задача — окружить и уничтожить!

Он говорит с увлечением, глаза блестят, лицо то хмурится на миг, то снова проясняется.

Объясняя, он жестикулирует обеими руками.

— Окружить и уничтожить! — с силой повторяет он. И быстрыми энергичными жестами показывает, как это сделать.

Я рассматриваю чертеж и вдруг замечаю, что в нем чего-то не хватает.

— Позвольте. А где же третий полк? — спрашиваю я.

— Сухановский? По приказу спит.— И, подмигнув, Белобородов объясняет: — У них подъем сегодня в восемь. Это мой резерв. Камень у меня за пазухой.

7.55. Входит Герасимов.

— Товарищ генерал, есть прямая связь со сто вторым.

— А со сто первым?

— Через десять минут будет.

— Хорошо. Соедини-ка меня со сто вторым... Говорит семьдесят шесть. Не знаешь — кто семьдесят шесть? А ты, милый друг, не поленись — возьми бумажку и найди. Нашел? Как ваши дела? Подходите к Рождествено? Добре... С соседом слева связь имеете? Со своей сестричкой? Нет? Немедленно этим озаботьтесь... Сильно бьете, слышу... Ну, бейте, бейте...

8.00. Прибыл представитель штаба армии капитан Токарев. К Белобородову у него нет никаких пакетов, никаких устных поручений. Он прислан для связи — посмотреть, что делается на волоколамском направлении, и к концу дня вернуться, доложить лично командующему армией о ходе операции.

Он садится рядом со мной на голые железные прутья кровати и рассказывает последние новости подмосковного фронта.

На фланге вчера нанесен удар, которого не выдержал противник. Несколькими колоннами он откатывается к городу Клин, прикрываясь частями СС. Наш натиск поддержан армиями Калининского фронта, они вчера врезались в немецкое расположение с севера; теперь нужен одновременный удар на всех подмосковных шоссе — на Ленинградском, Можайском, Малоярославецком — и немцы побегут.

— Если такие новости,— говорит Белобородов,— то «побегут» — это полдела. Окружить и уничтожить — вот за это скажут нам спасибо.

8.10. Восстановлена связь со штабом бригады. Белобородов берет трубку:

— Засмолин? Перебрался? Еще только собираешься? Поспешай, поспешай... Со сто вторым я говорил... Подходят, знаю. Как противник? Сопротивления нет? Так чего ж вы ожидаете? Ждешь сто первого? А что с ним? Запоздали? Вот орлы, первый раз — и запоздали... Если нет сопротивления — занимай, занимай! И сразу дальше! И подгоняй сто первый — пусть бегом наверстывают. Бегом, понял? Пробежка им не помешает, пусть другой раз не опаздывают.

8.15. От гвардейских полков, действующих в районе Снегири, сведения еще не поступали. Однако даже в комнате слышно, как усилился там артиллерийский и минометный огонь.

Герасимов докладывает, что с обоими полками потеряна телефонная связь,— вероятно, провода порваны взрывами немецких мин.

Белобородов приказывает:

— Дать им радиограмму: «Сообщите обстановку». И быстрей, быстрей восстанавливайте провод!

8.25. Приносят ответ, принятый по радио. Генерал читает вслух.

Два батальона первого полка ворвались в поселок. Противник оказывает сильное сопротивление. Из школы бьют минометы, пулеметы, автоматчики. В полку есть убитые и раненые. Полковая артиллерия бьет по школе.

Второй полк обтекает Снегири и приближается к перекрестку дорог. Но и ему препятствует огонь из школы. Его артиллерия тоже бьет по школе, а пехота перебежками передвигается вперед.

Известия неплохие, но Белобородов как будто не рад.

— Эх, скорее бы Снегири, Снегири...— говорит он.

8.35. Генерал опять вызывает Засмолина.

— Ну как, заняли? Усиленно продвигаетесь? — Белобородов хохочет, но, оборвав смех, снова становится резким.— Хороши, за два часа усиленно продвинулись на один километр. На подступах? Какие там к черту подступы? Это тебе что — линия Маннергейма? Да и линию Маннергейма быстрее прорывали, чем вы тут возитесь! Сто первый подошел? Тогда какого же черта? Сейчас же занимайте, пока противник бросает все на Снегири! Пользуйтесь слабиной, понял? Даю тебе сроку тридцать минут! Через тридцать минут занять Рождествено! И доложишь мне об этом! Понял?!

8.50. Сообщение из штаба бригады: сто первый полк с криками «ура» ворвался на южную окраину Рождествено.

Генерал доволен.

— Эх, скорей бы Снегири, Снегири,— повторяет он.— Когда возьмем Снегири, всхрапну часик...

И вдруг...

6

8.55. Не докончив фразы, Белобородов вскидывает голову и настораживается. Подходит к окну, закрывает глаза. Слушает.

Теперь и я улавливаю, что где-то строчат пулеметы.

— Это в Рождествено,— говорит генерал.— Вот тебе и нет сопротивления.

9.00. Белобородов выходит на крыльцо.

На улице белое утро: после керосиновой лампы дневной свет в первый миг ослепляет; погода по-прежнему мягкая; крупными хлопьями медленно падает снег; небо сплошь закрыто облаками; облака не мрачные, не темные, быть может, их снизу освещает отблеск снега. Погода, что называется, нелетная; в сегодняшнем бою не принимает участия авиация — ни наша, ни противника.

С разных точек, близких и дальних, стреляет артиллерия. Но белых вспышек уже нет — их видно только ночью. От гулких орудийных выстрелов можно отличить частые, но едва слышные хлопки. Это звуки минометного огня. Они идут справа — оттуда, где станция Снегири. Там уже что-то горит: с нашего крыльца виден красноватый дым, над которым то взовьется, то исчезнет пламя.

Но в другом направлении, по левую руку, бой слышен явственнее. Минометы работают и там, но сейчас все звуки отступают перед интенсивной стрельбой пулеметов. Они строчат и строчат, «квакают», как говорят в армии.

Сколько их? Двадцать? Тридцать?

Ого, сильнее! Пулеметная стрельба словно разливается по горизонту. Я знаю: каждый пулемет время от времени смолкает, в эту минуту его заряжают вновь, но отдельных перерывов нельзя различить. Стрельба кажется лентой,

раскинутой где-то на снегу, лентой, которая то развертывается, то укорачивается, которая все время изгибается.

— Это в Рождествено,— повторяет Белобородов.— Строчат наши и немецкие...

Он слушает еще и определяет:

— Превосходство нашего огня... Бьют, должно быть, с толком и без толку. Но хорошо, что у нас тут побольше автоматического оружия, чем у них.

Я спрашиваю:

— Далеко отсюда до Рождествено?

— Два километра.

— А до Снегирей?

— Три с половиной.

9.10. Вернулись в комнату. Белобородов вызывает штаб бригады.

— Засмолин? Что у тебя там? Сопротивление? Сам слышу. Где? Какие силы? Из-под домов? Подавляй артиллерией, подавляй. Из церкви? Окружи! Держи огнем, чтобы ни один подлец не выскочил. Пусть одно хозяйство с ними расправляется, а другое сейчас же отправляется дальше! Перехватывай дорогу и на Жевнево! Ты все еще на старом месте? Переехал? Хорошо... И двигай, двигай! Вперед. Понял?!

9.20. Восстановлена телефонная связь с гвардейскими полками. Генерал вызывает командира первого полка.

— Николай? Чем хвастаться можешь?.. Вот черт возьми... А на перекресток скоро выйдешь?.. Вот черт-те... Что ты жмешься к этой школе? Глубже в лес, глубже обходи! Что? Вот черт-те... Что же твой Ивашкин смотрит? Требуй, чтобы он долбил, долбил, чтобы все перед собой накрывал огнем! Пусть его самоварные трубы докрасна раскаляются. Может, нужна помощь артиллерией? Своей хватит? А все-таки помогу! Только скорей, скорей выходи на перекресток.

— Что там у него? — спрашивает капитан из штаба армии.

— Потери от минометного огня... Он обходит, но... Какого черта он жмется к этим Снегирям?!

9.30. Белобородов разговаривает с командиром второго полка.

— Что у вас, товарищи дорогие? Это плохо. Что вы топчетесь около этой школы? Один справа, другой слева,

и все на одном месте... Держи ее под огнем, чтобы оттуда носу никто не показал, а сам дальше, дальше. Что? Кое-что замыслил? С танкистами? Ну, давай, давай, проводи свой план. Инициативу ломать не буду. Хорошо, поглядим, что там у вас получится.

9.35. Генерал вызывает начарта.

— Дай сильный огонь по школе! Все там расковыряй! Вот сукины сыны, почти окружены, а держатся.

9.40. Белобородов разговаривает со штабом сто второго:

— Что у вас? Докладывайте. Хорошо? Что хорошо? Совхоз заняли? Нет? На дорогу вышли? Нет? Что же тогда хорошего? Хорошо, что огонь из совхоза слабый? Тогда что же вы зеваете? Бегом! В штыки! Быстрее занимайте! Пользуйтесь тем, что противник скован в Снегири! И дальше! Усилить темп движения!

9.45. Я выхожу на улицу. Пулеметная стрельба в Рождествено не утихает. Наоборот, она как будто стала еще интенсивнее.

9.55. Сообщение от сто второго.

Пересекли дорогу Рождествено — Снегири. Заняли совхоз, выбив оттуда группу автоматчиков. Немцы бегут. Захвачены пленные и автомашина. Полк продолжает двигаться на Жевнево.

Генерал доволен:

— Бегут... три вшивых автоматчика. Но молодец, молодец, двигается. Передайте — пленных пусть сюда доставят.

Он смотрит на часы и хмурится:

— Черт возьми, десять. Мало сделано! Власов, как там с завтраком? Давай-давай, быстренько!

10.05. Завтракаем.

Входит подполковник Витевский.

— Товарищ генерал, штаб бригады просит помощи.

— Какой помощи? Куда?

— Просит помочь артиллерией в Рождествено.

— А что там у них?

— Не могут выбить противника из церкви.

Белобородов хмуро молчит.

— Не нравится мне это,— после паузы говорит он.— Только драка началась, а уже пищат... Передай Погорелову, чтобы помог.

10.10. Генерал ест с аппетитом. Тарелка супа с мясной крошонкой, изрядная порция гречневой каши, чай. Для него не готовят отдельно, он довольствуется из общего котла.

Мне интересны его мысли об искусстве командира. Спрашиваю об этом.

— О, тут целую библиотеку можно написать. Возьми, например, такую вещь — требовательность. Я сам был красноармейцем, знаю: когда чувствуешь, что командир роты, командир взвода спуску не даст, все выполнишь.

— Это — воля?

— Да, если хочешь, воля. Но при этом нужно, чтобы котелок варил, чтобы задача была правильно поставлена. Правильно формулировать задачу — значит половину сделать.

10.20. С завтраком покончено. Белобородов соединяется по телефону с полком, ведущим бой в Рождествено.

— Что там у вас? Двадцать танков? Откуда вы узнали? Вы их видели? Это кому-то старуха шепнула, а вы перепугались. Если бы действительно так, они засыпали бы вас огнем. Цепляйтесь там, укрепляйте то, что заняли! И выбивайте их, гранатой действуйте! Артиллерия? Я дал команду помочь, хотя вам и своей хватит. Что она сегодня делала? Пусть поработает, пусть покажет, чего она стоит.

Представителю штаба армии хочется поближе ознакомиться с положением в районе Рождествено. Он отправляется туда.

10.30. Генерала вызывает к телефону подполковник Докучаев, командир первого гвардейского.

— Слушаю... Так, так... У тебя пятидесятитысячная? Власов, карту пятидесятитысячную! Галопом, галопом, старина! Ты не волнуйся, Николай. Что у тебя с голосом? Ранен? Куда? В горло? А как ты говоришь? Содрало кожу? (Белобородову приносят карту.) Вижу, школа! Вижу! Не удалось? Потеряли? Сколько? Два? Ну и хрен с ней, со школой! Обтекай, потом сожжем! Хочешь разделаться? Действуй артиллерией, а пчелки (так в телефонных разговорах звалась в этот день пехота) пусть дальше пробираются. Бей прямой наводкой, только прямой наводкой! И через тридцать минут решить эту задачу! Тридцать минут сроку — и разделаться с этим атрибутом! А пчелок

глубже в лес! Понятно? И пришли мне человека, чтобы рассказал лично обстановку.

10.35. Белобородов приказывает начарту:

— Выкати вперед, что у тебя там около школы, и дай прямой наводкой.

10.40. Входит Витевский.

— Товарищ генерал, сообщение из сто второго.

— Что такое?

— Из Трухаловки на Рождествено прошли две танкетки и восемь машин с фашистами.

— Какого же черта они их пропустили? Вызови мне сто второй.

10.45. Разговор с командиром сто второго.

— Да, да, уже знаю. Сами видели? Тогда какого же черта?.. Обстреляли? Прибавили скорость? А вот ваша скорость мне не нравится. Слепые старики уже дальше бы прошли! Заняли высоту двести шестнадцать? Закрепляйте ее, огневых средств туда побольше, дорогу пристреляйте! И вперед, вперед! Жевнево поскорей захватывай! Пойми, милый, сейчас это самое важное! Сильный огонь? Минометный? Из Трухаловки? Хорошо, я тебе в этом помогу. Хорошо, сейчас их утихомирим! Расцелуем тебя, когда возьмешь Жевнево!

10.50. Белобородов зовет начарта:

— Обижаются пчелки на вас, дружище. Трухаловку не давите. Чем он там располагает? Наблюдатели что-нибудь докладывали?

— Да, там скопление пехоты и десять — двенадцать танков.

— Это кстати. Дадим-ка туда залп «раисы».

— Есть, товарищ генерал.

— И как можно быстрее! Сумеете через двадцать минут шарахнуть?

— Через полчаса, товарищ генерал!

— А я требую через двадцать! Понятно? Засекаю время! Иди командуй! Бегом, бегом.

«Раиса» — «адская пушка», как ее называют немцы. У нас кроме официального наименования «пушка Р. С.» ее зовут Катюшей, Марусей, Марьей Ивановной, «гитарой».

Ее залп — страшная штука. Такой залп все взметывает, взвихряет, охватывает пламенем, сечет металлом. Залпы «раисы» внезапны. Выстрелив, «раиса» тотчас

покидает позицию и скрывается, чтобы через некоторое время с какой-то новой точки опять произвести свою мгновенную и страшную работу.

11.00. Белобородов вызывает к телефону подполковника Суханова — командира третьего полка, который где-то скрыто расположен.

Сегодня это первый звонок генерала туда.

— Михаил? Здорово! Как жизнь молодая? Нет, пока сиди... Просто хотел справиться о твоем здоровье. Людей хорошенько покорми: побольше мяса, масла, не скупись. Пусть подкрепятся поосновательнее,— может быть, бегом придется. Помнишь, как мы с тобой бегали после разбора тактических учений? Намек? Да, может быть, намек! Да, может быть, придется и сегодня этак. Но пока не тревожь людей, будь только сам готов!

Входит лейтенант-танкист.

Вытянувшись, откозыряв, он четко докладывает о себе. Его зубы блестят почему-то слишком ярко. Зубы и белки. На молодом румяном лице осел темный налет — это копоть пороховых газов.

По распоряжению генерала он послан сюда из Снегирей доложить о том, что происходит там.

У Белобородова сегодня это первый человек, сам побывавший в деле.

Он командир тяжелого танка КВ. Его машина подбита. Другой танк немцы подожгли...

Белобородов прерывает лейтенанта:

— Садись. Завтракал? Брось отнекиваться... Власов! Чаю, колбасы! Сто грамм горючего! Галопом! Сначала мы тебя накормим, а потом ты все по порядку нам изложишь. Пей, закусывай! Быстро. Кто вас там выучил не подчиняться приказанию старшего начальника?!

Сконфуженно улыбаясь, лейтенант принимается за угощение. Однако это, как видно, ему действительно кстати. Он ест быстро и много.

11.20. Потом, вытерев руки о шинель, начинает рассказывать.

Генерал слушает, то хмурясь, то выражая свои чувства крепкой фразой, то перебивая двумя-тремя беглыми вопросами.

Перед нами встает картина боя в Снегирях.

Длинное каменное здание школы, имеющее большой круговой обстрел, немцы превратили в крепость. Они

засели в подвале, вероятно углубив его. В кладке фундамента пробиты бойницы («Как они, подлецы, это умеют!» — произнес Белобородов), откуда немцы повели бешеный огонь. Из этого подземелья стреляют не только пулеметчики и автоматчики; там установлено много минометов, которые трудно выковырять. У школы со всех четырех сторон в землю закопаны танки, которые тоже бьют из пулеметов и из башенных орудий. И где-то вокруг, в блиндажах, в щелях, в окопах, еще и еще минометы. Там все крошит наша артиллерия; слышно, как у фашистов смолкает та или иная батарея минометов; но через несколько минут начинают действовать новые.

Огонь из школы остановил наши батальоны, еще до рассвета ворвавшиеся в Снегири. Бойцы с гранатами и пулеметами подползли на двести метров. («Зачем? — вставил Белобородов.— Обходить надо!») Несколько гранатометчиков поползли дальше, но не добрались до бойниц. Артиллерия усилила огонь по школе; отмечено много прямых попаданий; наши танки открыли пальбу из засады; пулеметчики стреляли с дистанции двести — триста метров, но подавить огонь противника не удавалось.

Тогда командир полка и командир танковой бригады приняли новое решение. Пяти танкам было приказано выдвинуться из укрытия, подойти к школе и прямой наводкой расстрелять пулеметные и минометные гнезда.

11.27. Внезапно лейтенант замолк. В тот же миг я услышал мощный нарастающий гул. Он не казался резким, громким, но все другие звуки боя сразу стали незаметны. Никто не удивился. Все мы знали, что это такое: кто слышал этот звук хоть раз, тот не смешает его ни с каким другим.

— «Гитара»,— произнес Белобородов.

Казалось, кто-то задел в небе гигантские басовые струны и они громко гудят, постепенно утихая.

Это был залп «раисы».

Через минуту донеслись глуховатые сильные разрывы. «Тук, тук, тук» — сыпалось словно из мешка.

«Раиса» накрыла намеченный квадрат.

11.30. Лейтенант продолжал.

Танки вышли: два тяжелых и три средних. На полном ходу громыхающие машины врезались в смертоносное пространство вокруг школы и, развернувшись, стали выпускать снаряд за снарядом в подвальные бойницы. Лей-

тенант видел, как из одной взрывом выбросило наружу обломки каменной кладки, потом стену заволокли клубы тяжелой красноватой пыли, и вдруг... Вверху раздался оглушительный удар: пушечную башню пробил немецкий снаряд. Оказывается, где-то у школы, а может быть и внутри здания, стояли замаскированные противотанковые орудия... Пушка вышла из строя, надо было отходить. Одному из средних танков снаряд перебил гусеницу. Танк перестал двигаться, но продолжал стрельбу. Немцы всадили в него еще пять снарядов — в нем погиб весь экипаж. Остальные танки отошли в укрытие.

Выслушав, Белобородов помолчал. Затем спросил:

— Подкреплений они не подбрасывали туда?

— Пытались. Но наши пулеметчики уже простреливали подходы к школе и туда их не допустили. Подкрепления залегли по обочинам шоссе и у кирпичного завода. Но там их крошат.

— По шоссе подбросили?

— Точно, товарищ генерал. Из Трухаловки.

— А наши? Все еще воюют с этой школой?

— Да, когда я уезжал, все огневые средства по ней били.

— А пехота?

— Лежит и тоже туда стреляет.

— Какого же черта?! — закричал Белобородов, но сдержал себя.— Вы, товарищ лейтенант, можете идти.

Обернувшись ко мне, генерал говорит:

— Втянулись в бой около этой школы. Надо бы оторваться от нее, но... открытое место, глубокий снег, огонь...

8

11.40. Белобородов приказывает вызвать к телефону командира первого полка. Но проводная связь с полками, наступающими на Снегири, опять прервана.

— Дать туда радио,— распоряжается Белобородов.— Пехоте немедленно оттянуться от школы и обходить лесом. Артиллерии продолжать огонь по школе.

11.45. Хорошие новости из сто второго.

«Раиса» удачно накрыла цель. Минометный огонь из Трухаловки резко сократился. Сто второй полк под-

ходит к Жевнево. До крайних домов осталось семьсот метров.

— Жми! По-кавалерийски жми! — кричит Белобородов в трубку.— Что сейчас самое главное? Самое главное — скоро ли ты в Жевнево придешь? Давай, чтобы обедать там.

Окончив разговор, он на секунду закрывает глаза, словно для того, чтобы яснее видеть. Потом говорит:

— Вот оно где может получиться, что вспомогательный удар вдруг станет главным.

11.55. Восстановлена связь с одним из полков, ведущих бой в Снегирях. Подполковник Витевский сообщает, что оттуда доложили следующее: полк частью сил обтекает школу слева, продвинулся на несколько сот метров, но залег вследствие сильного пулеметного и минометного огня с кирпичного завода; полковая артиллерия бьет по кирпичному заводу.

— Какого черта они опять лезут на рожон?! — кричит генерал.

Он вызывает к телефону командира полка:

— Алексей? Докладывай... Не нравится мне это! Почему тебя тянет туда, где они тебе встречу приготовили? Плюнь ты на этот завод, обходи лесом, глубже забирай. Ты там без поражения можешь выйти! Ведь я тебе вчера все это показал, на бумажке все нарисовал. Обходить так и так, он сам оттуда выскочит как пробка. Вот тогда бей, уничтожай! Слева уже Жевнево занимают, милый, двигайся скорее, а то все пропадет!

12.05. Белобородов зовет Витевского:

— Давайте вашу карту...

Витевский раскрывает черную папку из твердого картона — она всегда с ним, когда он входит к генералу. В папке оперативная карта, моментальный снимок сражения. При всяком новом сообщении, иногда через каждые пять — десять минут, Витевскому приходится, иной раз пользуясь резинкой, исправлять рисунок, нанесенный красным карандашом на карте.

Генерал берет папку. Конфигурация красных линий сейчас лишь очень отдаленно напоминает чертеж, который генерал рано утром набросал в моем блокноте. Вместо крутой кривизны двух стремительных дуг, охватывающих Снегири, у этого пункта оказалось несколько прямых, коротких стрелок: две из них уткнулись в зда-

ние школы, а две другие, немного продвинутые дальше, жались к границам поселка.

Лишь линия, стремящаяся в Жевнево, линия сто второго полка, совпадала со стрелкой, проведенной генералом. Но и тут встречной стрелы слева не было.

— Не умеем,— сказал Белобородов.— Из этой злосчастной школы нам стукнули по физиономии — захотелось сейчас же сдачи дать. Ввязались в темноте, вошли в азарт, и оторваться трудно. Азарт — страшная штука на войне. Трудно быть хозяином своего азарта.

12.15. Белобородов продолжает рассматривать карту.

Я сижу за столом и тоже смотрю на карту. Красные карандашные линии помогают разобраться во множестве теснящихся значков и надписей.

Я нахожу Рождествено — среди сбежавшихся в кучку полосок и квадратиков едва заметен маленький черный крест: это церковь, где засели немцы. Нахожу Жевнево, Трухаловку, Снегири. Один квадратик в Снегирях — маленький, но отчетливо отделенный от других — обозначен двумя буквами: «Шк». Школа стоит у шоссе и превращена в сильный опорный пункт.

Школа! Сколько раз здесь произносилось сегодня это слово! Та самая школа в Снегирях, у которой с раннего утра идет жестокий и безрезультатный бой!

Вижу железную дорогу, вижу шоссе — четкий просвет меж двумя параллельными, пробегающими через весь лист.

Это Волоколамское шоссе. Край листа обрезает линию шоссе: в этой точке я различаю какие-то мелкие буквы. Напрягаю зрение, всматриваюсь, читаю. На странном для нас языке военных карт, не признающих склонений, в точке, где обрывается шоссе, написано «в Москва».

Это слово, словно взблеск молнии, вдруг озаряет смысл происходящего, как-то затерявшийся, куда-то отодвинувшийся в мелькании событий дня.

Ведь все, что совершается сегодня в этих безвестных подмосковных поселках: захват с криками «ура» окраин Рождествено; продвижение в Жевнево; многочасовой, все еще длящийся бой у школы; неудачный удар танков; нестихающая пальба пушек, минометов, пулеметов; залп «раисы»,— все это наша атака.

Наша армия, прижатая к Москве, атакует немецкую армию — эту чудовищную силу, не испытавшую ни одного поражения в десяти завоеванных странах Европы.

Удастся ли атака? Опрокинем ли врага? Погоним ли его?

Хочется ответить: «Да, да, да!» Но карта — не ведающая пристрастия — «третья сторона», документ, от которого требуется только одно: точность; карта, над которой склонился генерал, вглядывающийся в оттиск сражения, не говорит сейчас, в полдень 8 декабря, ни да ни нет.

Боевой день еще не дал решения, судьба атаки не ясна.

12.25. Подняв круглую стриженую голову, Белобородов к чему-то прислушивается. Я тоже слушаю. Мне на минуту кажется, что пулеметная стрельба как будто продвинулась к нам. Но генерал спокоен. Он спрашивает Витевского:

— Какие у тебя последние сообщения из Рождествено? Я что-то давненько никого там не тревожил.

— Мне тоже давно оттуда не звонили.

— Почему? Связь действует?

— Да, все время действовала.

— Что они, обязанностей своих не знают? А ну, вызови их. Пробери начальника штаба, чтобы другой раз быстрее поворачивался.

Витевский соединяется с начальником штаба бригады:

— Говорит шестьдесят два. Я уже полчаса ничего от вас не имею. Большой хозяин приказал поставить вам это на вид.

Белобородов не выдерживает:

— Грубей, Витевский! Дай сюда трубку!

Генерал подходит к телефону, но в этот момент из соседней комнаты доносится странный шум.

Кажется, кто-то рвется к двери; его задерживают; слышен чей-то голос: «Обожди!» — и другой, взволнованный: «Мне надо лично к генералу».

Белобородов быстро идет к двери, распахивает ее и спрашивает с порога:

— Кому я нужен?

12.30. Шум сразу прекращается. Среди наступившего молчания раздается:

— Товарищ генерал, разрешите доложить. Полковник Засмолин просит подкрепления.

По голосу слышно, что человеку не хватает дыхания: он говорит запыхавшись.

И вдруг Белобородов громко, по-командирски произносит:

— Как стоите? Докладывать не научились! Фамилия? Должность?

— Виноват, товарищ генерал. Командир разведывательного батальона старший лейтенант Травчук!

— Не Травчук, а чубук вы! От дырявой трубки! Какого черта напороли паники? Откуда вы сейчас?

— Из Рождествено, товарищ генерал.

— Зачем нужны там подкрепления? Вам и самим там делать нечего.

— Разрешите доложить, товарищ генерал.

— Вольно, можешь не тянуться. Иди сюда, рассказывай.

Вслед за генералом в комнату входит Травчук. Поверх шинели натянуты широкие белые штаны, туго подвязанные кожаным сыромятным шнурком. Подвернутые полы шинели сбились на животе под белыми штанами. У Травчука растерянное, оторопевшее лицо.

Вместе с Травчуком в комнате появляется еще один человек. Я знаю его: это лейтенант Сидельников, командир мотострелкового батальона, отчаянный мотоциклист. Он очень молод, лицо кажется юношеским, но он умеет приказывать — в нем есть командирская жилка, в батальоне его слушаются с одного слова. Мотострелковый батальон расположен рядом, в пятидесяти шагах отсюда. Это тоже резерв Белобородова...

Щелкнув каблуками, Сидельников замирает, вытянув руки по швам и слегка подавшись корпусом к Белобородову.

На нем меховая шапка и хорошо подогнанный короткий полушубок, к рукавам пришиты варежки.

Сидельников не произносит ни слова, но весь он — сосредоточенное и вместе с тем радостное лицо; напряженная, словно на старте, фигура,— весь он сама готовность. Приказ — и он вмиг вылетит из комнаты. Приказ — и через две минуты батальон отправится выполнять задачу.

Взглянув на Сидельникова, Белобородов спрашивает:

— Это он тебя с собою притащил?

— Так точно, товарищ генерал.

— Ишь какой расторопный, где не надо. Неплохой разведчик. В момент разведал, где резерв. Не там разведуешь!

Последнюю фразу генерал выкрикивает. Потом обращается к Сидельникову:

— Слетай туда, дружище, посмотри, почему они там в штаны пустили. И сейчас же мне доложишь!

— Есть, товарищ генерал!

Стремительно повернувшись, Сидельников выходит.

12.40.— Ну, товарищ мастер! — говорит Белобородов.— Мастер разведывать, что у него сзади!

Белобородов смеется. Мне странно, как он может смеяться в такую минуту, еще не узнав, с чем прибежал к нему этот взволнованный, запыхавшийся человек. Травчук тоже смотрит на генерала с удивлением, но его лицо становится осмысленнее, спокойнее.

Резко оборвав смех, Белобородов спрашивает:

— Выкладывай, с чем пришел?

— Нас выбивают из Рождествено, товарищ генерал.

— Кто? Сотня вшивых автоматчиков?

— Нет, товарищ генерал, они подбросили туда два танка и свыше батальона живой силы.

— Ну и что ж? А у нас там полк.

— Бьет термитными снарядами, товарищ генерал. Зажигает дома, которые мы заняли. Бойцы не выдерживают, откатываются.

— А для чего вам подкрепление?

— Как для чего? Не понимаю вопроса, товарищ генерал.

— Я спрашиваю,— голос Белобородова опять гремит,— для чего вам подкрепление?

— Для того... Для того, чтобы выбить...

— Значит, дяденька за вас будет выбивать? Варяги к вам придут выполнять вместо вас задачу?..

— Мне приказано, товарищ генерал...

— Передай полковнику, что никаких подкреплений у меня нет. Здесь у меня только мотострелковый батальон. Это мой резерв. Его дать не могу. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал.

— Передай, что надо учиться воевать, учиться побеждать теми силами, которые имеются. Передай, чтобы выполнял задачу! Все! Можешь идти!

— Есть, товарищ генерал.

Белобородов задумчиво ходит по комнате. Потом произносит: — Нет! — И, обращаясь ко мне, продолжает: — Вот положение — никакой формулы не подберешь. Ни алгебра, ни тригонометрия не помогут. Одно знаю: не хватит выдержки — сорвешь всю операцию.

9

12.45. Белобородов вызывает к телефону командира бригады.

— Засмолин? Говорит семьдесят шесть. В чем дело, Засмолин? Почему мечете икру? Танкетки? Эти танкетки любое противотанковое ружье берет. Поставьте пять ружей и щелкайте. Что? Сколько перед вами противника? Вся группа генерала Гудериана, что ли? Не обстреляны? Знаю, что не обстреляны. Вот вам и обстрелка. Никаких подкреплений у меня нет! Что? Куда может ворваться? (Лицо Белобородова вдруг вспыхивает темным румянцем.) Вы что — пугать вздумали меня? Немедленно отправляйтесь лично наводить порядок! Шагом марш на высоту двести один и руководите там боем! Марш! Все!

Генерал сердито кладет трубку.

— Ну и Рождествено,— говорит он,— чтоб ему сгореть.

12.50. Разговор по телефону с командиром первого гвардейского полка.

— Николай! Как дела? Что-то у тебя голос невеселый? Дорогу пересек? Нет? Почему нет? Откуда тебя прижимают огнем? С кирпичного завода? А на кой черт ты туда лезешь? Простреливает насквозь всю просеку? Это мура на постном масле! Почему не забираешь глубже? Что у него — на пять километров пулеметы бьют? Накрывают минами? А твои огневые средства что делают? Ведь у тебя в пять раз больше этого добра. Я тебе приказываю забирать глубже! Подавляй огонь и пересекай дорогу. Давно бы по одному перебежали! Пересекай и выходи на шоссе — выполняй задачу! Ползком, но только вперед, вперед! Сейчас же разрешай проблему, а то получается спячка. Пойми, Николай, задачу надо выполнить. Любой ценой, но выполнить!

12.55. Белобородов требует к себе начарта. Генералу докладывают, что Погорелов сейчас находится на командном пункте одного из артполков.

— Вызовите к телефону,— приказывает Белобородов.

Через несколько минут начарт у телефона.

Генерал берет трубку:

— Погорелов? Ты когда мне минометные батареи подавишь? В кирпичном заводе. Они туда посадили минометчиков и накрывают весь лес минометным огнем. Что? Стены? Мне хоть стальные, хоть железные — я спрашиваю, когда подавишь огонь? Здесь по площади можно было давно подавить все это. Если засветло не подавишь, впотьмах будешь давить. Давайте долбайте, чтобы ничего там не осталось, чтобы там все с землей смешать! Нажми там своим удельным весом! И быстрее! Как можно быстрее!

13.10. Разговор по телефону с командиром второго гвардейского полка:

— Алексей, что у тебя слышно? Как на старом месте? Почему на старом месте? Я ведь полтора часа тому назад приказал тебе в тридцать минут разделаться с этим атрибутом или бросить его к черту. Чего ты привязался к этой школе? Бросай сейчас же, вытягивай людей оттуда и обходи лесом! Тьфу, я ведь тебе тридцать раз это объяснял. Вперед — захлестывай справа, чтобы ни одного подлеца не выпустить оттуда. А школа, шут с ней, пусть стоит — ни одной минуты не смей больше около нее терять. Что? Плохо слышно? Когда тебе чего-нибудь от меня надо, тогда слышишь хорошо, а когда тебе говорят: «Дай!» — не слышно? Я тебе приказываю: обходи справа. Это тебе сегодня кровь из носу, а сделать! Алеша, милый мой, уразумей: он один без тебя ничего не сделает. Обоим вам там быть сегодня и чай там пить сегодня!

Белобородов кладет трубку и произносит:

— Ну, и цепляются, мерзавцы. Засели, как клопы в щелях! Хоть керосином выжигай! И оттянуться уже трудно.

13.20. В звуках боя не чувствуется спада. Наоборот. Артиллерия бьет как будто чаще, а пулеметная стрельба стала явственно слышнее. Где-то близко с характерным глухим треском рвутся мины.

— Сюда бросает,— говорит генерал.— Скоро начнут

стекла сыпаться. Если он узнает, что это за домик,— нам придется жарко.

Белобородов ложится на диван — в шинели, в шапке, подпоясанный,— закрывает глаза, дремлет или думает.

13.55. Стук в дверь. Генерал мгновенно подымается.

— Кто там? Заходи...

Входит Сидельников.

— Ну как, побывал в Рождествено?

— Нет, товарищ генерал.

— Почему?

— Противник огнем не подпускает. Обстановка такова: первый батальон лежит на исходных в пятистах метрах от Рождествено. Южную окраину, куда полк врезался утром, противник сжег. И сейчас еще кое-что горит. Но там, по всей вероятности в землянках, которые выкопали жители, зацепились наши пулеметчики. Огонь очень интенсивный. Сколько наших там, кто они — в штабе не знают. Судя по звуку, у нас там семь-восемь пулеметов. Слышен и винтовочный огонь.

— Вот это люди! Я тебя попрошу: разузнай завтра их фамилии, запиши и записку лично дай мне в руки... Ну, ну, дальше... Где другие батальоны?

— Перемешались. Выбежали из Рождествено и рассеялись в лесу. Противник выбросил в лес две или три группы автоматчиков. Организованного отпора я не видел.

— Что ж они — шарахаются?

— Точно, товарищ генерал. И, судя по некоторым признакам, противник, возможно, готовит здесь контратаку.

— По каким признакам?

— При мне в Рождествено подошло четыре машины с пехотой.

— По какой же дороге?

— Из Трухаловки. Через Жевнево.

— Как через Жевнево? Ведь там дорога перехвачена! Ты сам видел?

— Сам видел, товарищ генерал.

— Не может быть! Сто второй оседлал эту дорогу!

— Сто второй полк отошел, товарищ генерал.

— Как отошел? Куда отошел?

— Приблизительно к линии Снегири — Рождествено.
— А совхоз? А высота двести шестнадцать?
— Оставили, товарищ генерал...
— Не верю!..
— Я сам там был, товарищ генерал.
— Что они — спятили?

У Белобородова потемнело лицо. Ему хочется накричать, стукнуть кулаком, но, сдерживая себя, он приказывает дежурному связисту:

— Сейчас же к телефону командира сто второго!

14.10. Разговор с командиром сто второго.

— Кто у телефона? Говорит семьдесят шесть... Какого черта? Что? Выслушать? (Генерал слушает, закрыв глаза и морщась.) А приказ был? Я спрашиваю: приказ об отходе был? Вы — командир, вы должны знать, что отход без приказа — преступление. Судить будем за это! Какого черта вы перепугались? Не он у вас в тылу! Вы у него в тылу! Вы его отрезали! Ох, боже мой, что же вы до сих пор воевать не научились! Покормите людей и сейчас же все снова занимайте! Что? Уже успели установить. На высоте двести шестнадцать? Минометы? Сколько? А вы чего же зевали? Указания? Задачу надо выполнить — вот и указания!

Разговор кончен. Белобородов морщится.

— Пленных потеряли, трофеи потеряли... Узнали, что из Рождествено нас вышибли, и... Вот вам война нервов. Вы у него в тылу, он у вас в тылу — чьи нервы выдержат. Сидельников, как у тебя нервы?

— Выдержат, товарищ генерал.

— Уверен?

Юношеское лицо Сидельникова вспыхивает.

— Жду приказаний, товарищ генерал.

— Пока иди. Накорми людей. И пусть оружие хорошенько вычистят.

— Есть, товарищ генерал.

Сидельников уходит. У него стремительный, легкий шаг. Генерал смотрит ему вслед.

14.20. Витевский сообщает генералу сведения, поступившие от соседних дивизий.

Сосед слева ведет бой у недалекого села. Противник удерживает село.

— Эх, и они завязли,— невесело говорит Белобородов.

— Да, там тоже церковь, школа... И огонь из бойниц, устроенных в фундаментах.

Витевский продолжает сообщение.

У соседа справа успех: занято село Крюково. Генерал сразу оживляется.

— Вот это отлично. Как заняли, не знаешь?

— Обошли с двух сторон. Противник бросил все и отскочил.

— Что и требовалось доказать! Некоторые головой думают, а другие стену головой ломают. Знаешь, Витевский, кто это другие?

— Не знаю,— неуверенно отвечает Витевский.

— Мы с тобой, дружище. Девятая гвардейская. Группа генерал-майора Белобородова.

Белобородов хохочет.

Я опять изумлен. На фронте тяжело; ни в одном пункте не решена задача; день скоро кончится, мы как будто проигрываем сегодняшний бой, этот, несомненно, исторический, наступательный бой на волоколамском направлении, а Белобородов хохочет. Как можно оставаться веселым, хохотать в такой момент?

Или, может быть, я ошибаюсь? Может быть, Белобородов понимает что-то такое, чего я не вижу и не понимаю?

14.30. Отпустив Витевского, генерал устраивается полулежа на диване и закрывает глаза, подперев рукой большую стриженую голову. Мне опять не ясно, что он — дремлет или думает.

Несколько минут молчания. Потом, не открывая глаз, Белобородов приказывает дежурному телефонисту:

— Позвони во все полки. Узнай, каковы потери.

Телефонист спрашивает:

— Сколько у вас больных сегодня? Сколько уснувших?

Это наивный и прозрачный шифр. Больные — значит раненые, уснувшие — убитые.

Телефонист записывает сообщаемые цифры, но на третьем звонке, вызвав кого-то из новеньких — сто первый или сто второй, внезапно раздражается.

— Тьфу ты! — кричит он.— Уснувших, понимаешь? Ну тебя, с тобой не сговоришься.

— Что там? — произносит Белобородов.

— Я, товарищ генерал, спрашиваю: сколько уснув-

ших, а он мне: «У нас никто не спит». С ним немыслимое дело, товарищ генерал.

Белобородов устало улыбается, не открывая глаз.

Телефонист передает ему бумагу. Белобородов просматривает, потом опять закрывает глаза.

Идут минуты. Тихо. Никто не звонит генералу: нет, очевидно, радостных вестей.

10

14.50. Я не уловил момента, когда в комнате что-то изменилось. До меня дошло какое-то движение, и в тот же момент меня словно подбросило. Я понял, что незаметно задремал.

Белобородова уже не было в комнате. Дверь в соседнюю комнату оказалась почему-то открытой. Я поспешно направился туда.

Там по-прежнему горели керосиновые лампы, освещая потертые брезентовые коробки полевых телефонов, карту на большом столе, фигуры и лица работников штаба, с утра не снимавших здесь, в темных, отопревших стенах, шапок и шинелей.

Отсюда весь день доносился гул разговора, но сейчас меня поразила тишина.

Я сразу увидел Белобородова. Он стоял в центре — невысокий, сумрачный. Лампа освещала снизу его широкоскулое лицо — щеки залились румянцем, глаза сузились. Все, кто его знал, понимали: он сдерживает рвущийся наружу гнев. Я не хотел бы держать ответ перед ним в эту минуту.

Против него стояли три человека, очевидно только что вошедшие. Я увидел на полушубках и шинелях снег, еще не потемневший, не подтаявший, и понял, что не опоздал.

С генералом говорил кто-то высокий, сутуловатый, в полушубке до колен, с шашкой на боку. Я узнал полковника Засмолина. Он настойчиво старался в чем-то убедить Белобородова.

Я не застал начала разговора, но по двум-трем фразам догадался: Засмолин приехал, чтобы лично просить у генерала подкреплений.

С Засмолиным прибыл капитан, офицер связи штаба

армии, тот, что утром провел некоторое время у Белобородова.

Рядом стоял человек в шинели с красной звездой на рукаве. В первую минуту я не узнал его. Меня лишь удивило очень бледное его лицо. Но я тотчас понял, что это не бледность растерянности или испуга. Лицо было сурово, сосредоточенно, и я сразу вспомнил вчерашнюю мимолетную встречу: крепко сбитую фигуру, твердую постановку головы и корпуса. Я шепотом спросил телефониста: «Кто это?» — «Комиссар бригады»,— был ответ.

Белобородов молча слушал.

— Хватит! — вдруг крикнул он.

Засмолин осекся.

Секунду помедлив, овладевая в этот момент собой, генерал негромко продолжал:

— У нас с тобой после будет разговор...

Затем он обратился к капитану:

— Вы оттуда? Доложите обстановку. Только быстро, быстро.

Волнуясь, но стараясь говорить спокойно, капитан последовательно изложил события боя за Рождествено.

В девять утра два наших батальона заняли южную окраину села Рождествено. Сопротивление противника концентрировалось в церкви и вокруг нее. Наши силы захватывали дом за домом. Противник подбросил резервы — два танка и до батальона пехоты. Немцы стали бить термитными снарядами, зажигая дома. Это внесло замешательство. Послышались крики: «Огнем стреляет!» Несколько человек побежали, за ними остальные. Штаб бригады выбросил резервный батальон, который залег в полукилометре от села. Но теперь положение ухудшилось. Из села небольшими группами, по десять — пятнадцать человек, начали выбегать автоматчики противника и, пробираясь лесом, стали обходить батальон. Некоторое время батальон лежал под обстрелом с флангов, неся потери, но немцы проникали дальше, стремясь с обеих сторон выйти батальону в тыл. Наши не выдержали и откатились.

— Куда? — спросил Белобородов.

— Сюда. Бойцы залегли у окраины этого поселка. Штаб бригады бросил последнее, что у него было,— комендантский взвод. Сейчас немцы ведут огонь с опушки леса. Они уже подтянули сюда и минометы.

— Все? — спросил генерал.

— Что еще? Артиллеристы увидели, что батальон отходит, орудия на передки — и тоже сюда.

— Все?

— Да, во всяком случае, товарищ генерал, самое главное.

— Самое главное? — переспросил Белобородов и взглянул на комиссара, словно ожидая от него ответа.

В эту минуту все ясно услышали глухой разрыв мины где-то рядом с домом. Тотчас ухнул второй... Третий. Четвертый... Против нас действовала немецкая новинка — многоствольный миномет.

Засмолин не выдержал молчания.

— Мне нечем их отбросить,— сказал он.— Они могут на плечах сюда ворваться.

Но Белобородов словно пропустил это мимо ушей.

— Самое главное? — повторил он и опять пристально посмотрел на комиссара.

Тот стоял в положении «смирно», глядя прямо в глаза генералу. Комиссар молчал, но кадык, остро выступающий на сильной шее, подался вверх и скользнул обратно, как при глотательном движении. По напряженному лицу, обросшему двухдневной щетиной, угадывалось, что у него сейчас стиснуты зубы.

И вдруг генерал стукнул по столу — во вздрогнувшей лампе подпрыгнул и на секунду закоптил огонь — и крикнул:

— А пулеметчики, которые не побежали, как овцы, из Рождествено,— это для вас не главное? Пулеметчики и стрелки, которые и сейчас там держатся,— это не главное? Сколько их?

— Человек сорок,— не очень уверенно ответил Засмолин.

— Сорок? А может быть, сто сорок? Ни черта, я вижу, ты не знаешь. Но пусть их осталось даже двадцать пять; эти двадцать пять стоят сейчас дороже, чем две тысячи, которых, из-за того что ты не умеешь управлять, гоняет по лесу сотня вшивых автоматчиков.

— Из двух тысяч, товарищ генерал, осталось только...

— Не верю! Сказки про белого бычка! Ни черта ты не знаешь! Почему ты сейчас здесь? Кто тебе позволил бросить войска и прибежать сюда?

Молчание. Слабо доносится пулеметная стрельба: пулеметы бьют неподалеку, но стены и плотно занавешенные окна скрадывают звук. Слышится сильный глуховатый удар, это опять немецкий многоствольный миномет, но мины ложатся где-то в стороне; ухо едва улавливает четыре отдаленных разрыва.

— Комиссар! — Голос Белобородова гремит на весь дом.— Комиссар! Почему вы здесь? Почему вы не с пулеметчиками, которые держатся в Рождествено?

Комиссар молчит. Лицо по-прежнему очень бледно, и он по-прежнему смотрит прямо в глаза генералу.

— Извольте отвечать!

Комиссар отвечает очень сдержанно:

— Я приехал, товарищ генерал, чтобы получить ваши приказания.

— Какие приказания? У вас есть приказ. Другого приказа нет и не будет! Запомните — не будет!

— Какой приказ? — спрашивает Засмолин.

— Выполнить задачу!

Снова где-то совсем рядом разрыв, и тотчас — звон стекол, посыпавшихся в другой половине дома. Нервы ждут второго, третьего, четвертого ударов, но их нет — это одиночная мина.

— Выполнить задачу! — властно повторяет генерал.— Овладеть Рождествено! Окружить и уничтожить всю эту вшивую шпану!

— Товарищ генерал. Но я прошу...— произносит Засмолин.

— Не дам! Ни одного бойца не дам! Учись воевать собственными силами.

— Сейчас их нет...

— Вранье! Не верю! С твоими силами можно раздавить это село! С твоей артиллерией там все можно разнести к чертовой матери! Руководить надо, управлять надо, а не распускать слюни!

— Но...

— К черту твои «но»... Отправляйтесь сейчас сами,— командир, комиссар, начальник штаба, все до единого, все, кто есть у тебя в штабе. Отправляйтесь туда, где растеряли своих людей, и наводите там порядок. И чтобы в двадцать ноль-ноль задача была выполнена! Окружить и взять Рождествено во что бы то ни стало!

Белобородов смотрит на Засмолина в упор.

— Любой ценой! Понятно?

Его взгляд, почти физически источающий волю, ясно говорит: «Даже ценой твоей, Засмолин, жизни!»

— Понятно! — отвечает Засмолин.

Генерал испытующе смотрит на него, потом поворачивается к комиссару:

— А тебе, комиссар, задача: пробиться к пулеметчикам в Рождествено. Собери охотников — фамилии их сейчас же мне пришли сюда — и с ними! Ползком ползите, но проскользните, поддержите! Там твое место, комиссар! Ясно?

— Ясно, товарищ генерал.

— Ну, что еще? Тут, товарищи, проверяется все. С нами шутить не будут. Это приказ Москвы.

Белобородов сказал это негромко, но с такой непреклонной силой, что у меня морозец пробежал по позвоночнику. И вероятно, не только у меня. Вероятно, многие, кто присутствовали в эту минуту здесь, в сырой, промозглой комнате, где обосновался штаб советских войск, начавших в шесть утра 8 декабря 1941 года атаку на волоколамском направлении,— многие остро ощутили критический час истории, когда Белобородов второй раз в этот день произнес слово «Москва».

После минутной паузы Белобородов спросил:

— Вопросов нет?

— Разрешите сказать, товарищ генерал,— произнес Засмолин.

Он уже изменился — проступила командирская подтянутость, командирская твердость.

— Комиссар ранен, товарищ генерал.

— Ранен? Куда?

— В левое плечо. Ему на поле боя санитар сделал перевязку.

— Я...— начал комиссар и смолк.

— Говорите,— сказал Белобородов.

— Завтра я приду к вам, товарищ генерал, с докладом, что задача выполнена, или...— Комиссар запнулся, но заставил себя договорить: — Или не приду совсем!

Белобородов пристально посмотрел на комиссара.

— Хорошо,— сказал он.— Больше вопросов нет? Нет? Все. Идите.

15.40. Белобородов возвращается к себе и молча шагает по комнате. Потом говорит:

— На войне жалость в сторону. Будешь жалеть — и людей погубишь, и задачу не выполнишь.

Он смотрит на часы:

— Ого, дело к вечеру. Скоро второй день начнем.

— Как второй? — спрашиваю я.

Генерал смеется:

— Это у меня собственная астрономия. Привык посвоему считать: до вечера один день, а потом — второй. В один день два боевых дня укладываем, а иначе теперь и воевать нельзя. Но война войной, а обедать надо. Власов! Опять голодом моришь? Как с обедом? Давай, давай — и чтобы щи были погорячей.

15.50. На стол, где стоит телефон, ставят тарелки, хлеб, стаканы.

Белобородов берет трубку и вызывает командира второго гвардейского полка:

— Алексей? Ну, как у тебя дела? Все еще возишься со школой? Почему севернее не идешь? Как некуда? Что за чепуха, какой-то заколдованный круг. А почему Николай прошел? Он уже кирпичный завод миновал! Что? Не миновал? Вот я вас соберу обоих и палками отдеру. Один на другого оглядываетесь. Вы думаете, нам простится это безобразие? Целоваться будут с нами? Давай обтекай! Никаких отсрочек! Какую помощь я тебе дам? Михаила? Нет, дорогой, Михаила я тебе в помощь не пошлю. Выполняй собственными силами. Пойми, Алексей, мне нужно, чтобы ты все держал там в напряжении, а то провороним всю операцию... Пускай народ пообедает, передохнет — и опять за дело! А ты сейчас же приезжай ко мне сюда! Я на новом месте. Знаешь? Найдешь? Приезжай, только быстро-быстро, чтобы через четверть часа был здесь!

15.55. Генерал звонит командиру первого гвардейского полка и, расспросив о положении, приказывает явиться через четверть часа.

16.00. Белобородов зовет Витевского, берет у него черную твердую папку, раскрывает и смотрит на карту. Там красными стрелами нанесено продвижение полков и батальонов. Некоторые линии пришлось стереть резин-

кой — от них на карте сохранился слегка вдавленный розоватый след,— здесь атакующие части отошли. Другие стрелки остались короткими — уже в течение часа или двух по проводам, идущим оттуда, сообщают: «На старом месте. Положение прежнее», и нет ни одного донесения, которое позволило бы удлинить хотя бы на миллиметр замершие красные линии.

— Эх,— произносит Белобородов,— все просят помощи. А мы с тобой, Витевский, ни разу не просили. И не будем!

Генерал поднимает голову. Лицо спокойно, глаза ясны, он улыбается. Ему — командиру 9-й гвардейской — есть чем гордиться, есть о чем вспомнить.

— Что же,— продолжает он,— сообщи штабу армии обстановку. И добавь...— Белобородов подмигивает: — И добавь: начинаем второй тур. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал...

— Иди обедай. Мы тут тоже перед новыми делами немного подзаправимся... И как только пообедаю, давай мне сюда подполковника Суханова и этого... лейтенанта-сорвиголова... Сидельникова! За Сухановым сейчас же пошли мою машину.

— Есть, товарищ генерал.

16.05. Белобородов идет вместе с Витевским к двери, отворяет ее и кричит:

— Власов!

Потом вдруг другим тоном спрашивает:

— А это кто? Откуда вы?

— От комиссара дивизии, полкового комиссара Бронникова, товарищ генерал.

— Что-нибудь сногсшибательное?

В голосе Белобородова звучит тревога.

— Нет, товарищ генерал, ничего такого...

— А почему не по телефону?

— Там телефона нет... Товарищ комиссар сейчас в лесу с разведчиками. Допрашивают там пленного унтерофицера.

— Раздобыли «языка»? Молодчина Родионыч.

— Товарищ комиссар приказал передать, что будет здесь к семнадцати часам вместе с капитаном Родионовым.

— Вот это кстати! Вот это вовремя!

— Разрешите идти, товарищ генерал?

Белобородов весело кричит:

— Накормите его! Двойную порцию ему! Власов, где ты пропал со щами?

16.20. Обедаем. Я говорю:

— Какое у вас странное отчество: Павлантьевич...

— Эх,— отвечает генерал.— Мой отец и сам толком не знал, как его зовут: Паладий, Евлампий, Аполантий... Рылся всю жизнь в земле, так и умер темным! Сейчас оглянешься — и страшно: как были задавлены люди, как были обделены всем, что достойно человека. О самом лучшем, о высшем счастье даже не подозревали...

Еще в первую встречу Белобородов рассказал мне, правда, очень кратко, историю своей жизни. Я уже знал, что он окончил четырехклассную сельскую школу, что в 1919 году, шестнадцатилетним подростком, пошел в партизанский отряд, в 1923-м добровольно вновь вступил в Красную Армию и, прослужив год красноармейцем, был послан в пехотную школу. «Недавно по дороге на фронт,— рассказывал он,— я вышел из поезда в Горьком. В тысяча девятьсот двадцать шестом году я уехал оттуда на Дальний Восток командиром взвода, а возвращался пятнадцать лет спустя командиром дивизии».

Я спрашиваю генерала:

— А что же, по-вашему, самое лучшее?

Он отвечает не задумываясь.

— Творчество.

— Творчество? На войне?

— Странно? Мне самому иногда странно. Задумаешься и содрогнешься: какой ужас — война. Никогда не забуду одной жуткой минуты. Это было в бою во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Лежал боец и мокрыми красными руками запихивал кишки в живот, разорванный осколком. Это видение преследовало меня целые годы! А сколько теперь этой жути! А это? (Белобородов обвел вокруг себя рукой, указывая на диван, на голые железные прутья кровати, на забытую сломанную куклу, на всю комнату, покинутую какой-то семьей.) Это разве не страшно? И все-таки я никогда не знал такого подъема, никогда не работал с таким увлечением, как теперь. На днях я получил телеграмму от жены. Она поздравляла меня сразу с тремя радостями: с тем, что дивизия стала гвардейской; с тем, что я получил звание

генерал-майора, и с тем, что на свет появился наш третий ребенок. Жена у меня чудесный человек, по образованию педагог. Я до сих пор влюблен в нее, но, когда прочел телеграмму, вспомнил, что последний раз послал ей открытку полтора месяца тому назад. Дело так увлекает, что забываешь обо всем... Думаешь, думаешь — и вдруг сверкнет идея. И примериваешь, сомневаешься...

— Сомневаешься? — переспросил я.

— Еще как! Поставить задачу, отдать приказ — это не просто. Иногда измучаешься, пока найдешь решение. А ведь бывает, что надо решать мгновенно. И за одну минуту столько переживешь, будто вихрь через тебя пронесся. Ошибешься — людей погубишь, соседей подведешь, весь фронт может колебнуться из-за твоей ошибки. А ведь какой фронт — Москва сзади! Возьми, например, сейчас. Что делать? Может быть, послать резерв к Засмолину, чтобы отбросить противника, который взял инициативу в Рождествено и прорывается сюда? Нет! Если пойти на это, значит, уже не я командир, а противник мною командует, навязывает мне свою волю. А сегодня мы должны переломить его! Сегодня мы должны погнать его назад, погнать по нашей воле! Ты знаешь обстановку, противник здесь крепко держится. И надо искать решение. Где оно?

— Но мне кажется, Афанасий Павлантьевич, что у вас как будто есть решение.

— Да, наклевывается. Но надо еще взвесить, потолковать с людьми, проверить и только потом сказать: «Да, так!» Но знаешь, что помогает?

— Что?

— Ненависть!

Он произнес это слово, и его лицо, которое я знал хмурым и веселым, добрым и разгневанным, на миг стало беспощадным.

Я смотрел на его широко раздавшееся лицо — лицо «иркутской породы», и мне стало радостно и жутко. Ведь сейчас, во время негромкой беседы за столом, в этом лице промелькнуло лишь слабое, отдаленное отражение беспощадности, что в нем живет.

— Не знаю,— продолжал Белобородов,— мог ли бы я яростнее ненавидеть, если бы физически боролся один на один с бандитом, который хочет ножом перерезать

мне горло! А поговорите с народом — о, как растет ненависть! Фашисты готовили нам все такое, что даже жизнь моего отца — серая, скудная жизнь придавленного человека — показалась бы невероятно радостной. Но не вышло, горло они нам не перережут! Они уже начинают уяснять и скоро завопят от ужаса, когда с нашей помощью окончательно поймут, какая сила Советская страна!

Генерал говорит, я слушаю с волнением.

Казалось бы, мысли, высказанные им, не новы и, быть может, на бумаге выглядят давно известными, много раз прочитанными, но у него они накалены страстью, окрашены чем-то глубоко личным, идущим от самого сердца.

Я слушаю, и мне вдруг становится яснее, почему ни одно государство не выдержало бы ударов, которые пришлись на нашу долю.

Я слушаю Белобородова и вспоминаю других выдающихся людей нашей страны, которых мне довелось близко знать, и не о всех, к сожалению, я успел написать. Я вспоминаю семью доменщиков Коробовых, строителя Кузнецкого завода Бардина, конструктора советских авиамоторов Швецова — они все различны и все похожи.

И Белобородов похож на них.

Это люди-созидатели, каждый в своей профессии, и вместе с тем созидатели нашего общества, государственные деятели Советской страны, подобных которым — по манере, повадке, характеру, духу — не знает история.

И пожалуй, первый признак, по которому их узнаешь, тот, что от них ощутимо исходит или даже брызжет радость напряженнейшего творчества. Они живут в полную силу, во весь размах большого дарования.

И вместе с этим — воля! Часто почти невероятная, часто совершающая невозможное!

Это люди страсти — творческой страсти, творческой одержимости, влюбленные и беспощадные.

После революции миллионы стали жить и живут творчески, миллионам доступно высшее счастье, о котором говорил Белобородов.

Вот о чем думалось мне, когда говорил генерал.

16.50. Стук в дверь. Входят подполковник Суханов и комиссар полка Кондратенко.

У Суханова по-прежнему флегматичный, немного сонный вид.

Кондратенко здоровается сиплым шепотом. У него, как и вчера, горло обмотано шарфом.

— Обедали? — спрашивает Белобородов.

— Да, мы теперь регулярно обедаем,— отвечает Суханов.

— Небось две порции трахнули? — подмигивая, говорит Белобородов.

— Нет, особого аппетита не было.

— Я не о тех порциях говорю.

— А... Нет, товарищ генерал, этим я не увлекаюсь.

— Садитесь. Скоро будем толковать.

— Полк готов, товарищ генерал.

— Садитесь. Я еще поджидаю кое-кого.

17.00. Белобородов выходит на крыльцо. Смеркается. Снег опять пошел гуще, и уже с ветром. Это еще не наша русская вьюга, но снег летит быстро и косо, а ветер нет-нет и сорвет с белого покрова легкий слой верхних снежинок, запылит и понесет.

Половина горизонта, та, что перед нами, озарена пламенем пожаров... Далеко и близко горят деревни.

В Снегирях пулеметная стрельба почти стихла (правда, ее, быть может, не слышно за ветром, который несется туда), но по-прежнему ведет частый огонь артиллерия.

Зато слева, совсем близко, почти на окраине нашего поселка, идет жаркая винтовочная и пулеметная пальба. Сквозь нее до уха доходит характерное трещание немецких автоматов.

Слышится неприятный вой приближающейся мины. Черт возьми, как быстро привыкаешь ко всему,— сидя с генералом в комнате, я перестал замечать близкие разрывы. Но здесь, на воле, мне кажется, что мина летит прямо на нас. Я невольно отклоняюсь в сторону. Но мина ложится где-то среди улицы, я жду разрыва, проходят секунды, его нет — мина не взорвалась.

Белобородов прислушивается к звукам боя.

— Держатся...— радостно говорит он.— Слышишь?

Я слышу, но мало понимаю. О ком он говорит, кто держится, где держится? Спрашиваю об этом.

— В Рождествено! Наши пулеметчики! Вслушайся-ка...

Я напрягаю слух и улавливаю где-то за линией боя стрекот пулеметов, заглушаемый близкой стрельбой.

— Он к ним прорвется,— говорит генерал.— Зря я его... Орел!

И хотя он не называет того, о ком речь, мы оба понимаем: комиссар.

— Да и тут неплохо,— продолжает, вслушиваясь, Белобородов,— наш огонь уже посильнее, чем у них. Ого, вот и наши минометы. Наконец-то Засмолин стал, кажется, по-настоящему засмаливать. Получил тут подкрепление.

И Белобородов хохочет, вспомнив недавнюю сцену. Часовой у двери смотрит улыбаясь. Он не удивлен, он привык к тому, что генерал любит посмеяться.

Но Белобородов резко, как всегда, обрывает смех.

— Хороша погодка... Морозцу еще бы! — произносит он и сквозь несущуюся косую пелену всматривается в даль.

— Эх, уйдут, уйдут...— вырывается у него.

— Уйдут?

— А почему они жгут деревни? Видишь, где горит? (Генерал показывает рукой.) Это Высоково, отсюда восемь километров... Почему зажгли? Плохо. Убегут.

— Убегут? Почему же это плохо?

— Потому что... Надо сделать аминь всей этой группировке!

17.10. Возвращаемся в комнату.

Белобородов спрашивает Витевского:

— Что сообщают от Засмолина?

— Там, товарищ генерал, никого в штабе не осталось. Командир, комиссар, начальник штаба, его помощники, начальники управлений и отделов — все ушли к войскам. Оставили для связи начальника трофейного отдела. А он ничего не знает, и к тому же глуховат...

— Глуховат? Ничего, лишь бы не был слеповат. Завтра ему дело будет.

17.15. Появляется лейтенант Сидельников.

— По вашему приказанию прибыл, товарищ генерал.

— Садись. Будет для тебя задача.

— Слушаю. Какая, товарищ генерал?

— Обеспечить на завтра работой начальника трофейного отдела.— И Белобородов опять хохочет.— Погоди, садись.

17.20. Входит подполковник Докучаев, командир первого гвардейского полка. У него удлиненное лицо, армия и война смахнули мягкость с этого лица, поставили свою печать — печать энергии и суровости.

Шея забинтована. Шинель кое-где запачкана землей. Это странные пятна — кажется, будто кто-то с силой бросал в Докучаева комьями сухой, рассыпающейся глины. Брызги земли, частью размазанные, заметны и на лице. Я догадываюсь: земля была взметена миной, разорвавшейся рядом.

Поздоровавшись, Докучаев говорит:

— Очень близко вы расположились. Это нашему брату полагается так, а не вам, товарищ генерал...

Но Белобородов будто не слышит:

— Ты обедал? Людей кормил?

— Кормил. В пульроту привезли четыре термоса, а люди из одного пообедали...

— Сам-то ты поешь, поешь сперва. Власов, подполковнику обед!

— Неужели такие потери? — спрашивает Суханов.

— Нет, в батальонах не так много... Но пулеметчикам досталось... Все время на них немцы минометный огонь сосредоточивали. Черт их знает, эти мины... Скручивают пулеметный ствол в бараний рог!

Докучаеву приносят щи и полстакана водки.

— Ты поешь сначала,— повторяет Белобородов,— выпей!

Докучаев пьет. Глаза, увлажнившись, заблестели.

Он быстро проглатывает несколько ложек и произносит:

— Как меня не укокошило, черт его знает.

Никто не расспрашивает, но все ждут рассказа. Только Белобородов еще раз повторяет:

— Поешь сперва, Николай Гаврилович!

Докучаев и ест и повествует:

— Напоролись мы на эту школу. Бьет оттуда во все стороны, нет прохода... Артиллерия долбит, а огонь оттуда то ослабнет, то опять как был... Решили пустить танки. Надо идти разглядеть, что и как, чтобы танкистам

задачу ставить... А он кладет, кладет по улице — разрыв на разрыве, сыплет как горохом. Пополз. Рядом сарай, ворота настежь, стоит внутри чья-то лошадь, я туда, нашел щель, присел, гляжу — оттуда школа хорошо просматривается.

Докучаев хлебнул щей. Никто не промолвил ни слова. Здесь собрались люди, сами не один раз побывавшие в огне, встречавшиеся лицом к лицу со смертью; притихнув, они слушали рассказ товарища.

Докучаев продолжал:

— И вдруг черт его знает что произошло... Так рвануло, что... В общем, я как сидел на корточках, так и остался. Но сарая не было. Сидел в сарае, а оказался на открытом месте. Мина разорвалась в нескольких метрах от меня. Лошадь, которая тут стояла, разнесло в куски. У меня портупею оторвало, сумку оторвало, шинель в трех местах прорезало и вот тут (Докучаев показывает на горло) чуть-чуть царапнуло... Бывает же...

Он пожимает плечами.

— Ну, а вы там одного-двух убили? — спрашивает Белобородов.

— У шоссе наложили много. А возьмем школу, тогда там посчитаем.

— Книжки у убитых собрали? Какая перед вами часть?

— Все СС «Империя». И один полк финнов.

— Какого же черта вы уперлись в эту школу? — с досадой говорит Белобородов.

— Не знали, что у него там столько сил. Мы с Алексеем порешили так: прорвемся здесь и скорее дальше. Завтракать в Высоково, а потом гнать до Истры. На карте все циркулем разметили — он справа, я слева. Но...

— Почему вы не исполняете приказа? — перебивает генерал.— Ведь я вам приказал: не лезьте туда, обходите, глубже обходите!

17.30. Входит подполковник Коновалов, командир второго гвардейского полка.

— Тоже хорош! — встречает его Белобородов.— Два сапога пара! Палками вас надо отодрать! Почему полезли на рожон? Почему не обходили?

— Виноват, товарищ генерал. Ошибку исправляю. Сейчас оттуда вытягиваю людей и в темноте буду обходить.

— Нет, теперь ты обходить не будешь! — властно произносит генерал.— Звони в полк: остаться на прежнем месте, усилить огонь, бить по школе и по кирпичному заводу всеми огневыми средствами. И тебе, Докучаев, этот же приказ!

Докучаев встает:

— Есть, товарищ генерал. Но разрешите спросить. Мне не ясно, как понимать это изменение? Что оно значит?

— Что оно значит? — Белобородов находит взглядом меня, улыбается и весело подмигивает: — Оно значит, что главный удар по ходу дела стал вспомогательным.

— А главный? — спрашивает Докучаев.

— О главном сейчас будем толковать.

17.40. Кто-то отворяет дверь. Генерал стремительно оборачивается.

Входит начарт майор Погорелов.

— Садись,— говорит Белобородов.

Но по лицу видно: это не тот, кого он ждет.

17.45. Белобородов опять выходит на крыльцо. Стало темнее. Это последние минуты сгущающихся сумерек. Еще четверть часа —и начнется долгая декабрьская ночь. Белобородов всматривается в пустынную улицу, бормочет:

— Скоро ли они?

— Кого вы так ждете? — спрашиваю я.

— Известно кого...— сердито отвечает он.

17.50. Возвращаемся.

Собравшиеся командиры ведут негромкий разговор. О чем говорят? О войне.

— Его контузило,— неторопливо рассказывает Суханов.— Оглох, а уходить из полка не хочет. Телефоны ремонтирует, по ночам линии проверяет. Ходит, как лунатик...

Минута молчания.

— Упорно держит населенные пункты,— говорит Коновалов.— Роет норы из-под домов, и достать его там трудно. Этому искусству надо у него учиться.

Белобородов поддразнивает:

— Если бы вас туда посадить, ох и заорали бы... Справа окружают, слева окружают... Давно бы оставили Снегири...

— Мы с Кондратенко не заорали бы,— говорит Суханов.

— А сколько деревень сдали?

— Не мы одни сдавали, вся армия сдавала,— с достоинством произносит Коновалов.

— Чепуху городишь! — резко отвечает Белобородов.— Пускай армия говорит: Девятая гвардейская не сдала, зачем же нам сдавать?

— А мы с Кондратенко...— говорит Суханов.

Но Белобородов не слушает.

— Наша артиллерия сегодня как работала? — обращается он к Докучаеву.

— Хорошо,— отвечает Докучаев.— Вся школа в дырках... А все-таки в каких-то щелях сидят...

— Значит, плохо! Что же это ты, Погорелов?

Начарт встает:

— Дожимаю, товарищ генерал! Еще часа два-три — и ни одной щели там не будет! Убегут из Снегирей, кто жив останется. Ручаюсь — ночью убегут, товарищ генерал!

— А мне надо, чтобы они не убежали! — говорит Белобородов.

Опять отворяется дверь, опять генерал вскакивает.

— Наконец-то! — вырывается у него.

13

18.10. Входят комиссар дивизии Бронников и командир разведывательного батальона Родионов, на ходу протирающий очки, запотевшие с мороза.

— Скорей ты со своими окулярами,— говорит Белобородов.— Почему задержался? Из-за тебя чуть всю операцию не проворонили...— И, обращаясь к комиссару, продолжает: — А тебя куда понесло? Твое ли дело ходить с разведчиками? Узнает Военный совет про такие штуки — не помилуют...

Белобородов как будто ворчит, но наружу рвется радость. Оживившиеся глаза, вспыхнувшие легким румянцем щеки, руки, что тянутся к прибывшим, усаживают, отряхивают снег,— все в нем радуется. Он рад, что прибыла наконец разведка, которую он так нетерпеливо ждал; рад, должно быть, и тому, что с разведкой ходил Бронников, ходил туда, где — я уже предугадываю — по замыслу Белобородова разыграется заключительный и решающий акт операции.

— Я вовсе с ними не ходил,— говорит Бронников,— так, случайно встретились... Добыли пленного, допросил его...

— Ну как — «язык» до голенища?

— Унтер-офицер. Две серебряные нашивки и Железный крест. Много знает, много рассказал... И как будто бы не врет...

— Это мы еще подвергнем спектральному анализу. Ну, что он разболтал? Какие силы против нас? Какие идут передвижения? — Но, не ожидая ответа, он поворачивается к Родионову: — А почему вы так задержались? — И тотчас, не дав и Родионову ответить, кричит: — Власов! Три обеда! Быстро!

Отчетливо видно, как стремительно живет Белобородов в эти минуты. Мыслям тесно, они вырываются наперегонки.

— Почему три? — спрашивает Бронников.

— Два для Родионыча. Он любитель.

На крупных губах и круглых щеках Родионова появляется довольная улыбка, он неторопливо снимает теплую шапку и подшлемник, лезет в карман за платком, чтобы обтереть лысину.

— Почему опоздал, Родионыч? — третий раз спрашивает Белобородов.

— Минные поля, товарищ генерал, ставит вдоль дорог и по лесу. Хотелось высмотреть, пока светло... А как стало не видать — ушли...

— Минные поля? Значит, уходят, уходят, подлецы!..

— А пленный,— произносит Бронников,— дал другие показания. Говорит, приказано в Рождествено и в Снегирях держаться. И подкрепления туда недавно дали.

— Врет! Не верю! По всему вижу — сматываются!

— Это точно, товарищ генерал, сматываются! — подтверждает Родионов.

Перед ним тарелка щей, он пробует и негромко бурчит:

— Холодноваты...

— Подогреть! — командует Белобородов.— Какие у тебя данные, что они уходят?

— Вывозят на машинах грузы... Вывозят связь, саперное имущество, боеприпасы, продовольствие... Две машины были с барахлом, должно быть, офицерским... Чемоданы,

саквояжи, сундуки нашинские — грабленые... Мины ставит, деревни жжет — все тут одно к одному!

— А может, и не врет...— задумчиво говорит Белобородов.— Может быть, вторые эшелоны он оттягивает, а первому приказано держаться.

— Да, скорее всего, так,— соглашается Бронников.

— Расскажи-ка подробнее про этого прохвоста, который вам попался.

— Тип действительно прожженный...— говорит Бронников.

Вот что рассказал комиссар о пленном.

Его встретили в лесу. Он шел меж деревьев по опушке, неподалеку от шоссе. «Стой!» Сразу поднял руки. Он оказался мотоциклистом батальона связи, унтер-офицером, крестоносцем. На нем было три шинели (как выяснилось, добавочные шинели он снял с убитых) и сверху прорезиненный плащ. На голове — пилотка. Вооружение — наш советский пулемет-пистолет Дегтярева. («Они это хватают,— с довольной улыбкой сказал Белобородов.— Штучка получше, чем их автоматы».) Через плечо — полевая сумка с документами. Здоровый, гладкий, из отборной части. И, конечно, вшивый.

На допросе показал: служит в армии пять лет, нацист, член партии, участник походов в Польшу, Норвегию, Голландию, Бельгию. Перед вторжением в Россию находился в частях морского десанта, предназначенного для высадки в Англии. Побывал в Минске, в Витебске, в Смоленске, под Ленинградом, был переброшен на Московский фронт, провел здесь полтора месяца и решил, что пора спасать шкуру. Заявил, что его послали на мотоциклете в Снегири для связи, он бросил машину на шоссе и пошел к русским — сдаваться. Под Москвой ему стало ясно, что дело Гитлера проиграно, а он не желает погибать под развалинами гитлеровского государства. Пленный, однако, прибавил, что, по его мнению, силой оружия разбить гитлеровскую армию нельзя, но ее можно разложить пропагандой. Предложил свои услуги...

Белобородов брезгливо поморщился.

— Успел переметнуться,— сказал он,— а то показали бы ему — можно или нельзя разбить эту шпану силой оружия? Покажем, друзья, а? — И он громко говорит, давая выход клокочущему темпераменту: — Сегодня же!

Потом быстро спрашивает Бронникова:

— А самое главное выяснил? Какие перед нами силы? Какие замыслы противника?

— Да. Все та же дивизия СС «Империя», двести пятьдесят вторая пехотная дивизия и танковая бригада численностью в тридцать — сорок машин. Передвижения таковы — грузы и тяжелое вооружение оттягивает за реку Истра, а пехоте приказано удерживать линию Снегири — Рождествено.

— Сколько у них сил в Трухаловке?

— Говорит, что там стоял полк «Фюрер», но среди дня был брошен в Рождествено и в Снегири. Сейчас там вряд ли есть что-нибудь солидное.

— Точно, товарищ комиссар,— подтверждает Родионов,— из Трухаловки они подбросили сорок шесть машин с пехотой... Мои люди подсчитали.

— А кто мне поручится,— спрашивает Белобородов, потрясая обоими стиснутыми кулаками,— кто мне поручится, что они не получили приказ отойти с наступлением темноты? Эх, упустим, Бронников, упустим! Бегом надо действовать — минута дорога! — И, обращаясь к командирам, он резко говорит: — Слушать, товарищи, задачу!

Он подходит к столу, на котором лежит оперативная карта, заранее развернутая Витевским, и склоняется над ней, опершись сильными руками на край стола. Его сосредоточенное лицо хорошо освещено. Неожиданно он усмехается и произносит:

— Любопытнейшее положение! Никакой формулы не подгонишь!

Он оглядывается, командиры встали и придвинулись к столу, только Родионов спокойно попивает чай.

— Родионыч, ближе! — командует Белобородов.— Твой бенефис сегодня. Так вот, товарищи...

И он излагает обстановку.

Командиры первого и второго полков «проворонили», как он выражается, операцию. Вместо того чтобы совершить обходное движение, как было им приказано, они полезли в лоб, нарвались на сильное сопротивление, ввязались в драку и были на весь день задержаны. На левом крыле, где действует бригада полковника Засмолина, тоже не удалось продвинуться. Противник, сосредоточенный в Рождествено, сумел обмануть разведку, скрыв свои довольно значительные силы и основательно подго-

товленную оборону. Подпустив на близкое расстояние наступающий полк, отдельные подразделения которого сумели ворваться на окраины села, противник открыл неожиданный и сильный огонь, ввел в дело танки и термитные снаряды. Батальоны, еще не обстрелянные, первый раз пошедшие сегодня в бой, не выдержали и покатились из Рождествено на исходные позиции, причем часть рассеялась в лесу. Затем противнику удалось создать угрозу обхода и оттеснить этот полк еще дальше, прижав его к поселку Дедовский. Однако в Рождествено закрепились и держатся отважные люди — небольшая группа пулеметчиков. К ним пробирается подмога. Другой полк бригады начал удачно, заняв высоту 216, совхоз, пересек дорогу и приблизился к деревне Жевнево, разрезав таким образом линию Снегири — Рождествено и выйдя во фланг и в тыл обороны противника. Однако после неудачи в Рождествено, после того как началась близкая и сильная стрельба в тылу, нервы командира сдали и он, даже не испытав серьезного давления, отвел полк назад. Теперь он вновь несколько продвинулся и держит под огнем дорогу Снегири — Рождествено. Однако другая дорога, ведущая из Рождествено к Волоколамскому шоссе, дорога и на Трухаловку, остается свободной для отхода немцев. Таковы итоги дня.

«Небогато!» — определяет Белобородов.

Еще минуту он молча смотрит на карту, потом круто поворачивается к обступившим его командирам.

— Что все это значит?! — восклицает он.— Какой вывод из этого извлечь? Где искать решения?

Он обводит взглядом присутствующих, но все молчат.

— Замысел был плох? — громко вопрошает он и опять оглядывает всех. И опять все ждут, что скажет генерал.— Нет, друзья, замысел был не плох — окружить и уничтожить всю эту группировку! (Белобородов сопровождает эти слова энергичным жестом.) Но исполнение подгуляло... Да и противник не из слабеньких... Однако есть ли у нас основания отказываться от этого замысла, скомандовать «Стоп!»? Таких оснований я не вижу. Силы есть, погода подходящая, голова на плечах есть. Но надо объегорить врага: надо создать у него впечатление, что у нас голова не для того, чтобы думать, а для того, чтобы стену прошибать. Два приятеля, которые тут стоят, приложили к этому достаточно стараний. Надо создать впечатление,

что мы по-прежнему лезем на рожон. Докучаеву и Коновалову приказ: возобновить огонь по школе и кирпичному заводу, пустить на полный ход все винтовки, пулеметы, минометы, демонстрировать продвижение. Чтобы у вас там все трещало! И посильней, чем утром. Погорелову бить туда же артиллерией! Долбить и долбить по Снегирям! Понятно?

— Понятно, товарищ генерал,— один за другим отвечают командиры.

— Теперь самое главное! Суханов, тебе задача! И тебе, Сидельников! Произвести глубокий обход лесом и выйти на шоссе у Трухаловки! Суханову — справа, Сидельникову — слева! Давайте сюда ближе к карте! И Родионыч, двигайся сюда!

Повернувшись, Белобородов опять склоняется над картой.

— Витевский, карандаш! — лаконично требует он.

Витевский быстро подает красный карандаш, Белобородов берет не глядя; его глаза устремлены на карту. Он примеривает последний раз, чтобы отрезать. Наконец двумя взмахами руки он прорезает карту двумя красными кривыми линиями, круто огибающими Рождествено и Снегири и смыкающимися на шоссе близ Трухаловки.

— Ты, Родионыч, через лес поведешь Суханова, Сидельникову тоже дашь проводников. Сумеешь проскользнуть, чтобы ни одна душа вас не заметила?

— Это нам как щенка подковать,— отвечает Родионов.

— И помнить,— голос Белобородова гремит,— помнить, что сказал Суворов: где олень пройдет, там солдат пройдет; где солдат пройдет, там армия пройдет. Выступать через полчаса!

— Через полчаса не успеть, товарищ генерал! — говорит Суханов.

— Надо успеть! — властно отвечает Белобородов.— Звони к себе, пусть через десять минут собираются командиры батальонов, а отсюда я тебя доброшу на машине.

— Верхом вернее по такому снегу!

— Там как хочешь — хоть верхом, хоть ползком, хоть семимильные сапоги достань, но (Белобородов смотрит на часы) к двадцати двум часам умри, а будь на месте и начинай работу. Пойми, Суханыч, упустить можем эту шпану!

— Будем, товарищ генерал,— сиплым шепотом произносит Кондратенко.

— А ты, Сидельников, успеешь?

— Если понадобится, бегом поведу, товарищ генерал.

— Вот это по мне! Встретите дозор, уничтожать по возможности без выстрела. Наткнетесь на сопротивление — не ввязывайтесь, оставить заслон и обходить! Но к двадцати двум ноль-ноль обоим быть вот здесь! — Генерал стучит пальцем по скрещению красных линий.— Задача — не дать уйти ни одному мерзавцу из Рождествено и из Снегирей. Окружить и уничтожить.

И он еще более энергично, еще более страстно показывает руками, как это сделать: окружить и уничтожить! Затем он разъясняет некоторые подробности задачи: по прибытии на место установить меж собой связь и по сигналу начать бешеную пальбу, особенно из минометов, по Снегирям, Рождествено и Трухаловке. Трухаловку пощупать; если сопротивление незначительное — овладеть! Но не в этом суть, главное — отрезать немцам пути отхода, не дать прорваться по шоссе ни одной машине, ни одному фашисту. А потом истреблять их по лесу.

— А какой будет сигнал? — спрашивает Суханов.

Белобородов на мгновение задумывается.

— Залп «раисы»! — решает он.— Погорелов, придется еще раз угостить Трухаловку. Сумеешь?

— Сделаю, товарищ генерал...

— Останься, мы с тобой это обмозгуем. Ну, товарищи, все ясно? Вопросов нет? Нет. Идите выполнять задачу! — И он повторяет фразу, которую сказал мне на крыльце: — Сделать аминь всей этой группировке!

Командиры уходят. Белобородов потягивается и говорит:

— Теперь до двадцати двух больше новостей не будет! Вздремнуть бы, да не заснешь...

Прежде чем прилечь, он берет телефонную трубку:

— Кто у телефона? Передайте командиру, чтобы утром наградные листы на пулеметчиков были у меня.

Наскоро попрощавшись с генералом, я спешу догнать Суханова и Кондратенко. Знаю: туда, к ним, перемещается сейчас самое интересное, самое важное в этом необыкновенном дне.

У Белобородова, после того как прибыли Бронников и Родионов, все неслось так стремительно, что я забыл посматривать на часы и снова вынул их, лишь войдя в штаб полка.

Часы показывали восемнадцать сорок.

Штаб полка был расположен в деревушке Талица, меж станциями Гучково и Снегири, в здании кирпичного завода, в большой сводчатой печи для выжигания кирпичей. Несколько ламп, в которых горел бензин, смешанный с солью (его пламя белее и ярче керосинового), освещали эту странную резиденцию штаба.

В печи было жарко. Ее обогревала накаленная железная бочка из-под горючего с вырезанным в днище отверстием — походная «буржуйка» штаба.

Сюда уже собрались командиры батальонов, извещенные по телефону.

Я сразу узнал капитана Романова, комбата один, героя дивизии, неизменного участника самых опасных и самых славных ее дел. Среди всех одетых в шинели он один был в ватной телогрейке, туго стянутой ремнем.

И почти все другие были мне знакомы: старший лейтенант Копцов, две недели назад командир роты, заменявший теперь выбывшего комбата два; начальник штаба старший лейтенант Беличков; капитан Тураков, начальник оперативной части, не умеющий прикрикнуть, грозно приказать, но преданный полку, старательный, мягкий, милый человек. Здесь же начальник связи, командиры пешей и конной разведки, командир саперной роты.

Войдя, Суханов молча достал из полевой сумки карту, расстелил ее около лампы, почесал шею.

Кондратенко уселся на кровать, сбитую из нестроганых досок.

Собравшиеся продолжали негромко разговаривать, шутить, посмеиваться, никто ни о чем не спросил командира полка, некоторые даже не посмотрели туда, где он сидел, но во всем — даже, казалось, в самом воздухе этого низкого сводчатого помещения — чувствовалось возбуждение, напряжение, нервное ожидание.

— Вот, товарищи, задача,— негромко и неторопливо произнес Суханов.

Разговоры мгновенно оборвались. Все подошли к командиру полка.

И по-прежнему неторопливо, порой сам прерывая себя размышлениями вслух, Суханов изложил задачу.

— Пути, пути надо искать,— сказал Романов.

— Путь знакомый,— улыбаясь, ответил Тураков.— По этому лесу отходили. Теперь вперед пойдем.

— Нас Родионов поведет,— сообщил Суханов.

— С Родионовым пройдем,— уверенно сказал Романов.— Но протащим ли обозы?

— Когда пойдем тропками, придется оставить под охраной. Минометы, боеприпасы — все возьмем на спины.

— А пушки?

— Пока здесь оставим.

— Нет,— говорит Родионов,— я свою возьму. Хоть на плечах, а потащу.

Суханов обращается к начальнику связи:

— Радио тоже придется нести на себе.

— Нельзя, товарищ подполковник. Оно смонтировано с машиной... Принимать без мотора будет, а передавать не будет.

— А сколько у нас провода?

— Восемь километров...

— Тогда радио подвезти как можно ближе, потом провод будем за собой тащить.

Следующий вопрос Суханова к командиру саперной роты:

— Миноискатели исправны?

— Так точно.

— Тогда так... Два миноискателя дайте капитану Романову — он впереди пойдет, а третий пришлите с сапером ко мне, чтобы был под рукой при штабе.

— Есть, товарищ подполковник...

— Ну-с, товарищи, приказ будет таков. Пишите, Беличков. Первый батальон подходит к северной окраине Трухаловки и по сигналу врывается в село. Только гляди, Романов, генерал приказал так: не выйдет с Трухаловкой — не очень надо, на рожон не лезь. Если не займешь, наделай побольше шуму, оттяни на себя все, что там у них имеется, и прикрывай Копцова. Копцову... Беличков, пишите...

— Пишу: второй батальон...

— Так. Второй батальон выходит лесом на Волоко-

ламское шоссе и седлает его, не допуская отхода противника. Пункт выхода — восемьсот метров восточнее Труxаловки. И, как выйдешь, Копцов, сразу связывайся с мотобатальоном, а то, сохрани бог, перестреляете друг друга. Третий батальон — резерв. На марше следовать таким порядком: разведвзвод, первый батальон, штаб полка, второй батальон, третий батальон. Все. Выступать через десять минут. Управитесь?

Не отвечая на вопрос, Романов спрашивает:

— Разрешите идти?

— Идите. Только смотри, Романов, осторожнее с минными полями...

Романов выходит первый, за ним другие.

В обжигательной печи, откуда уходит штаб, идут быстрые сборы. Тушат огонь в железной бочке и выкатывают ее наружу, завязывают вещевые мешки, открепляют провода от полевого телефона. Беличков дописывает приказ и подает на подпись Суханову и Кондратенко, Суханов складывает и прячет карту; все выходят: гасится одна лампа, другая, наконец погашена последняя — в печи темно; штаба здесь уже нет.

По заметенной дороге, увязая в снегу, отворачивая лица от ветра, идем вдоль длинного заводского здания к шоссе.

Батальон Романова уже на месте; бойцы стоят «вольно», некоторые присели на корточки; разговоров не слышно. Из поселка, чернеющего невдалеке, появляется темная колонна и направляется сюда — это подтягиваются другие батальоны.

На правом фланге стоят разведчики. Их белые капюшоны, белые рубахи и штаны кажутся чуть синеватыми в призрачном свете снежной ночи; безмолвные, едва различимые, они похожи на взвод привидений. Здесь их осталось немного. Часть — те, что днем ходили с Родионовым,— уже отправилась вперед; всю дорогу они в качестве головного дозора и разведки будут идти на два-три километра впереди полка. Другие пойдут на некотором расстоянии по обеим сторонам и сзади, охраняя полк в походе. Эти группы уже где-то стоят по местам, невидимые среди снежной ночи.

Суханов и Кондратенко идут в голову колонны.

Здесь Родионов и его помощник, молодой, легкий на ногу нанаец Бялды.

— Ну как, Родионыч? — неопределенно спрашивает Суханов.

— Все в порядке...

Вздохнув, Суханов произносит как-то по-домашнему, совсем не начальническим тоном:

— Ну, пошли...

Тотчас раздается тихая команда:

— Смирно! За направляющим шагом марш!

И полк двинулся.

15

Кондратенко и Суханов пропускают мимо себя батальоны.

Проходят разведчики, потом темные ряды бойцов в шинелях, над ними колышутся штыки; проезжает пушка, выкрашенная в белое; невдалеке промелькнула быстрая фигура в телогрейке, туго подпоясанной ремнем,— это Романов, он и в поход не надел шинели. За батальоном следует обоз: десять — двенадцать груженых подвод, видны ящики с патронами и минами, угадываются вьюки с минометами; все это скоро будет взято на плечи; рядом с какой-то подводой идет санитарка-дружинница; на двуколке двигается кухня.

В колонне заметен просвет, затем, держа интервал, идет штаб. Впереди ряды всадников — это конная разведка. За ними с портфелем идет Беличков, дальше работники штаба, выстроенные, как и все, по четыре.

Потом опять батальоны, колонну замыкает машина, на которой смонтировано радио.

Пропустив полк, Суханов и Кондратенко нагоняют штаб, занимают места во главе и идут со всеми, почти не разговаривая.

Через четверть часа сворачиваем с шоссе на проселок.

По-прежнему несется снег, подхлестываемый ветром, заметающий тропки и дороги, но шагать нетрудно: идущий впереди батальон плотно примял снеговой покров.

Достаю компас; сейчас мы идем почти точно на север, удаляясь в сторону от немецкого узла сопротивления в Снегирях. Там продолжается бой: грохочет артиллерия, мелькают слабые вспышки орудийного огня, замутненные

снеговой завесой; глухо и часто ударяют минометы; но пулеметная и ружейная стрельба не интенсивна.

Шагаем и шагаем. Когда идешь в рядах, кажется, что поток поддерживает и несет тебя. На марше каждый о чем-то думает, но мысли словно текут сами, и потом трудно вспомнить, о чем думалось.

И лишь время от времени, разглядывая на циферблате расстояние, пройденное минутной стрелкой, отмечаешь: позади километр, позади два, три с половиной... Вот и стрельба доносится глуше, вот и не видно белых зарниц, лишь самые резкие смутно доходят до нас.

Входим в деревню. Это Селиваниха, которая в один день — в последний день немецкого наступления на Москву — несколько раз переходила из рук в руки и осталась за нами. Остановка.

Деревня мертва. Меж пожарищ, занесенных снегом, но угадываемых по одиноким торчащим в небо печным трубам, стоят несгоревшие дома. Их немало, но нигде нет жилья. На месте окон везде чернеет пустота, в каждом доме на крышах и в стенах проломы с неровными, рваными краями — это прямые попадания артиллерии.

И деревья около домов убиты. Некоторые надломлены, свалены, расщеплены, иные стоят, но и у тех и у других отсечены ветки, словно содранные и унесенные бешеным вихрем.

Но вот как будто единственный целый дом. Может быть, там даже кто-нибудь живет? Иду к крыльцу, прокладывая тропку в глубоком снегу, открываю неповрежденную дверь, вхожу и вдруг вижу снежную даль, деревню, нашу колонну на дороге. Это так странно — видеть, словно в раме, зиму сквозь избу. Секунду спустя понимаю: противоположная стена снесена, другие уцелели.

Колонна двинулась. Догоняю, занимаю свое место. Рядом с Сухановым и Кондратенко идет кто-то в белой одежде разведчика. Узнаю его — это помощник Родионова, нанаец Бялды. Здороваюсь, спрашиваю:

— Много ли за войну убили немцев?

— Мало,— отвечает он.

— Сколько?

— Восемьдесят шесть.

— Не может быть? Вот так мало!

Бялды поведет второй батальон, когда колонна разделится побатальонно.

Вошли в лес. Идем узкой просекой. Сосны, словно наклоняясь над нами, смыкаются вверху. Кондратенко сверяется с компасом, я опять достаю свой — мы повернули на запад и пересекаем, а может быть, уже пересекли линию фронта, не отмеченную здесь ничем, даже и не существующую в виде какой-либо материальной линии — окопов или проволочных заграждений.

Полк идет и идет, описывая дугу, начерченную Белобородовым на карте. Обозы двигаются с нами. В лесу незаметен ветер, выступы снега по краям дороги, которую прокладывает колонна, не так высоки, как в поле. Главный очаг боя, где сосредоточиваются звуки частых и сильных разрывов, остался сбоку и даже как будто немного позади.

Полк двигается длинной цепочкой, растянувшейся, вероятно, на километр.

Ко мне подходит Тураков:

— Хотите сесть верхом? Есть свободный конь.

Я отказываюсь.

Тураков идет вперед, и через минуту мне видно, как он не совсем ловко взбирается на большого белого коня, смутно вырисовывающегося на темном фоне неба.

Мы шагаем, я ни о чем не думаю, впереди двигаются конники, и вдруг...

Бах! Сильный близкий удар, белый взблеск огня. Все остановились, инстинктивно пригнувшись и присев. Метнулась какая-то лошадь. И снова — бах! — удар и огонь! Слышится стон, затем негромкие крики: «Санитара!»

Что такое? Неужели нас заметили и начали бить из миномета. Неужели просека пристреляна?

Но сразу выясняется иное. Какая-то повозка, уклонившись в сторону от проложенной узкой колеи, попала на мину, скрытую под снегом. На другую наступила метнувшаяся в испуге лошадь.

Суханов и Кондратенко идут к месту взрыва. Это в двух десятках шагов от нас.

Я вижу раненого. Он сидит на снегу, уже сняв шинель, гимнастерку и быстро стягивая через голову нижнюю рубаху, на которой проступило большое темное пятно. Около него санитар. Я слышу голос раненого:

— Спокойно! Не волнуйся! Быстрее, быстрее действуй...

Как странно, раненый говорит санитару: «Не волнуйся!»

От взрыва на снег легла черная, словно угольная, пыль. В кустах, в стороне от протоптанной нами дороги, неподвижно лежат две лошади с задранными прямыми ногами. Ни один след не ведет туда — лошадей не протащило, а забросило в кусты.

Неподалеку кто-то стонет. Подходжу. На снегу навзничь лежит человек. Капитан Тураков!

— Ноги, ноги,— выговаривает он.

Санитар ощупывает бедро, колени, икры.

— Капитан Тураков, вы не ранены. Вас только оглушило.

Но Тураков повторяет:

— Ноги...

Санитар стягивает с него валенок. Нога обвернута черной суконной портянкой.

— Посмотри, пробито? — тихо говорит он, протягивая мне валенок.

Я провожу пальцами по заснеженной подошве, сразу нащупываю дырку, потом другую, побольше.

На дороге, среди остановившихся рядов, совещаются Суханов, Кондратенко, Романов, Родионов.

Почему взорвалась мина там, где прошел целый батальон? По всей вероятности, здесь поставлены не противопехотные, а противотанковые мины. Они выдерживают тяжесть человека, но рвутся под лошадью или повозкой. Так или иначе, обоз нельзя тащить дальше. Надо здесь же все брать на плечи.

— Разрешите действовать? — спрашивает Романов.

— Можно,— отвечает Суханов.

Первый батальон удивительно быстро разгружает свой обоз. Вьюки и ящики передаются из рук в руки, бойцы прилаживают их на плечи и отходят, становясь в ряды; все это делается почти бесшумно, лишь изредка раздается незлая ругань, но и та вполголоса.

Проходит всего восемь — десять минут, и батальон двинулся, оставив пустые повозки с ездовыми.

Но другие батальоны задерживаются. Проходит еще четверть часа — первый батальон уже скрылся в лесу,— пока не раздается команда: «Марш!»

Мы обтекаем повозки, которые все еще стоят среди просеки, невольно прижимаясь поближе к колесам и к

лошадям, туда, где уже хожено, чтобы вдруг не наступить на мину.

Миновав обоз, полк двигается дальше.

Впереди идет сапер в наушниках, держа в руках миноискатель — длинную металлическую трубку с проволочной дугой на конце. Этой дугой он водит перед собой по снегу. Следом шагает Бялды.

С миноискателем нельзя идти быстро, мы двигаемся неполным шагом. А время истекает.

Кондратенко смотрит на часы — уже двадцать один десять. А срок прибытия — двадцать два.

Он нагоняет Бялды и шепчет:

— Далеко еще?

— Нет, полтора километра,— отвечает Бялды.

Ему тоже хочется скорее, он протягивает руку к миноискателю:

— Дай мне.

Но сапер отстраняет его.

Через несколько минут Бялды тихо командует:

— Стой!

Останавливаемся. Здесь надо свернуть в гущу леса, где не заметно никакого просвета, никакой тропы, чтобы выйти к шоссе левее ушедшего вперед батальона.

Бялды и сапер первые ступают в нетронутый снег, ведя за собой колонну.

Сосны и ели растут здесь не густо, кое-где попадаются небольшие полянки. Мы теперь двигаемся почти прямо на юг, заканчивая полуокружность, вычерченную на снегу нашими ногами в трехчасовом походе.

Чувствуется, что уже близка опушка. Звуки боя опять стали явственнее; они доносятся со стороны, откуда мы пришли; мы обогнули их.

Кондратенко подходит к Бялды:

— Сколько еще?

— Полкилометра. Теперь больше не сворачивать — прямо.

Кондратенко смотрит на часы. Осталось тридцать пять минут — успеем! Но ему не верится. Для проверки он смотрит на часы Бялды. Правильно, успеем!

Бялды бегом нагоняет сапера. Как легко он бежит по снегу!

И вдруг снова сверкнувшее белое пламя и близкий страшный удар, от которого отшатываешься. Рассеива-

ются дым и взметнувшаяся пыль. Но где же Бялды? Стоим мы; в пятнадцати — двадцати шагах застыл, обернувшись, сапер с миноискателем; на снег оседает черная копоть, а Бялды нет.

В стороне от нашего пути лежит недвижное темное тело, заброшенное туда взрывом. Что-то, кажется, валенок, закинуто еще дальше. К телу, осторожно ступая по снегу, идет санитар.

— Куда? Назад! — кричит Суханов.

Но поздно. Опять белый сверк, опять взрыв. Кого-то рядом ударяет комок земли, опять рассеиваются дым и пыль, но уже нет и санитара. Сапер, водя миноискателем по снегу, шагает к Бялды. По следам идут санитары.

Колонна стоит. Сапер, возвращаясь, подходит к Суханову и Кондратенко.

— Как ты проморгал? — спрашивает Суханов.

— Не знаю... Наверное, было глубоко под снегом. Через снег этот миноискатель плохо берет...

— А он у тебя действует? Дай-ка...— требовательно шепчет Кондратенко.

Он надевает наушники, берет металлическую трубку с диском на конце и приказывает саперу:

— Подставь штык!

Сняв винтовку с плеча, сапер опускает ее штыком вниз. Кондратенко водит диском вдоль штыка и вдруг жестоко ругается. У него сорван голос, слова едва слышны, но кажется, что он кричит. Обнаружилось, что миноискатель не работает. В исправном состоянии он, приближаясь к металлу, немедленно сигнализирует об этом резким, пронзительным звуком в наушниках. Сейчас, при проверке, звука не было.

Сапер растерян, он снимает крышку диска, пытается карманным ножом отвернуть какой-то винт, нож срывается; у сапера нет других инструментов, он не удерживает ругательства.

Кондратенко и Суханов смотрят на него.

— Придется послать человека к Романову за другим миноискателем,— говорит Суханов.

Кондратенко молчит.

— Передать по цепи: начальника связи ко мне! — приказывает Суханов.

Слышны удаляющиеся голоса: «Начальника связи к командиру...»

Колонна стоит; никто не двигается, не выходит из рядов; каждому страшно сойти с места; разговоров не слышно, чувствуется общая подавленность.

— Зачем тебе начальник связи? — спрашивает Кондратенко.

— Дать радио генералу, что попали на минное поле, опоздаем на час-полтора.

— Нет! — твердо произносит Кондратенко.

Зачем-то туже обернув шарф вокруг охрипшего горла, он идет, не оборачиваясь, вперед. Секунда колебания... Потом, отставая на несколько шагов, за комиссаром следует начальник штаба Беличков, спокойно помахивая портфелем. За ними идут другие, стараясь ступать в следы.

Есть, очевидно, правда в поговорке: «Смелого пуля — или в данном случае мина — не берет».

Кондратенко шел без миноискателя по минному полю, шел быстро, легко, напрямик, и под ним не взрывалась мина.

Я оглянулся и сначала не увидел людей. Показалось, что сзади идет только один человек. Но сразу понял: люди шли гуськом, вытянувшись длинной и изумительно прямой, словно туго натянутой цепочкой. Вероятно, ни на одном учении они не шли так точно в затылок друг другу, как здесь, в подмосковном лесу, среди скрытых где-то под снегом мин, следуя за комиссаром.

Чувствуется близость шоссе. Кажется, где-то невдалеке проходят машины. Или, быть может, это только чудится. Нет, мы действительно дошли.

На опушку, с которой в семидесяти — восьмидесяти метрах виднелось шоссе, второй и третий батальоны прибыли за десять минут до срока.

16

И все-таки мы опоздали!

По шоссе уходила колонна немецких машин. Уходила на запад. На некоторых были грузы, на других — люди с винтовками и автоматами.

Белобородов был прав: немцы отступали, немцы ускользали под прикрытием ночи.

Они именно ускользнули у нас из-под носа. Батальоны не успели развернуться, пулеметчики и минометчики не изготовились.

На востоке, там, где остались обойденные нами Снегири, и на юго-востоке, где, судя по большому зареву, полыхало Рождествено, все еще продолжался бой. Там все еще без устали колотила наша артиллерия, оттуда доносилась пулеметная, ружейная и минометная стрельба.

Там, очевидно, остался немецкий заслон, но часть сил, и быть может главная, все-таки ушла.

Суханов говорит связисту:

— Передай Копцову, чтобы седлал...

И он внезапно умолкает, не договорив.

С запада, с той стороны, где скрылись немецкие машины, неожиданно подымается стрельба. И близко, вероятно всего в полукилометре. Бьют восемь или девять пулеметов, бьют винтовки, а вот и первые удары минометов. Сквозь ночь видны вспышки рвущихся мин. Слышен близкий орудийный выстрел.

Глухо бухает романовская пушка, бьют и бьют пулеметы, на шоссе вдруг взметывается пламя. Тотчас рядом появляется другой всплеск огня, третий... четвертый... Это горят немецкие машины, подожженные нашими гранатами. Немцам нет ходу вперед: шоссе оседлано первым батальоном.

К нам приближается трескотня немецких автоматов. Еще минута — и нам смутно видны темные фигуры немцев. Их много; отстреливаясь, они медленно отходят; кое-кто падает; слышится команда на немецком языке, и противник цепью залегает в снег, продолжая стрельбу. Пригнувшись, подбегают отставшие и тоже ложатся. Некоторые подползают, вероятно, раненые.

С опушки, где притаились гвардейцы, видны черные полоски, густо рассыпанные на свежем снегу. Это линия немецкого огня. Огонь ясно виден; немецкая цепь очерчена короткими частыми вспышками, вылетающими из стволов при каждом выстреле. Первый батальон бьет по цепи из минометов, мины глухо рвутся, разметывая снег. Немецкие минометы еще не действуют, но за цепью в придорожной канаве возится небольшая группка, что-то устанавливая. К цепи подбегают еще люди; сюда, где противник быстро создал линию обороны, стекаются, наверное, и обозники и шоферы; они тоже ложатся в снег.

Гвардейцы прицелились, но все еще нет команды.

И вдруг Суханов кричит во всю силу голоса:

— Огонь!

Прогремел залп. И тотчас защелкали выстрелы, застрочили пулеметы и ударила батарея минометов.

Несколько темных фигур поднялись и бросились к шоссе. За ними побежали другие. Некоторые вскакивали и валились в снег. Многие вовсе не встали; они лежали, как прежде, но огоньки, вылетающие при выстрелах, возле них уже не вспыхивали.

Опять раздалась команда на немецком языке. Офицер яростно что-то кричал. Он поднялся, размахивая револьвером, но тотчас его крик прервался, как подсеченный. Офицер упал, пронзенный, вероятно, сразу несколькими пулями. По бегущим немцам стреляли все, даже писаря и штабной кашевар.

— Ну-ка, три белых осветительных ракеты! — приказал кому-то Суханов.

Тотчас в небо взвились три белые линии и, рассыпавшись искрами, превратились в медленно опускавшиеся и все разгоравшиеся белые звезды.

Сразу стало светлее, отчетливее обозначились фигуры бегущих немцев. Под нашим огнем они падали и падали в снег. Но часть скрылась за возвышением шоссе.

И вдруг из-за леса по ту сторону шоссе, несколько наискосок от нас, вспыхнули три зеленые ракеты.

— Сидельников! — улыбаясь, сказал Суханов.— Наверное, бегом бежит...

К нему подошел боец:

— Товарищ подполковник, капитан Романов просит вас к телефону.

— Уже протянули связь? И с генералом можно говорить?

— Точно, товарищ подполковник.

— И землянку соорудили?

— Две, товарищ подполковник.

— Пошли, Кондратенко,— как-то по-домашнему сказал Суханов. Он почесал шею и добавил: — Беличков, передайте Копцову, чтоб собрал своих людей и оседлал шоссе. Задача — не пропустить тут ни одного фрица из тех, что там остались.

Таков был маленький кусочек боя, который мне довелось увидеть.

Через три минуты я сидел в только что вырытом

блиндаже, крытом свежим сосновым накатом, на полу, густо устланном хвоей. В печке, вырезанной прямо в земле, пылал сухостой. На раздвижном походном табурете стоял полевой телефон. Отсюда уже протянулись провода во все батальоны и к Белобородову.

Капитан Романов просил сообщить генералу, чтобы залп артиллерии по Трухаловке был отменен, потому что первый батальон сейчас ворвется туда.

— Обождите, Романов, что скажет генерал,— приказал подполковник.

Не кладя трубку, он вызвал генерала и доложил о выполнении задачи. Ему хотелось все изобразить пообстоятельнее, но, очевидно подгоняемый Белобородовым, прерывая рассказ, он быстро и коротко отвечал на вопросы. Закончив разговор, сказал:

— Все ему скорей, скорей... Генерал-«бегом»! А рад!

Он вызвал Романова:

— Разрешено... Действуйте!

Среди ночи Суханов получил новый приказ генерала: с рассветом двигаться на Истру.

Опять Суханов рассматривал карту, диктовал приказ; Беличков записывал, редактируя на ходу; Кондратенко сидел молча, у него совсем пропал голос, он подписал, и связные понесли приказ в батальоны.

Наутро, часов в восемь, когда уже было светло, штаб полка, покинув блиндаж, вышел на шоссе. Батальоны уже ушли на запад. Романов час назад занял Высоково.

На шоссе стоял знакомый штабной автобус. Он остановился перед полусожженным деревянным мостиком, еще не восстановленным саперами.

Я увидел Белобородова. Невысокий, в темно-серой ладно перепоясанной шинели, по-прежнему без генеральских звезд, он быстро шел на запад. За ним двигались работники штаба.

Обойдя мост и с поразительной для его плотной фигуры легкостью перебежав через ров, он оглянулся на отставших:

— Плететесь, как старики! Бегать разучились! Вот закачу я вам по утрам зарядочку! Бегом!

И пошел дальше широким, быстрым шагом.

Некоторое время спустя я прочел в газетах Указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами начальствующего состава Красной Армии. Среди прославленных имен генералов Белова, Болдина, Говорова, Лелюшенко, Рокоссовского, среди фамилий других героев великой битвы под Москвой значилось имя генерал-майора Афанасия Павлантьевича Белобородова.

Декабрь 1941 г.

ШТРИХИ

В моей записной книжке военного корреспондента сохранилась запись, сделанная вскоре после разгрома немцев под Москвой. В записи речь идет о К. К. Рокоссовском, который в то время командовал 16-й армией, сражавшейся на волоколамском направлении. К сожалению, в дальнейшем я уже не встречался с Константином Константиновичем и эти беглые страницы так и остались набросками, штрихами. Думается, однако, что они представят некоторый интерес для читателя.

* * *

Мне привелось видеть Рокоссовского в войсковых частях и в штабе армии в разные моменты битвы под Москвой.

Чаще всего он молчит.

Помню уцелевший дом в сожженном немцами подмосковном городке — Рокоссовский приехал туда на следующее утро после того, как наступающая армия взяла этот населенный пункт.

Рокоссовский сидел на голой дощатой кровати, удобно привалившись к углу, в меховой ушанке, в меховых сапогах, в неизменном кожаном пальто без знаков различия.

В домике обосновался штаб артиллерийского полка. С командирами разговаривал генерал Казаков, начальник артиллерии армии, очень добрый и очень требовательный человек.

А Рокоссовский молча курил и слушал.

Пришли партизаны — восемнадцати- и девятнадцатилетние юноши с сияющими глазами, раскрасневшиеся, в распахнутых пальто и полушубках: в тот день для них был незаметен тридцатипятиградусный мороз.

Улыбаясь и шутя, их расспрашивал член Военного совета армии грузный и веселый Лобачев.

А Рокоссовский по-прежнему молчал, время от времени доставая очередную папиросу из походной папиросницы, висящей на ремне рядом с полевой сумкой и планшетом.

Входили и выходили командиры; многие узнавали командующего армией, спрашивали: «Разрешите обратиться?», «Разрешите идти?». Рокоссовский молча кивал.

За два часа он не произнес ни слова. Я изумлялся, искоса поглядывая на него. Вероятно, он устал или расстроен? Нет, голубые глаза были ясными, живыми и с интересом присматривались к каждому новому лицу. И может быть, видел, слышал, замечал больше, чем кто-либо из присутствующих. Но молчал.

Его удобная поза, неторопливые движения, спокойный взгляд как бы свидетельствовали: тут все идет так, как этому следует идти.

Потом он поднялся и сказал:

— Пошли, пожалуй. До свиданья, товарищи. Не будем вам мешать.

* * *

Другой раз мне пришлось наблюдать, как Рокоссовский работает у себя на командном пункте.

Штаб армии только что прибыл в небольшое селение. Оперативный отдел разместился в промерзшей насквозь школе, штабные командиры работали за партами. Дымила и еще не согревала комнату давно не топленная большая печь.

Предстояла разработка новой операции и составление боевого приказа войскам.

Вошел начальник штаба генерал Малинин, властный и умный человек.

Большого стола не оказалось; на сдвинутые парты положили классную доску; на ней расстелили карту, склеенную из многих листов. Там уже было зафиксировано расположение сил — наших и противника,— как оно сложилось к этому моменту.

Несколько минут спустя появился Рокоссовский вместе с Казаковым.

Все пошли к карте. Немного пошутили относительно соседа, который по приказу передал армии Рокоссовского часть своего участка.

— Лишили их возможности отличиться, взять этот городишко,— сказал Рокоссовский.— А они обрадовались. Пусть все шишки на другого валятся.

— Да, тут у нас очень все разбросано,— произнес Малинин,— противник может уйти, если нажмет.

— Конечно, надо собрать силенки и разделываться по частям с этой группировкой.

— Я думаю, сначала надо ликвидировать этот узел,— предложил Малинин.

— Добро,— согласился Рокоссовский.

Таков приблизительно был разговор между командующим и начальником штаба.

Затем заработал штабной механизм. Им управлял Малинин. Ему докладывали о наличной численности и вооружении каждой части; он записывал, подсчитывал, выяснял подробности, вызывал нужных людей, расспрашивал или давал поручения, уточнял сведения о силах и намерениях противника, затем вместе с начальником артиллерии приступил к разработке оперативного плана; ставил задачу каждому соединению, указывал маршрут движения, место сосредоточения, время выхода на исходный рубеж, направление удара.

Все это делалось основательно, без суеты, без спешки. Истек час, другой, третий — Малинин с работниками штаба все еще готовил боевой приказ.

А Рокоссовский — высокий, легкий, не наживший, несмотря на свои 45 лет, ни брюшка, ни сутуловатости,— ходил и ходил по комнате, иногда присаживаясь на крышку парты.

Он слушал и молчал. И лишь изредка короткой фразой чуть-чуть подправлял ход работающего механизма.

— Задачу разведке поточнее. Чтобы никто не сунулся напропалую.

Или:

— Продвигаться и дороги за собой тянуть.

И опять замолкал.

В комнате стало темнеть; появились электрики с походной электроустановкой; Малинин, взяв карту, передвинулся к окну.

Рокоссовский прилег на освободившуюся классную доску. Он лежал на спине, глядя в потолок и заложив руки за голову. Ноги его свешивались, не доставая до полу, и слегка покачивались.

И опять — его вольная удобная поза, его спокойствие как бы свидетельствовали: тут все идет так, как этому следует идти. Малинин отлично ведет дело и ни во что не надо вмешиваться.

* * *

Но несколько раз я видел Рокоссовского разгневанным.

Бывая на передовой линии, в батальонах, Константин Константинович не любил, чтобы за ним ходила свита, предпочитал, чтобы командир дивизии, командир полка его не сопровождали.

Так было и в тот день. С передовой Рокоссовский пришел в штаб полка.

Командир полка отрапортовал и стал докладывать обстановку, указывая на карте географические пункты. Рокоссовский молча слушал, но лицо его мрачнело.

— Где тут у вас окопы? — перебил он.

Командир показал.

И вдруг, не сдержавшись, Рокоссовский крикнул:

— Врете! Командующий армией был на месте, а командир полка там не был! Стыдно!

И, круто повернувшись, вышел.

Здесь все характерно для Рокоссовского.

Он постоянно — в отдельные периоды ежедневно — выезжает с командного пункта в части, ходит, наблюдает, мало говорит, много слушает и присматривается, присматривается к людям.

Механизм управления армией функционирует в это время без него. Отсюда, с боевых участков, Рокоссовскому многое виднее, в том числе и качество работы собственного штаба.

К подчиненным, от мала до велика, и к самому себе он прежде всего предъявляет одно требование: говорить правду, как ни трудно иной раз ее сказать. Вранья не терпит, не прощает.

В другом случае он не вышел из себя, не повысил голоса, но говорил очень резко. Речь шла о потерях, кото-

рых можно было бы избежать при взятии одной деревни, если бы операция была подготовлена более тщательно.

— Безобразно, бескультурно, безалаберно! — сурово определил Рокоссовский.— Почему полезли без разведки?

Затем, не перебивая, выслушал ответ. Виновный, не подыскивая оправданий, напрямик признал ошибку.

— Другой раз предам суду за такие вещи! — сказал Рокоссовский, и оба твердо знали, что так оно и будет, если ошибка повторится.

— Берегите каждого человека! — продолжал командарм.— Пока не узнал, где противник, каковы у него силы, не имеешь права продвигаться! Черт знает что! Когда, наконец, научимся культурно воевать!

Меня поразило это словосочетание: «Культурно воевать!» Впоследствии я много раз вспоминал это выражение, раздумывая о Рокоссовском.

И вот еще один случай.

К линии фронта, продвинувшейся за день на несколько километров к западу, медленно шли две легковые машины, кое-где увязая в косяках наметенного снега: впереди машина Рокоссовского, следом — Лобачева, где сидел и я.

Дорогу расчищали саперы. Передняя машина неожиданно затормозила. Я увидел нескольких саперов, сидевших на снегу, покуривавших. Рокоссовский вышел, быстро к ним зашагал, и мы в задней машине, тоже остановившейся, вдруг услышали его гневный голос. Я приоткрыл дверку и уловил слова.

— Фронту нужны снаряды, а вы тут штаны просиживаете, герои!

И отвернувшись, Рокоссовский пошел обратно. Даже по походке чувствовалось, как он возмущен.

Машины двинулись, но вскоре снова остановились, когда к передней подбежал командир. Рокоссовский поговорил с ним несколько минут, уже не повышая голоса.

Дороги, ровные, широкие дороги,— этого постоянно и настойчиво требует Рокоссовский от своего инженерного отдела.

Могу удостоверить: я бывал, конечно, далеко не во всех армиях, но кое-где пришлось поездить — нигде я не видел таких хороших дорог, как на участке армии Рокоссовского.

* * *

Вот еще несколько штрихов, которые на первый взгляд не имеют как будто прямого отношения к деятельности командующего армией, но в них тем не менее для меня раскрывался облик Рокоссовского.

Впервые я увидел Рокоссовского среди командиров, которым только что вручили ордена.

Лобачев, сидевший рядом с Рокоссовским, поднялся и, покрывая шум голосов, объявил:

— Сейчас несколько слов скажет Константин Константинович.

Рокоссовский смущенно поправил волосы и покраснел. В этот миг мне стало ясно — Константин Константинович очень застенчив.

Как-то впоследствии я сказал Рокоссовскому об этом.

— Вы угадали,— ответил он.

Не удивительно ли, что Рокоссовский, командующий многотысячной армией, имя которого прославлено в великом двухмесячном сражении под Москвой, тем не менее порой краснеет, страдая от застенчивости.

Я не знаю детства и юности Рокоссовского, не знаю, как сформировалась это своеобразная и сильная натура, но некоторые впечатления позволили кое-что понять.

Рокоссовский приехал в деревню, только что отбитую у немцев. Еще дымились сожженные постройки. Стоял крепкий мороз. В мглистом, казалось бы, заиндевевшем воздухе, пахло сгоревшим зерном; этот резкий, специфический запах — горький запах войны — долго не выветривается. Из-под пепелищ жители выкапывали зарытое добро. Одни куда-то везли поклажу на салазках, другие семьями расположились у костров и что-то варили в котелках и ведрах. Валялись убитые лошади, кое-где уже тронутые топором. В розвальнях везли патроны на передовую; шли красноармейцы, тепло одетые, разрумяненные на морозе; одна группа расположилась на привал, послышалась гармонь; кто-то, присвистывая, пошел вприсядку; туда отовсюду кинулись ребятишки.

Кое-где лежали неубранные трупы немцев. Спеша похоронить своих, немцы свалили мертвые тела в колодец, набросали доверху, но не успели засыпать. Из колодца торчала мертвая, окостеневшая рука со скрючен-

ными пальцами, коричневыми от стужи, этот труп был, вероятно, поднят с земли затвердевшим и, брошенный сверху, так и остался в неестественой и страшной позе. Рокоссовский подошел к колодцу.

Потом повернулся, посмотрел вокруг и, обратившись ко мне, сказал:

— Чувствуете запах гари? Когда посмотришь на все это, вспоминаются исторические книги. Как отбивали татарское нашествие, как воевали запорожцы. Помните Тараса Бульбу?

Другой раз Рокоссовский вспомнил о книгах, сидя за ужином рядом с Масленовым, начальником политуправления армии. Разговор шел о боях под станцией Крюково, которые в армии Рокоссовского любят называть «вторым Бородино».

— Я говорю, это было так! — сказал Масленов и с силой воткнул в дерево стола большой перочинный нож, которым только что открыл консервы.

Рокоссовский достал из кармана свой нож, раскрыл его и вонзил рядом.

— А я говорю: не так!

И добавил, взглянув на Масленова с улыбкой:

— Мы индейцы племени Сиук-Су... Помнишь Майн-Рида?

И мне вдруг представился застенчивый мальчик, который дичится на людях.

Он держится в стороне, молчит, смотрит, слушает. И много читает. Больше всего о войне, о необыкновенных подвигах необыкновенных людей. Потом сам становится военным. И туда, в военное дело, он вкладывает все, чем обладает. Военное дело становится его призванием, его творчеством, его...

Рокоссовский сам произнес слово, которое я подыскивал, стремясь схватить стержень его личности.

— Страсть, военная страсть,— сказал он, когда однажды мы разговорились о характерах некоторых известных полководцев.

Такая страсть — «военная страсть» — безраздельно владеет Рокоссовским. Но даже смолоду она выражалась у него не только в удали и лихости, хотя все это было, и даже с избытком, на его командирском веку, начавшемся в драгунском полку на театре первой мировой войны. Он принадлежит к числу военных, которых назы-

вают мыслящими. Много думает о проблемах войны. В армии про него иногда говорят: «Задумчивый».

Мне кажется, что я уловил правило, которым Рокоссовский неизменно руководствуется. Это правило, быть может, годится не для всех. В нем сказались не только опыт и размышления Рокоссовского, но и особенный склад его характера. Правило, о котором идет речь, Рокоссовский высказал за тем же ужином, когда он поспорил с Масленовым. Кроме них в комнате находились многие из комсостава армии: Лобачев, Малинин, Казаков, начальник службы тыла генерал Анисимов и другие. Пели «Стеньку Разина». Подошла строфа:

Чтобы не было раздора
Между вольными людьми...

— Святые слова! — сказал Рокоссовский.

— Почему святые? — спросил я.

— Потому что на войне все совершает коллектив.

— А командующий?

— Командующий всегда должен это помнить. И подбирать коллектив, подбирать людей. И давать им развернуться.

— А сам?

— Сам может оставаться незаметным. Но видеть все. И быть большим психологом.

* * *

Много подвигов совершено армией Рокоссовского в битве под Москвой. Она сражалась на Волоколамском, а затем, после прорыва немцев на Клин, также и на Ленинградском шоссе — там, где противник наносил главный удар.

К армии Рокоссовского принадлежали прославленные части генералов Панфилова, Доватора, Белобородова, Катукова, Ремизова.

Какова же была роль командования армии в этой битве?

Когда теперь, несколько месяцев спустя, мысленно обозреваешь ход сражения, трудно выделить в нем самые напряженные моменты, решающие дни,— почти каждый день был решающим, почти каждый день оже-

сточение борьбы достигало высшего накала. И все же история, быть может, отметит вторую половину октября 1941 года как самый драматический период всей войны, когда немцы, развивая наступление, начатое 2 октября, пытались танковыми дивизиями с ходу прорваться в Москву и этим завершить, как им казалось, войну.

В эти дни майор Соколов, начальник оперативного отделения в штабе Рокоссовского, записывал в дневник:

«...Прибыли в Волоколамск, чтобы организовать управление войсками, обороняющими Волоколамский укрепленный район. Положение трудное. Нам поручен фронт длиной в 105 километров, где занимают оборону дивизия Панфилова и курсантский полк (курсанты пехотного училища имени Верховного Совета). Все это вместе — около семи с половиной тысяч штыков. Таковы, не считая артиллерии, все наши силы. Войска вытянуты в ниточку. Противник сосредоточил против нас одну мотострелковую и две танковые дивизии и подтягивает новые силы. Вероятно, завтра-послезавтра начнет атаковать...

...К нам прибыли два артиллерийских противотанковых полка. Один поступил в резерв командующего. Так, кажется, еще никогда не бывало — в резерве командующего ни одной пехотной части, а только артиллерия».

И вот наконец бой. Удар колонны в 120 танков (по существу, танковая дивизия) был принят артиллерийским полком, приданным генералу Панфилову.

Обе стороны дрались ожесточенно. Наши орудия прямой наводкой били по надвигающимся, грохочущим машинам, извергающим огонь. Десять, двадцать, тридцать танков были выведены из строя, подожжены нашими выстрелами, но другие шли и шли прямо на орудия. Еще два десятка танков уничтожены. Но остальные ворвались в боевые порядки полка, давят и мнут орудия. Люди укрываются в щелях.

А танковая колонна, оставив на поле боя пятьдесят шесть поверженных машин, устремляется дальше. Выход на Волоколамск, на автомагистраль, ведущую в Москву, казалось, открыт.

Но через пятнадцать километров путь немецким танкам преграждает резерв командующего — другой противотанковый артиллерийский полк.

Повторяется ожесточенная схватка. Немцы опять теряют около пятидесяти машин и уже не в силах ворваться на огневые позиции полка и гусеницами смять орудия.

Остатки танковой колонны поворачивают и уходят назад.

Героями этого боя, отнюдь не самого крупного в подмосковной эпопее, стали советские артиллеристы.

Однако тут несомненно сказалось и искусство командования армии: предвидение, проникновение в замыслы противника, острое и точное реагирование на ход боя. Я намеренно говорю «командования». Можно, конечно, написать: Рокоссовский предвидел, Рокоссовский разглядел, Рокоссовский направил свой резерв, но все это не было бы истиной.

Работал штаб — целая фабрика мысли, целый комбинат управления. Там существует специальный отдел, где по множеству мелких и мельчайших данных определяются силы противника, их сосредоточение, направление готовящегося удара. Любой командующий, любой начальник штаба будет лишен зоркости, если плохо работает этот отдел.

А моментального, внезапного решения о вводе в бой резерва вовсе в данном случае не было. В соответствии с общим представлением о том, как развернется предстоящий бой, резерв заранее был расположен неподалеку от пункта, где затем наткнулся на него противник.

Кто впервые сформулировал это общее представление, оказавшееся правильным? Кому принадлежит идея поставить артиллерийские полки в тех местах, где они встретили и отразили врага?

Все это работа штаба. Сколоченного, дружного, хорошо понимающего замыслы командарма. А Рокоссовский, коротко обменявшись мыслями с Малининым и Казаковым, пошутив о чем-то постороннем, ходил и ходил, как обычно, по комнате, лишь изредка произнося две-три беглые фразы.

А связь?

Мне удалось подробно ознакомиться с материалами о том, как функционировала связь в армии Рокоссовского во время битвы под Москвой. Они произвели потрясающее впечатление.

Армия Рокоссовского отходила, ведя ожесточенные бои, уничтожая танки и живую силу противника, пока,

наконец, усиленная многочисленными пополнениями, не сдержала немцев на расстоянии 25—30 километров от Москвы. За это время, в октябре и в ноябре, командный пункт Рокоссовского много раз менял местопребывание, переезжая иногда под огнем противника, в непосредственной близости от прорывающихся танков. Был случай, когда Рокоссовский, Лобачев, Малинин, Казаков ночью уходили огородами из села, в которое уже ворвались немцы.

И все же всякий раз, прибывая на новый командный пункт, Рокоссовский находил уже действующую связь со всеми подчиненными ему частями, с соседями, со штабом фронта и с Москвой — «со всем миром», как любит говорить начальник отдела связи полковник Максименко.

И связь действовала не как-нибудь, а соответственно традициям армии Рокоссовского: иметь провод в каждую точку не только по прямым, но и по обходным направлениям. Если повреждено одно направление, можно тотчас переключить разговор на другое. И все это достигалось под непрерывным разрушительным воздействием немецкой авиации, когда бомбы постоянно где-нибудь рвали провод.

В армии Рокоссовского за все время битвы под Москвой ни разу не было случая, чтобы штаб не имел телефонной связи (не говоря уже о радиосвязи) с какой-либо из своих частей.

Иногда это казалось чудом, фокусом, чем-то уму непостижимым.

Отважусь сказать: наша армия оказалась непобедимой также и потому, что на полях сражения совершали изумительные подвиги советские связисты, потому что в напряженнейшей битве, при бешеном напоре врага у нас так функционировала боевая связь.

* * *

Можно было бы еще многое сказать о Рокоссовском. В армии передаются рассказы о его бесстрашии под огнем.

Но ему свойственно и иное, быть может, высшее бесстрашие — бесстрашие ответственности. Немногословие —

особенность его характера. Он, молчаливый и часто, казалось бы, незаметный, отвечал за все — за каждого подчиненного, за весь свой коллектив, за каждую операцию своей армии.

Нелегко и, пожалуй, даже невозможно отыскать и назвать какое-либо достижение армии Рокоссовского, о котором можно было бы сказать: это сделал Рокоссовский, он один и никто больше. Но он бесспорно достоин того, что армия, которой он командует, называется армией Рокоссовского.

Март 1942 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Из полкового сейфа принесли старую карту, склеенную из нескольких листов. Развернутая, она оказалась не квадратом, а широкой полосой и едва уместилась на длинном столе. Маленькая электролампочка, укрепленная на потолке, ярко освещала бледную сетку топографических значков, кое-где пересеченную линиями красного и синего карандаша. Карта звалась стотысячной: одному метру соответствовало сто километров местности.

В дни битвы под Москвой полоса, разостланная на столе, именовалась волоколамским направлением. Здесь дрались панфиловцы. Ныне, к годовщине дивизии, они восстанавливали ее славную историю.

Многие из тех, кто собрался на этот вечер у командира полка Бауржана Момыш-Улы, знали карту наизусть: на одном конце был район Волоколамска, на другом — Москва.

Кто-то поднял свешивающийся край и удивленно спросил:

— Почему последний лист оборван? Почему здесь нет Москвы?

Все посмотрели на карту. Последний лист действительно выглядел странно: от него осталась лишь узкая лента, приклеенная к соседнему листу.

Край был аккуратно обрезан, но в середине, где разными шрифтами дважды повторялось слово «Крюково» — станция и село, бумага была порвана.

— У этого листа есть своя история,— сказал Момыш-Улы.— Разве она вам не известна?

Он оглядел собравшихся широко расставленными черными глазами. Никто не знал истории последнего листа. С разных сторон попросили:

— Расскажите!..

— Помните Сулиму,— спросил Момыш-Улы,— моего адъютанта? Он мог бы рассказать... Какого числа мы получили приказ отойти на Крюково?

— Двадцать девятого.

— Да, двадцать девятого ноября 1941 года. В этот день Сулима принес пакет: «Отойти, занять оборону в Крюкове». Я достал карту и не нашел Крюково. Развернул новый лист... Ага, вот оно... И тут же, на этом же листе, огромное средоточие топографических знаков — Москва. Надо было намечать маршрут, давать распоряжения, а я смотрел и смотрел на сбежавшиеся вместе квадратики, кресты, полоски, на явственно проступающие ломаные и кольцеобразные просветы московских улиц.

Слышу, Сулима тихо говорит: «Батальоны ждут приказа, товарищ командир». У этого голубоглазого парня была чуткая душа. Я взглянул на него и увидел — он понимает меня. Я, как вам известно, казах, Сулима — украинец. Ни один из нас не жил в Москве, но у обоих дрогнуло сердце, когда на мой стол впервые как оперативный документ лег лист Москвы. Закрыв рукавом Москву, я наметил маршрут и приказал собрать подразделения. Сулима вышел, я принял руку и опять стал смотреть на карту. Достал курвиметр, вымерил расстояние. От Крюкова до окраин Москвы всего двадцать с небольшим километров. Вам, товарищи, известен закон командира: продумывать наихудший случай. Что такое двадцать — тридцать километров? Один рывок — и бои на улицах. Я сидел вот так...

Момыш-Улы показал, как он смотрел в этот день на карту. Подперев опущенную голову руками, он уставился в одну точку, словно в глубоком раздумье или горе. В черных блестящих волосах, упрямо непослушных гребенке, замерли блики электричества.

Никто не кашлянул, не шевельнулся, никто не нарушил тишину.

— Так я сидел,— продолжал, выпрямившись, Момыш-Улы.— Сидел и смотрел на выступающую с края огромную черную полуокружность. Все вы, наверное, знаете, что это значит — представить себе врага на улицах Москвы...

Я смотрел и видел сваленные трамваи и троллейбусы, разорванные провода, трупы красноармейцев и жителей на улицах, немецких лейтенантов со стеками, в белых перчатках, в парадной офицерской форме, с наглой усмешкой победителей. Вспомнились немецкие пленные, которые с трусливой, но ехидной ухмылкой говорили, коверкая русские слова: «Волякалямс — Москау...»

Неужели эта шатия восторжествует? Я сидел над картой и, рассматривая худший вариант, искал, нет ли от Крюкова до Москвы промежуточного рубежа, где можно было бы крепко зацепиться. Искал и не нашел. Вывод: Крюково — последний рубеж.

Не помню, сколько времени я просидел так. Вошел Сулима и доложил, что подразделения собраны. Карту я всегда складывал вот такой гармошкой: с востока на запад. Разверну — и развертываются Волоколамское и Ленинградское шоссе. На этот раз я, вопреки правилу, сложил ее иначе: сломал бумагу поперек. Там, где кончалось Крюково, я с силой провел пальцами по сгибу, чтобы больше тут не разгибать. Нажимая, я в одном месте задел ногтем и порвал бумагу.

На столе лежали разные документы. Встаю, рассматриваю, кое-что кладу в полевую сумку, кое-что отдаю Сулиме. Наконец беру карту, и вдруг,— должно быть, я неловко ее взял — она развернулась, и я опять увидел огромную черную полуокружность, увидел то, что решил не видеть. Я сказал Сулиме: «Дайте перочинный ножик».

Сулима достал и раскрыл нож, я сел и не спеша, аккуратно отрезал загиб, как разрезают книгу, отделив все, что было на восток от Крюкова. Затем протянул Сулиме и сказал: «Сожгите...» Он переспросил: «Как?» — «Сожгите»,— повторил я.

Он сначала посмотрел на меня с недоумением, но секунду спустя в его красивых голубых глазах появилась твердость. Он понял меня. Для чего нужна карта? Для ориентировки. Он понял, что нам не понадобится ориентировка в дорогах, речках, населенных пунктах, что лежат позади Крюкова; понял, что мы или отбросим немцев, или умрем под Крюковом.

Чиркнув спичкой, он зажег отрезанный кусок. Мы оба безмолвно смотрели, как сгорает бумага, как исчезают, превращаясь в черный прах, названия шоссейных дорог и

проселков, ведущих к Москве. Потом... Все вы, друзья, знаете, что было потом.

Момыш-Улы умолк.

Маленькая электролампочка, укрепленная на потолке, ярко освещала карту, разостланную во всю длину стола. Кто-то поддерживал свесившийся край.

Все знали: дальше Крюкова немцы не прошли, у Крюкова, как и в других пунктах тогдашнего Западного фронта, произошло то, что за границей называют «чудом под Москвой».

1942

СОВЕСТЬ

Адъютант доложил, что группа бойцов и младших командиров, отправляющихся на курсы лейтенантов, выстроена у блиндажа.

Командир полка капитан Момыш-Улы вышел к ним. Приняв рапорт, он молча оглядел строй, едва заметно меняя положение корпуса, чтобы видеть тех, кто стоял в затылок.

Его худощавое монгольское лицо сейчас было освещено весенним солнцем, легко проникающим сквозь голые сучья и стволы.

Поздоровавшись, он негромко спросил:

— Больных нет?

Все молчали. Момыш-Улы продолжал:

— Идти придется в тыл сорок километров по грязи, по воде. Может быть, кому-нибудь трудно ходить? Может быть, кто-нибудь страдает ревматизмом?

Он подождал ответа.

— Разрешите сказать, товарищ капитан,— раздался голос из строя.

Момыш-Улы молча кивнул. Рослый, голубоглазый парень, смутившись, покраснев, несмело попросил не посылать его в школу лейтенантов, потому что он прошел всего четыре класса семилетки и не знает ни процентов, ни дробей.

Момыш-Улы выслушал и ничего не ответил.

Подойдя к выстроившимся и глядя в упор на одного из стоявших во второй шеренге, он спросил:

— А у вас какое образование?

Красноармеец вытянулся. Это был человек лет тридцати — тридцати двух. Взглянув на него, вряд ли кто-нибудь

мог подумать о нем что-либо худое. Если он и выделялся, то скорее к лучшему. Шинель была хорошо заправлена и туго подпоясана. Лицо интеллигентное.

— Десять классов,— ответил он.

— Выйдите из строя! Вы не пойдете в школу лейтенантов!

Это было так неожиданно, что красноармеец, остолбенев, не сразу исполнил приказание.

Момыш-Улы повторил громче:

— Выйдите! И станьте здесь, чтобы все вас видели.

Красноармеец вышел и, обходя строй сзади, направился туда, куда ему пальцем указал Момыш-Улы. Капитан следил за ним, чуть сощурив глаза, потом отвернулся и больше не взглянул ни разу.

— Смотрите на него! — сказал он.— Это человек, у которого нет совести. Все вы, товарищи, сейчас пойдете, а он с вами не пойдет. Месяц тому назад я очищал тылы от лишнего народа. Этот человек, имеющий десятиклассное образование, был конюхом в транспортной роте. Я приказал ему отправляться в строй. Что вы мне тогда сказали?

Момыш-Улы обращался к красноармейцу, не глядя на него, словно считая его недостойным даже взгляда. Тот не отвечал.

— Вы — человек, у которого нет совести, я спрашиваю вас: помните, что вы мне тогда сказали?

— Помню,— с трудом произнес красноармеец.

— Повторите это! Повторите, чтобы все это услышали!

Красноармеец стоял опустив глаза. Лицо пошло пятнами.

— Повторите!

И красноармеец запинаясь выговорил:

— Я сказал вам... Я сказал, что у меня ревматизм. Что мне трудно ходить...

— Да! И вы просили, чтобы я оставил вас конюхом. А теперь, когда надо идти на сорок километров в тыл, ревматизма у вас не оказалось. А потом он снова появился бы, когда пришлось бы возвращаться на фронт из школы лейтенантов. Но туда вы не пойдете! Все они пойдут. Пойдет и тот, кто не знает ни процентов, ни дробей. В сравнении с вами он мальчик, у него на пять копеек жизненного опыта, у него на пять копеек образования, но у него имеется сокровище, которому нет цены. У него есть совесть. Он недавно стоял вот здесь ночью на посту и

вдруг увидел, что кто-то пробирается сюда. Он окликнул, ему не ответили. И тогда этот юноша пополз навстречу подозрительному человеку. Оказалось, что это не человек, а обломанное дерево... Потом над ним смеялись, но он пополз навстречу! А ты? Ты тоже ползешь! Ползешь подальше оттуда, где стреляют. У тебя есть образование, жизненный опыт, хитрость, может быть, даже ум, но у тебя нет совести. Они уйдут, а ты останешься. Может быть, у тебя проснется совесть. До свиданья, товарищи! Учитесь, жду вас боевыми лейтенантами! Старший, можете вести.

Момыш-Улы повернулся и пошел в блиндаж, так и не взглянув на человека, над которым была только что совершена бескровная и беспощадная казнь.

1942

«НАЧИНАЙТЕ!»

Победа куется до боя.

Этот афоризм любит гвардии капитан Момыш-Улы.

Однажды был случай, когда он, командир полка, управляя боем, произнес только одно слово и больше ни во что не вмешивался.

Бой продолжался недолго — приблизительно два с половиной часа,— и все это время Момыш-Улы просидел не облокачиваясь в четырех бревенчатых стенах блиндажа, тесного и полутемного, как погреб. Он часто закуривал, резким движением отбрасывая спичку; порой проводил худыми пальцами по черным поблескивающим волосам, которые упрямо поднимались, как только рука оставляла их; лицо казалось бесстрастным, и жил главным образом взгляд.

Со стороны можно было подумать, что он ничем не занят, но, когда парикмахер, решив, что наступил наконец его час, предложил побриться, Момыш-Улы так на него взглянул, что тот попятился.

Единственное слово, которое произнес Момыш-Улы, было очень простым. Он сказал: «Начинайте!»

Перед этим ему звонили сверху:

— Почему опаздываете? Почему молчит ваша артиллерия?

Момыш-Улы ответил:

— Я не опаздываю. Я буду действовать без артиллерийской подготовки.

Его переспросили:

— Как?

— Без артиллерийской подготовки... Это я решил с командиром пушек. Подробности, думается, не для телефона.

Он говорил с едва уловимым акцентом, не коверкая слов и оборотов, но неторопливость речи казалась иногда нарочитой: речь становилась быстрее, когда он разговаривал по-казахски.

Через полчаса его снова запросили, почему не начинает.

— Не закончена разведка огневых точек,— ответил Момыш-Улы.— Я считаю, что пока не решена эта задача...

Его перебили, он смолк, глаза сверкнули и, дождавшись момента, когда можно отвечать, он резко сказал:

— Если вы прикажете идти без разведки, пойду без разведки. Вы это мне приказываете? Сам стану во главе штурмовой группы, крикну «ура» и поведу людей. Вы приказываете действовать так? Буду выполнять ваше решение...

И вдруг он покраснел, на впалых щеках цвета потемневшей бронзы вспыхнул скупой румянец.

— Служу Советскому Союзу, товарищ генерал,— неловко выговорил он.

— Что он вам сказал? — с любопытством спросил комиссар полка Логвиненко.

— Он мне сказал...

Момыш-Улы помедлил. Ему хотелось скрыть, что он польщен, но эта нотка прорвалась.

— Сказал: «Спасибо за доблестный ответ».

В эту минуту командир артиллерийского дивизиона Снегин, который, сидя на низком чурбаке, негромко разговаривал по другому телефону, закричал:

— Головой? Я сам ему оторву голову за эти штуки! Передайте, чтобы дразнил шапкой! Передайте, что я это приказываю, сто тысяч чертей ему в левую ноздрю.

Сердито отстранив, но не выпуская трубку, он повернулся к Момыш-Улы и Логвиненко, чтобы поделиться возмущением. Но, еще не начав говорить, он засмеялся. Эти мгновенные перемены были нередки у Снегина. Он жил словно с открытой душой: каждое переживание, даже мимолетное, охватывало его, казалось, целиком и тотчас пробивалось наружу.

— Золотой парень,— сказал он,— шапка не подействовала, стал головой дразнить. Я ему за это...

Он опять сердито потряс трубкой и опять засмеялся.

— Как фамилия? — спросил Логвиненко.

— Лаврентьев... Помните, я вам рассказывал... Мальчишка, у которого судимость была за хулиганство.

— А имя, отчество?

— Не знаю...

Логвиненко прищурился. В серых глазах искрилась умная и чуть озорная усмешка. Он произнес фразу, которую нередко повторял:

— Героев, товарищ Снегин, надо знать по имени и отчеству...

— Ну как он — не раздразнил? — нетерпеливо спросил Момыш-Улы.

Снегин нагнулся к телефону.

— Разматов? Разматов, вы меня слышите? Что? Что? Что?

Каждое из этих «что» было громче и радостнее предыдущего. Повернувшись на чурбаке, он ликующе воскликнул:

— Есть, товарищ капитан! Раздразнил, товарищ капитан!

И затем снова в трубку:

— Передайте, Разматов, что я его за это изобью! В другой раз чтобы этого не смел! Теперь вот что... Вы все видите? Хорошо... Будьте наготове, сейчас начнем работать...

И, опустив трубку, Снегин торопливо сообщает:

— Шевельнуться, говорит, нельзя... Кинжальным огнем землю чешет... Лежим, говорит, еле дышим...

В блиндаже все понимают, о чем речь.

Где-то в пятидесяти — шестидесяти метрах от укреплений врага лежит артиллерист-корректировщик гвардии лейтенант Разматов. Он спрятался под землю, спрятался так искусно, что можно наступить и не заметить. К уху прижата телефонная трубка, шнур тянется сюда. Первая задача Разматова — видеть. Это не так легко. Огневые точки немцев тоже спрятаны, иногда не менее искусно. Они молчат, чтобы до времени не выдать себя. Но вдруг невдалеке от них, словно из-под земли, появляется красноармейская шапка... Одна... другая... Появляется и исчезает, и снова появляется все ближе... Что это? Атака? Огонь, огонь! И Разматов наконец-то видит,— вот они, рыльца пулеметов, из которых вылетает пламя. А его друг и помощник, разведчик Лаврентьев, раздразнивший немцев, лежит ничком, укрывшись за какой-нибудь неровностью.

Теперь нельзя медлить.

Снегин посмотрел на капитана, Момыш-Улы кивнул. Он, пехотный командир, знал не со стороны, а как профессионал-артиллерист работу «командира пушек». Это может показаться странным, но вся жизнь Момыш-Улы необычайна.

Он оказался женатым через сорок восемь часов после рождения — такой обычай был у степных кочевников, казахов. Трехлетним мальцом он впервые взобрался на коня. Отец вручил ему плеть и сказал:

— Будешь пастухом.

До десяти лет Момыш-Улы не подозревал, что на свете существует хлеб, а его дед так и умер, не отведав хлеба: казахи, кочуя со стадами, знали только молоко и мясо.

Он мечтал многое совершить для Казахстана. С отрочества, с младших классов школы, соприкоснувшись с русскими, с их книгами, со всем, что называется культурой, он молчаливо решил, что в служении народу — смысл его жизни. Ему хотелось строить в Казахстане железные дороги,— окончив десятилетку, он поехал в Ленинград и, выдержав конкурсный экзамен, стал студентом-путейцем. Наука давалась легко, он с отличными отметками переходил с курса на курс, но вдруг понял: не то, не то — его призвание не в этом. Он покидает институт. Дальше — армия, военное училище, Момыш-Улы — командир батареи, вместе с батареей он сражается у озера Хасан. С Дальнего Востока его тянет в родной Казахстан; после боев он расстается с армией и возвращается домой. Его влечет литература; он переводит русских классиков — многие стихи Пушкина и Лермонтова изданы по-казахски в переводах Момыш-Улы,— а тайком пишет свое, пишет и бросает. И опять ему чудится: не то. Где же оно — его призвание? Кто он — воин, инженер или писатель?

— Я сам себя не понимаю,— иногда говорит друзьям Момыш-Улы.

Отечественная война оборвала искания. Призвание определится потом, теперь надо драться. Момыш-Улы поступает в дивизию, которая формируется в Алма-Ате, и командует сначала батальоном, потом получает полк, после того как в боях под Москвой распознали, какая сила характера и ума таится в этом страстном человеке с бесстрастным лицом.

Снегин — ровесник и земляк капитана: ему тоже тридцать лет, он тоже из Алма-Аты. Впрочем все, кто находятся в эту минуту здесь — и комиссар Логвиненко, и начальник штаба Курганский, и адъютанты, и телефонисты,— все они из Казахстана, все осенью отправились на фронт со станции Алма-Ата, все теперь гвардейцы, все панфиловцы.

И только телефонист Баранов с недавних пор в дивизии; однако раньше он воевал в батарее, которой командовал не кто-нибудь, а лейтенант Чапаев, сын легендарного начдива, и всегда готов задорно спорить — чей же козырь старше.

Снегин приказывает:

— Баранов, вызовите батарею.

В блиндаже четыре телефона. Два принадлежат артиллеристам. Первый, у которого, примостившись на чурбаке, сидит Снегин, ведет к «глазам». Это глаза Разматова, которые в этот час, в этом темном подземелье становятся глазами Снегина и Момыш-Улы. Второй соединяет бревенчатую коробку блиндажа с пушками, скрытыми в лесу за несколько километров отсюда.

— Батарея вызвана, товарищ командир.

— Хорошо. Будете передавать мою команду... Разматыч, жив? Все еще чешут?.. Слушайте. Даю команду.

И, повысив голос, он командует:

— По местам!

Баранов повторяет в другой аппарат:

— По местам!

У него, рядового связиста, тоже вдруг появился командирский тон; он повелительно добавляет от себя:

— Все разговоры по линии прекратить!

Снегин продолжает:

— Передавайте: буссоль 25 плюс вчерашний доворот. Какой доворот там был вчера?

Повторив в трубку приказание, Баранов обращается к Снегину:

— Товарищ командир, там спрашивают: какой доворот?

Снегин срывается с места и, стукнувшись головой о поперечную балку, не сдержав ругательства, хватает у Баранова трубку.

— Ведь я приказал вам,— кричит он,— не сбивать эти

доворотЫ, чтобы они всю ночь стояли. Что? Как не знаете? Давайте немедленно командира батареи!

Момыш-Улы круто повернулся. Ничего не сказав, он закурил, с резким щелканьем захлопнул портсигар и далеко отбросил спичку.

Неужели опять задержка? Неужели глупая случайность расстроила то, что достигнуто вчера?

Накануне в сумерках капитан провел репетицию сегодняшней атаки. Небольшая группа двинулась вперед; немцы встретили ее огнем; бойцы замерли, прильнув к земле; Разматов, притаившись вблизи немецкой обороны, корректировал работу артиллерии и добился нескольких точных попаданий; пулеметная стрельба сразу стала слабее, и бойцы осторожно поползли; противник опять остановил их интенсивным огнем, и Разматов еще раз удачно накрыл цель. Вчера этим дело ограничилось. Дождавшись темноты, группа вернулась, бережно неся двух раненых.

Пушки, таким образом, были пристреляны. Теперь оставалось немногое: требовалось раздразнить немцев, чтобы вновь засечь точки, установленные ночью взамен обнаруженных или поврежденных, и соответственно этому, а также погоде — главным образом ветру — слегка подправить наводку, «довернуть», как говорят артиллеристы.

— Кто у телефона? — кричит Снегин.— Что вы там натворили с доворотами? Что? Все в порядке? Не сбивали?

Он вздыхает с облегчением, и сидящий рядом Баранов вздыхает точно так же. Что-то выслушав, Снегин говорит:

— Не подпускайте больше этого разиню к телефону, чтобы он не путал, сто чертей ему в левую ноздрю... Через минуту зарядить и доложить!

Он возвращается на свой чурбак и, улыбаясь, отдувается:

— Фу-ты... Разматыч, жив? Скоро, скоро... Заряжают.

Тем временем Логвиненко по другому телефону соединяется с комиссаром батальона, которому предстоит атаковать.

— Соловьев? Ударная группа на месте? Потолковал с людьми? С каждым? Будем действовать, как условлено. Изменений нет. По-вчерашнему, понятно? Пусть люди приготовятся, сейчас Снегин начинает. Ждите команды...

Логвиненко еще говорил, когда Баранов передал:

— Готово!

— Разматов, готово! — кричит Снегин.— Хорошо, даю. Один снаряд, огонь...

Баранов повторяет:

— Один снаряд, огонь!

И прибавляет от себя:

— Живей там поворачивайтесь! Быстрее огоньку!

Затем выкрикивает:

— Выстрел!

— Разматов, выстрел! — передает Снегин.

Несколько секунд в блиндаже стоит напряженное молчание. Доносится глухой удар. Все ждут, что скажет Разматов, как упадет первый снаряд.

— Так, так...— наконец произносит Снегин.— Ладно, Разматыч... Правее, ноль-ноль три, два снаряда, беглый огонь...

Он кричит эту команду, словно находится у пушек, хотя Баранов, который передает приказание, сидит в трех шагах.

Не проходит и полминуты, как Баранов кричит:

— Выстрел! Выстрел! Очередь!

Повторив это, Снегин некоторое время ждет — в эти мгновения снаряд прорезает воздух, эти мгновения отделяют выстрел от разрыва,— затем произносит:

— Так, так...

И по тому, как он выговаривает это короткое «так», можно легко угадать, что сказал Разматов, удачно ли лег снаряд. В этом снегинском «так» тысяча оттенков — от угрюмости до ликования. Повторяя «так, так», сейчас он не может сдержать смеха.

Он сообщает:

— Ну и Разматов... Как поросенка, говорит, по башке стукнул... Был пулемет, и нет пулемета...

Затем снова в трубку:

— Так, так... Хорошо, Разматыч... Прицел больше один! Два снаряда, беглый огонь...

Опять передается команда; опять полминуты спустя Баранов выкрикивает: «Выстрел! Выстрел! Очередь!»; опять в блиндаже напряженное молчание; и опять слышится радостное «так, так»...

— Еще одного пулемета нет,— восклицает Снегин.— Сразу замолчали... Сейчас, говорит, можно пехоте лезть...

Теперь хочет по блиндажам ударить... Хорошо, Разматыч! Даю...

И, назвав координаты, Снегин кричит:

— Взрыватель фугасный, два снаряда, беглый огонь...

На этот раз снаряды не поразили цель. Разматов дал поправку.

После выстрелов, слушая, что сообщает Разматов, Снегин опять фыркает, сдерживая смех.

— Ох и дал, говорит... Сам, говорит, чуть не подпрыгнул. Разворотил блиндаж...

Логвиненко спрашивает:

— Огневые точки молчат?

— Молчат.

Капитан вызывает к телефону Лукьяненко, командира второго батальона.

— Начинайте,— коротко говорит Момыш-Улы.

Это было единственное слово, единственное приказание, отданное командиром полка. С этого момента в бой вступает пехота.

Снегин говорит Разматову:

— Теперь мы, Разматов, помолчим, пусть мальчики поработают. А когда фрицы заговорят, мы опять им рот заткнем. Что? Минометы скорректировать? Это можно. Это мы сейчас устроим.

Он некоторое время что-то слушает, потом рассказывает:

— Разматов сейчас разговаривал с Лукьяненко. Скорей, говорит, теперь тут можно, как по тротуару, гулять.

В работу вступают минометы. Впрочем, это пока не работа, а лишь приправка инструмента. Опять в блиндаже кричат: «Одна мина, огонь», «Прицел меньше, две мины, интервал пять секунд, огонь!».

Логвиненко разговаривает по телефону с Соловьевым:

— Двигаетесь? Сколько проползли? Коммунисты и комсомольцы впереди?.. Что? Подозрительное молчание? Снегин, слышите? Соловьев говорит, что противник подозрительно молчит... Знаешь, что отвечает Снегин? Хохочет... Да, ты рассмешил... Ничего там нет подозрительного! Как откроет огонь — мы еще долбанем. Мы его держим!

И, с силой сжимая пальцы, Логвиненко показывает, словно Соловьев может видеть, как схвачен противник.

Проходят минуты; припадая к земле, бойцы приближаются к умолкшим немецким укреплениям. Снегин

продолжает пристрелку минометов. Потом радостно сообщает:

— Разматов видит наших... Ползет, говорит, наша пехота... Двигаются, говорит...

И, не закончив фразы, вдруг кричит:

— Все разговоры по линии прекратить! Правее, ноль-ноль пять, два снаряда, беглый огонь... Опять стали бить из пулеметов... Выстрел, Разматыч! Выстрел! Очередь! Так, так... Сейчас дадим... Взрыватель фугасный, четыре снаряда, беглый огонь!

Момыш-Улы молчит, но Снегин, не ожидая вопросов, сообщает все, что видят «глаза».

— Бьет, бьет из пулеметов... Бросает мины... Наши лежат...

— Выстрел! Выстрел! — выкрикивает Баранов.— Чего задерживаетесь? Быстрее огоньку! Выстрел, выстрел, очередь!

— Так, так, так,— повторяет Снегин, слушая Разматова, и в его голосе наконец-то звучит радость.— Еще два блиндажа разбил... Опять замолчали.

— А пехота? — спрашивает Логвиненко.

— Разматыч, как там мальчики? Опять поползли? Здорово! Пусть поработают, мы помолчим... Займемся-ка снова минометами...

В бою минуты и часы летят. Кажется, Момыш-Улы только что произнес «начинайте», а в действительности с этого момента прошло больше часа.

Начальник штаба Курганский сообщает в дивизию о ходе операции; он делает это без напоминаний, ни о чем не спрашивая Момыш-Улы, твердо запомнив афоризм капитана: не командир для штаба, а штаб для командира.

Снегин расспрашивает:

— Разматыч, как там?.. А мальчики как? Ползут? Хорошо, замечательно... Что? Откуда? Сколько? Снарядами по ним не бей, береги снаряды! Минами, минами работай! Баранов, команда минометам! Правее, ноль-ноль шесть, четыре мины, беглый огонь! Товарищ капитан, справа показались автоматчики. Готовится контратака... Что? Огневые точки ожили? Баранов, команда пушкам! Левее, ноль-ноль три, взрыватель фугасный, четыре снаряда, беглый огонь!

Баранов выкрикивает команду, всякий раз повелительно добавляя от себя:

— Веселей давай! Быстрее огоньку!

Раздается новая команда; опять летят мины и снаряды; в блиндаже все молчат, кроме Снегина и телефониста.

И кажется странным, что в эти минуты — критические минуты боя — в блиндаже пехотного командира раздаются только голоса артиллеристов, только артиллерийские команды.

Но как раз это нужно Момыш-Улы; над этим он долго раздумывал и долго добивался этого: двойной точности — точного артиллерийского огня, помноженного на столь же точное взаимодействие.

Он переживает каждое сообщение, каждую команду, каждую интонацию Снегина. Ему хочется вмешаться, крикнуть отсюда командиру батальона: «Выдвигайте пулеметы, пусть стреляет все, что может стрелять!», но он знает, что это уже делается, а если нет — отсюда кричать поздно. Он знает: победа куется до боя и управляют не криком, а умом.

В эти минуты в нем все напряжено, но он упрямо молчит, и лицо по-прежнему бесстрастно.

Наконец-то! Снегин с нескрываемым облегчением произносит свое «так».

— Фу...— отдувается он.— Разогнали автоматчиков... Четыре раза накрывали минами... И еще два блиндажа разбиты... Опять фрицы замолчали.

— А наши как?

— Лежат... Лежат почти рядышком с Разматовым.

— Лежат? — переспрашивает Логвиненко и протягивает руку к телефону.— Вызовите Соловьева. Соловьев? Доложите, что делается? Что? Почему? Почему не двигаетесь? Осторожность? Они не работают сейчас, подавили их. Или вы ждете, чтобы противник восстановил огневые средства? Вперед! В бою играет роль минута! Используйте момент!

Он волнуется: ему хочется самому увлечь бойцов на завершающий рывок, как он не раз увлекал; голос на последнем слове дрогнул, словно что-то подступило к горлу.

Не поднимаясь с чурбака, не выпуская трубку, Снегин на полях газеты подсчитывает количество израсходованных снарядов. Итог кажется ему великоватым, хотя выпущено — мы сообщим эту цифру: многим артиллеристам

она покажется невероятной, неправдоподобно малой — всего сорок шесть снарядов.

К телефону вызывают капитана. Командир батальона Лукьяненко докладывает:

— Бойцы ворвались в укрепленную линию противника. Немцы бежали, оставив несколько десятков трупов.

И тотчас Снегин, уронив газету, кричит в восхищении:

— Так, так... Прошли линию блиндажей! Разматыч полез вперед вместе с пехотой!

Задача решена, атака удалась, наступательный бой на сегодня закончен.

Момыш-Улы приказывает командиру батальона:

— Закрепляйтесь... Выдвигайте противотанковое вооружение. Зубами там держитесь. Готовьтесь отбить контратаку.

И, положив трубку, помолчав, он спрашивает:

— А где же парикмахер? Теперь можно и побриться.

1942

НА ПОДМОСКОВНОМ РУБЕЖЕ

Невидный домик в недолгом уличном ряду. Спешиваюсь; в ответ на приветствие часового беру под козырек, всхожу на крыльцо, откидываю незапертую дверь. Сени. Еще одна дверь. Толкаю ее. Комнату освещает небольшая керосиновая лампа-десятилинейка, прикрепленная к стене.

— Встать! Смирно! — негромко командует Рахимов.

Почему-то здесь, в штабе батальона, находятся и командир и политрук роты, которой выпала доля оборонять Горюны. Карие глаза Брудного, обычно веселые, смышленые, сейчас сумрачно смотрят из-под серой шапки. Политрук Кузьминич опустил руки по швам, замер в своей грубой солдатской шинели, которая, как и прежде, не под стать его залысинам, тонкому рисунку носа, складочкам, морщинкам вокруг глаз и другим знакам книжника, оттиснувшимся на лице. Он явно взволнован. Впервые замечаю, как сквозь изжелта-темный отлив его щек, которые, казалось, навсегда раззнакомились с румянцем, проступили красноватые пятна. Рахимов тоже одет в шинель и шапку. Через плечо перекинут ремешок полевой сумки. На голом, без скатерти, столе не видно ни карты, ни иных бумаг. Должно быть, Рахимов, всегда в мое отсутствие заменяющий меня, собрался выйти. Пожалуй, во всем этом еще нет ничего чрезвычайного, однако в ушах глухо ударяют барабаны.

Рахимов рапортует:

— Товарищ комбат! Третья рота и специальные подразделения прибыли согласно приказу в деревню Горюны. Взвод связи...

— Погоди,— говорю я.— Брудный, ты почему не в роте?

Брудный молчит. Странно. Ведь у него обычно словечко наготове. Обращаюсь к Кузьминичу:

— Да и вам, товарищ политрук, следовало бы находиться с бойцами, а не здесь. Сюда вас приглашали?

Кузьминич по-прежнему стоит в положении «смирно». Эта поза, преданный, серьезный взгляд безмолвно говорят о стремлении быть мужественным, исполнительным, нужным. Но отвечает он совсем не по-военному:

— Ужасный случай, товарищ комбат.

Одернуть его? Усмехаюсь:

— Более сильного выражения не нашли?

Вмешивается Рахимов:

— Разрешите доложить.

Неторопливо расстегиваю шинель, снимаю ушанку, сажусь у печи, источающей тепло. Чувствую, как горят с мороза щеки, их будто покалывают сотни иголочек. Смотрю на своих соратников, братьев по оружию, с которыми проведу на этом, быть может, нашем последнем рубеже четыре грядущих дня.

— Товарищ Кузьминич, докладывайте-ка вы.

Сообщение Кузьминича было окрашено его волнением. Время от времени Рахимов, не забывая сказать «разрешите», вставлял ради точности одно-два замечания. Несколько штрихов прибавил и Брудный, к которому, однако, далеко не вернулась разговорчивость. Картина случившегося наконец для меня вырисовалась. Попробую ее воспроизвести.

...Немецкая батарея посылает снаряд за снарядом в Горюны. Это бесприцельный огонь. Противник бьет, что называется, по площади. Деревня вся уместилась на взгорке, выстроилась двумя порядками. Обстрел напугал новичков. Для необвыкшей, незакаленной души это и в самом деле мучительное испытание. Ты заранее слышишь: «тю-тю-тю» — снаряд летит, прорезает толщу воздуха. Затем удар о преграду, стук и резкий громкий треск. С таким треском во взметнувшемся пламени — ночью оно, это пламя, озаряющее все вокруг, выглядит особенно страшным,— с таким треском лопается металлическая оболочка снаряда. И тотчас слышится множество тонких, режущих звуков, разлетаются осколки. Можно ловить все эти звуки вплоть до окончания разлета.

Вместе со снарядами немцы будто насылали порчу: молодые солдаты роты Брудного, попавшие под свою пер-

вую обстрелку, прятались за избами, сараями, поленницами. Командиры взводов, командиры отделений искали, собирали людей. Часовой, охранявший перекресток, где от ленты асфальта отделялась дорога на Матренино — тут, у скрещения, довольно густо ложились снаряды,— бросил пост, удрал. Усатый Березанский, назначенный на этот вечер разводящим, отыскал его в соломе, повел снова на пост. По пути встретился забегавшийся, запыхавшийся Кузьминич. Остановились на шоссе, он принялся стыдить, отчитывать провинившегося. Подошел и командир взвода. То угрожая, то взывая к совести, Кузьминич продолжал разнос. В эту минуту засигналила приближавшаяся легковая машина, идущая в сторону Москвы. Все посторонились. Неожиданно машина остановилась. Из раскрывшейся дверцы на асфальт вышел грузноватый человек в мерлушковой генеральской шапке и кожаном черном пальто. Прозвучал его низкий сильный голос:

— Что здесь происходит? Кто старший?

Думается, вы уже узнали генерал-лейтенанта Звягина. Он ехал из Матренино, возвращаясь, видимо, в штаб армии.

— Извините,— в своей невоенной манере проговорил Кузьминич.— А вы, товарищ, кто?

Звягин подал политруку карточку-удостоверение. Свет электрофонарика упал на документ. Кузьминич отдал честь, назвал себя, вернул удостоверение.

— Так что здесь происходит? — повторил Звягин.

— Откровенно говоря...

— Чего вы мнетесь?

— Не знаю, товарищ генерал, как и сказать... Отдельные бойцы... Я недавно с ними прибыл. Как бы сказать... Немного побаиваются. Не знаю, что с ними и делать.

— Не знаете?

— Ума не приложу. Вот часовой. Два раза убегал. Я уже ему внушал, внушал. Поговорите с ним, товарищ генерал.

— Зачем с ним нянчиться? Расстрелять мерзавца перед строем!

Словно не веря, что эти слова уже произнесены, приказ отдан, Кузьминич переспросил:

— Как? Как?

— Вы разве не слышали? Отобрать винтовку! Взять под стражу! Увести!

Командир взвода принял винтовку из рук беглеца-часового, повел его в какой-то дом. С ноги на ногу переступил Березанский, откашлялся, но ничего не промолвил. Немцы продолжали рассеивать снаряды. То и дело мгновенные всполохи раздвигали тьму. Звягин сказал:

— Противник пытается воздействовать на наших людей, пытается навязать им свою волю. Восстановим же крутыми мерами наше влияние.

Кузьминич растерянно заговорил:

— Но как же это? Я еще никогда... Еще никогда не приходилось...

— Постройте людей там, где почаще падают снаряды...

— Понимаю. Всю роту?

— Нет, к чему собирать всех? Выведите пополнение. И пусть трахнут подлеца.

— И мне самому?.. Самому надо командовать?

— Да. Вы же с ними прибыли.

Снова покашлял Березанский.

— Разрешите обратиться.

Звягин повернул голову к пожилому солдату.

— Я, товарищ генерал, насчет политрука. Не надо, чтобы он...

— Почему?

— Не надо. Сами управимся. А политрук это... Это, товарищ генерал, святое дело.

— Святых на войне нет,— жестко ответил Звягин.— Исполняйте приказание, политрук.

— Но как же?

— Организуйте. Предварительно соберите коммунистов. Передайте командиру батальона, чтобы сегодня же отправил донесение.

— Хорошо, товарищ генерал.

— Отвечайте: «Есть!» Вы наконец станете военным?

— Стану, товарищ генерал. Есть!

Звягин вернулся в машину. Минуту спустя ее силуэт уже исчез впотьмах.

Кузьминич закончил свой доклад. Спрашиваю:

— Расстреляли?

— Провели подготовку,— отвечает Рахимов.— Сейчас собирались отправиться на место.

Кузьминич вновь вставляет слово:

— Товарищ комбат, я его видел. Он просит прощения. Давайте обдумаем, товарищ комбат.

— Чего думать? Приказ есть приказ. Рахимов!

— Я!

— Иди с политруком. Постройте людей на перекрестке, откуда сбежал этот трус. Выждите, пока не упадут два-три снаряда, затем вы, Кузьминич, скажите людям слово. Скажите: того, кто бросит свой окоп, свою позицию, постигнет такая же кара. И командуйте: «Огонь».

— А вы? Вы не с нами, товарищ комбат?

— Нет. У меня еще много дел. Обойду с Брудным деревню, посмотрю, как он разместил оборону.

— Разрешите идти? — молвил Рахимов.

— Идите. Исполняйте.

Рахимов поднес руку к виску. Кузьминич старательно, отчетливо повторил этот жест. Оба они вышли.

...Вскоре, когда я с Брудным шагал по задам деревни, до слуха донесся треск винтовочного залпа.

Рассказывая об этом вечере, не могу миновать еще один эпизод.

Брудный привел меня к своему наблюдательному пункту. Место было выбрано толково — несколько на отшибе от деревни, в самой высокой точке горюновского холма. Оттуда открывался обзор на все триста шестьдесят градусов. На участке виднелись прутья ягодников и ветки молодых яблонь, опушенные снежком. Бойцы рыли под полом окопы. Тут же присутствовала хозяйка — молодая мать.

Надо ломать дом, нельзя оставлять наблюдателям противника этот ориентир.

— Уходите отсюда. Выселяйтесь.

На руках женщины ребенок, за юбку держится другой, постарше. Она вспомнила о муже, он выбирал это место, любил сидеть, глядеть вокруг, сам посадил сад.

— Уходите. Сейчас будем ломать.

Ответы кроткие. Без истерики. И потому еще больше берущие за сердце.

— Куда же нам? Как же мы навсегда останемся без дома?

Что ответить? Я сказал:

— Отечественная война. Понимаете: Отечественная война.

Много раз произносил я эти слова, но никогда еще не проникал так в их глубину. Отнимаем у молодой матери прибежище, сами рушим ее дом. Какое у нас право? Отечественная война.

Думаю, женщина поняла меня. Она ни о чем больше не спросила, не возразила. Лишь глаза позволяли угадать, сколь велико ее горе.

...Почему-то это осталось одним из поразительных воспоминаний о днях подмосковного сражения. Отечественная война. Самое священное. Выше всего. Даже материнство склоняет перед нею голову.

...Танки! Они появились не спереди, не слева, не справа, а с тыла, с той стороны, где шоссе, обозначенное вылизанными ветром островками асфальта, чернеющего меж косячков снега, убегало к Москве. Не завладев станцией Матренино, обойдя ее, противник где-то нащупал слабину и, сломив сопротивление, вырвался танковой колонной на основную магистраль. Но наш узелок в Горюнах преграждал прямое сообщение на шоссе, стоял у противника поперек горла.

Встают в мыслях те минуты... Сидя в железнодорожной будке, я вдруг услышал гул моторов. Почти в это же мгновение с негромким сухим треском бронебойный снаряд прошил стену, разнес вдребезги телефонный аппарат и, продырявив еще одну стену, ушел дальше. Сунув за телогрейку пистолет, я побежал на волю. Повар Вахитов, еще ни о чем не подозревая, священнодействовал над раскаленной плитой.

С порога сквозь поземку я увидел танки. Шли, приближались десять или двенадцать бронированных темных коробок, устрашающе рыча. Шли развернутым строем, нагло, без пехоты. Одна машина — большущая, наверное командирская,— стояла рядом с моей будкой. Башня была обернута красным полотнищем. Торчал прутик антенны. Высунувшись по пояс из приоткрытого люка, танкист оглядывал местность. Меня он не заметил.

Стрелять? Я еще не успел ничего сообразить — смутила и красная ткань над белеющим на бортовой броне вражеским крестом,— как из-за будки бесшумно шагнул побледневший Кузьминич. Его голые, без варежки, пальцы сжимали ручку противотанковой гранаты. Показалось, что

он двигается непереносимо медленно, уже и немец насторожился, быстро пригнулся.

В этот миг я выстрелил. А Кузьминич неторопливо рассчитанным точным швырком метнул в люк гранату. Стрелок, скрытый в машине, успел нажать спуск пулемета. Мой выстрел, пулеметный лай, острия пламени, вылетающие из тонкого рыльца, глухой грохот внутри стальной коробки, ее содрогание — все это слилось воедино.

Стук пулемета оборвался. Я обернулся к Кузьминичу. Из его рта ползла струйка крови. Что с ним? Закусил до крови губу?

— Кузьминич, вторую! — крикнул я.

Неспешным по-прежнему движением он кинул в люк еще одну гранату. Вновь содрогнулась тяжелая черная машина.

Лишь после этого политрук упал. Я бросился к нему, приподнял. Изо рта лила кровь, пузырилась красная пена.

Взрывы двух гранат Кузьминича стали будто сигналом отпора. Защелкали выстрелы двух пушечек, охранявших тыл, забухали противотанковые ручные гранаты.

Я вытащил бинт, расстегнул на Кузьминиче шинель. К нам уже подбегал Синченко.

— Берись,— приказал я,— помоги перенести политрука в будку. И седлай коня, скачи за фельдшером.

<1942>

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Комиссар Талгарского полка Иван Алексеевич Костромин придерживался правила: никогда не брать на нестроевые должности людей, которые не побывали под огнем.

Однажды ему пришлось нарушить это правило.

После беседы с пополнением, которому завтра предстояло идти в первый бой, Костромин подозвал одного из прибывших. Это был, как узнал Костромин, знакомясь с бойцами, комсомолец Щупленков, недавно окончивший десятилетку.

К комиссару подошел голубоглазый парень, взял винтовку к ноге, стараясь проделать это по всем правилам, и напряженно замер. «Выучили»,— неодобрительно подумал Костромин.

Впрочем, сегодня все было ему не по душе. Донимала тупая, ноющая боль в ноге. Костромин любил быть всегда подтянутым, даже чуть щеголеватым, старался, чтобы в любых условиях, пусть в распутицу, в слякоть, его высокие хромовые сапоги блестели, но сейчас... Сейчас лишь одну ногу туго облегал сапог, а другая, забинтованная, обутая в опорок, толстая от ваты, тяжелая, словно колода, мешала ему двигаться.

Разговаривая с прибывшими молодыми бойцами, Костромин опирался на суковатую, очищенную от коры палку, заменявшую ему костыль. «Пойду-ка в роты,— подумал он.— Там, кстати, можно и писаря подобрать». Он хмуро взглянул на Щупленкова и переступил забинтованной ногой. Поморщившись, подумал: «Придется посидеть еще денек-другой. Вот уж не вовремя».

— Стрелять-то из нее умеете? — спросил он, глядя на винтовку.

— Стреляю на «отлично», товарищ комиссар.

Костромин покосился. Солдат стоял вытянувшись и глядя прямо в лицо комиссару, как положено стоять и глядеть по уставу.

— Десятилетку с какими отметками закончили?

— Тоже на «отлично», товарищ комиссар.

«Пай-мальчик»,— подумал Костромин.

— С ребятами в школе дрались?

Он решил, если парень ответит «нет», вопрос будет решен — такого не надо брать. Но Щупленков, запнувшись, сказал:

— Приходилось...

— А разве отличнику и комсомольцу драться полагается?

Щупленков промолчал. Молчал и Костромин. Шапка комиссара была надета немного набекрень, что очень шло к его чуть озорному лицу. Ветер трепал русые волосы, выбившиеся из-под шапки, которые даже на вид казались мягкими.

— Ну вот что, Щупленков,— сказал наконец он,— пойдете сейчас со мной. Будете работать писарем.

Во взгляде Щупленкова мелькнуло облегчение, лицо стало менее напряженным, и Костромин выругал себя: «Черт возьми, кажется, зря... Может, обойтись как-нибудь?»

Но обойтись было невозможно. Осколками авиационной бомбы третьего дня ранило двух писарей. От этой же проклятой бомбы пострадал и комиссар.

В блиндаж, где помещался командный пункт полка, они вошли втроем: Костромин, Щупленков и Ермолюк — политрук, прибывший с пополнением, пожилой, грузноватый человек в очках.

Сев на широкий дощатый помост, щедро устланный ветками ели, Костромин с усилием положил на этот настил неповоротливую, забинтованную ногу и продолжал разговор с политруком.

— Всегда ищите, выделяйте лучших,— наставлял комиссар.— Поднимайте их, показывайте их всем. Не только проповедуйте мужество, но и заражайте мужеством.

Ермолюк смущенно улыбался. Ему, впервые попавшему на фронт, пока очень смутно представлялось, каким образом он, неловкий, близорукий человек, будет заражать мужеством. Поняв смущение Ермолюка, Костромин сказал:

— Запомните, дорогой Ермолюк: не тот герой, кто не боится и идет, а тот герой, кто боится, но идет.

Щупленков стоял неподалеку. Горевшая без стекла керосиновая лампа едва освещала его.

— Заявления в партию есть? — спросил Костромин другим тоном.

Ермолюк ответил, что несколько человек хотели вступить в партию, но у них пока нет рекомендаций.

— Передайте им,— сказал Костромин,— что завтрашний бой будет для них рекомендацией. На фронте человек проверяется в бою. Так и скажите каждому, обязательно лично каждому, и обязательно при всех. Как их фамилии?

Он достал карандаш и записную книжку. Ермолюк перечислил несколько фамилий, потом взглянул на Щупленкова:

— И он тоже... Щупленков, ведь ты хотел подавать в партию?

— Да... Хотел...

Костромин посмотрел на Щупленкова, но лицо комсомольца было скрыто в полутьме.

Отпустив Ермолюка, Костромин усадил нового писаря за стол, поближе к лампе. Голубые глаза юноши были серьезны. «Чего я? Хорошие глаза»,— подумал Костромин.

Он придвинул койку, перелистал записную книжку и сказал:

— Черт возьми, сколько накопилось! Сделаем сначала, Щупленков, самое главное. Пишите: «Сводка Информбюро Талгарского полка».

Стараясь устроиться поудобнее, Костромин подгреб еще хвои под забинтованную ногу и привалился спиной к бревенчатой стенке блиндажа. Сняв шапку, ероша русые густые волосы, комиссар стал диктовать. Впрочем, слово «диктовать» здесь не вполне уместно. Он сам сразу сказал это писарю:

— Вы не старайтесь все записывать. Главное, поймите. Сейчас делайте пометки. Потом обработаете и принесете мне.— И добавил не без тщеславия: — Если ко мне писарь попадает, знаете, кем он у меня становится? Писателем!

В блиндаже продолжалась обычная фронтовая жизнь: у телефонов сидели дежурные связисты: командир полка

работал над подготовкой завтрашнего боя, разговаривая по телефону или вызывая нужных людей. Во всем этом принимал участие Костромин; он бегло расспрашивал, распоряжался, но, положив трубку, неизменно поворачивался к писарю, возвращался к делу, которое тоже было подготовкой к бою.

Костромину исполнилось недавно тридцать лет. Даже сегодня, когда мучила ноющая, распухшая нога, державшая его словно на приколе, чувствовалось по голосу, по жестам, по блеску глаз, что он живет в полную силу. Костромин любил говорить, что методика работы комиссара, или, как он выражался, методика воспитания мужества, не записана нигде. Эту методику он не только досконально знал, но и творил. Он считал, что комиссар, как и стрелок, должен мастерски владеть своим оружием и непрерывно совершенствовать мастерство.

То, чем он занимался сейчас, составляя очередную «сводку Информбюро Талгарского полка», было его собственным изобретением. Говоря точнее, тут было три его изобретения.

Первое — Талгарский полк. В то время частям Красной Армии еще не присваивались почетные наименования по названию городов, взятых в бою у врага. Полк, куда был назначен комиссаром Костромин, имел свой номер, как и все наши полки. Это не удовлетворяло комиссара. Ему хотелось, чтобы у полка было имя; хотелось, чтобы честь полка, любовь к полку, традиции — все, что он, военный комиссар, вместе с командирами выковывал и берег, как берегут оружие, было запечатлено в одном запоминающемся слове. И он нашел такое слово: «Талгарский» — по имени горной речки Талгарки, на берегу которой, близ Алма-Аты, в яблоневых садах, формировался полк. Он приказал во всех документах писать «Талгарский» и стал называть бойцов талгарцами. Костромин был необыкновенно весел, когда впервые получил пакет из дивизии, на котором значилось: «Комиссару Талгарского полка».

Второе изобретение — «Информбюро». Однажды, составляя очередное суточное донесение в дивизию, где говорилось о количестве уничтоженных гитлеровцев, о взятых трофеях, о бойцах и командирах, проявивших себя мужественно, героически, он подумал: «А что, если изложить все это так, чтобы понести потом бойцам? Разве им не интересно знать, что произошло за день в полку? Раз-

ве подвиги, о которых я пишу, не должны быть сегодня же известны всем? Да ведь это... Черт возьми, как я раньше не сообразил?» Так родилось то, что он позже назвал «сводкой Информбюро Талгарского полка». Сводки выпускались ежедневно, иногда даже два раза в день, и немедленно отсылались на передовую, в роты, для прочтения вслух.

И наконец, третье изобретение — писарь. Один из полковых писарей — комсомолец, окончивший среднюю школу,— стал у Костромина действительно до некоторой степени писателем. Костромин приучил его работать так: сначала писарь составлял конспект, фиксируя полностью лишь некоторые фразы, которые комиссар считал необходимым привести именно в том виде, как он их сказал, потом уходил, излагал записанное и после исправлений комиссара перебелял готовую сводку. С первым писарем все это наладилось отлично. И со вторым тоже. Каков-то будет новый?

Заглянув в записную книжку, Костромин стал рассказывать. Для него каждый день Талгарского полка, даже в периоды затишья, был днем замечательных дел. Когда политруки, недавно прибывшие в полк и плохо знающие комиссара, сообщали, что в роте никто не отличился, Костромин говорил: «Неправда! Запомните, в Талгарском полку не бывает таких людей! Если нет подвигов — совершите!»

В сегодняшнюю сводку он дал следующие эпизоды.

Лейтенант Бурдаков сбил из пулемета транспортный фашистский самолет, пролетавший над расположением полка из окруженного советскими войсками города. Пять гитлеровцев выбросились с парашютами и скрылись в лесу. Их нашли по следам, оцепили, крикнули: «Сдавайтесь!» Один за другим появились четверо, держа руки вверх. Пятый не показывался. Сдавшиеся объяснили, что это полковник с двумя железными крестами, что он только что поклялся скорее умереть, чем выйти к русским с поднятыми руками. Дав предупредительный выстрел, Бурдаков произнес боевую команду, но в ту же минуту из-за деревьев мирно вышел полковник с двумя большими портфелями. Рук он действительно не поднял: руки были заняты.

— Так и запишите, пусть талгарцы посмеются. Жалко, что этого полковника сразу отправили в дивизию. При-

вели бы сюда, я бы его всему полку продемонстрировал. Все поняли бы, что значит сбить немецкий самолет.

Затем Костромин рассказал, что расчет противотанкового ружья в составе трех бойцов (он перечислил их фамилии, имена и отчества), устроивший засаду, дождался наконец добычи. Подпустив фашистский танк, бойцы подожгли его несколькими выстрелами. Костромин послал им корзину огромных талгарских яблок.

— Это тоже в сводку,— сказал он.— Пусть знают все, что комиссар послал героям яблок.

— Записал,— быстро выговорил Щупленков и, подняв голову, держа наготове карандаш, уставился на комиссара.

В эту минуту Костромин ощутил симпатию к юноше. Люди, которые вот так — глядя ему в рот — слушали рассказы о талгарцах, сразу становились для него необыкновенно милыми.

— Знаешь ли ты,— спросил он,— что значит втроем драться против танка?

— Не знаю,— ответил Щупленков,— но, наверное, страшно.

— Угадал,— улыбнулся Костромин.

Рассказав еще несколько эпизодов, он произнес:

— Теперь пиши: «В последний час».

У Костромина была слабость к этому заголовку, который постоянно фигурировал в сводках, хотя выдающиеся события вовсе не обязательно случались именно в последний час.

На этот раз под таким заголовком он решил дать сообщение о молодых бойцах, выразивших желание вступить в партию. Он повторил то, о чем говорил Ермолюку: завтра они вместе с товарищами первый раз будут в бою, завтра они покажут, как дерутся люди, которые хотят стать коммунистами. Вот их фамилии. Раскрыв блокнот, он продиктовал фамилии. Последним в блокноте был записан Щупленков. Костромин взглянул на писаря.

Щупленков застыл с поднятым карандашом, потупившись и густо покраснев.

Костромин понял, что переживает Щупленков, понял, вероятно, лучше, чем тот понимал себя. Когда-то, перед первым боем, Костромин чувствовал то же самое: ему хотелось испытать себя под пулями, быть первым в атаке,

совершить подвиг, и в то же время душу охватывал страх. И если бы тогда, накануне боя, командир приказал бы: «Отправляйтесь в штаб, вас берут писарем»,— он, вероятно, ушел бы с облегчением. Нет, пожалуй, не ушел бы. Или, во всяком случае, повернул бы обратно с полдороги. И сказал бы командиру... Кто его знает, какие слова нашлись бы тогда у Костромина, но он сумел бы остаться в строю, пойти в бой вместе с товарищами.

А Щупленков? Вот он сидит тут, краснеет. И Костромину вдруг показалось, что в эти мгновения, пока он медлит, словно запнувшись на запятой, решается будущее Щупленкова: быть ли ему большим или мелким человеком. Его подмывало отправить юношу обратно в батальон, послать в завтрашний бой, где он станет мужчиной, одолевшим страх, человеком первой шеренги. Но, взглянув на незаконченную сводку, он подавит сочувствие — дело выше симпатии. Сознавая, что совершает жестокость, он сказал:

— Точка. Все.

И не назвал фамилии Щупленкова. Обоим было ясно, что в данном случае ее называть незачем, ибо Щупленков-писарь не пойдет в бой.

Щупленков вернулся через три часа, когда Костромин, не переносивший медлительности, начинал терять терпение. Близился вечер, сводка могла опоздать. «Подведет, подведет,— подумалось ему,— не знает, что значит для бойца вовремя сказанное слово».

Однако, к удивлению, сводка удалась новому писарю: эпизоды были изложены простым, ясным языком, хотя в обилии призывов с восклицательными знаками чувствовалась неопытность. Костромин называл это «проповедями» и «заклинаниями».

— Долой всю воду,— говорил он, вымарывая лишнее.— Для возбуждения ярости нужно что-нибудь покрепче, чем вода!

Насупившись, Щупленков наблюдал, как комиссар вычеркивал целые фразы. Костромин взглянул на писаря и не сдержал улыбки.

— Пожалуй, ты действительно выйдешь у меня в писатели,— одобрительно сказал он, прочитав. И добавил, по привычке подзадоривая:

— Пишут-то они красиво, но...

Он не стал продолжать, заметив, что глаза Щупленко-

ва вдруг стали злыми: такого не следует поддразнивать, такой действительно, должно быть, дрался в школе!

Щупленков работал быстро. «Кажется, не рохля»,— с удовольствием отметил Костромин, глядя, как ловко перекладывает Щупленков шелестящие листки копирки, которые у него, Костромина, были непослушными, когда он за них брался.

Скоро комиссар подписал пять готовых экземпляров.

Вручая один Щупленкову, он сказал:

— Отнесете во второй батальон, к своим. Когда вернетесь, можете ложиться спать. Завтра являйтесь сюда в шесть часов утра. Завтра горячий день.

На следующий день, в седьмом часу утра, Костромин разговаривал по телефону. Его нога, заново перевязанная на рассвете, обутая, как и вчера, в огромный уродливый опорок, по-прежнему недвижно лежала на хвойной подстилке. Атака уже началась.

— Как хлопцы? — кричал комиссар в трубку.— Двигаются? Сколько метров проползли? Сколько осталось до фашистов? Отлично. Передайте народу: комиссар полка сказал, что они замечательные хлопцы! Первые подвиги давайте. Кто отличился? Не можете сказать? Все двигаются — и никто не отличился? Не верю! Сейчас же выясните и через десять минут мне доложите...

Возбужденный, он потянулся, расправляя сильные плечи, и сказал:

— А где же, черт побери, писарь? Связной, сбегайте за ним. Растолкайте и доставьте через две минуты! Я ему покажу, как спать, когда бой идет.

Развертывался наступательный бой. Прижавшись к земле, которую рвут мины и снаряды, над которой несется, сбивая сухие стебли прошлогодней травы, невидимый вихрь настильного огня, бойцы ползли к линии вражеских блиндажей.

Это медленное, страшное и, казалось бы, однообразное переползание в действительности вовсе не однообразно. Это напряженная борьба, в которой каждая минута драматична.

Вот бойцы в нерешительности остановились перед открытым гладким местом, где мелким пунктиром взлетали комочки земли: удар нашей батареи — одна очередь, другая, третья; вот наконец попадание — разворочен гитлеровский блиндаж, разбит пулемет, исчез страшный пунк-

тир. Надо уловить это мгновение, чтобы броском проскочить вперед, пока противник не восстановил огневую преграду. Кто-то кидается первый. Кто это? Кто, какой корректировщик, какой наводчик, разнес в нужную минуту блиндаж? Кто, какой боец, двинулся первым? Кто, какой санитар, отважно перевязывает и выносит раненых? Кто, какой снайпер, перебил гитлеровцев у автоматической пушки, оборвав ее проклятый лай? Все это хочет знать Костромин. Он сам не раз бывал под пулями; сам, случалось, в критический час боя поднимал талгарцев в атаку. Его и сейчас тянет туда — ближе к бойцам.

Вскоре вернулся связной.

— Писаря на месте нет,— сообщает он.

— Как нет? Сбежал он, что ли?

— И не ночевал,— отвечает связной.— Пошел, наверно, спать в конный взвод, на сено.

— Разыскать немедленно! Я ему покажу — сено!

Связной уходит. Костромин смотрит на часы и опять звонит в батальон.

— Десять минут, которые я вам, дорогой товарищ, дал, давненько истекли. Выяснили? Почему же не докладываете? Почему ждете, чтобы комиссар вам напоминал? Кто впереди? Погодите, запишу фамилии. Так, так... А имя, отчество... Не знаете? Сколько раз я вам твердил, что героев надо знать по имени-отчеству. Извольте-ка узнать! Давайте дальше... Кто? Как? Щупленков? Позвольте, что за Щупленков? Черт возьми, ведь это же мой писарь? Как он туда попал? Сейчас же отослать обратно! Соедините меня с Ермолюком. Тоже в бою? Передайте мой приказ, чтобы писарь немедленно ко мне явился.

Положив трубку, Костромин сказал:

— Пожалуйте, ушел на передовую... Делай с ним что хочешь — впереди ползет.

Комиссару доложили, что к телефону, по его требованию, вызван Ермолюк.

— Где же этот писарь? — закричал Костромин.— Долго я буду его ждать? И почему вас я не могу дозваться к телефону? В бою? Это хорошо, это отлично, Ермолюк, но надо и связь за собой тащить. Отослали писаря? Как то есть не идет? А мой приказ? Я ему покажу отказываться? Что? Бросил в блиндаж гранату? Молодец! То есть какой к черту молодец? Я ему покажу, как бросать гранаты! Связать и представить живого или мерт-

вого! — И, раздраженно стукнув трубкой, он сказал: — Подвел! Угораздила меня нелегкая... Ведь знал, что подведет... Знал, добра не будет...— Потом, усмехнувшись, добавил: — Нельзя брать необстрелянных! И особенно — рядом со мной сажать!

И все, знавшие комиссара, видели: он не часто бывал так доволен, как сейчас.

С комически-тяжелым вздохом взяв бумагу, он стал писать утреннюю сводку сам.

Под заголовком «В последний час» говорилось о комсомольце Щупленкове, писаре, который отличился в бою.

Заключительные слова Костромин писал с чуть озорной улыбкой:

«Писарю Щупленкову, как и другим, вновь прибывшим и отличившимся сегодня бойцам, присваивается звание старого талгарца».

<1942>

Комментарии

Во второй том собрания сочинений Александра Бека входят произведения, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Все они, за исключением третьей и четвертой повестей книги «Волоколамское шоссе», созданных после войны, написаны непосредственно в то время, когда Бек в качестве военного корреспондента журнала «Знамя» находился на фронте.

Произведения Бека о войне, тематически далекие от собранных в предыдущем томе повестей и рассказов о доменщиках, внутренне продолжают, развивают довоенное творчество. «Вот вы спрашиваете, какая же связь между моими военными вещами и тем, что я писал раньше. А связь прямая, прочная, неразрывная!.. Это были похожие люди, мощные характеры, придавленные до революции и только после нее развернувшиеся, распрямившиеся — широко, вольно, с блеском. Они порождены одной действительностью — вот в чем их сходство...» — ответил Бек корреспонденту ленинградской газеты «Смена» («Вы обязаны написать правду...» «Воскресный гость «Смены» — писатель Александр Бек».— «Смена», 1970, 12 апреля, № 86, с. 2).

Помещенные в данном томе очерки «День командира дивизии» и «Штрихи» являются произведениями самостоятельными, а рассказы «Последний лист», «Совесть», «Начинайте!», «На подмосковном рубеже» и «В последний час» связаны героями, местом и временем действия с «Волоколамским шоссе». Они представляют собой как бы этюды к большому полотну.

Все произведения настоящего тома печатаются по последним прижизненным изданиям. При отсутствии авторской датировки в угловых скобках указаны предположительные даты написания произведения.

Впервые: «Знамя», 1943, №№ 5, 6 — повесть первая под заглавием «Панфиловцы на первом рубеже (повесть о страхе и бесстрашии)»; «Знамя», 1944, №№ 5, 6 — повесть вторая под заглавием «Волоколамское шоссе», с подзаголовком «Вторая повесть о панфиловцах»; «Новый мир», 1960, №№ 2, 3 — повесть третья под заглавием «Несколько дней», с подстрочным примечанием: «Повесть «Несколько дней» является продолжением книги «Волоколамское шоссе»; «Новый мир», 1960, № 12 — повесть четвертая под заглавием «Резерв генерала Панфилова», с подстрочным примечанием: «Повесть «Резерв генерала Панфилова» завершает книгу «Волоколамское шоссе».

Объединив все повести в законченную тетралогию «Волоколамское шоссе» (впервые отдельным изданием — М., Воениздат, 1962), автор снял ранее данные им названия. Ни в одном из изданий Бек не дал обобщающего жанрового определения «Волоколамского шоссе», лишь в военном дневнике он писал о будущей книге как о «хронике битвы под Москвой».

Замысел книги возник в январе 1942 года, когда Бек как военный корреспондент был командирован в дивизию Панфилова. «Опять пошла в ход прежняя, досконально мне известная методика — знакомства и знакомства с теми, кто воевал под Москвой, неустанные расспросы, нескончаемые часы в роли «беседчика». Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего управлять, воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, сохранившего до смертного часа солдатскую скромность, унаследовавшего — таково было мое интимное авторское ощущение — некую ленинскую складку, ильичевский прищур,— вспоминал Бек.— Другого центрального героя я тоже писал с натуры. Меня поразила самобытная яркая фигура командира — казаха Бауржана Момыш-Улы. Этот резкий властный сын Востока уже тоже виделся мне как художественный образ, характер». (А. Бек. Страницы жизни.— Т. 1 наст. изд. М., 1974, с. 43—44).

В феврале 1942 года Бек начал писать повесть. 15 февраля он записывает в дневнике: «Раздумывал вчера о своей работе. Взят очень широкий план (это отлично), но узкого плана нет. Получится публицистика. Нужен узкий план — как бы рассказ об одной дивизии или об одном батальоне, и словно бы мимоходом, словно случайно (так, будто сам автор не вполне это сознает) — картина всей битвы за Москву» (А. Бек. Из военных тетрадей.— «Вопросы

литературы», 1973, № 5, с. 215). Постепенно выстраивается композиция повести: «Нашел форму — маленькие рассказы, легко мобильные» (там же, с. 222). Проясняется характер центрального героя: «В образе Момыш-Улы хочется показать, как чудовищная воля соединяется (может соединяться) с тем, чтобы видеть правду (и говорить)» (там же, с. 225).

Книга сразу завоевала широкое читательское признание. В армии ее читали бойцам вслух, обсуждали на политзанятиях, изучали в офицерских клубах.

Константин Симонов вспоминает, какое впечатление произвело на него прочитанное во время войны «Волоколамское шоссе»: «Я был тогда военным корреспондентом и считал, что знаю войну. ...Когда я прочитал эту книгу, я с удивлением и завистью почувствовал, что ее написал человек, который знает войну достоверней и точнее меня и который умеет вынуть из людей войны подробности столь удивительной точности, что невольно закрадывается мысль, что вызвать на такие подробности человека может только тот, кто знает не хуже этого человека все тончайшие подробности дела, о котором идет речь. А дело это — война» (К. Симонов. Об Александре Беке.— «Литературная Россия», 1963, 11 января, № 2, с. 17).

В печати появился ряд рецензий, отмечавших глубокую правдивость «Волоколамского шоссе» и его жанровое новаторство. «Произведение Бека как будто примыкает к военному очерку, разросшемуся в повесть. На самом деле оно полемически заострено против тех поверхностных очерков, которые лишь фиксируют внешние черты описываемых событий. В отличие от авторов многих военных очерков, рассказывающих о войне с чрезмерной легкостью, минуя образ, характер человека, Бек показывает войну как очень трудное, ответственное дело, глубоко меняющее характер и сознание человека» (Т. Хмельницкая. А. Бек. Волоколамское шоссе.— «Звезда», 1945, № 3, с. 139).

Военная комиссия Союза писателей СССР провела дискуссию «Образ советского офицера в художественной литературе 1944 года» (см.: «Литературная газета», 1944, 16 декабря, № 7, с. 3). Прения развернулись вокруг повестей К. Симонова «Дни и ночи» и «Волоколамское шоссе» А. Бека.

Все без исключения выступавшие оценивали книгу Бека как большую удачу писателя. Бек, по мнению В. Перцова, впервые в военной литературе «раскрыл перед нами тайну выработки творческого самочувствия победителя».

В. Шкловский, анализируя книгу Бека, сказал: «В книге много интересного, в книге есть анализ боя, но огромный общеармейский

опыт приписан почти что одному человеку. Русский офицер во всей русской литературе описан скромным человеком, потому что бой, война ведутся не только полководцем, но и народом. Не Андрей Болконский победил Наполеона, победили его Тимохин и Тушин. Поэтому я считаю, что хотя лучше Бека не написали, но книга Бека не дописана... Хорошо, когда у вас есть сильный натурщик, но найдите людей вокруг, осветите своего героя, противопоставьте ему солдат не только как объектов для воли командира».

В послевоенные годы Бек неоднократно приступал к работе над продолжением «Волоколамского шоссе»: в 1946 году — над первым вариантом повести третьей «Несколько дней», а в 1955 году — над планами и набросками киноповести «Резерв генерала Панфилова» (киноповесть завершена не была), но лишь весной 1956 года подошел к осуществлению давнего замысла вплотную.

Писатель намечает ряд важных для него проблем, не решенных в повестях первой и второй: «Почему так плохо сложился для нас первый этап войны? О сложившемся типе чиновника, знающего лишь приказы начальства. О том, что фундамент, заложенный Лениным, остался... Заев, Бозжанов, Дордия — светлые образы, представители партии еще ленинской, советского народа. Тип Толстунова — контролер (маленький Звягин), но и в нем много хорошего. Солдаты. Панфилов — лучшее, что у нас есть» (Архив Бека).

В августе 1959 года, окончив повесть третью «Несколько дней», Бек приступил к завершающей «Волоколамское шоссе» повести «Резерв генерала Панфилова». «Сейчас принимаюсь за четвертую повесть «Волоколамского шоссе», ради которой (по моему тайному замыслу) были написаны три предыдущие,— пишет он в дневнике.— Мой потаенный заголовок этой повести: «Подвиг комбата».

Ее главные лица: Панфилов, Момыш-Улы, Звягин.

В более низшем ее звене герои: тот же Момыш-Улы, Филимонов, Толстунов...» (там же).

Уже заканчивая последнюю, четвертую, повесть в марте 1960 года, писатель четко сформулировал свою концепцию: «Резерв генерала Панфилова» — таково это давно помеченное заглавие. Так что же это за резерв? Солдат оказался способен на большее, чем от него ждали. Ждали даже те, кто верил ему (тот же Панфилов). Контратака у Матренина невозможна. Но она совершена!

И офицер оказался способен на большее. Момыш-Улы: нарушить приказ невозможно. Сделал это!

И полководец дал большее, чем ждали.

В общем, советский народ оказался способен на невозможное, на чудо.

Именно советский,— а не только русский,— и те, отцы которых не ступали по русской земле. Значит, дело в революции. Она победила под Москвой... Соответственно этому переписывать вещь. Тогда «Резерв Панфилова» — глубокий смысл» (там же).

Новые повести «Волоколамского шоссе», вышедшие в свет в 1960 году, составили органическое единство с двумя предыдущими. «Несмотря на локальность авторского замысла, «Волоколамское шоссе» в его завершенном виде — произведение эпическое»,— так оценил тетралогию один из рецензентов (И. Козлов. Продолжение легенды.— «Литературная газета», 1961, 11 апреля, № 44, с. 3). Вместе с тем критикой была отмечена и своеобразная «полемика» между повестями, которая, что явствует из дневниковых записей, входила в авторский замысел. Сравнивая сцену казни солдата Барамбаева (повесть первая) и эпизод оправдания Заева, так же проявившего трусость и малодушие (повесть третья), критик А. Бочаров приходит к следующему заключению: «Что же, А. Бек противоречил самому себе? Или «изменил» солдатской твердости, «уступил» во второй книге влиянию психологизма, ненужному ковырянию в душе труса? Нет, писатель остался верен себе, своей ненависти к трусам, своему осуждению слабодушия. Просто новое время, с бóльшим доверием относящееся к внутренним силам человека, натолкнуло писателя на эту необходимость взглянуть на человека шире, без заранее заданной категоричности» (А. Бочаров. Человек и война. М., 1973, с. 366).

«Волоколамское шоссе» переведено на многие языки мира и получило поистине общемировую известность. «Эта книга, стремительная и простая,— одно из самых больших произведений во всей литературе, порожденной недавней мировой войной»,— писал Пальмиро Тольятти (журнал «Ринашита», февраль 1952 года).

О том, как популярна книга Бека на Кубе, рассказал писателю Сергею Смирнову Рауль Кастро: «...Самой любимой книгой наших офицеров и солдат стало «Волоколамское шоссе» Александра Бека — она выдержала уже несколько изданий. Ведь для нас это не только талантливое художественное произведение, а настоящий учебник жизни. Там так хорошо показано превращение гражданских людей в настоящих военных, в боевых солдат. Мы взяли эту книгу на вооружение, и каждый командир роты обязан иметь ее при себе вместе с уставом, изучать и читать вслух бойцам» (С. С. Смирнов. Поездка на Кубу. М., 1962, с. 173—174).

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

День командира дивизии

Впервые — отдельным изданием (в сокращении) под заглавием «Восьмое декабря», со снятым впоследствии подзаголовком «Хроника одного дня», М.— Л., Детгиз, 1943.

Очерк, или «своего рода корреспондентский отчет» («Страницы жизни»), написан в течение декабря 1942 года. «Переписал, вычитал и поставил «конец». Уф! Ну, и зверская была работа,— сообщает Бек в открытке к Л. П. Тоом 7 января 1943 года.— За 25 дней написал около 5 листов. И при этом, ей-богу, не плохо. Быть может, даже не хуже «выношенных» вещей. Я очень, очень рад, что могу, оказывается, писать быстро. Ох, как это надо во время войны...» (Архив Бека).

Примечателен следующий рассказанный Беком эпизод из истории этого очерка: «...Возникали сомнения: не так якобы командовал Белобородов, не мог он дать такую команду, и эту, и эту... В общем, я рискнул поехать к Белобородову с очерком. Тот просмотрел, а потом велел принести печать дивизии и написал: «Все правильно, так командовал, как здесь написано» — и печать приложил» (А. Бек. Шоссе документалиста.— «Журналист», 1967, № 2, с. 13).

В 1961 году очерк в восстановленной авторской редакции, без сокращений вошел в сб. «Несколько дней» под новым заглавием «День командира дивизии» и с подзаголовком, в дальнейших переизданиях снятым,— «Из записной книжки военного корреспондента».

Штрихи

Впервые — «Вечерняя Москва», 1961, 9 декабря, № 289, с. 3 (сокращенный газетный вариант).

Очерк, или, по определению автора, «своеобразный литературно-документальный портрет» (там же), создан в феврале — марте 1942 года. «...А сегодня напишу очерк «Рокоссовский». Не знаю, для газеты или для журнала. Хочется писать в газету — скорее выходит, а для журнала надо писать полнее, писательски»,— так объясняет Бек свой замысел в дневнике 15 февраля 1942 года (А. Бек. Из военных тетрадей.— «Вопросы литературы», 1973, № 5, с. 216).

Сохранился план очерка, где в пункте первом «Рокоссовский застенчив» Беком сделана запись, вскрывающая суть образа: «Жест — провел рукой по волосам, проверил, в порядке ли прическа. Он молчал. Голубые глаза. Неполная улыбка. Он два часа

молчал. Курил и молчал... И вдруг мне стало ясно. Он застенчив. Он профессионал войны, командующий армией, он теряется во всяком обществе, кроме своего, военного. Я знаю этот тип, у него все здесь. И тут он огромная сила» (Архив Бека).

«Это одни из самых дорогих для меня страниц, таких, где я, литератор, сказал то, что знал, и то, что думал,— прямо, сжато, бескомпромиссно»,— так оценивал «Штрихи» автор (А. Бек. Шоссе документалиста.— «Журналист», 1967, № 2, с. 13).

В сб. «На фронте и в тылу» (М., 1965) впервые напечатан полный текст очерка.

Последний лист

Впервые — «Вечерняя Москва», 1945, 6 декабря, № 285, с. 2.

Рассказ был также напечатан в журнале «Дружба народов», 1958, № 2, под рубрикой: «Из фронтовых записей».

«Последний лист» написан в ходе создания двух первых повестей «Волоколамского шоссе», но в них не вошел. Работая над «Резервом генерала Панфилова», Бек предполагал включить рассказ в эту, завершающую, повесть книги. «Придумал наконец эпилог,— записывает он в дневнике,— сделаю его из рассказа «Последний лист». Весомо, серьезно» (Архив Бека). Однако в дальнейшем писатель этот замысел отклонил.

Совесть

Впервые — в сб. «Несколько дней» (М., 1961).

«Начинайте!»

Впервые — «Дружба народов», 1958, № 2 (в одной подборке с рассказом «Последний лист»).

В архиве писателя хранится рукопись очерка-записок «Тридцать три снаряда» (см. «Литературная Россия», 1973, 4 мая, № 18, с. 4), который является первым, далеким от окончательного текста вариантом рассказа «Начинайте!». Если очерк строго документален и построен, подобно «Дню командира дивизии», в форме поминутной «стенограммы боевого дня», то рассказ, вобравший в себя все факты очерка, но обогащенный авторскими отступлениями в прошлое, характеристиками действующих лиц и комментариями происходящего, представляет собой документально-художественный сплав.

На подмосковном рубеже

Впервые — в сб. «В последний час» (М., 1972).

Рассказ написан во время войны, вероятно, в 1942 году. Работая над четвертой повестью «Волоколамского шоссе» («Резерв генерала Панфилова»), Бек включил без существенных изменений в главу «Еще три дня» сцену гибели Кузьминича, завершающую рассказ «На подмосковном рубеже».

В последний час

Впервые — в журнале «Советский воин», 1952, № 9.

В сб. «Несколько дней» (М., 1961) писатель восстановил сокращенный и измененный в журнальной публикации текст рассказа.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ

Бек А.

Б 42 Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 2. Волоколамское шоссе. Военные рассказы и очерки. Коммент. Т. Бек. М., «Худож. лит.», 1974.

720 с.

Во второй том собрания сочинений Александра Бека вошли широко известная у нас и за рубежом эпопея битвы под Москвой «Волоколамское шоссе», а также его военные рассказы и очерки — «День командира дивизии», «Штрихи» и другие.

Б $\frac{70302\text{-}274}{028(01)\text{-}75}$ **подписное** **Р 2**

Александр Альфредович
Бек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ II

Редактор
З. Батурина
Художественный редактор
В. Горячев
Технический редактор
С. Журбицкая
Корректоры
Н. Замятина и
И. Филатова

Сдано в набор 28/III 1974 г. Подписано в печать 15/X 1974 г. А 12 028. Бум. типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 22,5 печ. л. 37,8 усл. печ. л. 38,41 уч.-изд. л.+ +1 вкл.=38,46 л. Тираж 100 000 экз. Заказ 981. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.

